

НОВО-  
БАСМАН-  
НАЯ,  
19





# НОВО-БАСМАННАЯ, 19

---

**1990**

**СТИХОТВОРЕЦ СО СТАРОЙ БАСМАННОЙ**

**ФЕТ БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ**

**ВЫЗОВ ЦАРЮ**

**БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
РОМАНА БРЮСОВА «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»**

**РУССКИЙ ДОВОЕННЫЙ ТЕАТР АБСУРДА**

**«ГИЛЬГАМЕШ» В ПЕРЕВОДЕ ГУМИЛЕВА**

**ПОСЛЕДНЯЯ ОДИССЕЯ ГЕОРГИЯ ВЕНУСА**

**ПРИГОВОРЕННЫЙ К ЗАБВЕНИЮ**

**«ТОЛЬКО ПОБЕЖДЕННЫЙ НЕ СУДИМ...»**



ББК 84Р1  
Н74

Вступительная статья  
Г. Анджапаридзе

Составление  
Н. Богомолова

Оформление художника

А. Ременника

Иллюстрации  
А. Голицына

Цветные слайды  
А. Градобоева

Н 4702010000-436 без объявл.  
028(01)-90

ISBN 5-280-01320-X

© Издательство «Художественная  
литература», 1990 г.









*С. Андрияш*

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! Издательство «Художественная литература» не нуждается ни в представлении, ни в рекомендации: популярность его велика, да и возраст солидный — шестьдесят лет. В далеком теперь уже 1930 году на базе художественного сектора Госиздата РСФСР и издательства «Земля и Фабрика» («ЗиФ») было образовано Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), которое через четыре года стало именоваться Гослитиздатом, а с 1963 года — издательством «Художественная литература». Но какое бы название ни носил этот мощный просветительский книгоиздательский комплекс, цели и задачи его были всегда неизменны и весьма почетны — популяризация и пропаганда классиков отечественной и зарубежной изящной словесности.

В разные годы во главе издательства стояли замечательные деятели нашей культуры. Достаточно назвать одного из пионеров книгоиздательского дела в СССР директора Госиздата с 1930-го по 1937 год Н. Н. Накорякова (1881—1970), теоретика-литературоведа и философа И. К. Луппола (1896—1943), оригинальнейшего поэта и активного участника литературной жизни двадцатых годов, одного из создателей «ЗиФа» В. И. Нарбута (1888—1944), известного государственного и общественного деятеля А. Лозовского (1878—1952), крупного партийного работника и журналиста, ближайшего друга С. Есенина П. И. Чагина (1898—1967). В нашем издательстве трудились и такие все-союзно известные деятели культуры, как погибшие во время Великой Отечественной войны поэт И. Уткин (1903—1944) и литератор-библиограф Н. Ченцов (1897—1941), «приговоренный к забвению» поэт Г. Шенгели (1894—1956) и человек редкого личного обаяния, одаренный литературовед А. Котов (1909—1956), с 1948 года и до последних дней жизни бывший директором издательства.

В работе любого издательства процесс подготовки рукописи выявляет огромное количество художественных произведений, различных документов, воспоминаний, писем, которые по тем или иным причинам невозможно включить в издаваемые книги. Легко себе представить, какая огромная масса подобных материалов сопровождает работу гиганта книжной промышленности нашей страны — издательства «Художественная литература». И вот, чтобы сохранить для истории все это богатство интеллектуального наследия прошлого, нами и задуман цикл выпусков под названием «Ново-Басманная, 19», который как бы своеобразно дополнит основную продукцию в виде собраний сочинений, отдельных изданий и различных серий.

Понятие «художественная литература», давшее название издательству, может показаться вполне однозначным: ряд текстов, объединенных особой природой, отличающей их от текстов публицистических, политических, научных и т. п. Однако в этом понятии есть и иной смысл, более широкий. Так, для нормального функционирования литературы в обществе необходим целый ряд институтов, гарантирующих писа-

телю возможности творить, а потом публиковать свои творения, свободно обсуждать их смысл, возможность включаться своими произведениями в социальную жизнь эпохи и т. д. И, наконец, воздействие художественной литературы на историю общества, на историческое сознание народа.

Издательство «Художественная литература» как раз и обеспечивает единство этих трех ипостасей, поэтому мы хотели бы в сборнике «Ново-Басманная, 19» представить все три.

«Художественная литература образует многочисленные, иногда очень сложные комбинации «пространственно-поэтического характера»... — пишет В. Н. Топоров. — Литературное урочище — сложное соединение литературного и пространственного. Оно... и описание реального пространства и реальных событий, связанных с ним, и избрание этого пространства для «разыгрывания» поэтических... образов, мотивов, сюжетов, идей; это место вдохновения поэта... место, где он живет и где обретает вечный покой, место, где поэзия и действительность вступают в разнородные иногда фантастические синтезы... место, которое само начинает в значительной степени определяться этими, до поры казавшимися невозможными связями... Поэзия, «разыгрывающая» пространство, и пространство, «разыгрываемое» поэзией, то целое, в котором граница между причиной и следствием тяготеет к стиранию, вот то новое «единство, которое должно было быть осмыслено и понято как в макро- так и в микроперспективе».

«Литературное урочище» — так называется первая часть нашего сборника — подразумевает обживание некоторого сравнительно небольшого места не только людьми, но и литературой. Район Красных ворот, Басманных улиц — одно из таких мест Москвы, наряду с Арбатом, Девичьим полем, Поварской и другими. Славянофилы и Лермонтов, Чаадаев и В. Л. Пушкин — имена, так или иначе связанные с этим местом в истории русской культуры, поэтому мы и сочли возможным восстановить хотя бы в малой степени ассоциации, перекликающиеся с названием нашего сборника не только метонимически — «Ново-Басманная», потому что именно здесь территориально находится издательство, — но и в широком историко-культурном смысле.

В этом плане значительный интерес представляют



такие материалы, как письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому, публикации незаслуженно забытых интереснейших поэтов Д. Усова и Г. Шенгели, а также рассказ о необычных формах бытования печатной продукции — рукописных книгах первых послереволюционных лет.

Второй раздел сборника, «Писатель и время», содержит такие малоизвестные, но очень яркие по своему гражданскому пафосу материалы, как письмо М. Цебриковой к Александру III и письмо М. Волошина к военному министру, «Слово о погибели Русской Земли» А. Ремизова и полные тягостного, трагического звучания документы, повествующие о последней «одиссее» писателя Георгия Венуса, закончившего свою жизнь в заключении в годы разгула сталинских репрессий, когда даже стремление сказать свое слово вопреки установившимся мнениям и догмам приводило к непоправимым человеческим трагедиям.

Достаточно значительный по объему третий раздел сборника включает публикации, воспоминания, исследования и письма. Здесь прежде всего следует сказать о материалах, посвященных столетиям со дня рождения А. Ахматовой и Б. Пастернака, для популяризации творчества которых было немало сделано и делается издательством. Здесь же представлены малоизвестные и совсем неизвестные тексты советских писателей (А. Введенский, «Елка у Ивановых»; большая подборка стихотворений В. Нарбута, часть которых публикуется впервые из архива его внучки Т. Р. Нарбут), литературоведческие статьи, посвященные различным аспектам русской литературы (М. Гаспаров, «Фет безглагольный»; С. Гречишкин, А. Лавров, «Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел»; А. Парнис, «Блок и Маяковский. История одной встречи», а также материалы о связи отечественной и зарубежной литературы, ибо все это входит в понятие литературы как таковой и в практику издательства (Вяч. Вс. Иванов, «Гильгамеш» в переводе Гумилева»; В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян; «Нервалианский слой у Ахматовой и Мандельштама»).

И, наконец, последний раздел сборника «Русское зарубежье» представлен достаточно серьезными и значительными публикациями произведений писателей, имена которых лишь сравнительно недавно стали известны широким кругам читателей. Здесь прежде всего

следует упомянуть публикации произведений Арсения Несмелова, Ивана Елагина, Бориса Поплавского, Гайто Газданова.

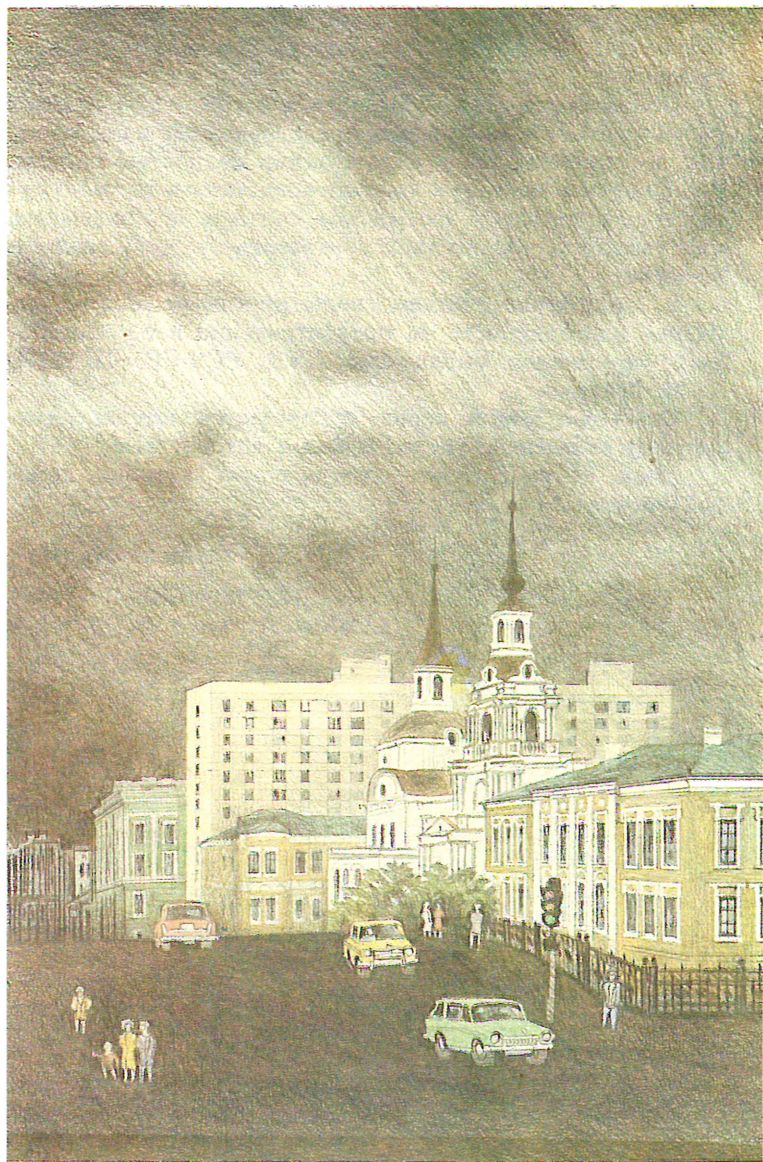
Обязательно следует сказать и о том, что с некоторыми положениями авторов, представленных в сборнике, как составитель, так и издательство полностью солидаризироваться не могут, однако представить реально существующую точку зрения мы считаем необходимым, что, впрочем, полностью соответствует духу нашего времени.

В заключение считаем своим приятным долгом выразить благодарность за предоставление изобразительных материалов библиотеке СТД РСФСР, ЦГАЛИ, Т. М. Митрян.

Открытие новой серии посвящается шестидесятилетнему юбилею «Художественной литературы».

Итак, почин сделан — теперь слово за тобой, дорогой читатель!

*Г. Анджапаридзе,  
директор издательства  
«Художественная литература»*



А. Голицын. Ново-Басманная улица

---

## ЛИТЕРАТУРНОЕ УРОЧИЩЕ







Литературное урочище — это и описание реального пространства и реальных событий, связанных с ним, и избрание этого пространства для «разыгрывания» поэтических (в противоположность «действительным») образов, мотивов, сюжетов, идей; это место вдохновения поэта, его радостей, раздумий, сомнений, страданий, место творчества и откровений, место, где он живет и где обретает вечный покой, место, где поэзия и действительность вступают в разнородные, иногда фантастические синтезы, когда различие вклада «поэтического» и «реального» становится почти невозможным, место, которое само начинает в значительной степени определяться этими, до поры казавшимися невозможными связями...

*В. Н. Топоров*

---

---



---

---

**Олег Волков**

**НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛИЦА**

В старых московских справочниках говорится, что название Новой Басманной восходит к профессии живших здесь когда-то мастеров «басманного шитья» и тиснения по металлу — меди, серебру и золоту, которыми славилась средневековая Москва. Современные исследования опровергают это объяснение, и теперь считается установленным, что в этих названиях отражено пекарское ремесло: район этих улиц занимала слобода хлебников, выпекавших «басманы» — караваи казенного хлеба для войска и царского двора, на которых ставилось клеймо дворцовых пекарей.

На известном «Мичуринском плане» Москвы 1739 года Новая Басманная значится в нынешних границах — от бывшей Красной, ныне Лермонтовской, площади до Разгуляя. И хотя раскинувшиеся тут прежде обширные огороды стали застраиваться усадьбами военных с конца XVII века, Новая Басманная превратилась в улицу знати позднее, во второй половине XVIII века, когда нахлынувшее из поместий дворянство захватило под свое жилье и эту улицу Москвы. Тут поселились князья Трубецкие, Голицыны, Куракины, граф Головкин, Нарышкины, Головины, Лопухины, Сухово-Кобылины и другие самые знатные фамилии России.

На этой улице и ныне по обе стороны старинные дома, — правда, всего больше богатых особняков конца XIX и начала XX века, построенных, наряду с доходными домами этого периода, промышленниками и купцами на месте дворянских усадеб. Именно из остатков

старинных парков составиллся нынешний Сад культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана. Где-то в его пределах стоял дом, принадлежавший прежде Левашевой, а затем ставший собственностью некоего почетного гражданина Шульца, у которого во флигеле безвыездно прожил более двадцати пяти лет Петр Яковлевич Чаадаев, литератор и мыслитель, близкий друг Пушкина, человек, оставивший заметный след в истории русской мысли своими «Философическими письмами», вызвавшими примечательное распоряжение Николая I, повелевающее считать их автора невменяемым.

Именно здесь, во флигеле на Новой Басманной, Чаадаев и сочинил свои «Письма», по поводу которых Пушкин написал ему ответное письмо, содержащее поразительную по точности аргументации и верности патриотической позиции критику взглядов своего друга, чохом отметававшего положительные начала истории России и проглядевшего за фасадом казарменных николаевских порядков огромное значение русской культуры. Правда, узнав, что публикация «Писем» навлекла на Чаадаева крупные неприятности, Пушкин не стал отсылать ему свое письмо, полагая невозможным обрушиваться с критикой на человека, подвергшегося преследованию властей. Он написал, сославшись на Вальтера Скотта, что «ворон ворону глаза не выклюнет». Но свое письмо он сохранил, оно дошло до нас, и я часто вспоминаю его строки, когда доводится знакомиться с превратным толкованием событий нашего прошлого или с предвзятой оценкой исторической роли ряда русских деятелей. Вот что писал Пушкин:

«...Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. <...> Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения <...> Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная

кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Чаадаев занимал во флигеле небольшую квартиру из трех комнат, в которой и принимал своих многочисленных гостей. Был он большим домоседом, никогда не ночевал вне дома — и любил беседовать с заезжими знаменитостями. Тут бывали: Лист, Берлиоз, Мериме, маркиз де Кюстин, печально известный своими мемуарами; не обегали его дома и отечественные звезды. Друзья Чаадаева, чтобы сделать ему приятное, как-то уговорили поехать к нему Гоголя, однако из этого приглашения получился конфуз. Гость повел себя донельзя странно: явившись в дом, Гоголь облюбовал удобное кресло и, продремав в нем весь вечер, не перемолвившись ни с кем ни одним словом, удалился. Салон Чаадаева был, впрочем, одним из самых посещаемых в Москве, о чем сохранился ряд свидетельств в мемуарах современников.

На той же стороне улицы, что и сад Баумана, находится больница его имени, прежде называвшаяся Басманной и пользовавшаяся широкой известностью у москвичей. История здания больницы возвращает нас к именам, уже нами названным. Строил его Казаков как жилой дом для внука Акинфия Никитича Демидова — Николая. Человек этот был сказочно богат, о чем мо-

жет дать представление неполный перечень сделанных им одновременно пожертвований на общественные нужды.

Родившись в 1773 году, Николай Демидов начал свою службу на флоте в должности адъютанта Потемкина. У нас нет сведений о его достоинствах морского офицера, однако российскому флоту он, несомненно, принес пользу, построив на свои средства фрегат. В 1807 году он отдал свой дом Гатчинскому сиротскому институту. В 1812 году содержал на свои средства Демидовский полк. В 1813 году передал утратившему все свои коллекции и библиотеку Московскому университету богатейшие демидовские собрания и коллекции; тогда же соорудил четыре чугунных моста в Петербурге. В 1819 году пожертвовал сто тысяч рублей на инвалидов, в 1824-м — пятьдесят тысяч рублей беднейшему населению столицы, пострадавшему от наводнения.

В 1825 году, за три года до смерти, отдал свой дом на Новой Басманной под «Дом трудолюбия» и сто тысяч рублей на его содержание. Несмотря на значительность демидовских пожертвований, я полагаю, что они нимало не отягощали его бюджет. Приведу лишь одну цифру: чистый доход дяди Николая Демидова — Анатолия Никитича — достигал двух миллионов рублей в год!

Неподалеку от больницы, против Бабушкина переулка, стоит дом, столько раз перекраивавшийся и надстраивавшийся, что сейчас и угадать невозможно, как он первоначально выглядел, хотя имеются сведения, что был он построен в XVIII веке и поражал современников величиной «цельных зеркальных окон». Ныне в нем отделение милиции, а до революции помещалась полицейская часть, в которой в 1876 году сидел арестованный Владимир Галактионович Короленко. Рядом с этим нелепым зданием — деревянный особняк, сохранивший благородные черты ампира: целы фронтон, гипсовая лепнина, декор оконных проемов. Он принадлежал Денисьевой, матери братьев Перовских, прижитых ею от графа Алексея Кирилловича Разумовского. Фамилия Перовских и позднее графский титул были присвоены потомству Разумовского по названию одного из его имений: Перово. Два сына его — Лев и Василий — были декабристами, Алексей — писателем, печатавшимся под псевдонимом «Погорельский», наконец, Василий Перовский был губернатором в Оренбурге. И у него — своего давнего приятеля — жил и пользовал-





А. Голицын. Виды старой Москвы

ся его содействием Пушкин, когда собирал в Оренбургском крае материалы для «Истории пугачевского бунта». К той же семье Перовских принадлежала и Софья Перовская, член террористической организации «Народная воля», казненная по делу «первомартовцев».

Имя позднейшей владелицы дома, Е. А. Денисьевой, тесно связано со славой русского Парнаса: именно к ней обращено проникновенное стихотворение Тютчева «Последняя любовь»; ее смерти он посвятил одно из самых ценных Толстым стихотворений — «Весь день она лежала в забвении...». Специально занимавшимся историей денисьевского дома известным исследователем московской старины писателем В. Н. Осокиным было установлено, что тут в свои приезды в Москву бывал Ф. И. Тютчев. Гостил здесь мальчиком и А. К. Толстой. Словом, вполне оправданны заботы Московского отделения Общества охраны памятников истории и культуры сохранить этот дом, связанный с именами, оставившими глубокий след в народной памяти.

Заслуживает упоминания еще один старинный дом на Новой Басманной, построенный в первой половине XVIII века. Он дошел до нас в непеределанном виде, и по-прежнему с фронтона его горделиво смотрит на улицу массивный герб со всеми геральдическими атрибутами. Он принадлежал знатнейшей особе, русскому послу во Франции, обер-шталмейстеру, тайному



А. Голицын. Виды старой Москвы

советнику, действительному камергеру и кавалеру князю Александру Борисовичу Куракину, прозванному за богатство и усыпанные драгоценностями кафтаны «бриллиантовым». Вельможа этот оставил по себе память тем, что учредил в 1742 году первую в России богадельню на двести человек, а девять лет спустя отдал под нее свой дом на Новой Басманной и капитал на ее содержание. К дому принадлежали дошедшие до нас флигели и церковь. Куракинская богадельня просуществовала вплоть до революции, находясь уже в ведении городской управы.

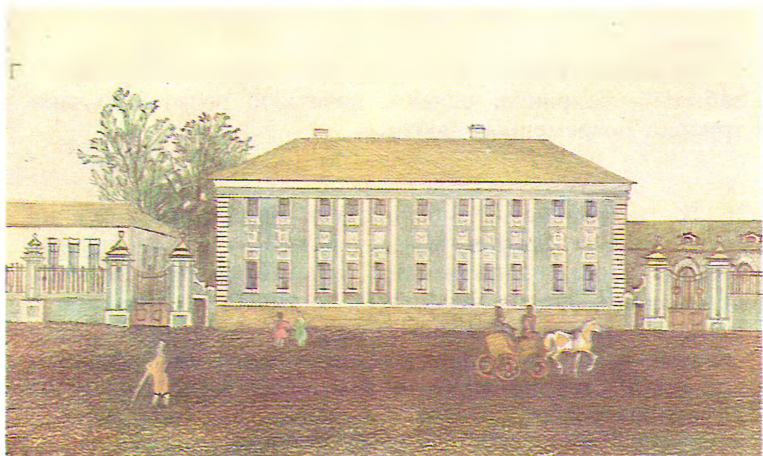
От начала XVIII века уцелела на Новой Басманной и церковь Петра и Павла, построенная в 1705—1723 годах. Известно, что Петр сам сделал рисунок и чертежи этой церкви и повелел сооружать ее в годы, когда было запрещено возводить где-либо в России каменное строение и всех каменщиков сгоняли на постройку Петербурга. Почему Петр так заботился именно об этой церкви — не ясно, но он не только сделал для нее исключение из указа, изданного им самим, но еще и отпустил на постройку две тысячи рублей из собственных средств.

Рассказ о Басманных я заключаю несколькими штрихами биографии одного видного деятеля XVIII века — Михаила Матвеевича Хераскова, долгое время жившего на Новой Басманной в домах, давно исчезнувших:

сначала в собственном доме (№ 21), сгоревшем в 1812 году, а затем у своего сводного брата — князя Н. И. Трубецкого (дом № 29). Ныне Хераскова почти не помнят, разве отчасти знают как баснописца, автора басни «Осел-хвастун», да, пожалуй, еще слышали о «Россиаде» — длиннейшей эпической поэме на сюжет покорения Казанского царства, которое Херасков, кстати, спутал с Золотой Ордой и потому отождествил падение Казани с освобождением Руси от татарского ига. Между тем этот человек оказал выдающиеся услуги делу просвещения.

Михаил Матвеевич Херасков родился в 1733 году и, по обычаю дворянских семей того времени, был отдан в шляхетский корпус — он происходил из знатной валашской семьи Хереско. — Но затем рано бросил Петербург и переехал служить в Московский университет, где ведал типографией в должности университетского асессора. По службе ему помогал отчим, князь Трубецкой, за которого вышла, овдовев, мать его, известная красавица, воспетая Сумароковым. Уже в тридцать лет Хераскова назначили директором университета, в котором он упорно и последовательно вел борьбу за внедрение в его обиход русского языка. В 1778 году он становится куратором и, пользуясь своим положением, устраивает переезд Н. И. Новикова, с которым его связывали давнишние отношения еще по Петербургу, в Москву и отдает ему в аренду университетскую типографию, книжную лавку и издание «Московских ведомостей», а затем всячески способствует его просветительской деятельности. Херасков добился чтения лекций на русском языке, учредил пансион при университете, открыл Педагогический институт, издавал журналы «Невинное упражнение» и «Свободные часы» и сам в них сотрудничал.

Любопытно отметить, что успеху университетской карьеры Хераскова способствовала Екатерина, благоволившая баснописцу за его участие в устройстве знаменитых коронационных торжеств в Москве в 1763 году, красноречиво названных «Торжествующая Минерва». Грандиозный уличный маскарад было поручено организовать актеру Федору Волкову и Хераскову, причем участие в нем последнего выразилось главным образом в сочинении куплетов, вложенных в уста сатирических масок, изображавших Взятколюба, Кривосуда, Обдиралова и других персонажей, характерных для россий-



А. Голицын. Виды старой Москвы

ской действительности. В куплетах высмеивался двор, обличались пороки вельмож, всевозможные недостатки. Стишки Хераскова настолько понравились москвичам, что, по свидетельству мемуариста, их распевали долгое время после празднеств. Он, правда, не сообщает, насколько они пришлись по вкусу Екатерине и ее приближенным, однако, если судить по милостям, оказанным организаторам торжества, императрица осталась довольна, справедливо заключив, что поносились в куплетах кто угодно, только не она — всемудрая Минерва!

Шествие с мифологическими персонажами, сатирическими масками, хорами, музыкой, аллегорическими сценами двигалось от центра города по Мясницкой улице к Красным воротам, далее по Новой Басманной, поворачивало на Старую Басманную и возвращалось к Кремлю по Покровке и Маросейке при огромном стечении публики — город мог убедиться, что, если богиня и торжествует, трон ее поддерживают отнюдь не светлые гении...

Отмечу, что, когда в конце царствования Екатерины начались преследования масонов и обрушилось гонение на Новикова, опала коснулась и Хераскова. Не припомнились ли постаревшей царице мерзкие хари шествия в честь Минервы и острые слова распеваемых ими куплетов, сочиненных куратором университета,

подозрительно горячо ратующим о народном просвещении?..

Херасков умер в 1807 году в Москве, основательно забытый, сохранив, однако, почетную репутацию «патриарха современных поэтов».

Я смотрю на Лермонтовскую площадь и вижу на месте сквера против Министерства путей сообщения Сенной торг, заполненный крестьянскими возами, обывателей, приценивающихся к товару у мужиков в длинных армяках. Шумно, людно... Вдруг оживление стихает и на площади становится тихо. Все оборачиваются в сторону ворот в Земляном валу, торопливо обнажают голову. Оттуда показались всадники, вольно едущие со стороны Мясницкой. Впереди, на статной силовой лошади, маленькой под рослым седоком, едет царь Петр. Изменив обычая отцов, он выезжает за город из Кремля новой дорогой — по Мясницкой улице. И ездит он более не в село Преображенское, а в любезную ему Немецкую слободу.

Возле Сенного торго Петр останавливает лошадь и слезает. Тут находится лучшая австерия Москвы, и царь неизменно заходит сюда, чтобы на перепутье опорожнить чарку анисовой водки, которую торопится вынести ему навстречу трактирщик. Этому царю никаких путевых дворцов не требовалось — он всегда спешил.

Спешит и время...



---

---

М. А. Бобрик, А. Л. Зорин

**К ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  
(СТАТЬЯ «О МОСКОВСКОМ НАРЕЧИИ» И ЕЕ АВТОР)**

Статья «О московском наречии», опубликованная анонимно в февральском выпуске журнала «Свободные часы» за 1763 год, уже несколько раз обращала на себя внимание исследователей. Различные точки зрения высказывались относительно возможного автора статьи. В 1934 году В. В. Виноградов совершенно категорически, хотя и безо всяких аргументов, приписал ее А. П. Сумарокову, а в 1952 году П. Н. Берков, основываясь на ее «полушутливом тоне», высказал предположение об авторстве А. А. Ржевского, к которому позднее осторожно присоединились Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, полагающие, что статья написана «кем-то из учеников Сумарокова, может быть, А. А. Ржевским», и А. А. Алексеев<sup>1</sup>.

Во всех перечисленных работах интересующая нас статья упоминается вскользь и служит лишь иллюстративным материалом, не становясь предметом самостоятельного рассмотрения. Между тем «О московском наречии» представляет собой исключительно важный

---

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934, с. 115; Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в. Л., 1952, с. 142; Лотман Ю., Успенский и Б. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры.— Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 358. 1975, с. 226; Алексеев А. А. Язык светских дам и развитие языковой нормы в XVIII веке.— Функциональные и социальные разновидности русского литературного языка XVIII века. Л., 1984, с. 82.



А. Голицын. Виды старой Москвы

документ по истории не только литературного языка, но и общественной мысли XVIII века. При этом своего рода ключом к интерпретации скрытых в этом небольшом тексте историко-культурных смыслов может служить вопрос об авторе статьи.

Для начала попытаемся встать на точку зрения В. В. Виноградова и привести возможные доводы в пользу гипотезы об авторстве Сумарокова. Прежде всего, будучи своеобразным литературным патроном кружка московских литераторов, группировавшихся вокруг М. М. Хераскова, Сумароков изредка, но регулярно печатался в обоих журналах этого кружка — как в «Полезном увеселении» (1760—1762), так и в «Свободных часах» (1763)<sup>1</sup>. При этом его сотрудничество в последнем издании несколько активизировалось именно в начале 1763 года, когда он прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю коронации Екатерины II и в подготовке маскарада «Торжествующая Минерва». Существенно, что Сумароков, в отличие от других постоянных авторов херасковских журналов, много и активно выступал по проблемам языка,

<sup>1</sup> Не устроено А. Н. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных А. Н. Неустроевым. СПб., 1874, с. 83—89, 93—96.



А. Голицын. Виды старой Москвы

будучи при этом убежденным апологетом «нежности» московского наречия, в недостаточно глубоком знании которого он постоянно упрекал М. В. Ломоносова. «То еще и страннее, что многие правилу сему (употребления буквы Е.— А. З., М. Б.) (...) следуют, то только в доказательство приемля: «тако сказал Пифагор», а Пифагор московского наречия не знает, ибо он родился в деревне такого уезда, где говорят не только крестьяня, но и дворяня очень дурно; а мы, москвитяня, должны ли сему правилу повиноваться?..» — писал Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» в 1759 году<sup>1</sup>, а в начале 1770-х годов почти полностью повторил это рассуждение в статье «О правописании», заменив прозрачную ссылку на Пифагора прямым выпадом в адрес Ломоносова<sup>2</sup>. Добавим к этому, что, поддерживая московскую «акающую» произносительную норму, Сумароков выступал против ее отражения в орфографии, иронизируя над дамским правописанием типа «Матушка мая, галубушка, атпиши-ка мне, душа мая, где ты купила вчерашней градитур»<sup>3</sup>. Наконец, в статье 1759 года «К типографским наборщикам» Сума-

<sup>1</sup> Сумароков А.П. Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе, ч. IX. М., 1787, с. 278—279.

<sup>2</sup> Там же, ч. X, с. 6—7.

<sup>3</sup> Там же, с. 31.

роков отмечал расхождения между буквой и звуком в русском языке, подчеркивая, что «все гласные в выговоре часто пренебрегаются»<sup>1</sup>.

Таким образом, связь статьи «О московском наречии» с некоторыми идеями Сумарокова представляется несомненной. И все же более тщательный анализ убеждает, что предположение о принадлежности статьи его перу приходится отвергнуть.

Отметим, что, выступая в херасковских журналах в роли мэтра, Сумароков не публиковал своих материалов анонимно, а подписывал их легко понятными читателю инициалами А. С. Важнее, однако, то, что самый текст статьи содержит целый ряд положений, совершенно чуждых сумароковским взглядам. В первую очередь обращает на себя внимание очевидная ориентация автора статьи на «Российскую грамматику» Ломоносова (1757), которая, по мнению Сумарокова, «привела множество людей во глубину невежества»<sup>2</sup>. В апреле 1763 года Сумароков опубликовал в тех же «Свободных часах» исключительно резкую эпиграмму «Обезьяна стихотворец» («Когда с кастальских вод вернулась обезьяна...»). Между тем автор «О московском наречии» не только прямо отсылает своих читателей к ломоносовской грамматике, но в ряде случаев и черпает из нее свои наблюдения. Особенно важна для нас предложенная в статье трактовка употребления гласных Е и И. Явное предпочтение отдается здесь букве Е, так как она «сама собою гораздо приятнее в выговоре, нежели И, которую и в музыке убежать стараются». Буква Е радует не только слух, но и глаз автора статьи, отмечающего ее «стройное <...> тело и то, что оно Нептунов трезубец изображает». Такая позиция явно воспроизводит точку зрения Ломоносова, писавшего в 119 параграфе «Российской грамматики»: «Что ж до слуху надлежит, в том уверяют музыканты, которые в протяжных распевах букву И обходят, не протягивая на ней долгих выходов, но выбирая к тому А или Е. Сверх того свойство нашего Российского языка убегает от скучной буквы И»<sup>3</sup>. Та же мысль высказана Ломоносовым и в его эпиграмме на В. К. Третьяковского, написанной в период работы над грамматикой:

<sup>1</sup> Сумароков А. П. Стихотворения. Л., 1935, с. 375.

<sup>2</sup> Сумароков А. П. Полн. собр..., ч. X, с. 24.

<sup>3</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII. М.—Л., 1950—1959, с. 432.

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,  
Дабы на букве А всех доле остояться;  
На Е, на О притом умеренность иметь;  
Чрез У и через И с поспешностью лететь:  
Чтоб оным нежному была приятность слуху,  
А сими не принести несносной скуки уху. (...)  
Довольно кажут нам толь ясные доводы,  
Что ищет наш язык везде от И свободы<sup>1</sup>

Сумароков занимал по этому вопросу противоположную позицию; «Не знаю кому, или лутче не хочу сказать кому, не показалася Литера I и того же произношения Литера И; и для того уставил он новое и странное правило очень часто пременять ее в литеру Е»<sup>2</sup>, — писал он в 1759 году в статье «К несмысленным рифмотворцам». Насколько принципиальным был этот вопрос для писателя, можно судить по тому, что и более чем десять лет спустя в статье о правописании он вновь вернулся к тем же мыслям: «Удивительно мне, что г. Ломоносов возненавидел литеру I, часто ее переменял в литеру Е (...) а Е и в начертании худо: а во произношении (...) речений еще хуже»<sup>3</sup>.

Мы умышленно не говорим здесь о конкретном грамматическом содержании полемики между Сумароковым и Ломоносовым<sup>4</sup>. Дело в том, что, в отличие от обоих своих предшественников, автор статьи «О московском наречии» вопрос о сравнительном достоинстве той или иной буквы вообще не связывает с проблемой правильного написания, он полностью сосредоточен на проблемах произношения, декларируя уже в первой фразе, что «красота языка прежде всего познавается от приятного выговора речений». В статье отчетливо различаются письменная и устная сферы языка, «язык, которым пишут знающие по-русски» и «тот, которым говорит Москва и целая почти Россия». При этом автора интересует почти исключительно разговорный язык, непререкаемыми законодателями в котором оказываются московские дамы, «наши прекрасные грамматисты», и потому статья полностью свободна от каких бы

<sup>1</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 542.

<sup>2</sup> Сумароков А. П. Полн. собр... т. IX, с. 278.

<sup>3</sup> Сумароков А. П. Там же, ч. X, с. 6, 24.

<sup>4</sup> См. об этом: Успенский Б. А. К истории одной эпиграммы Тредиаковского. (Эпизод языковой полемики середины XVIII в.) — Russian Linguistics, vol. 8, № 2, p. 75—127.

то ни было нормализаторских задач, неизменно отличающих писания на эту тему как Сумарокова, так и Ломоносова. Даже столкнувшись с вызывающим у него недоумение произношением буквы Е как И, автор не рекомендует читателям изменить произносительную практику, а ищет объяснений этому явлению в том, «что И делает союз в речах наших и для сего единого имени вошло в такое почтение». Точно так же он не пытается увидеть в письменном языке норму для устного или наоборот, но предлагает «прекрасным изобретательницам нового наречия» и «знающим по-русский» прийти к компромиссу, при котором «одни так говорить будут, как не пишут, а другие так писать станут, как не говорят».

Такой отказ от жестких языковых рекомендаций характерным образом определяет стиль статьи. Это ни в коем случае не трактат, ибо автор ничего не стремится обосновать, и не полемическое выступление, ибо он ничего не оспаривает, — но свободное размышление, где роль доводов принимают на себя нарочито произвольные сопоставления, когда способность звука «а» слышаться на месте других букв объясняется первенством «аза» в алфавите и, следственно, почтением, которое «имеет народ наш к начальникам своим». Игра ассоциаций, замещающая аргументацию, служит здесь своего рода стилистическим эквивалентом описываемому свойству «всех почти гласных и согласных букв переменяться одна в другую». В этом плане существенно то, что в композиционном и смысловом центре статьи оказывается рассуждение о слове «ветренность»: «Ветренность произносится ветренась. Сие слово и само собою, и в другом знаменовании изображает ветер. Удивительно ли, что ветер постоянен не бывает; может быть, и во всей азбуке сие слово произвело такое важное смятение, потому что другие слова, напр⟨имер⟩: любовь, никогда не уступает силы своей».

Отметим, что именно «перемена» О в А показывает, по мысли автора статьи, «истинную красоту языка», а следовательно, московское наречие обязано своим «согласным, великолепным и чистым произношением» особой ветрености создавших его красавиц. Разумеется, идея эта не может претендовать ни на лингвистическую, ни на этическую строгость, но она весьма показательна для умонастроения автора, крайне далекого от сумароковского рационализма.

И здесь мы должны вернуться ко второй из выдвигавшихся гипотез, а именно к точке зрения П. Н. Беркова, усмотревшего, на наш взгляд справедливо, в «полушутливом тоне» статьи сходство с прозаической манерой А. Ржевского.

Надо сказать, что авторство А. Ржевского может во многом объяснить близость многих программных положений статьи к воззрениям Сумарокова, одним из самых преданных учеников которого он был. По словам Г. А. Гуковского, «с <...> Сумароковым Ржевский был издавна связан дружбой, какая только могла быть между людьми, из которых один, прославленный поэт, был на 20 лет старше другого»<sup>1</sup>. Центральный прозаический цикл Ржевского, появившийся в «Свободных часах», называется «Письма к наборщикам». Никак не связанное с тематикой пяти вошедших в цикл сатирических очерков<sup>2</sup>, заглавие это служит лишь знаком причастности к традиции, отсылая к напечатанной четырьмя годами ранее в «Трудолюбивой пчеле» статье Сумарокова «К типографским наборщикам». В статье «Сбытие сновидения» Ржевский, явно имея в виду Сумарокова, говорит о писателе, пишущем «чистым московским языком»<sup>3</sup>. В тексте «О Московском наречии» развит ряд характерных сумароковских мотивов, переработанных, однако, в совершенно оригинальное построение.

Чрезвычайно существенное различие между позициями Сумарокова и автора статьи в «Свободных часах» заключено в их представлениях о статусе московского наречия. Для Сумарокова, как, заметим, и для Ломоносова, оно является одним из, пусть важнейших и благозвучнейших, диалектов русского языка. Более того, в позднейшей работе Сумароков подчеркивает узость распространения «прекрасного произношения московского, которое почти одни только приближенные к Москве крестьяня употребляют»<sup>4</sup>. В интересующей нас статье, напротив, отмечается, что наречием, о котором идет речь, пользуется «Москва и целая почти Россия». Более того, здесь дважды употребляется выражение «мос-

---

<sup>1</sup> Гуковский Г. А. Русская поэзия. Л., 1927, с. 151—152.

<sup>2</sup> См. о них С м у с и н а М. Л. Прозаический цикл А. А. Ржевского «Письма к наборщикам». — Проблемы изучения русской литературы XVIII века, вып. 2. Л., 1976.

<sup>3</sup> Полезное увеселение, 1762, март, с. 123.

<sup>4</sup> С у м а р о к о в А. П. Полн. собр..., ч. X, с. 42.

ковский язык», которое никогда не встречается у Сумарокова, но отыскивается в статьях Ржевского. Думается, что в данном случае это совпадение весьма знаменательно, ибо для автора рассматриваемой статьи понятие «московский язык» не случайная обмолвка, но естественное следствие его представлений о самостоятельности устного языка от письменного. Примечательно, что словосочетание «московский язык» встречается, правда, с меньшей терминологической определенностью, в «Разговоре... об орфографии» (1748) В. К. Третьяковского, причем именно там, где он говорит о московском аканье: «Все (о), во всем Российском произношении, произносятся так, как того требует звон. Но московский язык, и сим самым первенствующий из всех прочих провинциальных, произносит все (о), ударяемые силою, как (о); но которые не ударяются силою, те оный главнейший выговор произносит как (а)»<sup>1</sup>.

Можно предположить, что, наряду с «Российской грамматикой» Ломоносова, «Разговор... об орфографии» Третьяковского послужил одним из источников статьи в «Свободных часах», ибо именно у Третьяковского в скрытой форме содержится мысль о связи московского диалекта с дамской речью. Так, в одном из пассажей своего трактата он называет аканье чертой «нежнейшего московского выговора», а в другом отмечает, что «нежный дамский выговор давно у нас звоны наблюдает. А дамы кого себе не заставят, не присиливая впрочем, последовать?»<sup>2</sup> Эпитеты «дамский» и «московский» выступают здесь, по существу, синонимами. Это сближение, на которое лишь намекнул Третьяковский, и было развито в статье «О московском наречии», где «красоте и нежности женского пола, которым пространная Москва везде прославилась», приписано «умягчение грубости древнего языка».

Это рассуждение можно сопоставить с обращением к «красавице московской» из III анакреонтической оды Ржевского, напечатанной в июне 1763 года в «Свободных часах»: «Других стихи приятно // Писати научают // Красавицы Парнасски; // Меня стихи приятно // Писати научает // Красавица Московска. // Мне токи Ипокрены // Искусства не вливают; // Мне токи рек Мос-

---

<sup>1</sup> Третьяковский В. К. Разговор... об орфографии. СПб., 1748, с. 148.

<sup>2</sup> Там же, с. 415.



ковских // Писать дают охоту»<sup>1</sup>. Интересно, что в другом стихотворении Ржевского, «Письмо А. В. Н (арышкину)», сугубо положительную оценку получает изменчивость человеческих чувств и желаний, своего рода ветреность: «Тот не старается, Нарышкин, рассуждать, // Премени тщится кто желаний оуждать: // Нас в бедной участи то часто утешает, // Что человек свои желанья превращает...»<sup>2</sup>

Как показал Б. А. Успенский в книге «Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века...», культурно-языковая программа карамзинизма связана с идеями раннего Третьяковского 1730-х годов об ориентации на «употребление» и речь «хорошего общества»<sup>3</sup>. Роль посредствующего звена в этой преемственной связи, полагает исследователь, мог выполнять Сумароков<sup>4</sup>. Думается, однако, что языковые взгляды литераторов херасковского круга, как они выражены в статье «О московском наречии», ближе к программе карамзинизма, чем высказывания Сумарокова. В восприятии современников карамзинизм — специфически московское явление. Напомним в этой связи, что издание, со страниц которого обратился к читателю Н. М. Карамзин, называлось «Московский журнал» и что программная для карамзинизма статья П. И. Макарова появилась на страницах «Московского Меркурия». Автор статьи «О московском наречии», отстаивавший идею языкового авторитета Москвы и московских дам, может рассматриваться как один из непосредственных предшественников Карамзина и его круга.

Чтобы еще отчетливее увидеть эту связь, полезно взглядеться в облик литератора, которому — совокупность приведенных фактов позволяет уже, на наш взгляд, утверждать это с достаточной определенностью — и принадлежит статья «О московском наречии».

Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804) вошел в литературу со скандалом. Его «Сонет, или Мадригал Либере Саке, актрисе италийского вольного театра» был вырезан из журнала «Ежемесячные сочинения», по-

---

<sup>1</sup> Свободные часы, 1763, июнь, с. 360.

<sup>2</sup> Там же, февраль, с. 99.

<sup>3</sup> Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1985.

<sup>4</sup> Успенский Б. А. К истории..., с. 102.

скольку во фразе «Пусть наших дам язык клеветет ты хулою» был усмотрен намек на весьма высокопоставленных особ, если не на саму императрицу Елизавету Петровну. Одновременно Ржевский сотрудничал в оппозиционной «Трудолюбивой пчеле» Сумарокова, а с началом в 1760 году «Полезного увеселения» постепенно становится ведущим автором херасковских изданий. Литературная продукция Ржевского этих лет весьма велика. По подсчетам Г. А. Гуковского, он в течение трех лет опубликовал в «Полезном увеселении» и «Свободных часах» 225 стихотворений<sup>1</sup>, а в 1762—1763 годах активно работал и в прозе, став автором большинства оригинальных материалов, публикующихся на страницах «Полезного увеселения» и «Свободных часов». Однако затем творческая активность Ржевского резко спадает. Во второй половине 1760-х годов он поставил на сцене две трагедии (одна из них утрачена, а другая была опубликована только в 1956 году<sup>2</sup>), а затем почти совсем прекратил писать, полностью отдавшись государственной деятельности и мasonicким занятиям. Перед нами весьма характерный жизненный путь талантливого аристократа-дилетанта, отдавшего в молодости дань литературным увлечениям. Поэзия Ржевского, забытая уже при жизни автора, была заново открыта Г. А. Гуковским в книге «Русская поэзия» и широко представлена в сборнике «Поэты XVIII века» (т. 1, 1972). Его проза не переиздавалась никогда.

В своей книге «Очерки по истории русской литературы XVIII века. Дворянская фронда в литературе 1750—1760-х гг.» (1936) Г. А. Гуковский проанализировал социальную подоплеку литературной платформы Сумарокова и его учеников, увидев в ней сознательную оппозицию образованного дворянства набирающей силу бюрократии и придворному фаворитизму. Существенно, однако, что московские журналы херасковского круга вносят в эту борьбу принципиально новые мотивы, перенося центр тяжести с прямой критики на утверждение морального и культурного превосходства дворянской элиты, центром которой, в противовес госу-

---

<sup>1</sup> Гуковский Г. А. Русская поэзия, с. 152.

<sup>2</sup> Ржевский А. А. Подложный Смердий. Трагедия.— Театральное наследство. М., 1956, с. 143—188.

дарственно-чиновничьему Петербургу, оказывается Москва<sup>1</sup>.

Как показали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, идеологические споры в русской культуре часто разворачивались как споры о языке<sup>2</sup>. Соответственно и приоритет второй столицы обеспечивался универсальной значимостью московского диалекта, или, по Ржевскому, языка. Следующим шагом в утверждении культурной и социальной автономии Москвы стала деятельность в 1780-х годах московских масонов, группировавшихся вокруг Н. И. Новикова. Известно, какое выдающееся место занимал среди них бывший издатель «Полезного увеселения» и «Свободных часов» М. М. Херасков. Что же касается самого Ржевского, то он, будучи в то время видной фигурой в мире масонов Петербурга, не утрачивал связей со своими московскими собратьями<sup>3</sup>. Именно в этом кругу вырос и сформировался Н. М. Карамзин.

Разумеется, сейчас невозможно сказать, был ли Карамзин знаком с маленькой статейкой, затерявшейся на страницах забытого журнала. Да это и не так важно. Воздействие на него идей, сформулированных Ржевским, не могло быть глубоким — слишком, при всех сходствах, велики различия в позициях обоих писателей. Нормализаторские усилия Карамзина были сосредоточены в области не столько произношения, сколько словоупотребления и синтаксиса. Но главное — в отличие от Ржевского, решительно выступавшего против требования «писать так, как мы говорим», Карамзин ставит этот принцип в центр своей языковой программы и стремится преобразовать письменный язык на основе речевой практики «хорошего общества». И все же значение публикуемой ниже статьи не стоит недооценивать. Перед нами документ, предвосхищающий многие аспекты самой знаменитой полемики в истории русского литературного языка, свидетельство об умонастроении просвещенного российского дворянства 1760-х годов, одна из реплик нашего города в его двухвековой тяжбе за первенство с Северной Пальмирой.

<sup>1</sup> Показательно, что именно обилием дворянских семей мотивировалась, в частности, необходимость открытия именно в Москве университета с гимназией.

<sup>2</sup> Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. Ученые записки Тартуского университета, вып. 358. Тарту, 1975.

<sup>3</sup> Серман И. З. А. А. Ржевский.— Поэты XVIII века, т. 1. Л., 1972, с. 59—60.

## О МОСКОВСКОМ НАРЕЧИИ

Красота языка прежде всего познавается от приятного выговора речений; когда слух согласным, великолепным и чистым произношением слов проникаем бывает, тогда мы почитаем таковые языки прекрасными. Таков италийский, происходящий от латинского, и московский, основанный на славянском, который великолепием и изобилием своим никакому языку в свете не уступает, или, пристойнее, все красоты прочих языков в себе имеет.

Согласуясь с красотой и нежностью женского пола, которым пространная Москва везде прославилась, умягчилась грубость древнего языка и произвела приятное, чистое и пленяющее наречие по всей России.

Не без роптания чрез многие годы грамматисты слушали сию новую перемену, которая вероломством казалась им, но сила все препятствия одолевает, а красота приводит к покорности, наречие в устах красавиц претворяет самые основательные правила по их желанию и делается время от времени законным. Нынешнее московское наречие есть ясный образец сей перемены, ежели мы захотим признаться, что мы сделались только последователями сего нового введения в язык наш, и, думаю, пристойнее уступить сию погрешность, ежели хорошее погрешностью назвать можно, прекрасному полу, которым и нежность языка свойственнее и которых пристрастием и мы оправдаться можем.

Такова сила красоты: разрушала города, побеждала народы, уничтожала храбрость воинов, зверство тиранов и, наконец, коснулась твердому основанию языков, рассеяла их правила и дала им новый вид, который, уподобясь им, слух наш и сердца наши пленяет.

Однако еще не довольно силы имели наши прекрасные грамматисты, некоторая часть самых здешних жителей осталась при прежней грубости, чем сложение сердец своих явно доказывают, и нам писать о них не нужно. Перемена языка, которая столь чувствительною для старинных книг сделалась, не дале простирается, как до одних только разговоров<sup>1</sup>. Язык, которым пишут знающие по-русски, отличен от славянского, а тот, которым говорит Москва и целая почти Россия, отличен от наших писем и от произношения, которое во оных употребляется<sup>2</sup>.

В новом языке нашем, названном московским, все почти гласные и согласные буквы переменяются одна в другую. Однако А, как начальная буква нашей азбуки и счета нашего<sup>3</sup>, остается при своих правах и силе и не только сам никогда не переменяется, но еще и другие гласные из слов выталкивая, иногда становится сам на их места — такое-то почтение имеет народ наш к начальникам своим, а может быть, в рассуждение его нежности сие преимущество имеет он, что многим дает верх над другими.

Сие право, которое А пред прочими буквами имеет, окажется в своем месте, теперь следует по порядку гласных Е, которое, не взирая на стройное его тело и то, что оно Нептунов трезубец изображает, в разговорах переменяется в тонкое ИО, а особливо в именах, где ударение на Е бывает, например, береза, дерн, клен, тетка и проч. выговаривается бериоза, диорн, тиотка, клион, также и в других падежах и временах, где голос на Е упирается, переменяется оно в ИО. Сие превращение Е в ИО, нимало не повреждая силы и важности слов российских, делает их нежными и приятными; в самом деле, тотчас можно услышать некоторую сладость в языке нынешнего века, например: не лучше ли сказать вместо: орел несет елку, ариол несиот иолку. Е переменяется иногда в О, например: вместо жег, щет произносится жог, щот. В уменьшительных именах и падежах переменяется Е в И, наприм⟨ер⟩: тоненькой выговаривается тонинькой. Но сия перемена для меня очень удивительна. Буква Е сама собою гораздо приятнее в выговоре, нежели И, которую и в музыке убегать стараются. Чудно, что И получило преимущество перед Е; разве оно для того предпочтено ему, что И делает союз в речах наших и для сего единого имени вошло в такое почтение; по сей причине дать первенство ему перед Е можно, ибо союз в другом разумении есть дело великое, а особливо доброе.

Однако сколько И ни сильно и сколько ни почтенно в рассуждении того, что оно чин союза отправляет, переменяется и сия буква в речах наших, а особливо когда пред собою Ъ встречает, наприм⟨ер⟩: в известии говорится вызвести<sup>4</sup>. О без изъятия переменяется в А, когда не стоит над ним ударения. Те слова, в которых сила<sup>5</sup> на О падает, произносятся так, как и пишутся, напр⟨имер⟩: прямой, худой, седой и проч. по той причине, что О в сих словах звончее прочих букв произно-

сится, но в других, где голос будто перелетает мимо О,— там занимает его место А, например: добро, худо прямо выговаривается дабро, худа, пряма и проч., однако ни А в сих словах, ни О не произносятся ясно, но обе сии буквы вместе слитно выговариваются.

Односложные слова с О произносятся без переменны сей буквы, ибо весь голос в таких словах на гласную ударяется, которые, как выше уже сказано, не переменяются при своей силе.

Итак, где О не имеет над собою ударения, там уступает место А, как начальнику всего своего рода А, хотя и отнимает при таких случаях у него силу, но всегда так близко подле себя его ставит, что непременно надобно их выговорить вместе, ежели говорить московским наречием, например: ветренность произносится ветреность. Сие слово и само собою, и в другом знаменовании изображает ветер. Удивительно ли, что ветер постоянен не бывает; может быть, и во всей азбуке сие слово произвело такое важное смятение, потому что другие слова, напр(имер): любовь, никогда не уступает силы своей. Но кто осмелится убавлять силы сего слова, которое с такою отменою не только над буквами, но и над людьми властвует: любовь при всяких случаях в своей силе остается; следственно, и имени ее никто преобразить не осмеливается.

Перемена О в А всех прочих букв нужнее для нашего разговора: она истинную красоту языка показывает, и примеров тому множество сыскать можно, как лучше сказать: пошел по доброй дороге или пашол па добрай дароге. Из сего можно видеть хороший вкус предков наших и что они приятность слова довольно чувствовать могли, когда с таким успехом и удачею язык свой от прежней грубости очистить умели, не заимствуя красоты и нежного выговора от других языков. Должно желать, чтоб подобным образом в наши веки от чужестранных слов и неправильного употребления сей приятный язык очищен был. Буква У никогда не переменяется и где как пишется, так и произносится. В славянских книгах ставится перед У О для умягчения в произношении сей буквы, которая в самом деле сама собою груба и требует неотменной мягкости в выговоре<sup>6</sup>. Буквы Я, Ю, Ы суть двугласные и составлены: Я из И и А, Ю из И и У, Ы из Ъ и И; произносятся они так же, как и пишутся, с тою только разностию, что когда из них стоит которая в одном слове с гласною или при окончании слова, то

произносится чисто и звонко, напр⟨имер⟩: сильная, моя, вею, а после согласных Я при конце слова отзывается как А, а Ю — как У, напр⟨имер⟩: с корня, видя, люблю, зрю и пр. Ы никогда не переменяется в другую гласную и произносится везде, так, как и пишется.

Что надлежит до согласных букв, они все почти одна в другую переменяются, о чем в грамматике господина Ломоносова на 47 и 48 страницах обстоятельно писано. Чтоб не продлить письма моего, я окончиваю излишние подробности больше для того, чтоб не нанести скуки моим читателям, а особливо читательницам, ежели я иметь их буду, которым еще нечто осталось мне представить.

Пространная Москва и едва не вся Россия последуют изобретенному ими наречию; я утверждаю сие мнение для важных причин. Разумные читатели отгадают оные; когда великое множество народа из одной благопристойности и склонности к прекрасному полу переменило древнее свое наречие и согласилось с их желанием, не сделают ли наши прекрасные изобретательницы нового наречия сего снисхождения, чтоб тот язык употреблять в своих письмах, который у знающих по-русски употребителен. Тогда между ими будет равновесие: одни так говорить будут, как не пишут, а другие так писать станут, как не говорят. Сию честь сделать правильному нашему языку добрый разум требует и почтение к остаткам старины.

Я угадываю наперед, что многие скажут: для чего и не писать так, как мы говорим? Такая вольность будет уже безмерно велика, и наконец не останется и следов древнего языка нашего. Мы отменим старое наречие в разговорах наших, отменим его в письмах, потом насеем в свой язык чужестранных слов, наконец, вовсе по-русски позабыть можем, что очень жалко, и такого убийства с природным своим языком ни один еще народ не делал, хотя уже и так конечным истреблением наш язык угрожается. Впрочем, лучше свой стараться исправить, нежели чужой предпочесть своему, — в том больше чести народу и славы языку, и думать о том похвально и нужно.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Говоря об эволюции русского языка и его улучшении, автор отмечает их не только в языке «разговоров», то есть в обиходной речи, но и в языке «старинных книг», имея в виду Библию, церковнославянский текст которой стал более понятным современному читателю в результате исправления и некоторого упрощения ее языка филологами-редакторами при подготовке в 1712—1751 гг. издания так называемой Елизаветинской Библии (СПб., 1751).

<sup>2</sup> Под «произношением», употребляемым в «письмах», здесь понимается орфография русских гражданских текстов.

<sup>3</sup> «Аз» — первая буква славянского (церковнославянского) алфавита. В славянской азбуке, каждая буква которой имеет числовое значение, обозначает единицу.

<sup>4</sup> Орфография XVIII в. удерживала букву Ъ («ер») на конце слов после твердых согласных, поэтому в тексте Ржевского пример автора записывается: «въ извѣстии».

<sup>5</sup> Здесь слово «сила» имеет терминологическое значение «ударение»; в тексте статьи это слово используется и в своем основном значении «мощь», «способность».

<sup>6</sup> В славянском алфавите, применявшемся в книгах церковной печати, диграф (двойной знак) «ОУ» служил одним из знаков для передачи звука «У». Первый элемент этой буквы, вопреки объяснению Ржевского, был лишен звукового значения и имел чисто графический смысл: в церковном произношении буква «ОУ» читалась не как дифтонг «ОУ», а как один звук «У».



С. И. Панов

### СТИХОТВОРЕЦ СО СТАРОЙ БАСМАННОЙ

Одной из колоритных фигур шумной и пестрой литературной жизни Москвы начала XIX века был Василий Львович Пушкин, дядюшка великого поэта.

Василий Львович родился в Москве 27 апреля 1766 года; получив в доме отца, полуопального богатого барина, отставного подполковника артиллерии, изрядное по тем временам образование, пристрастившись к литературе и театру, он отправился в Петербург на службу в гвардейский Измайловский полк, куда еще с малолетства был записан сержантом. В северной столице служба свела его с И. И. Дмитриевым, в то время уже опытным, хотя и не широко известным поэтом, ближайшим другом Н. М. Карамзина. Это знакомство имело решительное значение для будущей судьбы Пушкина, определив его литературные контакты и ориентацию. В армии он прослужил недолго, с чином поручика вышел в отставку и вернулся в Москву.

Сначала Пушкин поселился на Яузе и зажил весело и открыто. «Тогда он не думал и не хотел отдыхать, а с ним и все поколение его. С силами собираться было нечего: силы были все налицо — свежие, кипучие»<sup>1</sup>. Василий Львович закружился в круговороте светской жизни древней столицы; эпистолярные и мемуарные свидетельства современников рисуют его необыкновенно жизнерадостным, вечно восторженным щеголем, чуть полнеющим добряком.

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 8. СПб., 1883, с. 506.



Василий Львович Пушкин

«Он был чрезвычайно добродушен. Не сердился на шутки, был постоянен в дружбе и дорожил сохранением приятельской связи; был человек светский, хорошего тона и вообще приятен в обществе»<sup>1</sup>. Между тем шутки сыпались на Пушкина постоянно, нередко становился он жертвой розыгрышей и мистификаций.

Дальний родственник Василия Львовича и его близкий знакомец А. М. Пушкин не один раз забавлялся тем, что распускал слухи о его смерти. В 1816 году этим слухам «чуть было не поверил» Карамзин, а в начале 1821 года они серьезно всполошили литературный мир. «Сейчас получаю известие из Москвы об ударе Пушкина, и сердце у меня замирает... Бедный Василий Львович!» — писал из Варшавы в Петербург к А. И. Тургеневу П. А. Вяземский. До Тургенева слух еще не дошел,

---

<sup>1</sup> Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 91.

и в ответном письме он выразил свое недоумение: «С чего ты взял, что Пушкину был удар?» Но скоро озаботились и петербуржцы. Письма полны разговорами об ударе Василия Львовича. Тургенев, К. Я. Булгаков запрашивают точных сведений из Москвы и уже готовятся выражать соболезнования. Напряжение не спадало весь февраль, и лишь в марте друзья облегченно вздохнули. «Меня жена напугала ударом Пушкина, но после и успокоила. Это опять Алексей Пушкин ударил его», — объяснил Вяземский.

Часто на В. Л. Пушкина составлялись коллективные «заговоры», обыгрывающие его известные слабости, в частности страсть читать и показывать свои стихи («в старые годы он не столько писать, как сообщать стихи свои любил», — замечал Вяземский). О типичной такой истории рассказал в письме А. Я. Булгаков: «Василий Львович стареет и тупеет. На Разгуляе намерен были табло; он целый вечер просидел, прождал. Сделаны были им стихи, которые пропели старухе графине. Только, ну, стоворились хвалить стихи: прекрасные! кто их сочинил?

— Ils sont de moi<sup>1</sup>, — кричит Василий Львович.

— Ах, батюшка, — говорит старуха Офросимова, — спиши мне стихи.

Списал. Другой: «Спиши и мне». — Еще списал.

— Вот стихи, — говорит третья. — Нельзя ли, батюшка, Василий Львович, списать и для меня?

— Извольте.

И пишет. Одним словом, целый вечер прописал, не догадываясь, что это заговор».

Своеобразным апофеозом этих розыгрышей явилась широко известная мистифицирующая процедура приема Василия Львовича в «Арзамас», в которой на долю уже немолодого «неофита» выпал целый ряд забавных обрядов и испытаний. Не разгадавший и тут в своем доверчивом добродушии традиционного «заговора», Пушкин умело «подыграл» арзамасцам, и в результате таких коллективных усилий этот день стал одним из наиболее ярких в истории общества.

Однако мы вовсе не должны представлять себе фигуру Пушкина шутовской, расценивать дружеские розыгрыши как глумление. Таков был стиль эпохи, сознательно создававшийся совместными усилиями многих литера-

---

<sup>1</sup> Они мои (фр.).

торов и их окружения. Вяземский вспоминал о временах своей молодости: «Тогда веселость была в цене: одни расточали ее, другие ей сочувствовали и понимали ее». Новая — а по отношению к эстетическим принципам «века минувшего» новаторская — культура всячески культивировала такой игровой стиль, он воспринимался как одно из ценнейших завоеваний, ассоциировался с просвещенной раскрепощенностью не только от догм чопорности, но и от пут невежества. Мир угрюмых «халдеев», педантов «Беседы» был непроницаем для освежающего смеха, «Арзамас» взрастал на «смеховой культуре», отличительной чертой которой была само-направленность шуток, включение и себя в игровую стихию. Василий Львович в разжигании этой веселой буффонады проявил настоящий талант, можно сказать, что он вполне сознательно «вызвал огонь на себя», выступая своеобразным «катализатором» дружеского балагурства.

Позже, жалуясь на «злодейку-старость», обыгрывая свою подагру, сокрушаясь, что приходится уже покидать знамена Киприды, Пушкин при этом с гордостью подчеркивал свою «нескучность»:

Я тем лишь только утешаюсь,  
Что в старости не скучен я.

Но это позже. Пока же Василию Львовичу было еще далеко до преклонного возраста, он «порхал Зефиром» на маскарадах, играл в любительских спектаклях, ухаживал за дамами, он каждый день, по словам К. Н. Батюшкова, «с кудрявой головой, в английском фрачке, с парой мадригалов в штанах и с большим экспромтом, заготовленным накануне за завтраком, экспромтом, выписанным из какого-нибудь *Almanach des Muses*<sup>1</sup> является в обществе часу около девятого, пьет чай, картавит по-французски, бранит славенофилов, хвалит Лагарпов псалтырь и свою бледную красавицу...».

Но в пестром калейдоскопе светской жизни все же не терялись главные, доминирующие интересы В. Л. Пушкина: страсть к литературе, чтению, театру. Именно эти интересы, прежде всего, и определяли круг его общения. В одном из своих стихотворений он так обозначил свое жизненное кредо:

К чему мне пышные обеды,  
Где в винах дорогих купают стерлядей?  
Живу для мирных, приятных бесед  
И добрых, ласковых людей.

<sup>1</sup> «Альманах Муз» (фр.).

В начале века частыми местами таких собраний и «приятных бесед» были дома И. П. Салтыкова, А. И. Вяземского (отца будущего поэта), П. П. Бекетова, который завел на Кузнецком мосту свою типографию и книжную лавку; собирались московские литераторы и на «афинских обедах» в небольшом домике с уютным садом у Красных ворот, который купил себе, переселясь в Москву, И. И. Дмитриев. Компания была разнообразная: тут и театралы Ф. Ф. Кокошкин и Ф. Ф. Иванов, издатель патриотического «Русского вестника» С. Н. Глинка и «чувствительный» князь П. И. Шаликов, молодые В. А. Жуковский и А. И. Тургенев и, конечно же, Н. М. Карамзин, вождь новой литературной школы, тогда еще не погрузившийся с головой в работу над российской историей.

С первых же шагов на поэтическом поприще В. Л. Пушкин примкнул к карамзинистскому направлению, реформировавшему старую систему жанров, развивавшему в поэзии «личностные» темы любви и дружбы, стремившемуся к самовыражению в стихах, утверждавшему непреходящую ценность морально-нравственных человеческих качеств, разрабатывавшему новый литературный язык, ориентированный одновременно на изящество и простоту непринужденного светского разговора. Вместо торжественных од и героических поэм новое направление стало культивировать дружеские послания, томные элегии, нежные песни, стали цениться легкие и изящные поэтические мелочи («Мои безделки», как назвал сборник своих стихов Карамзин). Вместо могущественных вельмож и государственных мужей, к которым обращали свой лирный глас поэты старой школы, новая поэзия ориентируется прежде всего на «милых дам», обращается к женскому сердцу и вкусу. Характерны сами названия московских журналов той поры: «Журнал для милых, издаваемый молодыми людьми», «Аглая», «Дамский журнал».

Василий Львович был видным поэтом этого направления, его стихи Карамзин охотно включал в альманахи «Аониды», а затем предоставлял им страницы «Вестника Европы». В обществе Пушкин славился своими экспромтами, эпиграммами, выдержанными в лучших традициях французской «легкой поэзии».

Ревностный приверженец Карамзина, он, несмотря на всю свою внешнюю безобидность, незлобность, безграничное благодушие, выступал одним из наиболее

активных бойцов с оппонентами новой школы, прежде всего с петербургскими литераторами, объединившимися в «Беседу любителей русского слова». Когда А. А. Шаховской осмеял сентиментализм и «чувствительность» в духе Карамзина в комедии «Новый Стерн» (1805), то Пушкин воспринял это как личное оскорбление и обрушил на нового Зоила негаданно тяжелую палицу иронии, высмеяв его в своей замечательной комической поэме «Опасный сосед». Удар был сокрушительный, и Василий Львович мог с полным основанием спустя пять лет похвалиться:

Я злого Гашпара убил одним стихом.

«Колкий» Шаховской отвечал противнику, но, при всем его бесспорном комическом таланте, этот ответ не мог перевесить «Опасного соседа», что доставило Пушкину повод к новому торжеству, а А. Ф. Воейков в шутовском «Парнасском адрес-календаре» отметил особое отличие Пушкина: «имеет в петлице листочек лавра с надписью: «За Буянова».

Еще проще было одержать верх над другими вождями «староверов», главой «Беседы» адмиралом А. С. Шишковым и его любимцем, «богомольным» князем-поэтом С. А. Ширинским-Шихматовым, которые поэтическим остроумием не блистали. Вместо эпиграмм Шишков двинул против Пушкина экстралитературные обвинения: он печатно обвинил его в безбожии, сомнительной нравственности, литературном и гражданском космополитизме. Василий Львович ответил брошюрой «Два послания», в которой (в предисловии и стихах) убедительно отвел аргументы оппонента и подчеркнул просветительский, общекультурный смысл позиции карамзинистов. Вместе с «Опасным соседом» эти послания, многие строки которых своей отточенной афористичностью, сконцентрированностью мысли служили боевыми лозунгами «новой школы», стали первыми манифестами «Арзамаса», а «природный арзамасец» Василий Львович получил в обществе почетный титул Старосты и грозное для врагов имя *Вот я Вас!* Арзамасцы постановили поэму «Опасный сосед» переписать «чистым почерком, переплести в бархат и признать ее арзамасскою кормчею книгою».

После того как отшумели арзамасские баталии, полемическая активность В. Л. Пушкина заметно снизилась; он вообще не принадлежал к числу наиболее

ярых журнальных бойцов. Вторя общему мнению, М. Макаров свидетельствовал: «По своему характеру Василий Львович был душою каждой беседы, не было другого мастера, искуснейшего его на буриме и каламбуры, на эпиграммы и шарады: он импровизировал их с особенным вдохновением и с неописанною приятностию,— но тут же оговаривался.— Но упоминая о его эпиграммах, скажем, что они никогда не были ни злыми, ни дерзкими, а всегда благородными. Полемика как пасквиль для него была противна... Он всячески старался воздерживать от подобных писаний всех своих молодых друзей, говоря ту же истину и старым». Впрочем, это писалось в некрологической заметке, в которой сам жанр требовал «пастельных тонов». В действительности Пушкин не всегда был столь миролюбив; не часто, но все же его эмоции выплескивались и на журнальные страницы. Кратко расскажем об одном из таких случаев.

В 1824 году В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер приступили в Москве к изданию периодического альманаха «Мнемозина», в первой же части которого была помещена аллегорическая сказка-сон Одоевского «Старики, или Остров Панхаи (Дневник Ариста)», где содержались прозрачные намеки как на близкого знакомого В. Л. Пушкина, издателя «Дамского журнала» П. И. Шаликова (Ахалкин), так, возможно, и на самого Пушкина («старика, который хочет обмануть время не приобретением познаний, но подкрашенными волосами»). Выпады против карамзинистов были и в завершающей том статье того же автора «Листки, вырванные из Парнасских ведомостей». Шаликов поспешил кольнуть «Мнемозину» в девятом номере своего журнала, а во второй части «Мнемозины» появилась программная статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».

В ней Кюхельбекер обрушился на современных поэтов за уход от важных тем, за исключительное пристрастие к «легким» жанрам, за бесконечные перепевы любовных клятв и дружеских признаний. Досталось в статье многим, в том числе и «авторитетам». Сатиры любимого В. Л. Пушкиным Горация были названы «прозаическими», «законодатели вкуса» Лагарп и Батте (вспомним, что именно «Лагарпов псалтырь», то есть его курс словесности «Лицей», хвалил, по словам Батюшкова,

Пушкин) были обвинены в дурном влиянии на российскую литературу; образцы для многочисленных подражаний в элегической поэзии — Парни и Мильвуа — объявлялись «двумя пигмеями французской словесности». Кюхельбекер призывал русских поэтов следовать по стопам Ломоносова и в числе «образцов» называл «беседчика» (!) князя Шихматова. Из молодых похвалы удостоились А. С. Пушкин и — вскользь — А. А. Дельвиг.

Василию Львовичу, конечно, читать это было неприятно; даже похвалы племяннику (а имя его уже вовсю гремело в журналах) из уст автора статьи были для дяди комплиментом сомнительного свойства. В довершение всего, изображая типичного «ретивого писца», Кюхельбекер сообщал, что в начале своего послания такой «писец» «воскликнет:

...чувствительный певец,  
Тебе (и мне) определен бессмертия венец,—

а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе, учится азбуке и логике, никогда не пишет ни семо, ни овамо и желает быть ясным!».

Тут Василий Львович, надо полагать, взорвался от негодования. Молодой критик метил прямо в него, включив в статью перифразы из знаменитого послания Пушкина «К Жуковскому».

Пушкин стерпеть не мог. В семнадцатом номере «Дамского журнала» появился его ответ издателям «Мнемозины» «К новым законодателям вкуса»:

Хвала вам, смелые певцы и стиходеи.  
В поэзии теперь нам кодекс новый дан:

Гораций и Парни — пигмеи,  
А Пумпер-Никель — великан!

Под Пумпер-Никелем (название немецкого хлеба и имя героя известной комедии) имелся в виду сочувственно отмеченный Кюхельбекером барон Дельвиг. Между прочим, выделение этого — тогда еще не получившего высокого авторитета — имени вызвало раздражение у многих. Ф. В. Булгарин вопрошал Кюхельбекера: «Поверят ли вам читатели в означении степени дарования поэтов, когда вы поставляете барона Дельвига выше Жуковского, Пушкина и Батюшкова...?»



После этой статьи на «Мнемозину» напали со всех сторон. Издатели не остались в долгу. Первоначально на эпиграмму Пушкина Одоевский готовил для третьей части альманаха специальный ответ, но затем решил заменить его другой антикритикой (а может быть, «личный» характер возражений Одоевского показался цензору И. М. Снегиреву недопустимым), и подготовленная к печати статья осталась неизданной. Вот ее текст:

**В. Ф. Одоевский**

**НЕЧТО В РОДЕ ЦИЦЕРОНОВА СОЧИНЕНИЯ: ORATIO PRO MILONE<sup>1</sup>,  
ИЛИ ЗАЩИТА ДРУГА МОЕГО И СОСЕДА ВАСИЛИЯ БУЯНОВА<sup>2</sup>**

Tu l'as voulu, George Dandin!<sup>3</sup>

Конечно, никому не известно, что в одном из здешних Журналов напечатана следующая «Эпиграмма»:

Гораций и Парни — пигмеи,  
А Пумпер-Никель великан! —

но друг мой и сосед Василий Буянов утверждает, что эта Эпиграмма написана на него, и вчера пристал ко мне так неотвязчиво, так просил защитить его пред глазами публики, которой до него нет ни малейшего дела, что я, увлекаясь духом времени, не мог не пожертвовать дружбе и собственному удовольствию — удовольствием моих читателей, не я первый, не я последний (ссылаюсь в том на Новости Литературы, издаваемые г. Восейковым).

Итак, честь имею торжественно объявить вселенной, что сочинитель сей Эпиграммы весьма дурно сделал, написавши ее: правда, мой сосед весьма походит на Пумпер-Никеля, ибо толст до

<sup>1</sup> Речь в защиту Милона (лат.).

<sup>2</sup> Статья присланная. Мы не знаем, куда деваться от присылаемых к нам сочинений и переводов; весьма благодарны гг-м Авторам за их благосклонность, и благодарность наша еще более увеличится, если их пьесы будут получше; но со всем тем, просим их покорнейше под сатирическими и полемическими статьями подписывать свое имя; иначе легко может статься, что мы принуждены будем отвечать за чужие грехи, а мы и со своими не знаем, как справиться. В первый и последний раз печатаем сатирическую статью без имени. *Изд. (Примеч. Одоевского.)*

<sup>3</sup> Ты этого хотел, Жорж Данден (фр.). Неточная цитата из комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж».

безобразия и, сверх того, одарен от природы странною способностью, глазами, столь ничего не выражающими, что на них смотреть страшно,— глядя на него, точно думаешь видеть живую марионетку,— но как, г. Сочинитель, не стыдно смеяться над вещественными недостатками?— Если бы он знал, какое доброе сердце у моего Соседа! К тому же Епиграмма совсем не справедлива, и вселенная никак не должна относить ее на счет моего Соседа, ибо, хотя он и писывал посланья, басенки, водяные стишки, но никогда ему и в голову не приходила преступная мысль даже на педень приближаться к Мильвуа, что старался и своими стихами доказывать; сверх того, мой милый и добрый Василий Буянов...

В самое то время, когда я писал сию статью и намерен был распространяться в доказательствах для подкрепления моего мнения, вошел ко мне мой Сосед: думая угодить, я показал ему написанное, как он вдруг рассердился, начал топтать ногами, прожелтевшие щеки его затряслися, он усталил на меня страшные глаза свои... и, несмотря на мою робость, вывел меня наконец из терпения, пришла на меня минута вдохновения, Гений мой затрепетал крыльями, как у г. Воейкова<sup>1</sup>, и я отпустил моему Соседу следующий Экспромт:

О друг мой Василий,  
Тщета всех усилий!  
Ведь ты не поэт  
И в нынешни годы  
Уж вышел из моды!  
Молчи же, Сосед!

По сей причине я не мог продолжать моей статьи и посылаю вам ее, м(илостивые) г(осударя), без конца и почти без начала — впрочем, не я первый, не я последний: см. Сочинения А, Журнал В, Стихотворения С, D, E, F и проч. и проч. и проч. и проч.

№<sup>2</sup>.

В том, в кого именно метил Одоевский, у читателей не могло быть сомнений: Буянов — герой «Опасного соседа» В. Л. Пушкина — был известен каждому. Попутно в статье задевался и постоянный недоброжелатель «Мнемозины» А. Ф. Воейков, издатель «Новостей литературы».

---

<sup>1</sup> См. знаменитое Послание к жене и друзьям.

<sup>2</sup> Д р ы ж а к о в а Е. Н. Из полемики «Мнемозины». — Русская литература, 1975, № 4, с. 98; ОР ГПБ, ф. 539, оп. 2, ед. хр. 27.

Третья часть «Мнемозины» вышла без «Защиты... Василия Буянова», но заключала целый ряд других критических материалов; центральное место среди них принадлежит «отрывку из романа» Одоевского «Следствия критической статьи», содержащему слегка завуалированное описание того переполоха, который вызвала среди московских литераторов статья Кюхельбекера (в «романе» его роль исполняет граф Ипполит Двинский). Отказавшись от персонального выступления против Пушкина, Одоевский предложил читателям целую галерею «многочисленнейшего» отряда писателей, которые, «покинув простоту прежних нравов и не достигнув европейской образованности, остановились на какой-то безобразной середине: ездят повсюду, повсюду скучны себе и скучны другим; эти люди до сих пор не подозревают, что есть на Руси литераторы <...> и читают «Дамский журнал». Сноска к последним словам: «Франкфуртский» — не могла, конечно, никого ввести в заблуждение.

Ипполит, вдоволь насмотревшись на подобных литераторов, «собрался с духом и в одном из периодических изданий напечатал статью, в которой, высказав свое беспристрастное мнение о разных писателях, порядочно посмеялся над слепыми их подражателями». Что тут началось! «...развились литературные насекомые <...> Одно из них, чрезмерно толстое и безобразное, напоминало, что не раз потчевало Ипполита своим обедом; другое — что не раз хвалило его в обществах и в Журналах; третье — что даже читало свои произведения Ипполиту; — градом сыпались на него добрые Епиграммы».

Возможно, что и этот обобщенный типаж содержал личностные намеки. В частности, сразу вспоминается история десятилетней давности, которая, надо полагать, была долго всем памятна. М. В. Милонов в сатире «К моему рассудку» высмеял В. Л. Пушкина под именем Вздоркина, причем апеллировал к пушкинским стихам, очень похожим на те, которыми воспользовался Кюхельбекер:

Уж Вздоркин для тебя по дням и по ночам  
Терзает бедный ум для жалких эпиграмм...  
И, в гибельном бреду, бумажный витязь сей  
С костра возопиет к дружине так своей:  
«Зачем мы, друг, с тобой на сем костре палящем?  
Я сроду не писал ни *абие*, ни *аще!*»

О впечатлении Василия Львовича позже вспоминал Вяземский: «Ошеломленный неожиданным нападением и чувствительно уязвленный, он долго не мог опомниться, сетовал на человеческую неблагодарность и жалобно говорил: «Да что же я ему сделал худого? Не позже как на той неделе Милонов вечером пил у меня чай. Никак не мог я подозревать в нем такого коварства».

Сходство ситуаций очевидно. Любопытно, что в 1821 году, когда готовилось издание «Стихотворений» В. Л. Пушкина, общие знакомые думали поручить функции издателя Кюхельбекеру, и лишь отъезд последнего на службу расстроил эти планы.

Вернемся, однако, к «отрывку из романа».

Взбудораженные литераторы собрались в доме некоего Мусорина слушать переводы хозяина. Гости — журналист Вампиров, Мушкин, Ахалкин и другие — живо обсуждали статью Двинского, которого полагали в отъезде. Внезапное появление Двинского вызвало всеобщий переполох; упали подсвечники, не устояли на ногах и гости. «Вампиров падает на соседа Мушкина, который в свою очередь роняет худощавого Ахалкина и покрывает его всего огромностию своего чрева.— Шум, крик, треск изломанных мебели, стук разбитых бутылок и рюмок — раздались по целому дому». Паника наконец улеглась. «Между тем все пришло в порядок: Мушкин причесал подкрашенные свои волосы, распрямил галстук и стал снова молодец молодцом <...> Ахалкин распустил бант розового платочка больше прежнего <...>»

Подобное карикатурное изображение своих оппонентов было вполне в духе времени. Многие намеки расшифровывались легко: Ахалкин — это, конечно, Шаликов с его неизменным шейным платком. Пушкин, надо полагать, тоже узнал себя. Цензор Снегирев записал в своем дневнике под 13 ноября 1824 года: «...зашел к Шаликову <...> Он сказывал, будто в «Мнемозине» III под именем *Мусорина* изображен Нечаев, под именем *Мушкина* Пушкин и т. д.». Спустя месяц Снегирев навещал больного Василия Львовича, который тоже говорил с ним «о критике», «обещал <...> подарить свои сочинения и звал к себе обедать».

Как и веселая арзамасская буффонада, эта проекция полемических выступлений на чисто бытовой фон тоже была признаком «стиля эпохи».

В личности В. Л. Пушкина в высшей степени характерно отразилась своеобразная черта литературной ситуации начала XIX века: органичная связь литературы с бытом, причем связь двунаправленная. С одной стороны, культурный быт той поры являлся благодатной питательной средой для литературы, которая черпала из него темы, образы, поведенческие роли и типы; карамзинистское направление выдвинуло на первый план сугубо «интимные» поэтические жанры: дружеское послание, исповедальную элегию; письмо, дневник стали фактами литературы, блестящим примером чему явились «Письма русского путешественника» Карамзина. В свою очередь, и литература оказала заметное воздействие на быт, не только став предметом повышенного интереса в «образованном обществе», сделавшись непрременной темой разговоров и переписки, но и сформировав особый тип бытового поведения, в значительной мере ориентированный на литературно-поэтическую культуру. Это сращение поэзии с жизнью, биографии с творчеством, дружеских привязанностей и антипатий с литературными ярко проявилось в судьбе В. Л. Пушкина.

Следуя примеру Карамзина, он в 1803—1804 годах предпринял заграничное путешествие, посетил Германию, Францию, Англию, причем — насколько это можно восстановить по сохранившимся свидетельствам — маршрут своей поездки Пушкин строил как сознательное повторение вояжа своего предшественника. Путеводителем по Европе была для него книга Карамзина. Очевидно, в планах у Василия Львовича была и эпистолярная летопись путешествия, подобная карамзинской, но из его заграничных писем нам известны лишь два, адресованные Карамзину и опубликованные им в «Вестнике Европы». Зато эта поездка стала предметом другого литературного произведения, шуточной поэмы И. И. Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия», где речь ведется от лица Пушкина:

Друзья! сестрицы!.. Я в Париже!  
Я начал жить, а не дышать!

По общим отзывам современников, в этой шутке был хорошо передан восторженный тон, простодушная восхищенность путешественника:

Как весело! какой народ!  
Как счастлив я!..

Такая взаимопроекция поэзии и быта, шутливое обыгрывание бытовых черт и деталей были характерным атрибутом литературного облика Пушкина и хорошо передавали общий дух того времени. Не случаен интерес к этому произведению у писателей младшего поколения, видевших в нем яркий памятник прошедшей эпохи. Между прочим, с шуткой Дмитриева в 1830-е годы связывал какие-то издательские замыслы А. С. Пушкин, затем его планировал включить в свой сборник «Старина и новизна» Вяземский, который писал Дмитриеву 2 ноября 1836 года: «Пушкин сказывал мне, что у него есть поэтическая шутка ваша о путешествии Василия Львовича. Он мне уступает ее, если только вы на это согласитесь. Я вложил бы ее в биографическую рамочку на память милому покойнику, коего добродушная тень, верно, не оскорбится моею нескромностию, а, напротив, порадуетя ей. При жизни своей он охотно читал эти стихи наизусть, — по смерти своей рад он будет, что другие их читают». Издание сборника так и не осуществилось, но в черновых бумагах Вяземского сохранилась «биографическая рамочка», набросанная, очевидно, в те же годы.

«Знавали ли вы покойного Василия Львовича Пушкина? — Знавали. — Очень рад за вас. Вы знавали доброго и приятного человека, а подобное знать — одно из лучших наслаждений в жизни...

Но вы не знавали его. — Нет! Так слушайте же. Обращаюсь к вам.

Василий Львович Пушкин (избавьте меня от его послужного списка, о котором узнаете вы в свое время из лексикона, когда доживет он до буквы П) был счастливое дитя допотопного поколения, которое цвело и радовалось в 10-х годах». И затем Вяземский переходит к сравнению двух различных культурных эпох: ушедшего поколения литераторов начала века и поколения, пришедшего ему на смену. «Жизнь той эпохи была <...> искусство, а не наука, какова ныне. В жизни художников есть всегда какая-то беспечность, легкомысленность, беззаботность о будущем, слепая отвага... Так и в людях минувшего поколения не было педантизма, который оковал нынешнее. Мы удивляемся и едва ли не гнушаемся их легкомыслию, малодушию. Не знаю, в полной ли мере мы правы, но они, вероятно, стали бы смеяться над нашею важностию...»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1093.

Озабоченность Вяземского была вполне оправданной. Старые категории литературного быта с предельно тонкой и подвижной границей между словесностью и повседневной жизнью воспринимались людьми нового поколения с удивлением и даже иронией. Между тем для Пушкина и его круга такое «изящное», художническое отношение к быту было принципиальной установкой. «Поэт отличается изящностью не в одних только произведениях своих, но и в самых поступках», — замечал П. И. Шаликов в письме к Вяземскому.

Примечательно, что почти вся биография В. Л. Пушкина восстанавливается сейчас нами через ее отражение в литературной жизни той эпохи, почти каждое жизненное событие оказывается освещенным поэтически, связанным либо с арзамасскими баталиями, либо с журнальными спорами, либо с забавными анекдотами (тоже своеобразный *литературный* жанр начала XIX века), многократно повторенными в письмах и воспоминаниях современников.

Показателен такой факт. Выйдя в отставку и переселившись в Москву, Пушкин вскоре женится на Капитолине Михайловне Вышеславцевой (этот семейный союз, впрочем, оказался непрочным). Какие бы то ни было обстоятельства женитьбы Пушкина остались его биографам неизвестными: в официальных бумагах этот *бытовой* факт с точностью не зафиксирован, но сохранилось его *литературное* отражение. В московском журнале «Приятное и полезное препровождение времени», где с конца 1794 года активно сотрудничает Пушкин, летом 1795 года появляются обращенные к нему стихи его приятелей, в том числе стихотворение Григория Хованского «Послание к Хлоину другу на случай помолвки». Вместе с циклом песен и посланий (многие из которых обращены к «Хлое», избраннице поэта) самого Пушкина эти дружеские приветствия воссоздают (конечно, в условно-опозитивированной форме) историю любовного увлечения поэта, его страданий и томлений, закончившихся счастливой помолвкой<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Когда работа над этим материалом была уже завершена, появилась статья С. К. Романюка «К биографии родных Пушкина», в которой на основе архивных данных устанавливается дата женитьбы Пушкина: 15 июля 1795 г. — Временник Пушкинской комиссии, вып. 23. Л., 1989, с. 7.

В сознании друзей две ипостаси Василия Львовича — бытовая и литературная — были неразрывно связаны. В шуточных разговорах о нем знаменательным днем в жизни Пушкина назывался день, когда у поэта выпал последний передний зуб и он перевел новую басню из Флориана; вторая (гражданская) жена Пушкина, Анна Николаевна Ворожейкина, неизменно именовалась в дружеском кругу «Малиновкой», соотносясь с героиней одной из наиболее известных басен своего мужа «Соловей и Малиновка»; коллизию пушкинской сказки «Людмила и Услад» А. И. Тургенев иронично проецировал на семейную жизнь автора...

Мы уже видели, что именно в отношении к В. Л. Пушкину ярче всего проявился дружелюбно-насмешливый, «буффонский» стиль арзамасской переписки и общения. Повод этому, прежде всего, давала сама личность поэта, простодушного добряка, искренне преданного своим товарищам. Любое упоминание о Пушкине сразу оживляло письмо, вносило в разговор веселые нотки.

В тяжелый год нашествия Наполеона, трагически переживая пожар Москвы и обрушившиеся на страну несчастья, Батюшков пишет из Нижнего Новгорода, где собралось много беженцев-москвичей, письмо Вяземскому, исполненное самых горьких чувств: «Нет ни одного города, ни одного угла, где бы можно было найти спокойствие (...) Москвы нет! Потери невозвратные!..» Но вот речь заходит о В. Л. Пушкине, и в письме проскальзывает тень веселой иронии: «Здесь я нашел всю Москву (...) Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилу вчера мог прочитать у Архаровых басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили!»

Пережив войну в Нижнем Новгороде и Болдине, к концу 1813 года Василий Львович вернулся в отстраивающуюся после пожара Москву и поселился в Басманной ее части, несколько раз меняя адреса. В конце жизни, в 1824—1826 годах, он жил в доме Кетчеров (Старая Басманная, 36), куда прямо из Чудова дворца после беседы с императором приехал возвращенный из ссылки А. С. Пушкин. Затем Василий Львович переехал в завещанный ему сестрой Анной дом неподалеку от прежнего: Старая Басманная, 28, где он и умер буквально «на руках» у П. А. Вяземского и племянника



Александра 20 августа 1830 года. На отпевании (в приходе Великомученика Никиты) и на похоронах в Донском монастыре присутствовала вся литературная Москва.

У Василия Львовича в Басманной часто бывали И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский, П. И. Шаликов, братья Булгаковы; посещали его А. А. Дельвиг, Денис Давыдов, Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, польский поэт Адам Мицкевич; во время приездов в Москву навещал дядю А. С. Пушкин. Помимо всего прочего, дом Пушкина славился своей кухней. Повар Власий был первоклассным гастрономом, и в 1830—1840-е годы московский свет обслуживала целая плеяда его учеников. Вот как описывает одно из застолий у В. Л. Пушкина А. Я. Булгаков в письме к известному чревоугоднику А. И. Тургеневу: «Ну, право, не вижу, что пишу. Нас закормил подагрик. Славный стол (ты бы объелся), славное вино (ты бы опился)! После обеда поболтали, после покурили, после... карт нет, что делать?» Карт Пушкин действительно в своем доме не терпел; возможно, и эта его черта была перенесением в быт литературной декларации карамзинизма (вспомним, что в «Бедной Лизе» именно карты оказываются роковой силой, лишаящей героев возможного счастья).

Его дом на Старой Басманной был местом литературных встреч и бесед, здесь — в спорах о словесности, в обсуждении журнальных новостей, в живом и непринужденном обмене мнениями, в дружеских шутках и розыгрышах — создавалась и протекала та самая литературная жизнь Москвы пушкинской эпохи, свидетелем и активным участником которой был дядюшка великого поэта — Василий Львович Пушкин.

Предлагаем читателю подборку неизданных писем В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому в Варшаву, где последний служил в 1818—1821 годах. Письма относятся к наиболее оживленному году переписки — 1818-му<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Письма хранятся в ЦГАЛИ, ф. 195, оп.1, ед. хр. 2611, 5082. Фрагменты, связанные с А. С. Пушкиным, использовались и цитировались в работах: Ц я в л о в с к и й М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., 1951; Пушкин в неизданной переписке современников (1815—1837).— Лит. наследство, т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952; И л ь и н-Т о м и ч А. А. С. Пушкин в письмах В. Л. Пушкина (Дядя о племяннике).— Вопросы литературы, 1979, № 6. Кроме того, ряд фрагментов был приведен в книге Н. И. Михайловой «Парнасский мой отец», М., 1983, и ею же была осуществлена публикация 29 писем за разные годы в кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. XI, Л., 1983.

Адресат Пушкина был на двадцать пять лет моложе его, что не мешало их тесной дружбе и литературному взаимопониманию. Василий Львович был вообще склонен дружить с молодежью, он «переходил, так сказать, от поколения к поколению; он был приятель дедов, отцов и внуков» (М. А. Дмитриев); И. И. Дмитриев иронизировал, что скоро Пушкин будет общаться только с грудными младенцами. Но дружба с Вяземским была особо близкой. О Пушкине шутили, что «сердечные привязанности его делятся на три степени: первая — сестра его Анна Львовна, вторая — Вяземский, третья — однобортный фрак, который выкроил он из старого сюртука по новомодному покрою»<sup>1</sup>. Искренней привязанностью платил другу и Вяземский. Он сочувственно относился к поэтической деятельности Пушкина, поддерживал его начинания и замыслы, подстегивал несколько ленивую пушкинскую Музу. Вяземский больше других переживал за издание «Стихотворений» Пушкина, а после смерти автора сохранил его образ для нас в своей мемуаристике. Вяземский заботился, чтобы стареющий поэт не «выпал» из литературной жизни; его письма полны настойчивыми призывами к друзьям: не забывайте Пушкина, пишите ему, навещайте его. «Сделай милость, пошли что-нибудь к Василию Львовичу: он во всяком письме жалуется мне на вас,— тормозил Вяземский А. И. Тургенева.— Он вовсе бессочен сам собою; непременно нам, друзьям, должно подливать его. Что стоит тебе раз в месяц чихнуть на него?» И еще ему же: «Писал ли ты к Василью Львовичу? Его надобно беречь; право, другого не будет, а без него ты увидишь, как будет пусто». Сам Вяземский великолепно умел «оживлять» друга; А. М. Пушкин называл Вяземского «магнетизером», а Пушкина его «сомнамбулой».

В предлагаемых письмах выделяются несколько основных тем. Одна связана с хлопотами Вяземского по семейным делам Пушкина. Наказанный после развода с женой (1806 г.), обетом безбрачия, Василий Львович не мог жениться на А. Н. Ворожейкиной («Аннушка»), и надо было оформить двух их детей (Мargarиту и Льва) на приемного отца, который бы дал им свою фамилию и дворянское достоинство (позже за

---

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, с. XXIX.

детьми закрепили фамилию Василевские). Пушкин очень переживал о судьбе своей семьи; не имея возможности завещать детям и их матери свое состояние, он в последние годы жизни выдал им векселей на свое имя на сумму более 100 тысяч рублей. Упоминается в письмах и другой родственник Пушкина, Матвей Михайлович Сонцов, муж сестры Пушкина Елизаветы Львовны.

Другая тема писем — московские светские новости. Центральным событием здесь был приезд в Москву императорского двора и связанные с этим торжества. Великолепные празднества летом были несколько тягостны из-за стоявшей жары. Современница писала: «Город в настоящее время очень оживлен. Дают праздник за праздником, чего доброго, пожалуй, к вам привезут прусского короля без чувств от усталости <...> Я рада, что не принимаю участия в этой кутерьме, у нас стоят жары, а в 25° не весело быть в парадном туалете посреди большого света». Можно представить, как тяжело переносил «духоту и жар» Василий Львович, с его полнотой и подагрой.

Часто упоминаемые в письмах московские барышни: Пушкины (это сестры Мусины-Пушкины), Киселева, Урусова, Гедеонова — входили в светский кружок Вяземского и Пушкина, участвовали с ними в любительских спектаклях, импровизированных представлениях. Вяземский пользовался у них особой любовью и был душой общества.

Театралы — к числу ревностнейших из которых относился и В. Л. Пушкин — постоянно собирались у Апраксиных; на их домашнем театре ставились французские комедии и комические оперы (в письмах упоминаются пьесы Фабра д'Эглантена, П.-Ж.-Б. Шудара, Ф.-Б. Гофмана, О. Крезе де Лессе). Были в Москве и гастролеры. 21 октября Пушкин посетил постановку «Танкреда» (Вольтера в переводе Гнедича), где играла Е. С. Семенова; на домашних и публичных концертах состязались известные исполнители Д. Фильд и Рейнгард.

Упоминаются в письмах друзья-арзамасцы В. А. Жуковский (он в 1818 году выпустил шесть книжечек немецко-русского поэтического альманаха «Для немногих»); П. И. Полетика, Д. Н. Блудов, Д. П. Северин, С. С. Уваров, А. И. Тургенев, К. Н. Батюшков («Пенатник»), С. П. Жихарев, московские и петербургские писатели. Василий Львович шлет Вяземскому новые стихи — свои (в том числе и свою гордость: сказку

«Кабуд-путешественник») и П. И. Шаликова, — делится литературными новостями. Центральное место здесь занимают сведения об откликах на «Историю государства Российского» Карамзина.

2 февраля восемь томов «Истории» поступили в продажу, и к концу месяца весь тираж (для тех времен «двойной» — 3000 экземпляров) был раскуплен. «Историю» читали все. Правда, по предварительной подписке москвичи подписались лишь на 50 экземпляров, но потом они явно пожалели. В. Л. Пушкин сообщал уже 20 февраля: «История Российская вся уже раскуплена в Петербурге, а здесь ее продают, но дорогою ценою. Я читаю ее с восхищением и просиживаю за нею целые ночи. Каченовский отдает справедливость трудам Николая Михайловича и преклонил, так сказать, перед ним колена...» Серьезной критики пока не появлялось, усердствовали в основном салонные остроумцы (на «глупости» А. М. Пушкина негодует в письмах Василий Львович). Их высмеял в «Сыне Отечества» москвич В. В. Измайлов, в статье которого обнаруживаются любопытные переклички с письмами Пушкина. Негодование друзей дошло до Карамзина. 11 марта он писал Дмитриеву: «Пусть мои приятели, В. Л. Пушкин и К. Шаликов, успокоятся: наша публика почтила меня выше моего достоинства; мне остается только быть благодарным и смиренным». Старые недоброжелатели Карамзина пока молчат, но не зря от Каченовского ожидали недоброго. Уже в мае Пушкин сообщает, что критик «вооружается против нашего Ливия». Сам Каченовский, однако, не спешит и выражается неопределенно: «Историю Карамзина читаю и надеюсь что-нибудь написать о ней», — пишет он 17 июля В. М. Перевощикову, а вскоре в «Вестнике Европы» начинает «подшпынивать и оскорблять историографа», как сообщил Дмитриев Вяземскому. Тот отвечал: «Жаль, что нет ни Дашкова, ни Блудова! Мне не прилично сражаться за Карамзина, и к тому же надлежащее оружие не по моей силе. Каченовского эпиграммами не доедешь. Его надобно бить летописями. Вижу отсюда, как горячится Василий Львович, но его опасно выпускать в драку». Вторил ему и Дмитриев: «...историографа берется защищать один только Василий Львович своим бильбоке, яко Давид своею пращею!! Все прочие други и приверженцы прижались с нежностью к своим творениям. Слава и честь бескорыстному, усердному рыцарю!» Летописями по Каченовскому так и не удари-

ли, но, подогретые Дмитриевым, В. Л. Пушкиным и Вяземским, арзамасцы обрушили на него град эпиграмм и насмешек, которые возымели должное действие. Два года спустя Каченовский жаловался Н. И. Гнедичу: «Не говорите, Бога ради, о критике на Историю! Досталось мне уже и за рецензию на одно лишь Предисловие: одни отворачивались от меня, другие меня не узнавали; третьи называли меня попеременно то сумасбродным, то опасным человеком; иные даже старались вредить мне по службе; Жуковский, выругавши меня добрым порядком в письме, прекратил со мною всякое сношение». Внес свой вклад в эту борьбу и старый арзамасец В. Л. Пушкин.

Упоминается в письмах и А. С. Пушкин, за творческим ростом и блестящими успехами которого дядя следил внимательно и ревниво. Взаимоотношения В. Л. Пушкина и его гениального племянника — это тема отдельного обстоятельного разговора.

#### ПИСЬМА В. Л. ПУШКИНА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Москва. 1818. Марта 14.

Я писал к тебе, любезнейший, с А. П. Мансуровым, а теперь пишу с Г. С. Окуневым, который едет чрез Варшаву в Париж. Ты его знаешь, следовательно, и рекомендовать не для чего? Я ему завидую, он увидится и поживет несколько дней с тобою. Со времени отъезда твоего мое здоровье стало поправляться. С Жуковским, с Булгаковыми я бываю часто. Полетика, Блудов, Северин уехали в Петербург. Третья книжка *Für Wenige*<sup>1</sup> вышла, но я ее еще не имею. — История Российского Государства у меня из рук не выходит. Я уже дочитываю седьмой том. Николай Михайлович, невзирая на нелепые критики, совершил дело великое. Алексей Пушкин на счет Истории сей говорит большие глупости, находит в ней множество галлицизмов, которых нет и быть не может, потому что Сочинитель, трудящийся тридцать лет в образовании языка нашего, должен быть в нем совершенно сведущ. Пушкин, говоря о Карамзине, даже глуп, и невежество его час от часу более обнаруживается. Новостей у нас не много. Мы слышали, ибо слухом земля полнится, что тебя дорогою обокрали,

<sup>1</sup>«Для немногих» (нем.).

но что все, к счастью твоему, отыскалось. В Москве для меня скучно, по улицам ездить никакого способа нет, и грязь ужасная. Каково-то вам, в Варшаве? Отпиши, любезнейший, и утешь меня письмом твоим. Я пишу наскоро. Окунев сейчас едет.

У княгини целую ручку и малюточек обнимаю, также и тебя, милого моего, желая вам совершенного благополучия.

Верный твой по жизнь мою *Всл. Пушкин.*

[1818] 21 Марта. Москва.

Я писал к тебе, любезнейший, с Окуневым и теперь еще пишу через почту. Вот третье мое письмо к тебе, а от тебя еще ни строчки не имею, но, правду сказать, тебе и образумиться времени не было. Посылаю тебе последнее произведение моей ленивой музыки. Кажется, ты его не знаешь.— Здесь составилось *общество любителей земледелия* или агрономов. Алексей Пушкин назначен секретарем оного и написал, касательно сего, преогромное письмо к Государю. Натурально, что я членом этого общества быть не могу, потому что с трудом различаю ячмень с овсом. Пушкин *изрыгает* кучу глупостей насчет Истории Российского Государства и надоел мне как горькая редька. В Москве не скучно, но тошно.— Мы все о тебе тоскуем. Целую тебя от всего сердца и свидетельствую мое почтение княгине. Будь здоров.

*В. Пушкин.*

28 Марта [1818. Москва].

Вчера, любезнейший, я обедал у Апраксиных. Слышал там, что пропажа твоя не нашлась и что, к вящей беде, ты был опасно болен. Ради Бога, успокой меня и напиши обо всем обстоятельно. Напиши мне, нашел ли ты наконец порядочную квартиру и покойно ли твоим малюткам? — Завтра у кн. Сергея Ивановича Голицына концерт, и я там буду. Фильд приехал в Москву, и с нежнолюбящею его супругою. На будущей неделе мы его услышим. Бедный Рейнгард не успел дать своего концерта, и приезд Фильда дал ему щелчок.—

Прости, спешу отослать письмо мое к любезному нашему Булгакову. Береги свое здоровье и не забывай друзей своих.

17 Апреля [1818]. Москва.

Благодарю тебя, любезнейший, за приятное письмо твое от 1-го апреля. Я его получил в самый первый день праздника, и Велевгурский мне подлинно прислал красное яичко. Нельзя мне тебя не любить: ты всякую минуту и при всяком случае мне свою дружбу доказываешь. Прими сердечную мою благодарность и будь уверен, что дети мои будут почитать тебя истинным своим благодетелем. Я вас обоих поздравляю с праздником и, обнимая по обыкновению христианскому, желаю всем вам совершенного благополучия.

Тургенев в Москве. Я вчера провел с ним несколько минут у Булгакова, и он было хотел увезти письмо твое, но я письма твои берегу и его не дал. Портреты польских дам меня очень позабавили. Продолжай писать к нам и утешай друзей твоих. Пушкиным, моим соседкам, я от тебя кланялся и много с ними о тебе говорил, а Киселеву и Урусову еще не видал. Сегодня я увижу их на бале, у Ланской, и непременно комиссию твою исполню. Московские красавицы тебя любят и всегда о тебе говорят и спрашивают.

Богач Потемкин переходит в новый свой дом и в будущую пятницу, т. е. в день гулянья на Пречистенке, дает огромный бал, на котором, я думаю, только птичьего молока не будет. Жаль, что ты не в Москве. Ты бы на этом бале повеселился, *et comme vous aimez le cotillon*<sup>1</sup>, ты танцовал бы *cotillon* до упаду.

Марья Степановна Татищева лишилась своего большого сына, офицера конногвардейского, третьего дня были его похороны. Он умер скоропостижно, от полнокровия. Ему делались дурноты, и доктор уговаривал пустить кровь, но он не согласился и умер с небольшим в 20 лет, к сожалению и прискорбию родных своих.

Тургенев здесь пробудет несколько недель. Он мне сказывал, что мой племянник пишет прекрасную поэму, и читал из нее отрывки в последнем Арзамасе, в котором так же читали и Антологию Уварова.— Я на своем Кабуде проехал молодецки, и члены нашего собрания не лягали. В конце апреля готовится, как говорят, блистательное собрание. Кокошкин будет читать сцену из *Philinte de Molière*<sup>2</sup>. Я ее уже отрывками слышал.

---

<sup>1</sup> и так как тебе нравится котильон (*фр.*).

<sup>2</sup> «Филинт» Мольера (*фр.*).

Многие рифмы оканчиваются на *ей-ей* и тому подобное.— Пушкин перестал заниматься русскою историею. Он теперь всякий день отвозит деньги в ломбард, и около ста тысяч рублей в выигрыше. Матвей Михайлович пустился также в большую коммерческую игру — играет по триста рублей робер в вист и по два рубля в тройной бостон. Директор Майков к нему попался в когти, и он его порядочно окрестил на этих днях. Он сердечно благодарит тебя, что ты о нем помнишь, и свидетельствует тебе свое почтение и любовь, также и княгине, у которой я целую ручки. Получил ли ты огромное письмо мое, оду, послание к Жуковскому и пр.? Уведомь меня о том, сделай милость. Прости — целую тебя лобзанием любви и поручаю себя и детей моих в твою дружбу и милость.

Преданный тебе *В. Пушкин*.

Москва. 1-го Мая [1818].

Письмецо твое от 15 Апреля я получил, любезнейший. Оно коротко, но для друга и две строки дороги. Я знаю и уверен, что ты меня любишь и заботишься о деле моем. Да наградит тебя Бог за твое дружеское обо мне попечение!

Вчера, на даче у С. С. Апрашкина, мы играли комедию. Булгаков тебе все подробно опишет, а я только скажу, что Гедеонова была прелестна. Жуковскому я давал билет в наш спектакль, но он не был и сказался нездоровым. После спектакля был бал. Тургенев летал Зефиром. Гостей было немного, но все были веселы и довольны.

Сегодня гулянье в Сокольниках. День прекрасный — и надобно думать, что экипажей и народу будет множество.

2-го Мая.

Гулянье в самом деле было многолюдное, но к вечеру погода переменилась. Сделалась буря, пошел дождь, и я, прогуливаясь пешком с Шаликовым, не знал, куда приклонить голову. К счастью моему, генерал Каблуков меня увидел, пригласил в свою палатку, напоил чаем и, что лучше всего, познакомил с прелестною своею женою. Государыни императрицы были на гулянье, в прекрасных экипажах. Карета и четверня графини Потемкиной удивила всех. Она была с двумя



Голицыными и с кн. С. Туркестановой. После долгого ожидания я встретился с Тургеневым, Булгаковым, Жуковским, и мы вместе поглазели на конных и на пеших. Жуковский едет на сих днях в деревню. Я им всем даю ужин. Жаль, что тебя, милого друга, не будет с нами!

Потемкин в день именин жены своей, прошедшего 24-го Апреля, подарил ей серьги изумрудные с соли-терами в 15 тысяч рублей. Я на именинах обедал с Голицыными, и много говорили о тебе. Фрейлина кн. Урусова просит тебя, чтоб ты ей прислал музыку новых каких-нибудь мазурок — краковяков и пр. Речь государя императора при закрытии Сейма очень хороша. Я ее читал у Алекс(ея) Пушкина. Благодарю тебя за куплет *Гранвилл*. Он забавен, и я жалею, что эти куплеты не поются в Петербурге. Русские наши актеры мне совершенно надоели. Обнимаю Жихарева за милые его стихи. Сегодня истинно писать некогда. У княгини целую с почтением ручки. Малюток и тебя обнимаю. Будьте, любезнейшие мои, благополучны и не забывайте преданного вам

*В. Пушкина.*

Р. С. В моей оде точно два стиха женские сряду. Не знаю, как я этого не приметил. Погрешность исправлена будет.

#### К ЖИХАРЕВУ

За стихи благодарю  
И за прозу вместе.  
Ты служил, мой друг, царю,  
Послужи невесте.  
Приезжай в Москву скорей,  
Обойми своих друзей,  
С милой обвенчайся!  
Но женатый будь все наш,  
Не кидай прелестну блажь.  
В шампанском купайся.  
Писать много не могу,  
Недосуг, ей-ей, не лгу,  
Коляска готова.  
Прости, милой *Громобой!*  
Вот еще два слова:  
*Вот я вас, приятель твой,*  
Тебя любит всей душой.

Москва. 11 Мая 1818.

Надеюсь, любезнейший, что ты получил последнее письмо мое. Надеюсь, что ты здоров и что наконец привыкаешь к Варшаве; а я без тебя к Москве привыкнуть не могу. Жуковский уехал в Белев. Ты получишь в непродолжительном времени послание его к Великой Княгине Александре Феодоровне. Некоторые критики утверждают, что в этой пиесе не соблюдены приличности, а я, напротив того, нахожу ее прекрасною. Каченовский вооружается против нашего Ливия и начал выпускать критические отрывки на его Историю. Видно, что в нем желчь опять разливается, но

Que peut contre le roc une vague animée?<sup>1</sup>

Вчера у меня обедали Тургенев, Алекс(андр) Булгаков, Антонский, Сонцов — а Константина Булгакова не было; у него лихорадка. Мы говорили о тебе и пили шампанск(ое) за твое здоровье.— После обеда я поехал с Тургеневым в Сокольники. Кайсаровы купили там дачу, и мы у них провели целый вечер вместе с Голицыными, с Потемкиной и с гр. Апраксиной. Потемкина и Ланская ездили верхом. Граф Апраксин и Константин Полторацкой были их кавалерами, но эта кавалькада продолжалась недолго. Сильный дождь с холодным ветром всему помешали. Мы сидели в галерее в шинелях и отогревались непрестанно чаем. У нас, в Москве, всякий день дожди и морозы. На двор носу показать нельзя, и климат русский час от часу становится суровее.

Бываешь ли ты с Балком, и скоро ли он отправляется в Москву? Уведомь меня об этом по первой почте. Мне это знать непременно надобно; и жена его, между нами будь сказано, о том тебя просит.

О комиссии, касательно детей моих, тебе упоминать не для чего? Я уверен, что ты заботишься о том и в случае обо всем меня уведомишь.

Мы опять играли комедию у Апраксиных. Наш спектакль всем понравился, и мы даем на этих днях *Le sourd, ou L'auberge pleine* и *Les rendez-vous bourgeois*<sup>2</sup>. Кн. Нат(алья) Степ(ановна) Голицына уехала в чужие края, и вместо нее Луизу будет играть Мар(ия) Мих(айловна) Обрескова.— Булгаков тебе ничего не

<sup>1</sup> Что может против скалы бегущая волна? (фр.)

<sup>2</sup> «Глухой, или Полный трактир», «Мещанские свидания» (фр.).

сказал о нашем спектакле, а я ему было поручил эту комиссию.— Мар〈ия〉 Конст〈антиновна〉 Булгакова родила дочь Софию, и очень благополучно. Кн. Вас〈илий〉 Оболенский с молодою своею женой отправляется за границу. Кн. Федор Голицын уехал, и старуха кн. Прозоровская осталась горевать одна.— Кн. Голицына (La pr. Serge) будет на этих днях в Москву, и я заранее этим восхищаюсь, но, однако, думаю, что она не пробудет здесь долго. Алексей Пушкин играет и выигрывает, а Боринька Юсупов проиграл около четырехсот тысяч рублей Дмитриеву, отставному полковнику, Шатилову и Алябьеву. Отец Юсупов уже о том известен и платит за своего сына, но, кажется, игрокам хорошо не будет, ибо этот проигрыш слишком значителен.

У княгини целую ручку и прошу ее меня не забывать. Малюток твоих обнимаю и, уверяя тебя в непрерывной любви моей и сердечном уважении, остаюсь навсегда верный твой

*Василий Пушкин.*

Р. С. Жихареву кланяюсь, буде он еще в Варшаве.— Посылаю тебе две прекрасные басни Михаила Александровича Дмитриева. Я их читал в последнем нашем собрании. Ты, верно, будешь доволен моей присылкой.

Москва. 1818. Мая 16.

Поздравляю вас, любезнейший, с новорожденным сыном. Поздравляю и радуюсь с вами! Дай Бог, чтоб для утешения вашего новый житель нашего мира был здоров и счастлив! Желая, чтоб мне удалось лично поздравить вас с такою радостью! Вчера, возвратясь домой, я получил приятнейшее письмо твое, книгу и речи. За все тебя сердечно благодарю и дружески обнимаю. Ты редкий человек, и Бог тебе за меня заплатит.

О делах моих я буду писать немедленно. Сегодня мне недосуг, и я пишу только для того, чтоб уверить вас в участии, которое я принимаю в вашем благополучии. Все, что до вас касается, касается и до моего сердца. Я весь ваш, по гроб мой, и слезы, которые льются теперь на бумагу, вам тому свидетелями. Прости! мой любезнейший! Прости до будущей почты. Будь благополучен. Верный твой *В. Пушкин.*

Р. С. Сегодня у нас опять спектакль в Петровском. И я сию минуту отправляюсь к Апраксину. Речи государя императора прекрасны и переведены тобою прекрас-

но. Я очень доволен, что ты мне сообщил их. Ты, верно, получишь чрез Булгакова послание Жуковского к Великой княгине. Племянник мой совершенный урод. Он теперь пишет новую поэму, от которой Тургенев в восхищении.

Мая 20-го 1818. Москва.

На прошедшей почте я поздравлял тебя, любезнейший, с новорожденным сыном и теперь еще поздравляю. Дай Бог ему и всем вам всякого благополучия!

Благодарю тебя за твою нелестную дружбу и попечение о детях моих, но я не знаю, каким образом я их привезу в Варшаву? Это мне станет ужасно дорого, и, сверх того, еще надобно будет готовить деньги для господина полковника. Один я приехать могу и приеду, конечно, а если присутствие детей моих по закону непременно нужно, то должно будет мне отменить сию поездку до благоприятнейшего времени, то есть до получения денег, без которых, по пословице, *в город сам себе враг*. Не приехать ли мне прежде одному, а там, смотря по обстоятельствам, я их могу выписать из Москвы; они и с матерью приедут. Сверх того, надобно мне знать о требованиях господина полковника, может быть, это превышает мои силы, весьма посредственные. Ожидаю от тебя, любезнейший, обо всем уведомления. Ты друг и попечитель верный.

Батюшков и Гнедич приехали в Москву. Батюшков едет в полуденную Россию, т. е. в Крым. Гнедич отправляется в Полтаву. Сегодня мы вместе обедаем у Посниковых. Батюшков живет в моем соседстве, у Константи-на Полторацкого.

Вчера был прекрасный бал у Потемкиных, не многолюдством, но роскошью, о которой уже и говорить нечего. Кн. Андрея Гагарина не было. Он к Потемкиным более не ездит, ни он, ни жена его. Бал сумасшедший, и, между нами будь сказано, сожительница его не очень рада возвращению своего супруга. *Elle tremble, pour ainsi dire, dans sa peau*<sup>1</sup>.

Константин Булгаков нездоров, но, однако, ему лучше. У него было сделалась горячка, но, слава Богу, перервали. Оболенские, кн. Василий Петр(ович) и княгиня Катер(ина) Алексеевна, должны были ехать в Варшаву, княгиня занемогла, и они отменили поездку

<sup>1</sup> Она, так сказать, трепещет всем своим существом (*фр.*).

свою на несколько дней. Кажется, что они останутся в Варшаве в твоём доме.

Аннушка моя тебя чувствительно благодарит за твою милость. Ей совестно посылать башмак, а мерки лучше здесь не снимают: пришли ей, вместо башмаков, что-нибудь, и что тебе угодно будет. Она и безделицу примет от тебя за великое.— Что до меня касается, я не знаю и слов не нахожу, как мне тебя благодарить за твою дружбу.

Я получил письмо от Северина. Он здоров и счастлив.

Прости, любезнейший мой. Обнимаю тебя от всей души моей. Княгине свидетельствую мое искреннейшее почтение и любовь. Обнимаю малюточек. Помнит ли Маша толстого Пушкина? Прости еще раз! Будь здоров, весел и благополучен.

Верный твой друг *Василий Пушкин*.

Москва. Мая 22-го 1818.

Третьего дня я писал к тебе, любезнейший мой, чрез почту, теперь пишу с кн. В. П. Оболенским, который завтра с своею княгинею отправляется в Варшаву. Поговори с ним о деле касательно детей моих, и придумайте все устроить к лучшему. Прежде сентября мне поехать в Варшаву невозможно. Я должен непременно побывать в моей деревне. С каким удовольствием я увижусь с тобою! Всякой день или, лучше сказать, всякую минуту я вздыхаю и грущу по тебе. Батюшков и Гнедич тебе кланяются. Наш *Пенатник* поправился в своем здоровье и веселее прежнего. Он собирается заехать к Жуковскому в Белев, а здесь его не дождется.

Получил ли ты послание к Великой княгине Александре Феодоровне и четвертую книжку Für Wenige? Пошлю тебе моего Кабуда напечатанного. Думаю, что Антонский забыл тебе отправить принадлежащие тебе части Трудов наших.— Надеюсь, что ты моим Кабудом будешь доволен. Я чистосердечно сказать могу, что мой осел из лучших наших сказок, и я очень рад, что произвел его на свет.— Батюшков и Гнедич сегодня обедают у Сонцова, а вчера я с ними был у Полторацкого на именинах. Константин Булгаков был болен горячкою, и опасно, но, благодаря Бога, ему лучше. Я его очень люблю и сердечно радуюсь, что он выздоравливает. Здесь, в Москве, говорят, две свадьбы. Молодая графиня Мамонова идет замуж за Анрепа, флигель-адъютанта государя императора. Старая Свинына — за

графа Ланжеропа. Ей нужен полный генерал, а Ланжеропу нужен полный сундук. — В Москве все идет по-прежнему: *кумят*, красят дома и строят заборы. Веселья большого нет, да, кажется, и никогда не будет.

Прости, любезнейший мой, свидетельствую мое почтение княгине и целую ее ручки. Целую милых малюток и желаю всем вам совершенного благополучия. Люби и не забывай преданного тебе душевно

*В. Пушкина.*

10 июня [1818. Москва].

Вчера в Благородном клубе собрание было многолюдное и бал великолепный. Императорская фамилия, *король прусский*, кронпринц — все тут находились и пробыли до 11 часов. — Я был на хорах вместе с кн. Мар(ъей) Григор(ьевной) Гагариной и чуть было не умер от духоты и жара. Никол(ай) Евг(еньевич) Кашкин прогуливался в милиционном мундире, в башмаках и с зеленым пером. Новый действительный статский советник Н. А. Дурасов точно в таком же костюме подбегал с поклонами ко всем андреевским кавалерам. Князь Голицын, который жарит и ест мосек, танцевал польский. Ты видишь, что лиц знакомых было довольно.

Я пошел из Благородного собрания в Английский клуб. Нашел Батюшкова, Гнедича и Жихарева сидящих за столом. Батарей шампанского вина стояли пред ними, я подсел к нашим приятелям, и мы стали вместе пить и прохладиться. — Жуковский вчера приехал, но я его не видал. Константин Булгаков выздоровел и вчера был на бале. — Алек(сей) Федор(ович) Малиновский получил перстень с вензелем государыни императрицы Елизаветы Алексеевны. Надобно думать, что он получит Красного Орла. Ему везет и удается. Сегодня я еду на бал к гр. Потемкину. Дом его совсем отделан, и уверяют, что он ему стоит более 800 тысяч рублей. Прости, любезнейший! Я надоедаю тебе моими письмами — потому что пишу всякий вздор, но я знаю, что ты любишь Москву и что *приятна добра весть нам с нашей стороны.*

Козельского уезда, село Березичи.

Августа 2-го дня, 1818 года.

Благодарю тебя искренно, мой любезнейший, за приятное письмо твое от 28-го июня. Я его получил вчера здесь в Козельске во время крестного хода, и когда

козельские купцы и купчихи побежали к реке за образами и хоругвями, я на горе остановился читать письмо твое. Истинно слов не нахожу, как благодарить тебя за твое обо мне попечение и дружбу. Да наградит тебя Бог за доброе твое сердце и за все то, что ты для меня делаешь!

Я живу в деревне около месяца и ничего не знаю о приятелях наших. Жуковский, Тургенев, Батюшков, Булгаковы — никто ко мне не пишет. Ты один меня любишь и помнишь обо мне. Об участи бедного Северина ты уже известен. Без содрогания я вспомнить о нем не могу. Что касается до Давыдова, будь покоен: он жив и здоров, и ничего подобного с ним не случилось. Однако в Москве целые три дни говорили о его трагической кончине; слава Богу! Москва солгала.

Я чрезвычайно доволен, что мой *Хвостов* тебе понравился. По совету твоему буду писать сказки и вовсе не сержусь, что ты меня называешь стариком:

Стар и дряхл я становлюсь  
И сквозных чулок боюсь.

Подагрику не до щегольства, и, кажется, скоро я вовсе с модою распрощаюсь. Между тем признаюсь, что и в сединах моих я еще смотрю на красавиц с удовольствием. Здесь живут две девицы Щербачевы, которых не худо бы сделать молодимицами. Большая

Черноброва, черноглаза, пленяет собою,

а меньшая похожа чрезвычайно на Елисавету Семеновну Обрескову, с тою только разницею, что Щербачевой 19 лет. Что твоя Варшава!

Брат Сергей Львович живет в Опочке, на границе Белорусских губерний. Он приехал в свою деревню 27 июня, а 28-го, то есть на другой день, умерла его теща. Надежда Осиповна и Олинька в большом огорчении. Покойница была со всячинкою, и мне ее вовсе не жаль, но здоровье Олиньки очень худо, и я о том сокрушаюсь. Александр остался в Петербурге; теперь, узнав о кончине бабушки своей, он, может быть, поедет к отцу. Я о нем знаю только по слуху: около года я от нашего поэта не получал ни строчки.

Почтенный наш Николай Михайлович остается в Петербурге еще на зиму, а мне сдается, что он и вечно там жить будет. История Российская печатается вторым

тиснением и, кажется, с некоторыми прибавлениями. Каченовский беснуется, Мерзляков пьянствует с досады, Кутузов в исступлении. Ура!

Княгине свидетельствую мое почтение и целую у нее ручки. Благодарю покорно за доставление мне маленького образа. По приезде моем в Москву я его покажу Елене Григорьевне, и она, без сомнения, отдаст ему молебен.

Прости, любезнейший мой. Продолжай любить меня и будь совершенно уверен в искренней моей к тебе дружбе и благодарности. Машу, Парашу и новорожденного лобызаю.

Верный твой слуга  
*В. Пушкин.*

Р. С. Игнашка мой час от часу глупее и несноснее. Теперь он читает ведомости и сердится, что альжирцев угомонить не хотят, а сам думает, что альжирцы живут во Франции. Путешествия его, как ты видишь, не образовали.

21 октября 1818. Москва.

Письмецо твое от 28 сентября чрезвычайно меня обрадовало. Благодарю Бога, любезнейший мой, что вы все здоровы и благополучны. От предложения твоего ехать с вами в чужие края у меня забилося сердце. Если б это могло случиться, я бы почел себя совершенно счастливым! Что Богу угодно, то и будет, а надеяться не мешает. Надежда во всяких случаях есть истинное благо.

В ком надежда исчезает,  
Семя смерти в том растет!

*Капнист.*

Эпиграммы твои на Каченовского хороши, но этого мерзавца надобно отделать иначе. Надобно ответствовать на его неистовую критику справедливым, колким и остроумным рассуждением в прозе. Если бы вы трое, т. е. ты, Блудов и Дашков, были здесь в Москве, тогда б пошла потеха! — Жаль, что мы все рассеяны по лицу Земли! Я пустил в свет золотые слова Николая Михайловича и надеюсь, что это — дойдет до гнусного Зоила. Иван Иванович Дмитриев негодует, что гвардия нашего историографа молчит. Должно признаться,



что он истинный друг его и почитатель его славы. Я начал писать *разговор Книгопродавца с Журналистом*, вроде сатир Жильбера. Если из этого выйдет что-нибудь порядочное, то я тебе, по окончании, пришлю немедленно. Покамест вот стихи Шаликова, написанные к гр. Софье Алексеевне Пушкиной. Он, в первый раз, ее увидел в доме сестры Анны Львовны, и Муза внушила поэту следующие стансы:

Я помню этот взор, небес изображенье,  
Когда в день майский их чистойшая лазурь  
Вселяет в душу рай, восторг, благоговенье,  
И мысли нет в душе о страхе грозных бурь!

Я помню голос сей, лиющий в сердце радость,  
Неизъяснимую на языке людей.  
Ах! Кто изобразит ту несравненную сладость,  
Которую чувствуем в златой мечте своей!

Я помню уст твоих улыбку — не коварную,  
Но... Бог любви ее присвоил бы себе,  
Чтоб власти покорить своей неблагодарную  
Психею новую... подобную тебе!

Я помню все — и так я помню, без сомненья,  
Чего нельзя забыть, проведши час с тобой:  
Все счастье души и сердца все мученья,  
И не хотел иметь вовек судьбы другой.

Вот еще «Мадригал к Семеновой, в роли Клитемнестры»:

Я видел торжество таланта и искусства!  
Я видел матери ужаснейшие чувства  
В прелестном образце; я видел, наконец,  
Царицу грозную... царицею сердец.

*Шаликов.*

Наш Вздыхалов, как ты видишь, неутомим. À propos de la<sup>1</sup> Семенова. Сегодня у нас играют «Танкреда», и я пускаюсь в театр. Роль Танкреда будет играть дебютант, какой-то Максютин, или что-то на это похожее? Я его увижу в первый раз. Кokoшкин говорит, что новый актер не без таланта, но Кokoшкин хвалит и Кондакова.— Я ему не во всем верю.

Нашего ученого собрания еще не было.

Кн. Андрей Петрович был в деревне.

Кн. Софья Павловна еще родила сына, и семейство их час от часу умножается. Старик Оболенский жив и здоров, но только крив. У него лопнул глаз от какой-то

<sup>1</sup> Кстати о (фр.).

простуды. Я еще никого из них не видал. Вчера у них были крестины.— Алексей Пушкин дал на этих днях большой обед. Квинтич занимает нашу молодежь — а разговору и удовольствия везде мало. Сегодня я обедаю у Булгаковых и К(онстантину) Я(ковлевичу) отдам письмо мое.

У княгини целую ручки, тебя и малюток обнимаю. Будьте, милые, покойны, веселы и здоровы!! И не забывайте меня.

*В. Пушкин.*

P. S. Твой добрый служитель Иван Иванович был у меня на этих днях. Дела твои идут хорошо.— В Астафьеве сделаны кой-какие поправки.

НВ. Пришли *Лакретеля*, когда можно будет.

Москва. 1818 года. Окт(ября) 28.

Я не нахожу слов, любезнейший мой, чтоб изъявить тебе сердечную мою благодарность. Ты истинный друг и благодетель! — Сейчас А. М. Пушкин от меня поехал и взял присланный Акт с собою. Он его покажет здешним юрисконсультам или, лучше сказать, крючкотворцам, и если этого достаточно будет, то в будущий понедельник, т. е. ноября 4-го числа, мы к тебе отправим деньги.— Есть еще маленькая запятая; Пушкин мне объявил, что на это дело нужно согласие старухи Мелиссино; кажется, он кривит душою и не хочет признаться, что есть у него безымянный сын, но, как бы то ни было, если этот Акт для одного дела достаточен, ты деньги от меня получишь, и я прошу тебя как верного друга и ходатая постараться все привести к благополучному концу.— Ехать за границу с тобою для меня отрада. Мы поживем и повеселимся вместе, только надобно, чтоб обстоятельства мои мне вояж сей исполнить дозволили. Приезжай в Москву, и увидим, что Бог сделает. Все твои комиссии исполню. Эпиграмма на Свиньиная бесподобно хороша, я ее спишу и отдам Ивану Ивановичу. Прости! До понедельника. У княгини целую ручки и детей обнимаю. Будьте здоровы и благополучны!

Преданный тебе душою *В. Пушкин.*

P. S. Анна Николаевна est à vos pieds pour votre bonté et vos soins, et je me prosterne aussi avec mes enfans dont je vous confie le bonheur<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Анна Николаевна у ваших ног за вашу доброту и ваши заботы, и я простираюсь также вместе с детьми, счастье которых я вам вверяю (*фр.*).

Москва. 1818 года. Ноября 3.

Я тебе скажу, любезнейший мой, о бумаге, тобою присланной, что я ее казал многим *казуистам*, они мне объявили, что она недостаточна и что если б этот господин майор был из Вильны или из Каменец-Подольского, то бы дело было лучше;— одним словом, что эта бумага только хороша для поляков — я об этом сокрушаюсь, но все не меньше тебе благодарен; ты истинно доказываешь мне свою дружбу. Алексей Михайлович Пушкин, у которого карман пошире моего, хочет познакомиться с госп<одином> Меллером, и я ему его уступаю. Приезжай в Москву, мы о многом с тобою поговорим.— Я читал прекраснейшие твои стихи на петербургские монументы. *C'est un véritable chef-œuvre*<sup>1</sup>. Какая в них гармония, сила и идеи! — Иван Иванович восхищается тобою и душевно тебя любит. Третьего дня целый вечер мы говорим о тебе. Посылаю тебе стихи французские какой-то Свинойной. Она, видно, сестрица тобою воспетому Свиныну. Прочти их и поручаю себя в твою дружбу. На будущей неделе я буду к тебе писать более. Прости, любезнейший. Не забывай душой и сердцем тебе преданного.

*Василий Пушкин.*

Р. S. У княгини целую ручку и малюток обнимаю.

Москва. 16 декабря [1818].

Письмецо твое от 17 ноября я получил только третьего дня, любезнейший, и не понимаю, отчего оно так долго было в дороге? Истинно не нахожу слов, чтоб изъяснить тебе благодарность мою за твои дружеские попечения. Этого Миллера или Моллера я уступил Алексею Пушкину, и он меня уверяет, что ты уже о том известен. Следовательно, ты получил письма мои. Целый месяц я страдал подагрой и был недвижим. Не знаю, что делать с собою? Здоровье мое совсем расстраивается, и старость меня пришибла. Устроив дела мои и состояние моих детей, мне хочется отсюда уехать, захватить в Варшаву, побыть с тобою и пуститься далее. Если ты отправишься в чужие края, я от тебя не отстану. Постранствуем вместе и повеселимся.

---

<sup>1</sup> Это истинный шедевр (*фр.*).

Прекрасные стихи твои на монументы петербургские я списал и доставил их соседке моей, графине Софье Алексеевне Пушкиной. Ты много написал хорошего, но сие произведение Музы твоей есть превосходнейшее. Не знаю, получил ли ты мою сказку? Скажи мне что-нибудь о ней. Пушкин утверждает, что она дрянь, но ему, касательно поэзии, не во всем должно верить.

Третьего дня у Гедеоновых был маленький бал и спектакль: играли «Les Amanis-Prothées» и «Le déjeuner de garçons»<sup>1</sup>. Гедеонова играла посредственно, пела божественно. Я был в числе зрителей. В последней пиэсе отличились молодой Апраксин и Глазенап. Пушкин дает балы и концерты. На первом большом его бале я по болезни своей не был. В благородном собрании в прошедший четверг, т. е. 12 числа, находилось только 450 человек. Это собрание совсем упадет, и Бригадиром его не поддержать.—

Имеешь ли ты книгу Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов»? Она стоит того, чтоб ее прочесть, и Тургенев будет человек государственный. Сочинение его доказывает, что он занимался политическою экономией и читал много и с пользою. Батюшков уехал в Неаполь. Я получил от него письмо, писанное им в день его отъезда из Петербурга. Жуковский был болен, но слава Богу! ему лучше. В Петербурге, говорят, весело, но только, я думаю, не для подагриков. Шаховской еще написал преглупую комедию «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Он в ней вывел на сцену дурака Ивана Савельича. Я тебе ее пришлю. Она тебя позабавит. Сделай милость, не забудь о Лакретелле (Histoire de France pendant le 18<sup>e</sup> siècle)<sup>2</sup>. Ты большое мне сделаешь одолжение, если доставишь мне сию книгу. Прости, любезнейший мой. Поручаю себя в твою дружбу, для меня столь драгоценную. У княгини целую ручки. Малюток лобызаю. Многие мне говорят, что ты будешь сюда в генваре месяце, т. е. к свадьбе кн. Софьи Феодоровны. Правда ли это? Я обрадуюсь тебе, как родному брату. Прости еще раз. Будь благополучен!

Преданный тебе В. Пушкин.

<sup>1</sup> «Любовники-оборотни» и «Завтрак холостых» (фр.).

<sup>2</sup> «История Франции 18-го столетия» (фр.).

---

---



---

---

Н. Алексеев

О Д. С. УСОВЕ

Мифология, складывающаяся вокруг определенного города, района, памятника (Новгорода или Киева, Арбата или Васильевского острова, Медного всадника или Адмиралтейской иглы), неизбежно втягивает в свою орбиту не только больших писателей, но и тех, кто просто находится в культурном поле этого мифа. Если авторы «первого ряда» в силу своей особой одаренности сами создают и видоизменяют представление о том, как должен выглядеть намагниченный сотнями стихотворных строк объект, то авторы ряда «второго» усиленно формируют и закрепляют образ, который потом многочисленными эпигонами будет штамповаться и даже самопародироваться.

Автор стихов, которые мы представляем, Дмитрий Сергеевич Усов (1896—1943), почти не печатал их при жизни. Сын известного профессора Московского университета, человек высокой культуры, прекрасно знавший немецкий язык — настолько хорошо, что писал на нем стихи и делал эквиритмичные переводы с русского на немецкий, — он прожил нелегкую жизнь. Часто приходилось зарабатывать литературной поденщиной, переводами. В середине тридцатых годов он по так называемому «словарному делу» был арестован вместе с Г. Г. Шпетом, А. Г. Габричевским, М. А. Петровским и некоторыми другими, входившими в редколлегия готовившегося большого немецко-русского словаря, и отправлен в Белбалтлаг. Нечеловеческая работа подорвала его здоровье настолько серьезно, что он так



Дмитрий Усов

и не смог после освобождения вернуться к нормальной жизни и вскоре в эвакуационном Ташкенте скончался.

Но в стихах об этих испытаниях нет почти ни слова. Они исполнены высоких чувств и мыслей, питаются благородными традициями как века девятнадцатого, так и современного стиха. Нередко в строчках Усова внимательный слух различит интонации современников — чаще всего поэтов-акмеистов, которые были ему внутренне близки. Но по большей части его зрелые стихи, созданные в двадцатые годы (более поздние нам практически неизвестны), внутренне самостоятельны и продолжают традиции высокого дилетантизма, у истоков которого в русской поэзии стоял Тютчев.

Сказанное вовсе не должно значить, что внутреннее богатство творческой личности Усова равно тютчевскому. Более того, можно подумать, что поэт-дилетант, имя которого не стало достоянием истории литературы, вряд

ли может быть интересен сегодняшнему читателю, перед глазами которого постепенно разворачивается истинная панорама блистательной русской поэзии XX века. Но ведь не только из громких имен состоит литература. Нередко те стихи, что таятся в архивах, в старых письмах, обладают не меньшей притягательностью, чем поэзия признанных мастеров. Не войдя в поэтическое сознание своего поколения, они откликаются через некоторое время, обогащая картину своей эпохи.

Сквозной темой поэзии Усова была Москва — его родной город, который он знал «от Яузы до Тушинского Стана // И от Лефортова до Поварской». И, конечно, эта Москва входила в стихи не только родными улицами, дорогами по личным воспоминаниям, но и всей своей культурной насыщенностью — памятью о Чаадаеве, Пушкине, поэтах-современниках. Каждое название таит в себе память об истории, а каждая историческая фигура, появляющаяся в стихах, несет воспоминание о тех местах, которые с ней связаны. Потому, читая о Чаадаеве, мы не можем миновать того обстоятельства, что он именовался «басманным философом», а полночный московский трамвай у нас, вслед за поэтом, невольно ассоциируется с маршрутом Татьяны Лариной по московским улицам.

Но было бы неверно говорить о том, что только с Москвой связаны историко-культурные, переживания Усова. И петербургские площади и проспекты ему не менее дороги, и вообще вся русская культура, органически включающая в себя имена Ахматовой и Мандельштама, Анненского и Черубины де Габриак...

Стихотворения печатаются по автографам, которые Усов присылал своему другу Е. Я. Архиппову — поэту, библиографу, литературоведу и стихолобу. Всю жизнь Архиппов собирал стихи и материалы к биографиям тех поэтов, которые были ему интересны, и часто только благодаря ему они и сохранились. Стихи Усова хранятся в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 218, карт. 1071, ед. хр. 22.

Д. С. УСОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Чаадаев был так добр, что  
навестил меня больную.

*Из письма  
Евд. Серг. Норовой, 1835.*

Она не Грация, не роза  
В сосуде хладного стекла.  
Недуга раннего угроза  
Цветущий день заволокла.

Вся грудь — в последнем беспокойстве.  
Письмо милей шитья и книг.  
Но деве дмитровской несвойствен  
Философический язык.

«Пусть бренный мой состав телесный  
Терзает память горьких мук —  
Лишь Вам да светит луч небесный,  
Мой вечный, мой прекрасный друг!»

А друг, презревши пыль земную,  
Высокой лысиной блестя,  
Так добр, что посетил больную,  
Отца всевышнего дитя.

Чтоб на исходе жизни ровной,  
Забыв гусарской жженки ром,  
Распоряжение в духовной  
Бесстрастным начертать пером:

Дабы мужской лишенный силы  
И плоти мужеской костяк  
Покоился вблизи могилы  
Той, что его любила так.

*15 июля 1932*

\* \* \*

Тебя живописать я не устану,  
И я всегда хранил тебя такой —  
От Яузы до Тушинского Стана,  
И от Лефортова до Поварской.



Я узнаю незыблемые знаки  
На вывеске и рыночном лотке,  
Во вкусе просфоры и кулебяки,  
В заботливом московском языке.

Твои дома, с их деревянным скрипом,  
Твоих окраин пеструю мазню  
Я предпочту и царскосельским липам,  
И медному державному коню.

С рекою одесную и ошую,  
С ее Кремлем, стоящим на гербе,  
Москву мою — нелепую, большую —  
Я ощущаю сызнова в себе.

*19 ноября 1928*

#### СТИХИ НА ПЕЧНЫХ ИЗРАЗЦАХ

Когда в снегу завеянной тропой  
Идет хромец тяжелою стопой,  
Когда окно в плетенье ледяном  
И календарь на тридцати одном,  
И сторож темной шкурою оброс.  
Когда глотнул крепчающий мороз  
Крепчающий настой крутой зимы —  
Всех стен и всех камней вернее мы.  
Нас не равнял ваятеля резец,  
Но ровным жаром дышит изразец.  
И в новогоднем сумраке седом  
Единой печью держится весь дом.  
Благословен отныне и навек  
Слагатель очага и дровосек.

*2 января 1927*

\* \* \*

Глухая ночь. Трамвай едва плетется,  
И головы соседей тяжелы.  
Фонарь под снегом, ветхие воротца  
Медлительно плывут из полной мглы.

Так в давний час, когда мороз полезный  
На стеклах окон выдавил листву,  
На диво слаженный возок уездный  
Провинциалку Таню влек в Москву.

Но перевернута уже страница.  
Окраина, пустырь и бревна свай.  
И заспанным рыдваном снова мнится  
В глухую ночь плетущийся трамвай.

20 декабря 1924

### ПЕТЕРБУРГ

Гранитный город славы и беды.

*Ахматова.*

Город, многожды воспетый,  
«Город славы и беды»,  
Где с рукой, к кресту воздетой,  
Ангел видит ширь воды.  
Птица пасмурной погоды,  
Отплеск северных морей,  
Где с последней поздней одой  
Затихает мой хорей.

Поросли травой плиты.  
Хоры спеты, лавры свиты,  
И немотствуют граниты,  
И в каналах спит вода.  
Отлетел орел монарший,  
И колонны стали старше;  
Императорского марша  
Не услышат города.

Но, как встарь, гремят телеги  
У Двенадцати Коллегий,  
И закат последней неги  
Там, за шпилем, не погас.  
Но к морям зовут сирены.  
Те же гребни невской пены  
Все толкают безыменно  
Каждый ялик и баркас.

И, как прежде, сердце радо  
По просторам Петрограда  
Волочить свою отраду,  
Забывать идущий час...

*〈Середина 1920-х годов〉*

## ИЗ «ПЕТЕРБУРГСКИХ СТАНСОВ»

### 1

*Елис. Васильевой*

То вечный свет, сошедший к нам на срок,  
Весною раскрывающийся, белый,  
То затемненный день иных пределов,  
Переступивший призрачный порог.

И сумеречным холодом дыша  
На той черте небес и дали водной —  
Нигде себя не ведает душа  
Такой развоплощенной и свободной.

*14 июня 1926*

### 2

Ночь, белая в покрове облаков.  
Твой образ — неописанный и новый,  
И свет на круге площади таков:  
Из времени изъятый и лиловый.

Таков и купола надмирный вес,  
И золота глагол необоримый,  
И колоннады многословный лес  
На Невский переставленный из Рима.

*20 июня 1926*

## НОЧЬ

Зимний свет и чахл, и жуток.  
Ночь и ночь глядит на нас;  
В каждом круге каждых суток  
Повторяющийся час.

На окне, глухом и старом,  
Ветви инея сплелись.  
В этот час пушистым Ларам,  
Ларам маленьким молись:

Чтобы был кусок твой лаком,  
Полон ларь и гладок кот,  
Чтобы тем же ровным шагом  
Проходил за годом год...

Спит лампада, печка греет,  
И мурлычет серый мех:  
Каждый за себя радеет,  
А кошачий Бог — за всех.

1929

### ФУГА

Молодость моя простая,  
Груз мой четвертьвековой,  
Летопись неначатая,  
Ход незримый часовой.  
Седины итог начальный,  
Сердца высохший сухарь,  
Звон обычный, звон пасхальный —  
Круг замкнувший календарь.

Так перо скрипит и ходит;  
А весна — в который раз —  
Темной зеленью выводит  
Ожидаемый рассказ.  
И уже весна пропета:  
Смолкший лес и первый гриб,  
Час полдневный, межень лета,  
Поколений перегиб.

Так идут часы немолчно,  
Так растет и зреет час,  
Как рябина — у проселка  
Легкой веткой наклонясь.  
И, не дав рукам мозолей —  
Разве посолив виски, —  
Время заполняет поле  
Малой аспидной доски.

Так сложилось в круг незримый  
То, что будет,— с тем, что встарь,  
С повестью весны родимой —  
Обыдённый календарь,  
Что медлительно листает  
Под пера разумный скрип  
Молодость моя простая,  
Поколений перегиб.

*13 апреля 1926*



**Н. А. Богомолов, С. В. Шумихин**

**КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ  
И АВТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 1919—1922 ГОДОВ**

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Прошло чуть меньше столетия, и формула, вложенная Пушкиным в уста книгопродавца, обрела новое, не ироническое, а буквальное значение.

«По подсчетам Всероссийского Союза писателей, в одной Москве у членов Союза лежит около 1500 печатных листов, готовых для издания и переиздания произведений. Рукописи лежат безнадежно, и едва ли более 200 печатных листов из этого гигантского запаса увидели свет за последние два года», — писал в 1921 году председатель Московского отделения Союза писателей М. А. Осоргин в журнале «Среди коллекционеров»<sup>1</sup>. Сам внешний вид «Ежемесячника собирательства», где поместил свою заметку Осоргин, свидетельствовал о типографской разрухе: блеклый машинописный текст, размноженный на стеклографе, ломкая пожелтевшая газетная бумага. Журнал, который посвятил немало публикаций библиофильским раритетам и особо роскошным изданиям, лишь с пятого номера смог издаваться обычным типографским способом, оставаясь более чем аскетичным в своем оформлении.

«Если писатель не может печатать, ему остается отправляться на суд публики в рукописи, — продолжал Осоргин. — Так оно и случилось, и будущим библиографам придется завести отдел «рукописных книг» первой четверти 20 века. Почин «рукописного издатель-



Экслибрис работы В. А. Фаворского

ства» в Москве сделала «Книжная Лавка писателей» в октябре 1920 года».

На деле все это началось еще раньше. Уже летом 1918 года одна из петроградских газет писала: «Рукописная книга опять вторгается в наш обиход (...) Неимоверное вздорожание клише сначала заставило авторов иллюстрированных книг делать «от руки» одни лишь рисунки, но в последние дни писатели стали прибегать к рукописной книге, минуя не только типографию и литографию, но также и ротаторский станок!»<sup>2</sup>

Идея «преодолеть Гутенберга» (это выражение Василия Розанова позднее ввела в обиход М. И. Цветаева), что называется, носилась в воздухе. Через год, 6 июня 1919 года, поэт М. А. Кузмин обращается к букинисту Л. Ф. Мелину с предложением купить специально переписанную рукопись под заглавием «Запретный сад»<sup>3</sup>. Но в наибольшей степени эту идею использовала московская Книжная Лавка писателей, основанная в сентябре 1918 года.

Мысль о создании писательского книготоргового кооператива, где писатели-пайщики исполняли бы обязанности продавцов, приказчиков, кассиров, вплоть до складских рабочих, упаковщиков книг и уборщиков магазина, возникла у П. П. Муратова (который, впрочем, в Лавке фактически не работал); кроме него пайщиками были М. А. Осоргин, М. В. Линд, Н. Н. Минаев, В. Ф. Ходасевич (ему помогала жена — Анна Ивановна), Б. А. Грифцов, А. С. Яковлев, позднее — Б. К. Зайцев, Н. А. Бердяев, А. К. Джигелегов, Е. А. Дилевская. «Книжный фонд составил из комиссионных книг, предоставленных нам частными издательствами, где у каждого из нас были личные связи, и из старых, в большинстве трепанных и зачитанных книг «Библиотеки для молодежи», помещение которой (в Леонтьевском пе-

реулке) мы приобрели для Лавки», — писал Осоргин<sup>4</sup>. Вскоре Книжная Лавка широко развернула и букинистическую торговлю. Но главным в ее деятельности было то, что Лавка превратилась в центр непосредственного общения писателей и читателей. «...Хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, — вспоминал Борис Зайцев, — но в Лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Дживелеговым («Карпыч») по части ренессансно-итальянской. Елена Александровна<sup>5</sup>, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом миллионы»<sup>6</sup>. Об этом же писала Борису Садовскому торговавшая в Лавке Анна Ивановна Ходасевич: «Вообще наша лавочка — почти «Литер(атурно)-худ(ожественный) кружок». Все московские писатели постоянно здесь бывают. Правда, их немного — уехали многие на Украину, есть сахар, — не люблю таких»<sup>7</sup>. И одним из способов непосредственного общения писателя и читателя было создание и продажа рукописных книжечек стихотворений или небольших рассказов. Эти книжечки, очень небольшого объема, обычно не более двух десятков страниц, каждый автор собственноручно писал и разукрашивал (в редких случаях текст был машинописным, но обязательно с подписью-автографом). Они выходили не только под грифом «Книжной Лавки писателей в Москве» (которая вскоре переехала на Большую Никитскую ул.), но и издательства «Обезьяней Великой и Вольной палаты» (творчество А. М. Ремизова), «Книгоиздательства Сандро» (А. Б. Кусиков), издательства «Зодиак» в Киеве (книжечка стихов под названием «Вечерние», автор — Борис Турганов).

Надо отметить, что такая деятельность была частью общего процесса, развернувшегося в России начала XX века, когда, наряду со стремлением как можно шире тиражировать текст произведения с максимальной точностью, проявилась и тенденция к созданию индивидуализированных экземпляров. Это достигалось ограниченным тиражом (так, «Что есть табак» А. Ремизова — типография «Сириус», рис. К. А. Сомова — вышел в 1908 г. тиражом в 25 экз., а «Лелина книжка» А. Чайнова, 1912 г. — в 20 экз.), нумерацией части тиража, именными и подписными экземплярами. В русле таких стремлений лежали и футуристические



сборники, в основном выпускавшиеся стараниями А. Е. Крученых, даже разработавшего теорию «самописьма» для литографированных или же просто написанных от руки под копирку книжечек. Протянулась такая линия и за пределы первых послеоктябрьских лет, находя опору в творчестве таких авторов, чья оригинальность и удаленность от «канонических» образцов служила помехой для издания их произведений обычным путем. Важно было также, чтобы автор сам имел определенную склонность к фабрикации подобных раритетов, как, например, Даниил Хармс, оформлявший свои водевили в виде грамот, с текстом, окруженным затейливой рамочкой, скрепленным неразборчивой сургучной печатью, и с проставленной ценой, или Николай Глазков, мастеровивший свои стихотворные книжки под маркой «Самсебяиздат». В условиях эмиграции занимался выпуском рукописных книжечек А. Ремизов. «В период 1919—1920 гг., когда писатели, за невозможностью издать свои книги, сами стали переписывать их и иллюстрировать, кто как мог и умел, Ремизовым выпущены несколько книг, из которых книжными любителями были отмечены по сложности письма и краскам «золотая» — поэма в прозе «Илья Громовник» и «волшебная» — гадальные карты Сведенборга. И теперь в Париже — пришла пора и на Париж — с конца года Ремизовым сделаны 25 книжек по семи страниц книжка, и в каждой где одна, где две картинки. Рукописные книги будут выставлены на его вечере чтения в «Лютеции» 31 марта», — писала парижская газета<sup>8</sup>.

Кстати сказать, выпуск рукописных книг следует отличать от получившего широкое распространение в 1960—1980-е годы так называемого «самиздата», где читателей интересовал прежде всего текст, а не то, как он передан физически. Поэтому наиболее трудоемкие рукописные, тем более индивидуализированные списки в «самиздате» хождения почти не имели, — принципиальной же разницы между машинописью, ксерокопией или фотокопией не существовало — все в равной степени годилось для того, чтобы получить доступ к произведениям, насильственно отторгнутым от отечественной культуры, будь то стихи Ходасевича или романы Набокова, «Котлован» Платонова или «Реквием» Ахматовой.

Однако вернемся к первым послереволюционным годам.



Рисунок А. Е. Грузинского

Автографы И. Белоусова и М. Кузмина



Выходившие «тиражом» в 2, 3, 5, редко — 10 и более экземпляров<sup>9</sup>, книжечки, конечно, не могли служить источником дохода для их авторов. Они продавались «по себестоимости», то есть книжка, стоившая, в зависимости от уровня инфляции, от 3000 до 25 000 и более рублей или же — на выбор — фунт сахару или масла (так и писалось на обложке), давала возможность автору как-то прокормиться в течение 1—2-х дней.

Михаил Андреевич Осоргин был не только замечательным писателем, но и страстным библиофилом. Хорошо понимая объективную ценность уникальных автографических изданий, он завел для них особую картотеку, стараясь описать каждую книжечку до ее продажи. Кроме того, Книжная Лавка писателей собирала коллекцию подобных изданий, как выпущенных Лавкой, так и выходивших под марками других издательств либо «изданных» авторами самостоятельно. Как вспоминал Осоргин спустя десять лет после окончания деятельности Лавки: «Эту коллекцию, в огромной багетной раме под стеклом, мы, при ликвидации Лавки, подарили Всероссийскому Союзу писателей, где она, вероятно, и находится. Нет в коллекции только двух книжек, поступивших в последний момент и оставшихся у меня. Впрочем, боюсь ошибиться — может быть, кого-нибудь мы случайно и пропустили: время было очень хлопотное и трудное. Наши национальные книгохранилища в то время не имели средств на приобретение редкостей, и только Исторический музей догадался купить у нас несколько книжек (3—5). Больше купил официальный представитель Латвии, говоря, что приобретает для латвийского музея: надеюсь, что книжки туда поступили, но точно не знаю. Все остальное разошлось по частным рукам»<sup>10</sup>.

Эта цитата требует некоторых пояснений. Основная масса рукописных книжек рассыпалась по различным архивным фондам, но пути некоторых собраний удалось проследить. Коллекция самой Лавки, переданная в Литературный музей Всероссийского Союза писателей, после ликвидации этого Союза и его музея попала в Отдел рукописей ИМЛИ, где, к сожалению, ее вынули из «багетной рамы» и распределили по различным фондам применительно к авторам книжек, вместо того чтобы сохранить в целостном виде. Несколько книжек действительно сохранились в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея.

М. О. Чудакова сообщила одному из авторов, что, по воспоминаниям С. М. Алянского, активным покупателем продукции Книжной Лавки был Ю. К. Балтрушайтис, посланник Литвы (а не Латвии, как пишет Осоргин) в Советской России. Возможно, что какие-то книги сохранились в его архиве в Париже.

Единственный известный нам целостный фонд, представляющий рукописные книги Лавки писателей, хранится в ЦГАЛИ (ф. 1182. Коллекция рукописных книг Московской Лавки писателей). Он сформирован на основе коллекции известного букиниста и книголюбца Д. С. Айзенштата, проданной архиву в 1943 году (основное архивное собрание находилось в то время в эвакуации в Барнауле, откуда вернулось только в апреле 1944 года, но это обстоятельство не помешало представителям архива в Москве приобрести коллекцию). Надо сказать, что и этот фонд не избежал опасности распыления: в деле фонда имеется распоряжение тогдашнего директора ЦГАЛИ В. Попова от 4 мая 1955 года предписывающее «коллекцию расформировать: часть материалов распределить по имеющимся личным фондам, оставшиеся включить в коллекцию рукописей». К счастью, через несколько дней, 9 мая, это распоряжение было отменено. Остается гадать, чем было вызвано столь настойчивое стремление к разрушению исторически сложившихся архивных фондов.

Позже в фонд 1182 были переданы отдельные экземпляры рукописных книжек, поступивших в ЦГАЛИ другими путями; учитывая то, что и в коллекции Айзенштата изначально были собраны книги, выпущенные кроме Лавки писателей другими магазинами и отдельными авторами, название фонда «Коллекция рукописных книг Московской Лавки писателей» следует признать не вполне точно отражающим его содержание. Историю этих изданий еще предстоит написать, ибо своих летописцев, каким был Осоргин для московской Книжной Лавки, у них не было. Известно, что в Москве торговали рукописными книгами Лавка «Содружество писателей», Лавка имажинистов<sup>11</sup>, литературное кафе пролетарских писателей «Кузница»<sup>12</sup>. В Петрограде существовали книжные кооперативы «Петрополис» и «Книжный угол», которые кроме типографских изданий распространяли и рукописные. Выходили рукописные издания в Саратове<sup>13</sup>, Воронеже<sup>14</sup>, Рязани,

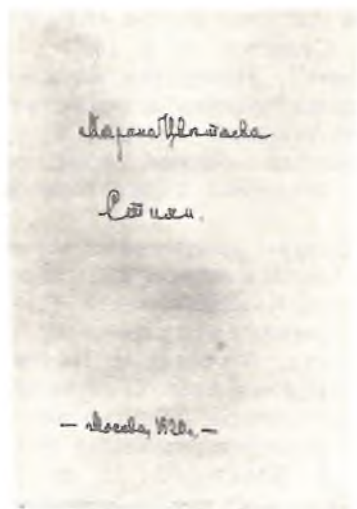
Киеве, Казани. О рукописном сборнике стихов «Кабаре на эшафоте», вышедшем в Севастополе в 1920 году, вспоминал С. И. Юткевич<sup>15</sup>. Наверняка выявлено далеко не все сохранившееся, однако и оказавшееся доступным представляет немалый интерес. Список известных нам рукописных книжек помещен в приложении. Познакомим читателей с некоторыми из них.

В сборнике «Памяти А. Блока», выпущенном через несколько дней после смерти поэта, в августе 1921 года, приняли участие Ю. Айхенвальд, К. Липскеров, А. Глоба, Н. Ашукин, А. Белый. На одиннадцати страницах — две небольших статьи-некролога, написанных Айхенвальдом и Белым, и три стихотворения. Всего было выпущено четыре нумерованных экземпляра; обложки рисовал И. Матусевич. В ЦГАЛИ хранится экземпляр № 1 этого сборника (в фонде А. А. Блока — ф. 55, оп. 2, ед. хр. 87) и экземпляр № 3 (Коллекция рукописных книг Московской Лавки писателей — ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 26). Экземпляры не полностью идентичны: они различаются форматом, элементами оформления и небольшими разночтениями в текстах. Воспроизводим из этого сборника статью А. Белого:

---

«Блок — национальный поэт, любимый, единственный, несравнимый; и — *«наш»*; он — поэт страшных лет, русских лет (лет страстных); мы же — *«дети»* вот именно *этой* тревожной России, которая — Муза его. Он имел с ней свидания, уловил Ее взгляд, как Гоголь, воскликнул: «Какая же тайная связь между нами?» Он — русский среди русских, в *глубинах* не понятный и все же понятный в жесте глубин, — он для всех, он есть *«общий»*, *«общнейший»*, *«интимнейший»*, он как и Лермонтов, Пушкин, Толстой, Достоевский; в нем русское есть Чело (*Само-*), Вече (*Со, Собор*) и «Ство» (или плоть); он — русское Само-со-знание Чело-вече-ства.

Стихотворения его томиков — листья единого дерева, три ветви (из книг) от корня; в своей *«Незнакомке»*, в *«Прекрасной Даме»*, в *«России»* и в *«Скифах»* — один он; у Музы его есть один цельный лик. Она — Имярек, носящий духовные имена (София, Мария), душевные (Россия, Прекрасная Дама), физические (невеста, девушка русская) и тень Ее (противообраз), ужасная Муза — есть Незнакомка или Клеопатра, вонзающая в сердце *«французский каблук»*.



Обложка рукописной книги М. Цветаевой

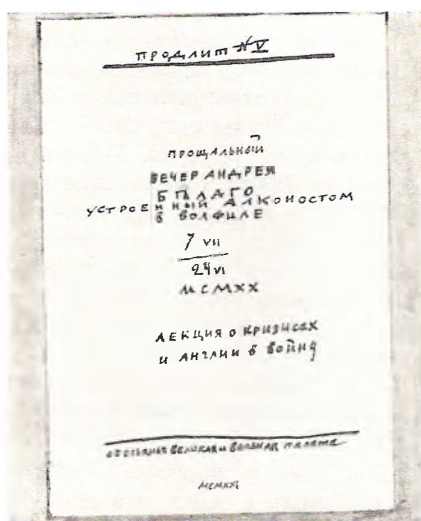
Обложка книги М. Осоргина





Обложки книг А. Грузинского и «Памяти А. Блока»

Обложка рукописной книги  
«Прощальный вечер Андрея Белого...»



---

Блок именно потому Блок «Куликова Поля», что дал он «Прекрасную Даму». Он — рыцарь; и потому — *новый народник*; народник, выводящий культ русской души из исторических *рыцарских культов*.

Три тома Блока — три акта Матерью, где стихи — цельный, связный диалог немногих участников: Он, Она, Третий, Они; или: Я, Ты, Он, Мы; или: Прекрасная Дама, рыцарь, мистик, Враг; или: Россия, Русский Народ, Проходимец; или: Коломбина, Пьерро, Арлекин, арлекинад и т. д. Под всеми личинами — то же.

Блок — конкретный философ, вынашивающий русскую Мудрость, Софию; идеология Вл. Соловьева в нем перекликается с «*Философией Общего Дела*» Федорова и с течением русской традиционной общественной мысли (Лаврова, Герцена, Бакунина); три русла пересекаются в с неба на землю сходящую Софию, становящуюся матерью, русской землей. Он, Блок, — русский. И будет жить жизнью России в поколениях многих сот лет. Мы, русские, по золотой мете времени понесем его в бездорожие Вечности и сотворим ему Вечную Память.

*Андрей Белый.*

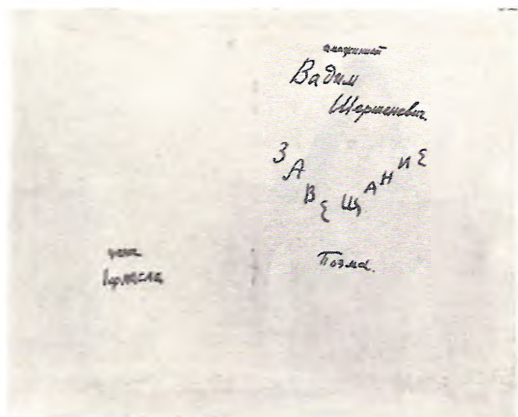
---

Надо отметить, что статьи Белого в разных экземплярах сборника «Памяти А. Блока» — не механически переписанный текст, а различные редакции одного и того же отрывка. Вот пример разночтений; так выглядит второй абзац статьи в экземпляре № 1:

«В «Незнакомке», в «Двенадцати», в «Прекрасной Даме» и в «Скифах»; в единственном «Куликовом поле» — единственный голос, все тот же, все той же единственной Музы его; Она — Имярек, носящий духовные псевдонимы (София, Мария), душевные (Россия, Прекрасная Дама), физические (невеста, русская женщина); Она дана в радуге цветовых преломлений, и вырывать одну краску Ее из лучей цельной радуги — часть света его Музы, — не знать Ее имена — отдаваться страшному миру Ее Противобраза — Незнакомке, Страшной Музе, Клеопатре, вонзающей в сердце «*французский каблук*».

От строгого оформления сборника в память Блока «азиатской роскошью» отличается книжечка А. Ремизова «Прощальный вечер Андрея Белого, устроенный «Алконостом» в Волфиле 7.VII/24. VI МСМХХ. Лекция о кризисах и Англии в войну».





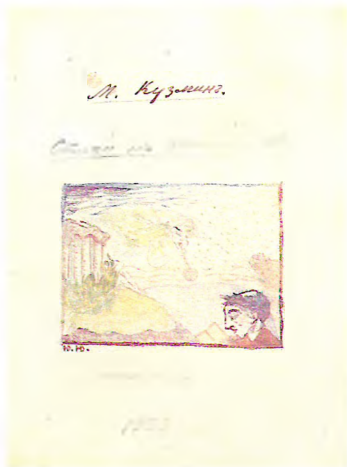
Разворот книги Вадима Шершеневича

«Азиатской» эта роскошь времени военного коммунизма названа нами потому, что для обложки писатель использовал старые обертки от чая (фирм Высоцкого и Перлова) с изображениями стилизованных китайцев, джонки под парусом и т. п. На двенадцати страницах книжки из плотной бумаги наклеены десять рисунков Ремизова, по-видимому вырезанных из блокнота, где они, возможно, были вначале набросаны с натуры на лекции в Вольной философской ассоциации, а потом проработаны красками и цветными карандашами. Под рисунками, долженствующими изображать лекцию Андрея Белого в развитии, сделаны подписи: «Начинает», «Нырнул», «Взвившись, понесся, несется», «Выкрикнулась фраза: «Сыщики их!», «Планк физик уничтожил эфир», «Энтропия», «Электрон, неоны, меоны», «Разойдись всюю к концу», «Конец».

Голубая книжечка стихов Марины Цветаевой сшита из полулистов гербовой бумаги, на которой прежде писались прошения; при этом заполнялся только левый полулист, а чистые правые половинки в годы бумажного голода заменили писчую бумагу, высоко ценясь за свое качество, плотность, гладкость. На обложке Марина Ивановна оставила синий сургучный оттиск своего перстня с печаткой, напоминающей трехмачтовый корабль или подсвечник с тремя свечами.



Шарж на А. Измайлова



Обложка книги М. Кузмина

Наивный полудетский рисунок обложки книжки Михаила Кузмина «Стихи об Италии» сделал писатель Ю. И. Юркун. На обороте обложки выцветшими зелеными чернилами помечено: «Написано в количестве пяти экземпляров, снабженных номерами и подписью автора. Экземпляр № 1 М. Кузмин».

Теми же зелеными чернилами написан и весь цикл «Стихи об Италии», впоследствии включенный автором в сборник «Нездешние вечера». Вот одно из стихотворений этого цикла (автограф имеет незначительные разночтения с текстом последней публикации — «Нездешние вечера». Пг., 1923):

#### ВЕНЕЦИЯ

Обезьяна распростерла  
 Побрякушку над Ридотто,  
 Кристалличной сонатиной  
 Плачет дьявол из Казота.  
 Синьорина, что случилось?  
 Отчего вы так надуты?  
 Рассмешитесь: словно гуси  
 Выступают две бауты.  
 Надушенные сонеты,  
 Мадригалы, триолеты,  
 Как из рога изобилья,  
 Упадут к ногам Нинеты.  
 А Нинета с треуголкой,  
 С вырезным лимонным лифом,

Обещая и лукавя,  
Смотрит выдуманным мифом.  
Словно Тъеполо расплавил  
Теплым облаком атласы.  
На террасе Клеопатры  
Золотеют ананасы.  
Кофей стынет. Тонкий месяц  
В небе лодочкой ныряет.  
Под стрекозьи серенады  
Сердце легкое зевает.  
Треск цехинов, смех проезжих,  
Трепет свечи нагоревшей,  
Не спеша стряхает полночь  
Блестки шали надоевшей.  
Молоточки бьют часочки,  
Нина — розочка, не роза.  
И секретно и любовно  
Тараторит Чимароза.

Элегантная книжечка В. Ф. Ходасевича «Вечерние стихи. Хореи» включает 4 стихотворения («Голос Дженни», «Воспоминание», «Вечер», «Рай»). Они не имеют разночтений с печатными текстами, однако объединение этих стихотворений в единый цикл с авторским заглавием «Вечерние стихи» в изданных книгах Ходасевича не встречается. Думается, при составлении в будущем полной библиографии его произведений следует учесть и эту рукописную книжечку.

Михаил Осоргин представлен в коллекции Д. С. Айзенштата рассказом «Петька-карапуз»; другой экземпляр этого же рассказа (отличающийся оформлением обложки) и этюд «Мостик жизни» находятся в Собрании рукописей (ф. 1345, оп. 1, ед. хр 405). И рассказ и этюд имеют подзаголовок «Из неизданной книги «Из маленького домика»<sup>16</sup>. Помещаем их здесь.

## МОСТИК ЖИЗНИ

Если бы мы сохраняли все, что написано нашей рукой, нам легче всего было бы разыскать в ворохе бумаг кривые, дрожащие палочки первых букв, медленно вписанных напряженной ручкой, когда набок склонена кудрявая головка и кончик языка следит за пером. А позже — уже зачатки почерка, опыт подписи с завитушкой, неуклюжий стих, тетрадка первого дневника, письмо к подруге или к другу, — и быстро приходит человек к ровным записям приходно-расходной книги.



Обложка книги А. Кусикова

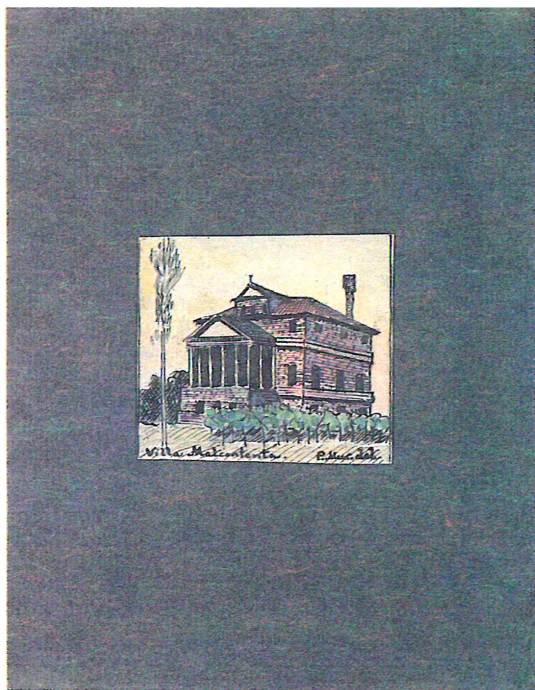
Приход — расход. Все, что продлит жизнь, — мы ставим на приход; расход — вычет из жизни. А баланс — глубокая ирония, лучшее доказательство, что все эти записи напрасны. По тонкому ажурному мостику над бездной, из вечности в вечность, идем мы напыжившись, глупые и важные люди...

Мостик жизни горбат. Слева — веселый подъем на молодых, изящных юношеских ногах; справа — тяжелый спуск с помощью палки, дрожащей в тяжелой руке. И впереди — призывный колокол, надоедливый звук которого твердит беспрестанно о том, чтобы вы спешили насладиться зрелищем светотеней и гармонией звуков жизни.

В Неаполе, над высоким Вомеро, есть монастырь *Camaldoli*. Там каждую четверть часа ровный и монотонный голос дежурного монаха, со стуком в дверь обходящего кельи, твердит безумную фразу:

«*Badate, è passato un quarto d'ora della vostra vita!*»

«Берегитесь, прошло четверть часа вашей жизни!»



Обложка рукописной книги П. Муратова

Людам, от жизни ушедшим, напоминает он, что смерть не ждет. Тонкую пытку придумал человек, напуганный смертью! Но напрасно он хотел быть более жестоким, чем сама жизнь! Жизнь перехитрила его, и страшная фраза стала столь же привычной, как тиканье маятника и бой часов. И разве вас пугает — вас, любующихся жизнью, победами пьяных, — что мы не обладаем миллионом даже в счет отведенных нам для жизни часов? И тот, кто уже насчитал миллион получасов, — глубокий старик? Сочтите сами, если вам не жаль потратить на это столь драгоценное время...

*Мих. Осоргин.*

### ПЕТЬКА-КАРАПУЗ

Петька-карапуз в плисовых шароварах, на одной подтяжке, а другой не к чему пристегнуть — пуговица оторвана. Петька-карапуз: убедительная просьба не баловаться и не пускать слюнявых пузырей! Петька, воздержись... хотя, конечно, это очень интересно.



Обложка рукописной книги Н. Мешкова

Петьке два года, а похож он на полковника старого режима. Петька — драчун. Петька — истязатель. Петька — победитель в боях. Петька — растереха и плакса. Петька — пузырь. Петька, а каково твое социальное положение? Отстань, не пачкай мне ботинок! Петька, вот тебе декрет: отстань и отстань! И не приставай. Еще меньшевик, а туда же, лезешь драться со взрослыми.

Петька-карапуз дает концерт, машет палкой и тянет во все свое круглое горло, покраснев от натуги:

— Ма-ра-ка-ша-ма-ра-ка...

— Петька, ты врешь, неверно поешь.

Он с разинутым ртом остановился, растопыря руки и склонив голову набок, переспросил:

— А?

— Ты неверно поешь, Петька.

Он долго думал, что бы ответить, и уже хотел было раздумать отвечать, потом вдруг разом надумал:

— Ты сам врешь!





Обложка книги А. Ремизова

И долго хохотал над своим удачным ответом, ужасно напоминая всей фигурой старого полковника старого режима.

Потом побежал к маме советоваться о серьезном и неотложном деле. И тогда Петьку повели, точно пленного. Однако вернулся он опять победителем.

Так окончился концерт Петьки-карапуза.

Описание Петькиных примет: ни усов, ни бороды: бровей тоже нет.

Когда ест кашу, болтает ногами, а ложкой хлопает по столу.

Неграмотный, но читать любит. Читает картинки, и читает их пальцем.

Когда этот старикашка смеется, то на носу у него с каждой стороны образуется по три морщины. В ту же минуту мама утирает ему нос платком, после чего Петька делается серьезным и похожим на артиста Малого театра.

Еще примета: если Петьку пощекотать, то он начинает кричать: «Га-ах-а-ха!», тянет это дольше надобности, а фуфайка на нем обра-

зует складки, приподнимаясь и обнаруживая невероятно набитый живот. Петька — противный буржуй. Поэтому его и уплотняют.

И вот однажды Петька закашлял смешно, густым басом.

— Что это Петька кашляет? Не простудился ли он, няня?

— Где ему простудиться, на ем фуфайка!

— Петька, дай сюда голову. Не вертись, карапуз. Ну, конечно, жар у него. Надо уложить в постель. Нельзя, Петенька, милый, не капризничай! Нужно слушаться. У тебя жар, голубчик!

Вечером Петька пылал. Наутро не стало лучше. Все ходили на цыпочках, мама плакала и волновалась, был доктор. На третьи сутки Петька умер.

Петька-карапуз умер! Что можно придумать бессмысленнее? Что?

Зачем родился Петька? По какому расчету ему было отведено для жизни только два года с месяцами? И почему пуста его кроватка, а фуфайка, так курьезно обтягивавшая карапузика, лежит в шкапчике, вместе с тоненькой книжечкой «Умей сосчитать»? Почему, я спрашиваю, умер Петька, а не я или же его мама, просившая икону, что висит в спальне, дать ей, маме, умереть сто раз вместо Петьки?

Петька умер, и мы никогда не узнаем, чем бы стал он, если бы он вырос. Петька, маленький, толстенький и будто бы никому, кроме мамы, не нужный, разом сброшен со счетов жизни, как слепой котенок, как задутая свечка, как сбитый с дерева зеленый листок.

Иные найдут в таких забавах природы глубокий смысл: отличный способ утешенья! А по-моему, за одного Петьку-карапуза вся природа подлежит безжалостному суду и вечному осуждению. И проклятью! И нечем ей оправдаться.

И думаю я, что в тайнике души, слишком кроткой, слишком всепрощающей, — должна бы со мной согласиться —

бедная мама Петьки-карапуза.

*Москва, сент. 1920.*





Автографические издания возникли в обстановке, казалась бы менее всего способствующей творчеству и любому литературному труду. Дух неожиданно воспарил над разрушенным бытом. Свой рассказ об этих библиографических униках мы закончим стихотворением из книжки Л. Н. Зилова «Блоку», вышедшей в августе 1921 года ко дню похорон поэта:

Бедные мои сограждане, вы не знаете,  
Как же теперь жить в этом ужасе.  
В ужасе нищеты и голода.  
Вы печете булочки и пирожные,  
Собираете всякое тряпье и безделушки,  
Но ничего из этого не получается,  
И у вас заходит ум за разум.

---

И вот что говорят книжные лавочки:  
— Всякие стихи идут замечательно!  
Умные граждане,  
Вы каким-то седьмым чувством почувяли,  
Что теперь живут по-человечески  
Только одни поэты,  
Эти странные люди с другого света.  
Сквозь хаос и ужас,  
Нагие и голодные,  
Идут себе своей дорогою,  
Словно под вальс или мазурку,  
Двигаются навстречу неизвестности  
В печальную для вас бесконечность.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Среди коллекционеров, 1921, № 3, с. 31.

<sup>2</sup> Утренние новости, 1918, 23 августа, № 12. Георгий Петрович Блок, двоюродный брат поэта и пайщик кооперативного издательства «Время», писал в январе 1922 г. Б. А. Садовскому: «Знаете, что с 1 января стоит печатание и бумага? Книга в 14 листов — 100 миллионов; минимально, при скверной внешности,—70» (ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 55, л. 53 об.).

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 64. В 1920 г. этот сборник под названием «Занавешенные картинки» с рисунками М. В. Добужин-

ского и фиктивным указанием места издания (Амстердам) был выпущен в свет, что вызвало в книгоиздательском мире толки и пересуды как событие почти беспрецедентное. Об этом сообщал Г. П. Блок Садовскому в письме от 9 апреля 1921 г., говоря, что книга вышла «с разрешения властей, но тайно» (там же, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 55, л. 7 об.).

<sup>4</sup> Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1928, кн. II, с. 22.

<sup>5</sup> Е. А. Дилевская.

<sup>6</sup> Зайцев Б. Москва. (Париж), 1939, с. 286—287.

<sup>7</sup> ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 227 (письмо от 4 апреля 1919 г.).

<sup>8</sup> Последние новости, Париж, 1933, 16 февраля. Очевидно, заметка принадлежит перу самого Ремизова (см.: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». Публикация А. д'Амелиа. — Минувшее. Исторический альманах, вып. 3. (Париж), 1987, с. 209—211; ср. также: Марков А. «Басаркуньи сказки» А. М. Ремизова. — Панорама искусств, вып. 11. М., 1988, с. 381—392.

<sup>9</sup> Были, впрочем, и исключения, например — «Стихи. № 1» А. Б. Кусикова (см. приложение, № 107), где количество рукописных экз. достигало 100.

<sup>10</sup> Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932, кн. III, с. 50.

<sup>11</sup> Анатолий Мариенгоф, вспоминая о том, как он и С. Есенин решили в 1921 г. открыть свою Лавку, упоминает существовавшую тогда в Камергерском переулке Лавку имажинистов Шершеневича и Кусикова, а также дает довольно язвительный отзыв о предприятии Осоргина: «В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то из старого «Союза писателей». Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и с собственным местом на полочке российской изящной словесности. Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления, — точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской» (Мариенгоф А. Б. Роман без вранья. Л., Прибой, 1927, с. 44).

<sup>12</sup> См.: Печать и революция, 1921, кн. 2, с. 240.

<sup>13</sup> См.: Обзорение театральной, литературной и художественной жизни Саратова, 1922, № 8, с. 8—9.

<sup>14</sup> См.: Огни, Воронеж, 1921, 11 июля; Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 1987, с. 123.

<sup>15</sup> Панорама искусств, вып. 11. М., 1988, с. 82.

<sup>16</sup> Книга Осоргина под таким названием была издана в Риге в 1921 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК АВТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

В основу данной библиографии положен список рукописных книг, составленный в свое время М. А. Осоргиным и напечатанный в малотиражном издании «Временник Общества друзей русской книги» (Париж, 1932, кн. III, с. 53—60). Там же Осоргин писал об этой своей работе: «Опубликование списка «автографических изданий Книжной Лавки писателей» было моей давней библиофильской мечтой. Эта мечта родилась одновременно с самой мыслью об автографических изданиях, и только поэтому огромное большинство рукописных книг я занес в карточный каталог с возможно подробным описанием. Каталог, оставшийся в Москве, удалось получить стараниями друга, который помог мне и в его систематической разработке».

Каталог Осоргина печатается с сохранением особенностей его описаний, хотя и не всегда профессиональных, но интересных своей непосредственностью. Пришлось провести лишь необходимую унификацию, сделать небольшие сокращения, исправить явные неточности и ошибки и дать списку общую нумерацию.

Дополнения к библиографии Осоргина даны в квадратных скобках и выделены курсивом.

При отборе книг для включения в список авторы руководствовались следующими критериями:

1. Книга должна быть автографичной; механическое воспроизводство текста, не заверенное автографом-подписью, допускается только в том случае, если это копия с утраченного оригинала. Поэтому в библиографию не включены машинописный сборник Б. Турганова «Вечерние» 1922 года (ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 28), а также литографированные, отпечатанные на мимеографе, шапирографе, гектографе и т. п. сборники автографов, как, например, «Новый Гиперборей» (о нем см.: Нерлер П. Новый Гиперборей.— Литературная учеба, 1988, № 2, с. 125—131).

2. Книга должна соответствовать типу автографического издания, а не представлять собой просто переписанный автором текст, в принципе ничем от обычной рукописи не отличающийся. Так, не попала в список книга Г. Иванова «Сады» 1919 года (ЦГАЛИ, ф. 2155, оп. 1, ед. хр. 6), являющаяся, по всей видимости, рукописным

макетом подготовленного типографского издания (впрочем, в таком виде не осуществленного).

3. Хронологические рамки списка определяются 1919—1922 годами, то есть временем наиболее активной издательской деятельности Книжной Лавки писателей. Единственным, специально оговоренным, исключением является сборник переводов стихотворения Бодлера «Падалъ» (№ 103 списка), датированный 1928 годом, поскольку он находился в коллекции Д. С. Айзенштата, легшей в основу нынешнего собрания рукописных книг в ЦГАЛИ СССР.

Авторы приносят свою благодарность покойному М. С. Лесману, Л. М. Турчинскому, А. Ф. Чистякову и др., ознакомившим их с рукописными книгами из своих коллекций, а также Е. Ю. Литвин и В. В. Попову, много способствовавшим в поиске.

\* \* \*

1. АШУКИН Николай. Весенний ветер. [М.], сентябрь 1920. 1 стих., 12 стр.

2. Веснянки. М., 1921. Переписана на листах бересты круглого формата, радиус 3 см. На обложке автором нарисован цветок. Ц. 15 000 р.

3. Гусли-самогуды. Стихи для детей. Дата не помещена. 15 стих., 38 стр. Обложка той же бумаги. Разм. 20×12.

4. Зажженная свеча. [Авт. надпись]: «Переписана в одном экземпляре в апреле 1921 г.». 3 стих. Обложка из обойного бордюра. 12 стр., разм. 8×6.

5. Китай. [Авт. надпись]: «Сборник стихотворений «Китай» переписан в одном экземпляре. Москва, ноябрь месяц, тысяча девятьсот двадцатого года». 4 стих., 12 стр. в зеленой обертке с рис.— ваза цветов. Разм. 15×19. Ц. 1500 р.

6. Китайские тени. [М.], февр., 1921. 3 стих. Ц. 1500 р.

7. Лунный рыцарь. Баллада. М., 1920. Желтая обложка с черными буквами «Николай Ашукин» и красными «Лунный рыцарь». 8 стр., разм. 14×10. Ц. 1500 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 2. На последней стр. надпись: «Стих. «Лунный рыцарь» написано в 1911 году, напечатано было в журнале «Рампа и жизнь» в 1912 году. Переписано для Книжной Лавки писателей в Москве в одном экземпляре в декабре месяце 1920 года. Ник. Ашукин»].

8. Посох, свирель и кольцо. [*Венок сонетов*]. М., [сентябрь 1920]. Надпись [в виде треугольника на последней стр.]: «Венок сонетов «Посох, свирель и кольцо», начат в ноябре 1916 года, окончен в июле 1919 года». Красные и черные чернила. Разм. 14×9,5. Ц. 1500 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 3].

9. Прялка. Стихи. [М.], ноябрь 1920. 3 стих. из книги «Прялка». 8 стр., обложка с наклеенным медальоном: женщина за прялкой.

10. Рождественский дед. М., 1920. 4 стих., 12 стр., зеленая обложка с изображением деда. Разм. 16×13. Ц. 2000 р.— [*Собрание В. Г. Лидина. См.: Л и д и н В.*] *Друзья мои — книги. М., 1976, с. 17*].

11. Свирель. Стихи. [М.], февраль 1921. 7 стих. [«Свирель», «Дуновение», «Лазурью ласково сияя», «Весна», «Над Волгой», «Ангел», «Гробница»], 12 стр. в обложке. Ц. 5000 р. [Авт. надпись: «Сборник «Свирель» переписан для Книжной Лавки писателей в одном экземпляре в феврале мес. 1921 года в Москве. Николай Ашукин».— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 4].

12. Стихи о Москве. [М.], февраль 1921. 6 стих., 12 стр. в обложке. Ц. 3000 р.

13. Стихотворения. [М.], ноябрь 1920. 3 стих. Миниатюрное изд., разм. 5×8. 8 стр. в серой обложке.

14. Считалочка. М., 1920. 8 стих., 12 стр., обложка кирпичного цвета. Рис. автора. Разм. 15×11. Ц. 2000 р.

15. Терем. Стихи. [М.], ноябрь 1920. 2 стих., 16 стр. Миниатюрное изд. в серой обложке. Разм. 5×9.

16. Тихий дворик. Стихи. [М.], 1921. 3 стих., 16 стр., обложка из обойного бордюра. Разм. 9×8. Ц. 3000 р.— [*Частное собрание, Москва*].

17. Шкатулка с музыкой. [М.], сентябрь 1920. Сходна с книжкой «Посох, свирель и кольцо». Ц. 1500 р. Продана до описания.

18. Элегии. М., 1920. 5 стих. Обложка белая с рис. автора. 4 стр. без заглавного листа. Разм. 20×14. Ц. 2000 р.

19. Юность. [М.], сентябрь 1920. Сходна с книжкой «Посох, свирель и кольцо». Ц. 1500 р. Продана до описания.

20. Японский веер. (Танки). [М., *Книжная Лавка писателей*], 1921. 4 стих., 8 стр., обложка обойного бордюра. Разм. 7×5. Ц. 2000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 5].

21. (Титул не отмечен). [М.], сентябрь 1920. Сходна с книгой «Посох, свирель и кольцо». Ц. 1500 р. Продана до описания.

22. БЕКЕТОВА София и МАКШЕЕВА Елисавета. Стихотворения. М., 1920. 3 стих. Бекетовой и 2 стих. Макшеевой (псевдоним В. Ф. Ходасевича). Цветная обложка. Разм. 23×18. Ц. 2000 р. [*София Бекетова — псевдоним А. И. Ходасевич, жены поэта*].

[23. БЕКЕТОВА София и МАКШЕЕВА Елисавета. *Семь стихотворений*. М., 1920. Разм. 18,5×12,5.— *Частное собрание, Москва*.]

24. БЕЛОУСОВ И. А. Весна. Стихи. М., 1920. 6 стих. написаны на почтовой бумаге и наклеены на серо-голубую альбомную бумагу на одной стороне. Обложка серой бумаги с красным корешком. Разм. 10×9. Ц. 1000 р. — [ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 8].

25. В лесу. Стихи. [М.], 1921. 11 стих., 16 стр. в обложке. Разм. 13×12. Ц. 4000 р.

26. В Крыму. Стихотворения. [М.], ноябрь 1920. 9 стих., 12 стр., считая обложку. На обложке яхта. Разм. 17×17. Ц. 2000 р.

27. Детские песенки. [М.], ноябрь 1920. 6 стих., 10 стр., обложка серая с детской головкой. Разм. 13×9. Ц. 1500 р.

28. Детские песенки. [М.], ноябрь [1920]. 9 стих., 12 стр., серая обложка с вырезанной картинкой. В тексте 5 вырезанных картинок и 1 авторская концовка (грибы). Разм. 17×12. Ц. 2000 р.

29. За грибами. Стихи для детей. [М.], ноябрь [1920]. 5 стих., 12 стр. В тексте 5 концовок автора (грибы). Разм. 13×9. Ц. 1500 р.

30. Запретные стихи. [М.], октябрь 1920. Ц. 1500 р. Продана до описания.

[31. *Золотая осень*. Стихи. Рис. А. М. Нечаева. С дарственной авт. надписью: «В музей при Всероссийском Союзе писателей». — ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 12.]

32. Крымские мотивы. Стихотворения. 8 стих., 16 стр. в серой обложке с вырезанной картинкой (яхта). Разм. 16×18. Ц. 2000 р.

33. Лирник. Украинские мотивы. [М.], 1921. 5 стих., 12 стр. в обложке с желтым бордюром. Разм. 17×14. Ц. 3000 р.

34. Неизданные стихи. [М.], 1921. 10 стих., 12 стр.

в обложке с наклеенным портретом автора. Разм. 21×14. Ц. 7000 р.

35. Осенние мотивы. Из стихов Ив. Белоусова. [М.], 1920. 12 стр. в серой обложке с наклеенной фотографией автора и подписью на фотографии. Разм. 17×16. Ц. 250 р. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 7].

36. Песни о сердце. Неизданные стихи 1919—1920 гг. [М.], декабрь 1920. 8 стих., 20 стр., в серой обложке с черными углами. В центре красное сердце. Разм. 17×23. Ц. 3000 р. — [ИМЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 7].

37. Песни уходящего дня. [М.], 1920. 8 стих., 10 стр. в обложке из обойной бумаги. Разм. 18×12. Ц. 3500 р.

38. И. Райнис (Ян Плекшан). Из черных страниц (перевод с латышского), 1919—1920 гг. [М.], 1921. 9 стих., 24 стр. в коричневой обойной бумаге. Разм. 14×12. Ц. 2000 р.

39. Стихи (полное название не отмечено). [М.], 1921. 5 стих., 12 стр., считая обложку. Обложка украшена красными углами и наклеенной картинкой (свеча в венке). Разм. 22×14. Ц. 1500 р.

40. Стихи [М.], 1920. 8 стих. Твердая синяя обложка с портретом (фотографией) автора. 20 стр. Разм. 12×11. Ц. 3000 р. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 6].

41. Стихи. [М.], 1921. 9 стих. Обойная обложка с «окошком» белой бумаги. 12 стр., разм. 18×12. Ц. 3000 р.

42. Р. Тагор. Из жертвенных песнопений (перевод). М., 1920. 8 стих. 1914—1915 гг. Обложка светлая, середина белая с заглавием. 12 стр., разм. 18×12. Ц. 2000 р.

43. Украинские картинки. [М.], 1920. 20 стр., в серой обложке. Наклеена картинка (малорусская девушка). Разм. 16×18. Ц. 3000 р.

44. Украинские мотивы. [М.], 1920. 7 стих. Обложка белая, с пестрым бордюром. 8 стр., разм. 14×9. Ц. 1500 р.

45. Уходящие дни. Стихотворения. [М.], ноябрь 1920.

46. Т. Шевченко. Кавказ (перевод). [М.], 1920. Разм. 18×12. Ц. 1500 р.

---

47. БЕЛЫЙ Андрей. Афоризмы. [М.], октябрь 1920. С акварельными рисунками автора. Ц. 5000 р. Издано в 2-х экз., проданы до описания.

48. Стихи. [М.], октябрь 1920. 8 стих. Обложка — папка плотной белой меловой бумаги, разм. 36×28. Вложены 8 стр. бумаги разм. 35×22. На обложке большая яркая акварельная розетка; на внутренней стороне обложки виньетка во всю страницу. Надписи: «Виньетки Андрея Белого — обложка Андрея Белого». В тексте 6 рис. автора. Ц. 5000 р.

49. Стихи (или «Стихотворения»). На плохой линованной бумаге с акварельными рис. автора. Разм. 28×22. Ц. 5000 р. Продано до описания 7 экз. [ОПИ ГИМ, ф. 96].

50. Стихотворения. [М.], сентябрь 1920. 3 стих. Тетрадь из 8-ми стр., включая обложку плохой писчей бумаги. 5 рис. пером красными чернилами. Разм. 35×22. Ц. 5000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 25, к. 1, ед. хр. 6].

51. Стихотворения. [М.], октябрь 1920. 4 стих. Тетрадка из 4-х листов плотной белой бумаги, разм. 36×22, с 6 акварельными рис. (считая и обложку). Рис. в полстраницы и во всю страницу. Ц. 5000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 25, к. 37, ед. хр. 13].

52. Стихотворения. (Стих. «Карма»). 2 л. плохой бумаги без виньеток. Заглавные буквы красными чернилами, как и надпись «1917 года, Поворовка». Обложка с акварельным пятном. Разм. 28×22. Ц. 5000 р.

53. Стихотворения. [М.], октябрь 1920. 3 стих. На бумаге разм. 28×22 (линованная, типа «коммерческой»), с рис. и виньетками автора акварелью. Рис. обложки — три свечи и по бокам две склоненные над налоями фигуры. Кроме того, 6 виньеток. Ц. 5000 р. [ОПИ ГИМ, ф. 96].

54. Танка. [М.], сентябрь 1920. На плохой бумаге, разм. 28×22, с акварельными рис. автора. Ц. 5000 р. Продана до описания Историческому музею [ОПИ ГИМ, ф. 96].

55. Танка. [М.], 4 сентября 1920. На плохой бумаге с акварельными рис. автора. Разм. 28×22. Экз. приобретен Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [ИРЛИ; описана и частично воспроизведена в Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год (Л., 1981, с. 61—64). Об этой же книге см.: Б у г а е в а К. Н. Библиография стихотворений Андрея Белого.— ИМЛИ, ф. 11, оп. 1, ед. хр. 56, л. 54].

[56. СТИХОТВОРЕНИЯ Андрея Белого. Б. м., б. г. 8 стр. с акварельными рис. — ИМЛИ, ф. 11, оп. 1, ед. хр. 40. Описание см.: Л а в р о в А. В. Андрей Белый



---

[57. ВЕРХОВСКИЙ Юрий. Белая березка. Лирическая поэма. Пб., 1920. 5 стр. Обложка бумажная; на обороте авторская надпись: «Эта поэма переписана автором в числе пяти экземпляров, нумерованных и снабженных подписью автора. № 1. Юрий Верховский». В конце помечено: «1920. Весна. Томск». — ЦГАЛИ, ф. 1346, оп. 1, ед. хр. 77.]

---

58. ВЕТРИНСКИЙ Ч. (В. Е. Чешихин). Переводы из Беранже. Некрополис, 1920. Зеленая обложка с Георгием Победоносцем. Ц. 1000 р. Продана до описания.

59. Поль Верлен. Новые переводы. 1920. 8 стр. в зеленой обложке с Георгием Победоносцем. Ц. 1500 р. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 10. На экз. обозначено: «Вып. 2»].

60. Переводы из Верлена. Некрополис, 1920. Продана до описания.

61. Год у Волги. Стихотворения. Некрополис, 1920. 7 стих., 8 стр. текста в желтой обложке, разм. 22×12. С Георгием Победоносцем. Ц. 1500 р. — [ИМЛИ, ф. 565, оп. 1, ед. хр. 1].

62. Виктор Гюго. Из «Страшного года». Новые переводы. Некрополис, 1920. Ц. 1000 р. Продана до описания. — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 9].

63. Переводы из Ленау. Некрополис, 1920. Ц. 1000 р. Продана до описания.

64. Сонеты Сюлли Прюдома. Некрополис, 1920. Разм. 19×12. Ц. 1500 р. Продана до описания.

65. С чужих полей. Переводы из Теофиля Готье, Верлена, Шелли, сонет Китса, из Рюккерта, К. Буссэ. Некрополис, 1920. 8 стр. Желтая с рамкой обложка, разм. 15×11. На оборотной стороне вырезан Георгий Победоносец. Ц. 1500 р. — [Собрание М. С. Лесмана].

66. Р. Тагор. Молодой месяц. Стихотворные переводы. Вып. 1. Некрополис, 1920. На обложке рис. автора пером. 8 стр., разм. 19×12. Ц. 1500 р. Продана до описания.

67. Р. Тагор. Молодой месяц. Стихотворные переводы. Вып. 2. Некрополис, 1920. 4 стих. Обложка зеленая, с авт. рисунком пером. 8 стр., разм. 19×12. Ц. 1500 р.

68. Р. Тагор. Садовник. Стихотворный перевод. Вып. 1. Некрополис, 1920. 8 стр. в желтой обложке, разм. 15×12. На внутренней стороне обложки наклеен рисунок: «Р. Тагор в 16 лет». Ц. 1500 р.

69. Рабиндранат Тагор. Стихотворные переложения с англ. авт. перевода. Вып. 1. Некрополис, 1920. 3 стих., 8 стр. в зеленой обложке. На 1-й стр. рис. пером (мальчик). Разм. 19×13. Ц. 1500 р.

70. Рабиндранат Тагор. Стихотворные переложения с англ. авт. перевода. Вып. 2. Некрополис, 1920. 2 стих., 8 стр. в зеленой обложке с Георгием Победоносцем. Разм. 19×13. Ц. 1500 р.

71. Триолеты. Некрополис, 1920. Зеленая обложка с Георгием Победоносцем. Ц. 1000 р. Продана до описания.

---

[72. ВЕЧОРКА Татьяна. Беспомощная нежность. [Тифлис], 1918. 28 стр. На внутренней стороне обложки посвящение С. Н. Михайловой: «Сонечке, ласковой, хорошей моей. Т. Вечорка. Тифлис, 27 дек. 18». Текст — на оборотной стороне бланков повесток Тифлисского окружного суда.— *Собрание Л. М. Турчинского.*]

---

[73. ВОЛОШИН М. А. Стихи о России и революции. Рукописное изд. С. Евгенова с его предисловием. Ялта-Тамбов, 1921. 51 стр. Описание см.: Т а р а с е н к о в А. Русские поэты XX века. 1900—1955. Библиография. М., 1966, с 89].

---

[74. ВЫГОДСКИЙ Давид. Голубое. [Пг.], б. г. Артель Художников Слова. 8 стр. — *Собрание М. С. Лесмана.*]

[75. Из Рихарда Демеля (переводы) [Пг.], б. г. Артель Художников Слова. Ц. 3000 р. — *Собрание М. С. Лесмана.*]

---

76. ГИЛЯРОВСКАЯ Н. Анго. Текст Н. Гиляровской, рисунки Г. Гольц. [М.]. Год IV революции (ноябрь 1920). 6 стр. в обложке. Среди текста наклеены рисованные пером иллюстрации. Издано 7 экз. с различным количеством рис. и различного размера, лучший экз. № 7. Разм. 16×12. Ц. от 4000 до 8000 р.— [Экз. с 10 рис.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 12].

77. ГИЛЯРОВСКИЙ Вл. Казнь Стеньки Разина. Отрывок из поэмы 1883—1889 гг. М., 1920. 6 стр. Ц. 3000 р.

78. Стенька Разин. Поэма 1883—1889 гг. [М.], ноябрь 1920. 18 стр. в обложке художника Н. Н. Разм. 24×18. На 2-й стр. портрет автора. [Экз., несколько отличающийся по оформлению от описания Осоргина,— ИМЛИ, ф. 445, оп. 1, ед. хр. 1].

79. Степь. Стихи. [М.], 1921. В обложке с красной надписью «Степь». 8 нумерованных стр. Имеется штемпельный портрет автора. Разм. 16×12. Ц. 5000 р.

80. Туя. Стихи. М., 1920. 8 стр. Ц. 2000 р.

81. Туя (в саду Л. Н. Толстого). [М., 1920]. Обложка — рис. (акварель и карандаш) Л. Нечаева. 8 стр. [одна чистая]. Разм. 16×12. [Стихи 1903 г., текст написан синими и красными чернилами.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 11].

---

82. ГЛОБА Андрей. Протопоп Аввакум. Сцены. [М.], 1921. 20 стр. в обложке. Разм. 18×11. Ц. 15 000 р.— [ИМЛИ, ф. 441, оп. 1, ед. хр. 1].

83. Песенки. [3 стих.]. 12 стр. в синей [голубой] обложке. Ц. 10 000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 13].

84. Цветы чужого сада. 18 стр. в обложке. Ц. 10 000 р.

---

85. ГРЕЧАНИНОВ А. (ор. 73). У Криницы. Триптих для пения соло с аккомпанементом фортепьяно. Текст Вячеслава Иванова: 1. Под деревом кипарисным; 2. Криница; 3. Христос воскрес. [М.], октябрь 1920. 6 стр. нотной бумаги заключено в папку меловой бумаги; надпись на папке сделана не автором, а Книжной Лавкой писателей. Ц. 15 000 р.

---

86. ГРИФЦОВ Б. О романтической живописи. [М.], октябрь 1920. Описание выставки французской живописи в Музее изящных искусств. 8 мелко испи-санных стр. в обложке меловой бумаги с виньеткой (вырезка фотографии барельефа). Разм. 18×12. Ц. 2500 р.— [ИМЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 2].

---

87. ГРУЗИНСКИЙ А. Песни и шаржи. [М.], 1921. 32 стр. в твердой обертке с рис. (сатир.). Иллюстрации исполнены автором по рис. Н. Т. Калабановского, Гомбарга [так!], П. Н. Староносова. Рис. в красках и чернилами, главным образом в стиле юмористических журналов. Разм. 24×17. Издано в 2-х экз.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 3. На задней стороне обложки надпись: «Автографическое издание Книжной Лавки писателей. Б. Никитская, 24»].

88. Русь. Стихи. М., 1921. 28 стр. в темной обложке с художественной надписью. 11 заставок и концовок русского стиля, в красках. Куплеты отделаны красочными «запонками». Разм. 25×16. Ц. 20 000р. Издано в 3-х экз. Один приобретен Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 14].

89. Три ассирийца. М., 1921. 38 стр. в серой обложке (буквы рисованы автором). Заставка и концовка в русском стиле, в красках, работы автора. Разм. 18×12.

90. Шутки и шаржи. М., [1921], 35 стр. с рис. пером и в красках (20 рис.). Обычный разм. тетрадок Грузинского.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 4. На обороте титула надпись: «Портрет Шаляпина в этом сборнике сделан с наброска Гомбарга, портреты Вейнберга и Влад. Соловьева с набросков Нуська». На задней стороне обложки: «Автографическое издание Книжной Лавки писателей (Б. Никитская, 24)»].

---

[91. ГУМИЛЕВ Н. С. Персия. Стихи. Пб., 1921. На обороте 1-го листа надпись: «Книга эта повторена не будет, а переписана она в одном экземпляре автором и иллюстрирована им же. 14 февраля 1921. Н. Гумилев». — ОР ГПБ, ф. 124, № 1397. 3 стих.: «Подражание персидскому», «Пьяный дервиш», «Персидская миниатюра». См.: Т и м е н ч и к Р, Гумилев и Восток.— Памир, 1987, № 3, с. 133.]

---

92. ДРОЖЖИН С. Песни (1881—1919). [М.], 1921. 12 стр. в обложке той же бумаги. Разм. 12×11. Ц. 3000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.— [ИМЛИ, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 14].

[93. С берегов Волги. Из песен старого пахаря. Изд. автора. Низовка, 1921. Имеется в собр. М. И. Чуванова; описание см.: *И в а щ е н к о Н., К о р ш у н о в а Н. Соби- ратель.*— Альманах библиофила. Вып. XVIII.— М., 1985, с. 114—115.]

---

94. ЗАЙЦЕВ Борис. Италия. (Сестра и море). [М.], февраль 1921. Надпись: «Переписано для Лавки писателей автором 25-го февраля 1921 г. Бор. Зайцев». 12 стр. в обложке. Разм. 19×15. Приобретена Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [ИМЛИ, ф. 245, оп. 1, ед. хр. 3].

95. Италия. (Сестра и море). [М.], май 1921. 12 стр. в обложке зеленоватого цвета, размер — ученической тетради. Ц. 20 000 р.

---

96. ЗИЛОВ Лев. Блоку. М., август 1921. 4 стих., 12 стр. Тетрадка, малый формат [11×9]. Ц. 13 000 р. Вышла ко дню похорон А. Блока.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 15].

97. Москва. [М.], август 1921. 10 стих., 12 стр. Ц. 10 000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.

---

98. КАРПОВ Пимен. Предутрие. Стихи. М., 1921. 7 стих., 8 стр. Обложка с рисунком акварелью — стволы деревьев, предутренный свет — работы художника Махеева. Ц. 11 000 р.— [ИМЛИ, ф. 358, оп. 1, ед. хр. 2].

99. Цветень. Стихи. М., 1921, 4 стих., 8 стр. в обложке с рисунком (акварель) художника Махеева (женщина с цветами, у ног ее венки). Бумага почтовая, с короной (лапа сверху) и девизом: «Veritas et justitia». Ц. 10 000 р.

---

[100. КЕВЕР (КИСИН) Борис. Черный Христос. Стихи 1922. Обложка и гравюры на линолеуме работы автора. Экз. № 4 — ГЛМ, ф. 277, роф. 7902/4.]

[101. КИСИН В. Калейдоскоп. Словопись Вениамина Кисина, цветопись Бориса Кисина. Рязань, 1921. Экз. № 1 — ГЛМ, ф. 277, роф. 7903/3.]

---

[102. КУДИНОВ Дмитрий (перед именем автора обозначено: «Имажинист»). Октябрь. Поэма (экстатический экспромт). Изд. автора, 2-е. Осень 1920. Экз. № 3. Авт. надпись: «1-е издание в количестве 5-ти экз. разошлось без остатка». — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 16.]

[103. БОДЛЕР Шарль. (На титуле — «Бодлэр»). Падаль. Перевод Д. Кудинова. М., 1928. Перевод стих. из «Цветов зла» Бодлера с параллельным французским и русским текстом. Разм. 22×14,5. В приложении — переводы этого же стих., сделанные П. Якубовичем (1880) и Эллисом (1908). На л. 3 надпись: «Перевод посвящаю высокомерной неведомой красавице». (Книга находится за пределами обозначенных хронологических рамок — 1919—1921,— но включена в библиографию, поскольку входила в коллекцию Д. С. Айзенштата.) — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 8.]

---

[104. КУЗМИН М. А. Запретный сад. Пг., 1919.— ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 6.]

[105. Стихи об Италии. [Пг.], 1920. Обложка работы Ю. И. Юркуна. Экз. № 1 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 17.]

[106. София. [Пг.], 1920. Экз. № 2 — Собрание Л. М. Турчинского.]

---

[107. КУСИКОВ А. Стихи № 1. «К [нигоиздательств]во «Сандро». Экз. № 23. Издание нумерованное, количество экз. 100. Разм. 17×12.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 18.]

[108. То же, экз. № 5. Авт. надпись: «Все издание «Стихи № 1» сделано [так!] от руки. К [нигоиздательств]во «Сандро». Ц. 100 р.— Собрание М. С. Лесмана.]

---

109. ЛАЗАРЕВСКИЙ Ив. Н. К. Рерих. М., 1920. 18 стр. Обложка с художественной надписью. На обороте обложки обозначено: «В одном экземпляре». Иллюстрации — фотографии, вырезанные из французских изданий. Ц. 1000 р.

[110. Среди коллекционеров. Несколько неизвестных марок русского фарфора. М., апрель 1921. (Редакция, существенно отличающаяся от текста печатной брошюры «Несколько неизвестных марок русского фарфора», — Нижполиграф, 1923.) 29 стр. линованной бумаги в желтой обложке. В тексте рис.— клейма фарфоровых фабрик. Экз. № VIII — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 19.]

111. Старая Москва. Из прошлого Английского Клуба. [М.], 1920. Обложка с надписью, сделанной художником Д. Варапаевым: две руки в эллипсе. 36 стр. Разм. 22×18. Ц. 6000 р. Издано в 4-х экз., № 1 куплен Сергеевым, № 2 — Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [Один экз. имеется в ГЦТБ, Москва].

---

112. ЛИДИН Вл. Сказка о солдате Кондрате. М., 1921. 8 стр. с авторскими иллюстрациями (12) комического характера (примитивы пером и наклейки). Разм. обложки 24×15, текста 22×14. Ц. 20 000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [ИМЛИ, ф. 162, оп. 1, ед. хр. 1].

---

113. ЛИТВИНОВА В. (псевдоним). Стихотворения. М., 1920. 20 стр. сиреневой [серой] бумаги в цветной обложке. Разм. 15×14. Ц. 1000 р.

114. Стихотворения. [М.], 1920. Ц. 1000 р. Издано в 2-х экз., проданы до описания.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 20].

---

115. ЛЯШКО Н. Железная тишина. М., 1921. Надпись: «Береста и письмо работы автора. Маленькая (7×5) книжка из бересты. Ц. 1000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей. — [ОР ГБЛ, ф. 438, к. 3, ед. хр. 36].

116. МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ В. Г. Братец Иванушка. [М.], август 1921. 8 стр. Обложка и рисунки в тексте автора. Ц. 7500 р. Разм. 17×15.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 21].

117. Осеннее. Август, 1921. 12 стих. 12 стр. Обложка, заставки и концовка акварелью, работы автора. Ц. 15 000 р.

118. Стихии Мира. Август, 1921. 4 стих. 4 листа текста в обложке. Рисунки обложки и под стихотворениями автора. Ц. 10 000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.

---

[119. МАНДЕЛЬШТАМ О. Последние стихи. Пг., 1921. (Книга находилась в собр. Н. Л. Манухиной-Шенгели; описана Н. И. Харджиевым. См.: М а н д е л ь ш т а м О. Э. Стихотворения. Л., 1973, («Библиотека поэта». Большая серия), с. 253).]

---

[120. МАЯКОВСКИЙ В. В. Флейта позвоночника. Соч. Маяковского. Посвящается Л. Ю. Брик. Переписала Л. Ю. Брик. Разрисовал Маяковский. [М., 1919]. Частное собрание. Описание см.: Х а р д ж и е в Н., Т р е н и н В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970, с. 309.]

---

[121. МЕШКОВ Н. Стихи о любви. [М.], МСМХХ. 13 стих., 16 стр. Рукописное издание Книжной Лавки писателей. Разм. 23×17.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 22.]

---

122. МУРАТОВ П. П. Villa Ето. [М], октябрь 1920. Извлечение из неизданного 3-го тома «Образов Италии»; 4 мелко исписанные стр. в картонной обложке цвета бордо с рисунком пером (автора). Надписи: Villa Ето, P. Murg. Del. Разм. 16×13. Ц. 3000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 24].

123. Villa Malcontenta. М., октябрь 1920. Ц. 3000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 23].



124. Villa Maser. [М.], октябрь 1920. Разм. 18×15. Ц. 4000 р.

125. Villa Malmaruna. [М.], октябрь 1920. Разм. 18×15. Ц. 4000 р.

---

126. **НОВИКОВ** Ив. Круг Бытия. Книга-автограф. М., 1921. 16 стр. в обложке с рисунком (барельефы). Мелкие рисунки (цветы) автора среди текста. Разм. 14×12. Ц. 20 000 р.

127. Платок забвенья. Книга-автограф. М., 1921. Обложка — акварельный рисунок (без надписи) платка жанра «детской живописи». На обороте — остаток какой-то начатой акварели (крест). Миниатюрные заставки и концовки (лепестки и стебли цветов) в красках работы автора. 20 стр. Разм. обложки 28×15, текста — 23×15. Ц. 20 000 р.— [ИМЛИ, ф. 116, оп. 1, ед. хр. 8].

---

128. **ОСОРГИН** Мих. Копчение академической селедки в самоварной трубе. [М.], сентябрь 1920. № 1 серии «Полезные советы». Обложка из картинок. Разм. 18×12. Ц. 1500 р. Продано до описания 4 экз.

129. Копчение академической селедки в самоварной трубе («Осоргокопчение»). [М.], декабрь 1920. 2-е изд. Экз. № 5. С небольшими изменениями в тексте и предисловием. На обложке фотографическое изображение рыбы. Цена «на выбор — 1 фунт сливочного масла или 1 фунт сахару».

130. То же. [М.], ноябрь 1920. «Издание второе, просмотренное и исправленное по указаниям вновь назначенных профессоров и их супругов, иллюстрированное ихтиологически, а также снабженное письмами заинтересованных особ». Экз. № 6. 16 стр. в обложке «роскошного» типа, со многими «иллюстрациями». Прибавлено предисловие и «благодарственные письма» Н. Бердяева, Ив. Каблукова, группы преподавателей университета Шанявского и профессора латышского языка и русской литературы. Разм. 33×16. Приобретена Книжной Лавкой писателей для коллекции.

131. То же. М., 1921. Экз. № 7. 24 стр. в обложке из листа 15-рублевых разменных знаков советского выпуска. Надпись: «Обложка Экспедиции заготовления го-

сударственных бумаг». Изображена рыба. Ц. 10 000 р. Приобретена представителем Латвии для музея.

132. Легчайший способ уехать за границу. «Наглядное пособие для ... и прочих взволнованных интеллигентов с описанием и иголкой». [М.], октябрь 1920. № 2 серии «Полезные советы» (текст титула восстановлен неточно). На толстом картоне изображена известная математическая шутка-игрушка «Где китаец?». Приложен текст и иголка на шнурочке. Обложка цветного картона. Разм. ок. 20×15. Ц. 5000 р. Продана до описания.

133. Как добыть дров. [М.], октябрь 1920. № 3 серии «Полезные советы». В форме альбома с наклейкой серебряной бумаги. Ц. 15 000 р. 2 экз. проданы до описания.

134. То же. М., 1921. На 8 листах плотной серовато-зеленой бумаги, в обложке «Экспедиции заготовления государственных бумаг» (неразрезанный лист из 8-ми тридцатирублевых советского выпуска 1920 г.). Разм. 17×11. Ц. 10 000 р.

135. То же. М., 1921. Обложка из куска кинематографического плаката. Разм. 22×23. Ц. 10 000 р. Приобретена представителем Латвии для музея.

136. То же. [М.], 1920. 8 стр. в «обложке», сделанной из расколотого осинового полена. Заключено в коробку. Разм. бумаги 12×8. Ц. 5000 р.

137. Как получить паек. М., 1920. № 4 серии «Полезные советы». 12 стр. толстой меловой бумаги. Переплет — картон, обернутый в мешочный холст со свободными концами в виде мешка и веревкой. В коробке. Разм. бумаги 12×10. Ц. 5000 р.

138. То же. М., 1920. 16 стр. меловой бумаги с изображением мешка на обертке. Разм. 12×14. Ц. 3000 р.

139. То же. [М.], декабрь 1920. Холщовый переплет — книжка заключена в мешок. Разм. 16×12. Цена — «фунт масла или фунт сахара».

140. То же. М., 1921. Обложка из неразрезанного листа советских шестидесятирублевых. Наклейки — «осел» и «обезьяна». Ц. 10 000 р. Издана в 3-х экз.

141. Как прожить на советское жалованье, ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов. «Краткие практические рецепты домашнего обихода, как то: отдача внаймы кошки, помощь правосудию, воспитание многого поросенка, разведение бобовых и многое прочее». М., 1921. № 6 серии «Полезные советы». 16 стр. в обложке с рисунками лютика на белом поле. Наклеены: 1) — портрет советского служащего до прочтения настоящей

работы (мрачное бородатое лицо) и 2) — группа советских служащих по прочтении настоящей работы (пять голых женщин в гареме). Разм. 35×29. Ц. 25 000 р.

142. Проект законоположения о писателях. М., 1920. 12 стр. в обложке с изображением ноги, обвитой змеей. Разм. 22×12. Ц. 10 000 р. Приобретена представителем Латвии.

143. Прогностик, или Предсказание на каждый день любого месяца. Предсказания шуточного характера. Формат длинный. На обложке, сделанной из обложки же немецкого (?) журнала — совы и мыши. Ц. 25 000 р. Приобретена до описания Историческим музеем. [Сент. 1920. ОПИ ГИМ, ф. 96.]

144. Временное. [М.], Переделка напечатанного под тем же титулом фельетона 1919 или 1920 года. 8 стр. в картонном переплете. Ц. 3000 р. Продана до описания.

145. Завидую мошке. [М.], сентябрь 1920. Издана на 7-ми кусках бристольского картона, скрепленных шерстяной ниткой. Разм. 12×7. Ц. 2000 р.

146. Италия. М., 1920. Изданы 3 экз., из них 2 на бристольском картоне, скрепленном шерстяной ниткой. Рисунки автора (башня в Сиене) и наклеенные картинки. Разм. 12×7, 14×10 и 18×11. Ц. 2000 и 3000 р.

[147. *Италии нет и никогда не было.* М., 1920. Экз. № 2 (возможно, вариант № 146). В октябре 1988 г. продавалась в московском книжном магазине-кооперативе «Раритет».]

148. И тяжелы наши сны... [М.], ноябрь 1920. 6 стр. в обложке меловой бумаги с наклеенным декоративным изображением ковра. Разм. 16×10. Ц. 1500 р.

149. Милый призрак. [М.], ноябрь 1920. На 8-ми кусках бристольского картона. Цветные наклейки. Разм. 16×10. Ц. 1500 р.

150. Молитва социал-демократа. [М.], октябрь 1920. Надпись: «Это шуточное стихотворение, написанное в 1905 году и много раз, без ведома автора, печатавшееся в разных изданиях за разными подписями, впервые подписывается автором». На 7-ми листах бристольского картона в картонной же обложке (цветной). Связано шнурами, продетыми в отверстие в картоне. Разм. 13×8. Ц. 1000 р.

151. То же. [М.], 1921. Экз. № 3. 12 стр. в обложке, сделанной из тысячерублевого билета советского выпуска 1919 г. Разм. 8×5. Ц. 5000 р. Приобретена пред-

ставителем Латвии. Было еще несколько изданий, но в каталоге они не отмечены.

152. Мостик жизни. М., октябрь 1920. 8 стр. в обложке меловой бумаги с цветной орнаментикой. Разм.  $9 \times 8$ . Ц. 2000 р.— [Издано в 2-х экз.; экз. № 1, бывший в собрании Г. М. Залкинд,— ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1, ед. хр. 405].

153. Мошка. [М.], ноябрь 1920. 16 стр. в цветной двусторонней обложке (рисунки ковра). Разм.  $9 \times 8$ . Ц. 2000 р.

154. Отрывок из неизданной книги «Из маленького домика». [М.], сентябрь 1920. 6 стр. в цветной картонной обложке. Разм.  $11 \times 9$ . Ц. 2500 р. Изд. в 2-х экз.— [Частное собрание, Москва; экз № 2 — собрание М. С. Лесмана].

155. Отрывок. [М.], ноябрь 1920. 6 стр. в цветной двусторонней обложке (рисунок ковра). Разм.  $9 \times 9$ . Ц. 2000 р.

156. Первые дни. [М.], ноябрь 1920. Надпись: «Переписано для Лавки писателей в 1 экз.». На 19 кусках бристольского картона длинного формата. Скреплено зеленой лентой. Разм.  $12 \times 7$ . Ц. 5000 р.

157. Песчинка чувства. [М.], ноябрь 1920. 4 стр. в обложке меловой бумаги с цветным рисунком платка (из англ. издания) и надписью на обложке. Разм.  $10 \times 9$ . Ц. 1500 р.

158. Петька-карапуз. [М.], сентябрь 1920. Разм.  $18 \times 15$ . 2 экз. в картонной обложке (сделана из листа красочных архитектурных обойных мотивов) и 2 экз. в обложке цветной бумаги, обернутой в тонкую, с наклеенной фотографией мальчика (вырезка из англ. журнала). Продано до описания 4 экз. [Экз. № 1, в обойной обложке,— ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1, ед. хр. 405; экз. № 3, с фотографией мальчика,— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 25.]

159. Ça ira... [М.], ноябрь 1920. 34 двойных стр. Страницы без брошюровки, сплошной лентой. Обложка мягкая, цветная. Разм.  $13 \times 10$ . Ц. 5000 р.

160. S'era una volta. [М.], сентябрь 1920. Перевод стих. Arturo Graf'a с подлинным текстом. 4 стр. мелованной бумаги в обложке цветного картона. Разм.  $8 \times 8$ . Ц. 1000 р. 2 экз.— на пергаменте (без всякой бумаги), разм. около  $10 \times 8$ , проданы до описания.

161. Синие глаза и васильки на шляпе. [М.], сентябрь

1920. 8 стр. в картонном цветном переплете. Ц. 2500 р.  
Продана до описания.

---

[162. ПАМЯТИ БЛОКА. Издание Книжной Лавки «Содружество писателей». М., 1921. Издано 4 экз.: экз. № 1, разм. 20×16, — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 87; экз. № 3, разм. 16×10,5, — там же, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 26. Текст частично воспроизведен: Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 573—574, 577, 580.]

---

163. ПЕТРОВСКИЙ П. Н. Стихи. М., 1921. 15 стих., 20 стр. в обложке с акварельным наброском без надписи. Разм. папки 19×12, текста 15×11. Ц. 7000 р. Приобретена Книжной Лавкой писателей.— [ИМЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 2].

---

[164. РЕМИЗОВ Алексей. Квас глототык. [Пг.], 1920. 2 экз., писанные разными почерками — обычным и стилизованным,— имеются в ИРЛИ.]

[165. Ложечка солозобочка. [Пг.], 1920. 2 экз., писанные разными почерками, имеются в ИРЛИ.]

[166. О заплочном мастере. Память ярославская. [Пг.], 1920. 2 экз., писанные разными почерками, имеются в ИРЛИ. (Описание № 164—166 см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977, с. 27.)]

[167. Андрей Белый. (Прощальный вечер Андрея Белого, устроенный Алконостом в Волфиле 7.VII/24. VI МСМХХ.) [Пг.], Обезьянья Великая и Вольная палата МСМХХI. Продлит №V. 12 стр., 10 наклеенных рис. Обложка из оберток от чая. Разм. 19,5×14.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 27.]

---

168. РУКАВИШНИКОВ Иван. Триолеты. 1921. Тетради I, II, III, IV и VI. Все в обойных серых обложках. Тетради I, IV и VII с рисунком на заглавном листе. Тетради I, II, IV, и VII — 12 листов, III — 10 листов Ц. по 15 000 р.

---

169. СОБОЛЬ Андрей. Альбинос. Октябрь 1920. Посвящено М. А. Осоргину. Разм. около 10×8. 2 одинаковых экз.; проданы до описания.

170. Полярная Звезда. Сентябрь 1920. В синей обложке. 8 и 12 стр. Разм. около 15×10. 4 одинаковых экз.; проданы до описания. Ц. 1500 р.— [Экз. № 2 — ИМЛИ, ф. 180, оп. 1, ед. хр. 4].

---

[171. СОЛОГУБ Федор. Лиза и Колен. Пг., 1921. Экз. № 1, принадлежавший Елене Константиновне Мроз,— ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 39.]

172. Милая жизнь. Стихи. М., 1921. На обороте обложки надпись: «Милая Жизнь. Стихи. Москва, 1921», написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 1, 10 стих., 24 стр. Ц. 20 000 р.

[173. Небо голубое. Стихи. Пг., 1920. Надпись на следующем за титулом листе: «Эта книга написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 2. Федор Сологуб».— См. «Каталог книг Первого антикварно-букинистического аукциона Объединения «Московский Книжный Двор» 18 февраля 1989 года. М., 1989, № 165.]

174. Небо голубое. Стихи. Автограф. М., 1921. На обороте обложки надпись: «Книга «Небо голубое». Стихи. Москва, 1921. Написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 1. Федор Сологуб». 12 ненапечатанных стих., 44 стр. Обложка серой бумаги. Рисунок (не автора). Ц. 2000 р.

[175. Одна любовь. Стихи. Автограф. Пг., 1920. На обороте обложки надпись: «Эта книга написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 3. Федор Сологуб». 12 стих., содержание и посвящение аналогично № 176. Экз. № 3 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 1. По авт. нумерации — 21 стр. и 1 стр. нумерованного оглавления. Экз. № 5, принадлежавший И. Я. Кальфу, — собрание М. С. Лесмана].

176. То же. М., 1921. На обороте обложки надпись: «Книга «Одна Любовь», стихи. Москва, 1921. Написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 2. Федор Сологуб». На обороте заглавного листа надпись: «Анастасии

Чеботаревской-Сологуб посвящая эти стихи. Федор Сологуб». 12 ненапечатанных стих. Есть оглавление. Ц. 15 000 р. — [Экз. № 1 — ИМЛИ, ф. 210, оп. 1, ед. хр. 3].

[177. Стихи о милой жизни. Пг., 1920. Экз. № 2 — ИМЛИ, ф. 210, оп. 1, ед. хр. 2; экз. № 3 — там же; еще 1 экз.— ИРЛИ, ф. 289.]

[178. Туманы над Волгою. Стихи. Автограф. Пг., 1920. Экз. № 1 — собрание Л. М. Турчинского; экз. № 5 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 2, ед. хр. 2. На экз. ЦГАЛИ надпись: «Эта книга написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 5. Федор Сологуб».]

179. Туманы над Волгою. Стихи. Автограф. М., 1921. На обороте обложки надпись: «Книга «Туманы над Волгою. Москва, 1921» написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 1». 5 стих., 16 стр. в обложке с акварельным рисунком. Ц. 20 000 р.— [Экз. № 1 — собрание Л. М. Турчинского].

180. Чары слова. Стихи. Автограф. М., 1921. На обороте обложки надпись: «Книга Чары Слова. Стихи. Москва, 1921», написана автором в пяти экземплярах, пронумерованных и снабженных его подписью. № 1. Федор Сологуб». 9 ненапечатанных стих., 44 стр., обложки особой нет; есть оглавление. Ц. 15 000 р.

181. SOLOGUB Theodor. Heures melancoliques. Autographe. Moscou, 1921. На обороте обложки: «Le livre «Heures melancoliques», Moscou, 1921, est écrit par l'auteur a cinq exemplaires numerotés et signes par lui. № 1. Theodor Sologub» 7 стих., 12 стр. в обложке той же бумаги. Ц. 20 000 р.

---

[182. СТАРОЕ ДЛЯ НОВОГО. VIII—XII. М., 1922. 7 фотографий отдельных деталей Сухаревой башни. На обложке — гравюра на линолеуме Л. Рязанова. Экз. № 2 — ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 29.]

---

[183. СТЕПАНОВА В. Гаус Чаба. [М., 1919]. Один из экз. находился в коллекции Г. Д. Костаки. Описание

см.: Ковтун Е. Ф. *From surface to space*. Cologne, 1974; а также: *Rowell M., Rudenstine A. Z. Art of the avant-garde in Russia*.— N.-Y., 1981.]

---

[184. Стихи. М., изд. Книжной Лавки «Содружество писателей», 1921. Издано в 5 экз. Содержание: К. А. Липскеров «Дева Тадмарь»; А. Белый «О, нелетающие...»; Ф. Сологуб «Душа опять звучит стихами...»; Н. Гумилев «Подражание персидскому». Экз. № 4 — собрание А. К. Станюковича. Описано: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988, с. 588.]

---

[185. ФЕДОРОВ Вас. Мумии. Книга стихов. М., 1921. 48 стр.— Собрание Л. М. Турчинского.

В конце сборника «Мумии» обозначены как вышедшие еще 2 неразысканные рукописные книжки: «Октябрьская плаха» (1920) и «Перекресток» (1921).]

---

186. ФОМИН Семен. Девушка в белом. Стихи. [М.], 1921. 5 стих., 12 стр. в обложке. Разм. 18×13. Ц. 4000 р.

187. Северное сияние. Стихи. М., 1921. 16 стр. в обложке, 4 и 5 акварельных наброска. Разм. 17×13. Ц. 7000 р. Издано в 2-х экз., один приобретен Книжной Лавкой писателей для коллекции.— [Экз. с 5-ю рис.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 30; экз. с 4-мя рис.— ИМЛИ, ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1].

---

[188. ХОДАСЕВИЧ Владислав. Вечерние стихи. Хорей. [М.], 1920. 6 стр. Разм. 22,5×18. Описана в тексте статьи.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 31.]

189. Встреча. Венецианское воспоминание. [М.], 1920. 8 стр., в цветной обложке. Разм. 26×12. Ц. 1000 р.

190. Дриада. Идиллия во вкусе Феокрита. Сочинение Альфреда де Виньи. Перевод В. Ходасевича. [М.], 1920, 16 стр. почтовой сиреневой бумаги. Разм. 23,5×18,5. Ц. 1000 р.— [Частное собрание, Москва].



- [191. *Дома*. [М.], 1920.— *Собрание А. Ф. Чистякова*.]  
[192. *Психея*. 9 стихотворений Владислава Ходасевича. М., 1920.— *Частное собрание, Москва*.]  
193. *Разлуки*. Пять стихотворений. 1920. 6 стр. в цветной обложке. Разм. 23×18. Ц. 2000 р.  
[194. *Стихи для детей*. [М., 1920].— *ИМЛИ, ф. 209, оп. 1, ед. хр. 6*.]
- 

[195. *ЦВЕТАЕВА Марина. Мариула*. [М., 1920].— *Собрание Л. М. Турчинского. (Описание рукописных книг М. И. Цветаевой см.: Саакянц А. Из книг Марины Цветаевой.— Альманах библиофила. Вып. 13. М., 1982, с. 87.)*

[196. *Плащ*. М., 1921.— *Собрание Л. А. Мнухина*.]

[197. *Современникам* (книга разрознена, отдельные листы хранятся в собрании Л. М. Турчинского).]

198. *Стенька Разин*. Стихи. М., 1921. 12 стр. в обложке с сургучной печатью. Разм. 19×12. Ц. 10 000 р.

199. Стихи. М., 1920. 16 стр. сиреневой [серо-голубой] бумаги, на обложке в верхнем левом углу синяя сургучная печать. Разм. 19×12. Ц. 2500 р. Издано 5 одинаковых экз. [Один экз.— *ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 32*.]

200. Стихи к Блоку. М., 1921. 5 стих., 8 стр. в обложке с печатью. Разм. 19×12. Ц. 10 000 р.

201. Стихи к дочери. М., 1921. 11 стих. М. Цветаевой и одно детское стих. «Марине», написанное собственноручно и подписанное Алей Эфрон-Цветаевой. Обложка с сургучной печатью. Разм. 19×12. 12 стр. Ц. 15 000 р.

202. *Ученик*. Стихи. М., 1921. 7 стих., 8 стр. в обложке с сургучной печатью. Разм. 18,6×11,5. Ц. 10 000 р.— [Частное собрание, Москва].

---

203. *ЧУЛКОВ Георгий. Белая Криница*. М., 1921. Стихи. 4 стих., 4 стр. в обертке. Разм. 19×12. Ц. 10 000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 33].

204. *Волна*. Стихи. М., 1921. 8 стих., 8 стр. в обложке. Разм. 19×11. Ц. 10 000 р.

[205. *Верность*. Стихи. М., 1920. От № 206 отличается форматом (14,5×9) и посвящением «Н. Ч.» (Надежде Чулковой).— *ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50; ОПИ ГИМ, ф. 96*].

206. То же. Тетрадка из 12 стр. почтовой (желтоватой) бумаги (включая обложку). Разм. 19×12. Ц. 15 000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50].

[207. Печаль. М., 1920. 8 стр., в конверте.— ИМЛИ, ф. 36, оп. 1, ед. хр. 31.]

[208. Послания. М., 1920. 2 стих.: «Вячеславу Иванову» и «Константину Бальмонту». Разм. 20,5×13.— ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50.]

[209. Свобода. М., 1920.— ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 48.]

210. Свобода тайная. Стихи. М., 1921. 8 стих., 12 стр. почтовой фиолетовой [светло-серой] бумаги тетрадкой. Разм. 18,5×12. Ц. 15 000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 50].

211. Семь стихотворений. М., 1920. 8 стр. в сиреневой бумажной обложке. Разм. 18×12. Ц. 1500 р.

[212. Стихотворения. М., 1920. 4 стих., 8 стр.— ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 34.]

---

213. ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим. Завещание. Поэма. «Издано без разрешения Госиздата, полиграф. отдела. Отдела печати (экономия времени и подметки). 1921». На обороте обложки надпись: «Стоимость книги. Писал я ее 6 часов, т. е. 2/3 рабочего дня. За день я истратил:

1 кружку молока	1800 р.
1/4 фунта масла	3200 р.
Обед	8000 р.
4 куска сахара	2000 р.
50 папирос	6000 р.
Мелочи	3000 р.

---

Себестоимость	24 000 р.
надбавка (Лавка)	12 000 р.

---

36 000 р.)

Вам, как моему поклоннику, из уважения к вашему вкусу 25 проц. скидки. Итого 27 000 р.» — [ИМЛИ, ф. 300, оп. 1, ед. хр. 1].

214. Завещание. Поэма. [Перед именем автора обозначено: «Имажинист». М., апрель 1921.] 16 стр. На обороте обложки надпись: «Цена 1 фунт масла (по курсу дня 15 000 р.)». — [ЦГАЛИ, ф. 1182, оп. 1, ед. хр. 35. Как

и № 213 — издание Книжной Лавки имажинистов — В. Г. Шершеневича и А. Б. Кусикова].

215. ЭРЕНБУРГ И. Блузник. [М.], 1920. Авт. надпись. «Переписал в ноябре 1920 года в Москве». 12 стр., считая с обложкой той же бумаги. Разм. 23×19. Ц. 3000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 218, карт. 708, ед. хр. 35. С дарственной надписью: «Аде Чумаченко de grande соеир. И. Эренбург. 1921. «Тео». Вел. Пост»].

216. В раю. Стихи. [М.], ноябрь 1919. На обороте надпись: «Переписал и картинки нарисовал Илья Эренбург в Москве». 8 стр. в обложке с рис. зверей и птиц в красках, по типу детских лакированных книжек. Разм. 23×16. Ц. 5000 р.— [ИМЛИ, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 1. Описание см.: Левин М. Стихотворения И. Г. Эренбурга для детей.— Русская филология. Третий сборник научных студенческих работ. Тарту, 1971].

217. Две зари. [М.], 1920. 12 стр., считая с обложкой той же бумаги. Разм. 21×14.

218. Заячья елка. [М.], ноябрь 1920. 8 стр. в обложке с цветным рисунком автора. Изображена елка, два зайца и лиса. Разм. 23×16. Ц. 5000 р.— [ОР ГБЛ, ф. 198, карт. 9, ед. хр. 17].

219. Испанские песни (Romances Viejos). [М.], 1920. Две песни. Приписка: «Песни сложены в Кастильи неизвестными поэтами в пятнадцатом столетии, переложены на русский язык мной в 1915 году в М. Эз.». 12 стр. маленького формата в красной обложке. Ц. 3000 р.

220. Колыбельные песни. [М.], 1920. 5 стих., 16 стр. в обложке с картинкой (рисунок автора) на манер детских рисунков: колыбель с ребенком, женщина с цветком, птица. Формат альбома небольшой. Ц. 5000 р.

221. Любви. [М.], 1920. «Любви — два стихотворения». 8 стр. в обложке. Разм. 23×16. Ц. 3000 р.

222. Полдень. Четыре стихотворения. [М.], 1920. 16 стр. в обложке. Ц. 3000 р.— [ЦГАЛИ, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 434; на обложке позднейшая надпись: «Книжка «Полдень» написана мной (издана в 1 экземпляре). И. Эренбург. 30/1 1961». На титульном листе: «Борису Леонидовичу Пастернак [так!] — любя. И. Эренбург»].

223. России. [М.], 1920. Вполне сходна с другими книгами И. Эренбурга (см. «Две Зари»). Ц. 2500 р. Продана до описания.

224. Стихи. [М.], 1920. Авт. надпись: «Переписано 27 ноября 1920». 16 стр. в зеленой обложке. Ц. 1000 р.

225. Стихи. 1920. 8 стр., включая обложку. Разм. 21×14. Ц. 2500 р.

226. Стихи. [М.], 1920. 3 стих. Обложка из бумаги для акварели. Разм. 23×16. Ц. 3000 р.

227. Творцу. Два стихотворения. 1920. 8 стр. в обложке работы автора. Надписи красно-черные. Большого формата. Ц. 3000 р.

---

228. ЯКОВЛЕВ А. Обитель над Синь-Озером. М., март 1921. Рисунки и обложка С. Ягужинского. 48 нумерованных стр. (включая титульную и чистые). 3 рис. акварелью вне текста: заставка (камни), концовка (бегущий старик). Рисунки повторяются во всех экз. (с некоторыми вариациями). Разм. 18×12. Изд. в 4-х экз.

229. Партия в двадцать одно. Рисунки Ягужинского. [М.], 1921. Обложка работы Ягужинского (пиковый туз). Заставка (лампа), 2 рис. вне текста. Концовка (солнце за домом). 32 стр. Разм. 19×12. Ц. 1000 р. Изд. в 4-х экз., экз. № 2 приобретен Книжной Лавкой писателей.— [Экз. № 2 — ИМЛИ, ф. 34, оп. 1, ед. хр. 1].

---

[230. КУЗМИН М. А. Стихотворения Михаила Кузмина, им же самим переписанные в 1919 году.— ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 6].

[231. Лизанькин часовник, или Сборник эротический. В Туле. 1908 год. 48 стр., на обложке рисунки Ю. И. Юркуна.— ЦГАЛИ, ф. 1345, оп. 1, ед. хр. 651. Отрывки из переводов Апулея, Пьера Луиса («Песни Билигис»), стих. М. А. Кузмина «Атенаис» и др., переписанные рукой Юркуна. Указание на время и место издания — мистификация; книга изготовлена, по-видимому, не для продажи, не ранее 1918 г. в Петрограде].

[232. ОЛЕНИН А. Б. Белее вербы. Лирика. 1921. Обложка работы худож. Александры Экстер. 6 стр.— Собрание М. С. Лесмана. Описание см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989, с. 310].

Кроме последнего номера, в описании собрания М. С. Лесмана зафиксированы следующие №№ публикуемого списка:

65, 74, 75, 108 (экз. № 5), 154 (экз. № 2), 175 (экз. № 5, принадлежавший И. В. Кальфу). См.: Книги и рукописи из собрания М. С. Лесмана, с. 288, 302, 310, 324.

---

---

## Вадим Перельмутер

### ПРИГОВОРЕННЫЙ К ЗАБВЕНИЮ

Георгия Шенгели нет надобности реабилитировать. Потому что он не познал на собственном опыте ни тюрьмы, ни каторги, умер своей смертью и в своей постели. Но — едва перешагнув рубеж шестидесятилетия: с сердцем, надорванным трагедиями времени, изъеденным кавернами утрат. Из тех, кто окружали его в молодости, были сверстниками или чуть старше, к мгновению его ухода уцелели единицы, легко счесть на пальцах...

И не потому ли возвращение поэзии Шенгели к читателям ныне происходит медленно и трудно, что, стремясь и спеша восстановить литературные имена и истинные репутации тех, кто оказались в эмиграции либо сгинули в недрах земель ГУЛАГа, мы — за немногими исключениями — еще не коснулись творческого наследия тех, кто без следствия и суда (верней сказать — даже без общеизвестной теперь чудовищной пародии на правосудие) были приговорены к забвению, вычеркнуты из литературы или — в лучшем случае — выселены, так сказать, на ее периферию.

Он принадлежал к младшему, последнему поколению Серебряного Века русской поэзии. Этим веком был взращен и воспитан. О себе — в третьем лице — написал за год до смерти:

Он знал их всех и видел всех почти:  
Валерия, Андрея, Константина,  
Максимильяна, Осипа, Бориса,  
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,  
Владимира, Марину, Вячеслава  
И Александра, — небывалый хор,  
Четырнадцатизвездное созвездье!..



Георгий Шенгели

Пережив десятилетия, с истовой последовательностью вгонявшие искусство в прокрустово ложе «идеологического сервиса», в будущее смотрел он без оптимизма:

Он знал их всех. Он говорил о них  
Своим ученикам неблагодарным,  
А те, ему почтительно внимая,  
Прикидывали: есть ли нынче спрос  
На звездный блеск? и не вернее ль тусклость  
Акафистов и гимнов заказных?..

Он дожил до «оттепели» — но для него она наступила слишком поздно...

Георгий Аркадьевич Шенгели родился 20 апреля (2 мая) 1894 года в городе Темрюке. В 1914 году окончил Керченскую гимназию. На рубеже 1913 и 1914 годов двумя почти одновременными событиями определилась его дальнейшая судьба: вышла первая книга стихов — «Розы с кладбища» — и произошло знакомство с

приехавшими в Керчь И. Северяниным, В. Маяковским, Д. Бурлюком и В. Баяном. Понятно, почему первая публичная лекция Шенгели, прочитанная в том же году, называлась «Символизм и футуризм».

Годом позже появились еще две книги его стихов — «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные», — читая которые нетрудно обнаружить, что ближе других автору из упомянутой четверки оказался Северянин (впрочем, уже и названия говорят о том же). В 1916 году Шенгели совершил два турне с Северяниным, предваряя «поэзо-вечера» этого оглушительно популярного в ту пору поэта докладами о его творчестве. Тогда же вышла четвертая книга Шенгели — «Гонг», — впервые обратившая на него внимание некоторых авторитетных критиков, в частности Ю. Айхенвальда.

Первые пореволюционные годы он проводит в Харькове, Феодосии, Керчи, Севастополе, Одессе. Служит в Наробразе, организует студии стиха и издания журналов «Камена» и «Ипокрена», к сотрудничеству в которых привлекает Брюсова, Волошина и других «знаменитых поэтов эпохи», как назовет их позже в стихах. Много пишет, переводит, начинает серьезную работу над теорией и историей русского стиха, которая продлится до конца жизни. 1917 годом датированы его первая научная публикация — «Два «Памятника» (сравнительный анализ одноименных стихотворений Пушкина и Брюсова) — и пятая книга стихов — «Апрель над обсерваторией». Еще плодотворнее следующий год: «Еврейские поэмы», «Раковина», переводы сонетов Ж.-М. Эредиа. Наконец, в 1921 году в Одессе издаются вторая научная работа Шенгели — «Трактат о русском стихе» — и восьмая книга стихов — «Изразец».

Так что переехавший в 1922 году в Москву — на-совсем — двадцативосьмилетний Шенгели — известный, признанный поэт и авторитетный теоретик литературы. В столичной литературной жизни он сразу же обращает на себя внимание. Часто выступает, много печатается, Брюсов приглашает его преподавать в Московском высшем литературно-художественном институте. А в 1925 году Шенгели становится председателем Всероссийского союза поэтов и действительным членом ГАХНа. Причем общественная и преподавательская деятельность — ничуть не помеха творчеству: стихи и переводы во множестве выходили из-под его пера и печатались беспрепятственно, да и в острейшей литера-

турной полемике тех лет он играл одну из заглавных ролей, имея для того все необходимое: замечательный талант, основательную теоретическую подготовку, зоркость, остроумие, вкус, — и, что делало его положение одновременно и выигрышной, и уязвимей, чем у большинства оппонентов, не принадлежа ни к одной из «группово» воюющих сторон. И как раз тогда, не подозревая о том, заложил он под будущую свою судьбу мину замедленного действия: написал небольшую и резкую, хлесткую книжку «Маяковский во весь рост» (1927). Историк, знавший путь русского футуризма от истока и не понаслышке, бросал Маяковскому тяжелый упрек в совершении контрреволюционного переворота в этом революционном поэтическом движении; стиховед утверждал, что слухи о произведенной Маяковским реформе русского стиха изрядно преувеличены и что многие его вещи благополучно укладываются в традиционные хорей и ямбы, дактили и анапесты...

При жизни Маяковский в заступничестве «со стороны» — и «сверху» — потребности не выказывал. Сам отругивался на славу. Да и в собственных выпадах (например, против Горького или Шаляпина) отнюдь не деликатничал. Кто бы мог предположить, что через несколько лет после его самоубийства сталинские слова о «лучшем поэте эпохи» надолго обеспечат этому имени святую неприкосновенность — и «преступность» шенгелиевской книжки уже не будет иметь «срока давности». (Три с лишним десятка лет спустя о тот же «аргумент» разбилась попытка издать стихи Шенгели: на рубеже шестидесятых и семидесятых годов ее не рискнули поддержать ни К. Чуковский, ни В. Шкловский и вообще никто из «авторитетов». Но это — к слову.) Правда, вслух про то не было сказано ни слова. Но издатели — существа чуткие, с высокоразвитым инстинктом самосохранения, приговоренного к забвению чуют издалека и мгновенно. С трудом удалось Шенгели в 1935 году издать книгу «Планёр». А том его избранных стихотворений и поэм в 1939 году вышел во многом благодаря старинному другу поэта академику А. Белецкому, написавшему предисловие. Это была последняя прижизненная книга.

Впрочем, все это не застало Шенгели врасплох. Одним из первых среди поэтов он почувствовал приближение ледникового периода в культуре — ужесточение государственной политики в литературе и искусстве.



Загодя подготовился к тому, что единственным относительно благополучным способом существования для уцелевших поэтов станет художественный перевод:

Но чужому слову отдан  
Стих, гранимый с юных лет,  
И за горстку денег продан  
В переводчики поэт...

Однако он не только спасался — он и спасал. Будучи в тридцатых годах заведующим редакцией поэзии народов СССР в Гослитиздате, он давал возможность уйти, «скрыться» в переводы и обрести тем самым средства к существованию и вытесненным из официальной литературы признанным поэтам, и не допущенным в нее молодым — Александру Кочеткову, Аркадию Штейнбергу, Марии Петровых, Семену Липкину, Арсению Тарковскому. Об этом есть у Манделштама — в шуточных стихах, обращенных к Петровых:

...И чтобы вы без всякого представительства  
Зашли к Шенгели в кабинет издательства  
И вышли нагруженная гостинцами —  
Полурифмованными украинцами.

Сам он переводил очень много и многих, потому, понятно, не без промахов. Но удач в его Верхарне и Гюго, Байроне и Верлене предостаточно, чтобы считать Шенгели одним из крупнейших наших мастеров в этой области литературы. Кажется, ему просто не дано было мимикрировать, стать неприметным на общем сером фоне — слишком был заметен, значительность его признавалась даже крайними недругами. Поэтическая немота, постигшая многих, его миновала: на стихи, несмотря ни на что, ему хватало времени и сил. Он писал, спасаемый своим искусством от отчаяния, от ужаса, от парализующих ночных часов ожидания стука в дверь, особенно в те «роковые сороковые» (А. Кочетков), когда были безвинно арестованы, пытаны и казнены его друзья Перец Маркиш и Ицик Фефер, когда чуть не ежедневно исчезали и сверстники, и ученики...

В поэзии Шенгели конкретен, точен, автобиографичен. Его речь от первого лица — не «исповедь», но поиск отклика и диалога. Его «я» — это «я» дневника, а не двойника, «лирического героя», гомункулуса, созданного быть посредником между автором и читателем. И еще он — пристальный очевидец, достоверный

свидетель, способный мастерски выразить увиденное и осмысленное. Взять хотя бы его сонеты о гражданской войне, где фантазмагорическая, буднично-жуткая реальность явлена в форме, традиционно связанной в читательском сознании с лирикою любовной или философской, то есть «антиэстетичность» времени и событий проступает в самом материале поэзии. Цикл этот писался на протяжении почти двух десятилетий — тема не отпускала поэта. (Стоит заметить, что еще один цикл сонетов о гражданской войне, опубликованный лишь в наши дни, написан Волошиным, как и Шенгели, некогда имевшим репутацию оторванного от жизни «эстета»; больше, насколько известно, в нашей поэзии ничего подобного не было.) Замечательно гибки и пластичны его белые ямбы, без тени монотонности и так по-разному примененные в стихах-воспоминаниях о Волошине или Ахматовой, в философических стихах-размышлениях о природе искусства, в сюжетных стихотворных новеллах, а то и в совсем кратких набросках, фиксирующих мгновенное впечатление, сиюминутное душевное состояние. Виртуозное владение богатым арсеналом поэтических приемов при экономном, порой чуть не аскетичном их использовании делает (явствующую из черновиков) тщательнейшую работу Шенгели над стихом едва различимой для читателя — предстает естественным разнообразием стиховых форм, то есть — мыслей поэта. Ему равно «по руке» и двестише — и полторатысячестрочная историческая поэма «Повар базилиевса»...

Георгий Шенгели умер 15 ноября 1956 года.

Приговор — к забвенью — оставался после этого в силе целых тридцать лет. Лишь изредка — с трудом и понемножку, чуть не случайно: в одном из «Дней поэзии», в «Литературной Грузии», в газетах, — удавалось печатать крохи из творческого наследия, сбереженного его женой, Ниной Леонтьевной Манухиной (1893—1980). И по сей день подавляющее большинство поздних, наиболее зрелых и совершенных его вещей остается неведомо читателю.

Но, похоже, наступают перемены в посмертной судьбе и этого поэта. В 1988 году издана небольшая книга его поэм — «Вихрь железный». Сейчас готовится книга избранной лирики и переводов — «Ветер». Поэзия Шенгели, репрессированная, на долгие годы замкнутая в ящиках стола, выходит на свет. И ждет единственно справедливого — читательского — суда.

## ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Музыка — что? Кишка баранья  
Вдоль деревянного жука,—  
И где-то в горле содроганья,  
Собачья старая тоска...

Кто ею душу нам измерил?  
Кто нам сказал, что можем мы,  
Когда и сам Орфей не верил  
В преодоление тюрьмы?

Скалой дела и думы встали,  
И — эти звуки не топор:  
Не проломить нам выход в дали,  
В звездяный ветряной простор.

Так будь же проклята, музыка!  
Я — каторжник и не хочу,  
Чтобы воскресла Эвридика  
Опять стать жертвою мечу!

1922

\* \* \*

Там, над синей волной Мичигана,  
Золотые собрались квиниты;  
Воздвигается вновь Капитолий,  
Созидается наново Рим.  
Из огромных индейских раздолий,  
Обратившись на два океана,  
Подымается меч непокрытый,  
Звонким заревом домен багрим.

Всё увидим, что было когда-то:  
Промелькнут и цари, и трибуны;  
С Кордильер Аннибал круторогий  
Прогремит на железном слоне;  
Дряхлый Цезарь в пурпуровой тоге  
Брызнет кровью на плиты Сената;  
Старой власти и роскоши юной  
Тот же отблеск сверкнет в вышине...

Но грядущий гудящий Вергилий,—  
У кого он преемствует лиру?  
У слепых европейских Гомеров,  
У альпийских и лодожских саг,  
Тонким ладом восточных размеров  
Он оденет кровавые билли,  
Что внесут покоренному миру  
Звездяной атлантический стяг.

О, Европа, Вторая Эллада.  
Тишина. Философия. Песни.  
Годы движутся стройно и строго  
Облаками вечерней зари,  
И алтарь Неизвестного Бога  
Тихо теплится в сумраке сада...  
О, воскресни, бывшее, воскресни,  
Повторись, проблистай и умри.

1922 (?)

\* \* \*

Реки широкая дуга  
Размыла травяные луга;  
Просеивает поздний луч  
Пыль золотистую меж туч;  
Сажени дров, прильнув к реке,  
Как пряник в сахарной муке,  
И сами воды возле нас  
Как темный солодовый квас.

А там, где между сизых лоз  
Лощеный разостлался плес,  
Стеклянной церковью из вод  
Встает, сверкая, пароход;  
Сквозь травяной дух в закатный час  
Идет зеркальный храм на нас,  
И Божьей славой золотой  
Над ним клубится дым густой...

И мыслям медленным пора:  
Уже не пряник — просфора,  
Средь золотеющих полей  
Уже не гладь воды — елей;

И каждый в этот миг поймет,  
Как прав и праведен был тот,  
Кто над рекою, под лучом,  
Нам строил храмы кораблем!

1925 <?>

\* \* \*

В окно сиял нам полдень. Сквозь решетки  
Мы видели, как в полудневном сне  
Покачивались поплавами лодки,  
Отсвечивая в голубой волне,  
Мы слышали, как ржавый хруст лебедки  
В последний раз пролился в тишине,—  
А на столе фигуры карт пестрели,  
И мы на них рассеянно смотрели.

Нас было трое. Третий был моряк.  
Носил он кортик, шрам на лбу и челку;  
В его глазах мутнел веселый мрак:  
Он в баккара не игрывал без толку,  
Он обыграл нас и тянул коньяк,  
Как то и следует морскому волку,—  
Но жуть брала: за мысом крепостным  
Уже бледнел, бледнел и таял дым.

Да, корабли ушли невозвратно  
Вдаль от земли, в сияние, в простор,  
И только лиловатый локон дыма  
Указывал дорогу на Босфор,—  
А здесь, в солончаках степного Крыма,  
Средь зимних роз на южных склонах гор  
Считающая ненависть бродила  
Под кожаную курткой Азраила...

Моряк зевнул лениво, из ножен,  
Не торопясь, двуострый кортик вынул,  
Подрезал вдруг один, другой погон  
И с плеч сорвал и резко в угол кинул  
И, не прощаясь, быстро вышел вон.  
Я вымолвил: «Был человек и стигнул».  
А друг в ответ: «Такой не пропадет:  
И деньгам он и жизни знает счет».

1926

\* \* \*

Все умерли: Татьяна и Наташа,  
Людмила, Анна, Бэла и Рэнэ...  
Кого любить мне, если не умею  
Их отыскать среди живущих ныне?  
О нет: я не ищу Прекрасной Дамы,—  
Не знал бы я, что делать мне с Марией,  
Себе земную я хочу подругу,  
Покорную и радостную мне.

Но книги!.. Зажигательным стеклом  
Они сгущают легкое сиянье  
В огонь, в клинок,— и кровавым рубцом  
Их вечное горит очарованье.  
И вот уже я не хочу другой,  
Чем та, о ком мне Пушкин спел небрежно,  
Чем та, кому бубенчик под дугой  
Звенел про жизнь под визги вьюги снежной.  
Увы, я не хочу иной, чем та,  
Кто пламенела виноградной кровью  
На южных бастионах и взята  
В тот русский плен нерусскою любовью.  
Как быть без той, истаявшей в тоске,  
В скучающих шелках Парижа  
Грешившей безоглядно-налегке,  
Но кающейся, крестной кровью брызжа.  
Но нет их, нет, не для меня они!  
Да, все они родились слишком рано,  
Все умерли,— и Бэла, и Татьяна,  
И нищая Рэнэ. И предо мной  
Их слезы, их улыбка, их дыханье  
В словах привычно-дорогих встают,—  
Неизгладимо книг очарованье,  
Но жить они мне больше не да ю т!

1927 <?>

\* \* \*

Так нет же! нет же! нет же! нет!  
Не уступлю дневному блюду!  
Я был поэт! Я есмь поэт!  
И я всегда поэтом буду!

Мой тесен мир: он в мутном сне,  
Он огражден вседневной ширмой,  
Но звезды падают ко мне  
И говорят... Огромен мир мой!

Он говорит! И женский стан,  
И след ноги, что странно-узок,  
И Аттика, и Туркестан,  
И лед скульптур, и смерчи музык!

Любовь, пассаты, мифы, зной,  
Клоаки, шахматы и казни,—  
Все-все проходит предо мной  
В своем лирическом соблазне.

Поройся у меня — найдешь  
В глуби потрепанных тетрадей  
И эротический чертеж,  
И формулу, где бредит радий.

Все сохраню, все пронесу,—  
И вечность, что открыл мне Пушкин,  
И краткий миг, когда в лесу  
Отмерил жизнь мне плач кукушкин.

И никого не надо мне!  
Один пройду, один промучусь,—  
Пока в трущобе, в тишине,  
Последней судорогой скрючусь!..

И долго буду мертв,— пока,  
Устав от дел, в ночи бессонной  
Меня грядущие века  
Не вскинут трубкой телефонной,—

И зазвучит им как прибор  
Мембранный гул былого мира...  
«О нет, недаром жизнь и лира  
Мне были вверены судьбой!»

*3 июля 1933*

## СТРАХ

Куб комнаты и воздух ледяной.  
Как жук в янтарь, во тьму и холод впаян,  
Спать не могу, тревогою намаян:  
Что происходит за моей спиной?

Там белый дьявол стал всему хозяин;  
Он кровью упивается парной;  
Он, может быть, шлет палачей за мной,  
И мне — валяться трупом у окраин.

Все умерло. Безмолвие как пресс.  
Вдруг дробный звук — далеко там — воскрес;  
Вот — ближе — топотом копыт сыпнуло.

Впускаю глаз под штору; там летят  
Сорвавшихся четыре белых мула.  
И всадников прозрачных ищет взгляд.

1936

## СОБЛАЗН

Пол блестит как желтый мед,  
Беспорочен кафель белый,  
Окон мелкий переплет  
Осенен лозой омшелой.

Запах кофе и тепла,  
Ходит маятник, мигая;  
Жизнь меж пальцев утекла,  
С прялки нитью низбегаю.

Так прозрачна тишина,  
Так мягка, душой владея...  
Но досаден у окна  
Пьяный профиль Амедея.

1937



## МОРОЗ

Иди и зубами не ляскай,  
Иди, а иначе погиб:  
Мороз раскаленную маской  
К лицу бездыханно прилип.

Какой-то надменной мутью  
Заполнен кирпичный тоннель,  
И градусник лопнул и ртутью  
Как пулей ударил в панель.

Дома исключительно немы  
И слепы, и только (смотри!)  
Под мыльнопузырные шлемы  
Ушли не дышать фонари.

Иди же, иди же, иди же!  
Квартал за кварталом — иди!  
Мороза скрипучие лыжи  
Скользят у тебя по груди.

Межзвездный презрительный холод  
Во весь распрямляется рост,  
И мир на ледяшки расколот  
Средь грубо нарубленных звезд.

*23 февраля 1940*

\* \* \*

Так умирают. Широкая мокрая площадь;  
Небо как будто Некрасов: слезливо и тускло;  
Очередь в троллейбус; ветер подола полощет;  
Толстый портфель избугрился под мышкой, как мускул.

Где-то далёко колотит в комод канонада.  
Это привычно, хотя до сих пор неуютно.  
Долгая очередь. Мне же на лекцию надо!..  
Небо как Надсон: фальшиво, слезливо и мутно.

Посвист и фыркание в дымной выси над Музеем;  
Видно, идет самолет с неисправным мотором;  
Мы равнодушно на мутную вату глазеем,  
Мы... вдруг удар!.. и сверкающий столб!.. на котором!..

В спину ладонью толкнуло громадной и слабой;  
Под носом радуги в мокром асфальте играют;  
Толстый портфель мой по слякоти шлепает жабой;  
Рядом — безглавая женщина... Так умирают.

Так умирают. Холодная синяя ванна.  
Женщина моет меня, мне не стыдно ни капли;  
Бритва тупая дерет мне затылок, и — странно —  
Кажутся вкусными мыльные синие кафли.

Дальше меня по стеклянным введут коридорам;  
Зябко в халатике из голубой бумазейки;  
Комната, койка; я под одеялом, в котором  
Быстро бегут к пояснице горячие змейки.

Я понимаю: я болен, и очень серьезно;  
Скоро ль вернусь я к моим стиховым теоремам?  
Я умираю, — и тут разговаривать поздно...  
Синие кафли... как вафли... с фисташковым кремом...

Мне говорят: вы неделю без пульса лежали.  
Мне улыбается Нинка, мне дверь отпирают.  
Синее небо! Прозрачные горные дали!  
Значит, не умер я? странно! Ведь так умирают.

*19 ноября 1942*

#### АННЕ АХМАТОВОЙ

Гудел декабрь шестнадцатого года;  
Убит был Гришка; с хрустом надломилась  
Империя. А в Тенишевском зале  
Сидел, в колете бархатном, юнец,  
Уже отведавший рукоплесканий,  
Уже налюбовавшийся собою  
В статьях газетных, в зарисовках, в шаржах,  
И в перламутровый лорнет глядел  
На низкую эстраду. На эстраде  
Стояли Вы — в той знаменитой шали,  
Что изваял строкою Мандельштам.  
Медальный профиль, глуховатый голос,  
Какой-то смуглый, точно терракота, —  
И странная тоска о том, что кто-то  
Всем будет мерить белый башмачок.  
И юноша, по-юношески дерзкий,

Решил, что здесь «единства стиля нет»,  
Что башмачок не в лад идет с котурном...

Прошло семь лет... Тетрадку со стихами  
Достали Вы из-под матраца в спальней  
И принесли на чайный стол,— и Муза  
Заговорила строчкой дневника.  
И слушатель, уже в сюртук одетый,  
В профессорскую строгую кирасу,  
Завистливо о Вашей дружбе с Музой,  
О вашем кровном сестринстве подумал:  
Он с Музой сам неоткровенен был.  
Не на котурнах, но женою Лота,  
Библейскою бездомною беглянкой,  
Глядела вдаль заплаканная Муза,  
И поваренной солью женских глаз  
Пропитывало плоть ее и кожу.  
Глядела вспять... На блеклый флаг таможни?  
Или на пятую пустую ложу?

Или на двадцать восемь штыковых,  
Пять огнестрельных? Или?.. или?.. или?..  
И слушатель, опять двоясь в догадках,  
Пересыпал с ладони на ладонь  
Покальвающие самоцветы,—  
А Вы, обычной женскою рукой,  
Ему любезно торт пододвигали...

И двадцать лет еще прошло. В изгнание  
И Вы, и он. У кряжей снеговых  
Небесных Гор, в песках Мавераннагра  
Нашли приют и крохи снеди братской.  
В ушах еще кряхтят разрывы бомб,  
Вдоль позвонков еще струится холод,  
И кажется, что никогда вовеки  
Нам не собрать клоки самих себя  
Из крошева кровавого, что сделал  
Из жизни нашей враг... Но вот очки  
Рассеянной берете Вы рукою,  
Тетрадку достаете из бювара,  
Помятую, в надставках и приписках,  
И мерно, глуховато чуть, поете  
О месяце серебряном над веком  
Серебряным, о смятой хризантеме,

Оставшейся от похорон,— и Время  
Почтительно отходит в уголок,  
И в медном тембре царственных стихов  
Шаль бронзовую расправляет Вечность.

22 октября 1943

\* \* \*

Это, видно, смерть приходила —  
Мутной кошкой на песьих ногах.  
За порог осторожно ступила,  
Точно делала выбор впотьмах.

Были тут и жена, и приятель;  
Будний вечер, простой разговор;  
Кошки не было: то на кровати  
Легкой складкой замялся ковер

И кроватная тонкая ножка  
Напряженно продвинулась вкось;  
В полутьме же — бесспорная кошка,  
И сознание испугом зажглось.

Дело в том, что в «семейных преданьях»,  
В сердце детское вдувших мглу,  
Тот же морок при всех умираньях  
Возникал под столом иль в углу.

Может быть, этот древний наш тотем  
Благодатный спаситель от крыс.  
Если так,— поскорее воротим  
Ускользнувшего друга! Кис-кис!

1950

\* \* \*

Дышит пустыня, и сходят с ума  
Звезды, собаки, деревья и люди:  
Всех распластала на огненном блюде  
Зноем барханов рожденная тьма;  
С визгом сует Саломея сама  
В рот Иоанну колючие груди.

Душно покойнику; жгучий сосок  
В губы вдвигается кляпом каленым.  
Похоть и смерть. И бесплодно влюбленным  
Слушать стрекочущий в уши песок:  
Поздно! Все поздно!.. И ломит висок,  
И содрогается полночь со стоном.

1945

### ВОЗРАСТ

Две аккуратных круглых цифры 5,  
Два ковшика, две раковинных створки,  
Но уж не те — что я привык хватать  
За физику и за латынь — пятерки.

В их ковшиках — столь горестный отстой,  
В их раковинках — гул столь черной бездны,  
В их сочетаньи — ужас столь простой,  
Что все слова и слезы бесполезны.

Но, в каждой, в них — и острое ушко  
Моей подруги, безысходно-милой,  
Которую позвал я жить легко  
И скоро должен обмануть могилой.

Что ей шепнуть? Что хоть и мой гранит  
От жизни выветрился постепенно,  
Но верю я: она меня простит,—  
Моя Тростинка, Нинка, Айсигена...

12 мая 1949

\* \* \*

Ю. И. С.

Как владимирская вишня,  
Сладким соком брызнут губы,  
Если их моим тогдашним  
Поцелуем раздавить;

И в ресницах мокко черным  
Разольется взор бессонный,  
Если их мои ресницы  
Прежней дрожью опахнут...

Уберите этот снимок!  
Без него тревог немало!  
Нам ведь вовсе не былого,  
А несбывшегося жаль.

1953

\* \* \*

Я начинаю забывать стихи;  
Так улетают из вольеры птицы.  
Видать, в душе не стало ни крохи  
Для иволги, малиновки, синицы.

Да и зачем бы стали петь они?  
Над стариком ли позабытым сжалюсь?..  
А все ж я им не ставил западни:  
Они в былом ко мне и так слетались.

1953

\* \* \*

Черт его знает, как он это делал  
И что тут было: чудо, или фокус,  
Или гипноз?.. Он заходил в харчевни,  
В кофейни, в школы, в частные дома;  
Войдет, промнется, поглядит налево,  
Направо, тронет вещь какую-либо  
И вдруг метнет, ладонь расправя, руку,  
А на ладони — синий мотылек.

Громадный, синий, бархатный, бразильский!  
Сидит и мерно сдвигает крылья;  
Глаза мерцают; и спирально вьется  
Пружинкой часовой хоботок;

Потом вспорхнет он и бесшумно реет  
Сквозь дым табачный, сквозь надрывы джаза,  
Сквозь мглу диктовки, сквозь шипенье ссоры,—  
Как весть о небе, вечно голубом!

И у людей — косматых, толстых, рыжих,  
Больных, упрямых, скучных и голодных,—  
У всяких, кто ни есть,— в душе светлело,  
Как в комнате, где вымыли окно,  
И думалось, что наступает Пасха,  
Что ветер пахнет молодой травой,  
Что можно тут же прыгнуть в легкий поезд  
И загреметь куда-нибудь на юг!

А он, а этот фокусник бродячий,  
С лукавою и доброю улыбкой,  
Уже забыв о мотыльке, топтался  
Меж столиков, диванов или парт;  
Ему порой давали рюмку водки  
Или сосиску на отломке хлеба,  
Или просили не мешать урокам,  
Или сажали чай с вареньем пить.

Он исчезал на долгие недели,  
Потом опять куда-нибудь вторгался,  
Опять ладонь вытягивал большую,  
И возникали снова чудеса.  
То на клеенке, вытертой и сальной,  
Он быстрым жестом ставил дивный город  
Величиною в торт,— и в колоннадах  
Лежала тень и проходил Перикл;

То стряхивал он в миску суповую  
Горсть лепестков невиданного цвета,—  
И ромовая жженка полыхала,  
И сам Языков песню заводил;  
То бусинку меж пальцами катал он,  
Подбрасывал,— и к потолочной лампе,  
Как бы к Сатурну, золотые луны  
Слетались любоваться и кружить;

То он хватал из воздуха Киприду,  
Не больше куклы, на газету ставил,—  
И пеною морской клубились буквы,  
И вместо мути повседневных дел,

Убийств, процессов, сплетен, котировок,  
Парламентских скандалов и рекламы  
На мраморную красоту богини  
Прохладою дышал ультрамарин.

А иногда, пошевелив рукою,  
Приманивал к себе он ниоткуда  
Голодную нагую обезьянку,  
Дрожащую от стужи,— и она  
Так мудро и беспомощно глядела  
И так благодарила за бисквитик,  
Что люди вновь стыдиться начинали  
И вновь умели пожалеть людей.

А иногда невесть какой пилою  
Он скрежетал по жести и смеялся  
И объяснял, что цель такой забавы  
В том, чтоб заставить музыки искать.  
Так он скитался. Жил он без прописки.  
Он не платил ни податей, ни пошлин.  
Был некрасив, бедно одет.— И звали  
Его слегка насмешливо: «поэт».

1953—1955



---

## **ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ**



---

---

К. Ю. Рогов

ПОРТРЕТЫ И КАРИКАТУРЫ

(О комедии «Обращенный Славянофил»)

Текст комедии был опубликован в «Журнале драматическом» (1811 г.) М. Н. Макарова. Журнал просуществовал год и не имел особого успеха. Последние книжки запоздали и, как это случалось в ту эпоху, вышли уже в 1812 году. Большая часть их неразошедшего тиража сгорела при пожаре Москвы. Автором «Славянофила» был сам Макаров.

Он указал на это в мемуаре о своем литературном соратнике Б. К. Бланке, посланном в 1845 году С. Д. Полторацкому (хранится в фонде Полторацкого в РО ГБЛ, п. 1, № 92). Загадочное «сочин. Р-а-т-а» расшифровывается скорее всего просто — «редактора». Макаров и вообще был склонен к мистификациям, а в данном случае имел особые причины желать остаться неизвестным. Так, защищая комедию в специальной статье в № 7 своего журнала, Макаров оставляет неясным, говорит ли он как издатель или как автор пьесы. Причина такой секретности в том, что комедия написана «на лица».

В 1830 году Вяземский писал, что «личности были и везде пособиями младенствующей комедии <...> Личности дают комику средства без большого труда рассмешить зрителей своих и угодить лукавой злости, свойственной каждой публике». Примерно такое же одноплановое восприятие этой весьма существенной традиции русской комедии (с середины XVIII века до «Горя от ума») сохраняется и сегодня. Между тем для адекватного понимания подобных («на лицо») текстов надо учиты-

вать даже не только их особые «законы», но и просто другие масштабы культурного социума: при немногочисленности лиц, вовлеченных в литературный и культурный процесс, соотношение культурнозначимого и частного в восприятии того или иного конкретного лица было иным, чем, скажем, уже в середине XIX века. Кроме того — при ближайшем рассмотрении цели и способы введения «личностей» существенно меняются в различные эпохи, в различных текстах и даже в одном и том же тексте.

#### «ВСЕ ЗА ПРЕСНЕЮ ЖИВУЩИЕ ПОЭТЫ»

Михаил Николаевич Макаров (1785—1847) уже известен в Москве к 1811 году как молодой литератор — последователь Карамзина. Он написал и перевел несколько пьес, выпустил книжечку стихов «Песенки от сердца ей». Несколько скандальную известность обретает Макаров как инициатор «Журнала для милых» (1804) — издания, где логически последовательно проведены принципы «новой» литературы: вместо традиционной апелляции к разуму и знанию — подчеркнутый непрофессионализм и ориентация на непосредственное «чувство изящного», вместо моралистического дидактизма — прециозность и эротизм. «Карамзинист» Макаров поспешил преподнести экземпляр Н. М. Карамзину, однако последний, по свидетельству И. И. Дмитриева, при этом сказал: «В первый раз еще вижу детей журналистами».

Фрагментарность, эпатирующая малозначительность тем, поэтизация быта узкого кружка (стихи «на случай», на приезд, отъезд, обмен посланиями, акростихами) — все это требовало своего журнала. Так, в 1804 году «карамзинисты» играют главную роль в оставленном Карамзиным «Вестнике Европы». В 1805 году появляется «Московский курьер», издаваемый «статским советником и кавалером Сергеем Матвеевичем Львовым», — плод мистификации М. Макарова и нескольких литераторов-дилетантов (указано самим Макаровым — «Московские губернские ведомости», 1844, с. 87). К любопытным курьезам относится замысленный Макаровым журнал «Амур», который должен был издаваться от имени дам. В 1806 году кн. П. И. Шаликов, участвовавший в «Журнале для милых», издает «Московский зритель». В 1809 году выходит «Московский вестник», где печатаются Макаров и поэты того же кружка

(В. С. Раевский, В. Козлов, Б. Бланк, Е. Пучкова). Удачнее других была шаликовская «Аглая» (1808—1810 и 1812 гг.); о ней-то и писал Батюшков, что Шаликову «помогает мыслить и Бланк неистощимый, и остроумный Макаров, и все за Преснею живущие поэты».

В 1811 году является «Журнал драматический», однако наличие конкретного «предмета» у журнала ослабляет эпатирующую программную «необязательность» прежних изданий. Состав авторов тот же. Пишут они довольно много (по свидетельству Макарова, В. С. Раевский написал до 1812 года 150 томов разных сочинений): сочинительство воспринимается не как *труд*, а как спонтанный, фрагментарный и разножанровый дневник «изящной души». Поначалу их кружок объединен не столько «внешними», полемическими задачами, как это характерно для 1810-х годов, сколько «внутренними»: литераторы образуют как бы свой «малый Парнас». Сам отказ от норм литературы XVIII века, несомненно, полемичен, но полемика как тип высказывания не входит в программу. Это важно для понимания публикуемого текста и позиции старших «карамзинистов». Однако в действительности удалось отказаться от полемики только Карамзину.

На «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова первым ответил П. И. Макаров<sup>1</sup>, но полемика между сторонниками и противниками «нового слога» пока фрагментарна. В 1805 году в Петербурге ставится «Новый Стерн» Шаховского, высмеивающий «карамзинистов». В конце года И. И. Дмитриев пишет Жуковскому о московском журнале «Друг просвещения»: «Друзья просвещения <...> с первою рыжей книжкой на будущий год пустят гром на Русских путешественников и на все, где только встретят слезу и милое <...> С другой стороны, князь Шаликов возлагает на надежный свой нос зеленые очки и объявляет себя Московским зрителем. Жаль, что у него нет помощников». Литературная жизнь поляризуется: всякое издание тяготеет к той или иной стороне. «Спор о языке, спор о принципиальной ориентации русской культуры (подробнее об этом в работах Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского) становится организующим принципом литературной жизни, а полемическая задача организует периодическое издание.

<sup>1</sup> Издатель «Московского Меркурия» (1803), один из серьезных последователей Карамзина, П. И. Макаров (1765—1804) не был родственником М. Н. Макарова, но был последним чрезвычайно почитаем как «карамзинист» старшего поколения.

Известно, что слово «славянофил» в 1800-е годы употребляется как «прозвище» А. С. Шишкова. Однако, стоящее в заглавии, оно обретает новый оттенок: воспринимается не только как «кличка», но и как «общее имя» (ср.: «Обращенный мизантроп» А. Д. Копьева). В тексте комедии и в пояснении к ней Макарова Славянофилы противопоставлены Стернам. Имя Стерна на рубеже веков также может выступать как прозвище Карамзина. Заглавие комедии Шаховского «Новый Стерн» так и было воспринято современниками, хотя на самом деле материалом пародии были тексты не самого Карамзина, но его последователей. Названия обеих комедий, таким образом, соотносились. В обоих случаях не «общее имя» применяется к лицу, как может показаться на первый взгляд и как это было в сатире XVIII века, а, наоборот, имя, сделавшись «прозвищем», затем полемически используется как «общее имя».

Проблематика и направленность комедии заявлены эпиграфом из рецензии П. И. Макарова на книгу Шишкова («Московский Меркурий», 1803, кн. 12). Более того, практически вся комедия есть не что иное, как парафраза рецензии, представление ее в лицах. П. И. Макаров так начинает свою критику: «Намерение Сочинителя было доказать, что мы (с. 9), думая просвещаться, впадаем час от часу в большее невежество...» (с. 156). Слово «единоцентричный» приводится критиком в доказательство того, что Шишков не может обходиться без слов нерусского происхождения (с. 165). Все это мы находим в первом же монологе Славянофила (2-е явление). Примеры «старого слога» в прозе и в стихах и восторженный комментарий к ним Славянофила также не только взяты из книги Шишкова, но разбираются и Макаровым (с. 171—172). Опустив дальнейшие сопоставления, скажем лишь, что практически все идейно значимые высказывания Славянофила находят разной степени точности соответствия в трудах Шишкова. Указанием на то, что автор комедии именно следует критике П. И. Макарова, является центральная «разоблачительная» сцена, где Славянофил, ссылаясь на

«превосходство» старых нравов, пытается выдать свою племянницу насильно замуж (ср. у П. И. Макарова: «Неужели Сочинитель, для удобнейшего восстановления старинного языка, хочет возвратить нас и к *обычаям* и к *понятиям* старины?» — с. 170). Славянофил в комедии осуществляет лингвистическую программу Шишкова как жизненную, пытается переделать «реальность», следуя своей теории.

В основе пьесы — стандартная комедийная коллизия: браку «любовников» препятствует ссора между их родителями (опекунами), происходящая по причине некоего «заблуждения». В пылу ссоры опекун героини предназначает ее в жены недостойному, «низкому» комическому герою, но, «прозрев» в своем заблуждении, раскаивается. Это одна из основных комедийных коллизий, восходящая к римской комедии. Таковую вот традиционную схему автор и понимает как «комедийность»: она задает ему то «смысловое пространство», в котором может быть реализован его замысел.

Граф Д. И. Хвостов в 1811 году в Петербурге записал услышанную новость: «В Москве издается журнал «Театральный Меркурий» издателем «Журнала для милых» Макаровым, там помещена комедия «Обращенный Славянофил», в ней обруганы Шишков, кн. Шаховской и Каченовский». Указанием на последнего была уже сама фамилия Педантов. Недавний профессор Московского университета (сын харьковского грека, сержант и полковой квартирмейстер, чуть было не отданный под суд за растрату пороха, М. Т. Каченовский делает в 800-е годы стремительную карьеру в университете через покровительство гр. А. К. Разумовского) и издатель «Вестника Европы» уже довольно прочно воспринимается современниками как образец ученого-педанта.

Первые свои произведения Каченовский печатал в сентименталистских журналах, потом активно сотрудничал в «карамзинистском» «Вестнике...» и, с 1805 года став его редактором, поначалу продолжал прежнюю линию журнала. В 1806 году он публикует письма Д. И. Фонвизина из Парижа — литературный памятник антифранцузской направленности, а чуть позже — рецензию на 3-й том сочинений И. И. Дмитриева, где при общем комплиментарном тоне были критические замечания и даже личные упреки в адрес «русского Лафонтена»:

критикуя неверное выражение, Каченовский дает пример употребления идиомы «переменить тон»: сенатор (в 1806 году Дмитриев стал сенатором), обходившийся с молодым человеком всегда дружелюбно, «переменил тон». Эта «выходка» вызвала бурю негодования у Дмитриева и окружавших его литераторов. «Что теперь вы скажете о связях, надеждах, любомудрии и счастья сынов человеческих? Давно ли этот муж диктовал мне свои переводы? Давно ли признавал меня достойным своего одобрения? А теперь вознес на меня грубый бич критики и желал бы в один миг уничтожить мою бедную славишку» (письмо И. И. Дмитриева А. И. Тургеневу). Наконец, в № 8 «Вестника...» за 1807 год появилось письмо мифического Луки Говорова против критики П. И. Макарова на книгу Шишкова: автор пересказывает мнение о ней некоего умного «Ассессора, которого называют любезным Педантом». А в № 24 помещено письмо уже самого Шишкова к издателю. Таким образом, слова Педантова о Славянофиле в 1 явлении («...без тебя, может, бы и я в смятении моем шел по отвратительным следам слезливых Стернов!») и вся тема его неблагодарности отсылали к вполне конкретным обстоятельствам литературной жизни.

Возможно — и вероятно, — что первоначальный вариант комедии был написан ок. 1807 года, но ряд обстоятельств помешал ее публикации. В 1808—1809 годах «Вестник...» редактировался Жуковским, но уже с лета 1810 года он снова практически целиком в руках Каченовского, который поясняет свое желание издавать журнал единолично: «Мы с вами не одного мнения о некоторых предметах, и я рад бы в журнале пошутить над стихами на всерадостнейшее получение ордена (Карамзиным.— К. Р.) <...> А вам, знаю по опыту, шутка моя показалась бы святотатством». С 1811 года журнал Каченовского получает определенно антикарамзинскую ориентацию. В феврале Батюшков писал Гнедичу: «Каченовский ныне ударился в славянощину: — не любит галломанов и меня считает за Галла...» Ответом на эту новую программу Каченовского и была комедия.

Комедия Макарова была ответом на «Новый Стерн» Шаховского, с которым она соотносилась самим своим заглавием и с которой полемизировала своей направленностью и идеей, и на новую линию Каченовского в «Вестнике Европы».



## «НИЗКИЙ» ГЕРОЙ

Первый же монолог Педантова о политике отсылал читателя к «Вестнику Европы» и его редактору, едко пародируя раздел «Известий и замечаний», который строился как набор кратких сообщений о событиях в Европе. 1805 г., № 1: «В минувшем году Пруссия прославилась своим нейтралитетом <...> Обратив взоры на происшествия в Британии, увидим, что обладатели морей отличались патриотическими пожертвованиями и приготовлениями к отражению страшного неприятеля <...> Турция представляет позорище ужасных междоусобий <...> Нельзя без содрогания говорить о бедственном положении Испании <...> Взглянем на Север: и там движение войск предвещает бурю...» В конце 1806 года — постоянные жалобы на отсутствие известий в иностранных газетах и, кстати, фраза о том, что «Везувий перестал извергать пламя». Жуковский, редактировавший «Вестник...» в 1809 году, пытался вообще отказаться от раздела: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков,— но так тому и быть». Еще более показательно описание Макаровым его разговора с В. Л. Пушкиным, которое явно перекликается с комедией: «Вы читаете все наши журналы? — спросил меня однажды любезный сосед мой П... — Почти все.— Который вам более нравится? — Тот, который *говорит* языком сердца, страшится иметь все слишком *политическое* и все слишком *педантическое*; словом, я не люблю совсем *политики*, а *педанства* ненавижу.— Почему же? Можно ли сказать о чем-нибудь решительно? — Очень возможно. Я не люблю политики за то, что она редко бывает справедливою; в ней всегда много пристрастия, много ложного <...> А *педантизм* — это яд! Где он существует, там никогда не может быть ни приятности в слоге, ни вкуса в выборе материй. Правила его наполнены отвлечения, понятия грубы. Перо педанта есть сатира на все рецензии в мире, и сатира карикатурная, но когда он еще сам *рецензирует*, тогда я лучше соглашусь Бог знает что делать, нежели читать или слушать его рецензию» («Аглая», 1810, кн. 10, с. 27—28). Рецензирующий педант,— несомненно, тот же Каченовский.

Образ Педантова очень плотно «насыщен» аллюзиями, фактически каждая деталь отсылает к более или менее значительному эпизоду литературной жизни или биографии Каченовского. Так, Педантов предлагает Музе в качестве «интересного» чтения «Дамскую риторику», видимо, потому, что Каченовский преподавал риторику. Пародируется и раздел «Вестника Европы» «Русский театр», действительно отличавшийся краткостью и несодержательностью. Имя поэта Подзобкова отсылало к эпиграмме И. И. Дмитриева «Подзобок на груди и подогнув колена...». Она была направлена против Д. И. Хвостова, однако на свой счет ее принял А. Ф. Мерзляков, по свидетельству очевидцев действительно похожий на портрет. Мерзляков был постоянным сотрудником Каченовского, и сам Макаров косвенно указал, в своей статье, защищавшей комедию, что имел в виду его.

Исторические интересы Каченовского пародированы в «варварской рукописи». Подход к истории Каченовского, поклонника Шлецера и «скептической школы», представляется автору-«карамзинисту» мелочным педантизмом. Это приобретет тем большее значение, что позиция Каченовского и Общества истории и древностей российских, в котором он состоит, полемична по отношению к официальному историографу Карамзину. В 1810 году Каченовский писал Жуковскому, что мадригал Карамзину-историку в «Аглае» — «болтанье, ослепление, ребяческий энтузиазм», а в следующем письме передавал довольно острый обмен репликами с историографом по поводу Шлецера. Возможно, и фраза Педантова «всякий имеет право бранить даже Вольтера» отсылает к дискуссиям о его исторических трудах. Во время редакторства Жуковского Вяземский поместил в «Вестнике...» (1808, № 24) заметку, в которой описывался некий «Н., смертный сын бессмертной Клио, то есть историк, и, надобно прибавить, Русский историк», который пренебрежительно отзывается о Вольтере. Возможно, текст этот также метит в Каченовского. «Неуважительное» отношение Каченовского к европейским классикам, которых он позволял себе критиковать, отмечалось не раз. Так, Батюшков писал, что он «изволит забавляться насчет Мольера, Вольтера и всех умных французов».

Очень характерно, что если методом «портретирования» Шишкова является цитата или отсылка к его

идеям, при полном отсутствии бытовых и биографических реалий, то мнения Каченовского *пародируются*, а некоторые детали намекают на биографические и личные черты. Это связано как раз с тем, что образ Педантова восходит к «низкому» герою комедии (ср.: «подъячий», «мнимый ученый» в сатирической литературе XVIII века). Если в Славянофиле осмеяна некоторая ложная точка зрения, ложное мировоззрение и в финале он «исправляется», то в центре образа Педантова — изначальное «неблагородство души». Осмеян в данном случае Журналист, а не его взгляды.

### «КАРАМЗИНИСТЫ»

В отличие от «карикуры» в образе Педантова и цитатного, «портретного» образа Славянофила, положительные герои не «нагружены» отсылками к «реальности». Однако именно здесь и раскрываются те способы и механизмы образования «смысла», которые отличают комедию автора-«карамзиниста».

Имя девушки (Муза) только на первый взгляд — говорящее имя. На самом деле ее образ тяготеет к аллегории: традиционная коллизия любовного соперничества осмыслена здесь как борьба за «благосклонность музыки». Обыгрывание имени идет в основном на уровне каламбура (в списке действующих лиц: «Муза, дальняя родственница Славянофилу, находящаяся у него под опекою», — выглядело как шутка насчет Шишкова, претендовавшего на роль «русского Лагарпа»; в финале Муза говорит Педантову: «Поверьте, что я никогда не буду вашей гостьей»). На сцене эта игра смыслами должна была поддерживаться характерным костюмом Музы, сохраняя возможность двойного «чтения» образа: как бытового персонажа и как аллегорической фигуры. Аллегорическое представление было обычным жанром, но появление аллегорического персонажа в комедии — случай особенный и возможный только в связи с той традицией прециозности, к которой тяготел автор. В «высокой» классицистской комедии оно было совершенно исключено: «художественное пространство» было здесь «закрытым», «правдоподобным» (принцип «четвертой стены») и «прочитывалось» с позиций «здра-

вого смысла»<sup>1</sup>. Автор «Обращенного Славянофила» апеллирует не только и не столько к «здоровому смыслу», сколько к зрительскому «сочувствию». Любим — молодой, порывистый и остроумный человек, к которому благосклонна Муза. Читатель (зритель) на стороне Любима, поскольку он на стороне «изящного», «любезного». Аллегоричность Музы в том и заключается, что это не «характер» (как другие персонажи), а нечто иное: она формирует полюс читательских симпатий. Этот прием позволяет автору несколько оживить традиционную идеальную героиню комедии, которую, однако, обычно старались «втиснуть» в рамки «правдоподобия». В отличие от положительных героев классицистской комедии, которые обычно строятся как обратные проекции отрицательных (то есть не обладают их недостатками), Любим несет черты «протагониста», то есть «своего человека на сцене».

В образе Правдина традиционный резонер должен был явиться не апологетом философии здравого смысла и традиционалистских добродетелей, а «сочувственником» современного, чувствительного, изящного. Это оказывается невозможным, и коллизия разрешается не «мировоззренческим», а этическим противопоставлением: Правдин «обращает» Славянофила своим великодушием, а Педантов «разоблачен» в своей коварной неблагодарности.

Для сегодняшнего читателя «карамзинист» — скорее легкомысленный юноша, нежели государственный муж. Это, однако, не совсем соответствует реальному положению вещей. Так, Карамзин имеет звание официального историографа, И. И. Дмитриев с 1810 года, ни много ни мало, — министр юстиции. Сетования Славянофила, что Правдин «успел заставить кланяться себе, яко идолу», и «адским сладкоязычием обольстил и старых и малых», относились современниками к Карамзину и имели — как и вообще тема зависти —

---

<sup>1</sup> Появление аллегии в бытовом пространстве — особый тип его театрализации. Наиболее знакомый нам принцип основан на противопоставлении зала и сцены («эффект рампы»): на сцене — другой мир, непроницаемый для нас. Иной способ театрализации — помещение в реальное пространство «объектов» или «персонажей» другой степени условности. Так театрализуется пространство в маскарade, в «открытом» уличном театре, так же театрализуется реальный пейзаж помещением в него «жителей Аркадии». Второй принцип близок автору «Обращенного Славянофила».

гораздо более конкретный смысл, чем может представляться.

1 июля 1810 года Карамзин получил Владимира III степени и рескрипт императора, в котором отмечаются «отличные познания и усердие <...> к распространению российских изящных писем и словесности» (ср. в комедии: «...благодетель мой получил от щедрот Монарших новый знак отличия»). Непримируемый враг Карамзина попечитель Московского университета П. И. Кутузов писал министру просвещения: «Не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям Карамзина; вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинческого яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом...» И в другом письме о нем же: «...Вся его партия здесь уже заранее ему как идолу поклоняется, думая, что он будет случайным человеком» (то есть фаворитом). В 1810—1811 годах Карамзин читает отрывки будущей «Истории» членам царской фамилии и самому императору. Ф. Ф. Вигель связывал образование шишковской «Беседы» с получением известий об этих чтениях. Таким образом, высокопоставленный «карамзинист» Правдин и завидующий, ему, обиженный Славянофил — вполне характерная и небеспочвенная модель в сознании поклонников «нового слога» (в «архаистской», «антикарамзинистской» сатире резонер — обычно честный служака, с большими заслугами перед отечеством в прошлом, но теперь отошедший от дел, что также соотносится с этой ситуацией). В разных смысловых проекциях Правдин может отождествляться с Карамзиным, с П. И. Макаровым (Правдин, как мы узнаем от Славянофила, говорит, что «вождеднейшее желание» — то же самое, что «желаннейшее желание», — это цитата из критики П. И. Макарова — с. 191—192), с И. И. Дмитриевым (линия «Педантов — Правдин» с мотивом «коварной неблагодарности» проецируется на историю отношений Каченовского и Дмитриева). Правдин — это собирательный образ «старшего» «карамзиниста», острополемичный по отношению к стереотипу этической оценки «карамзиниста в сатирической литературе.

Способ «осмеяния» Славянофила тот же, что и в «Новом Стерне». Шаховской поместил «сентиментального вояжера» графа Пронского в антураж русской деревни, столкнув «реальность» и «здравый смысл» с его книжными и надуманными взглядами. Примерно то же — и в «Славянофиле». Только у Шаховского непригодность «теории» обусловлена тем, что она «чужая», «новая», противоречит «здравому смыслу» и «традиции», а здесь — тем, что она противоречит «естественному чувству» молодых людей, развитию нравов и понятий. Но смысл комедии этим не исчерпан.

В сатире XVIII века «личности» были некоторой смысловой «нагрузкой» к вполне независимому от них каноническому образу («педант», «тщеславный»), причем иногда даже не очень понятен тот нюанс, который позволял современникам идентифицировать традиционный сатирический «портрет» с конкретным «лицом». В начале XIX века сатира вплотную обращается к литературно-языковой полемике. Эстетическая декларация оказывается звеном между ее автором в жизни и тем комедийным характером, которому она передана на сцене (при любой «насыщенности» образа конкретными реалиями существует еще некий «смысловой ореол» образа, корни которого в комедийной традиции). Этическая проблематика комедийного «характера» связывается с мировоззренческой проблематикой литературно-языковой декларации. Так, выведенный в комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» «балладник» Фиалкин, в поэтических опусах которого пародировалась поэзия Жуковского, практически не имел «житейских» черт своего «оригинала» (как, впрочем, и Пронский, и Славянофил), однако его сторонники были возмущены: Шаховской дал общий этический портрет *того, кто пишет подобные* (Жуковскому) баллады.

Такой подход выражал представление о неразрывности высказывания и его автора, деяния и намерения. Главный «трюк» состоял в превращении литературно-языковой позиции в бытовое поведение, эстетического кредо в жизненное. Отрывки из сочинений превращаются в слова героев, литературные ритуалы — в поступки. Тексты одного типа (литературные декларации) превращаются в тексты другого (поведенческие). С точки зрения неискушенного читателя «трюк» этот безобиден:

слова-то те же (вот почему важна цитата!), они лишь «проверены на прочность». Однако этот прием опирается на определенную идеологию, в которой слово (высказывание) понимается как *деяние* и, таким образом, может быть объектом непосредственной оценки, моральной и этической. Его ситуационная, контекстуальная изменчивость не признается. Такой взгляд, свойственный сатире XVII—XVIII веков, был в принципе близок и группировавшимся вокруг Шишкова литераторам — «архаистам». Сентименталисты же еще в XVIII веке критикуют сатиру с этой точки зрения. Отрицательно высказывается о ней и сам М. Макаров. В том же ключе полемизирует он с «Новым Стерном» и в своей комедии. «Исправление» Славянофила вовсе не в том, что он отказывается от своего «архаического», «надутого» слога (наоборот, особый «пуант» комедии в верности Славянофила самому себе до последней реплики: «Гоже! весьма гоже, любезнейший мой милостивец!»). «Мораль», вынесенную из «урока», он преподносит Любиму и Музе: «...будьте счастливы, памятуя всегда, что несогласие в словесности, на бумаге, между добрыми и честными людьми ничего не значит на деле». (Ср. в цитированном уже очерке М. Н. Макарова в «Аглае»: «Наши авторы, сказал между прочим сосед мой, имеют вечную вражду между собою.— Но дай Бог, отвечал я, чтобы эта вражда продолжалась только на бумаге» — с. 38.) Становится понятен и смысл «карикатурного» образа Педантова — он не входит в круг «добрых и честных людей». Этическое (Педантов) и эстетическое (Славянофил) разведены. Ту же мысль пытался М. Н. Макаров провести и в статье своей по поводу «Обращенного Славянофила».

Рассуждая о русской комедии в 1830 году, Вяземский писал: «Должно признать, что и нравы наши не драматические. У нас почти нет общественной жизни...» Характерно, что не признавал он и «Горе от ума», где «все <...> лица одни только портреты в профиль, в бюст или во весь рост». Между тем традиция «личностей», связанная в начале века с литературно-языковой проблематикой, носила вовсе не частный «писательский» характер, а была своеобразным вариантом русской «общественной жизни». Здесь вырабатывался тот механизм, при помощи которого всякая «портретная» реалья, попадая в «сценическое пространство», оказывалась в поле напряженной этической и мировоззренческой

дискуссии. Публикуемый текст представляет собой уникальный случай, когда этим механизмом пользуется «карамзинист», и в то же время показателен в отношении того, насколько эти «беспомощные», на наш взгляд, тексты насыщены реальной историей идей и мнений.

Р-А-Т-А

## ОБРАЩЕННЫЙ СЛАВЯНОФИЛ

Комедия в 1-м действии

Сочин. Р-а-т-а

.....если язык книжный отделится, если он не последует за переменами в обычаях, во нравах и понятиях, то весьма скоро сделается тайным.

*П. И. Макаров*

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

**С л а в я н о ф и л**, одет в темно-лиловом, стародавнем и довольно выношенном фраке.

**П е д а н т о в**, журналист, одет в диком фризовом сюртуке, на глазах носит зеленый зонтик.

**П р а в д и н**

**Л ю б и м**, воспитанник его

} оба одеты соображаясь  
со вкусом.

**М у з а**, дальняя родственница Славянофилу, находящаяся у него под опекою. Одета в простом белом платье, на шее маленький небесного цвета платок, такого же цвета пояс, соломенная шляпка, палевые перчатки.

Действие в доме Педантова.

(Комната, обитая ландкартами, планами и прочими учеными принадлежностями, на столе в беспорядке разбросаны журналы и другие книги и тетради.)

### ЯВЛЕНИЕ I

**П е д а н т о в** (*сидит за столом*). Нынче у нас самая бестолковая Политика! ну что будешь писать? В Гишпании продолжается грабеж, Англичане плавают по морям, Немцы, Русские, Французы, Китайцы,



Турки, можно поставить тысячу народных званий, и все без пользы! — Три номера Гамбургского Корреспондента наполнены переездом высоких особ; Парижский Монитор уведомляет только о предуготовлениях; Берлинские ведомости молчат. — Что делать! Нет ни одного любопытного происшествия, даже Везувий перестал извергать свое пламя. Какое смиренное время! А неугомонные пренумеранты требуют происшествий, хотят непременно политики, и в то время, когда ее сам черт не распутает! — Журнал мой сел как рак на мели!.. Нет! Провались ты, скарредное ремесло; не хочу быть Журналистом: переломая перья, изорву бумагу и вылью чернила! — Теперь я имею достаток, на что мне больше? *(Смотрит на часы.)* Славянофил нейдет еще; проклятый человек, вечно мешкает, а время уходит. — Он обещал мне сторговаться с Подзобковым и принести от него на целый номер стихов. *(Разрывает бумаги.)* Кстати, вот бумага, которая теперь для меня необходима. *(Читает.)* Описание любопытной рукописи, хранящейся в меновой лавке, близ Варварских ворот. Прекрасно! Статья презанимательная! В ней описывается, как Гришка Отрепьев катался на москворецком льду. О, бесценный мой друг! Славянофил! Подлинно, что я тебе обязан жизни; без тебя, может, бы и я в смятении моем шел по отвратительным следам слезливых Стернов! ...Но что я заболтался! Надобно еще перечитать это письмо *(развертывает письмо)* и поместить его в будущем номере. Эта похвала одному из наших Трагиков, которого бы, по правде, и не должно хвалить, но он первый враг Стернам, и стихи его по необходимости должны быть все прекрасны. *(Начинает списывать письмо.)*

## ЯВЛЕНИЕ II

Педантов продолжает писать, не видя входящих  
Славянофила и Музы

Славянофил *(подкрavшись, целует Педантова в голову)*. Поздравляю, поздравляю, любезный друг!

Педантов *(вскочив)*. Что это такое! А! любезный!.. Прошу покорно садиться, сударыня. — Чем порадуешь?

Славянофил. Я пришел к тебе с племянницей того ради, дабы купно с нею поздравить тебя и доказать тем вселюбовное участие наше, которое мы в тебе прини-

маем. Торжествуй, торжествуй, задушевный друг! Во всех лучшейших сословиях начинают смеяться над Стернами, и вчерась в моих очах отдавали справедливость слогу наших прапраотцев, и я своими ушами слышал, как многие достопочтенные люди повторяли с единоцентренною похвалою мысль мою, что мы, думая просвещаться, впадаем час от часу в большее невежество!

П е д а н т о в. Однако ж, любезный Славянофил, ты здесь сказал несколько отвлеченно; прежнее твое чистое просвещение хотя было и совершенно чисто, но не приносило Журналистам столько барыша, сколько приносит нынешнее. Вообрази себе, прошедший год я получил около шести тысяч чистою монетою. Кому бывал такой доход!

С л а в я н о ф и л. Я тебя не разумею, ты говоришь со мною якобы не с Русским! Ну что за слово Журналист? — что за Журналист? Разве нельзя было изречь просто: издатель Русскаго ежемесячнаго сочинения! Вот оттого-то ты и теряешь многое. Выбрось всю эту заморскую дрянь, тогда будут читать твои поучения не только дворяне да имянитые граждане, но и купцы и крестьяне, и ты вместо шести тысяч получишь наверное тридцать.

П е д а н т о в. Признаюсь тебе, незанимательность политических описаний отнимает у меня большой кусок хлеба! Я было принялся писать замечания на театры, но непросвещенные актеры погрозили мне побоями, и я остановился только на изображении Драматических содержаний и балетных Программ!..

С л а в я н о ф и л. Черт тебя побери! Опять занес басурманщину. Если б не было здесь моей племянницы!..

П е д а н т о в. Извините нас, сударыня!.. Мы немного погорячились. Я думаю, вам скучно.

М у з а. Напротив; мне очень приятно...

П е д а н т о в. Не угодно ли вам заняться книжкою? (Подает ей книгу.) Вот самая Дамская, самая полезная, самая интересная книга!..

С л а в я н о ф и л (взглянув на заглавие книги). Дамская Риторика! Вот те интерес! Я так и думал, что там не быть пути, где говорят об интересе.— Самое заглавие не по-Русски, чему тут быть доброму? Не читай, сударыня! Это писал какой-нибудь потомок Морица.

П е д а н т о в. Нет, нет, любезный друг! Ты уж слишком привязчив.

С л а в я н о ф и л. Привязчив! Поневоле будешь тогда привязчив, когда узришь неминуемую гибель целого отчества. Ну что с нами станется, буде мы, разрядившись по-Английски да по-Французски, потеряем вместе с отчественным нарядом и наши обычаи и наш язык; во оное время и дуй в ноздь, да уж поздно будет, рук не отогреешь, а души не обрящешь.

П е д а н т о в. Так, но...

С л а в я н о ф и л. Но, но! убирайся ты к черту с своими но! — Я тебе уже прорекал причину —...Пожалуй, больше не раздражай меня!

П е д а н т о в. Простите мне великодушно, я никак не думал вас оскорбить. Оставим это и поговорим о другом. Что наш Подзобков? Что наша *Варварская* рукопись?

С л а в я н о ф и л (*показывая на боковой карман*). Почти все тут.

П е д а н т о в. А еще не совсем?

С л а в я н о ф и л. Эх! ты поспешен: тише едешь, дальше будешь.

П е д а н т о в. Правда... Позвольте же и мне порадовать вас, я написал критику. (*Ищет в бумагах.*) Жаль, что ее здесь нет!

С л а в я н о ф и л. На кого? на кого?

П е д а н т о в. Обыкновенно, против Стернов. Повремените, я сейчас принесу ее. (*Уходит.*)

### ЯВЛЕНИЕ III

С л а в я н о ф и л, М у з а, Л ю б и м.

С л а в я н о ф и л. За чем Бог принес? Право, молодой человек, ты шатаешься за мною как тень, мне нигде нет от тебя покою. Я сказал тебе, один раз навсегда, что ни слезы, ни просьбы твои не умягчат меня во веки веков! Нет, мой друг, старого воробья на мякине не поймашь: я ведь очень ведаю, что у тебя все поддельное, а теперь говорю тебе уже в последний раз, что Музе за тобою не бывать.

Л ю б и м. Но милостивый государь! Разве вам приятно будет слышать о моей смерти?

С л а в я н о ф и л. Приятно! (*Вынимает из кармана книгу и начинает читать ее вслух.*)

С честными людьми дружество держите,  
Прелюбы Творцев далече бежите,  
Бежите всех злых, яко люта змия;  
Вся заповеди сохраните сия.

*(Останавливается.)* Какая плавность слога! Какое приличное уподобление! Какая в выражениях многозначительность и ясность!..

Муза. Дядюшка!..

Славянофил. Что, племянница!

Муза. Ведь вы сами обещали меня выдать за Любима. Помните ли, когда вы взяли меня из монастыря, когда вы еще были дружны с Любимовым благодетелем, тогда вы сами называли меня его невестою, а его моим женихом, а ведь это недавно было, — виноваты ли мы, что вы рассорились! А ведь уж как полюбишь, так мудрено отвыкать любить...

Славянофил. Ах, негодница!.. Смотри, пожалуйста, как она начиталась чувствительных путешествий. Я тебе говорю, сударыня, что тогда было время, а ныне другое. Ну возможно ли это, чтоб я выдал свою племянницу за воспитанника моего смертельного злодея, который успел заставить кланяться себе, яко идолу, который адским сладкоязычием обольстил и старых и малых. — Нет, нет! этому не бывать, никогда не бывать!

Любим. Но что нам за нужда до всех сладких и кислых язычников, любовь наша будет довольна одним скромным, покойным уголком, трудами, вашею ласкою, дружбою моего благодетеля. Вот и вся область нашего благополучия, мы больше ничего не потребуем.

Славянофил. Ты говоришь правду, но я поклялся вечно ненавидеть твоего благодетеля, и аще бы весь свет объявил единодушное согласие, то между мною и Правдиным навеки останется непрерывная вражда.

Любим. Надобно, чтоб он вам сделал величайшее зло?

Славянофил. Зло? Разве я тебе не сказывал: что я ни пишу, что я ни говорю, он ничего не слушает, ничего не читает, а за ним то же делают и все его поклонники. Разве это не зло? Разве хорошо каверзить отечественное словопроисхождение?

Любим. Но вы можете быть с ним врагами на бумаге и оставаться между собою друзьями, а нам с Музой какое дело до ваших словопроисхождений?

С л а в я н о ф и л. Как! какое дело? — Он дурак, и ты, живучи с ним вместе, весьма легко можешь заняться дурацким, а я не хочу погубить свою племянницу и выдать ее за плаксивого умницу. Ну что вы сделаете своими слезами! Умрете с голоду, а тогда об вас никто не заплачет!

М у з а. Лучше плакать, нежели браниться!

С л а в я н о ф и л. Молчать, безумная! Да что ж, разве г. Правдин не бранится? Три дня тому назад он торжественно надо мною издевался и говорил, что гораздо-де лучше употреблять слово *потребность*, нежели *вожделеннейшее желание*. О! я этого ему никогда не прощу; возможно ли, какая неслыханная дерзость! он осмелился при моих очах сказать, что *вожделеннейшее желание* в переводе означает: *желаннейшее желание!*..

М у з а. А нам таки все до этого нет дела!

С л а в я н о ф и л. Как, нет дела? Дура бестолковая! Да знаешь ли ты, что для меня ничего нет обиднее опровержения моих понятий? — Уничижать отечественный слог! Да знаешь ли ты, что в Китае за это повесят?

М у з а (*иронически*). А где бишь Китай?

С л а в я н о ф и л. В Азии. Какая невежда!

М у з а. А мы живем в Европе, в России...

С л а в я н о ф и л. Конечно, так; и буде бы г. Правдин употреблял Русской язык, тогда бы и дело кончено; я бы, не говоря ни слова, выдал тебя за Любима.

М у з а. Любим! не можешь ли ты уговорить своего благодетеля, чтоб он помирился с моим дядюшкой?

Л ю б и м. Он и не думал на него сердиться.

М у з а. Ну вот, слышите ли вы! Не стыдно ли же вам гневаться за *вожделеннейшее желание*, за такой вздор?

С л а в я н о ф и л. Что ты говоришь? Плутовка! ведаешь ли ты, что я сей же час накажу тебя не по-Христиански, разлучу тебя с Любимом и выдам за Педантова?

М у з а (*сквозь слезы*). Пощадите меня, дядюшка, и вы для одного варварского слова хотите жертвовать счастьем своей племянницы!

С л а в я н о ф и л. Добро, добро, плутовка! Я проучу тебя!

М у з а (*тихо Любиму*). Любим! нельзя ли как-нибудь их помирить, хоть на время! Ах! если б они знали, какое бедствие они причиняют нам своими вздора-

ми, тогда бы, верно, разжалобились и бросили все свои потребности и вожделеннейшие желания.

Любим (так же тихо Музе). Не беспокойся и дай волю своему дядюшке, пусть его до времени любитесь *сицием* и *абием*; но любовь и не такие преграды побеждала. Мы возьмем свое!..

Славянофил (опять читает книгу). «Не презирает и нижняя Вашего Царского Пресветлаго Величества двоеглавный Орел, когда, аки от приснотекущего источника реки изобильных, от простертаго Вашего Царского Пресветлаго Величества десницы, всех требующих ущедряющая происходит милостыня!» — Превосходно! превосходно! Кто так напишет?

#### ЯВЛЕНИЕ IV

Славянофил, Муза, Любим, Педантов с тетрадью.

Педантов. Вот она, вот она!

Славянофил. Подавай, подавай сюда, любезный друг! Муза! очки.

Муза. Я их позабыла, дядюшка.

Славянофил. Дурища! Ты вечно меня забываешь!..

Любим. Не угодно ли, я вам могу служить лорнетом!..

Славянофил. Что ж, вы хотите меня сделать однооким Циклопом?..

Педантов. Г. Любим! прошу вас не забываться в моем доме!

Любим. Боже мой! Можно ли с вами, г. Педантов, забываться?

Славянофил. Г. Любим из роду модных *Софистов*!

Любим. Благодарю вас...

Муза (тихо). Перестань, пожалуйста... право, мне не до шуток: они меня терзают!

Педантов. Я вам говорю, г. Любим, если вы хотите мне быть приятелем, то всепокорнейше прошу вас не противоречить ни мне, ни друзьям моим. — Итак, достопочтенный друг, позвольте, я прочту вам...

Славянофил (отдавая ему бумагу). С охотою! (Музе.) Добро ты, мошенница! уж я тебя изловлю!

Педантов (читает). «Критическое размышление о ядозаразительной чувствительной чувствительности, с

*присовокуплением основанного на опыте средства, как искоренять сие зелие.*— Почтеннейший г. Издатель!»...

Любим. Так это не вы писали?..

Педантов. Бога ради, не мешайте мне!..

Славянофил. Всякий Издатель ежемесячных и еженедельных сочинений имеет полное право писать письма от себя и к самому себе.

Любим. А! а!

Педантов (*начинает опять и продолжает*). «Глупая, несносная, вздорная чувствительность, поселившись в некоторые женоподобные сердца, распустила свои ядотворные корни, корни, наносящие или долженствующие со временем нанести гибель всему человеческому роду.— Ибо, как известно, что и самое слово чувствительность есть прикрытая благовониями гарпия!»

Славянофил. Правда, неоспоримая правда!

Любим. А злоба? неужели есть знак доброго и честного человека?

Педантов (*не слушая его, продолжает*). «Примечание. Законами некоторого высокомудрейшего Перуанского Инки повелено было торжественно сжигать все те сочинения, в которых означалась печать слезливости и слова: увы! ах! их! и проч. и проч. и проч.»

Муза. Какое тиранство!

Любим. Как пострадали бедные слова!

Муза. Они приняли мученический венец.

Славянофил. Да перестанете ли вы! Продолжайте, продолжайте, вселюбезнейший друг!

Педантов. Да помилуйте, помилуйте, как это возможно!..

Любим. Я обещаюсь молчать.

Муза. И я также.

Педантов. Я верю только вам, сударыня!

Муза. Много чести!

Славянофил. Эх! да вы уж отшиблись от своего предмета! (*Вырвав бумагу у Педантова.*) На! читай, г. Любим! Когда ты станешь читать, тогда некому будет болтать.

Любим (*читает*).

Мильтоном, Геснером, Расином, Коцебу

Педантов вздумал поругаться!

Но как не взбесишься! как не винить судьбу,

Над ним же стали все смеяться!..

С л а в я н о ф и л.	} Э! э! что это такое!
М у з а.                    вместе	
П е д а н т о в.	

Ха! ха! ха! ха!  
Провались ты, г. Любим!  
Всякий имеет право бранить даже Волтера.— Извините, г. Славянофил. (*Уходит.*)

#### ЯВЛЕНИЕ V

С л а в я н о ф и л, Л ю б и м, М у з а.

С л а в я н о ф и л. Хорошее ли это дело, так досаж-  
дать хозяину?

Л ю б и м. Ха! ха! ха! Извините, не могу воздержаться  
от смеху, ха! ха! ха! Рассудите вы сами, мог ли я нанести  
какую неприятность дружескою шуткою? ха! ха! ха!

С л а в я н о ф и л. Да это личность!

Л ю б и м. Между друзьями какой расчет!

С л а в я н о ф и л. Вам, сударь, не достанется нас  
дурачить своею любовью да — дружбою...

М у з а. Неужели и любовь дурачество, а дружба  
порок?

Л ю б и м. Эти небесные чувства достойны всех отли-  
чий.

С л а в я н о ф и л. Безумие!..

М у з а. Которое славно вознаграждается от самой  
премудрости!

Л ю б и м. Я и забыл вам сказать, что благодетель  
мой получил от щедрот Монарших новый знак отличия.

С л а в я н о ф и л (*побледнев*). Как! как! что? что?

М у з а. Дядюшка! вам дурно!

С л а в я н о ф и л. Да что ж с вами делать? Вы зара-  
зили весь воздух своими сантиментальными вздорами! —  
Если еще минуту, я задохнусь!..

М у з а (*подает ему склянку о-де колонь*). Это осве-  
жит вас!

С л а в я н о ф и л. О! премилосердный Боже!

Л ю б и м. Я не понимаю, как можно так огорчаться  
благополучием другого! Сам закон предписывает нам  
разделять удовольствие в счастье ближнего.

С л а в я н о ф и л. Да кто вам сказал, что мне от того  
сделалась дурнота, что г. Правдин получил Орден, да,  
по мне, хотя всего завешай его крестами!

Л ю б и м. Верю, верю, и, конечно, какое вам до того  
дело. Но я бы от души желал разделить ваше прискор-  
бие, может быть, я найдусь к чему-нибудь полезным!..

С л а в я н о ф и л. Нет! нет! уж все совершенно про-  
пало!



Л ю б и м. Однако ж поберегите себя, и как бы несчастье ваше ни было велико, старайтесь сносить его с твердостью; это долг Христианский!

С л а в я н о ф и л. Слышал я такие проповеди! А между тем я в отчаянии, я неутешен!..

Л ю б и м. Кто ж причиную!.. Уж не мы ли? Не приносит ли вам особенного неудовольствия моя привязанность к вашей любезной племяннице?

С л а в я н о ф и л. Нет! нет! все не то!.. Повесь ее себе, пожалуй, хотя на шею.

М у з а. Я отдыхаю.

Л ю б и м. Благодарный человек! так вы согласны на наше благополучие! Позвольте мне обнять вас!

С л а в я н о ф и л. Нет! нет! да и еще бы возможно, когда бы твой Правдин не получил креста; а теперь я ни за что не соглашусь быть в свойстве с Кавалерами...

Л ю б и м. Да чем же я-то виноват?..

С л а в я н о ф и л. Тем, тем, что ты его обезьяна!

#### ЯВЛЕНИЕ VI

Прежние, П е д а н т о в (с осторожностью крадется из-за двери).

П е д а н т о в. Ах! он еще здесь! (*Любиму.*) Да оставите ли вы нас, г. Любим?

Л ю б и м. Милостивый государь!

С л а в я н о ф и л. Какая наглость! Вам, сударь, сам хозяин говорит, что он не хочет вашего знакомства.

Л ю б и м. Я хочу знать причину! — это для меня обидно!

П е д а н т о в. В моем доме меня никто не может спрашивать о причинах! Слуга покорный!

С л а в я н о ф и л. Извольте выйти вон.

Л ю б и м. Это дерзко!

П е д а н т о в. Мы с вами разочтемся на бумаге.

С л а в я н о ф и л. Придави его сатирую.

Л ю б и м. Которую я никогда не соберусь с духом прочесть.

П е д а н т о в. Боже! Господи! да оставите ли вы нас?

Л ю б и м. Прощайте! (*Музе.*) А с вами я не прощаюсь, сударыня. (*Уходит.*)

П е д а н т о в (*идет вслед за Любимом*). Пойду и запру двери, запру крепко-накрепко, чтоб эта ядовитая змея опять как-нибудь не заползла сюда. (*Уходит.*)

## ЯВЛЕНИЕ VII

Славянофил, Муза.

Муза. И вы для таких пустяков непременно хотите моей смерти?

Славянофил. Не горюй, ты будешь замужем.

Муза. За Любимом!

Славянофил. Нет! нет! нет! Почему тебе не жених г. Педантов?

Муза. Воля ваша, дядюшка, я никак не могу с ним жить; он так зол, так своенравен, так дурен собою...

Славянофил. Где ж взять красавцев?

Муза. Так я лучше век не пойду замуж.

Славянофил. Очень похвально оставаться райскою девою.

Муза. Ну да что ж с вами делать?

Славянофил. И! да что с тобой говорить: мы по-Русски, под руки да и к венцу; в старину спрашивали старший советов у младшего? Бывало, невеста и все сидит за замочком, а женихов-то отбою нет, невеста-та и не знает, не ведает, за кого ее выдают, уж разве только после венца увидит своего суженого.

Муза. Неужто и это похвально?

Славянофил. Все старинное превосходно!

Муза. Ну да как старший-та из корыстолюбия или для чего-нибудь другого навлечет таким принуждением младшему вечное несчастье.

Славянофил. Предки наши так не думали, а было все хорошо.

Муза. Но нынче уж ведь другие люди, другой образ мыслей, другие чувства!..

Славянофил. О злая ругательница! (*Берет ее за руку, ведет и встречается с Педантовым.*) На, вот тебе, возьми ее, она твоя жена!

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Прежние, Педантов.

Педантов (*остолбенев*). Да помилуйте, да рассудите вы сами, могли ли я ожидать такого благополучия?

Славянофил. Приими, приими ее и женись на ней непременно.

Муза. Боже мой!

Педантов. Не почтут ли это насилием?

Славянофил. Разве ты забыл, что мы условились шествовать правдивыми стопами предков наших.

Муза. Коверкать невинные и добрые нравы на свой лад, сказать по-вашему.

Славянофил. Слышишь ли ты, чуешь ли ты, что она же над нами и смеется.

Педантов. Но, сударыня, вы не должны прекословить вашему дяде, вашему благодетелю, это закон естественный: дети должны повиноваться родителям.

Муза. А я ему не дочь.

Славянофил. Племянница! все едино, все едино.

Муза. И родители не должны во зло употреблять свою власть: они также под законами.

Славянофил. Молчать, молчать, молчать; давайте, давайте руки!

#### ЯВЛЕНИЕ IX

Прежние, Любим.

Любим (*с восхищением*). Я принес вам необыкновенную радость!

Славянофил. Что! что это такое?

Педантов. Да как вы это сюда заползли?

Муза. Для влюбленных нет преграды.

Любим (*Славянофилу*). Благодетель мой просил об вас друзей своих при Дворе, и вы определены по желанию вашему Губернатором. Вот как он мстит!

Славянофил (*тронувшись*). Как! что? нет, нет, мне сие неимоверно!

Любим. Точно так, сударь, г. Правдин узнал, что вы старались об одном месте, и употребил все способы, чтоб вам его доставить.

Педантов. Да неужели вы его примете?

Славянофил. А буде отказать, что ж обо мне тогда скажут?

Педантов. Что ты твердый, характерный человек.

Славянофил. Провались ты от меня, проклятый! Да где это видано, аще бы оставаться неблагодарным пред своим милостивцем?

П е д а н т о в. Да помилуйте, какое ж тут благодеяние — помогать, не спросясь, хочешь или не хочешь быть обязанным!

С л а в я н о ф и л. Так и должно: добрый человек никогда не допустит своего ближнего потонуть, буде еще имеет все способы избавить его от потопления,

П е д а н т о в. Г. Славянофил! вы ли это говорите?

С л а в я н о ф и л. Я, сударь, я, я!

П е д а н т о в. И вы соглашаетесь?..

Л ю б и м. Г. Славянофил умеет чувствовать взаимные обязанности ближних, а вы?..

П е д а н т о в. А я-то что?

Л ю б и м. Стыдитесь, сударь, делать подобные вопросы. Я не знаю, что мне должно об вас думать и что подумают все, если я скажу, но мне совестно!..

М у з а. Говори, говори все. Я хочу совершенно его возненавидеть!

Л ю б и м. Когда вы приказываете, так узнайте же: благодетель мой некогда был благодетелем Педантова, он первый открыл в нем способности, он первый научил его употребить себя с пользою, показал ему путь к славе, к счастью, всегда старался ободрять его! — Не правда ли, г. Педантов? Припомните ли вы то Польское местечко, в котором мы вместе с вами квартировали? Что ж вы молчите? — И за все это человек заплатил моему и своему благодетелю вечною ненавистью.

Педантов хочет отвечать, но в досаде ничего не может выговорить.

С л а в я н о ф и л. О! я теперь очень вижу, что он никошный человек. — Но правду ли вы изрекли о своем благотворителе, г. Любим?

М у з а. Наверное правда, потому что Любим не умеет лгать.

Л ю б и м. Вот и доказательство.

С л а в я н о ф и л. Правдин! Правдин, достохвальный друг! Я виноват пред тобою. Отпусти, отпусти мне, окаянному. *(Бросается навстречу к Правдину и обнимает его.)*

## ЯВЛЕНИЕ X

Все.

**П р а в д и н.** Забудем все, любезный Славянофил! Я пришел сам поздравить тебя, а чрез то доказать, что мы никогда не были врагами. (*Вынимает бумагу.*) Вот копия с Указа, которую я сейчас получил из Петербурга: ты определен, по желанию твоему, Губернатором.

**С л а в я н о ф и л** (*обнимает его*). Редчайший человек!

**П р а в д и н.** Государь, зная твою честность, усердие, правдивость, не хотел оставить без вознаграждения заслуг твоих, а уведомившись о твоём недостаточном состоянии, приказал отпустить тебе на проезд до места нужную сумму.

**С л а в я н о ф и л.** Богоподобный Монарх! (*Правдину.*) Дружба твоя для меня столь драгоценна, что я не придумаю, коим возмездием за нее воздавать тебе.

**П р а в д и н** (*показывая на Музу и Любима*). Их соединением, любовью к ним и верною дружбою ко мне, больше я ничего не требую.

**С л а в я н о ф и л** (*взяв за руки Любима и Музу*). Живите, дети, живите и будьте счастливы, памятуя всегда, что несогласие в словесности, на бумаге, между добрыми и честными людьми ничего не значит на деле.

**П е д а н т о в.** Как! как ничего?..

**П р а в д и н.** Бога ради, помолчите, г. Педантов, и послушайте моего совету: если вы не перестанете наполнять своего Журнала одною только язвою ругательства, одними только Китайскими и Японскими мечтами, одними только балетными программами, то вы совершенно потеряетесь в своих расчетах и Журнал ваш падет.

**П е д а н т о в.** Вздор! вздор! я слышал эти басни! Однако ж, г. Славянофил! посмотрим, как вы от меня выручите ваше слово.

**С л а в я н о ф и л.** Стыдитесь, сударь, вы теряете всю доверенность к себе, все уважение. Возможно ли это — видеть честные и добрые примеры и все еще не опаматоваться!.. Тут должно быть совершенным истуканом, совершенно бессовестным! Разве случай сей не учинил на вас никакого наитствования?

**П е д а н т о в.** Как, я истукан! Как, я бессовестный! И меня сметь так называть в глаза и в моем кабинете? —

Господа! прошу вас покорнейше, без дальних околичностей, меня оставить.

П р а в д и н. Мы идем, сударь.

С л а в я н о ф и л. Сидите вечно в своем кабинете и страдайте вкупе со своею бумагою.

М у з а. Поверьте, что я никогда не буду вашей гостьей.

Л ю б и м. Bravo! bravo!

П е д а н т о в. А я сей же час начну писать на вас сатиры и задавлю вас миллионом эпиграмм.

С л а в я н о ф и л. Бездушных? Так они легки!..

П р а в д и н. В ожидании сей ужасной смерти, мы покамест с удовольствием насладимся жизнью, попируем на свадьбе и утешимся любовью милых детей наших.

С л а в я н о ф и л. Гоже! весьма гоже, любезнейший мой милостивец! Теперь уж я ведаю, что самая несносная тварь на свете: лихой Педант.

П р а в д и н. Прибавь также, мой друг, что мы все узнали на опыте, как смешна излишняя чувствительность или слезливость, так же точно ненавистна и грубая надутость.

Все уходят. Педантов в бешенстве разрывает несколько бумаг, грызет перья, кидается в кресла, и занавес опускается.

*Конец комедии.*

---

---

С. Н. Кайдаш

ВЫЗОВ ЦАРЮ

Может быть, наше время, как никакое другое, стирает «белые пятна» незнания одно за другим. Однако «белые пятна» в изобилии существуют не только в нашей недавней истории: есть они и в истории XIX века. Одним из них является и личность замечательной русской публицистки и литературного критика Марии Константиновны Цебриковой и ее письмо к царю Александру III. Цебриковой нет даже в последней «Литературной энциклопедии», тем более нет в БСЭ. А между тем имя ее было известно каждому образованному человеку России и произносилось с восхищением такими людьми, как Лев Толстой.

В некрологе, который был напечатан 23 марта 1917 года — в первые дни после свержения самодержавия, — имя Цебриковой было поставлено в один ряд с именами Чернышевского и Герцена: автор напоминал, что имя Цебриковой в «девяностых годах так же произносилось шепотом, как в семидесятых годах называлось имя Чернышевского, а еще раньше Герцена (<...> Судьбе было угодно, чтобы М. К. Цебрикова увидела падение обветшалой государственной власти за несколько дней до своей кончины».

Трудно коротко перечислить заслуги Цебриковой перед русской культурой и освободительным движением. Не будем также вдаваться в объяснение причин глухого забвения, которое постигло ее в советские годы. Одним историкам не нравились ее связи с народовольцами, которые были при Сталине «под запретом», другим — ее стремление найти более нормальные пути госу-



Мария Цебрикова

дарственного движения, чем революционный, направить молодых людей к «культурной работе», вырвав из-под увлечения терроризмом и поэзии разрушения. Словом, она не устраивала многих. Но теперь пришло время оценить эту замечательную и глубокую личность.

Цебрикова начала свой литературный путь как критик в журнале Некрасова «Отечественные записки». Некрасову она принесла свою первую статью «Наши бабушки» — о женских типах романа Толстого «Война и мир». Статья была напечатана в журнале в 1868 году и принесла автору заметный успех. Статьи Цебриковой, такие, как «Женские типы Шпильгагена» (1869) и «Герои молодой Германии» (1870) — по поводу известных тогда романов писателя «Один в поле не воин» и «Молот и наковальня», о романе «Обрыв» Гончарова — «Псевдоновая героиня. Обрыв. Роман Гончарова» (1870), «Женщины американской революции» (1870), — были очень популярны в самых разных читательских кругах России.

Велики заслуги Цебриковой и в истории развития женского движения. Она была сотрудницей многих выдающихся деятельниц 1860—1870-х годов, таких, как М. Трубникова, Е. Конради, Е. Лихачева. Немало сделано



Цебриковой для получения русскими женщинами права на образование наравне с мужчинами, для открытия Высших Бестужевских курсов. Впрочем, она никогда не разделяла крайностей феминизма и высмеивала тех, кто считал, что возиться с головастиками много интереснее, чем воспитывать собственных детей.

Мария Константиновна родилась в 1835 году в Кронштадте в семье капитан-лейтенанта, который впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта. Два брата отца — Александр и Николай — также были моряками. Николай стал декабристом: Впоследствии со слов отца Цебрикова вспоминала, что Александр Бестужев, «завербовав старшего их брата Николая», усиленно склонял вступить в декабристское общество и Константина. Он отказался, исповедуя своеобразную религию верности «престолу-отечеству». Однако когда братья Николай и Александр были арестованы и Константину были присланы ключи от комодов, чтобы он передал белье и прочие необходимые в крепости вещи, Константин со спокойной душой уничтожил все бумаги, компрометировавшие братьев. Александра вскоре оправдали и выпустили, Николай держался на следствии вызывающе, «употреблял дерзкие выражения». Он сидел в одном каземате с Пестелем и Каховским и написал позднее об этом воспоминания «Кронверкская куртина», которые отослал Герцену в «Полярную звезду». Дядя-декабрист Николай Цебриков сыграл решающую роль в формировании личности племянницы. Свой псевдоним — Николаева — она взяла в его честь.

Мать Марии Константиновны была воспитанницей Смольного института, зараженная всеми предрассудками барской спеси. С детства Маша наслушалась немало гордых рассказов, как император Павел приходил к ее родным и «бабушка подростком варила шоколад для Павла», который, боясь, что его отравят, любил в этой семье завтракать. Цебрикова получила отличное домашнее образование и воспитание: знала языки, училась рисованию и музыке. Самосознание девушки, как и всего русского общества в то время, началось, всего очевиднее, с поражения в Крымской войне, которое коснулось семьи Цебриковых довольно близко.

Кронштадт был военной крепостью и ключом к столице, но был готов к войне еще менее Севастополя. Матросов загоняли на учениях бессмысленной шагистикой, но стрелять они не умели. Из окон Маша видела, как на

учениях офицеры били солдат. Юная Цебрикова начала читать статьи Добролюбова, Чернышевского — их приносил ей дядя-декабрист. Прятала под тюфяком постели «Колокол» Герцена. От матери пришлось скрывать и прятать первые свои написанные страницы... Мать пыталась не только помешать ей писать, но и печататься. Однако Мария Цебрикова уже пошла своим путем.

Она преподавала в воскресных школах, вместе с дядей посещала студенческие революционные кружки. После его смерти в 1862 году эти связи не распались, а укрепились. Друзьями Цебриковой были члены кружка чайковцев. Берви-Флеровский был ее личным другом. Автор «Положения рабочего класса в России» и «Азбуки социальных наук», Берви, как и все члены кружка, был озабочен вопросами революционной этики. В своей «Азбуке», написанной по заданию кружка, автор пытался доказать, что хищническим началам борьбы за существование противостоит и всегда противостоял «союз за существование», основанный на альтруистических началах, и только они извечно спасали мир от разложения и гибели. На экземпляре книги, представленном царю, Александр III начертал: «Азбуку эту не следует допустить к продаже».

Характерно, что кружок чайковцев возник в борьбе и противостоянии Сергею Нечаеву. Роль его в революционном движении России была особенной: Нечаев считал, что в революционной работе можно пользоваться любыми средствами, начиная с шантажа и кончая убийствами «для пользы дела». В своем «Катехизисе революционера» Нечаев писал: у революционера «денно и ночью должна быть одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение».

После нечаевского процесса в 1871 году, который так поразил Достоевского, кружок чайковцев «заболел вопросами этики», доказывая, что, «пока не будет создана научная этика, невозможно будет осуществить социалистический строй». В своем кружке чайковцы жили по законам этой строгой этики: князь Петр Кропоткин и владелец огромных богатств помещик Дмитрий Лизогуб отдавали в кружок все свои доходы, относились друг к другу как братья. Софья Перовская и Сергей Кравчинский, вместе с другими, осудили «нечаевское дело», как «кошмарный эпизод в истории революционного движения».

Одним из практических дел чайковцев было распространение революционных книг для народа, среди них — наравне с работами Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Луи Блана, Берви-Флеровского — издавалась и книжка Цебриковой «Дедушка Егор».

Цебрикова была одной из немногих в России, кто, как и Достоевский, понимал всю низость и социальную опасность нечаевщины, но в отличие от автора романа «Бесы» не распространял ее на все революционное движение. Она увидела в нечаевской левизне особую опасность «при полнейшем у нас недостатке политического воспитания».

В 1870-е годы Цебрикова неутомима как беллетрист: выходят ее «Записки гувернантки» (1875), сборник рассказов «Быль и вымысел» (1876). После смерти Некрасова в «Отечественных записках» она уже больше не печатается, а ее некролог «На смерть поэта» (в журнале «Воспитание и обучение») был особо отмечен цензурой. В эти годы состоялось знакомство Цебриковой с англичанкой Этель Буль — впоследствии автором прославленного романа «Овод» Этель Лилиан Войнич. Они подружились, несмотря на разницу в возрасте. С ней Цебрикова и поделилась своим замыслом писать письмо царю.

В эти годы она активная деятельница Красного Креста. К ней идут потоки писем от заключенных и ссыльных. Не зря спустя несколько лет Цебрикова сблизилась с Львом Толстым, ее мучило то же состояние духа, которое впоследствии, в пору столыпинских казней, заставило Толстого воскликнуть: «Не могу молчать!»

После гибели от руки народовольцев царя Александра II, затем казни пятерых из них на эшафоте, начались годы безвременья. Казалось, с реформами было покончено. Столько напрасных усилий и жертв — все зазря. По малейшему поводу — за прочитанную книгу, неосторожное слово — следовала скорая расправа. Тюрьмы и ссылки наполнились тысячами молодых людей. В ссылке и друг Цебриковой Берви-Флеровский. Кончает самоубийством Гаршин. Обществом овладевает апатия. Казалось, никто не знает — что делать?

В наследство от шестидесятников в обществе еще сохранялась неколебимая вера в ум, который может все изменить, если «поймет». Цебрикова решается писать царю письмо. Сначала она хочет составить писательский

адрес Александру III или всем сговориться и напечатать такие статьи, «что или закрывай все газеты и журналы, или изменяй порядки». Разумеется, из этого донкихотского плана ничего не вышло. Тогда, твердо веря, что «и один в поле воин», она начинает действовать самостоятельно. Она считает, что нет «мер и весов для нравственного влияния», Цебрикова хочет спасти честь и свою собственную, и честь русской литературы.

Из писем заключенных, присланных ей из Сибири, она составляет брошюру «Каторга и ссылка», которую вывозит в Англию «мисс Булочка» — будущий автор «Овода». И затем отправляется за границу, чтобы там напечатать свое письмо царю. В Париже друзья отговаривают ее от этого безумного поступка, говоря, что он мог бы «быть оправдан, если бы за ним стояла 200-тысячная армия». Но Цебрикова думает иначе. «Я всегда глубоко чувствовала стыд человека, присутствовавшего при всех безобразиях торжествующего зла и вынужденного рабски молчать», — напишет она Джорджу Кеннану, объясняя, зачем обратилась с письмом к царю.

В целях строгой конспирации отправляют печатать в Женеву письмо у издателя М. К. Элпидина — без подписи автора. Два месяца ожидает Цебрикова в Париже типографских оттисков. Наконец 50 экземпляров письма и 20 брошюры «Каторга и ссылка» готовы, и издатель присылает в Париж бандеролями буквы шрифта, чтобы автор собственноручно оттиснул на каждом экземпляре собственную подпись.

Собравшись в обратную дорогу в Петербург, Цебрикова спрятала на себе несколько десятков экземпляров брошюры и письма. Часть тиража она оставляет в Париже у друзей, в конвертах с бланками различных французских обществ — научных, промышленных и торговых: по знаку из Петербурга, что там рассылка окончена, все бандероли будут отправлены в разные города России.

Едва сойдя в Петербурге с поезда, Цебрикова отправляется в Знаменскую гостиницу напротив Московского вокзала, чтобы не подвести никого из друзей. В номере она освобождается от спрятанной на себе поклажи и выходит, чтобы начать развоз письма по адресам: в канцелярию царя, наследнику, в редакции газет и журналов. В семь часов вечера у Марии Константиновны уже не осталось ни одной брошюры, и последним она опустила в почтовый ящик письмо в Париж: образчики кружев приняты и можно отправить заказ по адресу. Это было

знаком высылать бандероли. Предварительно Цебрикова разослала экземпляры письма и брошюры о каторге Лиле Буль, революционеру Лаврову, датскому литератору Брандесу, Джорджу Кеннану — американскому журналисту и путешественнику, автору книги «Сибирь и ссылка», работу над которой он заканчивал.

Цебрикову арестовали в номере гостиницы. При аресте она сказала жандармскому полковнику: «Мой предок Княжнин потерпел за стих «Самодержавие всех бед содетель», а дядя мой Николай Цебриков сидел в Алексеевском равелине в крепости, и, когда поднималась вода в Неве, окна закрывала вода. А за что сидел? За то, что хотел свободы всему русскому народу».

Когда Александру III доложили, что некая Цебрикова написала ему письмо и она арестована, он будто бы расхохотался и сказал сначала: «Отпустить старую дуру!», а потом прибавил, что жить с ней в одном городе он не станет. В особенности царя раздражила брошюра «Каторга и ссылка», а в ней цитата из английского «Times», где было сказано, что своей жестокостью и бесчеловечным обращением с заключенными в сибирских тюрьмах царь порочит монархический принцип. Впрочем, прочитав письмо и брошюру, Александр III поставил свой приговор: «Ей-то что за дело?» Передавали и такие его слова: «Это видно, что отечество свое она все-таки любит».

Цебрикову без суда выслали на Север — в Яренск. Потом разрешили поселиться в Смоленской губернии у издательницы О. Н. Поповой. Въезд в обе столицы был закрыт для нее навсегда, как и надзор полиции учрежден до конца ее дней.

Письмо к Александру III, отпечатанное на гектографе, переизданное в революционных типографиях Швейцарии, широко распространялось в России. После революции 1905 года историк литературы С. А. Венгеров организовал издательство «Светоч», где печатал документы общественного протеста в России, получившие хождение в рукописи. В этой серии было напечатано письмо Белинского к Гоголю и письмо Цебриковой к Александру III.

Впоследствии Этель Лилиан Войнич назвала Цебрикову «одной из самых героических личностей», которые ей пришлось узнать в жизни.

Письмо Марии Константиновны Цебриковой к царю Александру III — один из самых замечательных документов русской публицистики. На фактах она доказы-

вает, что карательная политика правительства только вызывает к жизни новые проявления терроризма со стороны революционеров. Не побоялась упомянуть Цебрикова даже фамилию Н. Суханова, стоявшего во главе военной организации народолюбцев.

Трудно назвать документ, в котором чиновничий аппарат самодержавия был бы заклеен с такой же непримиримостью и резкостью, как у автора письма. Цебрикова пишет о «чиновничьей анархии», о том, что «русские императоры обречены видеть и слышать лишь то, что видеть и слышать их допустит чиновничество». Она сравнивает чиновников с опричниками и позорит царя тем, что он заботится лишь о процветании и «самодержавии дома Романовых», а не о благе России.

Цебрикова считает, что все беды современной жизни происходят от недостаточности, робости реформ, на которые по-настоящему не решился Александр II (за что и был убит) и которые похоронены Александром III. Публицистка грозит царю будущей революцией, которая неотвратимо настанет, если не будут решены коренные и больные вопросы русской жизни.

Письмо Цебриковой было высоко оценено Львом Толстым. Он писал 31 августа 1896 года к издательнице А. М. Калмыковой, печатавшей многие народные рассказы Цебриковой в издательстве «Посредник»: «Сдерживать правительство и противодействовать ему могут только люди, в которых есть нечто, чего они ни за что, ни при каких условиях не уступят. Для того чтобы иметь силу противодействовать, надо иметь точку опоры. И правительство очень хорошо это знает и заботится, главное, о том, чтобы вытравить из людей то, что не уступает,— человеческое достоинство». Правительство Александра III спокойно уничтожило все наследие реформ 1860-х годов, пишет Толстой. «И в проведении всех этих мер не встречало никакого противодействия, кроме протеста одной почтенной женщины, смело высказавшей правительству то, что она считала правдой».

Это была Мария Константиновна Цебрикова. Шел 1890 год, до революции 1905 года оставалось пятнадцать лет, до свержения монархии Романовых — двадцать семь.

Может быть, только в последние годы, когда мы так много узнали и поняли, мы по-настоящему сумеем оценить благородство, мужество и светлый ум русской публицистки.

Текст письма публикуется по книге: Библиотека «Светоча» под редакцией С. А. Венгерова. № 26. Серия «Материалы для истории русского общественного движения». Ц е б р и к о в а М. К. Письмо к Александру III с приложением написанных для настоящего издания воспоминаний автора. СПб., 1906.

### 〈ПИСЬМО К АЛЕКСАНДРУ III〉

Ваше Величество!

Законы моего отечества карают за свободное слово. Все, что есть честного в России, обречено видеть торжествующий произвол чиновничества, гонение на мысль, нравственное и физическое избиение молодых поколений, бесправие обижаемого и засекаемого народа — и молчать. Свобода — существенная потребность общества, и рано ли, поздно ли, но неизбежно придет час, когда мера терпения переполнится и переросшие опеку граждане заговорят громким и смелым словом совершеннолетия — и власти придется уступить. В жизни единичной личности тоже наступает минута, когда мучительный стыд быть, вынужденным молчанием своим, невольной участницей царящих неправды и зла, заставляет ее рискнуть всем, что дорого ей, ради того, чтобы сказать тому, в чьих руках сила и власть, чье слово может уничтожить так много зла и позора родной страны: смотри, что ты допускаешь, что ты творишь, и ведая и не ведая.

Русские императоры обречены видеть и слышать лишь то, что видеть и слышать их допустит чиновничество, стоящее стеной между ними и русским земством, т. е. миллионами, не числящимися на государственной службе. Страшная смерть Александра II бросила зловещую тень на Ваше вступление на престол. Вас уверили, что смерть эта была следствием идей свободы, разрастись которым дали реформы лучшей поры прошлого царствования, и вам внушили меры, которыми думают отодвинуть Россию к мрачной поре Николая I. Вас пугают призраком революции. Да, революция, уничтожающая монархию, есть призрак в настоящем. После катастрофы 1 марта у самих цареубийц не было ни малейшей надежды на созыв своего учредительного собрания. Враги царские казнены, все подчиняется безмолвно монаршей власти. В силу какого же рокового недора-

зумения правительство вместо того, чтобы идти по пути реформ, намеченному в лучшую пору правления Александра II, уничтожает реформы эти? В одних только законах, расширяющих права граждан, уничтожающих сословные перегородки, открывающих народу широкий путь к образованию и улучшению быта его, и заключается ручательство в здоровом росте России.

Не реформы прошлого царствования создали террористов наших, а недостаточность реформ. Вас отпугивают от прогрессивной политики. Вам подсказывают политику в духе Николая I, потому что первая грозит самодержавию министров и чиновничества, которым нужны безгласность и бесправие всей земли русской; потому что вторые застраховывают самодержавие это, но только до той поры, когда земля сознает себя совершеннолетней. Власть опьяняет: для исключительных личностей, как покойный гр. Толстой, она нужна как средство уродовать русскую жизнь на прокрустовом ложе теорий своих; для дюжинных людей власть — мелкое, унижающее наслаждение сознавать себя выше земщины и самовластно распоряжаться ею; для негодяев власть средство безнаказанно обдeldывать свои темные дела. Самодержавие, как огонь, дробящийся на языки все более и более мелкие по чиновничьей лестнице, спускающейся от царя до народа, дает помазание на самоуправство над стоящей под ступенями лестницы земщиной, на фактическую безнаказанность. Кары за превышение власти, за наглое грабительство, за неправду так редки, что не влияют на общий порядок. Каждый губернатор самодержец в губернии, исправник — в уезде, становой — в стане, урядник — в волости. Прямая выгода каждого начальника отрицать и прикрывать злоупотребления подчиненного. Узда на всех самодержавцев этих случайная. Губернатора содержит кто-нибудь из крупного дворянства, имеющего связи в министерстве, при дворе, или местный денежный туз, аферами дающий наживу, которою не брезгают и высокопоставленные особы; исправнику свяжут руки землевладельцы, дружащие с губернатором; уряднику — те из местной земщины, которые нужны исправнику или становому. У народа нет связей, двоящих громаы всех юпитеров этих, его редко выручает счастливая случайность: найдутся люди честные в чиновничестве, которые не побоятся, что защита народа будет истолкована в смысле социализма, или найдутся в местной земщине люди, способные всту-



питься за поправную правду и человечность. А если таких людей не найдется? Разве мало примеров, как высшие классы земщины в стачке с чиновничеством грабили юридически народ. Еще Александр I сказал, что честные люди в правительстве случайность и что у него такие министры, которых он не хотел бы иметь лакеями. И жизнь миллионов всегда будет в руках случайности там, где воля одного решает выбор.

Везде, где люди, есть зло; все дело в мере, в большем или меньшем просторе для разгула его. В чем у нас гарантия от произвола? Судебная власть иногда защищала обиравый и засекаемый народ, признавала преступниками тех, которые вызывали протест негодующего чувства правды и человечности, а не протестовавших. Реформы Ваши урезали в значительной доле судебную власть. Сопротивление незаконным требованиям властей, когда они в стачке с кулаками отбирают у народа скот и землю, есть бунт против царя — и народ мало-помалу приучается видеть в царе санкцию самоуправства. Теперь создается еще новая власть земских начальников, власть страшнее других, потому что она не только исполнительная власть, но и частью судебная. Новые начальники отчасти заменяют мировых судей, в которых народ имел все же хоть какую-нибудь гарантию. В руки этих новых самодержцев — фактически они будут самодержцами для народа — отдано решение дел маловажных.

Знаете ли Вы, Ваше Величество, что какое-нибудь маловажное дело, вроде ареста в рабочую пору за неплату нескольких рублей, может пустить по миру безбедно жившую крестьянскую семью? Мужик не работает вовремя за землю, снятую у кулака, за выгон, пользование лесом, кулак взыщет свое с жидовскими процентами, и мужику не выбиться из мертвой петли. То, что я говорю, не сказки «печати народников», как зовут наше слово лакеи Ваши, а сама истина. Ее подтвердит Вам каждый и не читавший ни строки печати этой, если только знает народную жизнь и не захочет солгать.

Упорно держался слух, и, насколько можно судить, из достоверного источника, что в проект покойного министра Толстого не входило упразднение сельских мировых судей, что мера эта была исключительно делом Вашим, когда Вам доложили, что для государственного бюджета слишком тяжел расход на содержание новой власти, — что мера эта смутила даже сторонников проекта Толстого, но возразить Вам они не посмели. Если

эти слухи верны, то как же можно, Ваше Величество, не зная близко народной жизни, брать на свою совесть такую меру? Или Вы верите, что помазание на царство несет с собой и всеведение божества?

Если бы Вы видели жизнь народа не по тем казовым концам, которые Вам выставляют на глаза во время поездок Ваших по России, познакомились с русским народом не в лице одних волостных старшин и сельских старост, когда они в праздничных кафтанах подносят Вам хлеб-соль на серебряных блюдах, купленных на собранные гривны с души, у которой нет подчас и копейки на соль и для которой чистый хлеб — пряник про свят день, — то Вы бы с такою легкостью сердца не решали бы меры, делающие еще более мучительным лежащий на народе гнет. Если бы Вы могли, как сказочный царь, невидимкой пройти по городам и деревням, чтобы узнать жизнь русского народа, Вы увидели бы его труд, его нищету, увидели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать рабочих, не подчиняющихся мошенническим штрафам и сбавке платы, когда и при прежней можно жить только впроголодь, выдерживая голодный тиф или умирая от него; Вы увидели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать крестьян, *бунтующих на коленях*, не сходя с облитой их потом и кровью земли, которую у них юридически грабят сильные мира. Тогда Вы поняли бы, что порядок, который держится миллионной армией, легионами чиновничества и сонмами шпионов, порядок, во имя которого душат каждое негодующее слово за народ и против произвола, — не порядок, а чиновничья анархия. Анархия своеобразная: чиновничий механизм действует по-видимому стройно, предписания, доклады и отчеты идут своим определенным ходом, а жизнь идет своим — и в обществе и народе не воспитано и не будет воспитано никакого понятия о законности и правде. Общество и народ видят над собой один произвол и посредственно и непосредственно действующих рычагов и колес механизма.

Гласность суда урезана теперь чуть не до нуля. Преступления по должности отныне будут судимы тайно. Отнята у не состоящих на службе подданных Ваших последняя гарантия, ограждавшая их от злоупотреблений власть имеющих. Представители от общества вроде городского головы и др. — не ручательство. Где же у них найдется время вникнуть в дело, при решении которого они призваны присутствовать; где ручательство,

что у них найдется гражданское мужество протеста в тех случаях, когда правдивое слово есть гражданский подвиг? Гарантия публичности и печати страшна, потому что на глазах мира не так легко кривить душой. Не раз бывало прежде, что при скандальных делах, в которых замешаны сильные мира, печать получала от цензуры предписание молчать. Теперь нет суда перед лицом русского мира, где каждый представитель земщины мог бы видеть, как охраняются интересы правосудия, когда права земщины попораны чиновничеством. Теперь безнаказанность произвола вполне обеспечена. Прямая выгода каждого чиновника доказать несправедливость жалоб на него и подчиненных его и заявить, что все обстоит благополучно в его ведомстве. Это мера, еще более укрепляющая за чиновничеством характер опричины.

Слухи ходят о личном характере Вашего Величества, что Вы не терпите ложь. Как же Вы не поймете, что тот из чиновников Ваших, кто против гласности в суде и в печати, тот находит свою выгоду во мраке и тайне. Каждый честный человек, кто бы он ни был, министр или простой смертный, который не скажет: «Вот вся моя жизнь, пусть меня судит мир, грязных пятен нет на совести», — тот не может быть честным человеком. Вас убедили доводами государственной необходимости; но правительство, прибегающее к безнравственным средствам, само роет себе пропасть. Вас отпугивают от гласного суда доводами, что гласность подрывает доверие общества к правительству своими разоблачениями, что и без того общество готово верить всему дурному на счет лиц, облеченных властью. Если это так, — то это доказывает одно: что горький опыт веков подорвал в обществе доверие к правительству и нравственное обаяние его — и всего этого не воскресить ничем, потому что произволу нет оправдания. Тайна свидетельствует о неверии в себя. Кто верит в себя, тот света не боится. Тайна нужна только тому, кто сознает, что держится не нравственной, но одной материальной силой.

На сколько поколений еще хватит у правительства материальной силы, чтобы давить земщину в угоду чиновничьей анархии, это покажет будущее. Правительство делает все, что во власти его, чтобы раздувать общее недовольство и облекать в плоть и кровь страшный призрак революции. Даже принимаемые им для популярности меры роковым образом приносят только зло, потому что основаны не на справедливости. Есть зло, над которым

бессильна власть, и желание Генриха IV, чтобы у каждого крестьянина варилась курица в супе, — мечта народолюбивого монарха. Борьба между сытыми и голодными не разрешается указами. Но во власти каждого правителя связывать или развязывать в известной степени руки, вырывающие кусок хлеба у голодного. Роль правительства быть регулятором в борьбе интересов, а не приносить одно сословие в жертву другому. Для нового земского начальства не требуется никакого умственного ценза; дворянское происхождение признано достаточным ручательством, и каждый недоучка, митрофанушка, гонявший голубей, может, если у него есть связи, держать в руках жизнь десятков тысяч крестьян. Власть, непосредственно действующая, самая страшная. Эта мера может только еще более раздуть затаенную вражду народа к барам. Чтобы спасти дворянский банк, в котором, как того и ожидали при основании его, дворянство сумело только брать ссуды, а не уплачивать, правительство выпустило новый заем с выигрышами; в будущем и его уплатят, только усиливая налоги. Это мера, развращающая сословие, приучая его жить на счет массы, развращающая общество усилением ажиотажа, отвлекающая от промышленности капиталы; а это поведет за собой уменьшение заработков, так нужных крестьянину, особенно в выпаханых полосах России. И без того полиция высылает на родину рабочих сотнями тысяч, не находящих работы в Петербурге. Крах дворянского банка только отсрочен. Крестьянин, обрабатывающий землю своим трудом, может платить от 5—7 процентов в свой банк, при условии постоянного урожая; землевладелец, обрабатывающий ее наемным трудом, не выдержит такого платежа и при нашей низкой заработной плате; урожай, понижающий цену на хлеб, невыгоден для него. Сытый крестьянин не пойдет ни обрабатывать, ни возить хлеб за бесценок. Дороговизна провоза хлеба, обусловленная и плохими путями сообщения, и порядками железнодорожных концессий и управления, разоряет производящего хлеб чужими руками. Новый заем не поднимает дворянства. Имения его будут дробиться, а оно нищать. Делаются попытки привить права первородства, держать землю в руках рода, создаются заповедные имения. Но и Петр I не мог сделать ничего в этом отношении, и единичные исключения не изменят общих условий. Если бы Вам удалось то, чего не мог сделать Петр I в ту пору, когда царь считался чуть не Богом, то

создастся олигархия. Высшее дворянство не захочет быть игрушкой гнетущего земщину произвола; честолюбие его не удовлетворится немногими шансами попасть в число главных заправителей его, и оно само потребует своей доли в произволе. И без всякого права первородства бояре были страшны царям, вельможи XVIII и XIX века императорам. Были примеры смерти Петра III и Павла I. Если бы было возможно привить право первородства в России, то создастся новый революционный элемент в обществе — младшие обездоленные дети. Это доказано историей Европы. Обездоленные потомки дворянских родов будут сливаться с демократическими сословиями, и этого не отворотить никакими дворянскими банками.

Бедное дворянство наравне с другими сословиями раздражено последними мерами министерства народного просвещения, повышающими плату за учение и открывающими доступ к образованию и, следовательно, к государственной службе только достаточным людям. И как много теряет Россия оттого, что всем способностям, таящимся в массе, нет доступа к образованию. Все меры министерства народного просвещения имеют целью загасить просвещение. Студенты прикрепляются по округам и лишены права выбирать те университеты, где читают наиболее талантливые профессора. Открытие университета в Сибири пугает. Это меры близорукой полиции, а не просвещенного правительства. Еще спартанцы выкалывали глаза рабам ради того, чтобы те, не развлекаясь, вертели жернова. Но в XIX веке, на пороге XX, сомнительно, чтобы такие меры могли долго упрочивать порядок. Известный циркуляр министра Делянова, закрывающий гимназии для бедняков и открывающий такой широкий простор произволу и взяточничеству директоров гимназий, дал лишний козырь в руки террористов.

Какие уроки вынесет ребенок из школы, где гонят бедного брата? Он с первого шага из дома видит противоречие правительства с учением Христа. Он в школе получает уроки предательства. В гимназиях есть шпионы. Такого растления школы не было и при Николае I, несмотря на известную записку Липранди. Преданиями корпусов передается факт, как Николай I назвал молодцом кадета, геройски вынесшего варварскую порку за то, что не выдал товарища. Дух многих гимназий таков, что матери, не имеющие понятия ни о каких неблагона-

меренных теориях, с ужасом думают о том, как отдать в правительственную гимназию сына, честного и пылкого мальчика, не способного молча видеть, как гонят бедняка товарища, ни покорно выслушать приказ фискаль и согладательствовать.

Ум детей калечится системою классицизма, которая не дает просветительного, очеловечивающего начала, как система Уварова при Николае I, не любившем классицизма. Нынешняя система дает одну мертвящую долбню слов, и это в таких приемах, что для наиболее нужных предметов не хватает времени. Выдерживают экзамен или необычайно талантливые и здоровые, или богатые, которые могли пользоваться приватными уроками — доходной статьей гимназических учителей. Для бедных — классицизм система изгнания из училища. Семье, приносившей тяжелые жертвы, чтобы воспитать сына, свою опору, возвращали недоучку, изломанного душой и телом. Бывали примеры и страшнее. Юноша, чтобы не быть бременем семье, кончал самоубийством. Кровавые жертвы не открывали глаз правительству, оно приказывало молчать о них. В «Журнале министерства народного просвещения» уже несколько лет не печатаются более цифры процента оканчивающих курс учеников классических гимназий сравнительно с процентом поступивших. Цифра так красноречива, и ее надо пополнить другой — цифрой искалеченной духом и телом и озлобленной гимназическим порядком молодежи, уходящей в ряды революционеров.

Пройдет благополучно гимназию юноша — и в университете его ломает та же система. Его, взрослого, подчиняют мальчишеской дисциплине, и полиция бьет его, когда он не хочет подчиняться. Инспектор Болдырев, который вызвал в Московском университете историю, испортившую жизнь сотням учащейся молодежи, был болен хроническим менингитом, как то доказало вскрытие мозга. Люди, знавшие его прежде за человека мягкого и порядочного, изумлялись его превращению в раздражительного и дерзкого деспота. Хороша же система, при которой выходки сумасшедшего считаются нормальным проявлением авторитета, законным охранением порядка! Юноша видит в храме науки учителей, которые, как Владиславлев, стали притчей во языцех нелепою книгою, доказывающею права человека на уважение цифрою его капитала, и внушающих почтение к императору цифрою его доходов. Юноша видит

гонение на профессоров, признающих науку святыней, которую преступно урезывать по приказу государственной полиции, и считающих позором исправлять при учащейся молодежи должность полицейского сыщика. В последнее время покойный Орест Миллер, искренно религиозный человек и верноподданный, был лишен кафедры за свою неспособность к роли сыщика. Иллюзии жизни, которых гимназия не успела еще вытравить в юноше, вытравляются университетом. Один отец, защищавший сына, политического преступника, на упрек прокурора, что семья растит врагов правительству, отвечал приблизительно так: «Мы отдаем в школы правительства мальчика доброго, любящего; школа возвращает его нам поломанного, озлобленного». Юношество, имеющее средства, уходит учиться в заграничные университеты, и, конечно, сравнение их порядков с нашими не внушит ему любви к последним.

Ученый мир Западной Европы заметил, что за последнее двадцатилетие сильно понизился в наших представителях науки не только уровень талантливости, но и добросовестного отношения к науке и человеческого достоинства. Бывают полосы урожайные, но повального неурожая во всех отраслях знания быть не может. Замеченный безотрадный факт есть прямое последствие систематического выпалывания талантливого юношества руками государственной полиции. Чем крупнее сила, тем менее она мирится с гнетом. Чем сильнее в юноше любовь к знанию, тем менее может он чтить науку, преподаваемую в полицейских целях. Американец Кеннан, предубежденный против наших революционеров, был, при близком знакомстве с ними, изумлен талантливостью и познаниями многих и мог только жалеть о стране, где гибнут такие силы.

Уцелевшая учащаяся молодежь, сохранившая желание добра, идет на государственную службу, неся гнетущее сознание, что и крупица добра, внести которую она жаждет, должна пропасть в чиновничьей анархии, что порядок, служить которому она призвана, в сущности такая анархия. Молодежь вступает в практическую жизнь без необходимой подготовки. Уменьше написать свою биографию по-латыни было признано ручательством способности быть, напр<имер>, педагогом-воспитателем, судьей, заправителем жизни народа. Молодежь, уцелевшая, потому что не знала другого бога, кроме карьеры, будет плодить чиновничью анархию, насаж-

дать сегодня, завтра вырывать насаждаемое по приказу начальства, вносить еще более яда разложения в язвы, разъедающие родную страну. И эта молодежь, изоглавшаяся и продажная, тоже на свой пай служит революционной пропагандой.

Неуклонно принимаемые меры для сокращения числа учащейся молодежи обусловлены тем, что у нас будто слишком много интеллигентных работников, не находящих мест, и оттого плодятся интеллигентный пролетариат, элемент революционный. Ваше Величество, загляните в сравнительную статистику, которую так не любят охранители чиновничьей анархии, и Вы увидите, сколько на 1000 жителей приходится в Европе врачей, учителей, акушерок, техников всякого рода, сколько школ и больниц всякого рода там и сколько в России. А при редком, рассеянном на громадных пространствах населении нашем, при плохом состоянии путей сообщения нам нужен против Европы двойной и тройной процент на тысячу. Интеллигентный рабочий не находит места не потому, что рабочих много, а потому, что слишком мало учреждений, нужных России, и их надо создать. Молодежь, конечно, понимает настоящую причину ограничения числа учащихся, и это может только усиливать непопулярность правительства.

Правительство одержимо боязнью допустить интеллигенцию к народу. Молодежь, которой кровь страшна и которая хочет уплатить свой долг народу самыми законными путями: или уча его грамотности, азбуке культурности и гражданственности, начаткам знаний, так нужных ему для улучшения его быта, или выступая законными защитниками его против притеснений,— эта молодежь считается опасной. Бывало много примеров, что, побившись несколько лет и видя бесплодность своих усилий перед стачкой местного чиновничества с кулаками, дворянами и не дворянами, попами-ростовщиками и шпионами — дружную стачкою всех, кому выгодны невежество и беззащитность народа,— молодежь в отчаянии уходила в революционеры.

Для народа признаны пригодными учителя-недоучки. Учительские семинарии не готовят учителей, нужных народу; а людям, чуждым всяких революционных целей, если только они окончили курс в университете, запрещено быть народными учителями. Школа, которую заправляют невежды и недоучки, признана единственной пригодной для народа; народу земледельческому не



дают понятия о природе; выпаживаемая первобытными способами земля истощается. Народу нужны заработки на стороне, чтобы выправить подати, а у него нет ремесленных школ. Народу русскому не дают понятия о России, и он, когда не у чего станет жить на родине, идет зря за тысячи верст разыскивать теплые воды. Народу не дают основательного понятия о законах страны, которую он кормит своим хлебом, а пункт нашего свода гласит, что незнанием законов никто отговариваться не может. Едва ли одна десятая детей народа учится в школах; и еще немало школ закрываются попечителями вроде графа Капниста, предъявляющими сельским обществам приказы «поставить школы сообразно требованиям науки». Несмотря на смиренную просьбу сельских обществ сохранить им существующую школу, так как они, при всем желании, по бедности не могут исполнить волю начальства, училища были закрыты. Это значит сказать обуютому в лапти крестьянину: снимай их и носи сапоги,— и он будет ходить босым.

Школы и учительские семинарии, устраиваемые земствами, преследуются, несмотря на то что земства не смеют иметь иных программ, кроме утвержденных правительством, и во всякое время открыты инспекторам от правительства. Как ни малы крупницы знания, даваемые земскою школою, все-таки они крупнее и питательнее тех, какие дает церковноприходская школа, учащая преимущественно Псалтырю,— Евангелие не всегда одобряется школою. Дьяконы, которых в качестве преподавателей разослали по приходам, радеют более о своем участке в приходской земле, чем о школе. Школы эти не достигнут цели своей — поддержать православие, не застрахуют крестьян от раскола, который народ вывел из той же Библии и Псалтыря. Школы эти не поднимают авторитет духовенства, потому что оно ставит свой тариф на спасение души, потому что сельский священник, исправно вносящий свою подать консистории, может безнаказанно грабить народ и в стачке с полицией избавиться доносами от каждого ходока за народ, ходящего самыми законными путями. Учительница, акушерка, учитель или врач, которые посоветуют во время дифтеритной или сыпных эпидемий не носить больных детей к причастию в трескучие морозы, давать в пост больным крошкам молоко, лечить кликуш и тем отбивать доход за заклинательные молитвы, объяснять законы природы и рассеивать мрак суеверия, несущий

гроши в приходскую казну, лишаются места, хотя бы ни словом не колебали основы религии. Приходские школы отдадут бесповоротно элементарное образование народа в руки безграмотных отставных солдат, выгнанных за пьянство семинаристов. Духовенство, нанимая учителей, дает ничтожную плату, 3 руб. в месяц. Школа ускользает от влияния инспекторов, духовенство ответственно только перед своим начальством, а оно — люди, отрехшиеся от мира.

Народ наш беден. Крупный процент его живет впроголодь, и в урожайную пору крупный процент народа ест хлеб с мякиной, приберегая хлеб посытнее для рабочей поры. Избы его — вонючие сырые лачуги. Топить нечем. Под печкою приют для новорожденных телят, ягнят, домашней птицы. Более половины детей умирает в раннем возрасте от плохой пищи матери, изнуренной работой, от родимчика — следствие или слабости организма, или отравления вредным воздухом. Каждая эпидемия косит массу жертв. Иные деревни поражают малочисленностью детей — зимой прошла косой своей оспа, корь. Брошенные без призора дети, пока мать на работе, — жертва несчастных случайностей. Сифилис подъедает в корне здоровье будущих поколений. У народа почти нет больниц; число существующих ничтожно на миллионы. У безземельных батраков, число которых растет вследствие обнищания крестьян, у городских рабочих нет убежища под старость. Изжив все силы на работе, приходится умирать где придется — под забором, в придорожной канаве. Переселение народа с выпаханной земли на плодородную устроено безобразно, если устройством можно назвать средство наживы чиновничества. После мучительного пути в тысячи верст, потратив последние крохи, переселенец нередко находит свою землю занятою кулаками всякого рода, которые воспользовались его незнанием законов и надули посланных вперед разведчиков. Переселение стеснено; с уходом переселенцев дорожают рабочие руки. Еще в прошлое царствование штыками гнали обратно латышей, ушедших от непосильной арендной платы баронам. Все лучшие земли в крае, завоеванном кровью народа, всегда раздаются приближенным царя, и он сам берет себе львиную долю. Много ли оставлено удобной земли народу для колонизации в новых азиатских владениях? Одни пески. Наш громоотвод от пролетариата — государственные земли расхищаются.

На школы и больницы, на устройство приютов для детей, брошенных без призора, пока мать на работе, богаделен для престарелых бесприютных работников — нет средств. А находятся средства на массу непроизводительных расходов: напр⟨имер⟩, нашлись миллионы на покупку Мариинского дворца для Государственного совета, имевшего приличное помещение; тратятся миллионы на министерство двора, управление имениями царствующей династии. И на это тратит народные деньги только одно русское правительство: в западных монархиях должность министра двора исполняет церемониймейстер, а управление имениями царствующей династии оплачивается доходами с имений, не считается государственной службой и не ложится на государственную казну, то есть народ, который несет на себе главную тяжесть государственного тягла.

Лакеи Вашего Величества скажут Вам, что высказанное здесь — идеи нечестивого Запада, но это идеи справедливости. Дающий более получает менее. Сибирь была завоевана и колонизована народом, а главная доля золота, добываемого в ней, идет не на нужды народа и даже не в государственную казну: по количеству добываемого золота казенные прииски занимают третье место, первое принадлежит императорскому кабинету. Одним почерком пера прадед Ваш обратил собственность государственную в собственность кабинета. Цензура запретила газетам печатать сведения о количестве добываемого золота. Чему служит запрещение это? Справедливости ли и истине? Что подрывает запрещение это — кредит ли печати или кредит правительства?

Цензура наша ведет к тому, что молодежь жадно кидается не только на то, что есть верного в подпольной и заграничной печати нашей, но и на нелепости. Если гонят слово — значит, боятся правды. Ваше Величество с семейством своим едва не поплатились дорого за гонение на слово. Печать, обличавшая систему концессий, наживаться которою не брезгают и высокопоставленные лица, подвергалась преследованию. Покойный граф Толстой, по просьбе бывшего министра путей сообщения Посьета, приказал уничтожить обличительную брошюру, в которой заключались верные сведения. Цензура наша доходила до таких нелепостей, что, получив от III Отделения предписание обращать внимание на такого-то автора, вырезывала из его книги детских рассказов вещи, уже напечатанные в подцензурных изданиях. Случа-

лось, что московская цензура пропускала то, что запрещала петербургская, и наоборот. Писатель — игрушка цензорского произвола и никогда не может знать, как взглянет на его труд и в какую минуту тот или другой цензор. Замечено только, что преследования сильнее перед Рождеством и Пасхою — пора наград есть пора большого усердия. Наконец, цензура дошла до геркулесовских столбов — император Александр II оказался нецензурным в своей империи. Прессе было запрещено перепечатывать его речь болгарам о конституции.

Правительство признает силу печатного слова, потому что субсидирует свою прессу и пропагандирует ее через исправников и станowych; если слухи верны, то за границей оно создает органы агентов-подстрекателей. Оно открывает объятия перебежчикам из оппозиционной и революционной прессы, — и ошибается в расчете на силу их поддержки: слово предателя не может иметь силы слова искреннего убеждения. Цитович, предпринимая издание официозного органа, находил сотрудников только среди бездарностей. Когда цвет мысли и творчества не на стороне правительства, то это доказательство того, что создавшая его идея вымерла и оно держится лишь одной материальной силой. Только живая идея может вдохновлять таланты. Не печать создает общее недовольство, печать только отголосок общественного настроения. Призыв к революции бессилён там, где народ не задавлен и не обобран, где закон не маска, которую прикрываются сильные, чтобы давить слабых. Печать гонят, когда она указывает на зло тех мер, какими сильные мира, не зная жизни общества и народа, ломают ее во имя теорий, измышленных в канцеляриях и кабинетах своих. После сравнительно льготной поры первое гонение на печать было поднято по влиянию графа Толстого, бывшего тогда министром просвещения, и это за критику вводимой им системы классицизма. Сам гр. Толстой, как утверждают слухи, и из достоверных источников, незадолго перед смертью сознался, что был введен в заблуждение Катковым и что система эта принесла с собой притупление ума учащихся. Один человек, не занимавшийся никогда практически обучением и воспитанием, мог вершить судьбы образования десятков тысяч юношества. Возвратит ли позднее сознание страшной ошибки даром загубленные годы и забытые силы юношества? Воскресит ли тех, которые покончили само-

убийством, высушит ли слезы матерей и обратит ли проклятия их в благословения?

Опыт прежних царствований и Ваш собственный должен бы был показать Вашему Величеству, что внутренняя политика преследований не достигает цели. Раскол преследуют со времен Петра I и ранее, а он растет. Множатся рационалистические секты, потому что мысль народа, в лучших представителях его, переросла мертвую обрядность, в которой держит его духовенство. Народ ищет духа Евангелия и отворачивается от буквы. Сельское духовенство оказывается бессильным в борьбе не только с сектами в виде штундистов или молокан, но даже с диким изуверством скопцов и защиту православия возлагает на полицию и застенки тюремные и монастырские. Придет пора, когда гонения за право мыслить и веровать по совести будет казаться страшным сном: гонение ведет к тому, что пора эта придет в зареве пожаров и дымящейся крови.

Гонение — лучшее средство вытравлять в народе любовь к царю, то есть к идеалу царя. Она ослабела, это замечено всеми помнящими пору Николая I. Народ еще толпами бежит встречать царя, но случается гораздо чаще, чем прежде, что полиция подсказывает ему: ура. Тогда «ура» сильнее и восторженнее рвалось из груди толпы. Масса народа верит еще, что зло не от царя, а от чиновничества. Его царь наконец увидит, что терпит народ, вступится за обиды народные и даст ему землю. Царь обманут, если бы он знал! — говорит народ. Но сегодня и завтра обманут, и здесь и там обманут, столетиями все обманут! Эта роль вечно обманутого подрывает обаяние царя. Не на то он был помазан, чтобы быть вечно обманутым, каким же отцом народу будет он? — вот вывод, к которому самодержавие ведет народ. И губернаторы, призывающие войско пристреливать народ, когда он на фабриках не принимает сбавки платы, которая его жизнь часом впроголодь обратит в непрерывную голодовку, или когда он, *бунтуя на коленях*, не сходит с земли, неправдою отнятой у него, — эти царские слуги приводят его к такому выводу.

В интеллигентном обществе, в чиновничестве вымер культ царя, доживавший последние дни в начале Крымской войны. Нельзя судить по придворным, чья преданность так много зависит от подачек на счет народа, ни по постройкам храмов, учреждению училищ, стипендий и пр. в память избавления от катастрофы 17 октяб-

ря. В основе многих жертв лежит паника: неприятие участия в подписке есть оглашение себя неблагонамеренным; лежит расчет для иных обойти препятствия, какие мраколюбивое чиновничество ставит каждому полезному предприятию; для других — расчистить себе путь к монополии, отличиться, получить кавалерию, так или иначе обделав свои дела. Если верить слухам, то министр просвещения, отставки которого ждало раздраженное его мерами общество, остался на месте, потому что несколько учащих юношей целовали руки Ваши по возвращении Вашем в столицу после 17 октября. Следовательно, по мнению общества, эти знаки азиатского раболепия были сочтены за такую важную заслугу, что вполне изгладили зло, нанесенное обществу знаменитым циркуляром.

Честные чиновники и офицеры, сыновья и внуки тех честных царевых слуг, но не рабов, так искренно оплакивавших смерть Николая I, теперь служат не царю, а России. Отцы и деды служили царю, видя в нем воплощение России. Сыновья и внуки служат, подчиняясь со стыдом и скорбью, видя, как порядки самодержавия уничтожают девять десятых пользы, которую они хотят принести. Они ищут чистых должностей и не идут ни в жандармы, ни в государственную полицию. Крупный процент чиновничества сам не верит в прочность существующего порядка, потому что воочию видит, как далека от жизни чиновничья регламентация ее. После катастрофы 1 марта 1881 г. объятые паникой провинциальное чиновничество воображало, будто в Петербурге политический переворот и террористами созывается учредительное собрание, о котором не мечтали и Желябовы. Наконец, чиновничество терпит от того же произвола и само и в детях своих. Офицеры тоже ропшут; дисциплина фактически сводится к тому, что старший всегда прав. В последние годы снова множится редевший тип офицеров-дантистов, воскресает прежнее палачество. Теперь снова, как в пору Николая I, водятся офицеры, с сознанием своей правоты рассказывающие о том, как они «дали в зубы солдатам». На солдат дисциплина обрушивается с удвоенной и утроенной тиранией. Суханов пытался бороться законными путями, вступаясь за обкрадываемых и побиваемых нижних чинов, — и кончил смертью террориста. Чем были порядки флота при Николае I, я знаю хорошо: отец мой, верный слуга царев, но не раб, не мог равнодушно говорить о

них; и, судя по слухам, они недалеко ушли вперед от прошлого. Масса чиновничества и офицерства — карьеристы, по приказу насаждающие сегодня то, что завтра будут выпалывать, и наоборот, и всегда доказывающие, что и насаждение и выпалывание на благо России, потому что на то есть высочайшая воля. Они сами отлично ведают, что творят; но их девиз: хватит на наш век и детей наших, а там хоть трава не расти!

Верховная власть не может руководиться таким девизом: на ней лежит ответственность не только за настоящее, но и за будущее страны, на котором неизбежно отзываются все меры ее. Намеренное зло не может входить в цели ее; но самодержавный монарх оказывается неизбежно ответственным за каждую кроху зла, творимую именем его. Он назначает чиновничество, управляющее Россией, он преследует все обличения зла, он оказывается солидарным с каждым губернатором, пошемякински правящим краем, с каждым монополистом, жиреющим за счет народа, с каждым офицером-держимордой, с каждым шпионом, по доносу которого сошлют в Сибирь человека политически невинного или виновного.

Во всех мерах правительства сказывается цель найти себе опору — это признание в слабости. Оно ищет опору в православии; но религия, поддерживаемая полицейскими мерами, застенками, — не опора. Охранители сами подрывают ее. Вот на выдержку один факт. Истеричная, немолодая девушка из московского титулованного семейства отправилась для исцеления к тихвинскому источнику, была как бесноватая схвачена монахами, насильно выкупана в источнике, заключена в грязную келью и от заклинаний, изгонявших бесов, сошла с ума. Родные нашли ее в ужасающем, отвратительном состоянии, и она вскоре умерла. Обер-прокурор синода не дал хода жалобам родных и замаял дело, «чтобы не подрывать религию», что, конечно, ведет только к большему подрыву ее. В среде духовенства чиновничествующего и побирающегося есть и люди честные, искренно проникнутые учением Христа; но эти люди считаются подозрительными, вольнодумцами: нужна не мораль Христа, а обрядность как политическая мера. И несмотря на все меры, присяга все более и более утрачивает для простых сердец религиозное обаяние, и вера в помазанника вымирает. Белое духовенство озлобляется порядками консисторий и семинарий; из семинарий

выходят самые крайние отрицатели. Все, что есть честного в духовенстве, видит всю ложь государственной системы, враждебной духу христианства. Людей, исповедующих Христову мораль, людей любви и мира, которые, как Соловьев, напомнили гласно о христианской заповеди: не убий, когда полиция и рабы кричали: «убий!», преследуют именем монарха, носящего титул «благочестивейшего».

Земство, помощь которого призывало прошлое царствование, теперь лишается и прежних крайне скудных прав. Благодаря земству основано столько школ и больниц, сколько в тройной период времени не основало бы чиновничество. Тесный район самоуправления, отмежеванный земству, урезывается оттого, что стесняет произвол мелких и крупных сатрапов. Бывали примеры, что председатели получали секретное предписание от губернатора не выставлять имен таких-то кандидатов; губернатор исполнял приказ министра. Выборное право для ведения хозяйственных дел земства, законом дарованное земству, попиралось по воле министра. Пример неуважения к законности был подан им. На призыв правительства о помощи в борьбе с террористами земства некоторых губерний высказали свои желания; в них не было ничего республиканского, были скромные желания конституции; земство хотело гарантий от чиновничьего произвола; хотело, чтобы законы, управляющие жизнью миллионов, не создавались по воле одного человека, выработанные чиновничьими комиссиями, из которых редкий член имеет какое-нибудь понятие о жизни русской и еще более редкий найдет в себе мужество возразить против меры, проводимой министром, а еще менее — против одобренной свыше. Земство хотело свободы слова, уничтожения административной ссылки, хотело гласности суда, неприкосновенности личности, права съезжаться для совещания об общих нуждах земств. Если в настоящую минуту земство безмолвно подчиняется новым мерам, еще более урезающим права его, то это не ручательство в рабском подчинении будущих поколений, вскормленных затаенным недовольством отцов. Не умер Бог в душе людей! Сознание человеческого достоинства, правды будет расти, и явятся не рабы подневольные, безмолвные, потому что они бессильны, — но граждане. Сила отпора копится медленно в ряду поколений и наконец скажется. История других стран дает уроки.



Люди слова, люди науки озлоблены, потому что терпится только слово лжи, рабски славословящее, распинающееся доказать, будто все идет к лучшему, которому само не верит; потому что нужна не наука, а рабская маска ее, а передержка научных фактов для оправдания чиновничьей анархии. Молодежь озлобляется, озлобляются даже дети.

Вся система гонит их в стан недовольных, в пропаганду революции, даже тех, кому противны кровь и насилие. За неосторожное слово, за первый подпольный и часто взятый из одного любопытства листок юноша, ребенок — государственный преступник. Бывали 15 и даже 14-летние государственные преступники, сидевшие в одиночном заключении. Правительству 100 000 000 страшны даже дети. У нас ссылают на 12 и более лет в Восточную Сибирь и даже на каторгу за то, за что в Австрии политические преступники отделяются двухнедельным арестом при полиции. В Австрии не было 1 марта. Изломанная, озлобленная молодежь уходит в красные. Мне кровь противна, с какой бы стороны ни лили ее, но когда за одну кровь дают ордена, а за другую веревку на шею, то понятно, какая кровь имеет для молодежи обаяние геройства.

Рядом с карами по приговору суда у нас существуют еще полицейски-административные: последними правительство отделяется от врагов своих, когда нет достаточных оснований улик для первых. Но что же это, как не незаконный произвол? Человека губят не на основании выясненных доказательств его действий, но на основании «внутреннего убеждения» чинов государственной полиции; а убеждение это складывается на перехваченном и произвольно истолкованном письме, потому что законной уликой для суда оно не могло служить:— по доносам шпионов, «мутном источнике» по признанию самых высших чинов. Приказы административной ссылки формулированы так: хотя нет достаточных улик для осуждения по суду N. N., но он или она ссылается туда-то. Эти шемакинские приговоры перейдут к потомству: говорят, будто под ними стоит подпись Вашего Величества. Сколько гибнет жертв! Охранителям Вашим выгодно раздувать каждое дело: это доказательство усердия, приносящего чины, оклады и крупные суммы на секретные расходы, в которых отчетность невозможна. На суммы, поглощенные такою системой охраны, можно было бы в ином случае основательно улуч-

шить быт народа и отнять у революционеров хоть один повод упрекать правительство.

Политические преступники беззащитные жертвы произвола, доходящего до зверства. Сам граф Толстой ужаснулся бы, видя всю меру превышения власти, грабежа и насилия, обрушивающуюся безнаказанно на несчастных, когда из столицы отдан приказ о строгих мерах. В силу забеганья каждого низшего чиновника перед начальником, желания отличиться, паники быть заподозренным в сочувствии к политическим, если даст волю состраданию, каждый тюремный смотритель, этапный офицер, каждый сторож может безнаказанно грабить, зверски бить и истязать арестантов, даже женщин. Чем ниже падает камень, тем более растет сила удара, и каждая репрессивная мера, спускаясь все ниже и ниже по лестнице чиновничества, увеличивает в прогрессии свою губящую силу и падает на беззащитные жертвы. Жалобы оказываются бесплодными, и жертвы протестуют добровольной голодовкой или актом насилия, вызванным часто припадком сумасшествия. Все меры устрашения и исправления, начиная административной ссылкой и кончая виселицей и расстреливанием, не достигают цели. Является, конечно, известный процент сломленных и оподленных ссылкой, но люди эти внесут только разложение в общество и опорой власти быть не могут. Число политических преступников будет расти с временными колебаниями, расти потому, что воображение молодежи свыкается с ссылкой, с казнями, расти потому, что в корне государственного порядка и общественного строя лежат причины, рождающие политические преступления. Правительство, охраняющее себя безнравственными средствами — административной ссылкой, сонмами шпионов, розгами, виселицей и кровью, — само учит революционеров наших принципам: «Цель оправдывает средства». Там, где гибнут тысячами жертвы произвола, где народ безнаказанно грабится и засекается, там жгучее чувство жалости будет всегда поднимать мстителей.

Наконец, во имя чего в действительности принимаются все меры стеснения и пресечения? Во имя чего задавлено слово, уничтожена гласность суда, задавлена кроха самоуправления и плодятся новые власти — во имя ли мирного развития России, улучшения быта народа, просвещения общества или самодержавия дома Романовых, то есть, в сущности, для усиления власти

чиновничества, этой современной опричины? Хотя века изменили форму, принцип тот же: с одной стороны опричина, с другой безгласая, всевыносящая земщина. Злоупотребления опричины сознавали сами цари: Александр I, Николай I, Александр II бесплодно пытались искоренить их. Впрочем, всегда казнокрады подходили под манифесты, приносившие политическим преступникам очень жалкое облегчение участи. Вы сами, Ваше Величество, окажетесь бессильным в борьбе с злоупотреблениями, если и осуществится учреждение суда, имеющего судить и министров: бессилие неизбежно, потому что в основе всех царских мер лежит все то же бесправие, все та же безгласность общества.

Внутренняя политика Николая I стоила дорого России. Реформы Вашего Величества отодвигают Россию назад к этой мрачной поре. Горькие уроки Крымской войны заставили Александра II в конце 50 и начале 60 гг. изменить политику. Неужели нужны еще такие же горькие уроки, чтобы вывести наружу всю гнилость государственного порядка? Спасение только в возвращении к реформам отца Вашего и дальнейшем развитии их. Свобода слова, неприкосновенность личности, свобода собраний, полная гласность суда, образование, широко открытое для всех способностей, отмена административного произвола, созвание земского собора, в который все сословия призвали бы своих выборных, — вот в чем спасение.

Мера терпения переполняется. Будущее страшно. Если до революции, ниспровергающей монархию, далеко, то очень возможны местные пугачевщины, и вновь назначенное Вами земское начальство, которое еще лишним бременем неудобноносимым ляжет на плечи сельского мира, сделает, чтобы вызвать их более, чем могли бы то сделать революционеры наши. Народ будет привыкать к крови. Честные граждане с ужасом предвидят бедствия, которые, в более или менее отдаленном будущем, несет порядок опричины всевластной над земщиной — и молчат, но дети и внуки их молчать не будут.

Вы самодержный царь, ограниченный законами, которые сами издаете и отменяете, ограниченный еще более не исполняющим законы эти чиновничеством, которое вы сами назначаете. Одно слово Ваше — и в России переворот, который оставит светлый след в истории. Если Вы захотите оставить мрачный, Вы не услышите прокля-

тий потомства, их услышат дети Ваши, и какое страшное наследство передадите Вы им!

Вы, Ваше Величество, один из могущественнейших монархов мира; я рабочая единица в сотне миллионов, участь которых вы держите в своих руках, и тем не менее я в совести своей глубоко сознаю свое нравственное право и свой долг русской сказать то, что сказала.

*М. Цебрикова*

---

---

## Б. А. Гаврилов

### «КАК ЕВРОПЕЦ, КАК ХУДОЖНИК, КАК ПОЭТ...»

Максимилиана Волошина трудно вообразить ратоборцем, даже принимая во внимание тот широко известный факт его биографии, когда он с дуэльным пистолетом встал «под снайперскую пулю Гумилева» (Г. Шенгели).

Марина Цветаева вспоминала:

«Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом — Е〈лену〉 О〈ттобальдовну〉.— Погляди, Макс, на Сережу<sup>1</sup>, вот — настоящий мужчина! Муж. Война — дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь? — Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

— Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая — делать.

— Такие времена, мама, всегда у зверей — это называется животные инстинкты».

---

Война застигла М. А. Волошина на пути в Швейцарию, куда он отправился по зову М. В. Сабашниковой, чтобы в местечке Дорнах (неподалеку от Базеля) принять участие в строительстве «Гетеанума» — «театра для оккультных мистерий, аудитории для эзотерической проповеди, лаборатории духовной жизни и творчества бу-

---

<sup>1</sup> Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941), муж М. И. Цветаевой.



Максимилиан Волошин

дущей Европы», — как отрекомендовал его сам М. Волошин<sup>1</sup>.

Начало войны ассоциируется у М. Волошина с путевыми воспоминаниями привычно странствовавшего по дорогам Европы поэта, почитателя европейского искусства и старины.

«Случилось так, что я переезжал из России в Галац через румынскую границу в тот день, когда Сербии был предъявлен ультиматум. В то время, когда решались судьбы европейского мира, я странствовал по маленьким городкам Венгрии, не читая газет, а этих четырех дней было достаточно, чтобы кинуть Европу в новый цикл истории и покончить с последними остатками XIX века.

Для меня европейская война не была неожиданностью: я сознавал ясно, какими катастрофами чрева-

---

<sup>1</sup> «Гетеанум» («Jehannesbau») — «храм-театр». Храм Святого Иоанна, возводившийся по проекту Рудольфа Штейнера (1861—1925), основоположника антропософии. Строился антропософами разных стран; одним из его предназначений было единение различных вероисповеданий.

та европейская культура, за три года до того я пережил в Париже последствия «Агадирского хода», когда в течение нескольких дней европейская война казалась неизбежной. Наконец, в психической атмосфере тяжелого лета 1914 г. чувствовалось нарастание катастрофы — и не в фактах, не в событиях, а в той сосредоточенной духоте, которая бывает только перед грозой. Помню, как, уезжая из России, я говорил с друзьями в ожидании отхода парохода и мы перебирали с болью и удивлением ряд событий, которыми было ознаменовано это лето в нашей личной жизни и в жизни наших близких.

Почти у каждого она была потрясена и смята неожиданными психическими вихрями. Семейные драмы, пожары, смерти детей, распады многими годами спянных союзов, шквалы неожиданной любви — все это прошло в течение нескольких летних недель через жизнь нашего круга, до тех пор чуждого этим переживаниям.

«Мне кажется, что такие шквалы, проходящие через жизнь многих частных людей, без связи их друг с другом, служат всегда предвестниками больших всенародных катастроф, — говорил я, садясь на пароход, — мы должны теперь ждать либо войны, либо революции»<sup>1</sup>.

Пророчества поэта не замедлили сбыться, но «осуществление этих слов меньше чем через неделю» поразило даже самого изрекшего их М. Волошина, едва успевшего благополучно миновать границы европейских государств.

«Судьба увела меня из России в самый последний момент перед началом войны, — продолжает вспоминать Волошин, — привела меня в Будапешт в часы ее начала, и потом, точно подводное течение, проносящее пловца, отдавшегося ему, невредимым среди самых

---

<sup>1</sup> Побывавший в то лето у М. А. Волошина в Коктебеле и уехавший незадолго до объявления мобилизации А. Н. Толстой, который, кстати, тоже расстался тогда с женой, в романе «Сестры» так передал атмосферу лета накануне войны:

«Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неопикуемой чепухи, которая говорила на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов...»

страшных бурунов, всюду приводила меня на последний поезд, на последний пароход, в то время как за моей спиной обрушивались все мосты и захлопывались все пройденные двери, и наконец перевела через швейцарскую границу за полчаса до ее закрытия. В тот час, когда война между Россией и Германией стала осуществившимся фактом,— я был уже у цели своего путешествия, в Базеле...»

Находясь более полугода в самом центре Европы среди представителей всех враждующих наций, «мирный гражданин Европы» Максимилиан Волошин воочию постигал ее «нарушенное единство». Впоследствии в автобиографическом стихотворении «Четверть века» он скажет:

Я был свидетелем сдвигов сознания,  
Геологических оползней душ  
И лихорадочной перестройки  
Космоса в «двадцать вторых степенях».  
И над широкой излучиной Рейна  
Сполохов первых пожарищ войны  
На ступенях Иоаннова Зданья  
И на сферических куполах.  
Тот, кто не пережил годы затишья  
Перед началом великой войны,  
Тот никогда не узнает свободы  
Мудрых скитаний по древней земле.  
В годы, когда расточала Европа  
Золото внуков и кровь сыновей  
На роковых перепутьях Шампани,  
В польских болотах и в прусских песках,  
Верный латинскому духу и строю,  
Своду Сорбонны и умным садам,  
Я ни германского дуба не предал,  
Кельтской омеле не изменил.  
Я прозревал не разрыв, а слиянье  
В этой звериной грызне государств,  
Смутную волю к последнему сплаву  
Отъединенных историей рас.

Швейцария не избежала тревоги первых дней крушения европейского мира. Как ответный шаг на нарушенный нейтралитет Бельгии здесь ожидали нарушения швейцарского нейтралитета со стороны Франции. Предполагалось, что в театр военных действий превратят даже «театр для оккультных мистерий», так как долина, над которой располагался «Гетеанум», должна была стать местом прорыва войск.

Антропософы установили ночные дежурства.

Ночами, обходя с малым сторожевым светильником недостроенное здание «храма-театра», М. Волошин на-



блюдал картины «пылающего мира, охваченного спазмою войны: светы, зарева, перебегающие огни и световые щупальцы рефлекторов»<sup>1</sup>. Вглядываясь в перемежающуюся световыми рефлексамии тьму, туда, в сторону Рейна, он впервые ощутил «внутреннюю разодранность единой плоти Европы, разрываемой братоубийственной, междуусобной войной».

Уже в Дорнахе в самом начале войны М. А. Волошин воспринял ее как безумие.

В январе 1915 года завсегдагай Латинского квартала М. Волошин перебрался в Париж и застал его «пустынным, строгим, замкнутым в себе». К тому моменту город «пропустил сквозь себя несколько потоков беженцев, несколько сот тысяч солдат перед марнским боем, прошедших беглым шагом по Монпарнасу, Сен-Мишелю и Севастопольскому бульвару».

Что более всего поразило во Франции русского поэта на сей раз — это то, с каким безрассудством пожертвовала она молодым поколением своих поэтов и художников. Когда Волошин узнал о том, что призван и его друг, феодосийский художник К. Ф. Богаевский, он не смог удержаться от возмущения:

«Никто не имеет права сказать про себя сам: жизнь моя слишком драгоценна, чтобы я рисковал ею. Но народ, но руководители не должны допускать гибели таких людей... Во Франции во время войны убито 132 поэта и писателя. Представляете Вы, что это значит? — пишет М. Волошин из Парижа в письме к А. М. Петровой в Феодосию.— На сколько десятилетий народ лишен своего цвета — своей мысли, слова, сознания, чувства. Ведь оно все — в этих 132-х, из которых ни один не старше 35 лет.

Но это знание (хотя многих уже погибших я знал) все-таки отвлеченно, сравнительно с этой непосредственной болью, с этим отъездом К. Ф. (Богаевского.— Б. Г.)».

Немногим более тридцати пяти было тогда самому Волошину; та же участь могла постигнуть и его, поэтому далее он пишет:

«Я действительно «таинственный певец, на берег выброшен волною». Предвидя возможность призыва един-

---

<sup>1</sup> «Год пылающего мира. 1915» («Anno mundi ardentis. 1915») назвал М. Волошин и книгу стихотворений, сложившуюся у него за годы войны во время пребывания в Европе.

ственных сыновей, судьба заботливо сломала мне правую руку, отняв у нее возможность стрелять и убивать, оставила ей возможность писать и рисовать. И еще (так таинственно) увела с «челна» в самый последний момент перед войной. Но если б я должен был идти на войну, я бы отказался: не из-за страха смерти — я не знаю [его] и готов уйти каждую минуту, — но потому, что есть для меня враги более важные, чем немцы. Это теперешние орудия разрушения, демоны взрыва, демоны машины, демоны организации. Германия во всей своей чудовищности — только их произведение. И всякого, кто их примет, они доведут до такого же морального состояния.

Это ведь ложь, что это война рас. Это борьба нескольких государственно-промышленных осьминогов. Они совершают свои гнусные пищеварительные процессы, а им посылают отборных юношей.

И демоны машин пожирают прежде всего самых чистых, искренних, правдивых, кто (они знают) не примет их царства, а тех, кто станет их рабами, — сохраняют. Кто идет на войну как на радостное дело мести — те не погибают, — это общее правило. Солдаты в траншеях безошибочно указывают, кто из прибывающих на фронт останется в живых, кто будет убит.

Эта война есть одно огромное целое. Противники слиты в одном объятии. Ее надо одолеть — самую войну, а не противника. Надо теперь не судить, кто прав, кто виноват, а понять, исчислить, анатомировать, расчленив те силы, что составляют войну».

Свою статью о судьбе Эмиля Верхарна, нелепую смерть которого Волошин уподобил несуразностям «последних лет европейской истории», он также начал с обличительного подсчета жертв, понесенных европейским искусством.

«Судьба в эпоху Великой Европейской войны была особенно безжалостна к поэтам. Она как бы хотела символически указать, что в наступающие железные времена человечеству больше не понадобятся ни поэты, ни художники.

Англия за эти трагические годы повесила лучших ирландских поэтов.

Франция в первый же год войны швырнула на убой все молодое искусство. Одних поэтов было убито во Франции больше трехсот. Во имя республиканского равенства, для того, чтобы показать, что художник ничем не лучше чернорабочего, их ставили застрельщиками

при атаках, т. е. обрекали на верную гибель: равенство всегда обрубают ноги более высокому, т. к. не может заставить вырасти карлика. На наших глазах погубило то, что было величайшей драгоценностью Европы, — ее чувство, ее мысль, ее цветок — французское искусство.

За лязгом оружия и за грохотом пушек мы не заметили этой катастрофы. Ее результаты скажутся в 20-х, 30-х годах, когда мечта Европы окажется лишенной крыльев, а мозг обескровленным. К чему тогда будет победоносная и снова богатая Франция, лишенная того, что являлось ее смыслом и оправданием в Европе, — своего искусства?»

Последняя встреча М. Волошина с Э. Верхарном произошла в парижском музее Гиме в марте 1916 года перед самым возвращением Волошина в Россию. Уже в России его настигла весть о трагической гибели под колесами поезда этого «всевропейского поэта», ставшего, по его выражению, «снедью машины».

Не одобряя верхарновских стихов из сборника «Алые крылья войны», в которых голос миролюбивого фландрейца зазвучал, расточая ненависть, в книге «Верхарн. Судьба. Творчество» М. Волошин противопоставил Верхарну позицию, которую во времена, еще не помышлявшие об «общеевропейском доме» и общечеловеческих ценностях, заклеили бы за космополитизм, христианский пацифизм и аполитичность одновременно.

«Для того, кто раз поднялся до проникновения любовью божественной, — писал Волошин, — для того чувство ненависти, чем оно ни было бы оправданно, — падение.

Недаром пронзительные и жуткие глаза Дхармы — Религиозного Долга, изображенного в виде черного странника на облаке, которые я видел за плечом Верхарна во время нашей последней встречи, были так пристальны и требовательны.

Верхарн не исполнил до конца своего высшего религиозного долга поэта: долг гражданина и поэта не только не совпадают, но противоречат один другому. Гражданин несет свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент. Поэт выполняет расовый, национальный долг своего народа по отношению к человечеству в данную историческую эпоху. Когда происходит битва на земле, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждую-

щих: и за врагов и за братьев. В эпохи всеобщего ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто может противиться чувству мести и ненависти и заклинать благословением обезумевшую действительность.

В этом религиозный долг, в этом Дхарма поэта.

Конечно, как частный человек, поэт имеет право отдаться общественно обязательным страстям гражданина, но он не должен нести своего дара на служение разладу, расчленению и ненависти».

Непротивленческую позицию Волошина не одобряли даже близкие ему люди: шовинистический чад и военная истерия делали свое дело. Так, например, одна из наиболее близких ему корреспонденток, приятельница еще с гимназических лет — А. М. Петрова, обвинила поэта в том, что он хочет избежать ответственности, воздерживаясь от естественного и *святого* чувства гнева, чувства презрения к врагу. Возражая ей, М. Волошин дает развернутую автохарактеристику своих антимилитаристских взглядов. Эта декларация заслуживает того, чтобы быть приведенной полностью.

«Да, я согласен с тем, что в человечестве чувство *любви* часто, естественно, выражается *гневом* (даже мезтью)! Огонь Христов, прорабатывая человеческую душу, выявлял часто любовь *гневом*. В этом внешний соблазн исторического христианства, церкви. Это я знаю. Но для того, кто знает это и сознает истинные пути *любви* в человечестве, любовь не есть гнев; гнев только возможное и чистое проявление любви натур страстных. И сознающему это нельзя отдаваться гневу как святому чувству. Он есть, он подступает к горлу, отвергнуть его — значит кастрировать себя, — но его надо преобразить в любовь. Для того, чтобы сделать это одним чувством, — надо быть святым. Но сознанием это возможно и для обыкновенного человека. И это должно делать теперь. Никак не должно *презирать* врага: ни морально, ни практически. Практически это ведет к поражению, а морально к унижению себя.

То же самое я думаю о вере в «победу». Это одна из опасных лжей наших дней. Думаю, что истинны слова:

«Не думай ни о победе, ни о поражении, но будь всею душой в борьбе» (Кришна). Только в этом истина.

А наша борьба — т. е. тех, кто стоят вне самой войны, — свидетелей ее — не поддаваться соблазну ненависти, презрения, «святого» гнева, а не устать любить и

врагов, и извергов, и даже союзников (вблизи это, пожалуй, труднее всего). Мне все образ Иисуса Навина с поднятыми руками во время битвы представляется, как символ того, что надо делать теперь. Гнев — это естественный путь наименьшего сопротивления: миллионы придут к истине этим путем. Но раз осознавшие уже потеряли права на него: для них уже нет *святого* гнева. Ведь это общий закон: все, что от страсти, *свято*, пока бессознательно. Явилось сознание — это же самое становится грехом и туда нет возврата.

Вы знаете, что мне германский дух был всегда враждебен и до войны. Но отдаться теперь этому инстинкту, повторять все общие места и банальности, которыми только и говорят теперь про Германию, это было бы слишком легко. Это прощительно для тех лишь, кто до войны благоговел перед нею.

Трагедия Германии очень страшна и поучительна: это трагедия народа, который свое историческое призвание, понятое провидцами, сделал площадным мнением масс и хотел его осуществить в материальных формах империи. Быть может, именно теперь призвание германской расы перейдет на англосаксов, потому что в действительности они осуществляют идеал, нарисованный германскими идеологами.

Я представлял себе и возможности германской победы. Это было бы очень тяжело только первые десятилетия.

Вспомните, что было с Римом, проглотившим сперва Грецию, потом Иудею: он стал Эллинским, а позже Иудейским. Через два десятилетия Германия бы Галлицизировалась, а через сто лет была бы преображена славянской идеей. Но именно борьба против нее ее сестры по крови — Англии может повернуть колесо судьбы.

Германия совершила кощунство перед своим духом, сделав сокровенную истину о судьбах германской расы достоянием площадей. (Эта опасность грозит и России — в николаевское царствование она была уже на грани такого же кощунства.)

Германия государственно бездарна лишь на чувство свободы. А ее способность к «организации» — это ведь рабское подчинение диктатуре машин. Меня поражала та слепота, которой все германцы были поражены с начала войны. Это настало вдруг, как Божья Кара».

Антивоенные настроения были определяющими и в поэзии М. Волошина тех лет. Лейтмотивом сборника

«Anno mundi ardentis. 1915» можно назвать многообразно перефразированное и примиренчески трактованное Волошиным библейское изречение: «Мне отщенье — и аз воздам...» Голос поэта звучал в диссонанс с большинством русских поэтов, на первых порах не разглядевших истинного смысла империалистической бойни. «В начальный год Великой Брани» М. Волошин оказался глубже и прозорливее многих своих современников.

Один среди враждебных ратей —  
Не их, не ваш, не свой, ничей,—  
Я голос внутренних ключей,  
Я семя будущих зачатий,—

писал М. Волошин в стихотворении «Пролог», посвященном одному из представителей «Иоаннова братства» — Андрею Белому. Именно такими стихами отвечал поэт «на совершающееся».

Возвращался М. Волошин в Россию, как он писал, только потому, что знал, «как мама тоскует» без него. Но возвращался с твердым намерением отказаться от военной службы. Об этом пишет в своих мемуарах «Die grüne Schlange» («Зеленая Змея») и М. В. Сабашникова-Волошина:

«Когда его призвали на военную службу, он отправился в Россию, но с твердым решением уклониться. Он соглашался скорее быть расстрелянным, чем убивать». Такое решение, разумеется, мог принять только независимый человек.

Максимилиан Волошин был свободным человеком.

Свободным он был также и от фобий, не вынеся которых умер, «не снимая вицмундира», чеховский герой, чихнувший на лысину статскому генералу.

Но, будучи внуком двух статских советников и сыном коллежского — А. М. Кириенко,— Волошин был приписан к ополчению как ратник второго разряда.

Рядовой чин не смущал этого «ополченца», среди знакомых которого были не только европейские знаменитости, но и министры<sup>1</sup>, и на военный призыв он отве-

---

<sup>1</sup> В частности, в Париже и Берлине Волошин близко общался с товарищем по Московскому университету В. В. Авксентьевым, ставшим министром внутренних дел Временного правительства. Был также одно время близок и с Б. В. Савинковым, среди прочих должностей которого была и должность военного министра.

тил следующим письмом, адресованным в ноябре 1916 года военному министру, генералу Д. С. Шуваеву (письмо хранится в Рукописном отделе ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 151).

⟨ПИСЬМО М. А. ВОЛОШИНА К ВОЕННОМУ МИНИСТРУ⟩

Я слишком много мыслил, чтобы  
унизиться до действия.

Граф Ф. А. Вилье де Лиль Адан

М⟨илостивый⟩ Г⟨осударь⟩!

Я призван на военную службу, как ратник ополчения II р. 1898 года. Мой разум, мое чувство, моя совесть запрещают мне быть солдатом. Поэтому я *отказываюсь* от военной службы.

Во избежание недоразумений заявляю, что отказ этот не имеет ничего общего ни с принадлежностью к какой-нибудь религиозной секте или политической партии.

Я отказываюсь быть солдатом, как Европейец, как художник, как поэт: как Европейец, несущий в себе сознание единства и неразделимости христианской культуры, я не могу принять участие в братоубийственной и междоусобной войне, каковы бы ни были ее причины. Ответственен не тот, кто начинает, а тот, кто продолжает. Навивным же формулам, что это война за уничтожение войны,— я не верю.

Как художник, работа которого есть созидание форм, я не могу принять участия в деле разрушения форм, и в том числе самой совершенной — храма человеческого тела.

Как поэт, я не имею права поднимать меч, раз мне дано Слово, и принимать участие в раздоре, раз мой долг — понимание.

Тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать, и что лучше быть побежденным, чем победителем, т. к. поражение на физическом плане есть победа на духовном,— не может быть солдатом.

Считаю необходимым прибавить, что Германский милитаризм, германская промышленная культура и германская государственность для меня глубоко неприемлемы.

Но тот, кто принимает оружие противника,— уподобляется ему. Это случилось с Европой. Борьбу с германской отравой можно вести только с морального плана. Европа уже заражена теми же болезнями, что Германия. Моральное преодоление экономической культуры и победа над силами материализма может прийти только из России. И мой отказ от военной службы в это время есть одно из проявлений этой борьбы, ибо всеобщая воинская повинность и теория нации под оружием есть одна из основных прусских идей, отравивших Европу.

Отказ мой чисто индивидуален: он не имеет ни цели пропаганды, ни содержит в себе упрека тем, кто идет на войну. Один и тот же поступок может быть подвигом для одного и преступлением для другого. Я преклоняюсь перед святостью жертвы гибнущих на войне и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и в твердой памяти, готовый принять все его последствия.

Максимилиан Волошин.

Письмо осталось без последствий: разложение фронта и анархические настроения в армии достигли апогея. В «Последних днях императорской власти» А. Блок писал: «На исходе 1916 года все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции. Так понимали в то время положение все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у кого не могло быть сомнения в необходимости операции; спорили только о том, какую степень потрясения, по необходимости сопряженного с нею, может вынести расслабленное тело. По мнению одних, государство должно было и во время операции продолжать исполнять то дело, которое главным образом и ускорило рост болезни: именно вести внешнюю войну; по мнению других, от этого дела оно могло отказаться.

Как бы то ни было, операция, первый период которой прошел сравнительно безболезненно, совершилась».



Во второй половине ноября 1916 года медицинским освидетельствованием М. А. Волошин был освобожден от воинской повинности, но еще в августе 1917-го он писал в письме к М. С. Цетлин:

«Через неделю решается моя судьба в смысле воинской повинности. Надеюсь, что меня снова признают совсем негодным. С моим 40-летним возрастом и моей исковерканной правой рукой я могу быть зачислен только в государственное ополчение для нестроевой службы. Но я не могу быть даже писарем, т. к. моя рука так болит от письма, что я теперь стараюсь писать только на машинке. Следовательно, я могу только где-нибудь в нестроевой команде подметать казармы, а это при теперешних обстоятельствах не может удовлетворить меня как посильная помощь родине».



М. В. Козьменко

«Я ПИСАЛ ВСЕГДА ВРОЗЬ С ТЕМОЙ ДНЯ...»

Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) был одной из сложнейших человеческих и художественных натур даже в весьма насыщенной своеобычием галерее русских писателей и мыслителей нашего столетия. Нужно прямо сказать, что изучение значительного духовного наследия Ремизова только начато. Далека от разрешения центральная проблема его творческой судьбы: изумительная, порой какая-то аввакумовская в своей непреклонности преданность его единой цели — постичь религиозно-нравственно-эстетическую сущность русской культуры, что парадоксальным, на первый взгляд, образом сопрягалось с самыми крайними, авангардными и «пограничными» веяниями отечественного и западного искусства (ремизовское мировоззрение и поэтика в той или иной степени соприкасаются с символизмом, сюрреализмом, романом «потока сознания», экзистенциализмом<sup>1</sup> и многим другим).

Известно, что в Ремизове талантливый каллиграф, который в своих шуточных «обезьяньих» посланиях и наборных рукописях собственных произведений дал вторую жизнь древнерусскому шрифту, сочетался с оригинальным рисовальщиком дадаистско-кубистской ориентации (его рисунки высоко ценили П. Пикассо и А. Бретон).

Словесно-художественный мир Ремизова так же многосоставен, разноприроден, полиморфен. Чеканный, великолепно «артикулированный» сказ Гоголя и Лескова сталкивается в его произведениях с наплывами аморфных

словесных масс, воспроизводящими спонтанную жизнь подсознания. Прозрачный, по-детски чистый и гармоничный образ окружающего мира, который напрямую восходит к доброй народной сказке, вдруг пресекается мутным, искаженным больно́й и «подпольной» психикой образом мира-абсурда. В древнем апокрифе могут зазвучать напряженно-исповедальные интонации «человека конца века». Пьеса, начавшаяся как стилизация непритязательного народного балагана, в какой-то момент перерастает в «панпсихическую», экспрессионистскую драму типа «Жизни Человека» Л. Андреева.

В предлагаемой читателю публикации (впервые увидевшей свет во втором сборнике «Скифы» в 1918 году) полярности ремизовского художественного виденья проступают со всей остротой и очевидностью.

«Все, что я писал и пишу, не надумано, а по вызову. Ровно бы меня окликнули, и на голос я отвечаю. Тема мне не навязана, а приходит сама. По заказу мне было б зря братья, ничего не выйдет — я нем.

Я писал всегда врозь с темой дня: на Рождество у меня выходит пасхальное, а на Пасху снежит декабрем. В революцию память о минувшем (Московская Русь)»<sup>2</sup>.

Так Ремизов уже на склоне своих дней связывал со «Словом о погибели Русской Земли» одну из наиболее кардинальных статей своего творчества — «своенравие», направленность «против течения».

Это произведение недаром на долгое время стало «крупным козырем» в руках противников самого упоминания имени Ремизова. Стоило в 1961 г. И. Эренбургу в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» сказать о писателе несколько доброжелательных слов<sup>3</sup>, как Л. Усенко выступил в журнале «Дон» со статьей под знаменательным заголовком «Неудавшееся воскрешение»<sup>4</sup>, где, среди нагромождения политико-эстетических обвинений, центральным было осуждение Ремизова как автора реакционного памфлета «Слово о погибели Русской Земли», полного клеветы и злобы на русский народ. Опубликованное в 1918 году, за три года до эмиграции Ремизова, оно, по логике Л. Усенко, фактически является откликом писателя на Октябрьскую революцию. На самом деле «Слово о погибели...» было написано до Октября и отражает настроения другого времени. Так или иначе, но статья в журнале «Дон» со значительной непосредственностью выразила ту, обычно благообразно закамуфли-



Алексей Михайлович Ремизов

рованную, тенденцию в культурной политике тех лет, благодаря которой «неудавшимся» оказалось воскрешение не одного только Ремизова. Первое свидание этого большого русского писателя с современным советским читателем затянулось до 1978 года, когда в издательстве «Художественная литература» вышло его «Избранное».

Лобовая политическая интерпретация с самого начала сопровождала «Слово о погибели...», она наличествует уже в послесловии ко второму сборнику «Скифов» Иванова-Разумника. Размежевав Ремизова с другими — благословляющими и славословящими революцию — авторами сборника (Николаем Клюевым, выступившим здесь с поэмой «Песнь Солнценосца», Сергеем Есениным — с циклом «Стихослов», Андреем Белым — с пронзительным стихотворением «Родине» и другими), критик не замечает глубокой связи (а подчас — и прямой зависимости) этих поэтов от ремизовской художественной традиции. Поэты-«скифы» в своих произведениях

опираются на те же культурные ценности, на ту же трансформированную в народном ключе религиозно-нравственную основу, разрушение которой оплакивает в своем «Слове...» А. Ремизов.

Критик утверждает, что среди противников «Нового Мира», помимо «всесветных мещан», есть и «подлинно «взыскующие Града Нового», не могущие лишь примириться с мыслью, что новое построится неизбежно на развалинах старого, и потому идущие по старому пути...»<sup>5</sup>. Не отрицая высокой художественности произведения и того, что «Слово...» — «большой силы «человеческий документ», Иванов-Разумник вместе с тем сужает его пафос до пафоса сугубо охранительного:

«Какие же мировые ценности «Святой Руси» смеет этот враждебный вихрь?.. Дорог Ремизову каждый камень стен красноречивого Кремля, но еще дороже те духовные ценности, духовные силы, которые эти стены освящали, которые поддерживали не каменную и деревянную, а душевную и духовную «Святую Русь». Какие же это ценности?

Смело и откровенно отвечает на это Ремизов: самодержавие, православие, народность (...). Для Клюева и Есенина — «Святая Русь» — не позади, а впереди: все старое до крупинки приняли они в свои души. «Рублевская Русь» дорога им не меньше, чем Ремизову, но впереди видят новое солнце они, подлинно народные поэты... «Слово о погибели...» могильно звучит у Ремизова, «Певущий зов» и «Песнь Солнценосца» победно слышатся у Есенина и Клюева»<sup>6</sup>.

Непоследовательность в рассуждениях одного из вдохновителей движения «скифства» (и особенную уязвимость его типично «скифского» тезиса о том, что «новое построится неизбежно на развалинах старого») выявила самая последующая история русской культуры, творческая биография и Есенина и Клюева и многое другое.

Философию самосожжения культуры, исповедуемую «скифами», наиболее явственно выразил А. Белый в своем стихотворении «Родине», которое сочувственно цитирует Иванов-Разумник:

...И ты, огневая стихия,  
Безумствуй, сжигая меня,  
Россия, Россия, Россия —  
Мессия грядущего дня!



Рисунок А. М. Ремизова

Ремизов же в этот переломный для России период мучительно разрывается между надеждой на будущее воскрешение культуры-«феникса» и глубоким отчаянием от того, что эта надежда окажется эфемерной. В целом же культурологическая перспектива вызывает в нем не «скифский» восторг «бездны мрачной на краю», а трезвый и суровый стоицизм в условиях «пограничной ситуации». В поисках духовной опоры, нравственного императива он обращается к легенде о хождении богоматери по мукам (повесть «Странница», 1918), к народной драме, переосмысляющей коллизию между царем Петром и царевичем Алексеем («Царь Максимилиан», 1919). Скифской огневой стихии, слепой и беспощадной, противопоставляется учение об огне созидающем Гераклита Эфесского:

Пожжет огонь пожигаемое.  
В огненном вихре проба для золота и гибель пищи земной.  
И вместо созданного остается одно созидаемое —  
персть и семена для роста...



Рисунок А. М. Ремизова

И ты своими ноздрями почувешь:  
противоборствующее — соединяет,  
а разнообразие — преобразует в гармонию,  
гармония возникает из борьбы<sup>7</sup>.

Так о своих мучительных сомнениях в это время (весна и лето семнадцатого года) он будет вспоминать позже:

«Нет, не в воле тут и не в земле и в рыви и не в хапи, а такое время, это верно, вздвиг и взьерщ, решительнейшее, редчайшее в истории время, эпоха, вздвиг всей русской земли — России. Это весенняя накатывающая волна, в круге вертящихся палочки — самое сумасбродное, ни на что не похожее, весеннее, когда все летит кверху тормашками, палочки вертящиеся.

И я стиснулся весь, чтобы самому как не закрутиться такой палочкой.

Россия — Россия ударится о землю, как в сказке

надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему миру:

— Аз есмь.

— Но можно так удариться, что и не встанешь.

— Все равно, не хочу быть палочкой!

— Теперь это невозможно: или туда, или сюда.

Я не все понимал, что говорилось во мне, и часто просто слов не было, а какая-то круть туда и сюда — обрывки слов.

А все сводилось: чтобы не растеряться и быть самим под нахлынувшей волной в неслыханном взвие вихря.

А что я заметил: звезды, которые я видел в канун, погасли, вихрь овладевал моей душой.

— Да, я бескрылый, слепой, как крот, я буду рыть, рыть, рыть — »<sup>8</sup>

Летом 1917 года, во время приезда Ремизова в Москву, близкий ему по «своенравности» и судьбе философ Лев Шестов пошутит, перефразируя «подпольного парадоксалиста» Достоевского: «Революция или чай пить?» И Ремизов, как всегда, очень по-своему, по-ремизовски, отзовется на эту шутку:

— «Революция или чай пить?

Другими словами:

— Стихия — палочки вертящиеся? — или упор, самоупор?»<sup>9</sup>

Во время этого свидания с родной Москвой близкие и знакомые Ремизова, памятуя о его революционной молодости, считают писателя большевиком. А он, солидаризируясь с большевиками в их непримиримой позиции по отношению к войне, опять пытается отстоять свой «самоупор».

« — Когда происходят такие исторические катастрофы, какой уж тут может быть счет с отдельным человеком! — на все мои перекорные рассуждения отвечал Ф. И. Щеколдин.

— Да, потому и наперекор: ведь катастрофа-то для человека, а человека топчут!»<sup>10</sup>

Тогда же, в Москве, у «большевика» Ремизова и возникает замысел «Слова».

«Слово о погибели Русской Земли» — стилизация уже по одному своему названию: подобным же образом именуется памятник древнерусской литературы, связанный с опустошительным татаро-монгольским разорением Руси в 1237 году.



В ремизовском «Слове...» явственно звучат и интонации плача Ярославны, слышны отголоски фольклорных заплачек и православных молитв (по признанию самого автора: «Это слово прозвучало во мне в Кремле после всенощной в Успенском соборе, под красный звон Ивана Великого»<sup>11</sup>), всплывают могучие образы Апокалипсиса.

Обычно законы построения стилизации обязывают автора-стилизатора отречься от привычного для современного уха стиля и заговорить исключительно с «чужого голоса», погружая читателя в ауру словесно-речевой культуры далекой эпохи. У Ремизова же стилизованное слово свободно и удивительно органично сливается с глубоко личностными интонациями. В «Слове о погибели...» строй речи, воссоздающий древнерусскую традицию, и образы, восходящие к фольклорным и библейским истокам, неожиданно становятся единственно верными для изображения всеобщего разлада, охватившего русскую землю.

Как всегда у Ремизова, стиль является глубоко смысловой категорией, его двойственность отражает как бы пребывание повествователя сразу в нескольких плоскостях: и в миге современности, и в толще русской истории, и в биографическом пространстве собственной судьбы. Последнее особенно важно, так как «Словом...» завершается важный этап творческого пути писателя.

Когда повествователь в третьей главке говорит о своем былом отступничестве от России («Я не раз отрекался от тебя в те былые дни...: «Я не русский, нет правды на русской земле!»), он не только поминает свою революционную молодость, но и самоотождествляется с героем своей повести «Пятая язва» (1912) следователем Бобровым.

Бобров, служащий в провинциальном городе Студенце и безуспешно пытающийся утвердить здесь с помощью разума и законности высокие нравственные принципы, пишет в отчаянии своеобразный «обвинительный акт <...> всему русскому народу: «И было похоже на то, как когда-то в старину в смутные годы дьяк Иван Тимофеев в «Временнике» своим, подводя итог смуте, выносил свой приговор русскому народу, б е с с л о в е с н о молчавшему, а троицкий монах Абраамий Палицын судил русский народ за его безумное молчание»<sup>12</sup>.

Однако самоотождествление Ремизова со следователем Бобровым нельзя воспринимать слишком буквально. Выступив против темных, иррациональных, чреватых безумием и абсурдом сторон национальной жизни, Бобров не чувствует их укорененности в исторической толще и тем самым отвергает почву в целом (отказывается «быть русским»). Поражение следователя в поединке с представляющим темные начала России старцем Шапаевым и гибель Боброва в конце повести показывают всю опасность полного разрыва с исторически сложившейся культурой. Но, с другой стороны, Ремизова никак нельзя обвинить (как это делают Иванов-Разумник и его последователи) в приятии всех сторон пресловутой триады «самодержавие — православие — народность». «Пятая язва» остается одной из самых горьких и разоблачительных вещей русской прозы конца 1900 — начала 1910-х годов, и недаром, благодаря гротесковым картинам разложения русской провинции, критика ставила ее в один ряд с горьковским «Городком Окуровом» и «Деревней» Бунина.

Показательно и то, что горькие инвективы «Слова о погибели...» во многом созвучны бобровскому «обвинительному акту»:

«Нестойкий, друг с другом неладный, бредущий разно, разбродный и смолчивый, безгласный — вот русский народ.

К совести русского обращался Бобров, ибо в совести народной — покой земли.

Что спасет русскую землю, выдранную, выжженную, выбитую, вытравленную и опустошенную?

Кто уничтожит крамолу? Кто разорит неправду? Что утолит вражду? И где царский костыль? — все в розни, вконец разорено!»<sup>13</sup>

Важно еще раз уточнить, что проблема судеб России как в «Пятой язве», так и в «Слове о погибели...» рассматривается Ремизовым не в социально-политическом, а прежде всего в историко-культурном, религиозно-этическом ключе. Да, он был одним из самых жесточких в русской литературе описывателей трагической судьбы «маленького человека», «великим жалостником», как назвал его Блок, показавшим целую галерею растоптанных «обезьяньими» нравами судеб, и потому крайне несерьезно приписывать ему тяготение к идеализации российских реалий.

Другое дело — что Ремизов не верил в «неорганичные» для русской культуры, привнесенные «извне» или сугубо головные рецепты преобразования несовершенной действительности. Но еще более он опасался губительных для души издержек революционного насилия...

Корни нивелирующих бездушевности и бессердечности, особенно возрастающих в русской жизни с осени 1916 года, Ремизов видит во влиянии мировой войны:

«Вожди слепые, что вы наделали?»

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского».

Разлад в людских душах передан уже в образах книги «Среди мурья» (1917), в которую вошли произведения 1914—1916 годов.

Еще тогда писатель заметил, что наряду с обнищанием материальным в России все более обнаруживаются симптомы морального оскудения. И главное, что принесла с собой первая мировая война («то страшное человеческое, но не по-человеческому заваренное дело, к которому ни человеку, ни зверю немислимо привыкнуть»), — это не разлад нормального бытового устройства, не начало экономической инфляции и т. п., а распад межчеловеческих связей и инфляция душевности и добра.

Для Ремизова катастрофа (не социально-политического, но нравственного характера) уже тогда разразилась над Россией: «И он (герой одного из рассказов книги «Среди мурья». — М. К.) видел Россию — пожар, и бежит народ, и, как последнее, тащат эти огромные черные багры не тушить пожар недоступный, такого так не затушить — воля Божья, — а бежит народ расправляться с теми, с тем, на кого скажет, не крикнет, а только скажет тот вон рыжий всклокоченный мужик, прибежавший за много верст из дальней деревни»<sup>14</sup>.

Но в те, чреватые кризисом духовно-жизненного уклада, годы, среди всеобщего «мурья» («бесовщины», как переводит сам Ремизов этот славянизм) писатель еще прозревает незаметных праведниц — «сестер усердных», готовых отдать ближнему свое последнее, чудаков-единомышленников, в общении между собой поддерживающих искры человеческой теплоты и добропорядочности, детей, всегда для него бывших образами первородной, божьей чистоты, — среди «мурья» эти

звезды вспыхивают еще ярче, оставляя надежду на лучшее.

В год написания «Слова о погибели...» он вдруг обнаруживает, что звезды, которые «видел в канун, погасли, вихрь овладевал душой». Образ пожара-России из рассказа 1915 года теперь сменился безысходной картиной апокалипсического опустошения.

Любопытные параллели в размышлениях над судьбами русской культуры в эту эпоху можно обнаружить у М. Горького — писателя, который, согласно отечественной традиции, считается чуть ли не антиподом Ремизова во всех отношениях. В своих «Несвоевременных мыслях», очерках, совсем недавно вошедших в наш историко-литературный обиход<sup>15</sup>, он, разумеется, далек от реабилитации «исконных» ценностей русской культуры, особенно в том случае, когда она строится на «вредной идее русской самобытности»<sup>16</sup>. Однако, мучительно и подчас противоречиво пытаясь вскрыть корни коллизии между культурой и народом, Горький во многом оказывается близок Ремизову. В страшных «уроках» мировой войны он видит причины выплескивающего из-под разумного контроля насилия: «Народные комиссары, вообще плохо знающие «русскую стихию», совершенно не принимают в расчет ту страшную психическую атмосферу, которая создана бесплодными мучениями почти четырехлетней войны и благодаря которой «русская стихия» — психология русской массы — сделалась еще более темной, хлесткой и озлобленной»<sup>17</sup>.

Безусловно и то, что для Горького возврат ко всему национально-историческому комплексу русской культуры не становится альтернативой. Однако он, резко осуждая его темные стороны, находит в национальном характере черты, позволяющие надеяться на духовное и культурное возрождение: «Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и, в то же время, непонятно добродушный, — в конце всего — это талантливый народ»<sup>18</sup>. Однако, так же как и автор «Слова о погибели...», он обеспокоен тем, что высокие общечеловеческие идеалы подчас подменяются низменными страстями «русской стихии», и предупреждает о зловещей непредсказуемости этого процесса: «Раздраженные инстинкты этой темной массы (полупролетариев. — М. К.) нашли выразителей своего зоологического анархизма, и эти вожди взбунтовавшихся

мещан ныне, как мы видим, проводят в жизнь нищенские идеи Прудона, но не Маркса, развивают Пугачевщину, но не социализм и всячески пропагандируют всеобщее равнение на моральную и материальную бедность»<sup>19</sup>. Вся страсть его полемических заметок основана на том, что новый строй политической жизни требует и «нового строя души», а духовно-нравственный максимализм первого в мире художника, опозитизировавшего революционера-рабочего, принуждает «и поражаться, и пугаться того, что революция не несет в себе признаков духовного возрождения человека, не делает людей честнее, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки их труда»<sup>20</sup>.

По-разному оценивают прошлое и настоящее России Ремизов и Горький. Но обеспокоены в ту сложную для судьбы родины эпоху одним и тем же — душой и сердцем человека, и потому оба видят всю опасность для русской культуры «обеспокоенного сердца» и «вынутой из народа души».

В сложном, внешне подчас противоречивом, но внутренне глубоко цельном творчестве большого русского писателя Алексея Ремизова «Слово о гибели Русской Земли» является одновременно и особенным, и очень показательным произведением. Оно аккумулирует в себе ремизовское главное: боль за человека, истинную, недоступную сиюминутной конъюнктуре любовь к России, умение воскресить и сделать сегодняшними глубинные, уже многими забытые залежи словесной культуры. Насколько провидческими оказались предостережения писателя, можно судить по драматическим сдвигам отечественной истории нашего столетия.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> О связях творчества Ремизова с экзистенциалистской философией Льва Шестова см. в нашей статье: Козьменко М. В. Мир и герой Алексея Ремизова (К вопросу о взаимосвязи мировоззрения и поэтики писателя). — Филологические науки, 1982, № 1, с. 24—30.

<sup>2</sup> К о д р я н с к а я Н. Алексей Ремизов. Париж, б. г. (1959), с. 127.

<sup>3</sup> Э р е н б у р г И. Люди, годы, жизнь. — Новый мир, 1961, № 9, с. 97, 107, 109—112.

<sup>4</sup> У с е н к о Л. Неудавшееся воскрешение.— Дон, 1962, № 6, с. 145—154.

<sup>5</sup> Скифы. Сборник второй. М., 1918, с. 205.

<sup>6</sup> Там же, с. 216.

<sup>7</sup> Р е м и з о в А. О судьбе огненной. Со слов Гераклита Ефесского. М., 1918, с. 1, 2.

<sup>8</sup> Р е м и з о в А. Взвихренная Русь. Эпопея. Париж, 1927, с. 64.

<sup>9</sup> Там же, с. 66.

<sup>10</sup> Там же, с. 68.

<sup>11</sup> К о д р я н с к а я Н. Указ. соч., с. 101. См. также: Р е м и з о в А. Взвихренная Русь, с. 180. В эту же книгу (с. 180—189) Ремизов включил и само «Слово о погибели...» (в переработанном виде и без прежнего названия).

<sup>12</sup> Р е м и з о в А. Подорожие. СПб., 1913, с. 84—85.

<sup>13</sup> Там же, с. 85.

<sup>14</sup> Р е м и з о в А. Среди мурья. Пг., 1917, с. 38.

<sup>15</sup> См.: Литературное обозрение, 1988, № 9, 10, 12.

<sup>16</sup> Г о р ь к и й М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. Пг., 1918, с. 4.

<sup>17</sup> Там же, с. 99.

<sup>18</sup> Там же, с. 54.

<sup>19</sup> Там же, с. 91—92.

<sup>20</sup> Там же, с. 18.

## АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

### СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

#### I

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, вспомнать невозможно, вижу тебя, оставляешь свет жизни, в огне поверженная.

Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.

Были казни, была и милость.

Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.

Где ныне подвиг, где жертва?

Гарь и гик обезьяний.

Было унижение, была и победа.

Безумный ездок, хочешь за море прыгнуть из жел-

тых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень,— над Невой, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне и въявь.

Брат мой безумный,— несчастлив час! — твоя Россия загибла.

Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоём, где гниет палый лист: Россия моя загибла.

Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка,— поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, красноречивый Кремль очистили — не стерпелось братнино иго иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси — Последней Руси — страшных вольных костров?

Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он любил в проклятом грехе своём свою мать Россию, сложил песни неизбывные:

«У Троицы у Сергия было под Москвою...»

Или другую — на костер пойдешь с этой песней:

«Не шуми, мати зеленая дубровушка...»

## II

Широка раздольная Русь моя, вижу красноречивый Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья, а не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон.

Или заглушает его свист несносных пуль, обесповадивший сердце мира всего, всей земли?

Один слышу обезьяний гик.

Ты горишь — запылала Русь — головни летят.

А до века было так: было уверенно — стоишь и

стоять тебе, Русь широкая и раздольная, неколебимую во всей нужде, во всех страстях.

И покрой твое тело короста шелудивая, буйный ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над лесами своими дремучими, над степью ковылевою, взбульливою.

Так пошло, так думали, и такая крепла вера в тебя.

Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жены и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.

Ныне в сердцевине подточилась Русь.

Вожди слепые, что вы наделали?

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского.

И вот слышу обезьяний гик.

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подынешься!

Русь моя, земля русская, родина беззащитная, обеспощенная кровью братских полей, подождена горишь.

### III

О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя багряница царская упала с плеч твоих.

За какой грех или за какую смертную вину?

За то ли, что клятву свою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю, или за кровь, пролитую на братских полях, или за кривду — сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: «Нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, затоптанная, когда пинают и глумятся над святыней твоей, ты и ныне безгласна.

Безумное молчание верных сынов твоих вопиет к Богу, как смертный грех.

О моя родина поверженная, ты руки свои простираешь — —

Или тебя посетил гнев Божий — Бог послал на тебя меч свой?

О моя родина несчастная, твоя беда, твое разоре-



ние, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду свою — не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят душу твою.

Скажу тебе со всей болью моей — не лиха, только добра и тишины я желаю тебе — духа нет у меня: что я скажу в защиту народа моего? И стыдно мне — я русский, сын русского.

О моя родина горемычная, мать моя униженная.

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным — —

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою:

«Я не русский, нет правды на русской земле!»

Но теперь — нет, я не оставляю тебя в грехе твоём и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя, — я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На звезды твои молчаливые я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь твоих, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе уборы драгоценные, чтобы ты стала светлее и радостней. Из твоих же камней самоцветных, из жемчугов — слов твоих я низал белую рясну на твою нежную грудь.

О, родина моя обреченная, покаранная, жестокой милостью наделенная ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зеленой, вижу тебя в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься в моем сердце.

Ты канешь на дно светлая.

О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная!

Сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомнит? Я душу сохраню мою русскую с верой

в правду твою страдную, сокрою память о тебе, пока слово мое — речь твоя будут жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесеньи.

#### IV

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? — Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Злоба кипит в душе, кипит бессильная: ведь полжизни сгорело из-за той России, которая обратилась теперь в ничто, а могла бы быть всем.

Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия.

Опостылела бездельность людская, похвальба, за-летное пустое слово.

Скорбь моя беспредельная.

Нет веры в России, нет больше церкви, это ли церковь, где восхваляют временное?

И время пропало, нет его, кончилось время.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло.

И из бездны подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда над головой его с семью лучами, и страшен он.

— Погибни во имя мое!

И нет спасения свыше.

Злость моя лютая.

И тянется замкнутая слепая душа, немymi руками тянется в беспредельность — —

И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы.

Ничто не избежит гибели.

О, если бы избежать ее!

Каждый сам в одиночку несет бремя проклятия своего — души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.

Тьма вверху и внизу.

И свилось небо, как свиток.

И нету Бога.

Скрылся Он в свитке со звездами и с солнцем и луною.  
Черная бездна разверзлась вверх и вниз.  
И дьявол потерял смысл бытия своего, повис на осине Иуды.

А все зачем-то еще живут.

И чем громче кричит человек, тем страшнее ему.  
Как дети они, потерявшие мать.

И не понимают той скорби, которая дана им.

Скоро настанет последний час, скоро пробьет он.

Без четверти двенадцать.

Слышите! Нет ничего, ни Кремля, ни России,—  
ровь и гладь.

Приходи и строй! Приходи, кому охота, и делай дело  
свое,— воздвигай новую Россию на месте горелом.

А про старое, про бывалое — забудь.

Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего  
не найти.

Единый конец без конца.

## v

Русский народ, что ты сделал?

Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюх-  
нулся свиньей в навоз.

Поверил — —

Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, рас-  
плачивайся.

Землю ты свою забыл колыбельную.

Где Россия твоя?

Пусто место.

Русский народ, это грех твой непрощаемый.

И где совесть твоя, где мудрость, где крест твой?

Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины  
моей, молился святой Руси.

Теперь презираем со всем народом несущую кару, жалок,  
нищ и наг.

Не смею глаз поднять.

— Господи, что я сделал!

И одно утешение, одна надежда: буду терпеливо нести  
бремя дней моих, очищу сердце мое и ум мой помутне-  
лый и, если суждено, восстану в Светлый день.

Русский народ, настанет Светлый день.

Слышишь храп коня?

Безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из  
желтых туманов, он сокрушил старую Русь, он подымет и  
новую, новую и свободную из пропада.

Слышу трепет крыльев над головой моей.  
Это новая Русь, прекрасная и вольная, царевна моя.  
Русский народ, верь, настанет Светлый день.

## VI

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях, стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность, в черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть.

Поймите, жизнь наша тянется через силу.

Остановитесь же, вымойте руки, — они в крови, и лицо, — оно в дыму пороха!

Земля ушла, отодвинулась.

Земля уходит — —

Лечу в запредельности.

На трех китах жила земля. Был беспорядок, но и был устоя: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали.

Все перепуталось.

Лечу в запредельности.

Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный, кто это может? И остается упасть червем и ползти.

Обгоняю аэропланы.

Стук мотора стучит в ушах.

Закукарекал бы, да головы нет: давно оттяпана!

Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле — это проклятие.

И это проклятие — удел мой.

## VII

Все разорено, пусто место, остался стол — во весь рост человеческий велик сделан.

Обнаглелые жадно с обезьяньим гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Россия — прощальный, поминальный пирог.

И рвут, и глотают, и давятся.

И с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли. И норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую русскую землю.

*В е - е - е - ч н а - я п а - а м я т ь .*

---

---

Е. Ю. Литвин

ПОСЛЕДНЯЯ ОДИССЕЯ ГЕОРГИЯ ВЕНУСА

Сейчас имя этого писателя вряд ли кому известно. А между тем, в свое время, за неполные тринадцать лет литературной деятельности вышло двенадцать книг Г. Венуса.

Георгий Давыдович (Давидович) Венус родился 31 декабря 1897 года в Петербурге, в семье рабочего-литейщика, окончил военное училище, в 1915 году попал на фронт, в годы гражданской войны был офицером армии Деникина; затем обычный путь эмигранта: Константинополь — Берлин. В Берлине Венус начал литературную работу, здесь в 1925 году вышел его стихотворный сборник «Полустанок». Здесь же он начал работу над романом «Война и люди», который вышел уже по возвращении автора в СССР, в 1926 году. Роман имел большой успех, выдержал четыре издания и был переведен на иностранные языки. Эта книга — правдивое свидетельство очевидца гражданской войны, пережившего все ее трудности и тяготы. Поэтому она сразу привлекла внимание к молодому талантливому писателю.

Георгий Венус интенсивно работает, пишет романы, рассказы, очерки. Близко знавший Венуса известный писатель Михаил Слонимский отмечает их яркость, своеобразие стиля, глубокую правдивость, внутреннюю эмоциональность, точность художественного языка.

Вся эта благополучная, творчески насыщенная жизнь резко оборвалась в конце 1934 — начале 1935 года.



Г. Венус

После убийства С. М. Кирова по всей стране, а особенно по Ленинграду, прокатилась волна репрессий, задевшая огромные массы людей. Из Ленинграда выселялись так называемые «дворянские» семьи, были арестованы многие деятели науки и культуры, писатели, в их число попал и Георгий Венус. Здесь начинается его печальная «одиссея». Предоставим слово документам. Все они хранятся в фонде А. Н. Толстого (Отдел рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, ф. 43, оп. 3, 4).

1

Н. В. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ — А. Н. ТОЛСТОМУ

14 марта 1935 г., Детское Село.

Дорогой мой Алешечка!

Так все складывается, что я сажусь за письмо к тебе и опять начинаю с деловых просьб и ходатайств. Меня здесь с утра до ночи одолевают несчастные люди, звонят, приезжают. Что я могу сказать или сделать,

кроме того, что пообещать написать тебе в Москву. Вот я и обещаю и пишу.

Только что были из Союза писателей, просили написать тебе о Георгии Венусе-писателе, он сидит, ему грозит высылка 17/III, и «Дело» его ограничивается тем, что он «сменовеховец» и возвращенец. Но своей былой биографии он никогда не скрывал, и всем она известна. Когда из Берлина он возвращался в Советский Союз, ему дали разрешение въехать, зная, *кто он* и какой путь, трудный и сложный, проделал он от бывшего деникинского прапорщика до советского писателя. С 26-го года, с тех пор, как он вернулся из эмиграции, он честно и искренно работал и ни в чем никогда замешан не был. Просят тебя сказать о нем кому следует и по возможности облегчить его участь. <...>

2

18 марта 1935 г.

<...> Удалось ли тебе поговорить о Георгии Венусе. Его положение ужасно. Ради бога, поговори о нем.

3

25 марта 1935 года.

Милый Алешечка!

Тебя хочет повидать писатель Георгий Давидович Венус. Пожалуйста, выслушай его. У него больной ребенок, и он ссылается в Иргиз. Нельзя ли было бы Иргиз заменить Самарой или Саратовом, чтобы Венус мог зарабатывать на пропитание семьи. Это, кажется, последняя просьба. <...>

В марте 1935 года Алексей Толстой находился в Москве, участвуя в работе пленума правления Союза писателей, и гостил у А. М. Горького в Горках. В ответ на одно из мартовских писем Наталии Васильевны, в котором она просила его похлопотать (то есть переговорить с Ягодой и прочими «власть предержащими») не только о Венусе, Толстой писал: «Тусинька, больше писем таких мне не пиши. Пока нужно передохнуть и дать другим передохнуть от меня».

Однако, несмотря на подобный ответ, он все-таки встретился с Венусом уже по возвращении из Москвы в Детское Село, ходатайствовал за него, и, очевидно, именно благодаря этому ходатайству Венус с семьей был выслан в Куйбышев.

В архиве сохранилось три письма Венуса из Куйбышева, одно из них (от 25 июня 1935 года) публикуется полностью:

4

Г. Д. ВЕНУС — А. Н. ТОЛСТОМУ<sup>1</sup>

25 июня 1935 г.<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Николаевич!

Я убеждаюсь, что многие мои письма не доходят до назначения. Возможно, что затерялись и мои два письма к Вам и письмо Наталье Васильевне, которое написала Мира Борисовна, моя жена.

Мне вообще никто сейчас не отвечает. Поверьте, это очень тяжело — писать в пустоту. Я помню нашу последнюю беседу в Детском, Ваши слова, чтоб мы были спокойны за нашу судьбу, что через два-три месяца все в ней может измениться. Мы считаем эти месяцы, и это дает нам силу ждать и не в слишком сильной панике думать о будущем. Я помню также Ваше любезное предложение выслать лично Вам мою рукопись. Впрочем, буду писать по порядку.

По слухам, многие возвращаются. Я не знаю, удалось ли Вам поговорить в Москве с тов. Ягодой. Верю, что, если Вы еще не говорили с ним, Вы это сделаете при первой возможности. Еще мне хочется сказать Вам, что, по слухам, за многих вернувшихся в Ленинград хлопотали перед товарищем Ждановым. Вам виднее, что делать. Я ничего здесь не вижу, кроме Волги и пароходов, которые идут по глади реки, идут с пассажирами на палубе, вольными в своих действиях.

Может быть, Президиум ССП мог бы также помочь

---

<sup>1</sup> В начале июня 1935 г. Толстой выехал на пароходе через Гамбург и Лондон в Париж на I Международный конгресс писателей в защиту культуры, состоявшийся 21—25 июня 1935 г. Толстой пробыл в Париже до 5 июля, 5 июля он приехал в Амстердам, 10 июля в Лондон, из которого на пароходе «Кооперация» 14 июля выехал на родину, 22 июля он вернулся в Ленинград.



мне. В. О. Стенич<sup>1</sup> написал мне как-то, чтоб я попросил Вас поднять в ССП этот вопрос. Может быть, это действительно привело бы к чему-либо положительному.

Я не хочу «скулить», жаловаться, рисовать Вам картины, которые ждут нас, если в ближайшие месяцы ничего в нашей судьбе не изменится. Мне стыдно это делать, мне кажется,— это «не по-мужски».

То, что я отвечаю сейчас за то, что давно уже самым жестоким образом осудил в себе же самом, я писать тоже не буду. Вы все это знаете.

Так что же еще писать, не впадая в «жалобный тон», от которого всегда потом становится стыдно? Нечего, дорогой Алексей Николаевич! Нельзя же на людях плакать и бить себя в грудь!

Разрешите приступить ко второму конкретному вопросу, к вопросу о моей рукописи<sup>2</sup>.

Роман я кончил и сейчас переписываю<sup>3</sup>. Очень скоро смогу его выслать. Еще ни над одной моей вещью я не работал так долго и серьезно. Все мои прежние книги написаны в течение нескольких месяцев. Этот роман я писал три года.

Никто не отвечает на мои письма. Даже издательства. Пример: областная редакция «Истории заводов». Товарищ Орлов из Ленгослитиздата очень вежливо выразил сомнение в том, что будет теперь печатать мой роман. Я знаю, что без Вашей помощи я роман этот сейчас не напечатаю, я хочу его выслать Вам, согласно Вашему разрешению, не знаю, в Детском ли Вы или уехали, не знаю, куда послать, чтобы рукопись не слишком долго трепалась в пути. Вопрос скорого получения гонорара для меня сейчас очень важный вопрос. Приближается осень, за осенью — зима. Если нас не вернут в Ленинград или в Москву, придется переезжать в Самару (из Кр. Глинки) и купить в городе «дом», т. к. квартир и комнат нет. А откуда взять деньги? На жизнь осталось месяца на два... Но дело не в одном только гонораре.

В последней моей работе нет ни одной строчки, за которую я не ответил бы своей совестью. Роман этот,

---

<sup>1</sup> Валентин Осипович Стенич (1898—1939) — переводчик произведений Д. Джойса, Дос-Пассоса, Фолкнера, Ш. Андерсона. Осенью 1937 г. он был арестован и погиб в заключении.

<sup>2</sup> Речь идет о переработанном и дополненном романе «Молочные воды». 1-я книга романа вышла в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1933 г.

я знаю, гораздо лучше всех моих прежних книг, и мне было бы очень тяжело, если бы он не увидел свет, если б вся моя работа трех лет оказалась впустую. И еще мне очень хотелось бы, чтоб Вы прочли эту рукопись. Я думал об этом еще год тому назад, когда читал Ваши «Хождения по мукам», переизданные Издательством писателей.

Дорогой Алексей Николаевич! Вероятно, Вы очень заняты. Может быть, Вы не найдете времени ответить на это письмо. Очень прошу в таком случае сделать это Наталью Васильевну, так как, поверьте, очень тяжело, когда не знаешь, дошли ли твои слова и как они были приняты.

Привет Наталье Васильевне от меня и от Миры Борисовны. Сердечный привет и Вам от нас обоих.

Уважающий Вас

*Георгий Венус.*

гор. Куйбышев,

Красная Глинка на Волге, дом Н. Абрамова.

Роман автобиографичен. Прототипом главного героя, офицера Александра (Алекса) Кнабе, является сам Венус. Книга была оценена автором весьма самокритично. В письме к Толстому 7 сентября 1935 г. он, в частности, указывает:

«Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Николаевич!

Вчера, согласно Вашему любезному предложению, я послал Вам заказной бандеролью мою рукопись «Молочные воды». Мне очень хотелось бы, чтоб Вы прочли эту рукопись лично. Хотелось бы также услышать Ваше мнение об этой работе, — я отдал ей много сил. <...>

Работал я над «Молочными водами» очень долго и серьезно. Писал я этот роман, что называется, кровью. В первые главы новой рукописи легла сокращенная и полностью переработанная мною 1-я книга «Молочных вод», вышедшая в 1933 году в Издательстве писателей. <...> Я убрал надоедливые повторения, элементы «излишнего импрессионизма», дешевую лирику, манерность. Расширил я и «горизонты» романа, пытаюсь более полно отобразить эпоху <...>».

Далее в письме рассказывается о тяжелых условиях, в которых писателю пришлось жить и работать:

«Моей работе над «Молочными водами» мешала малярия. <...> Над последними главами романа я работал

уже во время перерывов между приступами. Силы мои поддались, настроение упало. Не знаю, может быть, это отразилось и на моей работе.

И все больше и больше меня угнетает сознание, что жизнь, которую я так люблю, и работа, которая мне дороже всего на свете, идет сейчас где-то в стороне от меня. Особенно я чувствую это, когда читаю в «Литературном Ленинграде» о моих товарищах. Ведь для этой работы, осудив свое прошлое, я приехал в свое время в Ленинград. Мое прошлое не только осуждено мною, оно убито мной — моей честной работой советского писателя. Неужели никто мне не верит? Увы, я не Лев Толстой, моя работа не имеет широкого резонанса и, вероятно, не в силах показать моего нутра, широко и ясно развернуть всех моих мыслей. Но разве это моя вина? Но разве за это судят?

Судят за прошлое. Но ведь человек, честно перестроившийся, перестает быть врагом, и Советская власть ему верит. Это — так, и в этом глубокая мудрость Советской власти. Но как и чем доказать, что я действительно честно и до конца моих дней встал по эту сторону баррикад?!

〈...〉 Будьте звеном между мной и Советской властью и объясните кому следует то, что я не сумел объяснить моему следователю.

〈...〉 Живем мы все еще в деревне, так как помещения в городе не нашли. 〈...〉 Нас обворовала хозяйка, и мы переехали здесь же, на Красной Глинке, на другую квартиру. Пишите по адресу: город Куйбышев, Красная Глинка на Волге, улица Водников, 16, мне. 〈...〉».

В письме от 14 февраля 1936 г. Венус справляется о судьбе своей рукописи. По всей вероятности, рукопись Венуса попала в редакцию серии «История гражданской войны», возглавляемой А. М. Горьким и И. И. Минцем. Письмо А. Н. Толстого в ГИХЛ Н. Накорякову, в котором упоминается имя П. Крючкова — секретаря Горького, определенно указывает на это.

## 5

А. Н. ТОЛСТОЙ — Н. Н. НАКОРЯКОВУ

28 апреля 1936, Детское Село.

Дорогой Николай Никандрович, простите, что еще раз напоминаю Вам о Георгии Венусе. Ему очень туго в моральном и матерьяльном отношении.

Взяли ли Вы у Крючкова «Молочные воды» — Венуса?

Крепко жму руку Алексей Толстой  
28/IV 1936.

Накоряков ответил Толстому:

«Дорогой Алексей Николаевич!  
«Молочные воды» — Венуса я уже получил. <...> по прочтении редактором, просмотрю сам и Вам обязательно сообщу, будучи уверен, что Вами руководила забота о писателе, требующем особого внимания».

Однако новое издание романа «Молочные воды» так и не появилось.

Последним прижизненным изданием Венуса стал сборник его рассказов «Дело к весне», выпущенный Куйбышевским издательством весной 1937 года. В письме от 11 мая 1937 года к Л. И. Толстой Венус сообщал:

«Глубокоуважаемая Людмила Ильинична!  
Вчера я послал на имя Алексея Николаевича два экземпляра моей книги «Дело к весне», только что вышедшей в Облгизе. <...> Очень прошу Вас подтвердить мне открыткой получение книг. <...> Еще хочу поблагодарить Вас за горячее к нам участие, о котором сообщила мне моя мать. Теперь жду конкретных результатов <...>».

Для Венуса и его жены Мирры Борисовны Толстой был последней надеждой, той соломинкой, за которую они хватались в надежде вырваться из замкнутого круга. Последнее из сохранившихся писем Венуса с воли датировано 24 ноября 1937 года и адресовано Л. И. Толстой:

«<...> Теперь, глубокоуважаемая Людмила Ильинична, мне следует поблагодарить Вас за Ваше любезное письмо и Алексея Николаевича — за ту помощь, которую он оказал мне в моих делах с Литфондом. Литфонд уже официально сообщил мне о новом продлении срока уплаты моей задолженности — до 1 апреля. Я надеюсь, что до этого времени я рассчитаюсь наконец с Литфондом, задолженность которому меня тяготит и мучает.

Очень прошу Вас сообщить мне, прочитал ли Алексей Николаевич мою повесть «Солнце этого лета» и какое впечатление он вынес от этой моей последней работы. Не откажите также сообщить мне, можно ли будет напечатать эту повесть в Ленинграде или в Москве<sup>1</sup>. До сего дня я ничего конкретного об этом не знаю.

Я работаю над новым рассказом. Но Вы сами, конечно, понимаете, как трудно работать, не имея никакого прожиточного минимума и не зная, будет ли работа напечатана».

Через два месяца, 24 января 1938 года, Венус был арестован. Почти полтора года провел под следствием в Куйбышеве, в мае 1939-го его, уже смертельно больного, перевели в Сызранскую тюремную больницу, где 8 июня 1939 года он умер.

Историю его последних мучений мы проследим по письмам и заявлениям его жены и письмам сына Бориса, которые сохранились в толстовском архиве. Все документы печатаются в хронологическом порядке.

## 1

БОРИС ВЕНУС — Л. И. ТОЛСТОЙ,

26 ФЕВРАЛЯ 1938 г.

«Дорогая Людмила Ильинична!

Большое спасибо Вам за письмо. Теперь мы с мамой будем надеяться и ждать папу. <...> Я стараюсь быть бодрым, как папа. Денег нам не нужно. В Ленинграде продали нашу мебель и прислали деньги. <...> Пожалуйста, напишите нам, поговорил ли Алексей Николаевич и выяснил ли что-нибудь. Мы очень ждем Вашего письма».

## 2

М. Б. ВЕНУС — Л. И. ТОЛСТОЙ

5 октября 1938 г.

<...> Вчера я получила Ваше письмо от 27/IX и снова и снова умоляю Вас и Алексея Николаевича не забыть

---

<sup>1</sup> Повесть «Солнце этого лета» была издана в 1957 г., дав название посмертному сборнику Г. Венуса, вышедшему в Ленинградском отделении «Советского писателя».

Г. Д. Может быть, сейчас момент для этого более благоприятный. <...> Г. Д. мне удалось сделать за предыдущий месяц две небольшие передачи. Это была для нас величайшая радость.

3

26 октября 1938 г.

<...> Следствие Г. Д., очевидно, подходит к концу, и надо думать, что преступлений у него не найдено. Режим резко изменился. Следователь (другой уже) очень со мной любезен и корректен, принимает передачу, записки для Г. Д. от меня и Бориса и передает нам обратные письма от него. Это уже большое счастье, и я чувствую себя гораздо спокойнее и лучше. 16-го октября я передала огромную передачу и письмо. 20-го получила из рук следователя два письма от Г. Д. Одно, застрявшее у прежнего следователя, от 25/IX, второе от 20-го/X же. <...> Напишите, милая, родная Людмила Ильинична, выполнил ли Алексей Николаевич свое намерение? Мне кажется, что материал, собранный о Г. Д., поступил в Москву и именно там будет решаться его судьба. 24/X минуло 9 месяцев со дня его ареста. Ведь должен быть когда-нибудь и конец! <...>

4

**БОРИС ВЕНУС**

3 января 1939 г.

<...> Мама очень больна. У нее паратиф. <...> 11. XII.38 маму уволили по сокращению штатов. На ее место посадили другого работника. Мама подала жалобу в Р.К.К., но заболела, и результат неизвестен.

Папа все еще не вернулся. 24-го января будет год, как его забрали. Говорят, что в последнее время очень многих выпустили. Наверное, мы всех несчастливей. С 16-го октября мы ничего не передавали и ничего от него не получали. Маме говорят, что он здоров и ни в чем не нуждается. <...>

5

**М. Б. ВЕНУС**

24 января 1939 г.

<...> Вообще наша жизнь — это медленная, размеренная казнь. И нет конца, нет передышки.

Сегодня, 24-го января, год, как арестовали Г. Д. Зная, что стало со мной, я не могу себе даже представить, во что превратился он. От людей, вышедших оттуда, я слышала, что во внутренней тюрьме, где все время сидит Г. Д., нет *никакой* прогулки. Люди месяцами не видят неба. Теснота невыносимая. Спят на полу, тесно прижавшись, как сельди в бочке. Поворачивается по команде вся камера,— иначе это невозможно. Летом эти несчастные так изводили друг друга распарившимися телами, что готовы были душить, пожирать друг друга, только бы избавиться от невыносимой духоты и жары. Я слышала, что люди, сидящие там, мечтают о лагере как об избавлении от этого страшного мешка и, чувствуя себя совершенно невинными, подписываются под всеми предъявляемыми обвинениями, только бы скорее выскочить отсюда.

Передачи у меня не принимают уже 3,5 мес. Теперь я уверена, что это вовсе не зависит от хода дела, а исключительно от личных качеств следователя. <...> Может быть, Г. Д. уже нет, может быть, он уже умер. Ведь за 3,5 месяца я о нем *ничего* не знаю. Но я знаю одно — что он абсолютно честен, абсолютно невинен и что такая гибель таких людей чрезвычайно некрасивая страница в истории нашей страны. <...>

6

М. Б. ВЕНУС

20 марта 1939 г.

<...> Я посылаю Вам мое заявление к Прокурору Республики. Прочтите его. Если Вы найдете возможным и нужным, передайте его. Если нет — порвите. Думаю, что это моя последняя попытка. <...>

7

ПРОКУРОРУ СССР ТОВА. ВЫШИНСКОМУ ОТ М. Б. ВЕНУС

*Заявление*

Мой муж, Г. Д. Венус, арестован 24-го января 1938 г. И прокурор по спецделам, и военный прокурор, к которым я обращалась несколько раз в течение года, отвечали мне, что дела моего мужа у них нет, наблюдение над ним не ведется и они о нем ничего не знают.

19-го февраля 1939 г. я была вызвана на допрос в НКВД. Полагаю, что меня допрашивал следователь моего мужа. На этом допросе, длившемся более двух часов, мне был нанесен целый ряд, ничем не вызванных с моей стороны, оскорблений как гражданину, как человеку, как женщине. Тут я услышала, что я «враг советской власти», хоть и не заявляю этого громогласно <...> В таком тоне, на очень высоких нотах велся весь допрос. <...> И это лишь оттого, что я отказалась подписать протокол допроса, не соответствовавший моим показаниям.

<...> Считая дело моего мужа «безнадзорным», так как оба куйбышевских прокурора отказываются от него, охваченная после допроса невыразимым ужасом, оттого что мой муж в распоряжении такого следователя, я написала заявление начальнику НКВД, кратко сообщила о допросе и очень просила ускорить следствие, разрешить передачу (в течение 14 месяцев я сделала три передачи, последнюю 16 октября 1938 г.) и сообщить мне, какой прокурор наблюдает за следствием. Но прошел уже месяц, и я не имею ответа. <...>

Я прошу ускорить дело моего мужа. Я твердо уверена в его невиновности, я верю в советское правосудие и надеюсь, что он выйдет на свободу, что нам будет дано право жить и работать. Мой муж очень слабого здоровья, тяжелые годы ссылки подорвали его еще больше, что сделалось с ним за 14 месяцев тюрьмы,— я с трудом себе представляю. Боюсь, что он не выдержит этого тяжелого испытания, если оно продлится еще дольше.

20.III.38 г.

8

М. Б. ВЕНУС — Л. И. ТОЛСТОЙ

3 мая 1939

<...> Знаю очень страшные вещи. Знаю, что под ужасными пытками Г. Д., как и сотни, тысячи других, подписал то, что от него требовали и чего никогда, никогда не было. Чем это теперь кончится, как распутается,— трудно себе представить. Из рассказов я поняла, что Г. Д. одно время был не совсем нормален, но теперь я получила от него письмо, датированное 9 апреля: оно написано довольно логично и разумно. Очевидно, он поправился и пришел в себя. 3 апреля у меня приняли передачу, 7-го мая обещали опять принять. <...>

24 апреля минуло 15 месяцев со дня ареста Г. Д. <...>



М. Б. ВЕНУС — А. Н. ТОЛСТОМУ

Телеграмма 20 мая 1939 г.

Венус, истощенный цингой, большой плевритом, в тяжелом состоянии отправлен в Сызранскую тюремную больницу. Умоляю свиданием дать возможность поднять в умирающем волю к жизни. Умоляю помощи, защиты.

Венус.

ТЕЛЕГРАММА

28 мая 1939 г.

Отказали. Венус.

М. Б. ВЕНУС — Л. И. ТОЛСТОЙ

5 июня 1939 г.

⟨...⟩ Передайте, пожалуйста, Алексею Николаевичу огромное спасибо за его телеграммы. Пусть мне не разрешили свидания! Телеграммы читали в НКВД, читали в Областной прокуратуре. Пусть эти каменные люди знают, пусть они видят, что **НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК** не остается глухим к человеческому воплю.

⟨...⟩ Сегодня отправляю официальное заявление Прокурору военной прокуратуры г. Куйбышева, копию Прокурору Союза СССР, копию депутату Верховного Совета СССР писателю А. Н. Толстому. Передайте А. Н., что умоляю его сделать все, что в его возможностях, для спасения невинно погибающего Венуса и верю, что делает.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ М. Б. ВЕНУС

5 июня 1939 г.

Муж мой, писатель Г. Д. Венус, арестованный 1,5 года назад, больной цингой и запущенным плевритом, 12/V сего года в очень тяжелом состоянии, с температу-

рой 40° отправлен в Сызранскую тюремную больницу. Целый ряд фактов дает мне основание думать, что кто-то заинтересован в том, чтобы погубить Венуса.

⟨...⟩ Ведь следственные органы заинтересованы в том, чтобы выявить виновность или невиновность человека, а вовсе не в том, чтобы заморить его. ⟨...⟩

19 мая в Военной прокуратуре я узнала, что Венус на пути в те далекие края, откуда никто и никогда не возвращается. ⟨...⟩

Венус — жертва. Невинная жертва клеветнических и, может быть, вынужденных свидетельских показаний. ⟨...⟩ Из слов тов. Цыбина я поняла, что в решении вопроса о Венусе не такую большую роль играет обвинение, не серьезное, как его прошлое.

Но этому прошлому уже 20 лет. Это прошлое — ошибка ранней юности, имеющая много оправданий и обоснований, — искуплено многими годами безукоризненно честной работы и жизни на виду всей писательской общественности г. Ленинграда. Оно искуплено пятью годами ссылки, за которой следовали полный подрыв уважения и доверия, невозможность работать, нищета и лишения. Оно искуплено и, наконец, полутора годами тюремного заключения, полной потерей здоровья, а может быть, и жизни, невыразимыми страданиями невинной семьи невинного Венуса. Неужели всего этого не хватит? Неужели Венус и вся его семья не искупили достаточно тяжелой ценой ошибку его ранней юности? Я прошу вспомнить слова тов. Сталина, который говорит, что в нашей стране не отвечают за прошлое, который всех нас учит бережному, осторожному отношению к живому человеку.

А ведь мы тоже живые люди, с живыми человеческими сердцами. ⟨...⟩

13

БОРИС ВЕНУС — А. Н. ТОСТОМУ

Телеграмма после 8 июня 1939 г.

Уже поздно. Мой папа скончался восьмого июня. Борис Венус.

И вот главный документ — обвинительное заключение, которое вдова убитого писателя выносит его учителям и убийцам.

ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б), товарищу Сталину  
 НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА СССР тов. Берия  
 ВЕРХОВНОМУ ПРОКУРОРУ СОЮЗА СССР тов. Панкратову  
 ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР писателю  
 А. Н. Толстому

от Венус Мирры Бори-  
 совны, проживающей в  
 г. Куйбышеве-обл., улица  
 Академика Павлова,  
 № 10, кв. 2.

### ЗАЯВЛЕНИЕ

1-го января 1938 года писателю Георгию Венусу минуло 40 лет. 24 января того же года в расцвете физических и творческих сил он был заточен в камеру внутренней тюрьмы г. Куйбышева, где его промучили 17 месяцев.

8 июня 1939 года Георгий Венус скончался в Сызранской больнице от скоротечной чахотки. Ни отец, ни мать, ни дед Г. Венуса, ни сам Г. Венус никогда легкими не болели и никакого предрасположения к этой болезни не имели.

Его убили, его замучили в Куйбышевской внутренней тюрьме. Я, жена его, М. Б. Венус, хочу знать — за что?

Георгий Венус получил наказание большее, чем высшую меру. При высшей мере человек страдает сутки с момента объявления и несколько секунд исполнения. Г. Венуса убивали физически и морально — медленно, размеренно, коварно и страшно жестоко — 530 дней и 530 ночей...

Георгия Венуса продержали все 17 месяцев во внутренней тюрьме НКВД, где весь 1938-й г. вовсе не было прогулки, где он ежедневно, ежечасно, ежеминутно чувствовал непосредственный гнет своих мучителей, нечеловеческими пытками создававших его обвинение. Его морили голодом, его лишили воздуха, неба и солнца, книги, работы, живого слова. Его довели до цинги, до туберкулеза, его добивали уже умирающего, а мне, жене, не давали права увидеть его, хотя бы раз перед смертью не дали скрасить его последние минуты; влить в него бодрость, поднять в замученном человеке надежду и волю к жизни.

И это понятно! Людям, убившим его, было страшно показать, что они из него сделали. Им нужно было, чтобы вместе с Венусом ушла в могилу страшная кровавая тайна его мучений.

Венуса арестовали «без формальностей», без санкции прокурора. Дали пропуск и предложили пройти для переговоров к тов. Филиппову. Еще осведомились, свободен ли он, не желает ли прийти в другой раз. Он ушел и не вернулся. Поймали, как зверя в капкан, как мышь в мышеловку.

Спустя три недели на квартиру явился следователь Максимов, произвел обыск, не давший результатов, забрал письма матери, пишущую машинку, которая была источником нашего существования, рукописи Венуса. И все... Г. Венус канул в бездну.

Комендатура НКВД, кабинеты прокуроров, заявления, просьбы, мольбы, телефонные звонки — все бесполезно. Всюду глухая стена, грубые, страшные, нечеловеческие лица.

Спустя несколько месяцев после ареста Г. Венуса Максимов передал мне записку, в которой Венус просил: «Сухарей, сахару, чесноку, луку и, если можно, немного жиров»<sup>1</sup>. Однако, передавая записку, Максимов тут же предупредил: «Не просите, не звоните — я все равно ничего не разрешу».

Так изысканно казнили Венуса и его семью.

Я написала начальнику НКВД, умоляя разрешения на передачу, но не получила ответа. Я написала Максиму, пытаюсь разбудить в нем человеческие чувства. Напрасно. Я услышала по телефону, что я назойливая, невыносимая женщина. Я посетила всех куйбышевских прокуроров, умоляя удовлетворить просьбу Венуса. Мне отвечали коротко и сурово, что передача зависит исключительно от следователя, и глазами или словами

---

<sup>1</sup> Сохранилась собственноручная записка Венуса, которую М. Б. Венус приложил к своему письму А. Н. Толстому от 2 сентября 1938 г. Вот ее текст: «Будь добра и передай мне, пожалуйста, самую маленькую подушку, какая у нас имеется, и легкое одеяло (не плэд), а также мое осеннее пальто, только почини сперва его карманы. Я, в свою очередь, попрошу следователя передать тебе (по получении осеннего пальто) мое зимнее пальто и шапку. Пошли также в мешке немного белых или серых сухарей, жестяную кружку, сахару, дешевых папирос, чесноку и луку, хотя бы зеленого, мыла и спичек. Если можно, немного жиров».

Еще раз крепко целую тебя и Борю. Будьте здоровы, мои дорогие. Ваш Юра».

указывали на дверь. Я отослала записку Венуса депутату Верховного Совета писателю А. Н. Толстому. Ведь живой человек, уже истощенный голодом, уже больной цингой, просил только сухарей, сахару, чесноку и луку,— и я ждала помощи. Я получила ответ, что жалоба моя передана в Московскую прокуратуру, где она принята к сведению. Спустя некоторое время мне сообщили оттуда же, что следствие Венуса передано другому следователю. Но я тщетно искала нового следователя, желая наладить с ним связь передачи. Секретариат, начальник 4-го отделения, за которыми числился Венус, снова и снова направляли меня к Максимову, а Максимов все больше и больше глумился надо мной.

В феврале 1939 года я подверглась допросу в НКВД, из которого я поняла, как получаются «признания» и «свидетельские показания», как создаются обвинения. Приведенная этим допросом в полное отчаяние, я снова позвонила Максимову и умоляла закончить, наконец, следствие. Я убеждала его, что Венус скоро умрет, что человек не может так долго выдержать тяжелого тюремного режима. Я умоляла его о передаче. Максимов сказал, что от моих разговоров несет антисоветским духом, и бросил трубку. Я снова обратилась в спецпрокуратуру, военную прокуратуру, но и тут и там мне сказали, что дела Венуса у них не было, нет и не будет, что они не имеют к нему никакого отношения и ничего о нем не знают.

Дело Венуса, построенное на насилии и произволе, не имело прокурора. Оно было безнадзорное.

В 1939 году, когда за стенами НКВД почувствовался какой-то просвет, когда большинству обвиняемых переменили следователей, Венус все же остался во власти Максимова.

12 мая Максимов проводил Венуса в Сызранскую тюремную больницу, проводил в могилу...

О своем февральском допросе я сообщила заявлением начальнику НКВД и военному прокурору, не получив никакого отклика, я сообщила в Москву. Очевидно, под давлением Москвы мне в марте сообщили из Областной прокуратуры, что наблюдение за делом Венуса передано военной прокуратуре, куда надлежит обращаться за справками. Военная прокуратура все отвечала, что следствие не закончено, дело все еще в НКВД. Очевидно, создать обвинение честнейшего человека не так просто, для этого потребовалось 17 месяцев.

Недели шли, моя подрастающая тревога переходила в отчаяние, на мои вопросы по телефону: «Здоров ли Венус?» — Максимов неизменно отвечал одно и то же: «А что ему делается?»

13-го мая, когда умирающий Г. Венус прибыл в Сызранскую тюремную больницу, я, еще ничего не зная о его болезни, пришла на прием к военному прокурору. Товарищ Босулаев ударил рукой по розовой папке: «Я затребовал дело Венуса. Вот оно на столе. Я его еще не читал. Зайдите через несколько дней». И 19-го мая, ознакомившись с делом Венуса по папкам, состряпанным «Максимовыми» и «Филипповыми», военная прокуратура в лице тов. Цыбина объявила мне культурно, с полным сознанием своей объективности, что Венуса нельзя освободить. Против Венуса имеются три свидетельских показания, которых нельзя проверить, так как свидетели давно и далеко высланы. Поговорить с Венусом, уточнить, проверить творчество «Максимовых» уже тоже не представлялось возможности, так как Венус был тяжело болен. Венуса нельзя было осудить, Венуса нельзя было освободить. Венус должен был умереть. Другого выхода не было. И 8-го июня Венус умер...

Узнав, что Венус смертельно болен, я тщетно умоляла о свидании, тщетно пыталась узнать что-нибудь определенное о его болезни. Меня отправили к Максиму, а Максим ответил коротко: «Я вам не доктор». Я послала телеграмму депутату Верховного Совета писателю А. Н. Толстому, умоляя о помощи. Мне хотелось поднять в забитом, замученном человеке волю к жизни. Алексей Николаевич ответил мне телеграммой, в которой предлагал обратиться к начальнику НКВД. Меня принял зам. начальника НКВД, прочитав телеграмму и мое заявление, все же отказал в свидании. В моем присутствии зам. нач. НКВД позвонил Максиму и дал распоряжение принять передачу. Максим и тут пытался сорвать ее, ссылаясь на то, что Венус на диете. Я спросила зам. нач. НКВД — почему Венус все 1,5 года находится во власти Максимова, я сказала ему, что Максимов грубый, тупой, ограниченный, некультурный человек, что он не может разобраться в таком человеке, как Г. Венус. Начальник ответил мне, что Максимов работает не один — ему «помогают». Это верно. В 1938 году, когда «максимовы» уставали пытать и мучить «венусов», им помогали «филипповы», «прусаковы» и др. Когда «Ве-

нусы» по 5—10 суток стояли в «стойке» перед своими мучителями, требовавшими, чтобы их жертвы подписались под несуществующими преступлениями,— «Максимовы» и «Филипповы» приходили друг другу на смену. А когда на распухших ногах «Венусов» трескалась обувь, когда они в изнеможении падали на пол, их поднимали ударами жгута, зуботычиной, их отливали водой и снова ставили на место. Так составлялись папки, из которых прокуроры делали свои объективные выводы.

Передачу разрешили тогда, когда она была уже не нужна Венусу, и он, едва поворачивая язык, попросил сиделку раздать ее товарищам по палате. Передав разрешение на эту передачу, Максимов сурово сказал: «Только передачу, никаких свиданий, никакой переписки». Но тюремный персонал г. Сызрани оказался человечнее Максимова. В своей предсмертной записке Венус мне писал: «Теперь наконец, начну поправляться, еще в марте я кроме цинги жаловался доктору, что у меня очень болят бока, но доктор говорил, что это боли психоневрастенического характера, пока дошло до очень тяжелого плеврита. Теперь у меня 39°, но было гораздо хуже. В больнице неплохо. Как жаль, что моя бурная болезнь отодвинула суд».

Ясно, что до 13-го мая Г. Венус не имел никакой помощи и лежал в тюремной камере, а попав наконец в больницу, он надеялся поправиться. Доктор не мог так долго ошибаться. Не мог не распознать галопирующего туберкулеза. Платки, полотенца Венуса перепачканы мокротой с кровью. Палатная сестра рассказала мне, что палочки Коха росли в нем не по дням, а по часам. Отправляя Венуса в Сызрань, его попросту добивали, чтобы он ничего не мог рассказать на суде. Также палатная сестра, принявшая Венуса, рассказала мне, что 13-го мая, явившись в больницу, обреченный Венус, едва державшийся на ногах, притащил свой мешок на собственных плечах. В мешке было зимнее пальто, подушка, одеяло, валенки, белье, все его тюремное имущество.

Я видела в Сызрани, как «пригоняли» в тюрьму мучеников «Венусов». Я видела, как, обессилев, они в изнеможении падают на пыль дороги и как конвоир тщательно пытается поднять их толчками сапога. Я считала своим долгом доложить об этом в военную прокуратуру, но сомневаюсь сейчас, чтобы это было принято к сведению.

Вернувшись из Сызрани, я подала заявление военному прокурору, в котором просила выдать умирающего на поруки. 8-го июня, когда я пришла за ответом, мне сказали, что Венус поправляется — температура 37,6, а 8-го июня Венус умер. 13-го я снова пришла справиться о здоровье Венуса. Товарищ Босулаев сказал, что новых сведений не поступало. 14-го я уехала в Сызрань в надежде повидать врача, а 15-го узнала от начальника тюрьмы, что Венус умер.

Они отняли у меня даже труп моего замученного мужа, отняли даже его могилу...

Мой сын Борис Венус уже в 12 лет вступил на мученический путь своего отца. 9-го июня, когда труп его забитого отца уже лежал в огромной общей яме, куда ежедневно, как бревна, сбрасывают десятки тюремных мучеников, член райсовета М. С. Субботина вела очередную воспитательную беседу. О том, что шалость, совершенная Герой Васильевым, подошла бы только Борису Венусу. Потому что он «чуждый», его отец «враг народа», «вредитель», сидит в тюрьме, Борис тоже скоро сядет в тюрьму, но они «дети рабочих», «свои» и т. д. и т. д. Такие беседы Субботина очень часто ведет с ребятами нашего и соседних дворов. Она ведет воспитательную работу, она учит бдительности.

Что его отец сидел в тюрьме, мой мальчик чувствовал в школе, он чувствовал это и дома, т. к. бдительные «субботины» каждые два месяца выгоняют его мать со службы и она долго и тщетно обивает пороги учреждений в поисках другой. Он чувствовал это каждый день, каждый час своей жизни. Как же сейчас? Когда добились отца, чтобы он не мог сказать своего последнего слова? Кто же сейчас защитит мальчика?

«Субботины» в быту и в жизни. «Максимовы» и «Филлиповы» в следственных органах. Какое страшное вопиющее зло! Как они изувечили, исковеркали жизнь! Сколько они погубили прекрасных людей! Какой звериный, сверхчеловеческий страх рассеяли они! Как они изуродовали все человеческие чувства! Если вы стали жертвой «Субботиных» и «Максимовых» — вам никто не протянет руку помощи. От вас отрекутся братья и сестры, от вас отвернутся лучшие друзья. Так страшна и беспощадна казнь «Максимовых», круговая порука, введенная ими в жизнь. Так чудовищен страх перед ними. И это понятно. 13 месяцев, напрягая всю свою память и фантазию, я никак



не могла придумать, что могло послужить поводом к аресту Венуса. А в феврале, на допросе, я поняла, что поводом был некий Гезетти<sup>1</sup>, чужой и далекий нам человек, три-четыре раза пришедший ко мне, принося для переписки на машинке главы из книги Машбиц-Верова об А. М. Горьком.

Жертвы «Субботиных», «Максимовых» и «Филипповых» исчисляются тысячами. Мы, матери и жены тюремных мучеников,— страдаем не меньше их. Мы умирали бы сотнями каждый день, каждый час,— и это было бы легче нашей страшной жизни. Но рядом с нами — наши дети. Они глазами, словами, изломанными детскими сердцами молят о жизни, о защите, о помощи. И ради них мы должны владеть это тяжкое, страшное бремя.

И вот я, загнанная в тупик, растерзанная женщина, у которой с кровью вырвали сердце, у которой отняли солнце и свет и радость жизни, считаю своим долгом сказать Вам, большим людям:

«Надо срочно подумать о жертвах «Максимовых», идущих по мученическому пути Г. Венуса, и прежде всего о тех, кто заполняет тюремные больницы и сумасшедшие дома.

Надо серьезно и по-настоящему подумать о перевоспитании «выкорчевывателей» — «субботиных», «максимовых», пронесшихся страшным кровавым вихрем над нашей родиной, открывших позорные страницы нашей истории».

А если это неверно, бросьте меня на растерзание «Максимовым». Пусть они замучают меня так же, как замучили моего мужа — невиннейшего из невинных, честнейшего из честных, прекрасного человека и талантливое писателя Георгия Давыдовича Венуса.

Я прошу расследовать дело убийства Георгия Венуса, я прошу строить расследование не на папках, созданных «Максимовыми» и «Филипповыми», как сделали это работники военной прокуратуры. Я прошу собрать сведения о писателе Георгии Венусе, его характеристики от

---

<sup>1</sup> Речь идет об Александре Алексеевиче Гизетти (1888—1938) — литературном критике и публицисте, участника Вольной философской ассоциации (Вольфилы), существовавшей в Петрограде в начале 20-х годов. Затем А. А. Гизетти служил в Библиотеке Академии наук; был выслан из Ленинграда, очевидно одновременно с Г. Венусом, и тоже оказался в Куйбышеве. По данным санчасти НКВД г. Куйбышева, дата смерти А. А. Гизетти — 7 октября 1938 г. (За сообщение биографических сведений о Гизетти автор публикации выражает глубокую благодарность к. ф. н. А. В. Лаврову.)

живых людей, авторитетных, уважаемых писателей нашей родины: А. Н. Толстого, К. И. Чуковского, Н. С. Тихонова, С. Маршака, К. Федина, М. Слонимского, Б. Лавренева и др.

Я прошу проверить и «методы работы» Максимова, я надеюсь, что не все его жертвы отправлены в могилу.

Я прошу защитить моего сына от «Субботиных» и «Максимовых».

Я прошу вернуть мне неизданные рукописи Г. Венуса, отобранные при обыске: роман «Молочные воды» — 16 авторских листов, в двух вариантах, и его последнюю повесть, законченную за две недели до его заклания. Прекрасная повесть, залитая солнцем и светом, беспредельной любовью к человеку, к природе и радостной верой в ВЕЛИКОЕ СПРАВЕДЛИВОЕ ДЕЛО НАШЕЙ РОДИНЫ.

30.VI.39.

Венус

Четыре экземпляра этого заявления сохранились в фонде Толстого. Данными о том, было ли это заявление послано «наверх», мы не располагаем.

В романе «Молочные воды», изданном в 1933 году, Георгий Венус писал: «Россия, родина дала мне слишком много. <...> Террор, пропаганда <...> для меня слова, рожденные только вчерашним днем, я оставляю их в стороне и касаться не стану». Случилось так, что на определенное время террор сделался полновластным хозяином в России, а писатель Георгий Венус стал одним из многих миллионов его заложников. Уже по второму кругу память о миллионах мучеников сталинского режима возвращается к потомкам, но и сейчас никто не может сказать, сколько еще архивных страниц придется перелистать прежде, чем новые поколения до конца узнают правду о той страшной эпохе. История гибели Георгия Венуса — одна из таких страниц.

---

**ЛИТЕРАТУРА: ПУБЛИКАЦИИ,  
ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ПИСЬМА**



---

---

## Вяч. Вс. ИВАНОВ

### «ГИЛЬГАМЕШ» В ПЕРЕВОДЕ ГУМИЛЕВА<sup>1</sup>

Н. С. Гумилев работал над переводом «Гильгамеша» летом 1918 года, вскоре после приезда из Англии, где и до того проявлявшийся интерес к поэзии Востока у него обострился. Одним из первых он заметил сходство того нового направления в европейской поэзии, которое он противопоставлял риторике классиков предыдущего столетия, с поэзией дальневосточной, вдохновившей его в ноябре — декабре 1917 года на «Фарфоровый павильон». Ему начали открываться новые дали не только в пространстве мировой поэзии, но и в ее начальных письменных свидетельствах. Немалую роль могло сыграть здесь и возобновление встреч со старым товарищем Гумилева, замечательным востоковедом и поэтом В. К. Шилейко, который в это же время трудился над поэтическим переводом «Гильгамеша» и других больших произведений аккадской (ассиро-вавилонской) литературы и написал предисловие к переводу Гумилева. Отрывок из перевода Шилейко с обоснованием именно такой передачи аккадского стиха, которая близка и к принятому Гумилевым (с помощью русского дольника — размера, который акмеисты разрабатывали вслед за Блоком), включен в предисловие Шилейко, помеченное июлем 1918 года, тогда как предисловие самого Гумилева датировано 7 августа 1918 года. Из сличения этих двух дат и двух переводов (из которых перевод Шилейко пока нам известен только в отрывках<sup>1</sup>) можно сделать вывод, что оба поэта стали переводить «Гильгамеш» почти в одно время. Гумилев в своем предисловии сообщает, что он «пользовался (<...> изредка указа-

---

<sup>1</sup> Издательство готовит к публикации Сочинения Н. С. Гумилева в 3-х томах.

ниями В. К. Шилейко». Думается, что эти указания были особенно ценны в том, что касалось ритма поэмы. Ведь Гумилев в основном пользовался французским переводом Дорма, который едва ли мог помочь ему в определении того, как найти русский стихотворный эквивалент аккадскому эпическому стиху.

Сравним два отрывка из начала и середины. Вот как выглядит начало поэмы у Гумилева:

О том, кто все видел до края вселенной,  
Кто скрытое ведал, кто все постиг,  
Испытывал судьбы земли и неба,  
Глубины познания всех мудрецов.

Этот же текст в переводе Шилейко:

Об увидевшем все до края мира,  
О проникавшем все, постигшем все,  
О том, кто прочел совокупно все писанья,  
Глубину премудрости всех книгоцетов.

Поскольку первые три строки подлинника дошли в очень плохом виде, они (в особенности третья строка) по-разному домысливаются в разных переводах. Поэтому столь далеко идущее сходство и в форме, и в смысле двух почти одновременных переводов не может быть случайным. Перевод Шилейко менее литературен, стремится к большей буквальной точности. Гумилев приближает поэму к европейским и русским поэтическим формам. Ему яснее и ритмические русские эквиваленты. Оба перевода тщательно воспроизводят и параллелизмы (передачу одного и того же содержания разными словами: «ведал», «постиг» и т. п.), столь важные для древней поэзии на семитских языках.

Впечатление близости двух переводов усиливается при сравнении VI таблицы. Например, гумилевским строкам:

Он оружие омыл, он начистил оружие,  
По спине распустил благовонные кудри,  
Сбросил грязное, чистое набросил на плечи,—

у Шилейко отвечают:

Он омыл свой меч, он очистил свой меч,  
По спине своей распустил свои кудри,  
Снял он грязное платье, чистым платьем облекся.

Сопоставляя эти и другие дошедшие до нас части переводов, приходишь к выводу, что хотя бы какие-то строки поэты должны были обсуждать друг с другом, иначе столь далеко идущее сходство труднообъяснимо.

<sup>1</sup> Ш и л е й к о В. К. Восток вечности. М., Книга, 1987.

Возможно, что начало перевода Шилейко Гумилев мог знать, начиная свою работу, а Шилейко, в свою очередь, в своем труде, законченном к 1920 году, учитывал опубликованный не позднее марта 1919 года<sup>1</sup> полный текст перевода Гумилева. Контактам между двумя друзьями по акмеизму могло способствовать и то, что оба они с 1918 года вместе работали для «Всемирной литературы», где и должен был выйти том переводов Шилейко с шумерского и аккадского.

Можно догадываться о том, что привлекало Гумилева к вавилонской поэме и ее ассирийскому варианту. В поэме воспевается мужественный герой, созвучный тому воплощению черт сильного человека, которое так привлекало Гумилева в его собственной поэзии. Основные темы поэзии самого Гумилева — отношение человека к судьбе и смерти, к испытаниям, через которые проходит герой, — уже есть и в этом удивительном тексте, где так рано обозначилось главное, чем и позднее, вплоть до XX века н. э., будут мучиться и увлекаться лучшие среди поэтов. В «Гильгамеше» Гумилеву близко было первозданное изображение мира, людей, их судьбы и их занятий. По существу, его увлечение Африкой, ее искусством и песнями, как потом интерес к персидской и древней дальневосточной поэзии, было частью того ухода от европейских стандартов, который он постоянно утверждал и как программу для собственного поведения. Ему сродни была та охота к перемене мест, которая определила жизненный и живописный путь Гогена, на Таити, в изображениях океанийских женщин и в грубой керамике, сделанной на древнеперуанский лад, искавшего выход за пределы наскучившей ему Европы. «Гильгамеш» удален от европейской поэзии и во времени, и в пространстве. Но вместе с тем именно в аккадском эпосе Гумилев нашел и созвучные себе вечные темы.

Сразу же после работы над переводом «Гильгамеша» Гумилев пишет свою «Поэму Начала», из которой завершена только Первая песнь Первой книги «Дракон». В дополнение к тому, что можно было сказать раньше о связи этой поэмы с ассиро-вавилонским эпосом<sup>1</sup>, недавно найденные отрывки разных (трех) вариантов начала Второй песни «Дракона» позволяют прояснить то, как это произведение связано одновременно и с

---

<sup>1</sup> Крейд Вадим. Н. С. Гумилев. Библиография. Orange, Connecticut, Antignary (Антиквариат), 1988, с. 135.

вавилонским космогоническим мифом, и с собственной поэзией позднего Гумилева. С вавилонским мифологическим эпосом поэму роднит (во Второй ее песни, как и в Первой) стремление раскрыть начало мироздания и пути его становления: в этом смысле Гумилеву в ранней мифопоэтической традиции созвучно то, что делает ее по сути сходной и с тенденциями современной науки, доискивающейся начала всех начал (в космологических теориях, как и в науках о жизни и разуме, которые снова, как в древней мифологии, оказываются связанными с космогонией: Вселенная возникла так, что в ней оказался возможным человек и разум). Гумилев и здесь прежде всего мыслитель-поэт, думающий о природе и возникновении числа и слова:

Сознавая лишь постоянство,  
Без страданий и без усад,  
В неродившееся пространство  
Устремлялся бесплотный взгляд.

Мир был легок, бесформен, пресен,  
Бездыханен и недвижим,  
И своих трагических песен  
Не водило время над ним.

Но от взгляда сущностью новой  
Загорелась первая мысль,  
Вместе с мыслью родилось слово,  
Предводитель священных числ.

И, возжаждав радости странствий,  
Все сверканье и все тепло,  
В чуть слагающемся пространстве  
Слово тонким лучом прошло,

Млечной радугою повисло,  
Озарив непомерный сон;  
И дробящие слово числа  
Объясняли его закон<sup>2</sup>.

То соотношение Слова, с которого все начинается, и связанного с ним числа (чисел), о чем Гумилев вскоре напишет в одном из лучших поздних своих стихотворений, здесь дается на фоне древневосточной космо-

<sup>1</sup> Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка.— В кн.: Взгляд. М., Советский писатель, 1988.

<sup>2</sup> Поэма Начала. Книга Первая. Дракон. Песнь II (вариант 3).— ЦГАЛИ, ф. 147, оп. 1, ед. хр. 9. Впервые напечатано: Николай Гумилев. Неизданное и несобранное. Составление, редакция и комментарии М. Баскер и Ш. Греем. Paris, УМСА Press 1986, с. 36—37.



логической символики. Гумилев знал, что в мифопоэтических традициях начало обозначается чаще всего отрицательно («когда не было ни земли, ни неба...»). Именно этот способ выражения принят им в следующей главке той же поэмы:

В этом мире блаженно-новом,  
Как сверканье и как тепло,  
Было между числом и словом  
И не слово и не число.

В незавершенных набросках появляется первый дракон. Из найденных в том же архиве планов поэмы видно, что в ней Гумилев собирался писать о «земных драконах». Чудища, подобные Хумбабе, которого осилил Гильгамеш, должны были напомнить продолжение мифологического эпоса Гумилева. Дальше, судя по тем же наброскам, он собирался писать не только о «преображении драконов», но и о «преображении человека». Люди и драконы должны были сталкиваться (как в конце Первой Песни «Дракона»). За собственно мифологической частью поэмы виднелась эпическая, по духу близкая к «Гильгамешу».

Перевод вавилонской поэмы, сам по себе значительный как первый опыт приобщения к ней русского читателя, для Гумилева был и шагом к написанию собственного эпоса. Судьба, ставшая его самого испытывать, как нового Гильгамеша, не дала ему завершить задуманную «Поэму Начала». Но в переводе «Гильгамеша» мы видим и подготовку к выполнению этого грандиозного эпического замысла. Гумилеву было тесно в ограниченном объеме лирического стихотворения. «Гильгамеш» был одним из первых его опытов преодоления, выхода за пределы стеснявшей его поэтической формы. Он вырывался на простор древневосточного эпоса, который хотел сделать современным. Сам он погибает, как трагический герой эпоса, не успев выполнить свой замысел. Тем ценнее первые подступы к его осуществлению.



---

## ЗАБЫТАЯ КНИГА

Марка серии «Забывтая книга»

## ГИЛЬГАМЕШ

### ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Не будучи ассириологом, я не задавался целью дать перевод, который имел бы научное значение. Для составления его я пользовался трудом Paul Dhorme «Choix de textes religieux assyrobabyloniens. Transcription, traduction, commentaire», Paris, 1907, и изредка указаниями В. К. Шилейко <...>. Желая сделать перевод приемлемым для всех любящих поэзию, я позволил себе восстановить по догадке недостающие части некоторых строк, выкинуть утомительные повторения, свести в одно целое эпизоды, разъединенные лакунами, и, когда бывал уверен, что говорю о том же, о чем и автор поэмы, несколькими фразами заполнить слишком уж досадные пробелы дошедших до нас таблиц. Ради легкости чтения, я, строго придерживаясь стихосложения подлинника, стремился создать для каждой строки подобие ритма, связывая их, кроме того, общими для всех женскими окончаниями. Я полагаю, что был вправе применить указанные выше приемы, потому что изумительно прекрасная поэма о Гильгамеше должна быть достоянием всех, а не только узких специалистов. И пусть трудность работы послужит оправданием ее недостатков.

*Н. Гумилев*

*7 августа 1918.*

*Петербург.*

### ТАБЛИЦА ПЕРВАЯ

О том, кто все видел до края вселенной,  
Кто скрытое ведал, кто все постиг,  
Испытывал судьбы земли и неба,  
Глубины познания всех мудрецов.  
Неизвестное знал он, разгадывал тайны,  
О днях до потопа принес нам весть,  
Ходил он далеко, и устал, и вернулся,  
И выбил на камне свои труды.  
Стеною обвел он Урук блаженный,  
Чистого храма, Эанны святой  
Золотил основанье, меди прочнее,  
И высокие стены, с которых жрецы не сходят,  
Заклучил в них надпись на камне, лежащую там издревле.



Гильгамеш поднимает льва<sup>1</sup>.

Он прекрасный, сильный, он мудрый,  
Божество он двумя третями, человек лишь одною,  
Его тело светло, как звезда большая,  
Но не знает он равных в искусстве мученья  
Тех людей, что его доверены власти.  
Гильгамеш, не оставит он матери сына,  
Не оставит он жениху невесты,  
Дочери герою, супругу мужу,  
Днем и ночью он пирует с ними,  
Он, кому доверен Урук блаженный,  
Он, их пастырь, он, их хранитель,  
Он, прекрасный, сильный он, мудрый.

Мольба их достигла высокого неба,  
Небесные боги, владыки Урука, сказали Аруру:  
«Вот, создала ты сына, и нет ему равных,  
Но жесток Гильгамеш, днем и ночью пирует,  
Жениху не оставит невесты и мужу супруги,  
Он, кому доверен Урук блаженный,  
Он, их пастырь, он, их хранитель».  
Внимает их просьбам Аруру,  
К Аруру великой они приступают снова:  
«Ты, Аруру, уже создала Гильгамеша,  
Ты сумеешь создать и его подобье,  
Пусть они состязаются в силе, а Урук отдыхает».

<sup>1</sup> Иллюстрации настоящего издания воспроизводят оттиски вавилонских цилиндрических печатей (по William Haues Warol, The seal cylinders of Western Asia, Washington, 1910).

Внимает Аруру и в сердце рождает подобие Ану,  
Моет руки Аруру, бросает пригоршню глины  
И создает Эбани, героя, силу Ниниба.  
В волосах его тело, он носит, как женщины, косу,  
Пряди кудрей ниспадают, подобно спелым колосьям,  
Ни земли, ни людей он не знает, одет, как Гира,  
Вместе с газелями щиплет травы,  
Со скотом идет к водопою,  
С водяною тварью веселится сердцем.  
Один охотник, искусный ловчий,  
У водополя его заприметил,  
Еще и еще раз у водополя.  
Испугался охотник, его лицо потемнело,  
Опечалился сильно, горько заплакал,  
Сердце сжалось, и скорбь проникла до чрева,  
Он и стадо его поспешно направились к дому.

Уста отверзает охотник, отцу возвещает:  
«Мой отец, человек, что с горы спустился,—  
Во всей стране велика его сила,  
Велика его сила, как воинство Ану —  
По нашим владеньям свободно бродит.  
Всегда он на пастбище средь газелей,  
Всегда его ноги у водополя,  
Я брожу и не смею к нему приближаться.  
Я вырыл ловушки, он их засыпал,  
Я сети поставил, он их вырвал,  
Угнал от меня он зверей пустыни,  
Он не дает мне трудиться в пустыне».  
Уста отверзает отец, охотника учит:  
«Найди в блаженном Уруке царя Гильгамеша —  
Во всей стране велика его сила,  
Велика его сила, как воинство Ану —  
Расскажи ему, что ты знаешь, попроси у него совета».  
Отцовскому слову внимает охотник,  
Пускается в путь, шаги замедляет в Уруке,  
Приходит на пир, говорит Гильгамешу:  
«О царь, человек, что с горы спустился,  
В твоих владеньях свободно бродит,  
Я вырыл ловушки, он их засыпал,  
Я сети поставил, он их вырвал,  
Он мне не дает трудиться в пустыне».

Уста Гильгамеш отверзает, и внимает охотник:  
«Возвратись, мой охотник, и возьми с собою блудницу,

И когда человек тот придет к водопою,  
Пусть она снимет одежды, а он возьмет ее зрелость.  
Он приблизится к ней, едва он ее увидит,  
И оставит зверей, что росли средь его пустыни».  
И пошел охотник, и взял с собою блудницу,  
Оба отправились в путь прямою дорогой  
И на третий день подошли к тому полю.  
Сел на место охотник, и села блудница,  
День и другой ожидают у водопоя,  
Звери приходят и пьют холодную воду,  
Прибегает стадо, веселится сердцем.  
И он, Эабани — его родина горы —  
С газелями вместе щиплет травы,  
С скотом идет к водопою,  
С водяными тварями веселится сердцем.  
Увидала его блудница, страстного человека,  
Сильного, разрушителя, посреди пустыни:  
«Это он, блудница, открой свои груди,  
Открой свое лоно, пусть он возьмет твою зрелость.  
Дай ему наслажденье, дело женщин.  
Едва он увидит тебя, он к тебе устремится  
И оставит зверей, что росли средь его пустыни».  
Обнажила груди блудница и лоно открыла,  
Не стыдилась она, вдохнула его дыханье,  
Сбросила ткань и легла, а он лег сверху,  
Силу своей любви на нее направил.

Шесть дней, семь ночей приходил Эабани,  
забавлялся с блудницей,  
И когда он жажду свою насытил,  
Он обратился к зверям, как прежде.  
Увидали его, Эабани, и умчались газели,  
От него отпрянули звери его пустыни.  
Устыдился себя Эабани, его тело стало тяжелым,  
Останавливались колени, когда он гнался за стадом,  
И не мог он бежать, как бегал донине.  
Но теперь ощущает он новый разум,  
Возвращается и садится у ног блудницы,  
Смотрит в очи его блудница,  
И пока говорит, его внимательны уши:  
«Ты силен и прекрасен, ты — как бог, Эабани,  
Что же делаешь ты средь зверей пустыни?  
Я тебя поведу в Урук высокий,  
В дом священный, жилище Иштар и Ану,  
Где живет Гильгамеш, совершенный силой,

И царит над людьми, как дикий буйвол».  
Говорит, и приятны ему эти речи,  
Друга по сердцу искать он хочет:  
«Я согласен, блудница, веди меня в город,  
Где живет Гильгамеш, совершенный силой,  
Я хочу его вызвать и с ним поспорить;  
Закричу я в Уруке — это я могучий,  
Это я людскими судьбами правлю,  
Тот, кто родился в пустыне, велика его сила,  
Пред его лицом твое побледнеет,  
И кто будет повержен, знаю заране».

Эбани с блудницей в Урук вступают,  
Им встречаются люди в пышных одеждах,  
Вот перед ними дворец Гильгамеша,  
Место, в котором не кончается праздник,  
Юноши там пируют, пируют блудницы,  
Все полны вождельем, полны весельем,  
Криками заставляют выйти старцев;  
И опять блудница говорит Эбани:  
«О Эбани, ты теперь мудрый,  
Вот Гильгамеш пред тобою, человек, который смеется,  
Видишь его? Посмотри в его очи!  
Его очи сияют, его вид благороден,  
Его тело возбуждает желанья,  
И могуществом тебя он выше,  
Он, что не ложится ни днем, ни ночью.  
Усмири, Эбани, свой гнев напрасный,  
Гильгамеш, его любит Шамаш,  
В него мудрость вдохнули Ану, Бел и Эа;  
Еще раньше, чем ты с горы спустился,  
Гильгамеш в Уруке во сне тебя видел;  
Пробудился и матери сон рассказал он:

«Мать моя, снилось мне этой ночью —  
Звездами было полно небо,  
И, как воинство Ану, на меня навалился  
Человек, на горе рожденный;  
Я схватил его, но был он сильнее,  
Я швырнул его, но он не качнулся,  
На него поднялась вся область Урука,  
Но стоял он, как столб, и ему целовали ноги;  
Тогда, как на женщину, на него я прыгнул,  
Я его одолел и швырнул к твоему подножью,  
Это ты захотела, чтоб мы померились силой».

Римат-Белит, что ведает все, говорит господину,  
Римат-Белит, что ведает все, говорит Гильгамешу:  
«Тот, кто среди звезд в огромном небе,  
Словно воинство Ану, на тебя навалился,  
Тот, кого ты одолел и швырнул к моему подножью,  
Честный и сильный товарищ, всегда выручающий друга,  
Во всей стране велика его сила,  
Велика его сила, как воинство Ану».  
С трона заметил Гильгамеш Эабани,  
Гильгамеш говорит с Эабани,  
И садятся они, как братья, рядом.

#### ТАБЛИЦА ВТОРАЯ

Гильгамеш омрачился, услышав рассказ Эабани:  
«Слушайте, юноши, слушайте меня, старцы,  
О моем Эабани, о друге моем я плачу!  
Я, как плакальщицы, кричу причитанья,  
Мой топор и мои запястья,  
Меч мой с пояса и с кудрей украшенья,  
Одеянья празднества, знаки величья  
Я слагаю и плачу о моем Эабани,  
О нем, человеке пустыни, я плачу!»

Обнаружил в себе охотник высокое сердце,  
Он привел к Эабани блудницу, чтобы проклял тот ее  
зрелость:

«Я назначу тебе судьбу, блудница,  
Не изменится она в стране вовеки.  
Вот, я тебя проклиная великим проклятьем,  
Дом твой будет разрушен силой проклятья,  
В дом разврата загонят тебя, как скотину!  
Пусть дорога станет твоим жилищем,  
Лишь под тенью стены найдешь ты отдых,  
И распутник, и пьяный твое тело измучат,  
За то, что меня, Эабани, лишила ты силы,  
За то, что меня, Эабани, увела из моей пустыни!»  
Услыхал его Шамаш и уста отверзает,  
Взывает к нему с высокого неба:  
«Почему, Эабани, проклинаяешь ты так блудницу,  
Что дала тебе яства, достойные бога,  
Что дала тебе вина, достойные князя,  
Облекла твое тело в пышные ткани,



Эбани борется со львом.  
В поле — птица, лев и Лагашский орел.

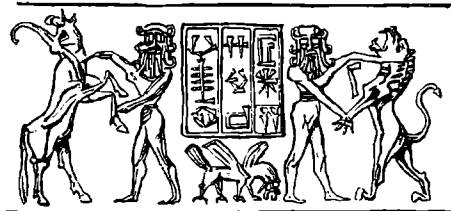
Привела к Гильгамешу, твоему прекрасному другу?  
Вот, теперь Гильгамеш твой брат, твой товарищ,  
Он кладет тебя на ночь в роскошной постели,  
В удобной постели он кладет тебя на ночь;  
В мягком кресле сидишь ты, слева от трона,  
И тебе владыки целуют ноги,  
Люди Урука поют тебе славу,  
Чтоб тебе угождали, дала тебе слуг блудница,  
И по просьбе твоей я облек ее тело позорной одеждой,  
Я облек его шкурой собачьей, и она бежит по пустыне».  
Чуть заблестала заря, великого Шамаша слово  
Долетело до Эбани, и гневное сердце смирилось:  
«Убежавшая пусть возвратится, станет путь ее легким,  
Пусть любви ее просят князья и владыки,  
Вождь могучий развяжет над нею свой пояс,  
Одарит ее золотом и ляпис-лазурью».  
Так смирил Эбани скорбное сердце.  
Наступила ночь, и один он ложится,  
И поведал другу ночную тревогу:  
«Этой ночью меня посетили виденья,  
Небеса возопили, и земля отвечала,  
И стоял неведомый муж предо мною,  
Горели глаза, а лицо было темным,  
С головою орла голова была схожа,  
И на пальцах виднелись орлиные когти.  
Высоко, высоко меж туч он вознесся,  
И меня он вознес высоко, высоко,  
От полета моя голова закружилась,  
Вместо рук у меня были крылья птицы.



— Опускайся за мною в дом мрака, жилище Нергала,  
В дом, откуда не выйдет входящий,  
Путем, по которому нет возврата,  
В дом, в котором не видят света,  
Где питаются пылью, где грязь служит пищей,  
Одеваются птицами в одеянье крыльев.—  
В жилище праха, куда я спустился,  
Я увидел поднос с ужасной тиарой,  
Изо всех тиар, что царили в мире.  
Служители Ану и Бела готовят жаркое,  
Предлагают вареную пищу и холодную воду.  
Там живет священник и воин,  
Пророк и клятвопреступник,  
Заклинатели бездн, великие боги,  
Живет Этана, и живет Гира,  
Эрешкигаль живет там, земли царица;  
Дева-писец, Белит-сери пред нею склонилась,  
Все, что она записала, читает пред нею.  
Очи она подняла, и меня увидала,  
И попросила вожатого ее не тревожить».  
Лишь блеснула заря, Гильгамеш открыл покой потаенный,  
Стол достал он огромный, что был сделан из липы,  
Медом наполнил сосуд из яшмы,  
Маслом сосуд из ляпис-лазури,  
Кубки вином, и солнце в тот миг показалось.  
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:  
«Друг, ни людей не щадит Хумбаба,  
Ни младенцев во чреве женщин».  
Уста Эабани отверз, говорит Гильгамешу:  
«Друг мой, тот, на кого мы идем, могучий,  
Это Хумбаба, тот, на кого мы идем, он страшен!»  
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:  
«Друг мой, ныне сказал ты правдивое слово».

### ТАБЛИЦА ТРЕТЬЯ

Люди Урука сказали царю Гильгамешу:  
«Рядом с тобой Эабани, верный другу,  
Против тебя Хумбаба, хранитель кедра,  
Славное дело себе ты выбрал.  
Встречей почтим мы тебя, владыка,  
И за встречу почтишь ты нас, владыка!»  
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:  
«Друг мой, пойдем во дворец высокий



Гильгамеш борется со львом и с буйволом.  
Под надписью — дракон

К служанке Нинсун, великой царице,  
К матери моей, которой ведомы тайны».

Римат-Белит долго внимала  
С грустью речам сына своего Гильгамеша.  
В храм богини она вошла поспешно,  
Возложила на тело свое украшенья  
И на грудь свою украшенья тоже,  
Тиарой своею увенчала кудри,  
По широким ступеням поднялась на террасу,  
Поднялась. И пред Шамашем положила куренья,  
Положила жертвы и к Шамашу руки воздела:  
«Для чего ты дал Гильгамешу неусыпное сердце,  
Для чего покорил ты моего сына?  
Ты коснулся его, и он уходит  
На Хумбабу дорогою отдаленной,  
В бой вступает, который ему неведом,  
Неизвестное дело затеял ныне.  
Вплоть до дня, когда он уйдет и вернется,  
Вплоть до дня, когда он достигнет кедров,  
Поразит могучего, поразит Хумбабу  
И погубит зло, что тебе ненавистно,  
Ты, когда он повернется к небу,  
Он к тебе повернется, Айя, невеста, помни!»  
Она погасила курильницу, сняла тиару,  
Она позвала Эбани и речь к нему обратила:  
«Эбани, сильный, мое веселье, внемли мне:  
Ныне вы с Гильгамешем победите Хумбабу,  
С приношением для Шамаша, с мольбою для Айи».

#### ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТАЯ

Толпится народ средь улиц Урука,  
Он замышляет дело силы,  
Не пускает уйти царя Гильгамеша.  
Вся страна поднялась против владыки,  
Вся страна собралась к стенам Урука,  
Не пускает уйти царя Гильгамеша.  
Но он прыгнул на них, как дикий буйвол,  
Опрокинул людей, заградивших выход,  
И заплакал над павшими, как слабый ребенок.  
Тогда прекрасный человек Эбани,  
Эбани, достойный ложа богини,  
Пред Гильгамешем, как бог прекрасным,  
Запер ворота, ведущие в поле,  
Выйти из них не дает Гильгамешу.  
Вместе подходят они к воротам,  
Ссорятся громко средь улиц шумных,  
Но Гильгамеш умиряет восставших,  
Он заставляет рушиться камни,  
Он заставляет качаться стену.

Вот Гильгамеш с Эбани в поле,  
Вместе идут они к лесу Хумбабы,  
Горько друг друга упрекают.  
Нет в Эбани прежней силы,  
Пряди кудрей омочены потом,  
Он родился в пустыне и боится пустыни.  
Он замедляет шаги, Эбани,  
Лицо потемнело, и сам он трепещет,  
На глаза набегают соленые слезы.  
Вот ложится он на бок уже без силы,  
Ни рукой, ни ногою не в силах двинуть,  
Отверзает уста, говорит Гильгамешу:  
«Чтоб хранить невредимыми кедры,  
Чтоб людей устрашать, Бел его предназначил,  
Предназначил Хумбабу, чей голос, как буря,  
Чья гортань, как у бога, чье дыханье, как буря.  
Он слушает крик и шаги средь чащи,  
И всех, кто в чашу его приходит,  
Кто входит под кедры, постигает немочь».  
Говорит Гильгамеш прекрасному другу, говорит Эбани:  
«Как воинство Ану, велика твоя сила,  
Ты родился в пустыне и боишься Хумбабы!  
Мое ж не боится сердце хранителя кедров».

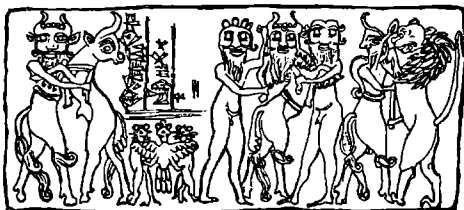


Гильгамеш и обнаженный человек одолевают оленя.  
Два человека одолевают быков

Уста Эбани отверз, говорит Гильгамешу:  
«Друг мой, не будем входить под кедры,  
Слабы руки мои, отнимаются члены».  
Другу опять говорит Гильгамеш, говорит Эбани:  
«Друг мой, как малый ребенок, ты плачешь,  
Бог не прошел здесь, тебя не поверг на землю.  
Еще перед нами путь далекий,  
Я отправлюсь один, искушенный в сраженьях,  
Ты ж вернешься домой и не будешь больше бояться,  
Усладят твой слух барабаны и песни,  
И покинет слабость твои руки и ноги.  
Но я вижу, ты встал, мы отправимся вместе,  
Твое сердце хотело битвы: забудь про смерть и не бойся!  
Человек осторожный, решительный, сильный  
Сохраняет себя в сраженьи, сохраняет и друга!  
И для дней отдаленных они сохранят свое имя!»  
Так доходят они до горы зеленой,  
Понижают голос и становятся рядом.

#### ТАБЛИЦА ПЯТАЯ

Становятся рядом, смотрят в чашу.  
И видят громадные кедры,  
И видят тропы лесные,  
Где бродит Хумбаба размеренным шагом,  
Дороги проложены прямо, пути превосходны,  
И видят кедровую гору, жилище богов, храм Ирнини.  
Пред горою возносится кедр, разрастается пышно,  
Тень его благосклонная полна ликованья,  
Притаились в ней хвощи, и мхи притаились,  
Притаились под кедром пахучие травы.



Забани борется с быком.  
Двойной Гильгамеш и небесный бык.  
Забани борется со львом

Час двойной созерцают герои чашу  
И еще созерцают два двойных часа.  
Уста Эбани отверз, говорит Гильгамешу:  
«Истинно, время нам ныне показать нашу силу,  
В месте прекрасном живет Хумбаба».  
Услыхал Гильгамеш слова Эбани,  
Он поспешно становится рядом с другом:  
«Что ж, войдем в эту чашу и отыщем Хумбабу,  
В семь одежд он облек могучее тело,  
Но готовится к бою и шесть совлекает,  
Словно раненый буйвол, приходит в ярость».  
Вот кричит Гильгамеш, его голос полон угрозы,  
Он зовет властителя леса: «Выходи, Хумбаба!»  
Раз кричит он, кричит другой раз и третий,  
Но Хумбаба нейдет ему навстречу.

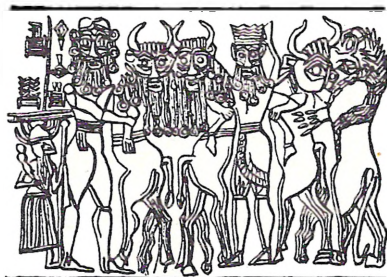
Эбани ложится на землю, и сну предается,  
И, проснувшись, о сне говорит Гильгамешу:  
«Сон, который я видел, был ужасен,  
На вершине горы мы с тобой стояли,  
И обрушилась вдруг гора под нами,  
И мы оба скатились с нее, как букашки,  
Ты, прекрасный и сильный, владыка Урука,  
Я, рожденный на свет в пустыне».  
Гильгамеш говорит в ответ Эбани:  
«Друг мой, сон твой прекрасен для нас обоих,  
Драгоценен твой сон, возвращает он счастье.  
Это Хумбаба — та гора, что ты видел,  
Знаю теперь я, что мы одолеем Хумбабу,  
Труп его бросим в чаше кедров».

Вот блеснула заря, и герои стали молиться,  
Через двадцать часов принесли они жертвы умершим,

Через тридцать часов завершили они причитанья,  
Перед Шамашем вырыли ров глубокий,  
Гильгамеш поднялся на алтарь из камня  
И с молитвою в ров он бросил зерна:  
«Приведи, о гора, сон к Эбани,  
Помоги ему, бог, грядущее видеть!»  
Принята молитва, и дождь пролился,  
И с дождем снизошел сон к Эбани,  
Он его преклонил, как спелый колос,  
Гильгамеш упал на колени, держит голову друга.  
Он закончил свой сон посередине ночи,  
Он поднялся и молвил владыке Урука:  
«Друг, меня ты окрикнул? Почему я проснулся?  
Ты коснулся меня? Почему я встревожен?  
Не прошел ли здесь бог, мое тело трепещет.  
Друг мой, я новый сон увидел,  
Сон, который я видел, был вовсе ужасным.  
Небеса возопили, земля мычала,  
Света не стало, вышли мраки,  
Вспыхнула молния, мрак разлился,  
Смерть упала дождем на землю,  
Быстро она загасила пламя,  
Превратила молнии в смрадные дымы.  
Спустимся, друг, в равнину и там порешим, что делать!»  
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эбани:  
«Драгоценен твой сон, возвещает он счастье,  
Знаю теперь, мы погубим Хумбабу!»  
Вот зашатались кедры, и выходит Хумбаба,  
Страшный, выходит он из-под кедров.  
Ринулись оба героя, состязаясь в отваге,  
Оба схватились с властителем кедров.  
Дважды судьба помогла Эбани,  
И Гильгамеш потрясает головою Хумбабы.

#### ТАБЛИЦА ШЕСТАЯ

Он оружие омыл, он начистил оружие,  
По спине распустил благовонные кудри,  
Сбросил грязное, чистое набросил на плечи,  
Наложил на главу тиару, затянулся в тунику.  
И владычица Иштар на него устремила очи,  
Устремила очи на красоту Гильгамеша:  
«Ну, Гильгамеш, отныне ты мой любовник!  
Твоим вожделем я хочу наслаждаться.



Гильгамеш борется с небесным быком.  
Лев нападает на быка.  
Под надписью — фигура божества

Ты будешь мне мужем, я буду тебе женою,  
Заложу для тебя колесницу из ляпис-лазури  
С золотыми колесами, со спицами из рубинов,  
И в нее запряжешь ты коней огромных;  
В нашу обитель войди, в благовонье кедра,  
И когда ты проникнешь в нашу обитель,  
Те, что сидят на тронах, твои поцелуют ноги,  
Все падут пред тобою, цари, князья и владыки,  
Принесут тебе дань люди гор и равнины,  
Станут тучны стада, станут козы рождать тебе двойни;  
Будет мул выступать под ношей тяжелой,  
Будет конь твой могучий стремить колесницу  
И гордиться, что равных себе не знает».

Гильгамеш отверзает уста и вещает,  
К владычице Иштар обращает слово:  
«Сохрани для себя свои богатства,  
Украшенья тела и одежды,  
Сохрани для себя питье и пищу,  
Пищу твою, что достойна бога,  
И питье твое, что владыки достойно.  
Ведь любовь твоя буре подобна,  
Двери, пропускающей дождь и бурю,  
Дворцу, в котором гибнут герои,  
Смоле, опаляющей своего владельца.  
Меху, орошающему своего владельца.  
Где любовник, которого бы ты всегда любила,  
Где герой, приятный тебе и в грядущем?  
Вот, я тебе расскажу про твои вождельня:  
Любовнику юности первой твоей, Таммузу,  
На годы и годы назначила ты стенанья!

Птичку пеструю, пастушка, ты полюбила,  
Ты избила ее, ты ей крылья сломала,  
И живет она в чаще и кричит: крылья, крылья!  
Полюбила ты льва, совершенного силой,  
Семь и еще раз семь ему вырыла ты ловушек!  
Полюбила коня, знаменитого в битве,  
И дала ему бич, удила и шпоры,  
Ты дала ему семь двойных часов бега,  
Ты судила ему изнеможь и тогда лишь напиться,  
Силили, его матери, ты судила рыданья!  
Пастуха ты любила, хранителя стада,  
Он всегда возносил пред тобою куренья,  
Каждый день убивал для тебя по козленку,  
Ты избила его, превратила в гиену,  
И его же подпаски его гоняют,  
Его же собаки рвут ему шкуру!  
И отцовский садовник был тебе мил, Ишуллану,  
Приносивший тебе драгоценности сада,  
Каждый день украшавший алтарь твой цветами,  
На него подняла ты глаза и к нему потянулась:  
«Мой Ишуллану, исполненный силы, упьемся любовью,  
Чтоб мою наготу ощущать — протяни свою руку».  
И сказал Ишуллану: «Чего от меня ты хочешь?  
Мать моя не пекла ли? Я не вкушал ли?  
А должен есть снедь стыда и проклятий,  
И колючки кустарника мне служат одеждой».  
И едва ты услышала эти речи,  
Ты избила его, превратила в крысу,  
Ты велела ему пребывать в его доме,  
Не взойдет он на крышу, не спустится в поле.  
И, меня полюбив, ты изменишь тоже мой образ!»

Услыхала Иштар эти речи,  
Рассердилась Иштар, полетела на небо,  
Появилась Иштар пред отцом своим Ану,  
Перед матерью Анту явилась она и сказала:  
«Мой отец, Гильгамеш меня только что проклял,  
Гильгамеш рассказал мои преступленья,  
Мои преступленья, мои заклятья».  
Уста открывает Ану, владычице Иштар отвечает:  
«Воистину, много причинила ты бедствий,  
И вот Гильгамеш рассказал твои преступленья,  
Твои преступленья, твои заклятья».  
Уста открывает Иштар и отцу отвечает, Ану:  
«Мой отец, пусть родится бык небесный,



Бык небесный, который убьет Гильгамеша.  
Если ты не исполнишь этой просьбы,  
Я сломаю ворота, заключившие воды,  
По земному пространству пушу все ветры,  
И останется меньше живых, чем мертвых».  
Уста открывает Ану, владычице Иштар отвечает:  
«Чего от меня ты хочешь?  
Можешь ты семь лет отдыхать на соломе,  
Можешь ты семь лет собирать колосья  
И семь лет есть одни корни?»  
Уста открывает Иштар и отцу отвечает, Ану:  
«Буду семь лет отдыхать на соломе,  
Буду семь лет собирать колосья  
И семь лет есть одни корни?»  
Если бык небесный убьет Гильгамеша!»

Внял ее просьбам Ану, и бык явился небесный,  
Взял его Ану за хвост и швырнул в Урук с поднебесья.  
Сто человек раздавил он в тяжком своем паденьи,  
На ноги встал и пятьсот человек умертвил дыханьем,  
Увидал Эбани и бросился на героя,  
Но, ухватясь за рога, Эбани склонил его морду,  
Двести всего человек умертвил он вторым дыханьем.  
Третье дыханье его пронеслось над землею напрасно,  
Бросил его Эбани, и дух испустил он.  
Уста Эбани отверз и сказал Гильгамешу:  
«Друг мой, мы победили небесного зверя,  
Скажем ли мы теперь, что не будет нам славы в  
потомстве?»

И Гильгамеш, как бог прекрасный,  
Могучий и смелый владыка Урука,  
Разрубает быка меж рогами и шеей,  
Разрубает быка, вынимает кровавое сердце,  
К подножию Шамаша его полагает.  
К подножию Шамаша уходят герои  
И садятся, как братья, рядом.

Иштар поднялась на высокую стену Урука,  
Взошла на уступ и сказала свое проклятье:  
«Гильгамешу проклятье, меня облекшему в траур,  
Он и его Эбани моего быка умертвили».  
И когда Эбани услышал это,  
Вырвал он ногу быка, бросил в лицо богине:  
«Вот поймаю тебя и с тобою сделаю то же,  
Твоего быка требухой всю тебя обмотаю».

Иштар собрала и блудниц, и танцовщиц,  
Над бычачьей ногой подняла она с ними стенанья.  
И созвал Гильгамеш столяров и плотников вместе,  
Чтобы они восхищались длиною рогов бычачьих.  
Тридцать мин лазурного камня их масса,  
Глубина их два двойных локтя,  
И шесть мер масла вместимость обоих.  
Своему божеству Лугаль-банде он их посвящает,  
Он несет их и вешает в храме своего властелина.  
Гильгамеш с Эбани умывают руки в Евфрате,  
И пускаются в путь, и приходят на площадь Урука.  
Люди Урука собираются, их созерцают,  
И говорит Гильгамеш служанкам дома:  
«Кто блистателен среди народа?  
Кто могуществен среди народа?  
Гильгамеш блистателен среди народа,  
Гильгамеш могуществен среди народа!  
Люди узнали тяжесть нашего гнева,  
Нет никого веселого сердцем,  
Я же направлю путь их сердца!»  
В доме своем Гильгамеш устроил праздник,  
Люди ложатся на ложах ночных и дремлют,  
Эбани ложится, и видит виденья,  
И встает, и рассказывает Гильгамешу.

#### ТАБЛИЦА СЕДЬМАЯ

Уста Эбани отверз, говорит Гильгамешу:  
«Друг, почему собрались на совет великие боги,  
И во сне тревожном я дверь увидел,  
И коснулся ее, и тогда испугался?»  
Поднимает топор боевой Эбани,  
Обращается к двери, как к человеку:  
«Дверь из леса, лишённая разуменья,  
Чей рассудок не существует,  
Твое дерево славил я на двадцать часов пути в округе,  
Даже кедр вознесенный, что я видел в лесу Хумбабы,  
Редкостью не может с тобою сравниться.  
Семьдесят пять локтей шириной ты и двадцать четыре  
длинною,  
Сделал тебя властелин, царил он в Ниппуре.  
Но если бы знал я, о дверь, что ты мне путь заграждаешь,  
Что твоя красота украшает мою темницу,



Гильгамеш и Эбани борются с каменным козлом.  
Гильгамеш борется со львом

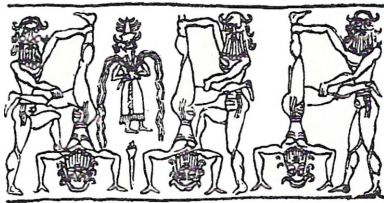
Я бы поднял топор и тебя расколос бы в щепы».  
К другу тогда, к Гильгамешу, обращается вновь Эбани:  
«Друг мой, с которым мы столько трудов совершили,  
Тленье повсюду, куда бы я взоры ни кинул,  
Друг мой, свершается сон, вещавший мне гибель,  
День, о котором мне сон говорил, ныне приходит».

Эбани ложится на своей богатой постели  
И с нее не встает ни день, ни второй, ни третий,  
День четвертый, и пятый, шестой, и седьмой, и восьмой,  
и девятый,  
Всех двенадцать дней оставляет болезнь Эбани  
в постели.

Он зовет тогда Гильгамеша, говорит прекрасному другу:  
«Друг мой, проклял меня бог какой-то свирепый,  
Как того, что в сраженьи утратил отвагу.  
Вот боюсь я борьбы и не выйду в поле,  
Друг мой, тот, кто боится, проклят!»

#### ТАБЛИЦА ВОСЬМАЯ

Чуть заблестала заря, Эбани сказал Гильгамешу:  
«Смерть покорила меня, я ныне бессилен.  
Боги любят тебя и сделают сильным,  
Славу твою возгласят все девы Урука,  
Но от своей судьбы и ты не уйдешь, прекрасный!  
День и ночь ты трудился, входил в кедровую чашу,  
Царил в блаженном Уруке, и почесть тебе воздавали,  
Сколько пространств мы с тобой обошли и равнинных,  
и горных,  
И я устал, и лежу, и больше не встану.  
Покрой меня пышной одеждой, какую мать твоя носит,  
Кудри смочи мои маслом кедра,  
Того, под которым от нашего гнева погиб Хумбаба.



Гильгамеш борется с самим собою.  
В поле — божество с изливающимся сосудом

Тот, кто берег зверей пустыни,  
Тот, кто играл у воды со стадом,  
Никогда не сядет с тобою рядом,  
Никогда не напьется воды в Евфрате,  
Никогда не войдет в Урук блаженный!»  
И над другом своим Гильгамеш заплакал:  
«Эбани, мой друг, мой брат, пантера пустыни,  
Вместе бродили мы, вместе всходили на горы,  
Победили Хумбабу, хранителя чаши кедровой,  
И небесного быка умертвили;  
Что за сон овладел теперь тобою,  
Почему омрачен ты и мне не внемлешь?»  
Но Эбани очей на друга не поднял,  
Сердца коснулся его Гильгамеш, и сердце не билось.  
Тогда он упал на друга, как на невесту,  
Как рыкающий лев, он рванулся на друга,  
Как львица, детеныша которой убили,  
Он схватил его недвижимое тело,  
Рвал одежду свою, проливал обильные слезы,  
Сбросил царские знаки, скорбя о его кончине.

Шесть дней, шесть ночей Гильгамеш пребывал с Эбани,  
И когда заблестала заря, собрались к нему люди Урука  
И сказали владыке, сказали они Гильгамешу:  
«Ты победил Хумбабу, хранителя кедров,  
Львов убивал ты в горных ущельях,  
Умертвил и быка, что спустился с неба.  
Почему ж твоя мощь погибла, почему же твой взор  
опущен,  
Сердце бьется так быстро, прорезают чело морщины,  
Грудь исполнена скорбью,  
И с лицом уходящего дальней дорогой лицо твое схоже,  
Боль, печаль и тревога его изменили,  
Почему ты бежишь в пустынное поле?»

И сказал Гильгамеш, ответил людям Урука:  
«Эбани, мой друг, мой брат, пантера пустыни,  
Вместе с которым мы видели столько лишений,  
Друг, с которым мы львов убивали,  
Умертвили быка, что спустился с неба,  
Победили Хумбабу, хранителя кедра,  
Ныне судьба его свершилась.  
Шесть дней и ночей над ним я плакал  
Вплоть до дня, как его опустили в могилу,  
И боюсь теперь смерти, и бегу в пустынное поле,  
Надо мной тяготеед предсмертное слово друга.  
Как, о, как я утешусь? Как, о, как я заплачу?  
Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен,  
И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться?»

#### ТАБЛИЦА ДЕВЯТАЯ

Гильгамеш по Эбани, своем друге,  
Горько плачет и бежит в пустыню:  
«Я умру! Не такой же ль и я, как Эбани?  
Грудь моя исполнена скорбью,  
Я смерти боюсь и бегу, убегаю!  
К мощи Ут-напиштима, сына Убара-Туту,  
Путь я предпринял, иду поспешно.  
Ночью пришел я к ущельям горным,  
Львов я увидел, и вот мне страшно!  
Голову я подниму, воззову к великому Сину,  
И к собранью богов мольбы мои вознесутся:  
«Боги, молю вас, спасите меня, спасите!»  
Лег он на землю, и страшным сном был испуган.  
Голову поднял и вновь воззвал к великому Сину,  
И к Иштар, небесной блуднице, мольбы его возносились.  
Гора называлась Машу,  
И когда подошел он к Машу,  
Те, что блюли ежедневно солнечный выход  
и возвращенье,—  
Головы их касался свод небесный,  
И внизу их грудь доходила до ада,—  
Люди-скорпионы хранили двери,  
Вид их был смерть, и взор был ужас,  
Страшный блеск их опрокидывал горы!  
При выходе и при возвращеньи блюли они солнце.  
Он их узрел, Гильгамеш, и от испуга  
И от тревоги лицо его омрачилось.

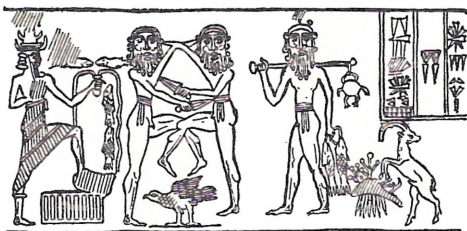


Гильгамеш одолевает льва

Он собрал свои мысли и склонился пред ними.  
Человек-скорпион жене своей крикнул:  
«Тот, кто подходит к нам, тело его, как тело бога».  
Женщина-скорпион отвечает мужу:  
«Бог он двумя третями, человек лишь одною».  
Гильгамеш говорит человеку-скорпиону:  
«Знаешь ли ты, где Ут-напиштим, мой отец, обитает,  
Он, возросший в собрании богов и вечную жизнь  
обретший?»  
Человек-скорпион отверзает уста, говорит Гильгамешу:  
«Нет никого, Гильгамеш, кто прошел бы такую дорогой,  
Нет никого, кто прошел бы сквозь эту гору.  
Мрак там глубок, и нет там света  
Ни при выходе солнца, ни при его возвращении.  
Но иди, Гильгамеш, не медли в горных воротах,  
Здравым и невредимым да хранят тебя боги!»  
Человек-скорпион кончил, вошел Гильгамеш в пещеру,  
Ночную дорогой солнца час двойной он проходит,  
Мрак там глубок, и нет там света,  
Позади себя ничего он не видит.  
Восемь часов идет, и дует северный ветер,  
Десять часов идет, выходит навстречу солнцу,  
На двенадцатый час разлилось сиянье.  
Деревья богов он увидел, к ним путь направил,  
Яблоня гнется под плодами.  
Повисают гроздья, которые видеть отрадно,  
На лазоревом камне выросло райское древо,  
И на нем плоды совершенны для взгляда.  
Между них изумруды, рубины, яхонт,  
И кошачий глаз, и лунный камень.  
Гильгамеш вошел в блаженную рощу,  
На райское древо поднял взоры.

## ТАБЛИЦА ДЕСЯТАЯ

Сидури Сабейнка восседает на троне моря,  
Восседает она, благосклонны к ней боги,  
Ожерелье ей дали, дали пояс,  
Фатою она завешена, покрывалом скрыта.  
Гильгамеш устремился, как дикий буйвол,  
Шкурой окутан, тело его — тело бога,  
Грудь исполнена скорбью.  
С лицом уходящего дальней дорогой лицо его схоже.  
Сабейнка видит его издалека,  
Говорит в сердце своем, себя убеждает:  
«Может быть, тот, кто идет, разрушитель.  
Откуда пришел он в мои владенья?»  
Увидала его Сабейнка, двери закрыла,  
Двери закрыла, заложила засовом.  
Гильгамеш задумал войти в эти двери,  
Поднял голову, отцепил секиру,  
Говорит Сабейнке такое слово:  
«Что ты увидела? Ты двери закрыла!  
Я вышибу двери, засов сломаю».  
Сабейнка говорит Гильгамешу:  
«Почему твое сердце бьется, взор опущен,  
Почему ты бежишь через поле?»  
Гильгамеш обращает к Сабейнке слово:  
«Эбани, брат мой, пантера пустыни,  
Ныне судьба его совершилась,  
Не такой же ль и я, не случится ль со мной того же?  
С той поры, как скитаюсь я птицей пустыни,  
Может быть, в небесах светил стало меньше,  
Столько долгих лет был я спящим.  
Пусть увижу я солнце, насыщусь светом,  
От обильного света кроется сумрак,  
Да увидит мертвый сияние солнца!  
Укажи, Сабейнка, мне путь к Ут-напиштиму,  
Какой его признак, расскажи этот признак;  
Если возможно, поплыву через море,  
Если нельзя, отправлюсь полем».  
Сабейнка говорит Гильгамешу:  
«Туда, Гильгамеш, не найти дороги,  
Никто с древнейших времен не плыл через море;  
Шамаш это свершил, и никто не решится снова.  
Затруднен переход, тяжела дорога,  
Глубоки воды смерти, заградившие подступ!  
Где же ты, Гильгамеш, перейдешь через море?



Божество с изливающимся сосудом.  
Гильгамеш борется с самим собою.  
Гильгамеш с рыбами и черепахой

Что свершишь ты, когда войдешь в воды смерти?  
Есть, Гильгамеш, Ур-Эа, лодочник Ут-напиштира,  
С ним «братья каменьев», в лесу он собирает травы,  
Пусть он лицо твое увидит!  
Можешь — плыви с ним; нельзя — возвращайся!  
Но для чего, Гильгамеш, ты столько бродишь!  
Бессмертья, которого хочешь, ты не отыщешь!  
Когда род людской создавали боги,  
Смерть они приказали роду людскому  
И в своих руках жизнь сохранили.  
Ты, Гильгамеш, наполняй свой желудок,  
Забавляйся ты и днем, и ночью,  
Каждый день устраивай праздник,  
Каждый день будь доволен и весел,  
Пусть твои одеяния будут пышны,  
Голова умащена, омыто тело,  
Любуйся ребенком, твою хватающим руку,  
Пусть к твоей груди припадет супруга!»

Услыхал Гильгамеш Сабянки слово,  
Повесил секиру, пошел на берег,  
Ур-Эа там был, лодочник Ут-напиштира,  
Ур-Эа в глаза его смотрит,  
Спрашивает Гильгамеша:  
«Как твое имя? Скажи его мне!  
Я же Ур-Эа, лодочник Ут-напиштира!»  
Уста Гильгамеш отверзает, ему отвечает:  
«Я — Гильгамеш! Таково мое имя!  
Из жилища богов сюда я явился  
Далеким путем от восхода солнца.  
И теперь, Ур-Эа, когда я лицо твое вижу,  
Укажи мне дорогу к отшельнику Ут-напиштиру».



Лодочник Ур-Эа Гильгамешу так отвечает:

«Руки твои, Гильгамеш, свершили много,  
«Братья каменьев» тобой разбиты;  
Подними, Гильгамеш, свою секиру,  
В шестьдесят локтей выруби жерди,  
Сдери с них кору, положи на берег».  
И когда Гильгамеш исполнил это,  
Он и Ур-Эа взошли на судно,  
Судно на волны столкнули и в путь пустились.  
Путь их — на месяц. На третий день поглядели:  
Ур-Эа вступил в воды смерти.

Ур-Эа говорит Гильгамешу:

«Гильгамеш, подвигайся вперед, работай жердью,  
Да не коснутся руки твоей воды смерти!»  
Жердь изломал Гильгамеш, одну, и вторую, и третью,  
Сто двадцать жердей всего изломал он,  
Снял Гильгамеш свою одежду,  
Своими руками поставил мачту.  
Ут-напиштим издали смотрит.  
Говорит в своем сердце, произносит слово,  
С самим собою совет он держит:  
«Почему поломаны жерди судна?  
Кто-то мне неподвластный стоит на судне.  
Не совсем человек он стороною правой,  
Я смотрю и вижу, не совсем человек он!»

Ут-напиштим говорит Гильгамешу:

«Что случилось с твоею мощью? Взгляд твой зачем  
опущен?

Почему твое сердце бьется, прорезают чело морщины?»

Гильгамеш отвечает Ут-напиштому:

«Я сказал — я увижу Ут-напиштима, о котором несется  
слава,

И поднялся я, и прошел все страны,

Перебрался я через трудные горы,

Переплыл все пучины моря,

Добрый ветер в лицо мне не веял,

Вверг себя в нищету я, болью исполнил члены,

Не вступил я в дом Сабянки, моя одежда истлела!

Птица ущелий, лев и шакал, олень и пантера

Служили мне пищей, их шкурами тешил я сердце.

Пусть тот, кто доволен, запирает двери,

От меня отлетела радость,

Достиг я границы скорби».

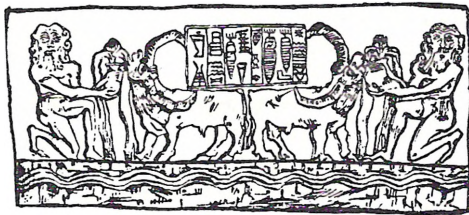
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:

«Навсегда ли мы строим дома? Трудимся навсегда ли?  
Навсегда ли друг с другом расстаются братья?  
Навсегда ли ненависть входит в сердце?  
Навсегда ли реки заливают равнины?  
Навсегда ли птицы увидели солнце?  
Нет с давнишних пор на земле бессмертья,  
Мертвый и спящий друг с другом схожи,  
Оба не знают лика смерти.  
Властелин и слуга равны пред нею,  
Ануннаки, великие боги, ее скрывают,  
Мамету, госпожа судеб, управляет с ними,  
Жизнь или смерть они указуют,  
Не дают угадать смертного часа».

#### ТАБЛИЦА ОДИННАДЦАТАЯ

Гильгамеш говорит отшельнику Ут-напиштиму:  
«О Ут-напиштим, я тебя созерцаю,  
Твой облик не страшен, ты мне подобен,  
Ты мне подобен, со мной не различен.  
Твое сердце годится, чтоб смеяться в сраженьи,  
Как все, когда спишь, ты ложишься на спину!  
Почему ж ты так вознесен, добыл жизнь в собраньи  
бессмертных?»

Ут-напиштим говорит Гильгамешу:  
«Я открою тебе, Гильгамеш, тайное слово,  
Тайну богов тебе расскажу я:  
Шуриппак, город, который ты знаешь,  
Который стоит вблизи Евфрата,  
Старинный город, обитают в нем боги,  
И сделать потоп подтолкнуло их сердце, богов великих.  
Был среди них отец их, Ану,  
Бел воитель, их советник,  
Эннуги, их начальник,  
И Ниниб, их вестник,  
За мудрейший восседал с ними;  
Их слова повторил он изгороди тростниковой:  
«Изгородь, изгородь! Ограда, ограда!  
Слушай, изгородь! Понимай, ограда!  
Человек Шуриппака, сын Убара-Туту,  
Разрушь свой дом, выстрой судно,  
Оставь богатства, думай о жизни,  
Ненавидь богатства ради жизни,  
Погрузи семена всей жизни во внутренность судна.



Гильгамеш, держащий изливающийся сосуд,  
поит буйвола

Пусть они будут вымерены, его размеры,  
Размеры судна, которое ты построишь,  
Пусть ширина и длина отвечают друг другу!  
Тогда лишь можешь спустить его в море!»  
Я понял и молвил Эа, моему господину:  
«О мой властитель, все, что сказал ты,  
Внял я сердцем и все исполню,  
Но что расскажу толпе и старцам?»  
Эа уста отверз и мне ответил,  
Своему слуге он так ответил:  
«Вот, что расскажешь ты толпе и старцам:  
— Я ненавиствен Белу и жить не буду в городе нашем,  
На землю Бела ноги не поставлю,  
Я спущусь к океану, буду жить с Эа, моим господином.  
А на вас он найдет в изобилии воды,  
Добыча птиц и рыб добыча,  
На вас найдет он дождь нечистый.

Чуть утро блеснуло, я начал работать,  
На пятый день чертежи закончил:  
В сто двадцать локтей должны быть стены,  
И крыши объем тоже в сто двадцать,  
Я очертанья наметил, нарисовал их после;  
Я шесть раз покрыл обшивкой судно,  
Я на семь частей разделил его крышу,  
Его внутренность разделил на девять,  
В середине его поставил распоры,  
Я руль устроил и все, что нужно,  
Шесть мер смолы на дно я вылил,  
На дно я вылил три меры дегтя;  
Носильщики мне принесли три меры масла:  
Одну меру оставил я для священной жертвы,  
Лодочник спрятал других две меры.  
Для народа быков я резал,

Каждый день по козлу убивал я,  
Соком ягод, вином и маслом  
Я поил его, как простой водою;  
Я устроил праздник, как в день новогодний,  
Открыл кладовые, достал драгоценную мирру.  
Раньше заката солнца было окончено судно,  
Принесли строители мачту для судна.  
Все, что имел, на него погрузил я,  
Все, что имел серебра, на него погрузил я,  
Все, что имел я золота, на него погрузил я,  
Все, что имел, нагрузил я, все семя жизни  
Заклучил я во внутренность судна; родных и семейство,  
Скот полевой и зверей полевых, всех погрузил я.

Шамаш мне час назначил:

— Вечером мрака властитель пошлет нечистые воды,  
Войди во внутренность судна и дверь захлопни.—

Час наступил предрешенный:

Вечером мрака властитель пролил нечистые воды;

На образ дня посмотрел я,

И я испугался этой погоды,

В судно вошел и двери захлопнул;

Управлять кораблем, лодочнику Пузур-Белу

Я доверил постройку со всем погруженным.

Едва рассвет засветился,

Из глуби небес поднялась черная туча,

Адад рычал в ней,

Набу и Царь вперед выступали;

Вестники, шли они через гору и поле;

Нергал опрокинул мачту.

Он идет, Ниниб, он бой ведет за собою;

Факелы принесли Ануннаки,

Их огнями они освещают землю.

Грохот Адада наполнил небо,

Все, что было блестящим, превращается в сумрак.

Брат не видит более брата,

Люди в небе друг друга узнать не могут,

Боги боятся потопа,

Они убегают, они поднимаются на небо Ану.

Там садятся, как псы, ложатся на стены.

Кличет Иштар, как поденщица, громко,

Голосом дивным царица богов возглашает:

«Пусть тот день рассыпется пылью,

День, когда я злое сказала перед богами,

Потому что сказала я злое перед богами,

Чтобы людей погубить и потоп накликать.  
Для того ли взлелеяла я народ мой,  
Чтобы, как выводок рыб, они наполнили море?»  
По вине Ануннак, боги плачут с нею,  
Боги подавлены и в слезах восседают,  
Губы их сжаты и тело трепещет.  
Шесть дней, шесть ночей бродят ветер и воды, ураган  
владеет землею.

При начале седьмого дня ураган спадает,  
Он, который сражался, подобно войску;  
Море утишилось, ветер улегся, потоп прекратился.  
Я на море взглянул: голос не слышен,  
Все человечество стало грязью,  
Выше кровель легло болото!  
Я окно открыл, день осветил мне щеку,  
Я безумствовал, я сидел и плакал,  
По щеке моей струились слезы.  
Я взглянул на мир, на пространство моря,  
В двенадцати днях пути виднелся остров,  
К горе Низир приближается судно,  
Гора Низир от себя не пускает судна.  
День, и второй, и третий его не пускает,  
Четвертый, пятый, шестой день его не пускает.  
День седьмой загорелся,  
Я взял голубку, пустил наружу,  
Улетела голубка и возвратилась,  
Словно места себе не нашла, возвратилась.  
Я ласточку взял, пустил наружу,  
Улетела ласточка, возвратилась,  
Словно места себе не нашла, возвратилась.  
Я ворона взял, пустил наружу,  
Умчался ворон, ущерб воды он увидел:  
Он ест, он порхает, он каркает, он не хочет вернуться.  
Я оставил его четырем ветрам, я совершил возлиянье,  
Я жертву поставил на горной вершине.  
Четырнадцать жертвенных урн я поставил,  
Мирт, кедр и тростник разостлал под ними.  
Боги почуяли запах,  
Боги почуяли добрый запах,  
Боги слетелись, как мухи, над приносящим жертву.  
Только царица богов примчалась,  
Украшенья она вознесла, что сделал ей Ану:  
«О боги, стоящие здесь, как я не забуду моего ожерелья  
из ляпис-лазури,  
Так же и этих дней не забуду, всегда буду помнить!

Пусть боги подходят к жертве!  
Но пусть Бел не подходит к жертве!  
Потому что он не размыслил, потоп устроил,  
Людям моим он назначил гибель».  
Только бог Бел примчался,  
Судно увидел он, Бел, и сделался гневным,  
Гневом исполнился против Игиги:  
«Разве какой-нибудь смертный спасся?  
Жить человек не должен среди разрушенья!»  
Ниниб уста отверзает,  
Говорит он герою Белу:  
«Кто, кроме Эа, творец создання?  
Эа один знает все дело».  
Эа уста отверзает,  
Говорит он герою Белу:  
«Ты, мудрец средь богов, воитель,  
Как не размыслил ты, потоп устроил?  
Грех на грешного возложи ты,  
Вину на виновного возложи ты!  
Но отступи, прежде чем он уничтожен будет!  
Почему ты потоп устроил?  
Пусть бы лев пришел и людей пожрал он!  
Почему ты потоп устроил?  
Пусть бы пришел леопард и людей пожрал он!  
Почему ты потоп устроил?  
Пусть бы голод явился, разорил бы землю!  
Почему ты потоп устроил?  
Пусть чума бы явилась, разорила бы землю!  
Тайну великих богов не открыл я людям,  
Мудрый, я сон им послал, и сон поведал  
им тайну».

Боги спросили тогда совета у Бела;  
Бел поднялся на судно,  
Взял меня за руку, вознес высоко;  
И жену мою он вознес, поставил нас рядом;  
Наших лиц он коснулся, стал между нас,  
благословил нас:

«Прежде Ут-напиштим был смертным,  
Ныне и он, и жена нам, бессмертным, подобны:  
Пусть он живет, Ут-напиштим, в устье рек далеко!»  
Взяли меня и в устье рек поселили.  
А тебя, Гильгамеш, кто из богов введет в их собрание,  
Чтобы обрел ты бессмертье, которого ищешь?  
Вот! Шесть дней, семь ночей не ложись,  
попробуй!»

Едва Гильгамеш опустился на землю,  
Сон, словно буря, на него повеял.  
Ут-напиштим говорит супруге:  
«Видишь ли сильного, что хочет бессмертья?  
Сон, словно буря, на него повеял!»  
Говорит супруга отшельнику, Ут-напиштому:  
«Тронь его, пусть человек пробудится сразу  
И путем, которым пришел он, невредим, возвратится!  
Через большие ворота, откуда он вышел, домой  
возвратится!»

Ут-напиштим говорит супруге:  
«Человечество дурно и злом воздаст за благо!  
Но спеки ему хлебы, положи у его изголовья!»  
И пока он спал на палубе судна,  
Хлебы она испекла, положила у его изголовья.  
И пока он спал, ему поведала знанье:  
«Первый его хлеб заквашен,  
Выдержан второй, третий сдобрен,  
Четвертый поджарен, он сделался белым,  
Пятый сделался старым,  
Шестой проварен,  
Седьмой!..» Он тронул его, человек пробудился сразу!  
Гильгамеш говорит отшельнику Ут-напиштому:  
«Я лежал без движенья! Простерли сон надо мною!  
Вдруг ты меня коснулся, и я пробудился».  
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:  
«Сосчитай, Гильгамеш, сосчитай твои хлебы!  
Качество хлебов да будет тебе известно!»  
Гильгамеш говорит Ут-напиштому:  
«Что, что я сделаю, Ут-напиштим? Куда пойду я?  
Я, чьи радости похититель похитил,  
Я, в чьей спальне кроется гибель?»  
Ут-напиштим к Ур-Эа лодочнику обратился:  
«Ур-Эа, пусть тобою море возвеселится!  
Тот, кто бродит по берегу, пусть он уедет!  
Человек, перед которым пришел ты,  
Чье тело прикрыто грязной одеждой  
И чью красоту закрывают шкуры,  
Возьми его, Ур-Эа, и веди его в баню,  
Пусть он моет одежду в воде, пока она чистой не станет.  
С плеч пусть он сбросит шкуры, и пусть унесет их море,  
Пусть его дивное тело возбудит в смотрящем зависть,  
Пусть она станет новой, его головы повязка,  
Пусть он покроется платьем, непостыдной одеждой!  
Вплоть до дня, как он в свой город прибудет,

Вплоть до дня, как он окончит дорогу,  
Платье его не износится, но останется новым».  
Гильгамеш и Ур-Эа взошли на судно,  
Судно столкнули на волны они и отплыли.  
Отшельнику Ут-напштиму так сказала его супруга:  
«Гильгамеш путешествовал, он устал, истомился,  
Что ты дашь ему при его возвращении?»  
Услыхал Гильгамеш и жердь поднимает,  
К берегу он подводит судно.  
Ут-напштим говорит Гильгамешу:  
«Тебе, Гильгамеш, я открою тайное слово,  
Священное слово тебе скажу я:  
Видишь растение на дне океана,  
Шип его, точно терновник, пронзит твою руку,  
Если рука твоя это растение достанет».  
Едва Гильгамеш услышал это,  
К ногам привязал он тяжелые камни,  
И они его в океан погрузили.  
Взял он растение, оно ему руку пронзило,  
Отвязал он тогда тяжелые камни  
И поднялся наверх со своей добычей.  
К Ур-Эа Гильгамеш обратился:  
«Ур-Эа, растение это весьма знаменито,  
Из-за него человек получает дыханье жизни.  
Я возьму его в крепкий Урук, поделю средь сограждан,  
Имя его — «старик становится юным».  
Я его съем в Уруке и юношей стану».  
Двадцать часов прошло, принесли они жертву умершим,  
Тридцать часов прошло, завершили они причитанья;  
Увидал Гильгамеш колодец с холодной водою,  
Он спустился в него и водой омылся.  
Змея услышала запах растения,  
Подползла и растение утащила.  
Гильгамеш возвратился, крикнул проклятье,  
Сел потом и заплакал;  
По щеке его катятся слезы,  
Лодочнику Ур-Эа говорит он:  
«Для кого, о Ур-Эа, мои руки терпели усталость?  
Для кого я растратил кровь из сердца?  
Ведь не для себя совершил я подвиг,  
Совершил я подвиг для львов пустыни,  
И растение мое колышут волны.  
Когда я выходил на берег,  
Видел я знак священный: время причалить,  
Время оставить у берега судно».



Двадцать часов прошло, принесли они жертву умершим,  
Тридцать часов прошло, завершили они причитанья,  
И увидали тогда Урук блаженный.

К лодочнику Ур-Эа Гильгамеш обратился:

«Ур-Эа, поднимись прогуляться на стену Урука!

Созерцай основанье, на кладку взгляни, не прекрасна ли  
кладка?

Или не семь мудрецов заложили здесь основанье?

Один сар города, один сада, один развалин храма  
богини —

Три сара, и обломки Урука я возьму и ее закончу».

#### ТАБЛИЦА ДВЕНАДЦАТАЯ

Уста Гильгамеш отверзает, Ур-Эа вопрошает:

«Как мне спуститься в обитель мрака,

Как мне увидеть моего Эабани?»

Ур-Эа говорит Гильгамешу:

«О Гильгамеш, если хочешь увидеть ты Эабани,

Эабани, живущего в царстве мертвых,

Чистое платье сбрось, в грязное облекись ты платье,

Как если б в дворце Ниназу ты был гражданином!

Благовонным маслом из урны не умащайся:

Запах заслыша, тени к тебе устремятся!

Лука своего не ставь на землю:

Все пораженные луком тебя обступят!

Царского скипетра в руке не держи ты:

Тени тебя объявят пленным!

Ног твоих пусть не касается обувь:

Шума не делай, по земле ступая!

Не целуй жену твою, которую любишь,

И не бей жену твою, которую ненавидишь!

Не целуй твоего ребенка, которого любишь,

И не бей твоего ребенка, которого ненавидишь!

Жалобу земли тогда ты услышишь!

Та, что почит, та, что почит, мать Ниназу, та, что  
почит,

Бедра ее блестящие не покрыты одеждой,

Грудь ее не похожа на урну!»

Три дня прошло, и закон Гильгамеш преступает,

Он целует жену, которую любит,

Ударяет ребенка, которого ненавидит.

Жалобу земли он услышать не может:

Та, что почит, та, что почит, мать Ниназу, та, что  
почит,



Гильгамеш одолевает буйволов.  
По сторонам — изливающиеся сосуды

Бедра ее блестящие не покрыты одеждой,  
Грудь ее не похожа на урну.  
Эбани не может выйти на землю.  
Намтару не взял его, несчастье не взяло, земля не пускает,  
Страж Нергала безжалостный не взял его, земля не пускает,  
На месте битвы людей он не пал, земля не пускает.  
Плачет Нинсун по своему слуге Эбани,  
К дому Бела она поспешно одна приходит,  
Бел не сказал ни слова, к Сину приходит,  
Син не сказал ни слова, приходит к Эа,  
Эа отец говорит Нергалу:  
«Сильный Нергал, открой отверстие ада,  
К брату да выйдет тень Эбани!»  
Сильный Нергал внимает велению Эа,  
Он открывает отверстие ада,  
И оттуда, дышанью подобно, выходит тень Эбани.

С другом своим говорит Гильгамеш, говорит с Эбани:  
«Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,  
Скажи мне закон земли, который ты знаешь!»—  
«Не скажу я, друг мой, не скажу я!  
Если бы закон земли сказал я,  
Сел бы ты тогда и заплакал!»—  
«Что же? Пусть я сяду и заплачу!  
Скажи мне закон земли, который ты знаешь».—  
«Голова, которой ты касался и которой радовался сердцем,  
Точно старую одежду, червь ее пожирает!  
Грудь, которой ты касался и которой радовался сердцем,  
Точно старый мешок, полна она пыли!

Все тело мое пыли подобно!» —

«Того, кто умер смертью железа, ты видел?»—«Видел!

Он лежит на постели, пьет прозрачную воду».—

«А того, кто убит в бою, ты видел?»—«Видел!

Мать и отец его голову держат, жена над ним  
наклонилась».—

«А того, чье тело брошено в поле, ты видел?»—«Видел!

Его тень не находит в земле покоя».—

«А того, о чьем духе никто не печется, ты видел?»—

«Видел!

Остатки в горшках и объедки с улицы ест он».



Гильгамеш

#### УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А д а д — божество непогоды.

А й я — богиня, супруга Шамаша.

А н т у — богиня неба, женское дополнение Ану.

А н у («Небо») — божество неба, первый член верховной триады богов.

А н у н н а к и — духи земли, обитающие в преисподней.

А р у р у — богиня-гончарница, создательница живых существ.

Б е л и т-с е р и («Госпожа поля») — богиня растительности и покровительница письменного искусства, ведущая Книги судеб.

Б е л («Господь») — одно из имен Эллиля, божества воздушной стихии, второго члена верховной триады богов.

Г и р а.— См. Сумукан.

И г и г и — духи неба, соответствующие духам земли, Аnunнакам.

И р н и н и — эламская форма богини Иштар.

Иштар — главное женское божество вавилонского пантеона, дочь Ану по одним версиям, дочь Сина — по другим, богиня — покровительница Урука.

Ишллану — садовник Иштар, один из героев мифа о семи любовниках богини.

Лугальбанда — личное божество Гильгамеша.

Мамету — богиня судеб.

Машу — двойная гора на северо-западе и северо-востоке, охраняемое людьми-скорпионами место входа и выхода Шамаша-солнца.

Набу — бог мудрости.

Намтар — демон эпидемий, слуга Нергала.

Нергал («Владыка великого жилища») — бог преисподней, супруг богини Эрешкигаль.

Низир — гора, к вершине которой пристал ковчег Ут-напшима.

Ниназу — женское божество врачеваний.

Ниниб (условное чтение имени) — божество военного дела, первенец бога Эллиля.

Нинсун — божественная мать Гильгамеша, служанка супруги Бела, богини Белит.

Ниппур — город на востоке южной Вавилонии, столица Шумерского союза.

Пузур-Бел — лодочник, управлявший ковчегом Ут-напшима.

Римат-Белет — эпитет богини Нинсун, матери Гильгамеша.

Сидури — нимфа на берегу океана, приютившая Гильгамеша.

Силили — божественная мать коня в мифе о любовниках Иштар.

Син — лунное божество.

Сумукан (Гира) — бог — покровитель зверей.

Таммуз — божественный любовник Иштар.

Убара-Гуту — отец Ут-напшима.

Урук — город в южной Вавилонии, средоточие культа Иштар.

Ур-Эа — перевозчик Ут-напшима.

Ут-напштим (Хасис-атра, Ксисутр греческих историков) — Ной вавилонской мифологии, герой мифа о потопе.

Х у м б á б а — мифический царь Элама.

Ш á м а ш — солнечное божество.

Ш у р и п п á к — город в Вавилонии, родина Ут-напшима.

Э а — божество земли и морских бездн, третий член верховной триады богов.

Э á н н а («Небесный дом») — храм в Уруке, посвященный Иштар.

Э н н у г í («Беспощадный владыка») — эпитет Нергала.

Э р е ш к и г á л ь («Владычица великой земли») — богиня преисподней, супруга Нергала.

Э т á н а — один из героев вавилонской мифологии, совершивший полет на орле.

---

---



---

---

Л. И. Соболев

### НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ К. К. СЛУЧЕВСКОГО

Константин Константинович Случевский родился в год смерти Пушкина. Первые стихи его появились в «Общезанимательном вестнике» в 1857 году; критика обратила на него внимание после публикации 1860 года в «Современнике» (в первых трех номерах, затем еще одно стихотворение в майской книжке). Чуткий Ап. Григорьев тогда же заметил, что явился «не похожий ни на кого поэт»<sup>1</sup>. Эта «непохожесть» Случевского и вызвала поток пародий: «Искра» и «Свисток» напали на странного поэта, и, освистанный, он надолго замолчал.

Когда — после долгого перерыва — Случевский вновь стал печатать свои стихи, когда в начале 80-х годов вышли его стихотворные сборники, современники «подверстали» его к пушкинскому направлению. Сейчас это может показаться странным: стихи Случевского, дисгармоничные, полные «дикой красоты неганданных сближений», трудно возвести к пушкинской поэтике. Впрочем, А. Волынский в 1902 году отказывал всем современным поэтам в праве на пушкинское наследство: они утратили цельность и гармонию, составлявшие суть творчества Пушкина;<sup>2</sup> в некрологе Случевскому П. Е. Павлов, прощаясь с «последним представителем» пушкинской школы, подчеркивает в его творчестве прежде всего развитие «иррациональных» мотивов пушкинской музыки<sup>3</sup>.

Но в культурном сознании XIX века (с 1837 года и до 90-х годов) Пушкин прежде всего ПОЭТ в высшем, всеобъемлющем смысле этого слова. Оппозиция пуш-

кинского и гоголевского направлений в 40 — 50-х годах — это спор поэзии и побеждающей, набирающей силу прозы, а для 60—70-х годов имя Пушкина было паролем искусства, теснимого наукой, пользой, делом. Для Случевского Пушкин — начало русской поэзии, ее заря, «неугасимая денница»<sup>4</sup>.

В мае 1880 года Случевский, действительный тайный советник, камергер, чиновник особых поручений министерства государственных имуществ, оказался в Гейдельберге. Когда-то, в начале 60-х годов, он слушал лекции в Гейдельбергском университете — именно сюда адресовал Тургенев знаменитое свое письмо-комментарий к «Отцам и детям», посланное Случевскому, но предназначенное всем молодым русским, учившимся тогда в Гейдельберге. Отсюда 21 мая 1880 года поэт отправляет О. Ф. Миллеру в Петербург стихотворение «Тост Пушкину» с письмом:

#### ТОСТ ПУШКИНУ

Праздник Божиим веленьем...  
В погреб, женушка, спустись...  
Не буди вина! виденьем  
Между бочек проберись.

Спит вино, объято грезой...  
Что за грезы у вина?  
Dolce, dolce amoroso...\*  
Грез тех много, не одна!

Ты увидишь там бутылки,  
Те, что дальше всех, в углу,  
Что во мху своей подстилки  
Спят лет сорок на полу.

Ту возьмешь, что вынуть можно!  
Плесень тронуть... а ни, ни!  
Понесешь, так осторожно:  
Не встряхни, не всколыхни!

---

\* милый, милый, возлюбленный (ит.).

Есть в вине душа живая:  
Точно будто умерла!  
Солнца Дона огневая  
Ласка в то вино легла!

Притаилась, отстоялась...  
Пусть отстой увидит глаз!  
Чистота одна осталась —  
А «in vino veritas»\*!

Выходи, лучи живые,  
Что спустились в виноград  
В те года, когда в России  
Пушкин жил! Ступай назад!..

Выходи! Светися снова!  
Что, как если посравнить,  
Уж не лучше ль у бывшего  
Теплоты пораздобыть?

Громче ль, что ли, сердце билось  
В людях в пушкинские дни?  
Жарче ль солнышко светилось?  
Солнце прежних дней, взгляни!!

Сохраненными лучами  
Выйди к нам опять светить!  
Жаждем блеклыми губами...  
Тост готов! Готовы пить!

Лейтесь, струи золотые!  
Всяким людям напоказ!  
Пушкин — тост, а пьет — Россия!  
А «in vino veritas»!

21 мая 1880.

Гейдельберг

Многоуважаемый Орест Федорович! Большая просьба: прочтите мой тост на Славянском вечере. Для такого стихотворения музыка чтения необходима, а она у Вас есть. Я послал его Суворину для напечатания в Н(овом) В(ремени)<sup>5</sup> и просил, чтобы он поручил кому-нибудь

---

\* истина в вине (лат.).



прочесть в Москве. Что, если эту просьбу повторить и Вам, — тогда будет вернее.

Два слова в ответ: как адресовать телеграмму в Москву, кому, 25 или 26. Если не поспеете, телеграфируйте мне, я по возвращении уплачу. Heidelberg, Grand Hotel.

Душевно преданный К. Случевский.

PS. Матушке мое нижайшее почтение<sup>6</sup>.

Славянский вечер — очевидно, вечер Славянского петербургского благотворительного общества<sup>7</sup>; адресат поэта, Орест Федорович Миллер (1833—1889), исследователь славянской культуры, фольклорист и историк русской литературы, был членом совета общества. Торжественное собрание Славянского петербургского общества, посвященное памяти Пушкина, состоялось 11 мая — на нем было решено отправить депутацию в Москву, на торжества открытия памятника Пушкину. Представлять Петербургское общество поручено было Ф. М. Достоевскому — с начала года он был товарищем председателя — и И. Ф. Золотареву, лично знавшему поэта. Речь Достоевского о Пушкине, сказанная в Москве, стала одним из важнейших событий русской культуры; стихотворение Случевского в газетных и журнальных описаниях московских торжеств не упоминается.

Пушкинские дни в Петербурге начались 6 июня торжественной службой в Исаакиевском соборе, потом состоялось «литературное утро» в народной аудитории педагогического музея военно-учебных заведений. Там О. Миллер произнес речь о Пушкине. Замечательно, что эта речь перекликается со словом Достоевского (москвичи услышат его только 8 июня): «Раз навсегда Пушкин отрешился от чуждой нашему народному духу замашки себялюбиво носиться с самим собою, а с тем вместе поэтически закрепил за нами способность сочувствовать широким сердцем всему живому, понимать и воссоздавать жизнь любой страны и любого народа (...)»<sup>8</sup> После своей речи Миллер прочел стихотворение — но не Случевского, а Я. Полонского, которое, конечно, тоже посвящено Пушкину (сам поэт прочтет его в Москве на следующий день). «Гост Пушкину», по-видимому, так и не прозвучал. Ни в одну из поэтических антологий, составленных из стихотворных по-

священный первому русскому поэту, это стихотворение не вошло.

Позже, в 1899 году, Случевский будет участвовать в праздновании 100-летия со дня рождения Пушкина — будет поездка в Святые горы, речи и стихи, будут специальные издания (в частности, Пушкинский сборник, где поэт напечатает свою драматическую поэму «Поверженный Пушкин»), — но это уже другой сюжет.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворение «Тост Пушкину» и письмо О. Миллеру печатаются по рукописи: РО ГБЛ, ф.93 (Достоевский), П. К. 8. № 107.

<sup>1</sup> Григорьев А. А. Одиссея последнего романтика. М., 1988, с. 324.

<sup>2</sup> См.: Северные цветы на 1902 год. М., с. 225—246.

<sup>3</sup> Исторический вестник, 1904, № 11, с. 756.

<sup>4</sup> Денница, СПб., 1900, с. IV.

<sup>5</sup> В газете «Новое время» стихотворение «Тост Пушкину» не печаталось.

<sup>6</sup> «Матушка» — жена дяди, Ивана Петровича Миллера (ум. 1867), Екатерина Николаевна, урожденная Чирикова (1809—1884), заменившая мать рано осиротевшему О. Миллеру.

<sup>7</sup> Случевский был принят в действительные члены Славянского петербургского благотворительного общества 4 мая 1880 г.

<sup>8</sup> Русская старина, 1880, т. 28, с. 507.

---

---

Т. Р. Нарбут, В. Н. Устиновский

ВЛАДИМИР НАРБУТ

Писать о видном деятеле литературы, организаторе и руководителе знаменитого книгоиздательства «Земля и Фабрика», ответственном редакторе ряда советских периодических изданий Владимире Нарбуте нелегко.

Трудности определяются не только сложностью и многогранностью личности этого человека, но и скудостью доступных материалов о его жизни и творчестве, преднамеренной искаженностью, а порой и противоречивостью того малого, что в 60—70-е годы успело просочиться в печать. Режим забвения, наступивший сразу после его незаконного ареста, сменился режимом умолчания, продолжавшимся до недавнего времени. Именно по этим причинам немногочисленные робкие призывы к тому, чтобы «издать этого сильного и глубоко советского поэта» (Л. Славин), не были приняты во внимание. Подавляющее большинство советских читателей не знало ничего о Владимире Нарбуте. Познания же специалистов-филологов органичивались обычно лишь весьма лаконичными энциклопедическими сведениями да примерно десятком стихотворений.

Теперь настало время, когда не только можно, но и нужно ответить на вопрос: кто такой Владимир Нарбут и что он сделал для русской поэзии и советской культуры.

В XVII веке одна из ветвей древнего литовского рода Нарбутов укоренилась на старой Черниговщине. Сохранилось свидетельство того, что уже в 1678 году «знатный



Владимир Нарбут.  
Фотография начала 1918 г.

товарищ сотни глуховской Мойсей Нарбут поставил мельницу на речке Ловре» — на том самом месте, где позже возник хутор Нарбутовка, вблизи древнего города Глухова. Согласно Родословной книге черниговского дворянства, все Нарбуты на Черниговщине были или военными, или чиновниками. Первоначальное поместье постепенно, из поколения в поколение, разделялось между многочисленными наследниками и к середине XIX века превратилось в ряд хуторов. Хутором Нарбутовка и садом при нем владел Иван Яковлевич Нарбут (1858—1919), достаточно образованный для своего круга человек. Он окончил Глуховскую гимназию и обучался в Киевском университете, который, однако, не закончил, «не имея возможности продолжить свое образование». Доходных и престижных мест службы в украинской глуши он был лишен и трудился на канцелярских должностях при судах и земских управах и даже счетоводом на товарном складе, пройдя по служебной лестнице путь от коллежского регистратора до коллежского секретаря. Был он деспотичным, грубым и каким-то безразличным к жизни человеком. В противоположность ему, его жена, киевлянка Неонила Николаевна, урожденная Махнович (1859—1936), была чутким и добрым

человеком, отличной хозяйкой. Все хозяйство и многодетная семья (девять детей) была фактически на ее попечении. Именно благодаря ей удавалось свести концы с концами в семейном бюджете. В этой украинской семье 15 апреля 1888 года и родился второй сын, Владимир. Первым был ставший впоследствии выдающимся художником-графиком Георгий (1886—1920).

Детство Владимира протекало на хуторе среди сельских ребятишек, в непосредственном общении с родной природой. Он был очень дружен со старшим братом и сохранил эту дружбу до смерти последнего. Нрав у Владимира, в противоположность Георгию, был живой, непоседливый. С малых лет мальчик посильно помогал взрослым и в уходе за садом, и в цветоводстве. Отец домашними делами занимался мало, любил охоту, сутками пропадал и возвращался, бывало, навеселе и без добычи. Склонности своих старших сыновей (Владимир любил читать и писал стихи, а Егор все свободное время отдавал рисованию) не одобрял и пресекал в зачатке, сразу же. «Приходилось забираться на чердак и там, тайком от отца, один занимался стихами, другой — рисовал», — впоследствии вспоминал Владимир.

Как-то отец неожиданно подкрался сзади к восьмилетнему Володе, когда тот рассаживал цветы на клумбе, и так напугал мальчика, что тот долго не мог прийти в себя и стал заикаться.

И Георгий, и Владимир живо интересовались с детства историей, археологией, искусством. В их развитии большую положительную роль сыграл священник местной церкви отец Михаил. Любовь к истории и археологии Владимир сохранил на всю жизнь. Уже в 1928 году, отвечая в анкете составителя «Словаря современников» Г. Г. Бродерсена на вопрос «Любимые занятия», он написал: «Археология».

Учился Владимир в Глуховской мужской гимназии в одном классе с братом Георгием и окончил ее в 1906 году с золотой медалью. Против воли отца, мечтавшего сделать из сыновей сельских тружеников, и с согласия матери оба брата в том же году отправились в Петербург и поступили в университет. С этого времени началась их самостоятельная жизнь. Отец никакой помощи им не оказывал. Художник-самородок Георгий был тепло принят известным мастером-графиком И. Я. Билибиным и вскоре, оставив университет, полностью отдался обу-

чению у последнего и начал свою творческую жизнь. Владимир же, сменив не один факультет, в конечном итоге продолжил учебу на историко-филологическом. В столицу он прибыл не с пустыми руками. Уже к 1906 году им было написано несколько зрелых стихотворений, свидетельствующих о незаурядных поэтических способностях молодого автора, умеющего сочно изображать картинку родной природы и уже, хотя и робко, но прямо говорящего о тяжелой доле своего народа («Бандурист»).

Сразу же по прибытии в Северную Пальмиру Владимир окунулся в ее литературную жизнь. Он знакомится с известными писателями и живо интересуется различными течениями и направлениями в поэзии. Уже в 1908 году Владимир Нарбут начинает публиковать свои стихотворения. В некоторых из них появляются модные в тот период мотивы безысходности, упадочнические настроения. Большое место в раннем творчестве поэта занимает описание природы бесконечно дорогой ему Украины. Проводя все летние каникулярные месяцы на родине, он помогал родителям по хозяйству и занимался репетиторством, зарабатывая необходимые для продолжения учебы деньги. Кроме того, в глуховской тиши ему хорошо работалось и он много писал. Так, после каникулярного лета 1909 года у него сложился сборник стихов, который был издан в начале 1910 года книгоиздательством «Дракон» тиражом в 1000 экземпляров. Эта первая книга «Стихи» содержала 77 стихотворений. Она вышла в изящном оформлении Г. Нарбута и привлекла внимание столичной публики. Владимир Нарбут этим сборником заявил о себе как поэт-профессионал. В критике появились разноречивые, но в большинстве положительные отзывы. Валерий Брюсов, например, отметил, что «г. Нарбут выгодно отличается от многих других начинающих поэтов реализмом своих стихов. У него есть умение и желание смотреть на мир своими глазами, а не через чужую призму. Ряд метких наблюдений над жизнью русской природы рассыпан в его книге».

В 1911—1912 годах он много работает, вступает в «Цех поэтов», а потом и в возглавляемую Н. С. Гумилевым группу акмеистов, редактирует журнал «Gaudeamus», начинает писать отзывы о книгах других молодых поэтов и... пишет стихи на самые разнообразные темы. Его стихотворения появляются во многих известных

и совсем захудалых периодических изданиях, вплоть до таких, как журнал «Новое Вино», не доживший даже до своего третьего номера. Нарбут пробует себя в разных жанрах: публикует очерки, рассказы, зарабатывает деньги стихотворениями, которые могут быть отнесены к тому, что можно было бы условно назвать церковной лирикой, регулярно публикует стихи о природе.

В 1912 году выходит второй сборник стихов Нарбута, привлекший внимание и красочным оформлением, и и набранным церковнославянскими литерами названием «Аллилуиа». Тираж этой книги был всего 100 экземпляров, но шуму она наделала много. До сих пор именно по этому сборнику чаще всего судят о поэзии Нарбута, хотя такие суждения неминуемо оказываются односторонними. Автор был обвинен в кощунстве и порнографии, а книга приговорена к уничтожению, так что и из этого мизерного тиража сохранилось считанное число экземпляров. Картины, нарисованные Нарбутом в этом сборнике, действительно не отличаются изысканностью и красотой, зачастую они беспощадно натуралистичны, но за этим отчетливо просматривается стремление автора не поразить читателей непривычностью картин, а создать представление о том, что в земном бытии благословенно все, вплоть до самого низкого и уродливого. Это не касалось, пожалуй, лишь гротескно-сатирически обрисованных образов разного рода эксплуататоров, пытавшихся подчинить своей воле народ.

Сила и экспрессия стихов этой книги были столь велики, что лидер акмеизма Н. Гумилев писал в начале 1913 года А. Ахматовой: «...я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй, (по-своему) Нарбут окажетесь самыми значительными». Однако преследование духовной и светской цензуры дорого обошлось Нарбуту. Его исключают с 4-го курса университета. Автор запрещенной книги на суде не был. Он, при содействии Гумилева, в октябре 1912 года покидает Россию и уезжает с этнографической экспедицией в Сомали и Абиссинию. Вернулся поэт лишь к марту 1913 года, после амнистии, объявленной по случаю 300-летия дома Романовых. Но и до этого, в дни нависшей над ним опасности, Нарбут продолжает писать и печататься. В 1912 году к столетию Отечественной войны он публикует емкое по смыслу стихотворение «Наполеон», не потерявшее своего интереса и поныне.

В марте — мае 1913 года Владимир Нарбут делает попытку спасти находящийся на грани краха либеральный «Новый журнал для всех» и сделать его изданием левого толка. Однако, неискушенный в финансовой деятельности, он попадает в ловушку к черносотенным кругам и этой неудачей подрывает свой авторитет литературного деятеля. Печатать его отказываются многие ранее расположенные к нему издатели, и он начинает ощущать все увеличивающиеся материальные затруднения. Правда, незначительный доход дают ему абиссинские стихотворения и очерки.

В 1912—1913 годах он делает попытку в обход цензуры издать два миниатюрных сборника стихов. В начале 1913 года ему удается хотя и мизерным тиражом, но все же выпустить в форме елочной игрушки (на игрушки тогда цензура еще не распространялась) так называемую «третью книгу стихов» под названием «Любовь и любовь», содержащую лишь два стихотворения акмеистического характера. Критика на это издание откликнулась резко отрицательно. В результате этого аналогичная вторая книжечка под названием «Вий», хотя и была подготовлена к печати и объявлена к изданию на 1915 год, по-видимому, не вышла. По крайней мере до настоящего времени поиски ее положительного результата не дали.

Трудное финансовое положение поэта, сгущающиеся на политическом горизонте тучи войны вынудили его в начале 1914 года окончательно покинуть столицу и вернуться на родину, в Нарбутовку, где в июне 1914 года женится на дочери ветеринарного врача Нине Ивановне Лесенко (1895—1966). Вскоре он становится студентом Киевского университета. Однако война нарушает все его планы — в конце 1915 года университет эвакуируют в Саратов. Нарбут, в семье которого в 1915 году появился сын Роман, ехать не может. Он расстается с мечтой об окончании университета и усиленно зарабатывает деньги, чтобы обеспечить свою семью. Владимир Иванович сотрудничает в местных периодических изданиях, совмещая эту деятельность с работой в страховой конторе, и, наконец, становится редактором-издателем еженедельной газеты «Глуховский вестник». Он продолжает писать стихи.

Может сложиться впечатление, что Владимир Нарбут был поэтом, способным талантливо описывать природу, высвечивать пороки бытия, призывать к смирению, во-



одушевлять на бой. Такое представление неполно. В его стихах в течение всего дореволюционного периода звучало и лирическое начало. Правда, эта сторона поэзии носила сугубо интимный характер и редко получала выход на печать. Примером может быть впервые печатаемое здесь стихотворение «О, бархатная радуга бровей!..».

Во второй половине 1916-го и начале 1917 года местная периодика заполняется текущими политическими сообщениями. Было уже не до стихов. Самодержавие доживало последние дни. Кончался и дореволюционный период творчества поэта. Чего же он добился за первые десять лет творчества? Из деревенского мальчика он превратился в известного поэта-акмеиста, со своим неповторимым, нарбутовским поэтическим языком. Все это явилось результатом непрерывного самосовершенствования. Хорошо знавшая и высоко ценившая поэта Анна Андреевна Ахматова писала:

Это — выжимки бессонниц,  
Это — свеч кривых нагар,  
Это — сотен белых звонниц  
Первый утренний удар...  
Это — теплый подоконник  
Под черниговской луной,  
Это — пчелы, это — донник,  
Это — пыль, и мрак, и зной.

Однако в полосу революций вступал не только зрелый поэт, но и талантливый журналист и редактор, написавший не один очерк и проработавший в редакциях ряда журналов и газет. Кроме того, в этот период он примкнул к левым социалистам-революционерам (эсерам).

Февральская революция застала Владимира Ивановича в Глухове. Он восторженно приветствовал падение царизма. Большевистской парторганизации в то время в городе не было. Она возникла лишь летом, когда Петроградский комитет РСДРП(б) направил туда трех большевиков, а весной левые эсеры были едва ли не самой революционной и очень малочисленной силой. 9 марта был создан Совет рабочих и солдатских депутатов Глухова, придерживавшийся в вопросах революции меньшевистской точки зрения. Избранный в состав Совета, В. И. Нарбут последовательно отстаивал в нем политику партии большевиков. В сентябре 1917 года Глуховский Совет встал на большевистские позиции.

В начале октября, перед выборами гласных в земство, отвечая на нападки контрреволюционеров, Нарбут писал: «Я всегда тяготел к левому крылу социалистов-революционеров и, каюсь, «даже» к большевикам». 11 октября он был избран гласным по списку № 5 (социалистов-революционеров интернационалистов и большевиков) и, выйдя из партии эсеров, становится большевиком.

Сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции на заседании Глуховского уездного земства определилось отношение гласных к революции. В обнаруженном недавно в архиве украинским журналистом Г. Т. Петровым протоколе заседания земства от 1 ноября 1917 года записано: «Гласные нового состава уездного земского собрания на очередном заседании единогласно приняли торжественное обещание, выработанное Временным правительством, за исключением гласного Нарбута, который торжественного обещания не дал, так как Временное правительство не признает, а считает, что вся власть в стране должна принадлежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а потому дает клятву соблюдать интересы только революционной демократии...» Ему было очень трудно, так как в земстве он был единственный большевик. Более того, 11 ноября 1917 года был опубликован Универсал Центральной Рады, загнавший большевиков в подполье. До стихов ли было в это время?

Период 1917—1920 годов в биографии В. И. Нарбута оказался самым не освещенным в печати. Режим умолчания породил всякие догадки и небылицы. Недобросовестные и недоброжелательные, падкие на сенсации мемуаристы сумели исказить даже те факты, которые были известны. Возникали легенды. Говорили, будто бы Владимир Нарбут воевал в империалистическую войну и ему перебили ногу. Это ложь. Он повредил ногу еще в юношеские годы и поэтому был не годен для военной службы. Говорили, что он был искалечен в гражданскую войну в бою и ему отрубили руку. Тоже ложь. Что якобы он, не выдержав пыток в денкинской контрразведке, раскрыл там какие-то тайны. И это ложь. Все значительно прозаичней и драматичней.

Зимой 1917 года В. И. Нарбут был председателем подпольного ревкома. В ночь на 1 января 1918 года, когда партизанский отряд во главе с большевиком В. Е. Цыганком, совместно с красногвардейцами

под командованием А. А. Знаменского, освобождал Глухов, на хутор Хохловка, где семья Нарбутов встречала Новый год, ворвалась, видимо, бежавшая от красногвардейцев, банда анархистов и учинила расправу. Отец Владимира Ивановича успел выскочить в окно и бежал, жена с двухлетним Романом спряталась под стол, а остальных буквально растерзали. Был убит брат Сергей и многие другие обитатели Хохловки. Владимира Ивановича тоже считали убитым. Всех свалили в хлев. Навоз не дал замерзнуть тяжело раненному В. И. Нарбуту. На следующий день его нашли. Нина Ивановна погрузила его на возок, завалила хламом и свезла в больницу. У него была прострелена кисть левой руки и на теле несколько штыковых ран, в том числе в области сердца. Из-за начавшейся гангрены кисть левой руки ампутировали. Левое легкое функционировать перестало. Чуть поправившись, он переезжает в Киев к брату Георгию. Там происходит его разрыв с семьей.

В начале 1918 года партия направляет его, как литератора, для организации большевистской печати в Воронеж. В условиях неустойчивой советской власти, в период разрухи и бумажного голода менее чем за год (с мая 1918-го по февраль 1919 года) В. И. Нарбут вместе с С. Б. Ингуловым создают там большевистскую печать. Сразу после прибытия в город Нарбут входит в состав редакций газет «Известия воронежского губисполкома» и «Воронежский красный листок». К ноябрю он уже организует издание одного из первых в Советской России журналов «Сирена», сумев привлечь к участию в нем почти всех видных литераторов страны. В первом номере этого журнала появляется его стихотворение «Красная Россия» (позже неоднократно переиздававшееся под названием «Россия»), посвященное первой годовщине Октябрьской революции. В нем поэт-большевик одним из первых ввел в поэтический язык имя Ленина. В номере 2-3 журнала им был опубликован своеобразный манифест «К читателям», в котором, в противовес Пролеткульта, он настаивал на том, чтобы не уничтожать духовные сокровища прошлого, а ставить их на службу освободившемуся народу, создавать новые ценности не на пустом месте, а на базе достижений минувшего. Эти замечательные мысли полностью согласуются с ленинской критикой левацких тенденций Пролеткульта.

С конца 1918 года начинается новый этап в идейной и творческой эволюции Нарбута. Постепенно отходя от акмеизма, он превращается в революционного поэта-трибуна. В январе 1919 года появляется сонет «Гапон», в апреле, уже в Киеве, куда его направили для организации большевистской печати, он начинает публиковать новые стихи («Домбровицы», «В огне» и др.). В это же время В. И. Нарбут редактирует журналы «Солнце труда» и «Зори», создает и возглавляет редакцию журнала «Красный офицер», входит в состав редакции газеты «Коммунист», а также входит в состав редколлегии кружка пролетарских писателей, принимает участие в работе жюри конкурса на создание революционного гимна Украины, пишет и публикует много статей на самые злободневные темы и... пишет стихи. В августе им была подготовлена к изданию книга стихов «Веретено». Однако в начале сентября Киев захватывают денкиинцы. Видимо, уже отпечатанный тираж в эти дни погиб, не дойдя до магазина. Пока, по крайней мере, ни одного экземпляра этого сборника найти не удалось.

Из Киева, через всю Украину, Нарбут пробирается к своим на восток. Однако в конце года его арестовывают, и он попадает в Ростов, в руки денкиинской контрразведки. Несмотря на пытки, никаких тайн он не раскрыл. Отрицая свою принадлежность к большевикам, Нарбут сумел выжить для последующей борьбы против контрреволюции.

Однако сам факт его ареста и поведение в денкиинской контрразведке стали именно той причиной, по которой его, после пресловутого «Шахтинского дела», исключают из партии и снимают со всех должностей. 3 октября 1928 года в ленинградской «Красной газете» было опубликовано за подписью печально известного Шкирятова следующее сообщение: «Ввиду того, что Нарбут В. И. скрыл от партии как в 1919 г., когда он был освобожден из ростовской тюрьмы и вступил в организацию, так и после, когда дело его разбиралось в ЦКК, свои показания денкиинской контрразведке, опорочивающие партию и недостойные члена партии,— исключить его из рядов ВКП(б)».

О том, что никакой вины за ним не было, свидетельствует хотя бы то, что его не преследуют в судебном порядке... Но все это еще его ожидает в будущем... а пока он, после освобождения из денкиинской контрразведки,

становится на короткое время комиссаром в одном из кавалерийских полков.

Затем В. Нарбута направляют в Киев. Там он получает назначение в Николаев, а оттуда — в Одессу, где возглавляет местное отделение украинского Роста (Одукроста). Еще в Ростове он издает, видимо очень малым тиражом, сборник «Красноармейские стихи», который тоже пока еще не найден. В это время завершается перелом в поэтической манере Нарбута. От повествовательности он переходит к языку призыва. Агитационная поэзия одесского периода творчества поэта достаточно полно исследована Л. В. Берловской<sup>1</sup>. Следует упомянуть лишь о том, что именно в Одессе он издал свой последний акмеистический сборник «Плоть», в который включил произведения, в подавляющем большинстве написанные еще в дореволюционный период. Здесь же Нарбут продолжил начатую еще в 1919 году в Киеве работу по подготовке второго издания сборника «Аллилуиа». Сборник этот был с незначительными изменениями выпущен в 1922 году.

В период работы в Одессе (с 14 апреля 1920-го до 14 апреля 1921 года) Владимир Иванович, кроме исполнения своих прямых служебных обязанностей, активно работает в печати: редактирует журналы «Лав» и «Облава», сотрудничает в местной газете «Известия», принимает участие в организации большевистской печати в освобожденном от врангелевцев Крыму, воспитывает когорту молодых способных одесских поэтов, выпускает при их участии Окна Одукроста. Во время краткого пребывания в Полтаве он пытается издать сборник «Стихи о войне». Известно, что рукопись была подготовлена. А вот сборника самого, как и некоторых упомянутых ранее, пока нигде найти не удалось. В том же, 1920 году в Одессе В. И. Нарбут готовит и издает свой первый из обнаруженных сборников революционных стихов «В огненных столбах». Книжечку эту, как и первое издание «Аллилуиа», постигла незавидная участь. Она была запрещена из-за первого стихотворения («Развернулось сердце розой...»), в значительном числе экземпляров уничтожена и до недавнего времени находилась в спецхране.

---

<sup>1</sup> Берловская Л. В. Владимир Нарбут в Одессе.— Русская литература, № 3, 1982, с. 196—201.

В настоящее время найти этот одесский сборник чрезвычайно трудно.

В 1921 году, отдавая должное прекрасным организаторским способностям В. И. Нарбута, его переводят в тогдашнюю столицу Украины на должность заведующего Укроста, и в середине апреля он прибывает в Харьков. В июле Укроста по его инициативе преобразуют в Радиотелеграфное агентство Украины (Ратау), и он становится его директором. С первых дней пребывания в Харькове Нарбут окунулся в журналистско-литературную жизнь. Уже 14 мая он публикует большую критическую статью «Под нафталином», в которой, рассматривая современные поэтические сборники, высказывает мысль о том, что поэзия отстает в своем развитии, что поэты творят по-старому и пишут о старом. Из статьи следует, что поэзия должна быть «достойной выразительницей чувств и идей Великого Октября». Параллельно со своей основной работой, в дополнение к ней, он занимается редактированием ряда периодических изданий, участвует в налаживании театрального дела и, как везде, пишет стихи. В Харькове он издает еще два поэтических сборника: во-первых, сборник своих лучших стихов «Советская земля», куда вошли циклы «Октябрь», «Чека», «Большевик», а также несколько ранее опубликованных в периодической печати произведений; во-вторых, сборник лирического плана «Александра Павловна», в который вошли отрывки из одноименной поэмы, цикл под общим названием «Любовь» и несколько стихотворений. В этом последнем сборнике особо обращают на себя внимание два совершенно разнонаправленных стихотворения: «Совесть» и «Александрю Блоку». Если последнее из них в настоящее время перепечатано и стало доступным, то «Совесть» почти неизвестно читателю. Оно, наряду с такими, как «Предпасхальное», «В огне», «Бухгалтер», эмоционально чрезвычайно насыщено, свидетельствует о внутренней драме поэта и может быть понято лишь теперь, когда мы стали более информированы о тех событиях, которые разразились в стране в 30-е годы. Но об этом чуть позже, а пока... Нарбут продолжает работать. Он не только пишет стихи, но и выступает со статьями, отзывами и даже некрологами. В это время он женится на Серафиме Густавовне Суок, с которой познакомился еще в Одессе. Старшая ее сестра, Лидия Густавовна, была женой Эдуарда Багрицкого, а

младшая, Ольга Густавовна, вышла замуж за Юрия Олешу.

В конце 1921 — начале 1922 года В. И. Нарбута все чаще привлекают к работе находящегося в Москве Центрального бюро Союза революционных писателей (ЦБСРП). В частности, в феврале 1922 года его избирают кандидатом Президиума ЦБСРП, и уже в октябре на Президиуме он делает доклад о положении печати на Украине. Продолжая работать в Харькове, этот полный энергии человек, опираясь на свой огромный опыт редактора и издателя, основывает в Москве 17 марта 1922 года издательство «Земля и Фабрика» (ЗиФ). В середине 1922 года Нарбута переводят по линии Наркомпроса в Москву. Он работает в руководстве административно-организационного управления наркомата. Однако главное, чему он отдает свой талант организатора, это развитие его детища — издательства ЗиФ. Одновременно он включается в журналистскую работу, входит в состав сотрудников ряда столичных периодических изданий, пишет массу публицистических работ, выступает с докладами на совещаниях, пленумах и других форумах. Лишь один перечень занимаемых им постов и должностей в его московский, последний период деятельности занял бы много места. Упомянем здесь только некоторые из них. В феврале 1923 года он был избран в состав ЦБ работников печати (вместе с Н. И. Бухариным, С. Б. Ингуловым, И. В. Вардиным и др.). После этого его вводят в агитпропотдел ЦК РКП(б). С 1924 года он становится заместителем заведующего отделом печати ЦК РКП(б). В марте 1925 года его назначают в состав учебно-методического совета ВАПП (вместе с Д. А. Фурмановым). В мае 1925 года на V Всесоюзном съезде работников печати Нарбут был избран в члены Центрального совета и вошел в состав его президиума (вместе с С. Б. Ингуловым, С. С. Урицким, Н. Н. Ляшко). В январе 1927 года он входит в ВАПП в состав Совета Федерации объединений советских писателей (вместе с А. С. Серафимовичем, А. А. Фадеевым, Ф. Ф. Раскольниковым, А. А. Жаровым). Даже этот неполный перечень свидетельствует о той огромной работе, которую он взвалил на свои плечи. Естественно, что такой адский труд не располагает не только к поэтическому, но и вообще к художественному творчеству.

В 1925 году, когда должен был выйти очередной

сборник стихов «Казненный Серафим», у автора просто не было времени, чтобы всерьез заниматься его изданием. Работа в ЦК партии, руководство издательством ЗиФ, редактирование журналов «Вокруг света», «Всемирный следопыт», «30 дней», огромная журналистская деятельность сделали свое дело, отлучили Нарбута от поэзии, казалось бы, навсегда.

Действительно, в период с 1925 и до 1933 года стихи его в печати не появляются. С 1928 года, оказавшись совсем без дела, он не мог писать стихи, так как страдал от вопиющей по отношению к нему несправедливости. Свое величайшее произведение — издательство ЗиФ, начавшееся изданием Запретного Кобзаря Т. Г. Шевченко и выросшее к тому времени во второе в стране (после Госиздата), — он вынужден был оставить.

Такой оборот событий Нарбут, как, впрочем, и видные деятели нашей партии (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др.) понимали давно, но сделать ничего не могли. Их настроения хорошо передает стихотворение, напечатанное в 1924 году под псевдонимом «Владимир Норд»:

В тяжелой голове туманный страх гнездится,  
Болит в лубках разбитая рука...  
Безмолвно стынет мертвая река.  
Усталый конь испуганно косится.  
    Слежу в снегу пушистый след лисицы...  
    Отряда не догнать. Деревня далека...  
    Смотрю на длинный кнут возницы-старика  
    И в сумраке ищу обоза вереницу.  
Из-за кустов грозят нахмуренные лица...  
Здоровую рукой сжимаю сталь курка...  
Старик молчит. Мороз. И страх издалека  
Идет... Растет... «Эй, погоняй, возница!»

Они понимали, что после ухода из жизни вождя революции «нахмуренные лица» могут свернуть с ленинского пути. В сентябре 1928 года неутомимая деятельность Нарбута на ниве народного просвещения и социалистического строительства пресеклась.

Он бедствует, его переселяют из трехкомнатной квартиры в комнатку. Для того, чтобы как-то существовать, он вынужден продавать накопленную и так необходимую ему для работы библиотеку. Из состояния шока Нарбут постепенно выходит лишь к 1932 году. Помогают ему вернуться к творческой жизни его друзья: Эдуард Багрицкий, Михаил Зенкевич и другие. Он начинает развивать идею так называемой научной поэзии, вступает в 1934 году в Союз советских писателей СССР,





Владимир Нарбут.  
Фотография 1934 г.

создает ряд далеких от всякой политики стихотворений, публикуемых в журналах «Красная новь», «Новый мир» и др. и в газете «Вечерняя Москва». В это же время поэт, верный интернационалистским позициям, сформировавшимся у него еще до революции, переводит на русский язык стихотворения поэтов народов Кавказа.

Кроме того, он готовит большой сборник «Спираль», который должен был подвести итог его поэтическому творчеству. В эту книгу он включает лучшие стихотворения из тех, которые можно было надеяться опубликовать. Некоторые из них умышленно уродует, так как в эти годы цензура значительно ужесточается. Именно поэтому многие произведения, включенные в «Спираль», оказались хуже своих первоначальных вариантов. Большую поддержку и помощь Нарбуту в работе над сборником оказывал Э. Г. Багрицкий. Но после его смерти издать «Спираль» было практически невозможно.

В 1935—1936 годах Владимир Нарбут выпускает альманах «Эдуард Багрицкий» и завершает работу над

первым томом запланированного собрания сочинений Багрицкого. Однако, когда, после убийства Кирова, начинается новая волна кровавых репрессий, Нарбута по очередному доносу 26 октября 1936 года арестовывают. Около года на Лубянке и в Лефортовской тюрьме длилось «следствие»-пытка, которое не смогло его сломить; смертного приговора он себе не подписал. Лишь в 1956 году Прокуратура СССР сообщила, что «Верховный суд СССР от 31 июля 1956 года постановление от 23 июля 1937 года, по которому был осужден... Нарбут Владимир Иванович в ИТЛ сроком на 5 лет, — отменил и дело на него прекратил».

Как отголосок прожитого и пережитого, поэт в последнем своем четверостишии, написанном в канун 1938 года в очередном концлагере, говорит:

И тебе не надоело, муза,  
Лодырничать, кланчить, поводырничать,  
Ждать, когда, сутулый, подымусь я,  
Как тому назад годов четырнадцать...

Почему «четырнадцать», а не, к примеру, «одиннадцать»? Все сказано точно. Если из 38 вычесть эти самые 14, мы получим роковую цифру 24, тот год, когда страна лишилась Ленина и когда начал «в тяжелой голове туманный страх» гнездиться.

В 1937 году Нарбута направляют на Колыму. Владивосток, Магадан и другие пункты Севера — этапы его последнего пути. Но добраться до места отбывания каторги ему не дали. После труднейшей зимы на Колыме «медкомиссия» признает Нарбута непригодным для физического труда. Такое заключение «медиков» было там равносильно смертному приговору. Его возвращают в Магадан. По воспоминаниям очевидцев, весной 1938 года непригодных к физическому труду заключенных погрузили на баржу и в море уничтожили. Поэт А. Г. Тихомиров (1893—1975), которому пришлось испытать чашу ИТЛ в тех же краях, но посчастливилось остаться в живых, так в своем неопубликованном стихотворении представил мученическую смерть Нарбута:

С борта сброшен человек.  
Как?! и почему?! —  
Он упал теперь навек,  
Безвозвратно, в тьму.  
...Поздно, батенька, сады  
В осень украшать!

Когда собраны плоды —  
Майский цвет искать!  
Так не спрашивай — «зачем»,  
Не ищи причин,  
Это — из безмолвных тем,  
Из немых картин.

1956

Так трагически в ледяных волнах Охотского моря оборвалась многотрудная жизнь замечательного человека, посвятившего себя единственной цели — борьбе за освобождение и за духовное обогащение трудового народа. Такова правда о его сложной, до предела насыщенной добрыми делами жизни. Теперь, когда «немые картины» заговорили, когда мы на вопрос «зачем» можем искать и получать ответы, настало время вернуть Нарбута народу.

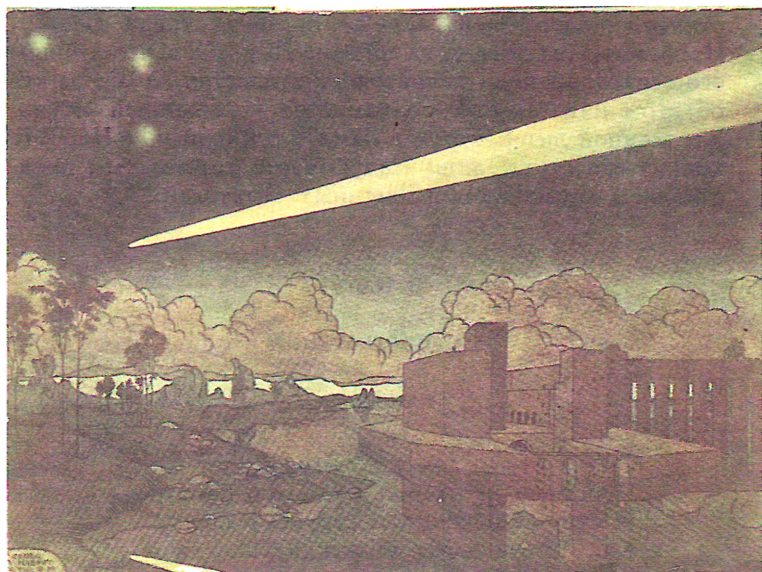
Нередко приходится читать о том, что все лучшее в поэзии было создано Нарбутом до революции, в годы его приверженности к акмеизму. Думается, что это — упрощение. Нарбут продолжал развиваться как поэт до самых последних лет жизни, пройдя сложный и многообразный творческий путь, в котором журналистская, публицистическая, издательская деятельность занимали место не менее, а подчас и более важное, чем собственно поэзия. Подобно А. Гастеву, считавшему лучшим своим стихотворением Центральный институт труда (ЦИТ), Нарбут мог бы сказать в середине 20-х годов, что лучшим его стихотворением является издательство ЗиФ. Память об этом издательстве сохраняется в нынешней «Художественной литературе», а память о Владимире Нарбуте хранят его стихи, лишь малую часть которых мы представляем вниманию современных читателей.

## В. НАРБУТ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

#### БАНДУРИСТ

Сидит сивый дед у дороги, играет  
Перстами на старой, разбитой бандуре...  
И струны рокочат, и струны рыдают,  
Как отзвук далекой затихнувшей бури...  
Как отзвуки бури затихнувшей в море,  
Как гаснувший ропот валов отревевших —



Г. Нарбут. Пейзаж с кометой



Г. Нарбут. От заутрени

То горе народное, темное горе,  
Вспоенное болью в веках поседевших...  
Тоска безысходная сердце терзает,  
Как черная злая, полночная птица...  
А струны рокогут и горько рыдают  
И звуками скорбную строят темницу...  
И сердце, и душу, и вольную волю —  
Все отдал — незрячий — шляхам, да дорогам...  
И плачет на старой бандуре про долю,  
Про горе народа, забытого Богом.

1906 г.

### КОРШУН

Коршун чертит круг за кругом  
В синем мареве небес.  
Поплывет он — то над лугом,  
То шарахается в лес.  
Темным призраком застынет,  
Крылья накрест распластав.  
Вдруг чуть-чуть полетом двинет,  
Упадет в траву стремглав.

\*

И, ярьсь в победном кличе,  
В буйной удали стрелка,—  
С полоненною добычей  
Взмает он под облака.

1906 г.

### НА ЗАРЕ

Не знаю, — в детстве видел я Тебя ли,  
Иль только тень Твою, Бесплотный Дух,  
Когда уж росы травы колебали  
И жертвенный огонь когда потух.  
Ты, проходя поляной голубою,  
Благословлял вечернюю тропу.  
И от голубок не было отбою:  
Они сплетали нимб на светлом лбу.  
Они, едва касаясь крылами,  
Глазами розоватыми в упор  
Глядели на Тебя в зеленом храме,  
И перьев серебрился их убор.

А ты, Ты — нежный, тихий и прекрасный, —  
Мне в душу кротость робко перелил.  
И вот, бреду — вечерний и напрасный —  
Под шелест снежных голубиных крыл.

1909 г.

### ЗАХОЛУСТЬЕ

Прилипли хаты к косогору,  
Как золотые гнезда ос.  
Благоговейно верят взору  
Ряды задумчивых берез.  
Как клочья дыма, встали купы,  
И зеленеет пена их.  
А дали низкие — и скупы  
И скрытны от очей чужих.  
Застенчиво молчит за тишь,  
Как однодневная жена.  
И скромность смотрит серой мышью  
Из волокового окна.  
А под застрехой желто-снежной —  
Чуть запыленный зонтик ос.  
И веет грустью безнадежной  
От косогора, хат, берез.

1909 г.

### АЭРОПЛАН

Рассекает лопасть  
Пропась,  
Бьет крутым крылом,  
Небо в ярких звездах,  
Воздух  
Свищет за бортом.  
Стрекозою звонкой  
Тонкой  
Мчится без следа...  
Светит пояс млечный.  
Вечно  
Рвется мысль туда...

⟨1909⟩

## КОМЕТА

Пришла, как тайная угроза,  
Чтоб в тот же миг опять уйти:  
В алмазах вечного мороза  
Заклочены твои пути.

Летишь — зачем, куда, откуда —

Непостигаемо-нема?..

И ждать чего: добра иль худа?..—

Загадки темного ума.

Ты — только вызов или кара?

Стремишься как: сама собой,

Иль для последнего удара

Ты приготовлена Судьбой?..

Иль, может быть, лишь для забавы

Ты мчишься огненным путем,

Чтоб, словно хвост цветистой павы,

В звездах рассыпаться дождем?..

⟨1910⟩

## ОТ ЗАУТРЕНИ

От свеч и от дыханий жарко  
В старинном деревянном храме;  
А звон, так радостно и ярко,  
Гудит-гудит под куполами.

Поет, благую весть пророча:  
— Воскрес Распятый при Пилате! —  
Редеет мгла весенней ночи,  
И в окнах свет — все синеватей.

Как будто с ненавистью дикой  
Ушла бессмысленная злоба,  
Как будто смерть бежит от Лика  
Христа, восставшего из гроба!

И словно ангельское пенье,  
А не густые перезвоны,  
Звучит победно, в отдаленьи,  
Из голубого небосклона!



И с пасхой маленькой в салфетке  
Так сладостно спешить до дому!  
И придорожных ветел ветки  
Совсем по-новому знакомы!

⟨1912⟩

### МОНАСТЫРСКАЯ ПЕСНЯ

Жизнь моя во Господе! Жизнь моя земная.  
Отчего ты мирная-мирная такая?  
Отчего спокойна ты, словно день осенний —  
Первый после августа, — без глухих томлений?  
Разве ты не чувствуешь прелести и неги —  
В каждом лепесточке и в простой телеге?  
В каждом вздыхании ласкового ветра,  
Сеющего запахи — вкрадчиво и щедро?  
Разве все запряжено в келью за решетку,  
В узкой — замуровано накрепко и четко?  
Ах, не соблазняй меня, голос темной силы!  
Сгинь, рассыпся по полю! Господи помилуй!  
Ведь я в Бога верую. Вера — камень твердый.  
Отойди ж в безвременье, дух беспечно-гордый!  
...Жизнь моя пресветлая! Жизнь моя земная!  
Жизнь моя во Господе — пред вратами Рая!

⟨1912⟩

### СОНЕТ

Шумит вода, взбегая на колеса,  
И тают-тают пенные клочки...  
И серым влажным облаком у плеса  
Висят туман речной и пыль муки...

И так весь день. А даль реки — белеса;  
Над очеретом блеют кулики,  
На кровле мхом покрыты скаты теса,  
И разрушенья дни — недалеки...

Изба ветшает. Но с какой заботой  
Тяжелые вертятся жернова!  
И, кажется, сквозь шум шуршат: «Работай!» —  
И повторяют вечные слова:

— Трудись, трудись, пока тебе дано  
Растить и перемалывать зерно!..

⟨1911⟩

### ЛИХАЯ ТВАРЬ

#### III

Луна, как голова, с которой  
кровавый скальп содрал закат,  
вохрой окрасила просторы  
и замутила окна хат.  
Потом, расталкивая тучи,  
стирая кровь о их бока,  
взошла и — желтый и тягучий —  
погнала луч издалека.  
И в хате мшистой, кривобокой  
закопошилось, поползло,  
и — скоро пристальное око  
во двор вперилось: сквозь стекло.  
И в тишине сторожкой можно  
расслышать было, как рука  
нащупывала осторожно  
задвижку возле косяка.  
Без скрипа, шелеста и стука  
горбунья вылезла и — вдруг  
в худую, жилистую суку  
оборотилась и — на луг.  
Цепляясь острыми когтями,  
перескочила через тын  
и — вот прыжки несут уж сами  
туда, где лег кротом овин.  
А за овином, в землю вросшим, —  
коровье стойло: жвачка, сап.  
Подкрадывается к гороже,  
зажавши хвост меж задних лап.  
Один, другой, совсем нетвердый,  
прозрачно-легкий, легкий шаг,  
и — острая собачья морда  
нырнула внутрь, в полупотьмах.  
В углы шарахнулась скотина...  
Не помышляя о грехе,  
во сне подпасок долгоспинный  
расплюхался на кожеху

и от кого-то заскорузлой  
отмахивается рукой...  
А утром розовое сусло  
(не молоко!) пошлет удой.  
А если б и очнулся пастырь,  
не сцапал ведьмы б все равно:  
прикинется метлой вихрастой,  
валяется бревном — бревно.  
И только первого помета  
опасен ведьмам всем щенок!  
Зацует — ох! — и огороды  
гребет ногами: наутек.  
И после, в хате, колкой дрожью  
исходит, корчась на печи,  
как будто смерть по придорожью  
несли в щенке луны лучи.

⟨1912⟩

#### ГАДАЛКА

Слезливая старуха у окна  
Гнусавит мне, распластывая руку:  
«Ты век жила и будешь жить — одна,  
Но ждет тебя какая-то разлука.  
Он, кажется, высок и белокур.  
Знай: у него — на стороне — зазноба...»  
На заскорузлой шее — низка бус:  
Так выgranить гранаты и не пробуй!  
Зеленые глаза — глаза кота,  
Скупые губы сборками поджаты;  
С землей роднится тела нагота,  
А жилы — верный кровяной вожатый.  
Вся закоптелая, несметный груз  
Годов несущая в спине сутулой,—  
Она напомнила степную Русь —  
Ковыль да таборы, когда взглянула.  
И земляное злое ведовство  
Прозрачно было так, что я покорно  
Без слез, без злобы — приняла его,  
Как в осень пашня — вызревшие зерна.

⟨1912⟩



Г. Нарбут. Казак Мамай



Г. Нарбут. Фронтиспис к сборнику В. Нарбута «Аллилуиа»

## НАПОЛЕОН

В далекой Франции, при свете  
Пожарищ грозных мятежа,  
Ты — на пороге двух столетий —  
Явился, пламенно дрожа.

Под гики черни опьяненной  
И лязг кровавых гильотин,  
Ступени царственного трона  
К себе приблизил ты — один.

На них взошел ты как диктатор,  
А императором воссел:  
Твой буйный дух, о император,  
В тебе от отрочества пел.

И вечно — мощный, беспокойный —  
Ты все разнес, как легкий прах:  
Твои блистательные войны  
Гудят, как медь, досель в веках.

Твое прославленное имя  
Доныне памятно и нам —  
Сынам России: в черном дыме  
Протек ты по ее полям.

О, бич народов! О, Аттила!  
Где было счастье твое,  
Когда неизвестная сила  
Тебя взяла на острие?

И пал ты в зареве пожара,  
Людской горячей кровью пьян,  
Как чернь слепая или старый  
Дуб — коренастый великан.

Ты пал. Как факел погребальный,  
Пылала древняя Москва.  
Но пепел, серый и печальный,  
Уже не прятал торжества.

Сей пепел был тебе той серой  
Которая сожгла Содом.  
Где орденов всех кавалеры?  
Где маршалы? — Все стало сном.  
Лукавый сон кровавой славы!  
Не ты ли ясно показал,  
Как ненадежен величавый  
Ее неверный пьедестал?

Ты пал. Ты умер, темный гений,  
Всегда — осмысленно жесток.  
Ты пал, швырнув для поколений  
Судьбой ниспосланный урок!

1912 г.

## РОМАНС

Зеленая лента широкой полоской  
По черным легла волосам...  
Поверьте: мне нравится ваша прическа,  
Идет она к вашим глазам.

Зеленая лента и профиль точеный,  
Такой я вас видел во сне,  
Когда серебрились и гаснули звоны  
В прозрачной святой тишине...

Вы раз только искоса как-то взглянули,  
А счастьем душа зажжена...  
И в грохоте каменном пасмурных улиц  
Я жду повторения сна...

Быть может, вы — призрак, фигура из воска  
Иль кукла — не знаю я сам...  
Но очень мне нравится ваша прическа:  
Идет она к вашим глазам.

<1911>

## ОРАНЖЕРЕЯ

Войдите в эти дни войны  
В цветущий мир оранжереи,  
Где чисты ландыши весны  
И изощренны орхидеи.  
Где розы влажны на стебле,  
Как бы обрызгнуты росой,  
Где солнце блещет на стекле  
Перед ноябрьскою весною.  
В стенах изнеженных теплиц,  
Как бы не знающих печалей,  
Как много бледных скорбных лиц  
И сколько траурных вуалей,

В глазах невыплаканных слез,  
В походке подкошенной силы,  
И сколько свежих, чудных роз  
Несут на свежие могилы.

1914 г.

#### ОЛЬГЕ КАРПЕКА

О, бархатная радуга бровей!  
Озерные русалочки глаза!  
В черемухе пьянеет соловей,  
И светит полумесяц меж ветвей,  
Но никому весну не рассказать.

Забуду ли прилежный завиток  
Еще не зацелованных волос,  
В разрезе платья вянущий цветок,  
И от руки душистый теплый ток,  
И все, что так мучительно сбылось.

Какая горечь, жалоба в словах  
О жизни безвозвратно прожитой...  
О прошлое! Я твой целую прах.  
Баюкай, вечер, и меня в ветвях  
И соловьиною лелей мечтой.

Забуду ли в передразлучный день  
Тебя и вас, озерные глаза!  
Я буду всюду с вами, словно тень,  
Хоть недостоин, знаю, и ремень  
У ваших ног, припавши, развязать.

Киев 1917 г.

#### ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ

В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,  
сверля глазком калмыцким мутный хлев,  
над слизким, втоптаным в навоз корытом  
кабан заносит шмякающий зев.  
Как тонкий чуб, что годы обтянули  
и закрутили натуго в шпагат,  
стриючок хвоста юлит на карауле,  
оберегая тучный круглый зад.  
В коровьем вывалявшись, как в коросте,



копятся заживо окорока.

— Еще две пары индюков забросьте,—  
на днях писала барская рука,  
и, по складам прочтя, рудой рабочий,  
крапленный оспой парень-дармоед,  
старательней и далеко до ночи  
таскает пойло — жидкий винегрет.  
Сопя и хрюкая, коротким рылом  
кабан копается, а индюки  
в соседстве с ним, в плену своем бескрылом,  
овес в желудочные прут мешки.  
Того не ведая, что скоро казни  
наступит срок и — загудит огонь  
и, облизнувшись, жалами задразнит  
снегов великопостных хлябких сонь;  
того не ведая, они о плоти  
пекутся, чтобы, жиром уснастив  
тела, в слезящей студень позолоте  
сиять меж тортов, вин, цукатных слив...  
К чему им знать, что шеи с ожерельем,  
подвешенным, как сивые бобы,  
вот тут же, тут — пред западнею-кельей,—  
отрубят вдруг по самые зобы  
и схваченная судорогой туша,  
расплескивая кляксы сургуча,  
запрыгает, как под платком кликуша,  
в неистовстве хрипя и клокоча?  
И кабану, уж вялому от сала,  
забронированному тяжело им,  
ужель весна хоть смутно предсказала,  
что дет его холодный нож и дым?..  
Молните, твари! И меня прикончит,  
по рукоять вогнав клинок, тоска,  
и будет выть и рыскать сухой гончей  
душа моя ребенка-старичка.  
Но, перед Вечностью свершая танец,  
стопой едва касаясь колеса,  
Фортуна скажет: «Вот пасхальный агнец,  
и кровь его — убойная роса».  
В раздутых жилах пой о мудрых жертвах  
и сердце рыхлое, как мох, изрой,  
чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мертвых,  
утробою отравленная кровь!

⟨1919⟩

## САМОУБИЙЦА

Ну, застрелюсь. И это очень просто:  
нажать курок, и выстрел прогремит.  
И пуля виноградиной-наростом  
застрянет там, где позвонок торчит,  
поддерживая плечи — для хламид.  
А дальше — что?  
Поволокут меня  
в плетущемся над головами гробе  
и, молотком отрывисто звеня,  
придавят крышку, чтоб в сырой утробе  
великого я дожидался дня.  
И не заметят, что, быть может, гвозди  
концами в сонную вопьются плоть:  
ведь скоро все равно под череп грозди  
червей забьются и — начнут полоть  
то, чем я мыслил, что мне дал господь.  
Но в светопреставленье, в Страшный суд —  
язычник! — я не верю: есть же радий.  
Почию и услышу разве зуд  
в лиловой прогнивающей громаде,  
чьи соки жесткие жуки сосут?  
А если вдруг распорет чрево врач,  
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи, —  
как вымокший заматерелый грач,  
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,  
разбухший вывалю кишок калач.  
И, чуя приступ тошноты от вони,  
свивающей дыхание в спираль,  
мой эскулап едва-едва затронет  
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,  
зубов необлупившихся эмаль.  
И вновь — теперь уже как падаль, — вновь  
распотрошенного и с липкой течкой  
бруснично-бурой сукровицы, бровь  
задравшего разорванной уздечкой,  
швырнут меня...  
Обиду стерла кровь.  
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,  
что я приставлю дуло (я!) к виску?  
...О безвозвратная! О дорогая!  
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,  
а пальцы, корчась, тянутся к курку...

<1920>

## КРАСНАЯ РОССИЯ

Щедроты сердца не разменяны,  
И хлеб — все те же пять хлебов,  
Россия Разина и Ленина,  
Россия огненных столбов!

Бредя тропами незнакомыми  
И ранами кровотока,  
Лелеешь волю исполкомами  
И колесуешь палача.

Здесь, в меркнувшей фабричной копоти,  
Сквозь гул машин, вопит одно:  
— И улюлюкайте, и хлопайте  
За то, что совершить дано!

А там, зеленая и синяя,  
Туманно-алая дуга  
Восходит над твоею скинией,  
Где — что ни капля, то серьга.

Бесслезная и безответная!  
Колдунья рек, трущоб, полей!  
Как медленно, но всепобедная  
Точится мощь от мозолей!

И день грядет, и — молний трепетных  
Распластанные веера  
На труп укажут за совдепами,  
На околевшее. Вчера.

И Завтра... веки чуть приподняты,  
Но мглюю даль заметена...  
Ах, с розой девушка — Сегодня! Ты —  
Обетованная страна!

*Воронеж, 1918 г.*

## В ОГНЕ

Овраг укачал деревню, —  
Глубокая колыбель, —  
И зорями вторит певню  
Пастушеская свирель.

Как пахнет мятой и тмином,  
И ржами — перед дождем!  
Гудит за веселым тыном  
Пчелиный липовый дом.  
Косматый табун — ночное —  
Шишига в лугах пасет,  
А небо, как и при Ное:  
Налитый звездами сот.  
Годами, в труде упрямом,  
В глухой чернозем вросла  
Горбунья-хата на самом  
Отшибе — вон из села.  
Жужжит веретенце, кокон  
Наматывает рука,  
И мимо радужных окон  
Куделятся облака.  
Старуха в платке горохом  
Усыпанном, — как во сне...  
В молитве, с последним вздохом,  
Ты вспомнила обо мне?  
Ты вспомнила все, что было,  
Над чем намело сугроб...  
Родимая! Милый-милый  
В морщинах прилежный лоб.  
Как в детстве, к твоим коленям  
Прижаться — б мне головой...  
Но борется с вием-тленом  
Кладбище гонкой травой;  
Но пепел, печаль пожарищ,  
В обглоданных пнях — тяжел...  
И разве в дупле нашаришь  
Гнездо одичавших пчел,  
Да, хлюпнув, вдруг захлебнется  
Беременное ведро:  
Журавль сосет из колодца  
Студеное серебро...  
...Пропела тоненько пуля,  
Махнула сабля сплеча...  
О, теплая ночь июля,  
Широкий плащ палача...  
Бегут, мелькают колеса,  
Поблескивает челнок, —  
А горе простоволосым  
Стоит и глядит в окно.  
Ах, эти черные раны

На шее и на груди!  
Лети, жеребец буланный,  
Все пропадом пропади!  
Прощайте, завода трубы,  
Мелькай, степная тропа!  
Я буду, рубака грубый,  
Раскраивать черепа.  
Мое жестокое сердце  
Не выдаст тебя, закал!  
Смотри, — глупыш офицерик,  
Как пьяный, навзничь упал...  
Но даже и в лютой сече  
Я вспомню в тысячный раз  
Родимой тихие речи  
И ласковый синий глаз.  
И снова учую, снова,  
Как зерна во тьме растут  
И как над золой лиловой  
Восходит розою труд...

1919 г.

\* \* \*

Пуля, ты ли пропадешь на фронте  
Зря и ты ли будешь, штык, негож?  
Вдребезги барона распатроньте!  
А на пана отточите нож!  
Красные дивизии, на запад!  
Силы соколиные, на юг!  
Не красноармейцы ли облапят  
Шляхтича и — опрокинут вдруг?  
И в пыли, над телом распростертым,  
Из-за голенища нож блеснет,  
Генерал от виселицы чертом  
Заюлит, спасаясь от тенет.  
Бей же меткой пулей, красный воин!  
Целься в лоб спокойно, как в туза!  
Чтоб от пуль и штыковых пробойн  
Темной кровью истекла гроза!

1920 г.

Развернулось сердце розой,  
 Пьет соленую аорту,  
 И над жизнью голомозой  
 Человечий голос: «К черту!»

Что мощей покров парчовый,  
 Церковь, дряхлая хозяйка,  
 Коль кафтаном Пугачева  
 Чествуется чрезвычайка!

Не ущерб, а полнолуние,  
 Солнцем выношенный молот!  
 Пулей, пьяною певуньей,  
 Материк, как лен, прополот.

Пролетарий... Бьется в слове  
 Радость мира с желтой злобой.  
 И не розы, — сгустки крови  
 Облепили гладкий глобус.

1920 г.

### КОВЗАРЬ

Опять весна, и ветер свежий  
 качает месяц в тополях...  
 Стопой веков — стопой медвежьей —  
 протоптанный, оттаял шлях.  
 И сердцу верится, что скоро,  
 от журавлей и до зари,  
 клюкою меряя просторы,  
 потянут в дали ковзари.  
 И долгие застонут струны  
 про волю в гулких кандалах,  
 предтечу солнечной коммуны,  
 поймай потом на полях.  
 Тарас! Тарас!  
 Ты, сивоусый,  
 загрезил над крутым Днепром:  
 сквозь просонь сыплешь песен бусы  
 и «Заповіт'а» серебром...  
 Косматые нависли брови,

и очи карие твои  
гадают только об улове  
очеловеченной любви.  
Но видят, видят эти очи  
(и слышит ухо топот ног!),  
как селянин и друг-рабочий  
за красным знаменем потек.  
И сердцу ведомо, что пути  
и наши, как твои, падут  
и распрямит хребет согнутый  
прославленный тобою труд.

*Харьков, 1920 г.*

### ГОЛОД

Не поворачивая головы,  
Глаза горящие вперед уставив,  
Среди мирской подкошенной травы —  
Шагает призрак в ужасе и славе.  
О, что ему!  
В похожей на скелет  
Избе захлебывается ребенок  
Над матерью, на лбу которой след  
Оставил страшный гость,— и плач так тонок...  
А под забором жалобно ворчит  
Рябая кошка, ребра выпирая...  
А на гумне (где падаль) волочит  
Вздохмаченная, дикая и злая  
Собака связку высохших копыт...  
А это кто?  
Не человек, а тень,—  
Мертвец, шатающийся по деревне!  
Краснея, веки подымает день,—  
И день и ночь не размечают певни...  
Какая жуть!  
Какая тишина!  
И степь сама к буграм ярами жметя,  
И чудится, не выдержит она  
И земляное сердце разорвется!..

⟨1921⟩

## СОВЕСТЬ

Жизнь моя, как летопись, загублена,  
Киноварь не вьется по письму.  
Ну, скажи: не знаешь, почему  
Мне рука вторая не отрублена?  
Разве мало мною крови пролито,  
Мало перетуплено ножей?  
А в яру, а за курганом, в поле,  
До самой ночи поджидать гостей!  
Эти шеи, потные и толстые, —  
Как гадюки, скользкие, как вол,  
Непреклонные, — рукой апостола  
Савла — за стволом ловил я ствол.  
Хвать за горло, а другой — за ножичек  
(Легонький да кривенький ты мой),  
И — тягучей застит очи тьмой  
И тошнит в грудях, томит немножечко.  
А потом, трясясь от рясных судорог,  
Кожу колупать из-под ногтей  
И — опять в ярк и ждать гостей  
На дороге в город из-за хутора.  
Если всполошить что, что запомнится, —  
На дубу свистящий соловей:  
От пронзительного белкой-скромницей  
Детство в гущу прыгнуло ветвей.  
И пришла чернявая, безусая  
(Рукоять и губы набекрень),  
Именем сусальным Иисуса  
Выводить из мрака ветхий день.  
Шевелит отрубленную кистью, —  
Червяками робкими пятью, —  
Тянется к горячему питью,  
И, как Ева, прячется за листьями.

1919 <1922>

## ПЕРЕПЕЛИНЫЙ ТОК

Самочка галстук потеряла, ищет:  
Он — у самца, он в росе намок!  
(...Тут вот я и налаживаю пищик,  
Маленький мой манок.)



Сетка обвисла по краям лощины,  
Травы гремят, навело сверчков  
Так, что небо со всей его вощиной  
Лезет само в очко.

Травы — подсолнуха, конечно, толще —  
В руку! В оглоблю!..

Ах, нет, не то:

Тут — дубовые, клепочные рощи,  
Вытоптан пятый ток!

Бьет, задыхаясь от буры, от солнца,  
Извести в сердце.

А ночь — без сна,

А глаза в пелене у многоженца

И коротка плюсна.

Перья топорщатся, трещат, — их лущат,  
Их оббирают крылом, ногой,  
Клювом.

Сумрак от ревности веснушчат,—  
Штопает дым огонь.

Галстук, которым петушок украшен,

Скомкан, но желтая выше бровь,—

Дракой, шашнями, старостью ошарашен

В топоте он дубров.

Страусом (киви) наскочил соперник,  
Новый боец, и — пошло опять,  
Оттопыренный вспарывать наперник,  
Жгучее тело рвать...

Рвать, но, склероза глухотой не сдержан,

Сам-то я в прорву лечу, дрожа,

Слыша, как обнажает шея стержень

Под черенком ножа.

И, сумасшедший, замечаю сверху:

Вот он валяется — мой манок;

Вот и клетка — неубранная перхоть,

Вмятое толокно;

Вот, обессилев, завязли в тенетах

Головы схваченных забияк,

Расквитавшихся волею и плотью

За нее, как и я...

<1933>

БУХГАЛТЕР

Мне гриппом заложило оба уха,  
Навстречу мне,

Разгорячен и сед,  
Встает из-за разбухшего гроссбуха  
Бухгалтер,

Сумасброд и домосед.  
Приподымаясь,

Раздувает шею.  
Обсерваторией — очки и нос.

...Я чувствую:

Мельчаю, хорошею,  
Я — мальчик!

(Начинается гипноз...)

Как ночи воробьиные,

Чернила  
Вдруг вспыхивают за стеклом:

Предмет,  
Который тьма нарочно подсинила,  
Чтоб глаз Анютин

Свеж был и для смет.  
Я — мальчик.

Губы раздирает заеда.  
Заика,

Арифметикою хвор,  
Я гусеницам подбиваю сальдо  
(Они с листвою проглатывают хлор).  
...Тут Дон-Кихот,

На рысаке, во двор.  
Вот кто бухгалтер!

К стремени: — Останься.

Я — Санчо Панса твой,  
Я — счетовод. —

[...Тут налегает лошадь  
(Для баланса)]

На все четыре:  
Подпереть живот.]  
Морщинистый и долгошей лебедь —  
Выкатывает Дон-Кихот кадык:  
Неиссякаем благородства дебит:  
Копье

Пером должно разить владык.  
...Я выпростался, я подрост,

Я — юноша.

Зря времени советую не тратить,  
Пока пленен

Любовью-опекуншей  
И разбухает с лирикой тетрадь.  
Чернильные поблескивают птицы  
В очках,

В обсерватории — везде.  
(Бухгалтер не годится

Для петиций,  
Для попрошайничества при звезде.)  
Дремуча молодости атмосфера:  
Фурункул семенем набит до дна.  
Стихам и у бродяги Агасфера  
Открыт кредит.

Но молодость трудна.  
Я недоволен.

Чернильницу неровно  
Швыряю на пол:  
Тусклый инвентарь.

Географической рекою,  
Деревом

Без листьев,  
Молния, ответь, удары!

Мне не чернилом,  
Кровью из артерий

Писать стихи:  
То на себя донос!

В мазнице — мед,  
Трава хрустит в пихтере:

Дорога.  
(Продолжается гипноз...)

...Чуть ночь,  
По воробьям палят из пушек:

Фотографирует артиллерист —  
Окопы;

Мокрые вихры избушек;  
Изрешеченный гусеницей лист;  
Кишки и печень,

Взятые из таза —  
Через живот, распахнутый впродоль  
(...Владельцы их, чернея от экстаза,  
Жуют усы, мотают бородой...),—  
Воюющих солдат,

Где каждый вымок  
В синильной ненависти к господам...

Бухгалтерский (здесь только цифры) снимок,—  
Его и Дульсинею не отдам!  
Не юноша я больше:

Я — мужчина.

Сознание, как шкатулку, отперев,  
Я понял:

Следствие есть и причина —  
Семян молниеносных и дерев.  
Мне революция из революций  
(«Война войне»)

Гранатой тычет в нос.

Мужчина я.

Ноги не оторвутся

От единиц,

Рассеявших гипноз...

...Где Росинант?

Суровая пехота

И пяди не отдаст,

В дому — бюджет...

Бухгалтер, что в тебе от Дон-Кихота,  
От Агасфера,

Старца без манжет?

Уж не лазурный светит взор,

А карий.

Уж подбородок,

Как яйцо, обрит.

Ты — человек из наших канцелярий,  
А не гротеск,

Фантазии гибрид.

Чернильная душа,

Я инженером

Стал человеческих (писатель) душ.

Мне приглядеться бы к твоим манерам.

Чтоб на тебя пошла

Не только тушь.

Чтоб,

Не теряя дорогой минуты

(Вернулась ясность к мыслям и ушам),  
За чаем,

У жены твоей Анюты,

Беседовать о жизни по душам.

Ты говоришь,

Очки блестят в задоре.

Молекулы ладонь твоя сечет:

Каких еще нам там обсерваторий,

Коль в смету лег  
  Фундаментом учет!  
Век-фейерверк...  
  Осмысленное семя  
Из каждой цифры рвется  
  (Волей воля),—  
Действительность!  
  Она растет со всеми,  
Как дерево,— над каждою графой.  
...Так, хорошея  
  (И без оперенья)  
За чашкой чая с блюдечком варенья,  
Преодолев лирический испуг,  
Читай, бухгалтер, вслух стихотворенья  
Из книги, называемой  
  Гроссбух.

1935 <1936>

**М. Б. Мейлах**

**РУССКИЙ ДОВОЕННЫЙ ТЕАТР АБСУРДА**

(К пятидесятилетию пьесы Александра Введенского  
«Елка у Ивановых»)

В середине шестидесятых годов послевоенный европейский театр абсурда, на Западе уже успевший к тому времени превратиться в своего рода классику, получает некоторую известность в России. Кое-кто успел повидать в Париже шедшую, кажется, рекордное количество вечеров «Лысую певицу» Ионеско. Просвещенная публика зачитывалась неважно изданным его галлимаровским двухтомником. Стало модным, беря в руки вечное перо, спрашивать, для чего оно предназначено или как сидеть на стуле. Официальная критика торжествовала, что театр абсурда дошел до абсурда. Под видом антифашистской пьесы в печать наконец прорвался «Носорог» Ионеско, за ним — «Годо» Беккета. Пьесы Олби были напечатаны в нашем переводе в Новосибирске под видом учебной билингвы. Олби, почти инкогнито приезжавший в Ленинград, сказал, что пишет пьесу об эволюции — о рыбах, которые уже вышли на берег, но еще не стали птицами (это был «Seascapе»). В крохотном театре на двадцать мест при одном из московских клубов шел с аншлагом «Сторож» Гарольда Пинтера в замечательной постановке правнучки Достоевского. Мало кто тогда знал, что подобный театр появился в России на два десятилетия раньше, чем на Западе (публике, утомленной сомнительными приоритетами, еще предстояло убедиться в этом несомненном факте), и еще столько же продолжал оставаться никому не известным.



Александр Введенский. Тюремная фотография из дела по обвинению «в подрывной деятельности в области детской литературы»

В конце шестидесятых годов я переписал со сценического экземпляра Хармса, подаренного им Н. И. Харджиеву, «Елизавету Бам», а у Я. С. Друскина, спасшего после ареста Хармса его архив, — находившуюся в нем «Елку у Ивановых» Введенского — два высших достижения обэриутского и постобэриутского театра. На фоне несколько монотонных, при всей их значительности, даже лучших западных пьес, с которыми мы к тому времени успели познакомиться, эти вещи поражали философским радикализмом, поэтической суггестивностью и подлинным величием. Вскоре они широко распространились в самиздате.

Театральные опыты Введенского и Хармса восходят к осени 1926 года, когда они обратились к Казимиру Малевичу с просьбой о создании при возглавлявшемся им ленинградском Институте художественной культуры (ИНХУК) театра «Радикс». Знаменательно, что в ноябре того же года Антонин Арто создает в Париже свой театр (впоследствии декларированный им как «театр жестокости»), которому он дает имя Альфреда Жарри (писателя-модерниста, певца «дополнительной реальности», считающегося, как и сам Арто, предтечей театра

абсурда. Пьесу Жарри «Король Убю» поэт-сюрреалист Андре Бретон называл «великим пророчеством о сегодняшнем дне»).

В основу готовившегося «Радиксом» спектакля было положено сочинение Введенского «Моя мама вся в часах», на ходу дополнявшееся все новыми и новыми «кусками». «Радикс», куда были приглашены профессиональные актеры, преимущественно эксцентрики, был задуман, с одной стороны, как «чистый театр», ориентированный на переживание самими актерами чистого театрального действия, с другой — как театр синкретический, сочетающий элементы драмы, музыки, танца, литературы и живописи. Вскоре после появившейся в «Ленинградской правде» статьи «Монастырь на госбюджете» ИНХУК был закрыт, и после двух десятков репетиций, как отмечено в записной книжке Хармса, «Радикс рухнул».

В конце 1927 года Введенский, Хармс, Заболоцкий с несколькими соратниками создают ОБЭРИУ — «Объединение реального искусства», а сами становятся обэриутами. Манифест ОБЭРИУ, изданный в начале 1928 года «Афишами Дома печати», содержит, среди прочего, театральную декларацию. Подобно Таирову, с его лозунгом «самодовлеющей театральности», обэриуты отрицают театр литературный, где все элементы подчинены драматическому сюжету — пьесе как «рассказу в лицах о каком-нибудь происшествии» и где на сцене все делается для того, чтобы «яснее, понятнее и ближе к жизни объяснить смысл и ход этого происшествия». Театр, говорят обэриуты, совсем не в этом. Приведя примеры нескольких абсурдирующих сценических действий (актер, изображающий министра, начинает ходить по сцене на четвереньках и при этом выть по-волчьи, или актер, изображающий русского мужика, произносит речь по-латыни, там же пример появляющегося на сцене стула со стоящим на нем самоваром, из-под крышки которого вместо пара вылезают голые руки);— авторы переходят к утверждению, что ряд таких режиссерски организованных «отдельных моментов» создает театральное представление, имеющее свою линию сюжета и свой сценический смысл. В противовес драматическому сюжету театр ОБЭРИУ концентрирует все внимание на *сюжете сценическом*.

Принципы эти были воплощены в постановленной для обэриутского вечера «Три левых часа» пьесе Хармса



«Елизавета Бам», недавно напечатанной нами в журнале «Родник» (1988, № 5). В спектакле были частично использованы выполненные в мастерской Филонова декорации знаменитой постановки гоголевского «Ревизора», осуществленной на сцене Дома печати футуристом Игорем Терентьевым. Пресса откликнулась сравнительно благодушной в своем неприятии статьей «Итуирэбо» (*обэриуты* — наоборот), но те не угомонились, продолжая свои театрализованные выступления в различных залах города. После серии скандалов в «Смене» появилась в 1930 году доносительская статья под грозным названием «Реакционное жонглерство: об одной вылазке литературных хулиганов». В конце 1931 года Введенский и Хармс были арестованы за «подрывную деятельность в области детской литературы», хотя едва ли эта «область» означала для них нечто большее, чем возможность хоть какого-то заработка. По возвращении из ссылки в конце 1932 года они, не помышляя больше о «консолидации всех левых сил в искусстве» (один из тезисов на переговорах с Малевичем в декабре 1926 года), — составили, вместе с поэтами Николаем Олейниковым, а также философами Яковом Друскиным и Леонидом Липавским, небольшой круг единомышленников. Их беседы зафиксированы в записывавшихся в 1933—1934 годах «Разговорах» Липавского.

С 1936 года Введенский живет в Харькове. В 1938 году он прочитал своим ленинградским друзьям три новых вещи — «Некоторое количество разговоров», «Потец» (этот чудовищный неологизм означает «холодный пот, выступающий на лбу мертвеца») и пьесу «Елка у Ивановых». Перед оккупацией Харькова он, как ранее репрессированный, в сентябре 1941 года подвергается «превентивной эвакуации» и по дороге в Казань погибает. Месяцем раньше, по обвинению «в проведении контрреволюционной пораженческой агитации в военный период, путем которой он пытался вызвать у населения панику и недовольство советским правительством», в Ленинграде был арестован Хармс. О его дальнейшей судьбе до самого последнего времени ничего не было известно, но, поскольку эти заметки связаны с театром абсурда, уместно, может быть, упомянуть, что и о «контрреволюции в области детской литературы», и об обстоятельствах гибели Хармса я узнал из материалов моего собственного дела, когда в 1983 году сам был арестован по обвинению в «антисоветской агитации и

пропаганде с целью подрыва советской власти» (далеко идущие подрывные цели усматривались в «хранении и распространении» книг, содержание которых было признано антисоветским, — например, «Других берегов» Набокова, теперь уже благополучно напечатанных в нашей стране, а его английские романы я сейчас перевожу для все того же издательства на *Ново-Басманной*).

Чтобы показать, какими плохими писателями я занимался (знаменательным образом, их «реабилитация» в шестидесятые годы во внимание не принималась), к моему делу были приобщены выписки из дел Введенского и Хармса. Что касается Хармса, которому, несомненно, грозил расстрел, ему удалось выдать себя за сумасшедшего, что, с его репутацией эксцентрика, было нетрудно (по рассказу Л. И. Пантелеева, Хармс, получив повестку в военкомат, якобы явился туда, завязав один глаз, и рассыпался в извинениях, что опоздал, ссылаясь на то, что держал повестку «кверху ногами» и потому неправильно прочел число: вместо двадцать шестого — девяносто пятое). В результате он был признан невменяемым, но опасным для общества и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, что, по-видимому, только продлило его страдания: 2 февраля Хармс умер — несомненно, от голода и холода — в блокадной психушке. Его архив (включавший пьесы, привезенные Введенским из Харькова) вывез на санках из опустевшего дома уже ослабевший от голода Я. С. Друскин вместе с женой Хармса М. В. Малич, которая, претерпев тяготы депортации с оккупированного Кавказа, путем фиктивного брака добралась до Парижа, где, найдя свою мать, жившую с революционных времен в эмиграции, вышла замуж за собственного отчима и впоследствии жила в Венесуэле.

«Елка у Ивановых» Введенского была впервые напечатана в 1971 году в журнале «Грани» (№ 81) и вошла в его двухтомное Собрание сочинений под нашей редакцией (Ардис, 1980—1984). В нашей стране пьеса, несмотря на ее широкую известность, печатается впервые.

Пьеса может быть точно датирована 1938 годом, исходя из вступительной ремарки к *Картине девятой*, в которой ее события описываются как происходившие «за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас».

Абсурд начинается с названия пьесы: ни одно из действующих лиц не носит фамилию Ивановы (прием, встречающийся и у западных абсурдистов, — например, названия пьесы Ионеско «Лысая певица» или «Десять минут до Буффало» Гюнтера Грасса не имеют отношения к их содержанию). Действие происходит в ожидании рождественской елки в многодетном семействе Пузыревых. Их дети, в возрасте от одного до восьмидесяти двух лет (тогда как все говорит о том, что сами родители еще молоды), носят разные фамилии, впрочем, не случайные, — фамилии образуют две последовательности: на *-ров(а)* и на *-стров(а)*: Петя Перов, Нина Серова и т. д. — Соня Острова и т. д. Такими группами, организованными в плане выражения, Введенский часто пользуется для создания бессмысленных поэтических рядов — например, в упоминавшейся пьесе «Потец» сыновья, пытаясь отгадать значение этого невероятного слова, без конца повторяют — «Может быть, потец — свинец, и младенец, и венец...» и т. п. Такова же эволюция от осмысленного текста до абсурда рифмованных характеристик Няньки Писарем в нашей пьесе: «А еще молода. А еще недурна. А еще хороша. А еще как струна. А еще как душа». «Рамкой» при подобном остранении может служить, например, детализация *ad absurdum* в последовательном укрупнении планов: «Стол. На столе гроб. В гробу Соня Острова. В Соне Островой сердце. В сердце свернувшаяся кровь. В крови красные и белые шарики. Ну конечно, и трупный яд. Всем понятно, что светает...» Наибольшей интенсивности этот прием достигает в пении матери в последней сцене, вырождающемся до пения одними согласными (что, как известно, невозможно) и знаменующем распад коммуникаций.

Возвращаясь к списку действующих лиц, заметим, что помянутый в нем Гробовщик на сцене, как и Ивановы, не появляется вовсе (хотя гроб есть), зато в пьесе участвуют полноценные персонажи, в перечне не указанные, если только они не входят в число *горничных, поваров, солдат, учителей латинского и греческого языка*, — упоминание последних связано, вероятно, с развитием в конце века классического образования: действие пьесы отнесено автором к 90-м годам, точнее — к 1898 году. По этому поводу надо сказать следующее.

Историческая перспектива, исторические детали присутствуют и в других произведениях Введенского этого

времени. Так, в «Четырех описаниях» вместе с повествованием о четырех смертях, происшедших в разное время — от пятидесятих годов прошлого века до гражданской войны,— каждый раз дается квинтэссенция эпохи (например, в тридцати восьми строках, посвященных началу века, не только упоминаются последовательно Репин; Айседора Дункан, Бальмонт, Дума, Блок, атеизм, авиация, теософия, толстовство, но и зафиксированы отметившие эпоху характерные модели сознания, определяемые обычно как «ощущение неопределенности», «ожидание великих свершений» и т. п.). Есть целый ряд связанных с эпохой деталей и в «Елке у Ивановых», более того, есть все признаки эпохи; нет только самой эпохи — она в пьесе ирреальна. Все эти черты и признаки времени носят характер или иронический, или остранный до абсурда, или случайный, что сближает пьесу Введенского с драматургией Артюра Адамова пятидесятих годов. Так, пресловутые учителя латинского и греческого языка вовсе не преподают языков, а почему-то вместе с солдатами, слугами и поварами волокут в одной из сцен Няньку, убившую Соню Острову. Сюда же относится вся семейно-обрядовая сторона пьесы. Прочности дома Пузыревых не поколебала даже первая смерть — смерть их дочери. Характерны мысли, приходящие на ум Пузыреву-отцу в балете, когда он глядит на танцовщицу: «...одна из них, прыгая и сияя, улыбнулась мне, но я подумал: на что ты мне нужна, у меня ведь есть дети, есть жена, есть деньги. И я так радовался, так радовался...» Все эти реалии служат одной цели — цели разоблачения устойчивых механизмов сознания, будь то относящиеся к эпохе или к частной жизни, а с ними — поверхностно понимаемого события и самого времени.

Ту же функцию, что и историческая деталь, несет в пьесе речевая характеристика, например профессиональная, действующих лиц. «Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором», «Федя-Федор, спаси меня», — реплики Няньки окрашены псевдонародным колоритом, который ей, как немке, вовсе не должен быть свойственен: на суде выясняется, что ее зовут Аделина Францевна Шметтерлинг. Слова Врача сумасшедшего дома: «Это она говорит — мы этого не говорим (то есть что Нянька психически больна). Мы зря этого не скажем», — стандартный ответ эксперта-психиатра. Слова эти опровергает сама

же экспертиза — на вопросы Врача дает ответы, якобы нормальные, стоящий рядом Санитар, а когда Нянька протестует, Врач указывает ей, что минуту спустя трудно уже установить, что было на самом деле. Подобная речевая характеристика имеет, однако, в пьесе и другое применение. Следует обратить внимание на ту нелепую форму, в какой персонажи выражают горе, тяжесть, отчаяние, — которые, по содержанию, должны быть весьма значительны. «Сонечка, знаешь, когда мы поднимались по лестнице, — говорит Пузырева-мать над гробом убитой дочери, — надо мной все время летала черная ворона, и я нравственно чувствовала, как мое сердце сжимается от тоски... не закричала беспросветным голосом. Так стало мне страшно. Так страшно. Так нелегко» (последнее добавление особенно обесмысливает этот отрывок); «Я говорю с отчаяньем», «Я приговариваю просто так, от большого горя» (Нянька, Лесоруб), а годовалый мальчик Петя Перов, успокаивая собаку Веру, нелогично замечает: «Успокойтесь. За мою недолгую жизнь мне придется и не с тем еще ознакамливаться» (нельзя не отметить характерную языковую тонкость Введенского — восхитительную форму несовершенного вида глагола). Все это, однако, нисколько не обесценивает реальной тяжести, боли бытия, столь ощутимых в пьесе. Можно сказать, что активной действующей силой в ней является сама эта тяжесть, сама боль, — носители ее, низведенные просто до роли ее атрибутов, не суть ее субъекты, отсюда — абсурдирующая мультипликация ее персонажей: «Няньки, няньки, няньки моют детей» (вступительная ремарка). «А сколько вас?» — спрашивает Врач каменного Санитара, и тот отвечает: «Нас много». Приговоренная к казни Нянька продолжает смутно идентифицироваться с той нянькой или служанкой, которые продолжают участвовать в последующих картинах, — весь этот плюрализм подтверждает мысль о том, что действующие лица не суть индивидуальности в настоящем смысле слова.

Мы не имеем возможности в этом коротком предисловии сколько-нибудь подробно поделиться нашими наблюдениями по поводу художественного богатства пьесы. За пределами этой заметки остаются заданные первой же сценой эротико-эсхатологические мотивы («безнравственность» Сони, эротическая сцена у гроба, любовная сцена Федора и Служанки, кончающаяся его исчезновением). Замечательна сцена суда, — о котором

он высказывается в «Разговорах» Липавского как о «дурном театре» (суд — сквозной мотив Введенского, знакомого с этим институтом по собственному опыту). Нереальность происходящего в пьесе дополнительно проясняется остраниющими авторскими ремарками типа: «Картина восьмая. На восьмой картине нарисован суд» — или, по поводу немых лесорубов, — «Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то, что они только что пели, — это простая случайность, которых так много в жизни...» Приведем слова самого Введенского из тех же «Разговоров», поясняющие стоящую за его бессмыслицей установку на разрушение устойчивых причинно-следственных связей: «Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, чего до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума более основательную, чем та (Канта), отвлеченная. Я усомнился, что, например, дача, дом и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может быть, «плечо» надо связывать с «четыре». Я делал это на практике, в поэзии, и так доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не знаю, должна ли быть одна система связей, или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то, значит, разум не понимает мира».

Заканчивая эти заметки, обратим внимание на то, что в этой необычайнейшей пьесе неожиданно соблюден один из канонов классицизма, а именно единство времени. Все действие уложено в пределы одних суток (единственное нарушение — то, что лесоруб Федор успел за девять часов выучиться и стать учителем латинского языка, — «человек простонародный, а своего добился», — но это, наверное, «одна из случайностей, которых так много в жизни...»). Настойчивое изображение в начале каждой картины «часов слева от двери», всякий раз показывающих точное время, подготавливает его остановку в конце пьесы (напомним высказывание Введенского о том, что его интересуют три вещи: время, смерть и Бог). В сущности, действие «Елки у Ивановых» сводится к ожиданию единственного события — елки: о ней говорят все действующие лица, не упоминается она только в двух картинах из девяти: в участке и в суде. И, наступив, событие это раскрывается наиболее радикальным свершением — смертью всех действующих лиц (отметим, что мотив этот задан буквально первой же

репликой пьесы — словами годовалого мальчика Пети Перова: «Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру»), что согласуется с высказыванием Введенского из его так называемой «Серой тетради» (1932): «Всякий человек, который хотя бы сколько-нибудь не понял время, а только непонявший хотя бы немного понял его, должен перестать понимать и все существующее... Наша человеческая логика и наш язык не соответствуют времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном, его понимании. Наша логика и наш язык скользят по поверхности времени. В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже называть действиями. Про человека, который раньше надевал шапку и выходил на улицу, мы говорили: он вышел на улицу. Это было бессмысленно. Слово «вышел» непонятное слово. А теперь: он надел шапку, и начало светать, и синее небо взлетело как орел».

## АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

### ЕЛКА У ИВАНОВЫХ

#### Действующие лица:

Петя Перов, годовалый мальчик	}	дети.
Нина Серова, восьмилетняя девочка		
Варя Петрова, семнадцатилетняя девочка		
Володя Комаров, двадцатипятилетний мальчик		
Соня Острова, тридцатидвухлетняя девочка		
Миша Пестров, семидесятишестилетний мальчик		
Дуня Шустрова, восьмидесятидвухлетняя девочка		
Пузырева-мать.		
Пузырево-отец.		
Собака Вера.		
Гробовщик.		
Горничные, повара, солдаты, учителя латинского и греческого языка.		

Действие происходит в 90-х годах.

### ДЕЙСТВИЕ I

#### КАРТИНА ПЕРВАЯ

На первой картине нарисована ванна. Под сочельник дети купаются. Стоит и комод. Справа от двери повара режут кур и режут поросят. Няньки, няньки, няньки моют детей.

Все дети сидят в одной большой ванне, а Петя Перов, годовалый мальчик, купается в тазу, стоящем прямо против двери. На стене слева от двери висят часы. На них 9 часов вечера.

Годовалый мальчик Петя Перов. Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру.

Нянька (*мрачная, как скунс*). Мойся, Петя Перов. Намыль себе уши и шею. Ведь ты еще не умеешь говорить.

Петя Перов. Я умею говорить мыслями. Я умею плакать. Я умею смеяться. Что ты хочешь?

Варя Петрова (девочка 17 лет). Володя, потри мне спину. Знает Бог, на ней вырос мох. Как ты думаешь?

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Я ничего не думаю. Я обжег себе живот.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Теперь у тебя будет клякса. Которую, я знаю, не вывести ничем и никогда.

Соня Острова (девочка 32 лет). Вечно ты, Миша, говоришь неправильно. Посмотри лучше, какая у меня сделалась грудь.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Опять хвастаешься. То ягодицами хвасталась, а теперь грудью. Побоялась бы Бога.

Соня Острова (девочка 32 лет. *Поникает от горя, как взрослый малороссийский человек*). Я обижена на тебя. Дура, идиотка, блядь.

Нянька (*замахиваясь топором, как секирой*). Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором.

Петя Перов (мальчик 1 года). И ты почувствуешь на краткий миг, как разорвется твоя кожа и как брызнет кровь. А что ты почувствуешь дальше, нам неизвестно.

Нина Серова (девочка 8 лет). Сонечка, эта нянька сумасшедшая или преступница. Она все может. Зачем ее только к нам взяли.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Да бросьте, дети, ссориться. Так и до елки не доживешь. А родители свечек купили, конфет и спичек, чтобы зажигать свечи.

Соня Острова (девочка 32 лет). Мне свечи не нужны. У меня есть палец.

Валя Петрова (девочка 17 лет). Соня, не настаивай на этом. Не настаивай. Лучше мойся почище.



Володя Комаров (мальчик 25 лет). Девочки должны мыться чаще мальчиков, а то они становятся противными. Я так думаю.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Ох, да будет вам говорить гадости. Завтра елка и все мы будем очень веселиться.

Петя Перов (мальчик 1 года). Один я буду сидеть на руках у всех гостей по очереди с видом важным и глупым, будто бы ничего не понимая. Я и невидимый Бог.

Соня Острова (девочка 32 лет). А я когда в зал выйду, когда елку зажгут, я юбку подниму и всем все покажу.

Нянька (*зверья*). Нет, не покажешь. Да и нечего тебе показывать — ты еще маленькая.

Соня Острова (девочка 32 лет). Нет, покажу. А то, что у меня маленькая, это ты правду сказала. Это еще лучше. Это не то что у тебя.

Нянька (*хватает топор и отрубает ей голову*). Ты заслужила эту смерть.

Дети кричат: «Убийца, она убийца. Спасите нас.  
Прекратите купанье.

Повара перестают резать кур и резать поросят.  
Удаленная на два шага от тела, лежит на полу окровавленная  
отчаянная голова. За дверями воет собака Вера. Входит  
полиция.

Полиция. Где же родители?

Дети (*хором*). Они в театре.

Полиция. Давно ль уехали.

Дети (*хором*). Давно, но не навеки.

Полиция. И что же смотрят,  
Балет иль драму?

Дети (*хором*). Балет, должно быть.  
Мы любим маму.

Полиция. Приятно встретить  
Людей культурных.

Дети (*хором*). Всегда ль вы ходите в котурнах?

Полиция. Всегда. Мы видим труп

И голову отдельно.

Тут человек лежит бесцельно,  
Сам нецельный.

Что тут было?

Д е т и (хором). Нянька топором  
Сестренку нашу зарубила.

П о л и ц и я. А где ж убийца?  
Н я н ь к а. Я пред вами.  
Вяжите меня.  
Лежите меня.  
И казните меня.

П о л и ц и я. Эй, слуги, огня.  
С л у г и. Мы плачем навзрыд,  
А огонь горит.

Н я н ь к а (плачет). Судите коня,  
Пожалейте меня.

П о л и ц и я. За что ж судить коня,  
Коль конь не виноват  
В кровотечение этом.  
Да нам и не найти  
Виновного коня.

Н я н ь к а. Я сумасшедшая.

П о л и ц и я. Ну одевайся. Там разберут. Пройдешь  
экспертизу. Надевайте на нее кандалы или вериги.

О д и н п о в а р. Тебе, нянька, и вериги в руки.

Д р у г о й п о в а р. Душегубка.

П о л и ц и я. Эй, вы, потише, повара. Ну-ну, пошли.  
До свиданья, дети.

Слышен стук в дверь. Врывается Пузырев-отец и Пузырева-мать. Они обезумели от горя. Они страшно кричат, лают и мычат.  
На стене слева от двери висят часы, на них 12 часов вечера.

К о н е ц п е р в о й к а р т и н ы

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Тот же вечер в лесу. Снегу столько, что хоть возами его вози. И, верно, его и возят. В лесу лесорубы рубят елки. Завтра во многих русских и еврейских семействах будут елки. Среди других лесорубов выделяется один, которого зовут Ф е д о р. Он жених няньки, совершившей убийство. Что знает он об этом? Он еще ничего не знает. Он плавно рубит елку для елки в семействе Пузыревых. Все звери попритаились по своим норам. Лесорубы поют хором гимн. На тех же часах слева от двери те же 9 часов вечера.

Л е с о р у б ы. Как хорошо в лесу,  
Как светел снег.  
Молитесь колесу,  
Оно круглее всех.

Деревья на конях  
Бесшумные лежат.  
И пасынки в санях  
По-ангельски визжат.

Знать, завтра Рождество,  
И мы, бесчестный люд,  
Во здравие его  
Немало выпьем блюд.

С престола смотрит Бог  
И, улыбаясь кротко,  
Вздыхает тихо: ох,  
Народ ты мой, сиротка.

**Федор** (*задумчиво*). Нет, не знаете вы того, что я вам сейчас скажу. У меня есть невеста. Она работает нянкой в большом семействе Пузыревых. Она очень красивая. Я ее очень люблю. Мы с ней уже живем как муж с женою.

Лесорубы, каждый как умеет, знаками показывают ему, что их интересует то, что он им сказал. Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то, что они только что пели,— это простая случайность, которых так много в жизни.

**Федор**. Только она очень нервная, эта моя невеста. Да что поделаешь, работа тяжелая. Семейство большое. Много детей. Да что поделаешь.  
**Лесоруб**. Фрукт.

(Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не считается. Его товарищи тоже всегда говорят невпопад.)

2-й **лесоруб**. Желтуха.

**Федор**. После того, как я ее возьму, мне никогда не бывает скучно и противно не бывает. Это потому, что мы друг друга сильно любим. У нас одна близкая душа.

3-й **лесоруб**. Помочи.

**Федор**. Вот сейчас отвезу дерево и пойду к ней ночью. Она детей перекупала и меня теперь поджидает. Да что поделаешь.

Федор и лесорубы садятся на сани и уезжают из леса.  
Выходят звери: **Жирафа** — чудный зверь, **Волк** — бобровый зверь,  
**Лев-государь** и **Свиной поросенок**.

Ж и р а ф а. Часы идут.  
В о л к. Как стада овец.  
Л е в. Как стада быков.  
С в и н о й п о р о с е н о к. Как осетровый хрящ.  
Ж и р а ф а. Звезды блещут.  
В о л к. Как кровь овец.  
Л е в. Как кровь быков.  
С в и н о й п о р о с е н о к. Как молоко кормилицы.  
Ж и р а ф а. Реки текут.  
В о л к. Как слова овец.  
Л е в. Как слова быков.  
С в и н о й п о р о с е н о к. Как богиня семга.  
Ж и р а ф а. Где наша смерть?  
В о л к. В душах овец.  
Л е в. В душах быков.  
С в и н о й п о р о с е н о к. В просторных сосудах.  
Ж и р а ф а. Благодарю вас. Урок окончен.

Звери — Жирафа — чудный зверь, Волк — бобровый зверь, Лев-государь и Свиной поросенок — совсем как в жизни уходят. Лес остается один. На часах слева от двери 12 часов ночи.

Конец второй картины

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ночь. Гроб. Уплывающие по реке свечи. Пузыревотец. Очки. Борода. Слюни. Слезы. Пузырева-мать. На ней женские доспехи. Она красавица. У нее есть бюст. В гробу плашмя лежит Соня Острова. Она обескровлена. Ее отрубленная голова лежит на подушке, приложенная к своему бывшему телу. На стене слева от двери висят часы. На них 2 часа ночи.

П у з ы р е в о т е ц (*плачет*). Девочка моя, Соня, как же так. Как же так. Еще утром ты играла в мячик и бегала как живая.

П у з ы р е в а - м а т ь. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка.

П у з ы р е в о т е ц (*плачет*). Дернул же нас черт уехать в театр и смотреть там этот дурацкий балет с шерстяными пузатыми балеринами. Как сейчас помню, одна из них, прыгая и сияя, улыбнулась мне, но я подумал: на что ты мне нужна, у меня ведь есть дети, есть жена, есть деньги. И я так радовался, так радовался. Потом мы вышли из театра, и я позвал лихача и сказал ему: «Ваня, вези нас поскорее домой, у меня что-то сердце беспокойно».

Пузырева-мать *(зевает)*. О жестокий Бог, жестокий Бог, за что Ты нас наказываешь.

Пузырев-отец *(сморкается)*. Мы были как пламя, а Ты нас тушишь.

Пузырева-мать *(пудрится)*. Мы хотели детям елку устроить.

Пузырев-отец *(целуется)*. И мы устроим ее, устроим. Несмотря ни на что.

Пузырева-мать *(раздевается)*. О, это будет елка. Всем елкам ель.

Пузырев-отец *(разжигая свое воображение)*. Ты у меня красавица, и дети так милы.

Пузырева-мать *(отдается ему)*. Боже, почему так скрипит диван. Как это ужасно.

Пузырев-отец *(кончив свое дело, плачет)*. Господи, у нас умерла дочь, а мы тут как звери.

Пузырева-мать *(плачет)*. Не умерла, не умерла, в том-то и дело. Ведь ее убили.

Входит нянька с годовалым Петей Перовым на руках.

Нянька. Мальчик проснулся. Ему что-то неспокойно на душе. Он морщится. Он с отвращением на все смотрит.

Пузырева-мать. Спи, Петенька, спи. Мы тебя караулим.

Петя Перов (мальчик 1 года). А что Соня, все мертвая?

Пузырев-отец *(вздыхает)*. Да, она мертва. Да, она убита. Да, она мертва.

Петя Перов (мальчик 1 года). Я так и думал. А елка будет?

Пузырева-мать. Будет. Будет. Что вы все, дети, сейчас делаете?

Петя Перов (мальчик 1 года). Мы все, дети, сейчас спим. И я засыпаю. *(Засыпает.)*

Нянька подносит его к родителям, те крестят его и целуют.

Нянька уносит его.

Пузырев-отец *(жене)*. Ты побудь пока одна у гроба. Я сейчас вернусь. Я пойду погляжу, не несут ли елку. *(Выбегает из гостиной. Через секунду возвращается, потирая руки.)* А кстати, и свечей подкинуть надо, а то эти уже совсем отплыли в Лету. *(Низко кланяется гробу и жене и на цыпочках выходит.)*

Пузырева-мать *(остаётся одна)*. Сонечка, знаешь, когда мы поднимались по лестнице, надо мной

все время летала черная ворона, и я нравственно чувствовала, как мое сердце сжимается от тоски. А когда мы вошли в квартиру и когда слуга Степан Николаев сказал: «Она убита. Она убита», — не закричала беспросветным голосом. Так мне стало страшно. Так страшно. Так нелегко.

Соня Острова (бывшая девочка 32 лет) лежит как поваленный железнодорожный столб. Слышит ли она, что говорит ей мать? Нет, где ж ей. Она совершенно мертва. Она убита.

Дверь открывается нараспашку. Входит Пузырев-отец. За ним Федор. За ним лесорубы. Они вносят елку. Видят гроб, и все снимают шапки. Кроме елки, у которой нет шапки и которая в этом ничего не понимает.

Пузырев-отец. Тише, братцы, тише. Тут у меня девочка при последнем издыхании. Да впрочем (*всхлипывает*), даже уж не при последнем, у нее голова отрезана.

Федор. Вы нам сообщаете горе. А мы вам радость приносим. Вот елку принесли.

1-й лесоруб. Фрукт.

2-й лесоруб. Послание грекам.

3-й лесоруб. Человек тонет. Спасайте.

Все выходят. Соня Острова, бывшая девочка 32 лет, остается одна. Остается ее голова и тело.

Голова. Тело, ты все слышало?

Тело. Я, голова, ничего не слышало. У меня ушей нет. Но я все переживало.

Конец третьей картины и I действия.

На часах слева от двери 3 часа ночи.

## ДЕЙСТВИЕ II

### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Участок. Ночь. Полиция. На часах слева от двери 12 часов ночи. Сидит писарь, и сидит городовой.

Писарь. У сургуча всегда грудь горяча. У пера два прекрасных бедра.

Городовой. Мне скучно, писарь.

Я целый день стоял затмением  
на посту.

Промерз. Простыл. И все мне  
опостыло.

Скитающийся дождь и пирамиды  
Египетские в солнечном Египте.  
Потешь меня.

Писарь.

Да ты, городской, я вижу, с ума  
сошел. Чего мне тебя тешить, я  
твое начальство.

Городовой.

Ей-Богу,  
Аптеки, кабаки и пубдома  
Сведут меня когда-нибудь с ума.  
Да чем сводить отравленных  
в аптеки,  
Я б предпочел сидеть

в библиотеке,  
Читать из Маркса разные  
отрывки,

И по утрам не водку пить,  
а сливки.

Писарь.

А что с тем пьяным. Что он, все  
еще качается?

Городовой.

Качается, как маятник вот этот,  
И Млечный Путь качается  
над ним.

Да, сколько их, тех тружеников  
моря,

Отверженных и крепостных  
крестьян.

Входят становой пристав и жандармы.

Становой пристав. Все встать. Все убрать.  
Помолиться Богу. Сейчас сюда введут преступницу.  
Солдаты, слуги, повара и учителя латинского  
и греческого языка волокут няньку, убившую Соню Ост-  
рову.

Становой пристав. Оставьте ее. *(Обращаясь  
к няньке.)* Садитесь в тюрьму.

Нянька. Мои руки в крови. Мои зубы в крови.  
Меня оставил Бог. Я сумасшедшая. Что-то она сейчас  
делает.

Становой пристав. Ты, нянька, о ком гово-  
ришь. Ты смотри не заговаривайся. Дайте мне чарку  
водки. Кто она?

Нянька. Соня Острова, которую я зарезала. Что-то  
она сейчас думает. Мне холодно. У меня голова как жи-  
вот болит.

П и с а р ь. А еще молода. А еще недурна. А еще хороша. А еще как звезда. А еще как струна. А еще как душа.  
Г о р о д о в о й (к няньке).

Воображаю ваше состоянье,  
Вы девочку убили топором.  
И на душе у вас теперь страданье,  
Которого не описать пером.

С т а н о в о й п р и с т а в. Ну, нянька, как вы себя чувствуете. Приятно быть убийцей?

Н я н ь к а. Нет. Тяжело.

С т а н о в о й п р и с т а в. Ведь вас казнят. Ей-Богу, вас казнят.

Н я н ь к а. Я стучу руками. Я стучу ногами. Ее голова у меня в голове. Я Соня Острова — меня нянька зарезала. Федя-Федор, спаси меня.

Г о р о д о в о й.

Некогда, помню, стоял я на посту на морозе.

Люди ходили кругом, бегали звери лихие.

Всадников греческих туча как тень пронеслась  
по проспекту.

Свистнул я в громкий свисток, дворников вызвал  
к себе.

Долго стояли мы все, в подзорные трубы глядели. Уши  
к земле приложив, топот ловили копыт.

Горе нам, тщетно и праздно искали мы конное войско.  
Тихо заплакав потом, мы по домам разошлись.

С т а н о в о й п р и с т а в. К чему ты это рассказал.  
Я тебя спрашиваю об этом. Дурак! Чинодрал. Службы не знаешь.

Г о р о д о в о й. Я хотел отвлечь убийцу от ее мрачных мыслей.

П и с а р ь. Стучат. Это санитары. Санитары, возьмите ее в ваш сумасшедший дом.

В дверь стучат, входят с а н и т а р ы.

С а н и т а р ы. Кого взять — этого Наполеона?

Уходят. На часах слева от двери 4 часа ночи.

К о н е ц ч е т в е р т о й к а р т и н ы

#### КАРТИНА ПЯТАЯ

Сумасшедший дом. У бруствера стоит врач и целится в зеркало. Кругом цветы, картины и коврики. На часах слева от двери 4 часа ночи.



В р а ч. Господи, до чего страшно. Кругом одни ненормальные. Они преследуют меня. Они поедают мои сны. Они хотят меня застрелить. Вот один из них подкрался и целится в меня. Целится, а сам не стреляет, целится, а сам не стреляет. Не стреляет, не стреляет, не стреляет, а целится. Итого — стрелять буду я.

Стреляет. Зеркало разбивается. Входит каменный с а н и т а р.

С а н и т а р. Кто стрелял из пушки?

В р а ч. Я не знаю, кажется, зеркало. А сколько вас?

С а н и т а р. Нас много.

В р а ч. Ну, то-то. А у меня немного чепуха болит. Там кого-то привезли.

С а н и т а р. Няньку-убийцу привезли из участка.

В р а ч. Она черная как уголь?

С а н и т а р. Знаете, я не все знаю.

В р а ч. Как же быть. Мне не нравится этот коврик. (Стреляет в него. Санитар падает замертво.) Почему вы упали, я стрелял не в вас, а в коврик.

С а н и т а р (поднимаясь). Мне показалось, что я коврик. Я обознался. Эта нянька говорит, что она сумасшедшая.

В р а ч. Это она говорит — мы этого не говорим. Мы зря этого не скажем. Я, знаете, весь наш сад со всеми его деревьями и с подземными червяками и неслышными тучами держу вот тут, вот тут, ну, как это называется (показывает на ладонь руки).

С а н и т а р. Виноград.

В р а ч. Нет.

С а н и т а р. Стена.

В р а ч. Нет. В ладони. Ну, впускай же эту няньку.

Входит нянька.

Н я н ь к а. Я сумасшедшая. Я убила ребенка.

В р а ч. Нехорошо убивать детей. Вы здоровы.

Н я н ь к а. Я сделала это не нарочно. Я сумасшедшая. Меня могут казнить.

В р а ч. Вы здоровы. У вас цвет лица. Сосчитайте до трех.

Н я н ь к а. Я не умею.

С а н и т а р. Раз. Два. Три.

В р а ч. Видите, а говорите, что не умеете. У вас железное здоровье.

Н я н ь к а. Я говорю с отчаяньем. Это же не я считала, а ваш санитар.

В р а ч. Сейчас это уже трудно установить. Вы меня слышите?

С а н и т а р. Слышу. Я нянька, я обязана все слышать.

Н я н ь к а. Господи, кончается моя жизнь. Скоро меня казнят.

В р а ч. Уведите ее и лучше приведите елку. Ей-Богу, это лучше. Чуть-чуть веселее. Так надоело дежурство. Спокойной ночи.

На лодке из зала, отталкиваясь об пол веслами, плывут больные.

С добрым утром, больные, куда вы.

С у м а с ш е д ш и е. По грибы, по ягоды.

В р а ч. Ах вот оно что.

С а н и т а р. И я с вами купаться.

В р а ч. Нянька, иди казниться. Ты здорова. Ты кровь с молоком.

На часах слева от двери 6 часов утра.

К о н е ц п я т о й к а р т и н ы

#### КАРТИНА ШЕСТАЯ

Коридор. Тут двери. Там двери. И здесь двери. Темно. Ф е д о р, лесоруб, жених няньки, убившей Союю Острову, во фраке, с конфетами в руках идет по коридору. Ни с того ни с сего у него завязаны глаза.

На часах слева от двери 5 часов утра.

Ф е д о р (*входя в одну дверь*). Ты спишь?

Г о л о с о д н о й с л у ж а н к и. Я сплю, но ты входи.

Ф е д о р. Значит, ты в кровати. Смотри-ка, я угощение припас.

С л у ж а н к а. Откуда же ты пришел.

Ф е д о р. Я был в бане. Я мыл себя щетками, как коня. Мне там в шутку глаза завязали. Дай-ка я сниму фрак.

С л у ж а н к а. Раздевайся. Ложись на меня.

Ф е д о р. Я лягу, лягу. Ты не торопись. Ешь угощенье.

С л у ж а н к а. Я ем. А ты делай свое дело. У нас завтра елка будет.

Ф е д о р (*ложится на нее*). Знаю. Знаю.

С л у ж а н к а. И девочка у нас убита.

Ф е д о р. Знаю. Слышал.

С л у ж а н к а. Уже в гробу лежит.

Федор. Знаю. Знаю.

Служанка. Мать плакала, тоже и отец.

Федор (*встает с нее*). Мне скучно с тобой. Ты не моя невеста.

Служанка. Ну и что же из этого.

Федор. Ты мне чужая по духу. Я скоро исчезну, словно мак.

Служанка. Куда как ты мне нужен. А впрочем, хочешь еще раз.

Федор. Нет, нет, у меня страшная тоска. Я скоро исчезну, словно радость.

Служанка. О чем же ты сейчас думаешь?

Федор. О том, что весь мир стал для меня неинтересен после тебя. И стол потерял соль, и небо, и стены, и окно, и небо, и лес. Я скоро исчезну, словно ночь.

Служанка. Ты невежлив. За это я накажу тебя. Взгляни на меня. Я расскажу тебе что-то неестественное.

Федор. Попробуй. Ты жаба.

Служанка. Твоя невеста убила девочку. Ты видел убитую девочку? Твоя невеста отрубила ей голову.

Федор (*квакает*).

Служанка (*усмехаясь*). Девочку Соню Острову знаешь? Ну вот, ее она и убила.

Федор (*мяукает*).

Служанка. Что, горько тебе?

Федор (*поет птичьим голосом*).

Служанка. Ну вот, а ты ее любил. А зачем. А для чего. Ты наверно и сам.

Федор. Нет, я не сам.

Служанка. Рассказывай, рассказывай, так я тебе и поверила.

Федор. Честное слово.

Служанка. Ну, уходи, я хочу спать. Завтра будет елка.

Федор. Знаю. Знаю.

Служанка. Что ж ты опять приговариваешь. Ведь ты же теперь в стороне от меня.

Федор. Я приговариваю просто так, от большого горя. Что мне еще остается.

Служанка. Горевать, горевать и горевать. И все равно тебе ничто не поможет.

Федор. И все равно мне ничто не поможет. Ты права.

С л у ж а н к а. А то, может, попробуешь учиться, учиться и учиться.

Ф е д о р. Попробую. Изучу латынь. Стану учителем. Прощай.

С л у ж а н к а. Прощай.

Федор исчезает. Служанка спит.  
На часах от двери 6 часов утра.

К о н е ц ш е с т о й к а р т и н ы

### ДЕЙСТВИЕ III

#### КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Стол. На столе гроб. В гробу С о н я О с т р о в а. В Соне Островой сердце. В сердце свернувшаяся кровь. В крови красные и белые шарики. Ну конечно и трупный яд. Всем понятно, что светает. С о б а к а В е р а, поджав хвост, ходит вокруг гроба. На часах слева от двери 8 часов утра.

С о б а к а В е р а.

Я хожу вокруг гроба.  
Я гляжу вокруг в оба.  
Эта смерть — это проба.

Бедный молится хлебу.  
Медный молится небу.  
Поп отслужит тут требу.

Труп лежит, коченея.  
Зуб имел к ветчине я.  
Умерла Дульчинея.

Всюду пятна кровавы.  
Что за черные нравы.  
Нянька, нет, вы не правы.

Жизнь дана в украшенье.  
Смерть дана в устрашенье.  
Для чего ж разрушенье

Самых важных артерий  
И отважных бактерий.  
В чем твой, нянька, критерий.

Федор гладил бы круп  
Твой всегда поутру б,  
А теперь ты сама станешь труп.

Входит, ковыляя, годовалый мальчик П е т я П е р о в.

Петя Перов. Я самый младший — я просыпаюсь раньше всех. Как сейчас помню, два года тому назад я еще ничего не помнил. Я слышу, собака произносит речь в стихах. Она так тихо плачет.

Собака Вера. Как холодно в зале.

Что вы, Петя, сказали.

Петя Перов (мальчик 1 года). Что я могу сказать. Я могу только что-нибудь сообщить.

Собака Вера. Я вою, я вою, я вою, я вою.

Желая увидеть Соню живую.

Петя Перов (мальчик 1 года). Она была непривычно неприлична. А теперь на нее страшно смотреть.

Собака Вера. Вас не удивляет, что я разговариваю, а не лаю.

Петя Перов (мальчик 1 года). Что может удивить меня в мои годы. Успокойтесь.

Собака Вера. Дайте мне стакан воды. Мне слишком.

Петя Перов (мальчик 1 года). Не волнуйтесь. За мою недолгую жизнь мне придется и не с тем еще ознакамливаться.

Собака Вера. Эта Соня несчастная Острова была безнравственна. Но я ее. Объясните мне все.

Петя Перов (мальчик 1 года). Папа. Мама. Дядя. Тетя. Няня.

Собака Вера. Что вы говорите. Опомнитесь.

Петя Перов (мальчик 1 года). Мне теперь год. Не забывайте. Папа. Мама. Дядя. Тетя. Огонь. Облако. Яблоко. Камень. Не забывайте.

Отбывает в штанах на руках у няньки.

Собака Вера (*припоминая*). Он действительно еще мал и молод.

Входят шамкая за руки Миша Пестров и Дуня Шустрова.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Поздравляю. Сегодня Рождество. Скоро будет щелка.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Не щелка, а пчелка. И не пчелка, а елка. Поздравляю. Поздравляю. А что Соня, спит?

Собака Вера. Нет, она мочится.

На часах слева от двери 9 часов утра.

Конец седьмой картины

## КАРТИНА ВОСЬМАЯ

На восьмой картинке нарисован суд. Судейские в стариках — судейские в париках. Прыгают насекомые. Собирается с силами нафталин. Жандармы пухнут. На часах слева от двери 8 часов утра.

Судья (*издыхая*). Не дождавшись Рождества — я умер.

(Его быстро заменяют другим судьей.)

Другой судья. Мне плохо, мне плохо. Спасите меня.

(Умирает. Его быстро заменяют другим судьей.)

Все (*хором*).

Мы напуганы двумя смертями.

Случай редкий — посудите сами.

Другие все (*по очереди*).

Судим.

Будем

Судить

И будить

Людей.

Несут

Суд

И сосуд

На блюде.

Несут

На посуде

Судей.

(Пришедший к делу суд приступает к слушанию дела Козлова и Ослова.)

Секретарь (*читает протокол*).

«Зимним вечером Козлов

Шел к реке купать козлов.

Видит, шествует Ослов,

Он ведет с реки ослов.

Говорит Ослов Козлову:

— Честному ты веришь слову?

Зря ведешь купать козлов,

А читал ты Часослов?

Говорит Козлов Ослову:

— Чти Псалтырь, а к Часослову

Отношенья не имей.

Говорю тебе, немей.

Говорит Ослов Козлову:  
— Тут Псалтырь пришелся к слову.  
На пустырь веди, Козлов,  
Чтя Псалтырь, пасти козлов.

Говорит Козлов Ослову:  
— Я не верю пустослову.  
На тебя сегодня злы,  
Погляди, мои козлы.

Отвечал Ослов Козлову:  
— Ветку я сорву лозову  
И без лишних снов и слов  
Похлещу твоих козлов.

Отвечал Козлов Ослову:  
— Ветвь и я сорву елову  
И побью твоих ослов,  
Словно вражеских послов.

— Голова твоя баранья.  
— Голова твоя коровья.—  
Долго длились препиранья,  
Завершилось дело кровью.

Словно мертвые цветы,  
Полегли в снегу козлы,  
Пали на землю ослы,  
Знаменем подняв хвосты.

Требует Козлов с Ослова:  
— Вороти моих козлов.—  
Требует Ослов с Козлова:  
— Воскреси моих ослов».

Вот и все.

Судья. Признак смерти налицо.  
Секретарь. Ну, налицо.  
Судья (мягко). Не говорите «ну».  
Секретарь. Хорошо, не буду.  
Судья. Начинаю суд.

Сужу,  
Ряжу,  
Сижу,  
Решаю,  
— нет, не погрешаю.

Еще раз.        Сужу,  
                      Ряжу,  
                      Сижу,  
                      Решаю,  
                      — нет, не погрешаю.

Еще раз.        Сужу,  
                      Ряжу,  
                      Сижу,  
                      Решу,  
                      — нет, не согрешу.

Я кончил судить, мне все ясно. Аделину Францевну Шметтерлинг, находившуюся нянькой и убившую девочку Соню Острову, казнить-повесить.

Нянька (кричит). Я не могу жить.

Секретарь. Вот и не будешь. Вот мы и идем тебе навстречу.

Всем ясно, что нянька присутствовала на суде, а разговор про Козлова и Ослова велся просто для отвода глаз.

На часах слева от двери 9 часов утра.

Конец восьмой картины

Конец 3-го действия

## ДЕЙСТВИЕ IV

### КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Картина девятая, как и все предыдущие, изображает события, которые происходили за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас. Это самое меньшее. Так что же нам огорчаться и горевать о том, что кого-то убили. Мы никого их не знали, и они все равно все умерли. Между третьим и четвертым действием прошло несколько часов. Перед дверями, плотно прикрытыми, чисто умытыми, цветами увитыми стоит группа детей. На часах слева от двери 6 часов вечера.

Петя Перов (мальчик 1 года). Сейчас откроют. Сейчас откроют. Как интересно. Елку увижу.

Нина Серова (девочка 8 лет). Ты и в прошлом году видел.

Петя Перов (мальчик 1 года). Видел, видел. Но я не помню. Я же еще мал. Еще глуп.

Варя Петрова (девочка 17 лет). Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Я буду прыгать вокруг. Я буду хохотать.



Володя Комаров (мальчик 25 лет). Нянька, я хочу в уборную.

Няня. Володя, если тебе нужно в уборную, скажи себе на ухо, а так ты девочек смущаешь.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). А девочки ходят в уборную?

Няня. Ходят. Ходят.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). А как? Как ходят? И ты ходишь?

Няня. Как надо, так и ходят. И я хожу.

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Вот я уже и сходил. Вот и легче стало. Скоро ли нас пустят.

Варя Петрова (девочка 17 лет. *Шепчет.*) Няня. Мне тоже нужно. Я волнуюсь.

Няня (*шепчет*). Делай вид, что ты идешь.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Куда ж бы она с вами пошла.

Девочки (*хором*). Туда, куда царь пешком ходит. (*Плачут и остаются.*)

Няня. Дуры вы. Сказали бы, что идете на рояли играть.

Петя Перов (мальчик 1 года). Зачем ты их учишь врать. Что толку в таком вранье. Как скучно жить, что бы вы там ни говорили.

Вдруг открывается дверь. В дверях стоят родители.

Пузырева-отец. Ну, веселитесь. Что мог, то и сделал. Вот ель. Сейчас и мама сыграет.

Пузырева-мать (*садится без обмана к роялю, играет и поет*).

Вдруг музыка гремит,  
Как сабля о гранит.  
Все открывают дверь,  
И мы въезжаем в Тверь.  
Не в Тверь, а просто в зало,  
Наполненное елкой.  
Все прячут злобы жало,  
Один летает пчелкой,  
Другая мотыльком  
Над елки стебельком,  
А третий камельком,  
Четвертая мельком,  
А пятый лезет на свечу,  
Кричит, и я, и я рычу.

Петя Перов (мальчик 1 года). Елка, я должен тебе сказать. Какая ты красивая.

Н и н а С е р о в а (девочка 8 лет). Елка, я хочу тебе объяснить. Как ты хороша.

В а р я П е т р о в а (девочка 17 лет). Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка.

В о л о д я К о м а р о в (мальчик 25 лет). Елка, я хочу тебе сообщить. Как ты великолепна.

М и ш а П е с т р о в (мальчик 76 лет). Блаженство, блаженство, блаженство, блаженство.

Д у н я Ш у с т р о в а (девочка 82 лет). Как зубы. Как зубы. Как зубы. Как зубы.

П у з ы р е в - о т е ц. Я очень рад, что всем весело. Я очень несчастен, что Соня умерла. Как грустно, что всем грустно.

П у з ы р е в а - м а т ь (поет).

А О У Е И Я

Б Г Р Т.

(*Не в силах продолжать пение, плачет.*)

В о л о д я К о м а р о в (мальчик 25 лет. *Стреляет над ее ухом себе в висок*). Мама, не плачь. Засмейся. Вот и я застрелился.

П у з ы р е в а - м а т ь (поет). Ладно, не буду омрачать ваше веселье. Давайте веселиться. А все-таки бедная, бедная Соня.

П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Ничего, ничего, мама. Жизнь пройдет быстро. Скоро все умрем.

П у з ы р е в а - м а т ь. Петя, ты шутишь. Что ты говоришь?

П у з ы р е в - о т е ц. Он, кажется, не шутит. Володя Комаров уже умер.

П у з ы р е в а - м а т ь. Разве умер.

П у з ы р е в - о т е ц. Да конечно же. Ведь он застрелился.

Д у н я Ш у с т р о в а (девочка 82 лет). Я умираю, сидя в кресле.

П у з ы р е в а - м а т ь. Что она говорит.

М и ш а П е с т р о в (мальчик 76 лет). Хотел долголетия. Нет долголетия. Умер.

Н я н ь к а. Детские болезни, детские болезни. Когда только научатся вас побеждать. (*Умирает.*)

Н и н а С е р о в а (девочка 8 лет. *Плачет*). Няня, няня, что с тобой. Почему у тебя такой острый нос.

П е т я П е р о в (мальчик 1 года). Нос острый, но все-таки нож или бритвы еще быстрее.

П у з ы р е в - о т е ц. Двое младших детей у нас еще остались. Петя и Нина. Что ж, проживем как-нибудь.

Пузырева-мать. Меня это не может утешить. Что, за окном солнце?

Пузырев-отец. Откуда же солнце, когда сейчас вечер. Будем елку тушить.

Петя Перов. Умереть до чего хочется. Просто страсть. Умираю. Умираю. Так, умер.

Нина Серова. И я. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка. Ну вот и все. Умерла.

Пузырев-отец. И они тоже умерли. Говорят, что лесоруб Федор выучился и стал учителем латинского языка. Что это со мною. Как кольнуло сердце. Я ничего не вижу. Я умираю.

Пузырева-мать. Что ты говоришь. Вот видишь, человек простонародный, а своего добился. Боже, какая печальная у нас елка. *(Падает и умирает.)*

Конец девятой картины, а вместе с ней и действия, а вместе с ним и всей пьесы

На часах слева от двери 7 часов вечера.

---

---



---

---

## А. И. Ходасевич

### ВОСПОМИНАНИЯ О В. Ф. ХОДАСЕВИЧЕ

От составителя

*Среди не очень большого количества воспоминаний о жизни В. Ф. Ходасевича мемуары его второй жены Анны Ивановны занимают особое место. Они — едва ли не единственные, достаточно подробно рассказывающие о его жизни в 1911—1922 годах, когда он становится одним из выдающихся русских поэтов.*

*Конечно, воспоминания эти — преимущественно бытовые, ибо Анна Ивановна, хотя и писала сама стихи (и печатала их под псевдонимом «София Бекетова»), отнюдь не принадлежала к литературной среде. В то же время они многое проясняют не только в биографии поэта, но и в обстоятельствах создания стихов, а стало быть — и в их биографической подоплеке, которая в представлении Ходасевича непременно была значимой для творчества. Поэтому многие эпизоды, зафиксированные в этих мемуарах, находят себе место в комментариях к стихотворениям Ходасевича. Весьма важны и некоторые документы, сохраненные Анной Ивановной. К сожалению, в публикуемый вариант воспоминаний не вошел текст утраченного ныне письма Ходасевича к его другу Муни, известный по другому варианту текста. Позволим себе процитировать его:*

*«В 1915 году, 9 августа, В. Ф. пишет длинное письмо своему другу Муни, в котором возмущается «слухами». Привожу выдержки из этого письма: «В Москве смешение языков. Честное слово, совершенно серьезно: это ни на что не похоже, кроме смешения языков. Один хам говорит: «Вот вздуют, вот и хорошо, так нам и надо».*

Другой ему возражает: «Не дай Бог, чтобы вздули: а то будет революция — и всех по шапке». Третий: «Я слышал, что Брест построен из эйнемовских пряников: вот он, шпионаж-то немецкий». Четвертый (ей-Богу, своими ушами): «Я всегда говорил, что придется отступить за Урал. С этого надо было начать. Как бы они туда сунулись? А теперь нам крышка». Мунька, здесь нечем дышать. Один болван — «любит Россию, желает ей онемечиться: будем тогда культурны. Немцы в К..... сортиры устроили». Другой подлец Россию презирает — «Даст Бог, вздуем немцев. Марков 2-й все университеты закроет, хе-хе».

Муничка, может быть, все они даже любят эту Россию, но как глупы они! Это бы ничего. Но какое уныние они сеют, и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость, за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня кормит и поит (впроголодь). Каким надо быть мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чеховщину! Ведь это яд для России, худший, чем миллионы монополий, чем немецкие гады, чем черт знает что! А российский интеллигент распускает его с улыбочкой: дескать, все равно пропадать. А то и хуже того: вот повоняю, а культурный Вильгельм придет вентилировать комнаты. То-то у нас будет озон! Заграница.

Когда война кончится, т. е. когда мужик вывезет телегу на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы! Я всегда говорил, что 1) верю в мужика, 2) через 200—300 лет жизнь на земле будет прекрасна...

Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых и левых! Ах, Муничка, кажется, одни мы с тобой любим «мать-Россию».

Я не говорю про тех, кто на позициях: должно быть, там и прапорщик порядочный человек. Но здешних интеллигентов надо вешать: это действительно внутренний враг, на три четверти бессознательный, но тем хуже, ибо с ним труднее бороться. Он сам не знает, что он враг, так где уж его разглядеть? А он тем временем пакостит, сеет слухи «из верных источников» и т. д. Тьфу, я очень устал...»

Есть в мемуарах Анны Ивановны, конечно, и ошибки памяти, и неточно прочитанные тексты (сравните, например, текст приводимого ею письма к Б. А. Диатрову с публикацией по оригиналу — «Наше наследие»,

1988, № 3). Есть и намеренные смещения, вызванные тем, что писались воспоминания в те годы, когда имя Ходасевича было под запретом, и Anne Ивановне хотелось представить его в наиболее выгодном свете. Однако эти ошибки и искажения незначительны (часть их перечислена Н. Н. Берберовой).

Мемуары эти были написаны по инициативе Льва Владимировича Горнунга, поэта, переводчика, мемуариста (подробнее о нем сказано в книге «Панорама искусств», вып. 11. М., 1988). Один из вариантов воспоминаний ныне находится в его фонде в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. К сожалению, в этом тексте недостает одной страницы, и именно этот вариант был напечатан с послесловием Н. Н. Берберовой в альманахе «Russica-81» (Нью-Йорк, 1982). Небольшие отрывки воспоминаний по копии, предоставленной Л. В. Горнунгом А. А. Тарковскому, были опубликованы в журнале «Юность» (1987, № 1). Данный вариант воспоминаний печатается впервые.

#### А. И. ХОДАСЕВИЧ

Меня с Анной Ивановной Ходасевич, жившей на Смоленском бульваре, № 8, в одноэтажном домике в три окошка, где в свое время жил с нею и Владислав Ходасевич, познакомил поэт Юрий Никандрович Верховский. Рядом с нею в соседней комнате жила вдова ее старшего брата Георгия Ивановича Чулкова — Надежда Григорьевна Чулкова.

Георгия Ивановича я знал еще с 1925 года, но не был знаком с его родными. Когда я начал бывать у Анны Ивановны, это было в начале 50-х годов, она жила уже одиноко и была уже далеко не молодой.

Анна Ивановна всегда старалась устроить какой-нибудь чай, а я приносил с собой конфеты или печенье. Узнав о моем приходе, к нам из своей комнаты выползла совсем уже старенькая Надежда Григорьевна. Ростом она была значительно выше Анны Ивановны и даже выше своего мужа Георгия Чулкова, который был среднего роста.

Там же, у Анны Ивановны, я познакомился с ее старшей сестрой Любовью Ивановной. Она была женой врача-психиатра Федора Егоровича Рыбакова.

Я любил бывать у Анны Ивановны, так как она всегда охотно рассказывала о Ходасевиче и обо всех писателях и поэтах, с которыми она встречалась. У нее сохранились книги Владислава Ходасевича с дарственными надписями и единственный автограф его стихотворения «Бараночнику». По ее словам, Ходасевич любил и жалел мышей и старался их чем-нибудь подкормить.

Однажды Анна Ивановна попросила меня сфотографировать ее большого, пушистого кота. Она принесла его в комнату Надежды Григорьевны, где было больше света. Я предложил ей сняться вместе с котом, но она наотрез отказалась. Она держала кота перед собою, и все же на снимке ее лицо было видно.

После съемки Анна Ивановна принесла из своей комнаты фотографии, снятые в ее ранней молодости. Я увидел, что она была исключительно красива. И тогда она добавила: «Теперь вы понимаете, почему я больше не снимаюсь».

В этом доме также бывали и Юрий Верховский, навещавший Чулкова и его сестер (Любовь Ивановна жила отдельно, на Кропоткинской, 32, со своим болезненным и рано умершим сыном), и даже Вячеслав Иванов, который навестил своих старых друзей по Петербургу—Чулкова и Верховского, проезжая в 1924 году со своим сыном Дмитрием через Москву по дороге из Баку в Европу. (Вторая жена Вячеслава Иванова Вера Константиновна Иванова-Шварсалон, дочь его первой жены Зиновьевой-Аннибал, скончалась еще в Баку.)

В один из приездов в Москву из Ленинграда навестила Чулковых Анна Андреевна Ахматова. Тогда же она встретилась у них и с Верховским.

Вячеслава Иванова я видел только однажды — в этот его проезд через Москву. В большом зале учреждения (ГАХН), где я работал в те годы, он с эстрады читал свои стихи «Ave Roma» и «Зимние сонеты». Вячеслав Иванов был высокого роста, без усов и бороды, лицо его было почему-то ярко-розового цвета, и прядь совершенно белых волос спадала на лоб. Чем-то немножко он был похож на старого Тютчева на последних его портретах.

Большую часть своего семейного архива Анна Ивановна послала в Ленинград, в Пушкинский Дом. Это был ее первый, как бы черновой материал воспоминаний о Ходасевиче. Туда же она отправила пять копий его

писем к другу юности Георгию Малицкому. Что еще она отправила из своего архива, мне неизвестно.

Большой кожаный альбом, в который ей писали свои стихи все поэты, жившие в Доме искусств в Ленинграде, она продала в Гослитмузей в Москве. В Доме искусств один Александр Блок отказался вписать в ее альбом свой автограф, сказав, что сейчас не время писать в альбомы. Это было незадолго до его кончины 8 августа 1921 года.

В один из моих приходов Анна Ивановна взяла копию своей биографии Ходасевича и, советуясь кое в чем со мной, внесла исправления в эти воспоминания. Это было зимой 1962 года. Один экземпляр этого нового варианта воспоминаний Анна Ивановна подарила мне.

В эти мои приходы к Анне Ивановне я не один раз настойчиво советовал ей написать ее общие воспоминания о встречах с разными литераторами, которых она встречала и знала за все время своей долгой жизни.

Она начала писать, но последние два года своей жизни чувствовала себя очень плохо, часто у нее бывали боли в области желудка. Она время от времени вызывала одного врача, который давал ей раствор новокаина, после чего боли утихали. Этого врача она называла «Мой дорогой доктор» и платила ему каждый раз по 10 р. Свои воспоминания Анна Ивановна так и не написала. Она умерла 19 октября 1964 года от рака желудка.

Оставшиеся после нее бумаги и книги разобрали какие-то молодые люди, неизвестные мне.

28 ноября 1986 года.

*Лев Горнунг*

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АННЫ ИВАНОВНЫ ХОДАСЕВИЧ, УРОЖДЕННОЙ ЧУЛКОВОЙ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне хочется сказать несколько слов в свое оправдание: почему я — не литератор — все же решаюсь написать биографию — воспоминания о Владиславе Фелициановиче Ходасевиче. Почти все его современники умерли, а кто еще жив, был далек от В. Ф. и немного знает о его жизни и творчестве.



О периоде его жизни за границей мне мало известно, но я тщательно старалась узнать от людей, вернувшихся из-за границы, о его творчестве и вообще о его жизни. Кое-что я узнала из очерка Льва Любимова «На чужбине» в журнале «Новый мир» в № 3 за 1957 год. Знаю, что В. Ф. выпустил книгу стихов под названием «Европейская ночь», написал большую книгу о Державине, много статей о Пушкине. В Париже даже была затеяна подписка на большое издание работ по Пушкину Владислава Фелициановича, но болезнь и смерть его этому помешали. Кроме того, в Брюсселе вышла книга «Некрополь» в 1939 году, и в Нью-Йорке вышла книга «Статей и воспоминаний» в 1954 году.

А. Х.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве в 1886 году, 16 мая старого стиля. Отец его, Фелициан Иванович, был из литовской обедневшей дворянской семьи, мать, Софья Яковлевна, — из еврейской семьи, крещеная католичка, воспитанная в католическом пансионе. Я видела документы деда, носившего фамилию Масла-Ходасевич, с дворянским гербом, на котором был изображен лев, стрелы и еще какие-то атрибуты — все ярко-синее с золотом.

Выкормлен В. Ф. был не матерью, а кормилицей, которая позже осталась его няней.

Как-то он мне рассказывал, что в раннем детстве с ним было происшествие: он выпал из окна второго этажа и остался жив и невредим.

Семья его состояла из отца, матери, четырех братьев и двух сестер. Старший брат, Михаил Фелицианович, был известный адвокат и большой любитель старинной живописи, фарфора и парчи. Второго брата, Виктора Фелициановича, я не знала, так как он не бывал в семье. Третий брат, Константин Фелицианович, тоже был адвокат, но менее известный, и четвертый — Владислав Фелицианович — поэт. Старшая сестра, Мария Фелициановна, жила в Ленинграде и была замужем за Войшицким, младшая, Евгения Фелициановна, жила в Москве и была замужем за адвокатом Кан. Вот эту-то сестру, еще когда она была девушкой, Вл. Фел. очень любил и написал ей, когда ему было 5—6 лет, «стихи»:

Кого я больше всех люблю,  
Уж всякий знает — Женечку.

В семье он был самым маленьким и самым любимым, и В. Ф. отвечал родителям горячей любовью. Отец его, приходя со службы, все же находил время поиграть с Владей, о чем вспоминает В. Ф. в своем стихотворении «Дактили».

Вл. Фел. очень рано научился читать, и в детстве его любимым занятием было чтение. Однажды летом, по каким-то семейным обстоятельствам, он был отправлен к дяде на дачу под Петербургом. В этой же дачной местности жил поэт Майков. Узнав об этом, В. Ф., будучи 6—7 лет, отправился самостоятельно к даче Майкова и, увидев на скамейке седовласого старца, сказал: «Вы поэт Майков?» — и, получив утвердительный ответ, сообщил: «А я Владя Ходасевич. Я очень люблю Ваши стихи и даже могу прочесть наизусть «Мой сад с каждым днем увядает...». Майков выслушал со вниманием юного поклонника и даже поблагодарил. С тех пор Владя считал себя его знакомым и очень этим гордился.

---

Гимназические годы В. Ф. мне мало известны. Знаю, что он учился в Московской III классической гимназии, где проходили древнегреческий и латинский языки. В одном классе с ним учился брат Валерия Брюсова — Александр Брюсов. Очевидно, влияние старшего брата сказалось на младшем брате, и он стал писать стихи. Это объединяло В. Ф. с Александром Брюсовым, и они еще многие годы были в приятельских отношениях.

В том же классе учился Георгий Малицкий — в будущем ученый секретарь Московского Исторического музея. Ходасевич сохранил и с ним дружбу до своего отъезда за рубеж.

Окончив гимназию, В. Ф. поступил в 1904 году в Московский университет на юридический факультет. Осенью 1905 года перешел на историко-филологический. Университета, насколько мне известно, он не закончил.

Будучи не то в последнем классе гимназии, не то на первом курсе университета, он написал в альбом своей маленькой племяннице Наташе Кан следующие стихи:

У Наташи глазки черные,  
А ресницы — как иголочки,  
Ночью дремлют глазки черные,  
А альбом лежит на полочке.

*Зеленая обезьяна.*

В восемнадцать лет Владя женился на Марине Рындиной из очень богатой семьи. Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая причудница. Одна из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. Владя рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное близ станции Бологое, она взяла с собой в купе следующих животных: собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая. Уж вообще был ручной, и Марина часто надевала его на шею вместо ожерелья. Однажды она взяла его в театр и, сидя в ложе, не заметила, как он переполз в соседнюю ложу и, конечно, наделал переполох, тем более что его приняли за змею. Владе из-за этого пришлось пережить неприятный момент.

Еще он рассказывал о таком случае: они летом жили в имении Марины. Она любила рано вставать и в одной рубашке (но с жемчужным ожерельем на шее) садилась на лошадь и носилась по полям и лесам. И вот однажды, когда Владя сидел с книгой в комнате, выходящей на открытую террасу, раздался чудовищный топот и в комнату Марина ввела свою любимую лошадь. Владислав был потрясен видом лошади в комнате, а бедная лошадь пострадала, зашибив бабки, всходя на несколько ступеней лестницы террасы.

Марину я позже встречала в Московском литературно-художественном кружке. Одета в черное или белое платье, с высокой прической, на которую она надевала золотой раздвижной браслет — бирюза с жемчугом, — она напоминала сказочную царевну. Хороша она была и днем, когда ехала по Кузнецкому мосту на своих лошадях, откинувшись в коляске на бархатные подушки. О душевных ее качествах Владя мне мало говорил. Во всяком случае, любовь Влади к Марине сказалась в его первой книге стихов «Молодость», вышедшей в 1905 году. Сам Владя в те годы был большим франтом: студенческий мундир с воротником, подступающим к самым ушам, лакированные туфли, перчатки и т. д.

Нередко его видели в Литературном кружке за карточным столом, где играли в «железку». Владя всегда был худенький и бледный. Азартная игра в карты чередовалась с творческой работой, общением с Брюсовым, с Андреем Белым, Эллисом, с Ниной Петровской, Сер-

геем Соколовым, который в то время издавал журнал «Перевал».

Однажды Владя по издательским делам поехал в Петербург. За время его отсутствия Марина сошлась с Сергеем Константиновичем Маковским — поэтом и издателем «Аполлона». С Маковским она впоследствии уехала в эмиграцию.

Разъехавшись с Мариной, Владя поселился в меблированных комнатах «Балчуг», где жил и работал в более скромной обстановке.

В то время у писателя Бориса Зайцева часто бывали вечеринки, на которых молодые писатели и поэты читали свои новые произведения. Я там тоже бывала и впервые услышала стихи Влады, которые меня совершенно пленили. Я в то время была замужем за Александром Брюсовым. Познакомившись с Владей, я настаивала, чтобы он возобновил прежние приятельские отношения с моим мужем. Владя стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А. Б. какой-то испанский роман, писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии, акrostихи и тому подобные вещи. Я очень подружилась с Владей — он делился со мной своими новыми стихами, своими душевными и любовными переживаниями. Он в то время был влюблен в Евгению Муратову (жену искусствоведа Павла Павловича Муратова) и очень огорчался ее не вполне серьезным отношением к его любви. Он рассказывал мне, что часто по вечерам бродил по улицам Москвы с Евгенией Муратовой, иногда они забегали в маленькие ресторанчики или кафе, а иногда под утро заходили в церковь, где Владя покупал просвирки. Вообще в те времена многие писатели и поэты посещали церковь. В страстную субботу в Кремле в церкви Нечаянной Радости можно было встретить и Бунина, и Андрея Белого, и Бориса Грифцова, и многих других писателей и художников того времени.

Физически Владя чувствовал себя плохо. Как-то, заработав небольшую сумму денег, он решил поехать в Венецию, где в то время была Евгения Муратова и еще много знакомых. Он кашлял, был очень бледен и нервничал. Мы с мужем провожали его на вокзал, и я плакала, думая, что он не вернется живым. Это было в 1910 году. Он пробыл в Венеции дольше, чем предполагал, так как сумел найти себе работу: водил экскурсии по музеям, галереям и церквам, что дало ему

возможность подольше пожить за границей. Евгения Муратова до Венеции была в Лондоне вместе со школой Э. И. Рабинек, которая там выступала. Э. И. Рабинек была ученицей Дункан и продолжала ее дело в Москве.

Встреча Влади с Муратовой в Венеции была печальной: они там расстались.

Владя вернулся в Москву слегка поправившись и привез много новых стихов. Часто печатался в газетах и журналах «Весь», «Золотое Руно», «Перевал» и готовил вторую свою книгу стихов — «Счастливый домик».

Однажды Владя пришел к нам совершенно потрясенный горем: его мать ехала на извозчике по Тверской улице, лошадь чего-то испугалась, понесла, пролетка зацепилась колесом за тумбу, и его мать, падая, ударилась головой о тумбу и тут же умерла. Вскоре отец Влади, страдавший грудной жабой и потрясенный смертью жены, тоже скончался.

Владя очень любил своих родителей. Эта двойная смерть очень тяжело отозвалась на нем.

Как раз в это время я ушла от Александра Брюсова, и мы стали жить вместе с Владей. Первый месяц нашей совместной жизни был печальный: нервы Влади были в очень плохом состоянии, у него были бессонницы и большая возбужденность к ночи. Врач посоветовал класть холодный компресс на голову и грелку к ногам.

В то время Владя работал в издательстве «Польза». Это было издательство, которое выпускало маленькие общедоступные книжки в желтой обложке ценою в 20—40 копеек. Для этого издательства Владя переводил с польского Мицкевича, Реймонта, Пшибышевского и других писателей. Жилось материально трудно. Жили мы в одной комнате. По тем временам это считалось бедностью.

Однажды пришел швейцар из нашего подъезда и сообщил, что звонил Валерий Брюсов и просил предупредить, что придет к нам вечером. Мы очень удивились, так как Валерий Яковлевич раньше не бывал у Владислава Фелициановича. Решили, что это по каким-нибудь литературным делам. Но вечером приехал Валерий Яковлевич с большой коробкой конфет и сам попросил напоить его чаем. За чаем в милой беседе высказал желание, чтобы мы познакомились и взяли под свое «семейное покровительство» молодую поэтессу Надежду Львову. Он был очень ею в то время увлечен.

Как-то, будучи в «Литературном кружке», мы все встретились, и произошло знакомство. Надя Львова произвела на меня приятное впечатление, и мы быстро подружились. Львова была очень молода — лет 19—20. Стихи ее были явно под влиянием Брюсова и носили немного истерический характер. В скором времени у нее вышла книга стихов под названием «Старая сказка».

Мы часто посещали «Литературный кружок», в большинстве случаев «четверги», т. е. вечера «Свободной эстетики», где главенствовал Валерий Брюсов. Там читались стихи и проза авторами с определенным уклоном к символизму. Бывали там Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, София Парнок, Константин Бальмонт, С. А. Поляков (изд. «Весов»), наш друг Муня<sup>1</sup>, Нина Петровская, Борис Садовской, Марина Цветаева и др.

Иногда бывали мы и на «средах», где происходило чтение (большей частью) прозаических произведений с реалистическим направлением. Знаю, что видала там Ивана Бунина, Леонида Андреева, Александра Куприна и др. — большей частью сотрудников издательства «Знание». Председателем был Н. Д. Телешев.

В общем «Московский литературно-художественный кружок» был очень пестрым: там бывало много адвокатов, врачей, художников, коммерсантов, меценатов, композиторов и нарядных дам.

Однажды в «Литературном кружке» на вечере «Свободной эстетики» Валерий Яковлевич объявил конкурс на слова Дженни из «Пира во время чумы»: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». Владя как будто бы и не обратил на это внимание. Но накануне срока конкурса написал стихи «Голос Дженни».

На другой день вечером мы поехали в «Литературный кружок», чтобы послушать молодых поэтов на конкурсе. Результаты были слабые. Если мне не изменяет память,— все же лучшим стихотворением конкурса признаны были стихи Марины Цветаевой. Владя не принимал участия в конкурсе, но после выдачи первой премии Цветаевой подошел к Брюсову и передал ему свое стихотворение. Валерий Яковлевич очень рассердился. Ему было досадно, что Владя не принимал участия в конкурсе, на котором жюри, конечно, присудило бы первую премию ему, так как его стихи Брюсов нашел много лучше стихов Марины Цветаевой.

---

<sup>1</sup> Поэт Самуил Киссин.

Однажды, играя со своим сыном, я напевала детскую песенку, в которой были слова: «Пляшут мышки впятером за стеною весело». Почему-то эта строчка понравилась Владе, и с тех пор он как-то очеловечил этих мышат. Часто заставлял меня повторять эту строчку, дав обе мои руки невидимым мышам — как будто мы составляли хоровод. Я называлась «мыш-бараночник» — я очень любила баранки. В день нашей официальной свадьбы мы из свадебного пирога отрезали кусок и положили за буфет, желая угостить мышат — они съели. Впоследствии, в 1914 году, когда я заболела крупозным воспалением легких и была близка к смерти, Владя после кризиса преподнес мне шуточные стихи, которые, конечно, не вошли ни в один сборник его стихов. Вот они:

Бедный Бараночник болен: хвостик, бывало, проворный  
Скромно поджав под себя и зубки оскаливши, дышит.  
Чтобы его приободрить и выразить другу вниманье,  
Мы раздобыли баранку. Но что же? Едва шевельнувшись,  
Лапкой его отстранил — и снова забылся дремотой...  
Боже мой! Если уж даже баранка мышина сердца  
Больше не радуется, — значит, все наши заботы бессильны,  
Значит, лишь Ты, Вседержитель, его исцелишь и на радость  
В мирный наш круг возвратишь. А подарок до времени может  
Возле него полежать. Очнется — увидит. Уж то-то  
Станет баранку свою катать по всему подполью!  
То-то возней громыхливой соседям наделает шуму.

---

В то время Владя часто печатался в альманахах «Гриф», в Антологии издательства «Мусагет», в журналах «Русская мысль», «Аполлон», «Северные записки» и в других изданиях. Кроме того, занимался переводами с польского. Кое-что переводил из Мопасана и Мериме, писал кое-что для театра Никиты Балиева «Летучая мышь».

Постепенно он приступил к написанию своей третьей книги стихов «Путем Зерна».

Иногда он писал стихи очень быстро, а иногда вынашивал их годами. Бывали случаи, когда мы шли по улице и Владя меня останавливал и, вырвав из записной книжки листок, писал на моей спине пришедшую в этот момент строчку. А иногда ночью он будил меня и просил встать и записать несколько строк.

Началась война 1914 года, Владя был призван, но получил белый билет по состоянию здоровья; через полгода еще раз — опять белый билет, через несколько месяцев еще раз белый билет, а в четвертый раз был признан «годным». Это была совершенная дикость. Он растерялся и не знал, что предпринять. Обратился к А. М. Горькому с просьбой разобраться в этой чепухе — Горький помог.

---

У Валерия Яковлевича Брюсова была сестра Лидия Яковлевна, которая была замужем за Муней. Он тоже был призван и, хотя окончил Московский университет, был солдатом, так как евреи не могли быть офицерами. Его сделали «чиновником», т. е. сопровождающим воинские поезда. Он очень тяготился военной службой, осложненной неприятностями в связи с его национальностью. На одной из станций он вошел в кабинет начальника станции, в его отсутствие нашел у него на столе револьвер и застрелился. Это было 22 марта (старого стиля) 1916 года. Но, конечно, его военная служба была только одна из многих причин, которая привела его к этому печальному концу. Эта смерть тяжело отозвалась на Владе. Он очень любил Муню, которого можно было назвать его единственным другом, и он мучился и уверял себя, что отчасти виноват в этой смерти, так как был всегда слишком строгим критиком к стихам Муни, а Муня чрезвычайно считался с мнением Влады и принимал слишком близко к сердцу его оценки. У Влады опять начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций, и, очевидно, и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муню в своей квартире.

Вскоре Владя написал стихи, которые относились к смерти Муни, и напечатал их только в 1922 году в сборнике «Тяжелая Лира».

Лэди долго руки мыла,  
Лэди крепко руки терла.  
Эта лэди не забыла  
Окровавленного горла.

Лэди, лэди! Вы как птица  
Бьетесь на бессонном ложе,  
Триста лет уж вам не спится —  
Мне лет шесть не спится тоже.



Боюсь, что хронология в моих воспоминаниях сильно хромает, — мне семьдесят два года. Вспоминаю отдельные картинки прошлого и записываю.

Владя не любил ходить в театры и концерты, но посещал генеральные репетиции Художественного театра, в то время бывшего в полном расцвете. Часто бывал на вернисажах выставок. Охотно посещал выступления школы Рабинок. Ему там особенно нравилась одна из учениц этой школы — Таня Савинская, с которой он был знаком и даже бывал у нее в доме.

В 1916 году мы как-то были приглашены на день рождения поэтессы Любови Столицы. У нее была загородная дача под Подольском. День был ясный и теплый. Поужинали, изрядно все выпили, в комнате было душно, Владя вышел на балкон и в темноте шагнул с балкона на землю, а балкон был почти на втором этаже. Он не упал, но встал так твердо, что сдвинул один из спинных позвонков. Вскоре у него начались боли в спине, и после долгих исследований выяснилось, что у него начался туберкулезный процесс в позвоночнике. На него надели гипсовый корсет. Летом велели ехать на юг. Носки и туфли сам он не мог надевать, а потому в подмогу ему я послала вместе с ним сына моего от первого мужа, Гаррика, которому было тогда десять лет. Поехали они тогда в Коктебель к Максиму Волошину. У Волошина летом всегда было много народа, причастного к искусству, да и сам Макс Волошин очень симпатизировал Владе и часто по ночам беседовал с ним на отвлеченные темы. Через месяц я получила телеграмму: «Заложить что-нибудь и приезжай, скучаю». Я в это время служила в городской управе в отделе регистрации раненых, но получив такую телеграмму, взяла отпуск и поехала в Коктебель. Владю я застала дома, лежащим на кровати, он был черен, как уголь. Он часами лежал на пляже, прикрывая больной позвонок куском черной материи. Это дало блестящие результаты. У него вскоре сломался корсет, и он поехал в Феодосию, чтобы сделать новый. Но в тамошней больнице ему сделали рентгеновский снимок и сказали, что ему уже не нужно носить корсет.

Месяца через два мы вернулись в Москву. Владя усиленно писал стихи и занимался Пушкиным. Он любил Пушкина, как живого человека, и ему доставляла огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пушкина.

В 1917 году, после революции, которую Владя принял с огромной радостью, он одним из первых вступил в Союз писателей и стал печататься в революционных газетах и журналах, за что многие из писателей на него шипели. Но материально нам жилось тяжело. Здоровье его подорвалось от недостаточного питания, и у него начался фурункулез. Доходило до пяти фурункулов одновременно. Лечения почти не было. Фурункулы прорывались часто ночью, и нужно было срочно промывать и перевязывать чистым бинтом. Бинтов в аптеке не было. А главное, не было соответствующего питания, и он совершенно извелся.

В то время книжных магазинов почти не было, и писатели открыли Книжную Лавку писателей. В ней участвовали следующие лица: Павел Муратов, Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Михаил Линд, Владимир Лидин, Владислав Ходасевич, Борис Грифцов, Ефим Янтарев и еще кто-то, кого я не помню. Я там служила в качестве кассирши, а перечисленные писатели дежурили за прилавком. Вскоре открылась книжная лавка поэтов. Насколько я помню, во главе ее стоял Вадим Шершеневич. Лавки конкурировали между собой, отыскивая старые библиотеки. Наша лавка не отапливалась, и я утром находила чернила замерзшими. Все работали в шубах.

Через год мы с Владей ушли из лавки. Я вскоре перешла работать по приглашению Александра Брюсова в Книжную Палату. Александр Брюсов был ее секретарем, а Валерий Брюсов заведующим. Книжная Палата помещалась в то время в доме бывшей гостиницы «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки.

В 1919 году вышла третья книжка стихов Ходасевича «Путем зерна», посвященная памяти Самуила Кисина (Муни). Как всегда, было много рецензий и на эту книгу. В них поминались имена Тютчева, Пушкина и Фета. К символистам его никто не причислял.

Вскоре Книжную Палату перевели с Моховой на Девичье поле. Александр Брюсов был призван в ряды Красной Армии. Валерий Брюсов хворал. Я осталась почти одна. Мне приходилось получать и перевозить книги. Мне было трудно, так как в этом деле я была неопытна. Я часто обращалась к Владе за советом. Он первое время не отказывал мне в помощи, но потом ему надоело тратить время даром, и он решил позвонить Брюсову с предложением занять его место. Валерий Яковлевич с радостью на это согласился и

быстро устроил назначение Влади. Но работали мы там недолго.

В 1918/19 году мы часто бывали у Алексея Николаевича Толстого. Он был в то время женат на Наталье Васильевне Крандиевской. Я с ней дружила. В то время поэты и писатели часто выступали в разных московских кафе со своими произведениями. Бывало так: в один и тот же вечер в одном из кафе читал В. Брюсов, Н. Павлович, С. Парнок; в другом — А. Толстой, Андрей Белый и я; в третьем — В. Ходасевич, Н. Крандиевская, П. Антокольский, а на другой день состав выступающих менялся. В других кафе выступали В. Маяковский, С. Есенин, В. Шершеневич и другие поэты. Эти выступления оплачивались.

У нас часто бывал поэт Константин Липскеров — поэт хороший и утонченный, любящий Восток, влияние которого чувствовалось в его стихах. Я помню, что Владя написал ему шуточные стихи (к сожалению, они у меня не сохранились) и в ответ получил тоже шуточные стихи от Липскерова. Встречался Владя и с Маяковским, который в доме у нас не бывал, но на Тверском бульваре была кофейня «Кафе Грек», и там тоже бывало много писателей. Там Владя встречался с Маяковским. Конечно, они не были созвучны, но это не мешало им ценить друг друга.

Бывали мы и у М. О. Гершензона — я редко, Владя гораздо чаще. Их объединяла любовь к Пушкину. Гершензон высоко ценил статьи Влади о Пушкине, а также любил и его стихи.

В конце 1920 года А. М. Горький прислал Владе письмо с приглашением работать в Пушкинском Доме и обещал найти нам комнату. Это приглашение было очень кстати, т. к. доктора настаивали на перемене места жительства для Влади.

Мы быстро собрались и поехали в Петроград. На вокзал мы поехали в машине, которую нам предоставил Ю. Балтрушайтис, бывший в Москве представителем Литвы. Мой сын Гаррик очень радовался, что мы едем в машине, так как тогда машин было мало, и мечтал встретить кого-нибудь из своих товарищей — уж очень нарядная была машина, да еще с флажком!

Незадолго до нашего отъезда мой сын видел забавный сон и рассказал его Владе. Сон понравился Владе, и он пообещал моему сыну этот сон превратить в сказку и посвятить ему. Сказку Владя написал, но напеча-

тал только в 1922 году под названием «Загадки». Еще раз Владя написал сказку для взрослых и поместил ее в какой-то газете, но обе сказки, на мой взгляд, были неудачны.

В Петрограде комната, найденная для нас Горьким, оказалась малопригодной. Это был бывший антикварный магазин, несколько лет уже не отапливаемый. Комната была на втором этаже с внутренней лестницей. Затопив печку, мы так угорели, что с трудом спустились с лестницы. В общем, комната была холодная и сырая, и Владя там заболел.

Известие о нашем приезде дошло до писателей, живущих в Доме искусства, и тогда Виктор Шкловский, Надежда Павлович, Всеволод Рождественский, Владимир Пяст быстро организовали наш переезд в Дом искусств. Сперва нас поместили во дворе, в небольшой комнате, но вскоре после визита врача, который нашел у Влади отек легких, нам предоставили две комнаты в главном корпусе. У нас в то время совсем плохо было с питанием, но товарищи по перу и это нам организовали. Помню, как сейчас, как Надя Павлович принесла мешочек пшена.

Владя вскоре поправился. Почему-то работа в Пушкинском Доме у него не состоялась. Я же, чуть ли не на третий день после нашего приезда, поступила на работу в Экспертную комиссию по искусству, где работала сестра Влади Мария Фелициановна Войшицкая.

Владя работал в издательстве «Всемирная литература», куда его устроил Горький, и занимался творческой работой. У него уже была почти готова четвертая книга стихов «Тяжелая лира». Кроме того, у него были написаны статьи о Пушкине, Растопчиной, Державине, «О Гавриилиаде», статьи «О русской поэзии». Он принимал участие в составлении «Еврейской антологии», а впоследствии выпустил в издательстве Гржебина сборник «Из еврейских поэтов» с его переводами с древнееврейского (конечно, с подстрочника).

Жизнь в Доме искусства шла своим чередом. Чуть не ежедневно в концертном зале бывали концерты, доклады, вечера. На них часто выступали Анна Мейчик, Владимир Софроницкий (крестник сестры Владиной Марии Фелициановны). В нашей комнате бывало много людей: к нам заходили Ольга Форш, Михаил Зощенкс, художник Миклашевский, Осип Мандельштам, художница Щекотихина, Владимир Пяст, Сергей Нельдихен, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин, Николай Ти-

хонов, Надежда Павлович, Николай Гумилев, художница Валентина Ходасевич, племянница Влади — дочь его старшего брата Михаила, — которая жила в одной квартире с М. Горьким, где мы с Владей бывали.

Но жизнь осложнялась тем, что добрые соседи, люди богемы, часто стучали в нашу дверь с вопросами: который час, какое сегодня число, нет ли иголки, когда выдают паек, дайте, пожалуйста, спички и т. д. Эти частые заглядывания очень мешали Владе в его работе, и однажды, рассердившись, он повесил на двери записку: «Здесь не справочное бюро и не комбинат бытового обслуживания».

В 1921 году, 11 февраля, одновременно с А. А. Блоком Владя выступил с речью на Пушкинском вечере. Эта речь, которую он назвал «Колеблемый треножник», впоследствии была напечатана в его сборнике статей. М. Горький в те времена относился к Владе с большой нежностью и был почитателем его стихов. Помню, как однажды мы были у него и Владя прочел ему свое стихотворение «Обезьяна», вошедшее в третью книгу его стихов «Путем зерна». Алексей Максимович, слушая эти стихи, плакал.

Лето 1921 года мы провели в колонии Дома искусства в Псковской губернии, которая размещалась в двух старинных имениях. Одно из них называлось «Холомки», а другое «Устье Бельское». Они находились на расстоянии одного километра одно от другого. Оба эти имения постоянно общались. Вокруг было много молодежи, по вечерам часто зажигали костры и водили хорыводы. В этих забавах принимали участие самые разнообразные слои общества: художник Миклашевский, пастух Сережа, Николай Чуковский, дочка бывшей владелицы имения «Холомки» (кажется, по фамилии Горчакова), дочь их кучера — Лида с очень хорошим голосом, которой Владя посвятил стихи под заглавием «Лида». Там же он написал стихи «Устье Бельское». Оба эти стихотворения вошли в четвертую книгу его стихов «Тяжелая лира».

Владя и мой сын провели там все лето, а я только один месяц, так как меня вызвали на службу. В конце лета мы узнали горестную весть о смерти Александра Блока. Владя близок с Блоком не был, но как поэта он очень его любил, и для него смерть Блока была большой потерей.

Вскоре Владя получил письмо из издательства «Картонный домик» от И. Бернштейна с предложением написать статью о Блоке, но он временно отказался, мотивируя тем, что здесь, в деревне, у него нет нужного материала. Когда он вернулся осенью в Петроград и там узнал о гибели Гумилева, он очень загрустил и как-то спросил меня: «А ты со мной поехала бы за границу?» Я ответила совершенно спокойно: «Нет, я люблю Россию и надолго с Россией не расстанусь. Поехать на один-два месяца — я бы поехала с удовольствием». Этому разговору я не придавала большого значения, и сделала это напрасно.

В 1921 году в стенах Дома искусства появилась начинающая поэтесса Нина Берберова. Молодая, с типично армянской наружностью. О ее стихах ничего не могу сказать, так как мало их знала.

В 1915 году Владя подарил мне толстую тетрадь в темно-красном кожаном переплете, в которой написал мне стихи, и с его легкой руки мне стали писать другие поэты — набралось вместе с художниками около ста автографов<sup>1</sup>. Альбомом своим я могла гордиться: там были автографы Брюсова, Бальмонта, Герберта Уэльса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Осипа Мандельштама, Мариэтты Шагинян, Софии Парнок и многих других. В числе многих других были и стихи Нины Берберовой, из коих я помню только одну строчку: «Я такая косоглазая — сразу на двоих гляжу».

Я в то время продолжала работать в Экспертной комиссии, но делала это с трудом: у меня появился кашель и ежедневно маленькая температура. У нас часто бывал молодой человек, издатель И. И. Бернштейн. Он обратил внимание на мой кашель и записал меня на прием к известному профессору-туберкулезнику Штернбергу. У меня оказалась открытая форма туберкулеза. Владя начал хлопотать об устройстве меня в туберкулезный санаторий, и в декабре я уехала в санаторий в Детском Селе. В санатории Владя у меня ни разу не был, но, зная его болезненность и слабость, я относилась к этому спокойно. Правда, друзья меня навещали и намекали, что Владя увлечен Н. Берберовой, но я этому мало верила, так как за одиннадцать лет нашей совместной жизни мы ничего не скрывали друг от друга.

---

<sup>1</sup> Этот альбом находится в Государственном литературном музее. Копию с него А. Ходасевич оставила у себя.

Через месяц я вернулась из санатория днем. Влади не было дома, но на столе стояла бутылка вина и корзиночка из-под пирожных. Когда пришел Владя, я спросила: «С кем ты пил вчера вино?» Он сказал: «С Берберовой».

С тех пор наша жизнь перевернулась. Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения, а я тоже плакала. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения.

Вскоре Владя сказал, что поедет в Москву по делам издания его четвертой книги стихов «Тяжелая лира». Я только спросила: один или с Берберовой? Он сказал: «Конечно, один». Он уехал. Через несколько дней я встретила Берберову на улице и обрадовалась, что Владя сказал правду. Из Москвы он писал письма, сперва деловые и более или менее спокойные, потом тон писем резко изменился — он начал уверять, что нам необходимо разойтись, и что этого даже требует его старший брат Михаил Фелицианович, и если мы не разойдемся, то он перестанет нам помогать материально. Я очень удивилась этому письму, так как одиннадцать лет Михаил Фелицианович никогда не вмешивался в нашу жизнь и никакой существенной материальной помощи не оказывал. Последующие письма Влади были совершенным бредом, с обвинением меня в чем угодно, с советами, как мне надо жить, с кем дружить и т. д.

Наконец я категорически спросила его письмом, вернется ли он в Петроград, мотивируя этот вопрос бытовой причиной — сроком пайка Дома ученых. Берберова в то время уже уехала из Петрограда. В ответ на мое письмо получила телеграмму: «Вернусь четверг или пятницу».

Мы жили на углу Невского и Мойки, и из нашего окна был виден почти весь Невский. Я простояла оба утра четверга и пятницы у окна, надеясь увидеть Владю едущим на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович и сказала мне: «Ты напрасно ждешь, он не придет». Я ей

на это показала телеграмму, но она повторила: «Он не придет».

Она была права. Через два дня я получила письмо, написанное с дороги за границу. Он выехал из Москвы в среду.

Письмо было короткое. Начиналось оно так: «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения».

В дальнейшем я узнала, что он получил командировку от Наркомпроса и вместе с ним получила визу на выезд за границу его «секретарша» Берберова. Помогим в этом деле М. Горький.

Для меня наступило очень тяжелое время: была больна туберкулезом, без работы, без денег и с ужасными душевными страданиями.

Потом я часто получала от него письма с какими-то реальными указаниями, где и когда можно получить деньги и посылки, но это как-то не всегда получалось. Единственно что я получала какое-то время — это паек из Дома ученых. Зато наши общие друзья меня не оставили. Все «Серапионовы братья», живущие в Доме искусства, Осип Манделъштам, Давид Выгодский, Ольга Форш, Надя Павлович — помогали мне чем могли в моем горе.

Раньше, еще в Москве, я как-то перевела несколько маленьких комедий Мериме под редакцией Влади. Очевидно, помня об этом, Владя вскоре после своего отъезда прислал мне два новых французских романа для перевода. Но я их переводила очень медленно, так как совсем еще была больна. Отредактировали мой перевод Осип Манделъштам и Бенедикт Лившиц.

Владя часто присылал мне письма. Сперва письма были из Германии, потом из Италии, где он одно время жил у Горького в Сорренто, потом переехал в Париж.

Письма были разные: одно было в них одинаково — отвращение к мещанству за границей, мелкобуржуазной жизни и их интересам.

Одно из таких писем, где ярко выражено его настроение, адресованное другу его Б. А. Диатроптову, случайно попало мне в руки, и отрывок из него я приведу здесь. Письмо это из Берлина, куда он приехал прямо из Советской России.

«...Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не Эс-эрами какими-нибудь, а покрепче:



настоящими толстобрюхими хамами. О, Борис, милый, клянусь: Вы бы здесь целыми днями пели интернационал. Чувствую, что не нынче завтра взиграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники убежденные, принципиальные, обросшие восьмидесятипудовыми супругами и невероятным количеством стопудовых дочек, изнаывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщетной — ибо «подходящая» молодежь застряла в Турции и Болгарии у Врангеля, а немногие здешние не женятся, ибо «без средств», — у барышень психология недоразвившихся б..., мамыши — «мамаши», папаши прохвосты, необычайно солидные, мечтают об одном: *вешать* большевиков. На меньшее не согласны. Грешный человек, — уж если оставить сантименты, — я бы их самих — к стенке... Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то мирно, и может случиться, что поторопят их либо со смертью, либо с отъездом — уж не знаю куда. Я бы не прочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию, гораздо более внушительную, чем того хотелось моим соседям по пансиону.

Сами живем сносно — пока. Мода на меня здесь, кажется, велика. Но прокормят ли, не знаю еще.

Сутки пропьянствовал в... (это у моря) с Горьким и Шалапиным. Видел Толстого, Кречетова, Минского, еще кое-какую мелочь. Был у меня в гостях Серж Маковский...»

В письмах Владя часто присылал стихи. Я завела тетрадку, в которой записывала все присылаемые стихи. Таким образом у меня скопилось много стихов и образовалась целая книга. Через несколько лет кто-то из ленинградских друзей привез заграничную книгу стихов Влады «Европейская ночь». Я сравнила со своей тетрадкой и увидела, что у меня даже больше, чем там.

Свою книгу «Тяжелая лира», которую он издал вторым изданием в Берлине, он мне прислал с дружеской надписью.

Письма были разные: часто жалобы на скуку, на здоровье, на одиночество. Потом письма стали какие-то малоинтересные и ненужные. Я прекратила с ним переписку: пути наши разошлись.

Знаю, что он написал большую книгу о Державине, много статей о Пушкине и что даже собирался издать

большой труд о Пушкине, на который началась подписка, но болезнь и смерть этому помешали.

Он умер после операции в больнице для бедных. Хоронило его много народа.

Умер он 14 июня 1939 года и похоронен на кладбище Булонь Бианкур.

После его смерти до меня дошли два некролога: Сирина и Берберовой с приложением трех стихотворений, найденных после его смерти.

Одно из них мне хочется записать здесь:

#### ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало,  
Мной совершенное так мало!  
Но все ж я прочное звено:  
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,  
Поставят идол мой двуликий  
На перекрестке двух дорог,  
Где время, ветер и песок.

#### ПОСЛЕСЛОВИЕ

Боюсь, что я слишком много пишу о внешней жизни Влади и мало о внутренней. Он был человек больной, раздражительный, желчный. Смеялся он редко, но улыбка часто бродила по его лицу, порой ироническая. По существу, он не был злым человеком, но злые слова часто срывались с его губ. Он даже порой был сентиментален, даже мог заплакать над происшествием малозначительным. С людьми он умел быть приятным — он, как умный и тонкий человек, понимал, кому что было интересно, и на этом играл, хвалясь, что каждого человека знает насквозь и даже на три аршина вглубь под землю. Его талантливость сказывалась во всем: в умении очаровывать людей, в чтении стихов, в умении при большой бедности быть всегда прилично одетым и т. д. Но все же, благодаря своей болезненности, он часто ссорился с людьми. За границей он поссорился с Андреем Белым, со своей сестрой, с ее мужем и даже с редактором газеты «Возрождение», которая в тот момент являлась источником его материального существования.

Из мужчин он любил по-настоящему Муню, но и его мог обидеть жестокой критикой его стихов. Еще у него была большая симпатия к Борису Александровичу Диатроптову, который не был ни поэтом, ни писателем, но был умным человеком, большой культуры и тонкой души. Владя с ним охотно встречался, спорил, играл в шахматы и переписывался. По словам очевидцев, в Париже он подружился с молодым поэтом Юрием Мандельштамом, и мне кажется, что его стихи «Пока душа в порыве юном...» относятся именно к Ю. Мандельштаму, но это, конечно, только мое предположение. Кроме того, мне кажется, что стихи «Странник идет, опираясь на посох...» относятся ко мне, помеченные 1922 годом. Последние пять лет своей жизни стихов он не писал и всецело отдался работе по Пушкину.

В дополнение моей характеристики Владислава Фелициановича я хочу прибавить краткую характеристику Влади в частном письме ко мне Ольги Дмитриевны Форш.

«Дорогая Анна Ивановна, очень благодарю за стихи Владислава Фелициановича. Такую доставили радость, ведь мы с ним много говорили об искусстве, многое любили одинаково. Душа его глубокая, и как ни странно и противоречиво со всей зримой недобротой, внешностью характера — была нежная и детски жаждавшая чуда.

И больно, что при таком совершенстве стиха до конца осталась эта разящая жестокость. Отчего так обидно и страшно выбирал он только больное, бескрылое и недоброе — он же сам, сам был иной.

Я люблю Владислава не только как поэта — как человека, а поэт он первоклассный, и надо об этом писать, и очень хорошо, что Вы собираетесь дать его биографию.

Его высокое понимание поэзии, благоговейная любовь к Пушкину и редкая строгость к себе заслуживают напоминания. Особенно пример он тем, которые пишут с «легкостью невероятной» — а поэзии ни на грош...»

Письмо это от 15 марта 1958 года.

Мне хотелось дать образ Ходасевича как можно яснее — вот почему я привела письмо О. Д. Форш. Знаю, что мои воспоминания далеко не всей жизни Влади,

но найдется кто-то еще, кто по моей несовершенной кан-  
ве вышьет более сложный узор.

Приношу глубокую благодарность дочери С. В. Кис-  
сина — Лии Самуиловне Киссин и жене и сыну Б. А. Ди-  
атроптова — А. И. и Д. Б. Диатроптовым, которые  
любезно предоставили в мое распоряжение письма, чем  
очень помогли мне в моей работе.

1962

*Анна Ходасевич*



**Марка серии литературных мемуаров**



А. Г. Найман

УРОКИ ПОЭТА

«В начале жизни школу помню я». Ахматова в «Листках из дневника» оставила заметку об этих стихах Пушкина:

Все — каменные циркули и лиры

мне всю жизнь кажется, что П-н это про Царское сказал, и еще потрясающее

В великолепный мрак чужого сада

самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мной...»

За несколько десятилетий до этой записи, в 1916 году, Мандельштам, кончая рецензию на «Альманах Муз», обратился к тому же стихотворению: «...В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиратической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал — после женщины настал черед *жены*. Помните: «смиренная, одетая убого, но видом величаява жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России».

«Дневник», «листки» которого Ахматова заполняла в последние годы жизни, так же непохож на писательские дневники, раскрываемые для подведения итогов очередного дня, как вся ее жизнь, исполненная утрат и скорби, на краю гибели, бесприютная, на ту, что при-



Анна Андреевна Ахматова.  
Рисунок Ю. Анненкова

вычно называется писательской. «Вспышки сознания в беспамятстве дней», — надписал ей свою первую книгу Мандельштам, и под этими вспышками были сделаны моментальные снимки событий, составивших ее воспоминания о нем, ядро ее поздней прозы. Свет времени, пропущенный через призму боли и вновь собранный в пучок призмой памяти, лег в основу «Листков из дневника». Именно в связи с воспоминаниями о Мандельштаме был перечитан его отзыв о ней, а затем, вероятно, и пушкинские терцины.

Осенью 1959 года я впервые разговаривал с нею, сидя напротив нее в ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Через некоторое время с ней познакомились трое других участников нашей поэтической компании: Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Евгений Рейн. Она первая стала называть нас литературной группой: у нас были общие или близкие установки и оценки, хотя объединены мы были прежде всего про-

сто дружбой. Время сделало еще одну фотографию: нас четверых — учеников Ахматовой. Но слово «ученики» тут сильно ретушировано: ученичество предполагает овладение профессиональными навыками мастера-руководителя, — вспомним содержание понятия «живописная школа такого-то». В нашем случае этого не было, почти не было. Однако Ахматова учила. Не искусству поэзии (хотя и ему тоже), а искусству сопротивления низменным началом, бесчеловечности, неверию, искусству оставаться самим собой, искусству осуществлять свою судьбу, ее подлинность, цельность и красоту. Тогда, «дичась ее советов и укоров, я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров». Теперь, через четверть века, ее уроки стали яснее, можно попытаться более или менее четко сформулировать их.

Итак, в начале жизни школу помню я.

Смиренная, одетая убого,  
Но видом величаява жена  
Над школою надзор хранила строго.

# 1

Сейчас считается, что хрущевская оттепель конца 50-х — начала 60-х — это чуть ли не сестра современной перестройки. Подобие внешности выдается за близость по существу. По существу же отличия разительные. Начать с того, что страна и люди освобождались не от гнетущего неудобства лживой и беспросветной обыденщины, а из лагерных зон и тюремных камер. Перед отбывшими на каторге по 10, 20 и 30 лет никому в голову не могло прийти *козырять* тем, что на него прикрикнул глава государства, или даже пожаловаться, что его сослали на столько-то месяцев в деревню. Да и рискованно еще в то время было объявлять о своем внутреннем противостоянии режиму: те, кого обвиняли всего лишь во внутренней эмиграции, изо всех сил отказывались от этой чести — после «внутреннего эмигранта» через запятую шел «враг народа». Травлю Пастернака из-за «Доктора Живаго» Ахматова, при искреннем и глубоком сострадании к преследуемому, называла «бой бабочек», а процесс Бродского — лепкой биографии поэта, потому что соотносила то и другое не с тягостным

нарушением привычного образа жизни и тем паче не с лишением литфондовских дач и заграникомандировок, а с расстрелом Гумилева и гибелью Мандельштама на дальневосточных нарах. Знание настоящей цены происходящего с людьми вокруг нее и с нею самой — арестов, пыток, потерь самых близких, унижения, то есть трагедий, а не неприятностей жизни, — в сочетании с врожденным и с ранней молодости воспитываемым благородством определило стиль проявления ее редкостного, пронзительного, властного таланта и манеру ее поведения: независимых и не напоказ. Она производила ошеломляющее впечатление значительностью мыслей, жестов, лица, натуры, отчужденностью и одновременно глубоким участием в окружающем, обыкновенностью подачи такой необыкновенной вещи, как ее поэзия. Но никогда и ни в какой степени не демонстрировала она то, что она поэт, не эксплуатировала занимаемого места, оказываемого влияния, исполняемой ею миссии. Никогда не опускалась она до того, чтобы незаурядностью внешности или фразы показать свою незаурядность. Ее реплики в разговоре были вески, неотразимы, неотменимы, афористичны, но она не говорила афоризмами. Ей, тонко и точно разбирающейся в пружинах литературной политики, литературная политика претила. Появление в нужном месте в нужное время, произнесение нужного слова, предупредительные действия, всякого рода ходы, не говоря уже о сведении счетов или интригах, были ниже ее достоинства. Она не занималась красивой упаковкой своих стихов, также как и поступков, ее поэтическое хозяйство всегда было в легком беспорядке. Ее метод сочинения, точнее, записывания приходящего к ней гуда, пения стихов был несовместим с придаванием им товарного, иначе говоря — сальерианского, вида. Скорее наоборот, она умела обрывать их еще в тот момент, когда они звучали безыскусно, как скрипка слепца, пленившая Моцарта. Самая строгая конструкция ахматовского стихотворения — сонет, но вспомним «Запад клеветал», или «Ты, верно, чей-то муж», или «Здесь все меня переживет», — как неузнаваемо, хотя и малозаметно, преображена поэтом закостеневшая и выпирающая из всякого современного сонета форма.

И наконец, стихи она писала, а не описывала стихами сюжет. Критика с самого начала отметила новеллистичность ее коротких вещей, разворот драмы на протяжении нескольких строчек. Но, будучи даже намеренно повест-



вовательными, как, например, «Библейские стихи», они никогда не становились иллюстрацией чего-то уже известного читателю и в результате — имитацией поэзии. Сознательно и глубинно включенные в мировую культуру, они не были вторичны по отношению к ней, это всегда был акт творчества, а не сочинительства.

2

Одаренная «таинственным песенным даром», Ахматова распорядилась им мудро и бережно. Не полагаясь, как большинство молодых поэтов, на «нутряной» талант, она пустила его в оборот, уже первые свои опыты соотнося и соразмеряя с тем, что предлагало ей великое торжище многовековой разноязычной поэзии, и шире — всего искусства вообще. Питая свое творчество энергией творчества дальних и ближних предшественников, обмениваясь находками и достижениями с современниками, она всю жизнь участвовала в том процессе обогащения поэзии, когда собственный голос наполняется эхом чужих голосов, а сию минуту возникший стих делает более и по-новому содержательной чужую строку или мелодию, послужившие ему источником. Она разработала и осуществила сложнейшую систему поэтических зеркал, многократно отражаясь в которых каждый элемент ее поэзии и вся поэзия целиком составили новую вселенную, чудесным образом вместившую в себя — и вместившуюся в — обозримое искусством мироздание. Ее бездонность заставляет забывать об ее иллюзорности.

Из книг, постоянно вовлеченных в творчество Ахматовой, под рукой всегда были по много раз перечитанные, с запомненными наизусть фрагментами, Библия, Данте, Шекспир, Пушкин; Бодлер, Нерваль; древние, в особенности Гораций. Есть загадочная притягательность в снова и снова повторяемом ахматоведами ее четверостишии, притягательность бóльшая, чем у эффектно выраженной в нем мысли:

Не повторяй — душа твоя богата —  
Того, что было сказано когда-то.  
Но, может быть, поэзия сама —  
Одна великолепная цитата.

Начинаясь переключкой с Баратынским («Не подражай: своеобразен гений»), стихотворение неожиданно превращается в рубаи и тем самым производит впечатление «восточной мудрости», то есть чего-то вневременного, анонимного; и достигает оно этой цели изящным, непредсказуемым ходом: последнее слово его, ключевое «цитата», именно повторяя две первые рифмы, опровергает слово первое, смысловой зачин. Построение четверостишия дает некоторое представление об искусно и постоянно применявшемся Ахматовой методе заимствований, ссылок, отражений, ауканья.

Она мифологизировала свою судьбу, но это были *ее*, ею в самом деле проживаемые, мифы, а не берущиеся напрокат одежды общей эрудиции. Она утверждала, что ее встреча осенью 1945 года с известным английским философом и филологом Исайей Берлином (официально, разумеется, подозреваемом во всех грехах, присущих иностранцу) послужила причиной Постановления ЦК 1946 года, а также холодной войны между Востоком и Западом. Одно из центральных стихотворений цикла, обращенного к этому человеку, «Ты стихи мои требуешь прямо», открывается тщательно завуалированной цитатой из Данте («Чистилище», XXX, 46—48). В свою очередь, последняя строка этой дантовской терцины — перевод слов Дидоны из «Энеиды» Вергилия (IV, 23), что возвращает читателя к предшествующему стихотворению ахматовского цикла, «Говорит Дидона». Указание на Данте в стихах Ахматовой — это, как правило, знак темы травли, изгнанничества, одиночества. Однако привлечение мифа Дидона — Эней как бы помещает эту тему в пространство, обладающее дополнительным измерением. Эней, предпочитающий *любви* — единственно подлинному содержанию жизни — *дело*, пусть и самое великое, для Ахматовой, еще в 1917 году оставленной уплывшим в Англию другом, был символом не только мужской измены, но и неизбежности ее. «Ромео не было, Эней, конечно, был», — этот к случаю употреблявшийся в беседах стих Ахматовой она первоначально поставила эпиграфом к «Говорит Дидона». Брошенность, оставленность на гибель связалась у нее с английской темой уже в ранних стихах, и эта связь подтверждалась последовательно на протяжении всего ее творчества, прежде всего через ссылки на «Гамлета», на «Макбета», другие драмы Шекспира. Так что и в этом стихотворении «создан Рим» — это привычное ахматовское

указание на Античность, то есть на время, а не на место; а «плывут стада флотилий» — на место, на Англию, «владычицу морей».

Ахматова говорила, что «не встретила в жизни ни одного человека, который не помнил бы день Постановления ЦК 46-го года так же отчетливо, как день объявления войны». В ее видении мира это и был день объявления войны — «холодной войны». В таком представлении о своей роли в происходящем можно усмотреть преувеличение, но никак не романтический вымысел. Ее стихи писала ее судьба, которую она осознавала общей с судьбой Дидоны. Дидона, как и многие другие героини ее стихов, как она сама, была для нее не персонажем древней басни, а реальной фигурой, зарегистрированной документально Вергилием, Данте, ею самой.

### 3

Свою жизнь Ахматова воспринимала как судьбу, то есть, во-первых, как нечто предначертанное свыше, Божий промысел, требующий достойного и смиренного исполнения, а во-вторых, как нечто цельное, ценное, всяким своим проявлением важное, исключаящее какую бы то ни было случайность. Ей выпала роль и миссия завершителя двухвековой петербургской, а в более широком смысле — нескольковековой русской, культуры. Революция отказалась от критериев, оценок и достижений, которые эта культура накапливала в многообразном, не исключавшем внутренних противоречий, но поддерживаемом общей основой и общим направлением процессе на протяжении почти тысячелетия. Ахматова вступила в новый период сложившимся человеком и до конца жизни ни морали, ни принципов, ни вкусов не меняла. Несравненно большая и глубокая общность взглядов связывала ее с автором «Слова о полку Игореве», чем с поэтами и писателями на 20—30 лет моложе ее. Русскую культуру она получала из рук своих домашних, близких, друзей, предшественников, и они передавали ее входившей в права наследства Ахматовой постепенно, бережно и полно, а не впопыхах, случайно и клочками, как в 50—60-е годы, когда наше поколение пыталось наладить «связь времен».

Из юношеских писем и ранних, еще до «Вечера», стихов Ани Горенко встает образ провинциальной девушки,

в манере чеховских героинь протестующей против душевного безрадостного существования среди чужих по духу людей. Но уже к 1910 году это Анна Ахматова, которую отныне ни с кем не спутаешь, которая осталась равной себе до последних дней. Несколько полубогемных лет, прожитых вместе с беззаботным веком, принесли ей известность, привили натуре артистизм высокой пробы, определили направление жизни. Первый день первой мировой войны навсегда убрал изящные декорации и оставил ее на голой сцене. С этого дня ни один удар жестокой эпохи не миновал ее. Проводы самых дорогих людей на бесконечную лагерную муку, на смерть, стояние в тюремных очередях, нищета, бездомность, гражданская казнь, слежка, поругание — все это она приняла и вынесла, не уступив, не отчаявшись, не сойдя с ума. Не прекращая писать стихи. Для тех, кто жил в одно время с ней, она стала образцом и олицетворением стойкости, живым символом победы человека над бесчеловечностью. Слабеющим и готовым капитулировать современникам она придавала сил самим фактом своего выживания и несдачи. Ее же слабость, ее вымученные стихи «Слава миру» только привлекали к ней, вызывая сострадание, делая более понятной, лишая отчужденности безызыянного героя. Она прожила долгую жизнь, совпавшую по времени с затянувшейся первой половиной XX века, и эпоха словно бы персонифицировалась в ней. Только тюрьма, десятилетиями дышавшая за ее плечом, обошла ее, но если попытаться нарисовать искусственный портрет «средней» русской судьбы этого периода, сложив все без исключения судьбы и разделив на число вынесших их людей, у него будут черты Ахматовой. Трагедия лежала в самой основе ее жизни, ее фигура была трагической еще до наступления новой эпохи: «в том доме было очень страшно жить» и т. д., — но эпоха с небывалой щедростью снабдила ее всеми компонентами трагедии: пролитием крови, безутешными слезами, бесчисленными могилами. Доблестно прожитая трагическая судьба дала ей право написать: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», — и одновременно: «Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».

В начале 1942 года, через четверть века после крутой и необратимой перемены в своей и народной судьбе и за четверть века до смерти, Ахматова опубликовала

стихотворение «Мужество». Оно написано во время войны и, как бы сказали раньше, «по случаю войны»; на него неукоснительно и привычно ссылались всякий раз, когда приходила нужда похвалить поэтессу, противопоставить многочисленным ее винам ее патриотизм.

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.  
Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова,—  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки!

Нисколько не отменяя сиюминутного, «военного» содержания этих стихов, я читаю их как стихи и более широкого, и более узкого смысла. При всей катастрофичности тогдашнего положения, при угрозе возможного порабощения врагом, разговор о запрещении, об уничтожении русского языка не шел, русская речь была вне конкретной опасности. Стихотворение говорит о мужестве, которое требовалось от поэта, чтобы противостоять уничтожению великой русской культуры новым — и до, и после войны — временем. Чтобы сохранить свободным и чистым русское слово Гумилева, легшего под пулями, повесившейся Цветаевой, сгинувшего за колючей проволокой Мандельштама и десятков других, продолжающих поминальный список. Это ответ на отчаянный выкрик друга: «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» Ахматовой такого мужества хватило, она передала поэтическое слово внукам, спасла его от плена лжи, и вслед за ней с надеждой и дерзновением отважимся сказать, что спасла навеки.

---

В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян

## НЕРВАЛИАНСКИЙ СЛОЙ У АХМАТОВОЙ И МАНДЕЛЬШТАМА

(Об одном подтексте акмеизма)

Возвращение к теме возможных связей и перекличек русской поэзии начала века с образами Нерваля оправдано для авторов этой статьи тем, что новые находки и публикации подтвердили (как бывало уже не раз при анализе акмеистического текста и подтекста) то, что начиналось с догадок, не имеющих «материальной» (в буквальном смысле) опоры и, казалось бы, только интуитивных. В целом ряде случаев оттенки предположительности теперь могут быть сняты — они получили текстуальную поддержку. Развивая некоторые положения своих предыдущих работ, авторы дополняют их новыми, стремясь ввести всю проблему рецепции Нерваля в русскую поэзию в более широкий, отчасти теоретический, контекст<sup>1</sup>.

Не вдаваясь подробно в русскую Нервалиану<sup>2</sup>, можно определенно предположить, что для русского чита-

---

<sup>1</sup> Топоров В. Н. Об одном случае соотношения поэтического текста с его литературным подтекстом («El Desdichado» и его параллели в русском акмеизме). — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М., 1982, с. 154—157; Топоров В. Н., Цивьян Т. В. О нервалианском подтексте в русском акмеизме (Ахматова и Мандельштам). — Russian Literature, XV, 1984, p. 29—50.

<sup>2</sup> Русская Нервалиана (по 1956 г.), составленная сотрудником Государственной Публичной библиотеки (Ленинград) М. В. Барашенковым, помещена в кн.: Senelier J. Gérard de Nerval. Essai de bibliographie. P., 1958, p. 317—318. Она включает первые переводы прозы Нерваля и статьи и заметки о нем (13 номеров). По случайности остался неотмеченным некролог: Трагическая смерть Жерара де Нерваля. — Отечественные записки, 1855, т. 99, отд. VI, № 3, с. 74—78.

тельского и поэтического круга начала века Нерваль был актуализирован книгой, подготовленной П. П. Муратовым (Жерар де Нерваль, «Сильвия. Октавия. Изидя. Аврелия». Перевод с французского. Редакция и вступительная статья П. Муратова [Москва. 1912]), а для более узкого, в частности, формирующегося акмеистического круга — статьей И. Анненского «Что такое поэзия?», опубликованной в «Аполлоне» (1911, № 6, с. 51—57, с подзаголовком «Посмертная статья Иннокентия Анненского») и рассматривавшейся как его завещание, где формулируется взгляд на образ идеального поэта (впрочем, статья была написана раньше — в 1903 г.). В собирательном образе Поэта, составленном из черт тех, в ком, по мнению Анненского, наиболее полно выступает Поэт по преимуществу (Готье, Бодлер и др.), есть и доля Нерваля: «Идеальный поэт поочередно, если не одновременно, являлся и пророком (я уже не говорю о богах), и кузнецом, и гладиатором, и Буддой, и пахарем, и демоном... Целые века поэт только и делал, что пировал, и непременно в розовом венке, зато иногда его ставили и на поклоны, притом чуть ли не в веригах. По капризу своих собратьев, он то бессменно брэнчал на лире, то непрестанно истекал кровью, вынося при этом такие пытки, которые не снились, может быть, даже директору музея восковых фигур. Этот пасынок человечества вместе с Жераром де Нерваль отрастил себе волосы Меровинга и, закинув за левое плечо синий бархатный плащ, находил о чем по целым часам беседовать с луною, немного позже его видели в фойе французской коме-

1846 год — дата появления первого «русского» Нерваля, сразу же после публикаций французского текста. «Отечественные записки» в этом году (т. 47, № 78, ч. VII. Смесь, с. 11—22) печатают «Женщины Каира», появившиеся в том же году во французской периодике. Тогда же и в «Библиотеке для чтения» печатаются другие отрывки, вошедшие позже в книгу «Voyage en Orient» («Путешествие на Восток»). Наконец, в том же 1846 г. и сразу же по выходе французского оригинала появляется «Достоверная история утки» в петербургском альманахе «Бес в Париже». В последние полтора десятилетия внимание к Нервалю у нас сильно возросло. О нем можно судить по ряду переводов (М. Кудинов, подборка стихотворений в «Иностранной литературе» в 1974 г.); ср. еще: Нерваль де Жерар. Избранное. М., 1984; Дочери огня. Л., 1985; Путешествие на Восток. М., 1986, и др. К этому же статье: И в а с к Юрий. «Дитя Европы». — В кн.: М а н д е л ь с т а м Осип. Собр. соч. в 3-х томах, под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 3. Мюнхен, 1969, с. XI—XII; Ж и р м у н с к а я Н. А. Жерар де Нерваль. Судьба и творчество. — В кн.: Нерваль де Жерар. Дочери огня, с. 3—26.

дии, и на нем был красный жилет, потом он образумился, говорят, даже остригся, надел гуттаперчевую куртку... и стал тачать сапоги в общественной мастерской... Но из этого ничего не вышло, и беднягу заперли так и в сумасшедший дом. Кто-кто не указывал поэту целей и не рядил его в собственные обноски? Коллекция идеальных поэтов все растет...» Ни Ахматова, ни Мандельштам, ни Гумилев не могли, конечно, пройти мимо этого упоминания Нерваля, тем более в таком контексте. Не исключены некие связи с этим образом Нерваля — «Поэта вообще, Поэта с большой буквы» — в ахматовской «Поэме без героя». О «безумном Жераре де Нерваль» Анненский упоминал и в связи с Гейне в статье «Генрих Гейне и мы», напечатанной в литературном приложении к «Слову» (1906, № 10, перепечатано в «Книге отражений», М., 1979, с. 397).

Тем не менее для более широкого круга именно эссе Муратова, хотя и выдержанное отчасти в духе романтических легенд, против чего так протестуют современные исследователи Нерваля (называя «достойной сожаления традицией» видеть в нем романтического героя в большей степени, чем серьезного, большого поэта<sup>1</sup>), стало основным источником сведений о личности Нерваля для читателя не-специалиста (кстати, Муратов неверно указал месяц смерти Нерваля, — вместо 26 января — 26 февраля). Важным дополнением к книге явилась рецензия на нее Б. Грифцова<sup>2</sup>, где более определенно была поставлена проблема творческой неразрывности жизни Нерваля с его произведениями, т. е. той предельной ситуации, в которой невозможно провести границу между определяемым и определяющим: «Какую бы ни брал он тему... он рассказывал только о себе, о своей необыкновенной личной судьбе, которая не могла быть выражена в образах более простых...» (с. 25); «...Жизнь его — поистине образец жизни поэта — завершается такой правдивой драмой, что приходится говорить не только о полноте жизни поэта, но также и об ее искренности, о ее действительной правде...» (с. 27); «...Это был тот тип раздвоения личности, когда сознание не пропадает, только исчезает навязчивость конкретного мира,

---

<sup>1</sup> Villas J. Gérard de Nerval. A critical biography 1900 to 1967. Columbia Mass., 1968, p. 10.

<sup>2</sup> Грифцов Б. Об искреннем романтизме. — Русская мысль, 1912, № 11, с. 24—29.



давая этим возможность ближе подойти к чистым идеям, к таинственным связям, быть может, даже к какому-то подобию ясновидения» (с. 28). Эта трактовка откликается у французского исследователя, когда он говорит, что «Аврелия» предельно тесно связана с существованием ее автора: произведение не ограничивается описанием того, что произошло в действительности, но — по воле Нерваля — становится местом, где решается его судьба<sup>1</sup>.

Оценка Нерваля в 10-е годы тем более существенна, что во Франции в эти же годы пора признания в нем одного из великих писателей XIX века еще не наступила. Б. Грифцов (с. 24) специально отмечает не только, что «имя Жерара де Нерваля... мало скажет русскому читателю», но и что «издатели не побоялись непризнанности Нерваля во Франции». В традиции, идущей от его друзей по «галантной богеме», он оставался «милым Жераром», «преlestным безумцем», и голос Бодлера, причислявшего его к *frères maudits*<sup>2</sup> и посвятившего Нервалю (по двум автографам) одно из своих программных стихотворений — «Путешествие на Цитеру», был одиноким. Правда, в 1914 году выходит в свет фундаментальное исследование Аристида Мари о Нервале, и вскоре начинается период переоценки писателя. А в 1920 году Пруст назовет Нерваля предтечей процесса воспоминаний, сравнив его «Сильвию» и собственный знаменитый эпизод с *мадлен*<sup>3</sup>. До этого же сохранял силу комплимент друга Нерваля, Теофиля Готье: потомки поместят «Сильвию» рядом с «Подем и Виргинией» и «Индийской хижинкой»<sup>4</sup>.

Тем не менее и в России эта инициатива не была, видимо, подхвачена. Во всяком случае, сведения об этом в печати практически отсутствуют. Более интересно, что и акмеизм не выдвигает имени Нерваля в своих декларациях. Можно пойти дальше, высказав мнение, что увлечение поэзией Готье, усиленно выдвигавшегося на первый план Гумилевым, исключало почти полностью сколько-нибудь сопоставимое с этим внимание к поэзии Нерваля. Действительно, темпераменту, восприятию и

<sup>1</sup> B e g u i n A. L'Âme romantique et le rêve. P., 1956, p. 358.

<sup>2</sup> 'Проклятые братья.'

<sup>3</sup> P r o u s t M. À propos du 'style' de Flaubert. — Nouv. Revue Franç., № 76, 1/1—1920, p. 72—90; i d e m. Contre Saint-Beuve. P., 1954, p. 157—159.

<sup>4</sup> G a u t i e r Th. Histoire du romantisme. P., 1869, p. 150.

установкам Гумилева импонировал не герметически замкнутый в себе самом «неудачник» Нерваль, а захлестывающий «волной... безудержного 'раблеистического' веселья... безумной радостью мысли» Готье, секрет которого «не в том, что он совершенен, а в том, что он могуч, заразительно могуч, как Раблэ, как Немврод, как большой и смелый лесной зверь». Так писал Гумилев в статье «Теофиль Готье» («Аполлон», 1911, № 9, с. 53), упоминая, между прочим, что Готье был представлен Виктору Гюго Нервалем. Эта статья была перепечатана как предисловие к переводам Готье в кн.: Т. Готье, «Избранные стихи» (Петроград, 1922, перевод Вс. Рождественского). Конечно, Нерваль не мог быть совсем неизвестен — хотя бы через Готье, и не только в связи с биографическими мотивами: в «Истории романтизма» и «Литературных портретах и воспоминаниях» Готье Нервалю отводится заметное место.

Впрочем, Нервалю в концепции поэтических источников акмеизма не оказывалось места не только при сопоставлении с Готье, но и по общей логике той жесткой схемы, которая, по мнению Гумилева, должна была стать своего рода кредо акмеизма, но, к счастью, им не стала. В статье «Наследие символизма и акмеизма» («Аполлон», 1913, № 1, с. 44—45) Гумилев писал: «В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека. Раблэ — тело и его радости, мудрую физиологичность. Виллон поведал нам о жизни, нисколько не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами». Еще раньше Кузмин замечал, что Гумилев любит Готье, но «несколько преувеличивает его значение для наших дней» («Письма о русской поэзии», в «Аполлоне», 1912, № 2, с. 73).

Приходится признать, что поэзию Нерваля не замечали или обходили — при остром интересе вообще к французской поэзии, выразившемся прежде всего в целом ряде переводов, во введении новых имен и т. п.

В антологиях на хронологическом или тематическом месте Нерваля зияют пробелы. Правда, в своем эссе Муратов привел два самых знаменитых стихотворения Нерваля, «El Desdichado»<sup>1</sup> и «Vers dorés»<sup>2</sup>, — без перевода. Первый перевод «El Desdichado» (1-я строфа), очевидно, принадлежит Л. Кацману, рецензенту книги Муратова («Новый журнал для всех», 1912, № 11, с. 125). В переводе, к сожалению, обесмысливающая опечатка:

Я сумрачный вдовец, чья жизнь во мраке тонет,  
Я — принц немых руин и каменных пустот.  
Мертва моя звезда, и голос лютый (sic! вм. *голос лютни*) стонет —  
Он солнце черное Тоски в себе несет.

(Назвав Нерваля «мистическим идеалистом, поставившим женщину в центре своей жизни», рецензент упрекает Муратова в том, что тот показал Нерваля более сложным, чем на самом деле, пытаюсь в его безумии увидеть высший разум.)

В 1913 году два стихотворения Нерваля, «Фантазия» — романтическая пастишь — и «Эпитафия самому себе» (о них см. ниже), перевел Брюсов. Во вступительной статье к тому своих переводов (Полное собрание сочинений и переводов. СПб., 1913, т. 21, с. VIII—IX) он сказал о французском поэте: «Жерар де Нерваль, в полубезумии прозревающий откровения будущего». Затем в течение почти шестидесяти лет Нерваля не переводили. Такова «внешняя» история поэзии Нерваля в России 10-х годов. Но даже если бы нам была доступна и «внутренняя» ситуация акмеистической поэзии того времени, вряд ли бы удалось найти ту конфигурацию причин и мотивировок, которая напоминала бы о Нервале и его поэзии, взывала бы к аналогиям и переключкам с ней.

На этом фоне появление Нерваля в воспоминаниях Артура Лурье<sup>3</sup> поначалу кажется почти неожиданным: «В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего сада [дом № 18, где в это время жили Ахматова и Глебова-Судейкина] из окна, выходявшего во двор, на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень [не отсюда ли ахматовская

<sup>1</sup> «Отверженный» — варианты перевода см. далее.

<sup>2</sup> «Золотые стихи».

<sup>3</sup> Лурье Артур. Детский рай.— Воздушные пути, Нью-Йорк, 1963, III с. 161—172.

таинственная плесень на стене (1940)? — в тот же контекст могли входить и другие строки: ...И только в двух домах // В том городе (название неясно) // Остался профиль (кем-то обведенный // На белоснежной извести стены); // Не женский, не мужской, но полный тайны (1943)]; взглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий. О. А. Глебова-Судейкина говорила, смотря на эту тень: 'Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу'. Все друзья, бывавшие в доме на Фонтанке, знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге. Но в те годы поэзия Нерваля в нашем кругу почему-то не упоминалась» [разрядка наша.— В. Т., Т. Ц.]. Мотив бегущего по Парижу Нерваля может намекать на своеобразный культ прогулок по Парижу и его окрестностям, созданный и описанный самим поэтом, ср. «Прогулки и воспоминания», и — глубже — на воплощенный им тип «вечного скитальца».

Обратившись в 60-е годы к стихам Нерваля и к воспоминаниям о Петербурге, Лурье, возможно, проецировал свое позднее впечатление от его «Химер» на тот «наш» круг и в контексте того времени сформулировал и причины обращения к Нервалю, и основные линии его поэзии (и/или его жизни), которые оказались определяющими в тогдашнем поэтическом мировосприятии и в отношении самого автора к нескольким избранным им поэтам: «В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением 'детского рая': Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия... У Нерваля был в его безумии тот же профетический опыт сознания и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержимости поэзией, как у Хлебникова и у Мандельштама...» Ю. Иваск в уже упомянутой статье писал, что «эллиптичность Нерваля, а также его поэтическая магия и 'детские' лепечущие стихи напоминают Мандельштама». Стоит отметить и особую эллиптичность поэтической манеры Мандельштама в целом ряде его стихотворений.

Свидетельство А. Лурье о живом восприятии Нерваля Ахматовой и Мандельштамом существенно для,

так сказать, биографического обоснования нервалианского подтекста у обоих этих поэтов. Насколько нам известно, у Мандельштама нет прямых упоминаний Нервала. Но по словам И. Одоевцевой («На берегах Невы»), в начале 20-х годов «как-то совсем ненароцито, будто случайно» Мандельштам заводил с ней разговор «то о Рильке, то о Леопарди, то о Жераре-де-Нервале, то о Гриммельсхаузене». У Ахматовой есть одно упоминание о Нервале — эпиграф из «El Desdichado» к «Предвесенней элегии» (1963). Примечательно, что и Лурье предваряет свои воспоминания, вышедшие в том же 1963 году, эпиграфом из сонета Нервала «Гор»: *Орел летит... Зовет меня дух новый...*<sup>1</sup> В дальнейшем речь пойдет о том уровне переключек и совпадений, который определяется более сильными и глубокими причинами, чем прямое цитирование или реминисценция усвоенного текста. Пока же можно ограничиться констатацией, что по крайней мере «El Desdichado» был хорошо известен обоим поэтам («проработан») и в определенное время стал для них ключевым текстом (подтекстом): таковым он был и для самого Нервала, открывшего им цикл «Химеры».

Выбор в качестве основы одного, и притом общего, текста двумя поэтами вполне в духе принципов акмеизма и той соотнесенности «подтекстов», которая проявляется в диалогической переключке у обоих поэтов (Данте, Вийон, Расин и другие); можно вспомнить неоднократно цитированный образ Мандельштама: «Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи...» («О природе слова»). В этом контексте ориентация на «El Desdichado» не должна вызывать удивления, тем более что в программном для Нервала сонете, семиотически очень емком и в то же время сильно центрированном («гербовая» структура), отразилась не только тема дня, но и, соответственно, программные мотивы обоих русских поэтов: бездна, мрак, отчаяние, сошествие в подземный мир; двойничество — перевоплощение в героев своей поэзии; наконец — особая для акмеизма тема — тоска-воспоминание по прошлому и навсегда утраченному (в не-

---

<sup>1</sup> L'Aigle a déjà passé./L'Esprit nouveau m'appelle.— Переводы (за исключением подстрочных и специально оговоренных) даются по ленинградскому изданию 1985 г.

сколько иным ракурсе эта тема может соотноситься и с эсхатологическими мотивами).

Наконец, тема двойничества, дробления и слияния персонажей и смешения автора с его героями, столь отчетливо сформулированная Ахматовой в «Поэме...» (*Ты — один из моих двойников; И кто автор, и кто герой*), вновь отсылает к Нервалю. Так, комментируя строки из «El Desdichado» *Амур я или Феб, Лузиньян или Бирон*, современный исследователь пишет: «Не означает ли это, что я один или другой, или и один и другой, или даже бесконечное множество других, иногда контрастных, иногда совпадающих, как близнецы... не приводит ли эта почти бесконечная множественность разных я к тому, чтобы рассматривать самого себя как некое множественное существо...»<sup>1</sup>.

Уже отмечалось, что мандельштамовский образ *И вчерашнее солнце на черных носилках несут* («Сестры — тяжесть и нежность», 1920) перекликается с «черным солнцем меланхолии» нервалевской лютни (*...mon luth constellé // Porte le soleil noir de la mélancolie*); важен и мотив смерти в предыдущем стихе: *Человек умирает. Песок остывает согретый*. Богатое собрание образов черного солнца у Мандельштама концентрируется в его стихотворениях 1916—1920 годов. Ср.: *У ворот Ерусалима // Солнце черное взошло... Я проснулся в колыбели // Черным солнцем осиян* («Эта ночь непоправима», 1916); *И для матери влюбленной // Солнце черное взойдет ...Страсти дикой и бессонной // Солнце черное уйдем* («Как этих покрывал и этого убора», 1916); ср. также: *Это солнце ночное хоронит // Возбужденная картами чернь* («Когда в темной ночи замирает», 1918 [?]); *В Петербурге мы сойдемся снова, // Словно солнце мы похоронили в нем... А ночного солнца не заметишь ты* («В Петербурге мы сойдемся снова», 1920). Более отдаленные параллели связаны с символикой черно-желтого, ср.: *Се черно-желтый свет, се радость Иудей* («Среди священников левитом молодым...», 1917) и даже позднее: *...декабрьский денек, // Где к зловещему дегтю подмешан желток...* («Ленинград», 1930), ср. еще: *Только там, где твердь светла, //*

---

<sup>1</sup> Poulet G., 2La pensée indéterminée. II. Paris, 1987, 95.

Черно-желтый лоскут злится («Дворцовая площадь», 1915)<sup>1</sup>.

Истоки черного солнца Нерваля выявлены<sup>2</sup>. Наиболее непосредственно этот образ отсылает к изображению черного солнца на гравюре Дюрера «Ангел меланхолии». На это указывает сам Нерваль в примечании к «El Desdichado»; это указание повторяется в «Аврелии», ч. 2, IV: *...оно [существо] походило на ангела меланхолии Альбрехта Дюрера*. Естественно, черное солнце у Нерваля имеет гораздо более глубокое значение и не исчерпывается отсылкой к дюреровскому изображению, ср. хотя бы *потемневшее солнце, которое окутывает душу подобно меланхолии* («Путешествие на Восток»); *черное солнце в пустынном небе* («Аврелия», 2, IV), *погасшие солнца* («Христос на Масличной горе») и т. д. Возвращаясь к Дюреру: в работе А.-К. Копье «Черное солнце меланхолии» («Mercure de France», ССХСIII, 1939, р. 607—610) высказано предположение, что на его гравюре изображено не черное солнце, а комета 1513—1514 г.

О сопряжении темы дюреровской «Меланхолии» с образом черного солнца русский читатель начала века мог узнать из эссе М. Волошина об Одилоне Редоне. Ср.: «В мастерской Рэдона висит гравюра Дюрера: Женщина безнадежно и устало опустила голову; шелк платья безнадежно и устало шелестит по каменным плитам. Перед ней неправильное геометрическое тело, как «ледяной кристалл Уныния». Сломанные математические инструменты лежат в беспорядке. Серая радуга... звезда со снопом лучей и через небо длинная лента, на которой написано: MELANCOLIA. На высотах познания одиноко и холодно... <...> В этих пределах оледенелого времени нет звука. Это царство вечного Молчания <...> В этом мире солнце перестало быть источником света... Здесь светится все, из чего исходит жизнь: книга освещает лицо девушки, лучится одежда пророка,

<sup>1</sup> И в а с к Юрий. Дитя Европы.—Указ. соч. Ср. также: Приложение шестое. О некоторых образах Мандельштама.—Т а м ж е, с. 404—422. Из других ближайших параллелей ср.: *Мы пчелы черных солнц, несли скупые соты, // Желчь луга — о́мел и полынь* у Вяч. Иванова («Cor ardens», I, с. 86), указано в работах: Т а р а н о в с к и й К. Ф. Пчелы и осы в поэзии Мандельштама.— In: To Honor Roman Jakobson. The Hague/Paris, 1967, с. 1977; i d e m. Essays on Mandel'stam. Cambridge Mass./London, 1967, с. 87.

<sup>2</sup> Pieltain P. Sup l'image d'un soleil noir.— Cahiers d'analyse textuelle, 1963, № 5, п. 88—94.

бросая снопы пламени, пролетает комета, мерцают морские звезды в подводных глубинах. Только одно солнце иногда восходит в этом мире — это черное солнце отчаяния — *Le Soleil noir de la Mélancolie* (...) Ужас времени кричит синими голосами; ультрафиолетовые полыньи на черном властно затягивают в глубины мистицизма. Ультрафиолетовые лучи, помещаясь на границе видимого спектра, служат противоположно-дополнительными желтому цвету дня. Фиолетовый цвет всегда был цветом мистики и веры. Готические vitraux [вitraжи] все основаны на комбинациях фиолетовых. Возрождение и последующие века совершенно не знали лиловых гармоний. Это любимый цвет Рэдона. В нем успокоенные мерцанья тайны (...) На высотах Познания одиноко и холодно» (Макс Волошин, «Одилон Рэдон». — «Весы», 1904, апрель, с. 1—4).

В данном случае образ черного солнца выступает не только как частный подтекст, но и как средство связи со всем огромным «контекстом» черных (ночных, губительных) солнц, включающим в себя материал самых разных традиций<sup>1</sup>. Выбор же для ссылки именно образа Нерваля можно объяснить его специфической обостренностью, обнаженностью: поэт мотивирует черноту солнца в тексте (прозаическом), но сама эта мотивировка отсылает к внетекстовой реальности (видения черного солнца перед вторым припадком безумия). В результате формируется особая усиливающая конструкция, передающая отмеченно-напряженные смыслы. Показательно, что и у Мандельштама образ черного солнца в контексте смерти появляется на переломе времени.

Как мандельштамовский подтекст (т. е. подтекст для Мандельштама) можно рассматривать и второй семантический полюс «*El Desdichado*» — воспоминание-устремленность к прежней, прошлой, той жизни, возвращение к которой закрыто: *Rends-moi Le Pausilippe et la mer d'Italie, // La fluer qui plaisait tant à mon coeur désolé, // Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie* (ср.: *Au Pausilippe altier* — «Мирто» и *La*

---

<sup>1</sup> Сыркин А. Я. Черное солнце. — Краткие сообщения Института народов Азии. Вып. 80. Литературоведение. М., 1965, с. 20—32; Мандельштам Осип. Собр. соч. в 3-х томах, т. III, с. 404—411.



*mer nous envoyait son image adorée* — Гор.) Здесь у Нерваля проступает то особое отношение к Италии как к колыбели европейской культуры (ср. упоминание в примечаниях к «El Desdichado» Садов Ватикана; Позилиппо — предполагаемое место могилы Вергилия, ср.: *Но лавр Вергилия, тенистый, благовонный, // На веки приютил Гортензию и Мирт!* — «Мирто», и др.), которое в акмеизме формулировалось как «тоска по мировой культуре», а у Мандельштама получило позже воплощение в мотиве тоски — Тосканы. См. наиболее показательные совпадения: *На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко; Разрывы круглых бухт, и хряц, и синева... // Я с вами разлучен, вас оценив едва; И когда я наполнился морем, // Мором стала мне мера моя* и т. п. и, наконец, *И ясная тоска меня не отпускает // От молодых еще, воронежских холмов — // К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане* (1935—1937). Из более частных совпадений ср. сочетание мотивов грота (иллюзорно-мифопоэтического) и самоотжествления поэта перед лицом смерти: *...Я забыл ненужное «я». Я блуждал в игрушечной чаше // И открыл лазоревый грот... // Неужели я настоящий, // И действительно смерть придет?* («Отчего душа так певуча», 1911, при *О широкий ветер Орфея* в предыдущей строфе) к *Suis-je Amour ou Phoebus?... Lusignan ou Biron?... // J'ai rêvé dans la grotte où nage la Sirène*<sup>2</sup> (при *лире Орфея* в следующей строфе).

Можно предположить, что строка *А мог бы жизнь просвистать скворцом* (по авторизованному списку, в кн.: О. Мандельштам, «Стихотворения». Л., 1973; ср. вариант *щеглом* — см. «О щеглах воронежских стихов» в кн.: Осип Мандельштам. Собр. соч. в 3-х томах, т. III, с. 411—412) является полемическим соответствием автоэпитафии Нерваля *Il a vécu, tantôt gai comme un sansonnet, // Tour à tour amoureux, insoucieux et tendre*, ср. перевод Брюсова: *Он прожил жизнь свою то весел, как скворец, // То грустен и влюблен, то странно беззаботен...* В переводе Кудинова появляется *щегол: То ласков и влюблен — и веселей щегла*. Еще одна парал-

<sup>1</sup> 'Верни мне Позилипп и море Италии, // Цветок, который так нравился моему отчаявшемуся сердцу, // И беседку, где Виноградная лоза сплетается с Розой'; 'На гордом Позилиппе'; 'Море посылало нам его обожаемый образ'.

<sup>2</sup> 'Амур я или Феб?.. Лузиньян или Бирон?... // Я грезил в гроте, где плавает Сирена'.

лель — Готье о Нервале: *pareil au martinet des tours*<sup>1</sup> («История романтизма», с. 147).

Небольшое отступление: возможно, что и брюсовский перевод «Фантазии» Нерваля отразился у Ахматовой, ср.:

То век Ришелье!.. Золотистый закат  
Желтеющим отблеском нивы лелеет  
(Нерваль — Брюсов);

А мы живем, как при Екатерине <...>  
К нам едет гость вдоль нивы золотой <...>

(Ахматова, «Течет река неспешно по долине...», 1917).

О других проявлениях нервалианского подтекста у Мандельштама будет сказано и далее.

Итак, Ахматова предпослала стихотворению «Предвесенняя элегия» цикла «Полночные стихи» эпиграф из «El Desdichado». Весь цикл определен эпиграфом из «Решки»: *Только зеркало зеркалу снится, // Тишина тишину сторожит. З е р к а л о (отражение — иной мир — двойничество, более отдаленно — сон) и тишина (звучащая тишина — немой стон — музыка), объединенные более общей семантемой невстречи/смерти, являются основным содержательным ядром цикла. В этом контексте эпиграф из Нерваля получает особую значимость. Он представляет собой второе полустилише строки *Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'a consolé* с минимальным (графическим) сдвигом, играющим исключительно емкую роль. В ахматовской редакции — *Toi qui m'a consolée* — изменение рода меняет нервалевское обращение к г е р о и н е (*В ночи Могилы Ты, которая меня утешила*) в обращение к г е р о ю (*Ты, который меня утешил*), и начинает описывать ее л и ч н у ю ситуацию. Субъект образа «осваивается» ею. В мемуарных свидетельствах о появлении эпиграфа (М. Толмачев) говорится, что второе *e* в *consolé* появилось по указанию Ахматовой. Но этим трансформации не кончаются. Цитата из Нерваля образует «имплицитную» конструкцию: явленная вторая половина цитаты как бы заставляет вернуться к необозначенной первой половине — *В ночи Могилы* (примеры этого рода встречаются у Ахматовой не раз), имеющей в стихах Ахматовой свои многочисленные соответствия (их признаки —*

<sup>1</sup> «Похожий на стрижа».

лексемы *ночь, бездна, смерть, могила, гибель* и т. п., ср. элементы соответствующего семантического поля в словарях ахматовских произведений).

Комментаторы Нерваля указывали на амбивалентность *В ночи Могилы*, относимого и к автору, и к его адресату (автор из могилы зовет свою возлюбленную, или это ее голос из могилы призывает его). В конце концов (и это поддерживается общим представлением о структуре бытия в поэзии Нерваля) сама по себе *разъединенность* оказывается сильнее оппозиции *жизнь/смерть*: пребывание в том или этом мире менее существенно, чем воссоединение — происходит ли оно здесь или в *Зазеркалье*. Этот мотив отчетливо проступает у Ахматовой, особенно в стихах позднего периода, ср. прежде всего те же «*Полночные стихи*»: *Простившись, он щедро остался, // Он насмерть остался со мной* («Предвесенняя элегия»); *Какое нам, в сущности, дело, // Что все превращается в прах* («Первое предупреждение»); *Мы в адском круге, // А может, это и не мы* («В Зазеркалье»); *Твоя мечта — исчезновенье, // Где смерть лишь жертва тишине* («Зов») и т. д. Ср. еще примеры (имеющие более глубокую семантическую мотивировку, чем разъединение с героем), когда Ахматова помещает в тот мир себя: *Услаждала бредами, // Пением могил* («Последняя» из цикла «Песенки», 1964); *Всем обещаньям вопреки... // Забыл меня на дне* («Всем обещаньям вопреки», 1961); *Сто раз я лежала в могиле, // Где, может быть, я и сейчас* («Забудут? — вот чем удивили», 1957); *Из-под каких развалин говорю, // Из-под какого я кричу обвала* («Надпись на книге», 1959); *Той, что познала и ужас и честь // Жизни загробной* («Из пьесы «Пролог», 3, 1946 [?]) и т. д.

Ахматова выбирает из Нерваля — или, более точно, из «*El Desdichado*» — несколько иной слой для подтекста, чем Мандельштам. Она, скорее, продолжает тему *Je suis le Ténébreux, — le Veuf, — l'Inconsolé, ... // Ma seule Etoile est morte*<sup>1</sup>. Автокомментарий Нерваля к *le Veuf* «*olim Mausole?*» («когда-то Мавзол?») отрывает эту строку от слишком буквального биографического понимания. Более того, не умерший Мавзол — вдовец, но Артемизия — его вдова. Нерваль тем самым вступает

---

<sup>1</sup> 'Я Сумрачный, — Вдовец — Безутешный... // Моя единственная Звезда умерла'.

на следующий уровень обобщения: поскольку разъединенность сильнее оппозиции жизнь/смерть, то в разъединении оба вдовеют в одинаковой степени. Возможно, отклик нервалевого вдовца — безутешного прозвучал в ахматовском *И многих безутешная вдова* («Какая есть. Желаю вам другую», 1942), — хотя, конечно, следует учитывать и клишированность этого выражения в русской языковой традиции.

В этом же стихотворении звучит еще одна тема, имеющая особое значение и для Ахматовой, и для Мандельштама: прижизненное сошествие во ад/иной мир в связи с Орфеем (судьба поэта): *Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron* (ср.: *deux fois, vivant, traversé l'Achéron*<sup>1</sup> [manuscrit Lombard], ср. разработку той же темы в «Антэрос»: *Я ими трижды был омыт в волнах Коцита*). К этому следует прибавить, что «Аврелия» обрывается фразой, которая исключительно важна для понимания творчества Нерваля (и, конечно, многих других поэтов), особенно если вспомнить, что это и последняя написанная им фраза: *...и приравниваю ряд испытаний, через которые я прошел, к тому, что для древних представляло идею сошествия в ад* (здесь и далее пер. П. Муратова)<sup>2</sup>. Этот мотив соотносим прежде всего с поэтической конструкцией Ахматовой о прижизненном сошествии в царство смерти (Гильгамеш, Орфей, Данте...) и о предназначенности этого сошествия тому, кто станет поэтом. Поэтому особенно значима тема Орфея в богатом «нервалианскими» ходами стихотворении Ахматовой, посвященном памяти Мандельштама (полный вариант; 1957): *Окровавленной юности нашей // Это черная нежная весть (к черному солнцу как символу смерти и к образу тяжести и нежности, в связи с которыми и возникает образ вчерашнего солнца на черных носилках); О! Как пряно дыханье гвоздики, // Мне когда-то приснившейся там...* Цветок, утешавший отчаявшееся сердце Нерваля, в его примечаниях к «El Desdichado» «расшифровывается» самим поэтом как *ancolie* (водосбор), символ тоски и безумия. Тем самым дублируется или «этимологизируется»

<sup>1</sup> 'И дважды я победителем пересек Ахерон' (ср.: 'дважды, живым, пересек Ахерон').

<sup>2</sup> Орфические мотивы — одна из разработанных тем Нервалианы, ср. хотя бы: *V a u s G. The Orphic Vision of Nerval, Baudelaire et Rimbaud.* — In: *Anagogic Qualities of Literature (Yearbook of Comp. Criticism IV)*. Kansas City/London, 1971.

*mél-ancolie*, 'черная тоска'. В связи с «поэтическими этимологиями» Нервала нельзя не вспомнить, что он знал много языков (в том числе и восточных) и они составляли как бы фон для ассоциаций или средство для последующих интерпретаций. Сходное явление уже указывалось в связи с Ахматовой и особенно Мандельштамом. Далее в ахматовском стихотворении — *Там, где кружатся Эвридики и Это голос таинственной лиры, // На загробном гостящей лугу при лире Орфея*, ср. еще: *Эвридика! Эвридика!* — эпитафия ко 2-й части «Аврелии», начинающейся словами: *Второй раз потеряна!* [ср.: *два раза победитель...*] *Все кончено, все миновало!* и т. д. Естественно, что более прямую связь здесь можно видеть с мандельштамовскими образами Орфея и Эвридики (*Ничего, голубка Эвридика...; Чуть мерцает призрачная сцена, // Хоры слабые теней* («Чуть мерцает призрачная сцена», 1920); *О широкий ветер Орфея* («Отчего душа так певуча», 1911); вероятны также реминисценции с мейерхольдовской постановкой «Орфея» Глюка в Мариинском театре в 1911 г.) и с образом Эвридики из раннего стихотворения Георгия Адамовича, посвященного Ахматовой:

#### АННЕ АХМАТОВОЙ

Так беспощаден вечный договор!  
И птицы, и леса остались дики!  
И облака, — весь незапевший хор  
О гибели, о славе Эвридики.

Так дни любви обещанной прошли!  
Проходят дни и темного забвенья.  
Уже вакханок слышится вдали  
Тяжелое и радостное пенье.

И верности пред смертью не тая,  
Покинутый, и раненый, и пленный,  
Я вижу Елисейские поля,  
Смущенные душою неблаженной.

(Г. Адамович, «Облака». —  
«Альциона». М. — Пг., 1916).

*Нева* в ахматовском стихотворении соответствует Ахерону (*наши проносятся тени // Над Невой, над Невой, над Невой*), ср. в другом стихотворении *Уже за Ахероном // Три четверти читателей моих* (вариант, при каноническом Флегетоном). Ср., наконец, образ *Леты* — *Невы* в «Поэме без героя».

Уже в более общем плане с образом мертвой звезды (звезда смерти), *Ma seule Etoile est morte*, перекликается *И прямо мне в глаза глядит // И скорой гибелью грозит // Огромная звезда* («Семнадцать месяцев кричу», 1939), ср. к этому: *Была над нами как звезда над морем, // Ища лучом девятый смертный вал* («И последнее», 1963). К «астрологическим» мотивам Нерваля, и особенно в «*El Desdichado*»<sup>1</sup>, ср. также: *Под какими же звездными знаками // Мы на горе себе рождены?* («Не дышали мы сонными маками», 1947), *И такая звезда глядела* [«Марс летом 1941 г.» — примечание Ахматовой; Марс — звезда войны] // *в мой, еще не брошенный дом // И ждала ответного звука* («Поэма без героя», Эпилог) и др.

Мотив сошествия в царство смерти влечет за собой образы падения в бездну, в пустоту, очень отчетливые у Нерваля, у Ахматовой, у Мандельштама. Ср. настойчиво повторяющееся *abîme* в стихотворении Нерваля «Христос на Масличной горе»: I.—...там бездна, бездна, бездна!; II.—...но видел лишь глазницу // Пустую, черную, откуда ночь струится; V.— Над бездною Олимп качнулся потрясенный, ср. *Святую бездны* в «Артемиде», с вариантом 11-й строки *dans l'abyme (sic!) des Cieux*<sup>2</sup> и т. д. У Ахматовой *бездну и пустоту* в нервалианском контексте следует упомянуть прежде всего в связи с тем же посвященным Мандельштаму стихотворением: *Тем же воздухом, так же над бездной // Я дышала когда-то в ночи, // В той ночи и пустой и железной...* Показательны индексы «отсылки» *тем же... так же... в той...*, характерные для поэтики Ахматовой как раз при повторении того, что уже было, — в частности, при скрытом цитировании. К этим же образам см. и другие примеры: *В пустую ночь, где больше нет тебя* («И сердце то уже не отзовется», 1953); *Стихи эти были с подтекстом // Таким, что как в бездну глядишь. // А бездна та манит и тянет, // И ввек не дойдешь дна, // И ввек говорить не устанет // Пустая ее тишина* («Хвалы эти мне не по чину» [1959?]); *И странный спутник был мне послан адом. // Гость из невероятной пустоты* («И странный спутник»).

<sup>1</sup> В этом аспекте «*El Desdichado*» подробно проанализирован в кн.: Richer J. Nerval. Expérience et création. P., 1963, ch. XVIII. Из последних по времени работ ср. также: Laszlo P. «*El Desdichado*—38». — In: Poétiques (Le Romantisme, 33), 1981, p. 35—57.

<sup>2</sup> 'В бездне Небес'.

Ср. у Мандельштама, уже в «Камне»: *Но музыка от бездны не спасет!* («Пешеход», 1912, откликнувшееся у Ахматовой в *А та, кого мы музыкой зовем... // Спасет ли нас*) и позже — *В черном бархате всемирной пустоты* (здесь же мотивы погребенного, ночного солнца, Орфея — «В Петербурге мы сойдемся снова», 1920); *Каково тебе там в пустоте, в чистоте — сироте* («Голубые глаза и горячая лобная кость», 1934) и др.

Если схождения в образе небытия-бездны, пустоты могут представляться не столь показательными из-за своего достаточно общего характера, то более убедителен проходящий у всех трех поэтов мотив п у с т о т ы (неба, мира) п о с л е п а д е н и я, разрушения б а ш н и — образа с глубоким и напряженным смыслом: разрушение мира, возврат к хаосу, гибель Бога, жизненная трагедия. У Нервала к этому относятся прежде всего *le Prince d'Aquitaine à la tour abolie* («El Desdichado») ' [я] Аквитанский принц разрушенной башни' и эпиграф из Жан-Поля к стихотворению «Христос на Масличной горе»: *Бог мертв! Небо пусто...* Образ башни для Нервала имел значение прежде всего в связи с его фантастической генеалогией: ср. его подпись в письме от 16 марта 1841 года: *G. Nap.* [т. е. Наполеон] *della torre Brunya e Pallazza*. Наряду с этим ср. и мифопоэтическое значение башни, например, в «Аврелии» (ч. II, письмо XV: *...Я был в башне, уходящей так глубоко в землю и высоко в небо, что все мое существо должно было истощиться, поднимаясь и спускаясь по ней*).

Ахматова как бы соединила эти мотивы в стихотворении «Мои молодые руки» (1940): *Кто знает, как пусто небо // На месте упавшей башни*; ср. еще: *Пустых небес прозрачное стекло* («Пустых небес прозрачное стекло», 1914); другой вариант образа башни в стихотворении «Уединение» (1914); к этому же — более отдаленно — *И упало каменное слово // На мою еще живую грудь* («Приговор», 1939).

У Мандельштама эти же образы выступают в несколько ином ракурсе: *И стоит осиротелая // И немая вышина, // Как пустая башня белая, // Где туман и тишина* («Скудный луч холодной мерою», 1911), где, кстати, допустимо предполагать в *осиротелая* отсылку к *desdichado* или даже его перевод. Примечательно притяжение п у с т о т ы, н е б а и б а ш н и (кружащейся — качающейся? — падающей?) в стихотворении 1937 года «Заблудился я в небе,— что делать?»: *Дай мне*

силу без пены пустой // Выпить здравье кружащейся  
башни,— // Рукопашной лазури шальной.

В контексте б е с с п о р н ы х совпадений и перекличек при более углубленном проникновении в поэтику Нервала, и прежде всего в своеобразие его поэтического видения, возрастают в своем значении и те небесспорные совпадения у Ахматовой и Мандельштама с Нервалем, которые вне этого контекста могли бы быть вовсе не замечены. Во всяком случае, сейчас уже едва ли возможно игнорировать и ряд сходств с другими нервалевскими текстами. Так, мандельштамовское «Notre Dame» в ряде образов ориентировано на практически одноименное «Notre Dame de Paris» Нервала. Ср.: *...cette carcasse lourde, // Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde // Rongera tristement ses vieux os de rocher <...> // Viendront pour contempler cette ruine austère* ('...этот тяжелый скелет, // Скрутит ее железные нервы, а потом тихий зуб // Сложит печально ее старые каменные кости <...> // Придут созерцать эти мрачные руины') — при: *...распластывая нервы, // Играет мышцами крестовый легкий свод... // Чтоб масса грузная стены не сокрушила... // Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, // Я изучал твои чудовищные ребра... из тяжести недоброй...* — с определенной соотношенностью концовок обоих стихотворений. Не исключено, что противопоставление, заключенное в стихе *Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres* («Золотые стихи», к ним см., кстати: *Пусть не ты золотыми стихами* («О тебе вспоминаю я редко», 1913) у Ахматовой), учтено Мандельштамом там, где камень соотносен с темой души (у Нервала — пробивающейся из-под каменной коры), в частности, как ранний вариант тяжести и нежности, ср. инверсию: *И храма маленькое тело // Одушевленное стократ // Гиганта, что скалою целой // К земле беспомощно прижат!* («На площадь выбежав, свободен», 1914; ср. *маленький/гигант*). Вообще, при отсутствии внешних оснований для того, чтобы говорить в данном случае о сознательных заимствованиях, нервалианский подтекст в «Камне» тем не менее ощущается.

Более того, поразительное видение Петербурга в финале «Аврелии» выглядит как отклик Нервала на петербургские стихи русских поэтов, в том числе и следовавших ему во времени. Ср. у Мандельштама: *Нам четырех стихий приязненно господство, // Но создал пятую свободный человек... // И вот разорваны трех измерений*



узы, // И открываются всемирные моря («Адмиралтейство», 1913). У Нерваля: ...я различал теперь перед собой глубокую бездну (un abîme profond), куда шумно низвергались волны оледенелого балтийского моря. Казалось, что вся река Нева со своими голубыми водами должна уйти в эту трещину земного шара. Корабли Кронштадта и Санкт-Петербурга задвигались на якорях, готовые оторваться и исчезнуть в пучине, как вдруг божественный свет воссиял сверху над этим зрелищем гибели. Сквозь туман яркий луч солнца осветил скалу, поддерживающую статую Петра Великого... — в профетическом контексте мистических связей России и Польши. Ср. у Ахматовой: *И весь траурный город плыл // По неведомому назначенью // По Неве иль против течения,— // Только прочь от своих могил* («Поэма без героя», ч. 1, гл. 3). О петербургской эсхатологии в русской поэзии не раз писал Н. П. Анциферов («Душа Петербурга», «Быль и миф Петербурга», «Петербург Достоевского» и др.). Эта тема остро обсуждалась в литературно-религиозных кругах Петербурга перед революцией. Роман Андрея Белого сделал эту тему еще более напряженной.

То же ощущение неясной близости сохраняется и при обращении к поэзии Ахматовой, хотя говорить о цитировании в этих случаях было бы по меньшей мере неосторожно. Ср. в стихотворении 1943 года «А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет» *бурбонский профиль* (хотя есть мемуарное объяснение этого сравнения) — и *профиль девочки, напоминавший профили фамилии Бурбонов в «Аврелии»; Пастернака перепастерначит* — и («Маленькие замки Богемы») *en ce temps, je ronsardisais — pour me servir d'un mot de Malherbe*<sup>1</sup> (ср. тот же принцип в «бенберировании» у Оскара Уайльда); *лебеди и мертвая вода* («Одни глядятся в ласковые взоры», 1935) — и *leur eau morte que le signe dédaigne*<sup>2</sup> («Сильвия», параллель Эрменонвиль — Царское Село). В связи с невозвратимым прошлым: *vous n'avez rien gardé de tout ce passé*<sup>3</sup> — *И туда не вернусь!* («Этой ивы листья в девятнадцатом веке увяли», 1957); *В прошлое давно пути закрыты* («Эхо»,

<sup>1</sup> В это время я ронсарировал — если воспользоваться выражением Малерба'.

<sup>2</sup> Их мертвая вода, которой гнушается лебедь'.

<sup>3</sup> Вы не сохранили ничего из всего этого прошлого'.

1960) и др. В определенном смысле можно говорить и о смутных параллелях «Артемиды», одного из самых сложных и темных сонетов Нервала, с ахматовским «Так отлетают темные души» (1940). Строго говоря, весьма зыбкое сходство просматривается лишь в строках *Car es-tu, Reine, ô Toi! la première ou dernière? // Es-tu Roi, toi le Seul ou le dernier amant?...* ('Ибо ты, Царица, о Ты! первая или последняя? // Царь, ты Единственный или последний возлюбленный?..') — и «Кто ты? // Ты уж другой или третий?» — «Сотый».

Совершенно ясно, что говорить далее о подобного рода сходствах или параллелях имеет смысл лишь в том случае, когда будет поставлен вопрос о более прочных основаниях, чем только интуиция наблюдателя, сколь бы верна она ни была. За пределами мемуаров Лурье, где, строго говоря, речь идет о той же связанной с Нервалем романтической легенде, единственное надежное свидетельство «литературного» характера — эпиграф из Нервала у Ахматовой. Разумеется, не исключено, что со временем архивные изыскания прольют свет на проблему или хотя бы обозначат пути к ней.

Примеры такого рода уже были. В 1967 году Р. Д. Тищенко обнаружил прототип строфы «Поэмы без героя» у Кузмина в сборнике «Форель разбивает лед» (точно так же, как и полемику с Кузминым в теме памяти/воспоминания). В 1976 году были опубликованы воспоминания Лидии Чуковской, где засвидетельствовано, что в июле 1940 года Ахматова обращалась к сборнику «Форель разбивает лед» (в записи от 5/IX—1940 разговор об этих стихах). В книге В. Я. Виленкина (вышедшей в 1987 г.) присутствует следующий эпизод (дневниковая запись от 29 апреля 1960 года): «...я... признался, что «Поэма без героя» почему-то в чем-то всегда ассоциируется у меня с поэмой Кузмина «Форель разбивает лед»... Реакция была мгновенная и очень взволнованная: «Но ведь там об этом же, там даже часть написана моей строфой! Как это вы догадались?»

В другой работе отмечались явные переключки поэзии Ахматовой с Данте; вскоре обнаружилось, что в принадлежавшей Ахматовой антологии итальянской литературы «родственные» ей стихи Данте были особо подчеркнуты карандашом.

В книге А. Г. Наймана («Рассказы о Анне Ахматовой». М., 1989, 31) снова всплыла тема Нервала в связи с Ахматовой: «У Ахматовой таких коллажей

нет [как у Элиота.— В. Т., Т. Ц.], она вживляла цитату, предварительно перерожденную так, чтобы чужая ткань совместилась с ее собственной. Но источники у обоих были те же: Данте, Шекспир, Бодлер, Н е р в а л ь, Лафорг... И, кажется, именно с процитированной Элиотом строчки из «El Desdichado» Жерара де Нерваля она начала однажды разговор об этом стихотворении, прочла наизусть несколько строк, сняла с полки, не то вынула из ящика стола тоненькую книжку «Chimères», открыла на «El Desdichado» и сказала как бы с усмешкой: «А вот что переведите». Вскоре полустигии из этого сонета стало эпиграфом к «Предвесенней элегии»: «Тоi qui m'as consolée», с переменной грамматического рода («Ты, который меня утешил»). А. Г. Найману принадлежит неопубликованный перевод «El Desdichado».

Однако приходится считаться с ситуацией, когда такие показания отсутствуют. В этом случае возникает вопрос, насколько правомочны, т. е. насколько имеют смысл подобные сопоставления. Особенную остроту эта проблема приобретает в тех случаях, когда сходства между двумя не связанными между собой текстами, полностью исключаящими какие-либо контакты, оказываются з н а ч и т е л ь н е е (а в формальном отношении и н е с о м н е н н е е), чем сходства текстов, обусловленное бесспорным влиянием одного на другой. Нужно полагать, что все более увеличивающееся в самых разных областях культуры количество случаев, где проявляются сходства первого типа, не должно игнорироваться, хотя место анализу этих случаев — не в том разделе литературоведения, который занимается рецепцией и влияниями, и не в том, где изучается творчество отдельных писателей, но в той особой (и пока практически не созданной) дисциплине, которая посвящена структуре человеческого духа с точки зрения проявления его в сходных (и несходных) элементах культуры, прежде всего — в текстах. При таком подходе центр внимания исследователя перемещается. Его уже интересует не то, что у писателя А и писателя В (объект исследования) обнаруживаются в их текстах «сходные» элементы — соответственно  $x_1$  и  $x_2$ , но наоборот, исходным объектом должно стать X, реконструируемое на основании  $x_1$  и  $x_2$ , а А и В могут оказаться случайными носителями этого X. Иначе говоря, внимание со структуры текстов, содержащих «сходные» элементы, и с авторов в их предполагаемых взаимоотношениях переходит на структуру «тек-

стового» бытия, то есть на то, насколько весь текст его однороден или разнороден, в каких его местах возникают повторения и какие условия способствуют появлению сходств. При этом объяснение этих сходств может оставаться «формальным» (чисто типологическим), не интерпретированным, подобно некоему логическому исчислению.

Анализ подобных случаев имеет тем больший смысл, что он вносит нечто новое и в проблему бытия текста во времени, — в частности, объясняет (в известной степени) ту неслучайную «случайность», когда определенные тексты (соответственно — писатели) открываются «заново» несколько поколений спустя после их появления (при этом известно, что и в свое время эти тексты были доступны достаточно квалифицированному читателю и действительно читались, но не могли быть по тем или иным причинам соотнесены с нужными элементами структуры бытия, во-первых, и с соответствующими местами других текстов, во-вторых). Когда же в свое время непризнанные и преданные полному или частичному забвению тексты «извлекаются» из небытия, вводятся в соответствующий контекст связей, то — задним числом — появляются новые тексты (и новые писатели), которые претендуют на генеалогическую связь с этими всплывшими из забвения текстами, хотя, как правило, оказывается, что эта генеалогия фантомна: все промежуточные звенья между текстом, начинающим трактоваться как источник, и текстом, претендующим на родство с ним, отсутствуют, цель преемства оказывается не просто скрытой (латентной), но и вообще мнимой.

Подобные случаи в литературе и искусстве нередки. В последнее время появляется все больше работ, посвященных таким встречам заведомых «незнакомцев». Особенно часто речь идет о тех произведениях, направлениях (и их создателях), которые не прижились в своем времени, идя, как правило, с опережением. Так случилось и с Нервалем. Его не только переместили в число крупнейших французских романтиков (в 1950 году, как отмечает в цитированной работе Виллас): некоторые направления объявили его своим предшественником (сюрреализм, — см. манифест Андре Бретона)<sup>1</sup>. Очевидно, что

<sup>1</sup>Weitmeier G. Romantisches im Surrealismus. Eine problemgeschichtliche Gegenüberstellung surrealistischer Schriften mit dem Spätwerk Gérard de Nerval's. München, 1965.

в этих случаях речь идет не столько о **з а и м с т в о в а н и и** у Нервала, сколько о **в о з в р а щ е н и и** к Нервалю, об иной интерпретации его творчества. Иными словами, здесь происходит сознательный поиск «логических корней», создание истории направления или ее фрагмента.

В случае схождения между Нервалем и русскими поэтами-акмеистами целесообразно иметь в виду еще одно весьма важное обстоятельство: все три поэта в своем творчестве воплощают особую «сверх-традицию», прерывающуюся во времени, но, по сути, очень устойчивую. Она берет свое начало в особом отношении к слову и тексту. Ранее уже предлагалось трактовать такого рода «бессознательные совпадения» не как случайность, а как проявление самостоятельной линии в поэзии, линии, для которой нет единого названия. Представленная отдельными узкими направлениями (кларизм, акмеизм...) и отдельными поэтами, эта линия обнаруживает определенную и достаточно единую поэтическую систему, в которой элементы содержательного уровня имплицитно играют особую роль слова, цитатность, обращение к другим своим текстам и к так называемому «мировому поэтическому тексту». Эта система обнаруживается независимо у поэтов разных языковых и культурных традиций, что дает основание говорить не только об индивидуальных поэтических достижениях, но почти о саморазвитии некоего единого «наднаправления». Применительно к этому достаточно обобщенному уровню (и оставив в стороне проблему текстуальных совпадений и под.) можно указать ряд общих признаков, которые объединяют принципы творчества (конкретнее — принципы построения поэтического текста) трех анализируемых поэтов и, следовательно, объясняют некоторые бесспорные глубинные схождения между ними. Разумеется, речь идет лишь о части их поэтического наследия, обнаруживающей общие им всем черты.

Для всех трех рассматриваемых поэтов характерны: понимание корпуса их произведений как **е д и н о г о** текста; тенденция к введению в текст его же, текста, описания, то есть **а в т о м е т а о п и с а н и е** (особый аспект текста, описывающего сам себя, в том числе принципы своей собственной структуры и интерпретации; термин введен Р. Д. Тименчиком); на содержательном уровне — **а в т о о п и с а н и е**, то есть формирование собственной поэтической биографии; включенность собственного по-

этического текста в мировой поэтический текст, отсюда — широкое использование чужого слова. Эти свойства текста определяют его обучающую функцию, побуждая читателя (исследователя) к толкованию, комментированию текста, то есть к его дешифровке.

Строго говоря, эти свойства поэтики были сформулированы на основе анализа творчества Ахматовой и Мандельштама (и шире — как свойства акмеистической поэтики). Присоединение к ним Нервала основано не только на собственных наблюдениях. Существенно, что к этому же независимо приходят современные исследователи творчества Нервала, не ставящие себе иных целей, кроме проникновения в его поэтику. В определенном смысле можно сказать, что Нерваль, вернее, тексты Нервала подсказывают внимательному читателю методику анализа (или, если воспользоваться терминологией, вошедшей в обиход в связи с поэтикой Ахматовой и Мандельштама, — способы дешифровки). Само стремление к толкованию, разгадыванию Нервала было стимулировано его собственными словами о «Химерах» — инвертированным побуждением к дешифровке: *Они не более темны, чем метафизика Гегеля или «Мемории» Сведенборга; будучи истолкованы, если это вообще возможно, они потеряли бы свое очарование.* Ср. «Вместо предисловия» к «Поэме без героя»: *До меня часто доходят слухи о нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует сделать мне поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду. «Еже писах — писах».* Это решительное заявление явилось основным стимулом к толкованиям, или дешифровке, «Поэмы» — одной из наиболее актуальных тем в ахматоведении.

К этому же приему надо присоединить сбивающие с толку авторские примечания (ср. хотя бы уже упомянутое *olim Mausole?* и под.— и примечания Ахматовой к «Поэме без героя», об «игровом» характере которых говорит она сама), отсылки за пределы данного «малого» текста к своим и чужим текстам, наконец, литературоведческие штудии, дающие ключ к структуре поэтического мира поэта. В последнее время все более отчетливо формулируется мысль, что любой текст Нервала должен анализироваться в кругу всех его произведений. Это

особенно касается такого ключевого текста, как «El Desdichado», который, по мнению современного исследователя, интимно связан со всем его творчеством, так что первый подступ к анализу этого стихотворения должен состоять в том, чтобы поместить его в контекст «всего Нерваля»<sup>1</sup>. Другая актуальная тема — поиски источников-прототипов *desdichado*: «Айвенго»? (Soy Gonzalo Pizaro el desdichado); «Хромой бес»? (Don Blaz Desdichado). Ср. к этому же разные варианты перевода *el desdichado*: 'le malheureux'? 'der Verfluchte'? 'le déshérité'? («несчастный»? «проклятый»? «обездоленный»?). Отождествление персонажей «El Desdichado» — открытая и неисчерпаемая проблема, поскольку «начиная с первых стихов комментаторы расходятся во мнениях»<sup>2</sup>. Обращаясь к Ахматовой: можно напомнить, что в свое время пушкинские статьи Ахматовой (прежде всего в той их части, которая посвящена выявлению «подтекстов», скрытых цитат) послужили подтверждением использования цитат и реминисценций в ее собственных произведениях.

Претворение собственной жизни в творчество приводит к тому, что творчество начинает восприниматься (по крайней мере прямолинейным читателем) как автобиография, дневник, что может поставить автора и под некоторый удар, ср. признание Нерваля: *...я принадлежу к числу тех писателей, чья жизнь интимно связана с теми произведениями, благодаря которым они стали известны. Не становимся ли мы таким образом, сами того не желая, сюжетом прямых или замаскированных биографий?* Действительно, романтическая биография Нерваля или — что хуже — описание его как клинического сумасшедшего — результат буквального прочтения его произведений<sup>3</sup>. Конечно, без предвари-

---

<sup>1</sup> D h a e n e n s J. Le Destin L'Orphée. «El Desdichado» de Nerval. P., 1972, p. 36, 107.

<sup>2</sup> D h a e n e n s J. Op. cit., p. 18.

<sup>3</sup> Ср. особенно: Красносельский П. А. В борьбе с прозой жизни. — Русское богатство, 1900, № 12, с. 33—45; излагая исследование А. Вагине «Nevrosès» о писателях-невротиках, автор передает видения Нерваля в «Аврелии» как анализ психически больного и заключает: «За этой границей здравого смысла Нерваль уже больше не может интересовать нас» (с. 40). Печально известное «полумонахиня, полублудница» в постановлении 1946 г. явно имело в виду не только героиню, но и автора. Примечательно, что и этот образ находит параллель у Нерваля: его возлюбленная — «монахиня и актриса в одном лице».

тельной подготовки трудно определить, в чем «Путешествие на Восток» Нерваля отклоняется от жанра путевого журнала, увидеть здесь ложный маршрут, подчиненный сюжету, чтобы потом вычленил то, что произошло в действительности, то, что выдуманно, и то, что заимствовано из книг<sup>1</sup>. Это свойство поэтики, которое можно назвать «сверхбиографичностью», в крайних случаях приводит к тому, что реальная биография начинает подстраиваться под поэтическую. Это касается и любви Нерваля к Женни Колон (?) или к ее образу *Etoile morte* (?), и «Гостя из будущего» в «Поэме без героя», соотносимого с «тобой, ко мне не пришедшим», хотя реально он возник позже этих строк.

Анализ творчества Нерваля *sub specie* поэтики акмеизма (более поздняя по времени поэтика раскрывает структуру своей предшественницы) может быть продолжен, хотя последующие сопоставления при всей своей важности будут касаться более частных вопросов,— например, структуры отдельных стихотворений. В «*Autres chimères*» Нерваля некоторые сонеты являются монтажом (с минимальными изменениями) соответствующих сонетов из «*Chimères*», ср., например, соотношение между «*Delfica*», двумя «*Myrtho*» и «*A J-y Colonna*». Нередко их считают вариантами или вообще отказывают им в самостоятельности<sup>2</sup>. Между тем анализ текста по указанным выше основаниям убеждает, что для Нерваля они, безусловно, были совершенно самостоятельными (или зеркальными по отношению к «Химерам», см. вообще тему зеркала и двойничества у Нерваля). Стихи-двойчатки Мандельштама, которые он сам считал разными стихотворениями,— бесспорное доказательство того, что перед нами поэтическое новаторство, взламывание застывшей формы стиха изнутри. То же можно сказать и о «реформах» Нерваля в области сонета<sup>3</sup>. Когда он строит сонет на однокоренных или повторяющихся словах, когда резко разрывает его, противопоставляя первым одиннадцати последние три строки, перед нами тот же «*procédé de brusque transition*» ('прием резкого перехода'), который Пруст отметил в связи с категорией воспоминаний у Нерваля.

<sup>1</sup> Richer J. Gérard de Nerval. P., 1965, p. 65.

<sup>2</sup> Piron M. La composition de «*Delfica*».— *Studi francesi*, VI, № 16, 1968, p. 89—94.

<sup>3</sup> Meschonnic H. Essai sup la poétique de Nerval.— *Europe*, № 153, 1958, p. 10—33.



Примечательна существенная связь перечисленных особенностей структуры поэтического текста с его семантикой, где, в частности, они могут быть перекодированы в семантему памяти, о чем писал Валери как раз в связи с Нервалем: «Tout ce que les souvenirs imaginaires d'existences abolies lui offrent de symboles pour son expression»<sup>1</sup>. В «El Desdichado» мотив *памяти* притягивает мотивы *смерти, сошествия в подземный мир, сна; мертвой возлюбленной; отражения, двойничества, перевоплощения; поэтического откровения; связи с предшествующим поэтическим опытом* («тоска по мировой культуре»); *пассеистических размышлений* и т. д. Семантическая наполненность столь велика, что на нее едва хватает слов стихотворения: каждое полнозначное слово не только является отдельной семантемой, но создает самостоятельное семантическое поле, взаимодействующее с другими семантическими полями (откуда — неопределенность, амбивалентность смыслов).

Эти и другие особенности способствуют созданию семантически особо вязкого текста, где все связано друг с другом по смыслу и, следовательно, отсылает к структуре самого бытия. Однако цель этой заметки существенно уже: показать, что именно «El Desdichado» стал той если не единственной, то наиболее важной страницей, на которой раскрылся Нерваль для русской поэзии<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Valéry P. Souvenir de Nerval.—In: P. Valéry. Oeuvres. I. P., 1957, p. 595. Все то, что воображаемые воспоминания об исчезнувших существованиих предоставляют ему в качестве символов для своего выражения.

<sup>2</sup> Отдельная проблема — соотношение прозы и поэзии у Нерваля и Мандельштама (отчасти и Ахматовой), сама проблема «прозы поэта» как особой художественной формы, преодолевающей некоторые шаблоны обычных прозаических схем. Возвращаясь к теме трех поэтов: Н. Я. Мандельштам (\* Вторая книга. М., 1990, с. 97—98) пишет, что Ахматова в разговорах нередко обращалась к теме Нерваля; здесь же — сомнения относительно связи образа «черного солнца» в стихах Мандельштама с этим же мотивом у Нерваля.

---

## Т. Л. Ершова

К. Г. ЛОКС

История литературы знает немало примеров, когда о творчестве талантливого человека незаслуженно забывали. Такая участь постигла и Константина Григорьевича Локса — замечательного литературоведа, критика, переводчика, педагога.

Он родился 24 февраля (по новому стилю) 1889 года в небольшом городке Сураж, ныне входящем в состав Брянской области. Отец его, Григорий Иванович, был земским врачом, а мать, Фридерика Вильгельмовна, занималась воспитанием детей. Она хорошо знала и любила литературу, искусство (особенно музыку) и старалась привить эту любовь детям.

Локс учился в Смоленской гимназии и окончил ее в 1907 году. Сразу после окончания учебы он поступил на юридический факультет Московского университета, проучился там два года и перевелся на историко-филологический. В 1913 году он окончил университет и начал преподавать в гимназии. Параллельно началась и его литературная деятельность: в недолго просуществовавшем журнале «София» была напечатана статья об Апулее. Тогда же он начинает сотрудничать в журнале «Современник», куда его вместе с С. П. Бобровым и Б. Л. Пастернаком пригласил заведующий критическим отделом этого журнала Е. Г. Лундберг.

В 1918—1921 годах он преподает в своем родном городе, потом возвращается в Москву и становится ученым секретарем Главнауки при Наркомпросе. Одновременно читает курс теории прозы в Высшем литера-

---

К 100-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака издательство подготовило: Собрание сочинений в 5-ти томах, «Стихотворения и поэмы» («Классики и современники»).

турно-художественном институте, основанном В. Я. Брюсовым. В 1927—1929 годах был доцентом этнолого-лингвистического факультета МГУ. В 1929 году он переходит в Московский областной пединститут, в 1932-м становится профессором ВГИКа, а с 1937 года и до конца жизни Локс был профессором ГИТИСа. Преподавал он и в Литературном институте (1943—1945), был литературным консультантом горьковской серии книг «История фабрик и заводов».

Умер он 13 декабря 1956 года после тяжелой болезни сердца.

Несколько поколений студентов разных московских вузов запомнили его как замечательного преподавателя, читавшего лекции на высоком научном уровне и очень привлекательно внешне. О степени глубины литературоведческого и критического анализа в его лекциях мы можем составить себе некоторое представление, читая многочисленные статьи и рецензии Локса. Начиная с двадцатых годов он очень активно печатается в крупнейших советских журналах — «Печать и революция», «Новый мир», «Красная новь», «Литературный критик», «Литературная учеба» и др. Замечателен диапазон его творческих интересов: от Апулея до Пруста, от Горация до Хемингуэя, от Пушкина и Толстого до Хлебникова и Пастернака. Его статьи и рецензии выделялись не только точностью наблюдений и тонкостью анализа, но и были превосходно написаны. Следует вспомнить, что именно Локсу принадлежит одна из самых замечательных рецензий на сборник прозы Б. Пастернака, в которой удивительно точно описана художественная природа повести «Детство Люверс»: «Человек медленно прорастает сквозь дремучую толщу мира, его на каждом шагу окружают неслыханные чудеса, очень, впрочем, обычные, — улыбка матери, сияние звезды и более прозаический свет лампы. Сквозь все это он, удивляясь, называет свое собственное имя и находит имена для окружающего. Этот момент нахождения имени или слова и есть начало того, что мы называем прозой или поэзией. Вот еще в каком смысле перед нами исповедь художника, погрузившегося в глубоко первобытную, почти дословесную жизнь ощущения, первого испытания» («Красная новь», 1925, № 8, с. 286—287).

Мастерство прозаика, чаще всего выливавшееся в создание критических и литературоведческих статей, позволяло Локсу быть блестящим переводчиком фран-

цузских классиков. Особенно тесное сотрудничество связывало его с издательством «Художественная литература», где он выполнял функции не только переводчика, но и редактора, автора вступительных статей и комментариев. К числу лучших его переводов относятся романы Бальзака из цикла «Человеческая комедия».

Но особый интерес для сегодняшнего читателя представляет «Повесть об одном десятилетии», писавшаяся Локсом в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания, посвященные небывало насыщенному в истории России и русской культуры десятилетию 1907—1917 годов, Локс создавал, обращая память к годам своей юности, используя старые записи, сделанные им в разгар другой, еще первой мировой, войны. Как часто бывает с воспоминаниями, «былое» в них тесно переплелось с позднейшими «думами», запавшие в юношескую душу и записанные по горячим следам факты — с оценками умудренного жизнью и проработавшего много лет в литературе человека. Однако, несмотря на явственно видные позднейшие инкорпорации, «Повесть...» вполне можно назвать документом своего времени, интереснейшим и ценнейшим документом.

Его ценность и наш интерес прежде всего объясняются тем, что период, описываемый в ней, круг изображенных на ее страницах лиц необыкновенно притягательны для людей конца восьмидесятых годов.

С. Аверинцев писал: «В истории русской литературы после пушкинских времен едва ли есть другой период, настроение которого стало бы для нас таким чужим и далеким, ушло бы в прошлое так невозвратно, как вовсе не так уж давняя волна декадентства начала века». Пристальный интерес к этой полной загадок эпохе делает вполне объяснимым внимание к любому мемуарному источнику, а тем более столь неординарному, как «Повесть об одном десятилетии».

По характеру изложения — это исповедь, в которой со всей откровенностью и искренностью автор рассказывает о себе, своих исканиях, сомнениях, обретениях, точно и ярко описывает события, свидетелем которых стал. Главное в «Повести...» — не описание, а воспроизведение духовного и интеллектуального состояния того круга общества, к которому принадлежал Локс. На наших глазах у героя «Повести...» происходит формирование представлений об искусстве, выявляются особо значимые аспекты его эстетической позиции, выраба-

тываются собственные приемы художественного анализа. Поэтому сюжет книги Локса складывается в большей степени из движения, развития и смены мысли, а не из описания внешних связей дорогих для мемуариста событий (хотя она имеется и может быть прослежена).

Особое место в «Повести об одном десятилетии» занимают рассказы о людях, в общении с которыми накапливается эрудиция, нащупываются жизненные ориентиры и, в конечном итоге, художественные воззрения автора. Среди них особое место занимает Б. Л. Пастернак. Локсу и Пастернаку трудно было не встретиться. Оба они учились на философском отделении историко-филологического факультата, оба жили поэзией, искали ответы на вопрос о смысле жизни в философии, черпали жизненные ценности из одного и того же источника, называвшегося символизмом. Не только тесная дружба, но и подлинное духовное родство объединяло этих двух людей. Об этом свидетельствуют сохранившиеся письма Пастернака к Локсу (хранятся в семейном архиве Б. Пастернака). Примечательно письмо от 16 октября 1916 года: «...Большим облегчением для меня было узнать о Вас с чужих слов — Вы недоумеваете? Объяснюсь. Странное место занимаете Вы в моей душе. Вы ближайший сосед моему воображению, а оно настроено, вообще сказать, трагически. Ах, Вы должны понять это. Любой беспокойный вымысел на Ваш счет дается мне с той же легкостью, с какой рождаются такие фантазии относительно близких людей».

Пастернак очень считался с мнениями Локса, прислушивался к его замечаниям, справедливо видя в нем тонкого знатока литературы. В письме от 27 января 1917 года читаем: «Спасибо Вам, Костя. Я многим обязан Вам. Вы это знаете <...> Вы очень верно выделили в «Барьерах» существеннейшее их начало — дифирамбическое. А Ваши слова о «развернутых голосах трагедии» бьют в больное как раз мое место. Принимаю я их как редкостное, чуткое и щедрое понимание». Е. Ф. Кунина вспоминает, что однажды в разговоре с ней, указывая на стоящего рядом Локса, Пастернак сказал: «Вот человек, который первый понял мои стихи».

Близкое общение с Пастернаком помогало Локсу видеть рождение стиха, а потому становились яснее и принципы его анализа. Вместе с поэзией Пастернака к Локсу приходит ясное понимание искусства как выражения прежде всего личного, индивидуального опыта.

Теоретически это можно сформулировать как проблему соотношения духовной биографии поэта и его творчества. Эту мысль Локс с присущей ему яркостью формулирует в «Повести...» так: «Поэт не может безнаказанно родиться именно в такое, а не другое время, не может безнаказанно читать те или другие книги или разделять те или другие вкусы. Скажут — это относится ко всем людям без исключения. Согласен. Но все люди не отвечают ни за год своего рождения, ни за книги, которые очаровывают их. Поэт отвечает, и в этом его счастье или его трагедия».

На таком представлении об искусстве основываются многочисленные и часто блестящие анализы ранних стихотворений Пастернака, вошедшие в «Повесть об одном десятилетии».

Особое внимание привлекает уже упоминавшаяся рецензия на сборник прозы Пастернака. Кстати, сам Пастернак называл Локса человеком, научившим его писать прозу. И в критической манере Локса он видел не только теоретическую ценность, но и писательскую его манеру. В одном из писем (13 ноября 1917 г.) он писал: «Отчего не заканчиваете Вашего «Катехизиса Небезразличного в искусстве»? Верьте мне, это очень хорошая книга: ее непременно надо закончить и издать: она сплошь существенна, нагнетена, лаконична. Вы находите в ней краткие прекрасные формулы и определения для многого такого, что сейчас до неузнаваемости затемнено символической фразеологией, и то не по вине ее касательства до всех этих тонкостей».

Описание взаимоотношений с Б. Пастернаком, анализ его ранней поэзии представляют особый интерес в «Повести об одном десятилетии». Однако опубликование ее полностью — дело будущего. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей отрывки из первой части «Повести...», в которых речь идет о первом знакомстве Локса с Б. Пастернаком и о том литературном и историко-культурном фоне, на котором это знакомство произошло. Публикуемые фрагменты начинаются с рассказа о средах у Е. И. Боричевского, в будущем — известного историка искусства, куда, помимо автора, были вхожи поэт Юрий Ананьевич Сидоров (1887—1909) и земляк Локса Леонид Алексеевич Л-ч (подлинная фамилия нам неизвестна), которому на предыдущих страницах дана такая характеристика: «Л. А. Л-ч был очень похож на Станкевича, иногда, мне казалось, на

Ап. Григорьева — одним словом, он был бы уместен в говорильне 40-х годов. Мы вместе учились в Суражской гимназии, он был на три класса старше меня».

Воспоминания К. Г. Локса печатаются по машинописи, хранящейся у Е. Ф. Куниной, сверенной с материалами Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина и семейного архива Б. Пастернака.

## К. ЛОКС

### ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ

(...) В ноябре вдруг неожиданно появился Л. Ал. — Куда ты пропал? — спросил он, как-то особенно взглянув на меня.

Я знал, что обозначает этот взгляд. Ему было стыдно или неловко, — внезапно оборвав отношения со мной, он теперь хотел свалить вину на меня и не знал, как это сделать. Разговор на эту тему, впрочем, продолжался недолго. Л. А. сразу перешел к делу.

— Вот что, — сказал он, — Евгений Иванович открывает у себя прием по средам. Будем пить чай и разговаривать.

— Почему по средам?

— В память сред Малларме, разумеется, — ответил, улыбаясь, Л. А.

С этих сред началось наше взаимное литературно-философское образование. Бывали, собственно, мы троим, довольно часто появлялся Юрий Ананьевич, философ Топорков, Ходасевич. Но как-то вышло само собой, что по складу ума мы трое были ближе всего друг другу.

Теперь мне нужно сказать подробнее об этом. Боричевский, так же как и мы, занимался литературой и философией. По призванию он считал себя философом, но свободным, вне школ и направлений. Ученик Зиммеля, он выработал у себя ту гибкость ума и тот скептицизм, который менее всего был уместен для академического изучения философии. К кантианству он чувствовал отвращение и любил таких мыслителей, как Ларошфуко, Паскаль, Ницше, у русских Шестова.

(...) Мы все попали с философией в довольно трудное положение. Она удовлетворяла нас только там, где превращалась в литературу, в какую-то исповедь неза-

висимого ума. Самое слово «истина» звучало для нас только как индивидуальное открытие, как нечто, найденное во внутреннем опыте. Поэтому вполне естественно, что Боричевский, хотя и сделал над собою некоторое насилие и написал работу, кажется о Гартмане, и получил за нее золотую медаль и был оставлен при университете, довольно быстро после окончания курса перешел целиком на литературу.

Но возвращаюсь к средам. Они, как я уже упоминал, были учреждены в память сред Малларме. Это, однако, не значит, что мы принимали его теории. Малларме пленял тем, что жил мечтой и в смысле поэтическом относился к действительности приблизительно так, как высшая математика относится к арифметике. А из его произведений нам больше всего нравились три стихотворения в прозе. Боричевский был в упоении от той строчки: «*La grâce des choses fanées*». Он долго старался найти подходящее русское выражение — но увы, «краса поблекших вещей» не звучала так. Вероятно, нужно было сказать — «прелесть всего увядающего», ибо «*grâce*» по-французски вообще обозначает некое бытие и может быть передано на нашем языке каким-нибудь бытийственным признаком.

Ю<рий> А<наньевич> вряд ли мог так возиться с каким-нибудь отрывком западного писателя, он был славянофил. Любил К. Леонтьева, считал себя православным и, как мы узнали после его смерти, готовился надеть священническую рясу. Все это у него сплеталось с обаянием настоящей культуры, которую нужно носить в крови и нельзя купить ни за какие деньги. Не соглашаясь с ним, мы поддавались этому обаянию, слушали его прелестные стихи и ждали от нашего друга многого, хотя не было человека более праздного, чем он. Но в этой праздности было какое-то очарование, ведь искусство ничего не делать — одно из самых трудных. Большинство незанятых людей нестерпимо скучны и сами не могут выдержать своего безделья. Если сказать, что он писал стихи и очаровывал блеском своего ума, то этого будет еще слишком мало для обозначения сути такого безделья. В кармане студенческой тужурки Л. А. носил томик дешевого суворинского издания Пушкина. Пожалуй, в чтении Пушкина и заключалось его безделье. Оно было именно таким, какое нужно поэту. Вместе с тем, я со времени его смерти не встречал собеседника более очаровательного. Дело было даже не в уме, а в



способе рассматривать вещи и увлекаться всевозможными и часто противоположными мыслями. Он любил бывать у нас на средах, хотя вокруг него были люди, несогласные с ним. Вот он сидит в кресле и, слегка закинув голову, читает:

Блистательна, полувоздушна,  
Смычку волшебному послушна,  
Толпою нимф окружена,  
Стоит Истомина, она,  
Одной ногой касаясь пола,  
Другую медленно кружит,  
И вдруг прыжок, и вдруг летит,  
Летит, как пух от уст Эола,  
То стан совет, то разовьет  
И быстрой ножкой ножку бьет.

Последние строки он читает, полузакрыв глаза, с выражением блаженства на лице. Я понимаю его, ведь он из числа тех, про кого тем же Пушкиным сказано:

Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

Однажды в назидание Е. И., когда шел спор о назначении поэта, он прочел ему эти строки. Подлинного поэта всегда узнаешь по этому признаку: если сладкие звуки, хотя бы о танцовщице, приводят его в экстаз, он поэт чистой пробы. Вздыхнув и лукаво посмотрев на нас, он продолжает: «Знаете, какие строки я нашел у Пушкина:

— Что козырь? Черви — мне ходить.  
Я бью — нельзя ли погодить?  
— Беру, кругом нас обыграла!  
Эй, смерть, ты, право, сплутовала.  
— Молчи, ты глуп и молоденец,  
Уж не тебе меня ловить.  
Ведь мы играли не из денег,  
А только б вечность проводить».

Последние две строки он произносит подчеркнуто, с особой интонацией. Это камешек в наш огород: «Ну-ка, что скажете, философы?» Я тотчас парирую его:

— Если уж речь зашла о вечности, то можно вспомнить и такие строки:

Мой бедный Ленский, за могилой  
В пределах вечности глухой.

Юрий Ананьевич доволен и смеется — он всегда рад, когда ему платят полноценной монетой.

— «Вечности глухой», — повторяет он. — Как хорошо! Какая точность! — И, как бы спохватившись, добавляет: — Вот и разгадайте Пушкина.

Разговор постепенно принимает неопиcуемый характер. Два часа ночи, все стоят. Евгений Иванович, держа Сидорова за пуговицу тужурки, резким и пронзительным голосом доказывает, что истина множественна и что именно поэзия доказывает эту множественность истины: политеизм, а не монотеизм — вот настоящая религия. Между тем пора расходиться, но никому не хочется. Какие-то мысли еще бурлят, еще требуют продолжения. Улыбаясь, Е. И. надевает пальто и кладет ключ от квартиры в карман. Это означает, что мы идем провожать Ю. А. Он живет на Сенной площади, в доме Мишке. От Глинищевского переулкa туда далеко, но это никого не смущает. Для кого же дана ночь, как не для нас, вольных бродяг, рыцарей духа? К тому же Москва в ночные часы безлюдья так хороша! Легкий мороз, снежинки, извозчики, прикорнувшие на козлах, тишина, свежесть, уют. Мы идем по бульварам, сворачивая на Арбате, и вот мы у цели. Разговор вполголоса не умолкал ни на минуту, еще рано расставаться, времени сколько угодно. Боги помогают нам: у самой квартиры Ю. А. на Сенной площади — ночная чайная. Место приветливое и знакомое. Вваливаемся туда и занимаем столик. Вокруг извозчики, неведомый ночной люд. Эти люди очень оживленны. За каждым столом горячий разговор, иногда «крылатые слова». Их души нараспашку. Мчащийся, как вихрь, половой ставит перед нами два больших чайника с синими разводами, чашки, калачи, баранки.

— С лимончиком прикажете?

— Да, да, обязательно.

Ю. А. любит чай, пьет его истово и долго. И тогда рождаются самые блестящие мысли. На этот раз, по какой-то логике внутренних скрещений, заговорили о Ренане и Бодлере.

Ренан — понятно. Ю. А. был удивлен, прочитав у Ренана о всеобщем воскрешении из мертвых. Воскрешение было сомнительное, но оно подразумевало восстановление всей мысли человечества в какие-то бесконечно далекие времена. Фантазируя на эту тему, пришли к Бодлеру, вернее к его отчаянию, нашедшему выраже-

ние в столь великолепных стихах. О Бодлере заговорил Л. А., вероятно желая противопоставить его ренановскому легкомыслию.

— Как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык! — говорил Ю. А., — как бы он зазвучал!

— Однажды он уже зазвучал в одном гениальном переводе, — возражает Л. А.

И я кругом глубокий кинул взгляд  
И увидел с невольною отрадой  
Преступный сон под сению лалат,  
Корыстный труд пред тощею лампадой  
И страшных тайн везде печальный ряд;  
Я стал ловить блуждающие звуки,  
Веселый смех — и крик последней муки:  
То ликовал иль мучился порок!  
В молитвах я подслушивал упрек,  
В бреде любви — бесстыдное желанье!  
Везде обман, безумство иль страданье.

— Да, квинтэссенция Бодлера, — говорит пораженный Ю. А. — Однако откуда это?

— Вот именно — откуда? Это из «Сказки для детей» Лермонтова.

Пораженные и обрадованные, умолкаем.

— Любопытно, — продолжаю я, — что Бодлер знал Лермонтова, хотя Лермонтов не знал Бодлера. В записной книжке Бодлера есть строки — «Русский поэт Лермонтов».

— Как же, ведь Монго-Столыпин перевел «Героя нашего времени» на французский язык и в 40-х годах напечатал свой перевод в какой-то парижской газете.

Щегольнув друг перед другом неожиданной эрудицией, требуем второй чайник и, продолжая в том же духе, слышим голос полового, предупреждающего, что чайная закрывается в 6 часов утра. Делать нечего, пора и по домам.

Так проходило время осенью и зимой 1908 г. Оно ознаменовалось, между прочим, «выходами в свет», как мы тогда называли наши вылазки в «Общество свободной эстетики», и на заседания «Религиозно-философского общества имени В. Соловьева». «Общество свободной эстетики», тесно связанное с издательством «Скорпион», занимало одну из комнат «Литературно-

художественного кружка» на Большой Дмитровке (дом Вострякова) и представляло собой сборище праздных людей, имевших самое разнообразное отношение к литературе. Здесь бывали дамы московского полусвета, молодые поэты и старые литературные волки. Читались стихи, иногда, очень редко, доклады. Я бывал здесь в надежде увидеть Валерия Яковлевича. Его супруга, Жанна Матвеевна, в этом обществе была неизменной, как мне кажется, распорядительницей. В те вечера, когда ее не было, В. Я. появлялся не один. Рядом с ним была молодая женщина, внешность которой нельзя было определить ни в положительном, ни в отрицательном смысле: до такой степени ее лицо сливалось со всеми особенностями фигуры, платья, манеры держаться. Все было несколько искусственное, принужденное, чувствовалось, что в другой обстановке она другая. Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. «Русская Кармен» назвал ее кто-то. Не знаю, удачно ли было это название. Это была Нина Петровская, жена присяжного поверенного С. Соколова, издателя «Грифа» и поэта. Его книга стихов «Летучий Голландец» вызвала взрыв хохота. Сам Соколов-Кречетов (литературный) псевдоним) был отшлифованный московский саврас. Валерий Яковлевич рядом с Н. П. был сумрачен и хорош. Он держался строго и важно, и каждое его движение свидетельствовало о полной недоступности и замкнутости в себе. Это был суровый и сильный человек. Так при первом взгляде казалось мне. Его демоническая замкнутость казалась недоброй, у него не хватало какой-то благожелательности. Это придавало ему законченность. Он, конечно, держался соответственно своей роли трагического поэта, вступившего на высоты, недоступные для обыкновенных смертных:

Я взойду при первом дне  
Хохотать к зубцам на выси,  
И в ответ завторят мне  
Неумолчным смехом рыси.

Мраком мир не скован,  
После ночи — свет,  
Тем, кто коронован,  
Доли лучшей нет.

Казалось, Марк Антоний, Клеопатра, все те, кому он посвятил отлитые из бронзы стихи в «Венке» (какое название!), толпятся вокруг него. Это был зенит его самоутверждения и славы. Все эти соображения я как-то высказал Е〈вгению〉 И〈вановичу〉.

— Вы ошибаетесь,— сказал он, сверкнув глазами,— у В. Я. есть какая-то светлая точка, которой не знает никто. Это воин, положивший руку на голову ребенка.

После смерти В. Я. я имел случай убедиться в правильности этих слов.

Позднее, когда В. Я. умер, Жанна Матвеевна доверила мне письма Н. П. к нему. Эти письма — вопль истязуемой женской души. Где кончались истязания и начинались самоистязания — судить не берусь. Там были: любовь, периоды разлуки, женские мольбы. За всем этим отдельные строки, свидетельствующие о том, что она ему изменяла. В конце концов они разошлись, и участь ее была трагична. Приняв за границей католичество и имя Ренаты (героини «Огненного Ангела»), она стала монахиней и в конце концов покончила с собой. Н. П. написала небольшую книгу рассказов «Sanctus Amog», где изображены перипетии этой любви. Почему он ее бросил? Я не сомневаюсь, что с его стороны это была сильная страсть. Может быть, разрыв дорого обошелся ему. Ж. М. утверждала, что Нина погубила его. Она, по ее мнению, приучила В. Я. к морфию. Может быть. Но разве дело в этом? Хотя, может быть, все обошлось гораздо проще. Не надоела ли она ему своей женской требовательностью, своими дурными привычками? Может быть, он почувствовал, что ему нужно бежать, спастись из этих объятий ведьмы и в то же время обыкновенной женщины. Такие женщины становятся жалкими, когда их тирания кончается, тогда они подкупают своей беспомощностью, которую прекрасно умеют усиливать. Но, по-видимому, В. Я. не поддался этому испытанному средству.

Возвращаясь к «Обществу свободной эстетики» должен сказать, что оно не оправдало своего названия. Это было проходное место, где действительно появлялись все: довольно хорошо обставленная гостиная, где флиртовали и читали стихи. Иначе приходится говорить о «Религиозно-философском обществе Вл. Соловьева». Не знаю, в каком году оно было основано, но его общественная деятельность началась в 1907—8 г. Во

главе общества, за исключением Рачинского, стояли «веховцы» или, во всяком случае, люди, близкие «Вехам».

Общество устраивало открытые заседания, но гораздо чаще закрытые, куда вход был по повесткам. М. К. Морозова любезно предоставила обществу гостиную своего особняка, сначала на Воздвиженке, а потом в Мертвом переулке. Цель общества заключалась в защите и развитии религиозной мысли. Но наполовину оно было литературным. Общий его стиль — смесь философии, допустим — В. Соловьева, символизма и собственных домыслов довольно разных людей, предлагающих на обсуждение свои доклады. В декабре 1908 года «Рел.-фил. общество» устроило публичную лекцию Мережковского о Лермонтове. Огромная аудитория Политехнического музея была переполнена. Маленькая и пухленькая фигурка Мережковского как-то потерялась за столом рядом со слоноподобным Е. Трубецким, сидевшим с видом вершителя судеб. Содержание лекции известно — она напечатана в полном собрании сочинений Мережковского. Любопытны были прения. Нападал на Мережковского и Лермонтова одновременно кн. Трубецкой. Возражения князя заключались главным образом в том, что Лермонтов написал «Героя нашего времени», вещь, по его мнению, автобиографическую. Он не одобрял этого произведения. Оно, без сомнения, было безнравственным. Худенький и прыгающий А. Белый дал князю отпор и наговорил ему много неприятных вещей. По окончании лекции Мережковский, как-то спустив руки вниз и всей своей фигурой выражая отвращение, исчез в дверях, а прочие недоуменно разошлись по домам. Лекция, по существу, была не о Лермонтове, а о религиозном действии. Учув опасность таких признаков, кн. Трубецкой и напал на лектора. А. Белому, все время мечтавшему о том, чтобы вылететь в трубу к небесам вместе со всем человечеством (см. его «Апокалипсис в русской поэзии»), князь уже давно был неприятен. Кн. Е. Трубецкой, профессор Московского университета по кафедре «энциклопедия права», был и не умен, и не оригинален. К Господу Богу он, по моему, относился вполне по-домашнему. Без Господа не может быть полного благоустройства, вроде бессмертия души, воскрешения из мертвых и т. п. Позднее князя называли «мировоззрением в красках»: под таким заглавием он написал книгу о русской церковной живописи.

Лермонтов вообще доставлял много хлопот «Рел.-фил. обществу». Приспособить его просто в качестве религиозного поэта было трудновато, отсюда особый окольный путь Мережковского, который, впрочем, увлекся и заехал не туда, куда следует. Но в самом деле, как быть? Лермонтов написал «Ветку Палестины», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», «Выхожу один я на дорогу», «По небу полуночи» (с этого стихотворения и начал свою лекцию Дмитрий Сергеевич). Но закончил все «Героем нашего времени», то есть, по выражению Достоевского, «показал язык». Помню баранью физиономию С. Н. Булгакова, который, разговаривая со мной о Лермонтове (уже позже), — в раздумьи сказал: «Богородица у него, несомненно, была». Не говоря уже о том, что стилистика этого предположения неприлична, неизвестно, что из него следовало.

Дальше всех в этом отношении пошел отец Сергей Дурьлин, читавший как-то доклад о Лермонтове, где с пафосом восклицал — «раб божий Лермонтов» и т. п. (...)

В хмурый январский день, вернувшись в Москву, в проезде Кудринской площади, возле церкви Покрова Божьей Матери, ныне не существующей, я встретил Л. А. и Огнева. Увидев меня, они остановились. «Вот что, — сказал Л. А., — Сидоров умер. Панихида завтра в храме Христа Спасителя в 12 часов». Не помню, что я ответил ему; я бросился бежать, не понимая происшедшего.

Ю (рий) А (наньевич) умер в Калуге от дифтерита. Эта смерть и сейчас кажется мне нелепой и невозможной. Правда, наряду с Пушкиным мысли Ю. А. привлекал Гоголь, так часто заглядывавший по ту сторону земного бытия. Он всегда помнил о смертном часе, и, быть может, сознание кратковременности своей жизни влекло его к «тайнам вечности и гроба». Быть может, его утверждающее мировоззрение было утверждающим вопреки какому-то внутреннему опыту, мало известному нам.

В темном приделе храма Христа Спасителя служили панихиду. Присутствовал философский семинарий историко-филологического факультета. Кажется, в январской книге «Русской мысли» была напечатана рецензия Ю. А. на легкомысленную и вздорную книжку Чулкова «Покрывало Изиды». Покрывало он приподнял и показал, что за ним скрывается полное невежество ав-

тора. Нам передавали, что В〈алерий〉 Я〈ковлевич〉, прочитав эту рецензию, сказал: «Вот человек, который нам нужен». Довольно скоро кн-во «Альциона» издало сборник его стихов, изящных, грациозных и зачастую глубоких. В памяти его друзей остался его образ, запечатленный той духовной красотой, которая отличает избранных. 〈...〉

---

В одну из декабрьских сред того же 1908 года мы были приятно удивлены, увидев у Е〈вгения〉 И〈вановича〉 незнакомую нам девушку. Обычно женщины на среды не приглашались, на этот раз по каким-то соображениям он сделал отступление. Как раз накануне я заходил к нему по какому-то делу и увидел, что он настроен довольно легкомысленно. На столе лежал томик Кузмина, и, расхаживая по комнате, он вслух прочел мне несколько строк:

Над высокою осокой серп серебряный блеснит,  
Ветерок, летя с востоку, вашей шалью шелестит...  
Мадригалы вам не лгали, вечность клятвы не суля,  
И блаженно замирали на высоком нежном «ля».

В ту пору Кузмин нашумел своими прелестными «Александрийскими Песнями». Заговорили об эллинизме, а кстати и о французском 18-м веке. Связующая нить была: пастораль эллинистической эпохи, живопись Ватто как-то перекликались друг с другом. Пленительные сны легкомысленного века и очаровательные приключения, о которых мы знали по книгам, вдруг ожили в «Сетях». Нам нравилось это исключение из общего правила символизма. Легкость жизни, по мнению Е. И., должна была завершить самую глубокомысленную философию отчаяния. Как-то, разговаривая о Пушкине, он сказал: «Поэзия Пушкина — это райский грех, на который сам Господь Бог смотрел сквозь пальцы». Сохраняю этот прелестный афоризм в назидание всем бывшим и будущим пушкинистам. Я тотчас связал все эти настроения моего друга с незнакомкою в красной шапочке, сидевшей так, как будто она тотчас собиралась уйти. Е. И. встретил ее на каком-то вечере, заинтересовался, как он потом пояснил, ее разговором и пригласил к себе. Так началось новое знакомство, ознаменовавшееся впоследствии длительной дружбой и новым кругом



людей. Вера Оскаровна была своего рода амазонкой и покорительницей сердец. Она училась на философском отделении В〈ысших〉 Ж〈енских〉 К〈урсов〉 и была au courant всех интересов эпохи. Тут был и символизм, и религиозно-философские искания, и даже Кант, все вперемежку, все вместе, но именно этот сумбур и делал ее занимательной. Обожая всякого рода экстравагантности, она иногда ходила дома в коротких штанишках, и вообще отличалась мужскими замашками. Поэтому А. Белый, в которого она была влюблена, называл ее не Станевич (ее фамилия), а Штаневич. Л. А., жаждавший женского общества, тотчас влюбился и стал приходить по вечерам на ее квартиру. Е. И. относился к новому знакомству иначе. У него был тот зоркий взгляд, который сразу отличит настоящее от поддельного. Назвав В. О. «занятой» и поболтав с нею несколько раз, он предоставил ее нам, каждый раз насмешливо улыбаясь, когда мы сообщали о тех или других происшествиях, связанных с ней. Но однажды он отозвался о ней очень сурово. Заинтересованный, я попросил разъяснений. «Видите ли, — сказал он, — я никогда не доверял А. Белому». — Он, конечно, не доверял ему, как человек хорошего вкуса и строго воспитанной философской мысли. А. Белый никогда не давал себе времени додумать до конца свои мысли о символизме, в чем и признался потом (см. «На перевале»). У него была перевернутая вверх ногами логика. Ее заменяли образ, догадки, какое-нибудь внутреннее озарение. К сожалению, у мысли есть свои непреложные требования. Стараясь приспособить неокантианство и Ницше на защиту своих откровений — он прежде всего выдал чрезвычайно простую тайну — ни Когена, ни Риккерта, ни даже Ницше он не прочел как следует. Его больше всего пленил «Заратустра» — основа религиозной мистики той эпохи. Сумасшествие Ницше тоже было истолковано определенным образом как образ «Распятого». Но все это было пустяками по сравнению с тем, что А. Белый этого периода пытался сделать в области более ему близкой, в поэзии и романе. Самая сильная книга этого времени, без сомнения, «Пепел» — по крайней мере она отличается подлинным своеобразием. Но что сказать о «Кубке метелей», этой бессильной и бессвязной эротической мистике, или мистической эротике (называйте как хотите)? Сначала кажется, что она звучит в одной тональности со «Снежной маской» Блока, вышедшей чуть

ли не одновременно, но Блок сразу учуял истинный смысл этой книги, то есть подмену подлинного опыта словесностью в самом плохом «символическом» смысле этого слова. Известен его отзыв об этой книге. Блок сказал, что она глубоко враждебна и чужда ему. <...>

Оставив А. Белого в покое, мы продолжали заниматься своим делом, то есть осуществлять идеал философов во вкусе античности. Академическая философия, в том числе — и прежде всего — неокантианство, в наших глазах была до конца скомпрометирована. Вместо подлинных проблем — логическая паутина. Подлинная проблема философии — человек и жизнь. Паскаль, Монтень, Ларошфуко — вот философы. Вопрос заключался прежде всего в том, как учиться мыслить, исходя из опыта. Здесь подстерегала опасность так называемого эмпиризма, который неизбежно приводил в объятия Спенсера, Милля и др., желающих ограничить философию регистрацией и обобщением. К этому времени взрывчатая мысль, отвергающая все обычные способы философствовать, была явлена Ницше. Е. И. внимательно читал его и, как мне кажется, был обязан ему основным направлением ума. Ницше — прежде всего свободный и дерзновенный мыслитель. Я говорю, конечно, о Ницше — авторе «Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука», вообще тех книг, которые были написаны между «Рождением Трагедии» и «Заратустрой». То есть Ницше-пророк, Ницше символистов для нас не существовал. Основная добродетель мышления — подозрительность, так утверждал Ницше в свой лучший период. Это означает, что философия — это разоблачение сокровенного. Все, что загромождено общепринятым, традиционным, догматами, тяготеющими над нами неприкосновенными истинами, должно быть найдено и облачено в ясные и точные понятия. Таким образом, метод философии — анализ. Но результат этого анализа немислим без предшествующей интуиции. Значит — нужно уметь видеть. «J'ai vu les choses», — сказал Стендаль, один из учителей Ницше. Все это приводило к искусству, в частности к поэзии. И мы учились читать стихи. Вот почему для нас особый интерес представлял В. Брюсов.

Где я последнее желанье  
Осуществлю и утолю?  
Найду ль немислимое знание,  
Которое, таясь, люблю?

Приду ли в скит уединенный,  
Горящий главами в лесу,  
И в келье бред неутоленный  
К ночной лампаде понесу?

«Немыслимое знание» — вот, в конце концов, цель и философии, и поэзии. Отсюда:

Из жизни бренной и случайной,  
Я сделал трепет без конца,  
Мир создан волей мудреца.

Е. И. восхищался этими строками и полагал, что в них — завет нашему поколению. Однако:

Всё каменной ступени,  
Все круче, круче всход,  
Желанье достижений  
Еще влечет вперед..  
И лестница все круче,  
Не оступлюсь ли я,  
Чтоб стать звездой падучей  
На небе бытия?

Таким образом, безмерность желания и ограниченность человеческих сил — неизбежный результат всякого дерзновения. Ницше заплатил сумасшествием и манией величия за слишком грандиозный размах своей мысли. Но нужно дерзать, нужно познавать, ибо «есть высоты, по которым не ступала нога человеческая». Мечтая об этом, мы медитировали над поэтами, читая их по строчкам. Стих — наиболее совершенное выражение мысли. Поэзия основана на видении мира. Она редкий дар богов. Рядом с Брюсовым, на некотором отдалении от него, Боратынский и Тютчев.

Благословен святое возвестивший,  
Но в глубине разврата не погиб  
Хотя один неправедный изгиб  
Сердец людских пред нами обнаживший.

«Неправедный изгиб» — ведь это то «сокровенное», что открывается как демоническое в человеке. Это его самоутверждение, самоутверждение существа, брошенного между двумя безднами — рождения и смерти — в неведомый и страшный мир.

Ты кроткая, ты смелая со мною  
В мой дикий ад сошла рука с рукою,  
Рай зрела в нем чудесная любовь.

«Дикий ад» — это о себе, о своих духовных опытах, о сокровенном «я». Подлинная поэзия и есть обнажение этого сокровенного «я».

Так неожиданно поэзия скрестилась с философией в нашем понимании этого слова. Тютчев, конечно, стоял на тех же высотах. Я уже не говорю о его «Silentium». Но какими многозначительными казались его «зарницы огневые», что, «воспламеняясь чередой, как демоны глухонемые ведут беседу меж собой».

Е. И. особенно любил стихотворение Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг». Последняя строфа, это откровение страсти, звучала особенно знаменательно, как беспримесный поэтический образ:

Но есть сильней очарованье:  
Глаза, потупленные ниц,  
И сквозь опущенных ресниц  
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Я стараюсь передать ход наших мыслей, как он сложился в ту эпоху. Вот почему, при всем нашем любопытстве к поэзии Блока, мы не восхищались его «Стихами о Прекрасной Даме» и тем более А. Белым, с его словесными каскадами.

Однако желание понимать поэтов, связанное с философским толкованием их, обязывало к жизни в поэзии. В известном смысле это была болезнь нашего времени.

Мы дышим комнатною пылью,  
Живем среди картин и книг,  
И дорог нашему бессилью  
Отдельный стих, отдельный миг.

Новая книга стихов была событием. Помню, мы с нетерпением ждали очередной книги Брюсова, и наконец она появилась в свет. То были «Все напевы». «Все перепевы» — жалобно сказал Е. И., поглаживая книгу рукой. А между тем в книге был такой шедевр, как «К стене причалил челн полночный». Я любил «Обряд ночи» («Словно в огненном дыме и лица и вещи»). Е. И. нравились строки: «Как на костер всходил на ложе, как в плаху поникал на грудь». Я находил их надуманными и искусственными. Конечно, «La belle dame sans merci!» было итогом брюсовской эротики, кто лучше его понимал беспощадность страсти — «и погрузи мне в сердце руки, La belle dame sans merci!» — в заключение восклицал поэт. Не было ли это началом конца? Но все

это были отдельные удачи, кстати в смысле поэтическом ничем не отличающиеся от предыдущего Брюсова. Случай со «Всеми напевами» поучителен. Мы не нашли путей к этой книге, она была закрыта для нас. Но нужно сказать, сам автор закрыл ее. Теперь мне ясна основа — умирающая или, вернее, изжитая любовь. Но каким пышным и тяжелым словесным убранством закрыта она. Для непосредственного лирического воплощения не нашлось душевных сил, и вместо поэзии возникла «литература». Мы были опечалены неудачей любимого поэта: его желание писать «книги» стихов на этот раз сослужило ему плохую службу.

Все это происходило в тогдашней повседневности, а не в философской школе, и поэтому было окружено догадками, гипотезами и, конечно, незрелыми мыслями. Спор вокруг Брюсова был особенно ожесточенным. Его стихи гипнотизировали своей силой и властью, но было бы ошибкой не замечать грубых промахов вкуса, неожиданных троюизмов и т. д. Однако вот что писал в ту пору А. Белый, вероятно враждебно относившийся к нему и в то же время зачарованный брюсовской музой. «Брюсов — единственный великий русский поэт современности», — писал он («Луг зеленый», с. 181). И дальше А. Белый едва не попал в цель, однако оговорился и утонул в собственной терминологии. «В образах, им воспетых, узнаем мы вечные образы демонизма...» «Последнее звено в видимой цепи творений — человек. Человек-миротворец — его мечта абсолютно реальна». «Брюсов — маг. Бездна мира зияла в его образах». Все эти приближения к подлинному пониманию Брюсова были, однако, оплетены советами и прозрениями в обычном стиле А. Белого.

Но этого мага все видели на улицах Москвы, в «Обществе свободной эстетики», о нем циркулировали, особенно в окололитературных кругах, множество острот и сплетен. В те же времена в каком-то ресторанчике я познакомился с поэтом «строгой формы», старавшимся вести свою поэтическую генеалогию от Пушкина, — В. Ходасевичем. Свою любовь к Пушкину Ходасевич впоследствии воплотил в книге «Поэтическое хозяйство Пушкина». Как известно, судьба его была довольно сложной и неожиданной. То был худенький молодой человек с какой-то странно-уродливой мордочкой, желтой, как лимон (он так и умер от рака печени), и в то же время державшийся с какой-то смешной важностью. Как раз

перед знакомством я прочитал в журнале «Перевал» его стихотворение, посвященное Нине Петровской, кончающееся строкой — «А я лишь твой надгробный камень». Кроме того, кто-то рассказывал, что Ходасевич собирался писать книгу об императоре Павле под заглавием «Гамлет на троне». Он же вместе с Сашей Брюсовым якобы собирался переводить «Молот Ведьм». Их этих всех проектов, конечно, ничего не получилось, но у Ходасевича была несомненная злоба и чисто московская любовь к сплетням. В тот вечер разговор начался с В. Я. Ходасевич тотчас заметил, что Брюсов превращает двуспальную постель в бездну, то есть сделал ту же передержку, которую делают все, полагающие, что грязное белье поэта — ключ к его биографии. Благодаря усилиям наших пушкинистов, рвавшихся к постельным принадлежностям великого поэта,— этот метод в ту пору был узаконен.

— У них каждую неделю по воскресеньям пекут морковный пирог,— продолжает Ходасевич, помахивая в воздухе рукой. Смысл последнего сообщения был понятен, хотя и наивен до глупости: «Уж если ты маг, то зачем же морковные пироги». Иными словами — маг должен глотать молнии и жить в ледяной пещере!

После этого разговор перешел к А. Белому. Рассказав о нем несколько анекдотов, впрочем другого характера (о красной свитке и красном автомобиле), Ходасевич вдруг начал восхищаться статьей А. Белого «Апокалипсис в русской поэзии». Статья эта произвела на меня впечатление мистической хлестаковщины, о чем я и сказал своему собеседнику. Начался спор, в результате которого Ходасевич дал мне ясно понять, что считает меня дураком. Однако через несколько лет я взял реванш. Как-то Д(иеспер)ов рассказывал: «Вчера видел Ходасевича. Все-таки остроумный человек. Вы знаете, по поводу статьи А. Белого «Апокалипсис в русской поэзии» он сказал: «Эта статья была для меня указательным перстом, который потом сложился в кукиш». Сохраняю это *bon mot* того времени. (...)

Вокруг В(еры) О(скарловны) скоро образовался вихрь, где она была чем-то вроде центрального светила. В этом кругу молодых людей, то есть поэтов и будущих, как им казалось, знаменитостей, все чаще повторялось слово «Мусагет». Андрей Белый по вечерам вел там занятия по ритмике, и В. О. ревностно изучала «кривые» и «крыши», запечатленные потом в книге

«Символизм». После таких занятий часть слушателей приходила к ней. В один из таких вечеров я, придя немного попозже, увидел на диване молодого человека лет двадцати пяти, одетого несколько небрежно, в пенсне и, по-видимому, не совсем трезвого.

— Юлиан Павлович Анисимов,— сказала В. О., представляя его мне.

Юлиан Павлович промычал что-то невнятное и сунул мне руку, испачканную фиолетовыми и желтыми красками. Подали самовар, бутылку рома и прочие принадлежности богемного жанра. Мы принялись обсуждать последние стихи.

— Юлиан, прочтите что-нибудь,— сказала В. О.

Юлиан опять промычал в ответ, затем вытащил из кармана несколько измятых и исписанных бумажонок и невнятно (у него была какая-то картавость) прочитал два-три стихотворения. Это было начало его книги «Обитель», напечатанной в 1913 году. Я не любил такого жанра — он напоминал одновременно и Блока и А. Белого, немного грустный и печальный лиризм родных полей, церквушек,— все это уже не было новостью. Но, несмотря на это, сам автор мне понравился. В нем было что-то детское и незащищенное, и скоро определились его прекрасные душевные качества вполне беспомощного существа. Как-то само собой вышло, что сборища у В. О. перенеслись в мезонин старого дома в Мало-Толстовском переулке, где проживал Юлиан. <...>

В этом мезонине бывал самый разнообразный народ. Читали стихи, играли на гитаре, спорили обо всем на свете — надо всем повисли облака винных паров, религиозно-философских исканий и «несказанного». Сидя в изодранном кресле, Юлиан с карандашом в руках читал тоненькую книжечку в пестрой обложке и восхищался ею. То были стихотворения Рильке, потом его переводы из Рильке. «Книга Часов» была издана в 1913 году книгоиздательством «Лирика». Юлиан любил Рильке и, мне кажется, удачно переводил его. Слушая эти переводы, я думал: «Еще одно усилие, и ты при помощи Рильке станешь настоящим поэтом». Но этого не случилось, и так было суждено. Поэзия Рильке шла из тех же источников, что и стихи, вошедшие в «Обитель», но глубинные источники этой поэзии предполагали мысль, правда выросшую в тени средневековья и европейской готики, но сгущенную до степени каких-то первообразов. Выражаясь философски, поэзия Рильке ноуменальна, внеш-

не ее поддерживала история и культура. Юлиан же, оставаясь самим собой, не мог перевести в этот план своего отношения к русской старине, она, несмотря на всю любовь к ней, не подарила его настоящим словом, и как поэт он задохнулся раньше, чем нашел способ выражать свои где-то темно копошившиеся мысли. Стихи, тем не менее, читали каждый вечер, и как раз в это время всеобщего стихоплетства вышли «Ночные часы» А. Блока. Юлиан не расставался с этой маленькой книжечкой, она всегда торчала из кармана его пиджака. Оказалось, что к этому времени он успел влюбиться в В. О., и «Ночные часы» как бы комментировали его любовь.

Среди гостей Юлиана в Малом Толстовском переулке часто бывали еще два поэта, один уже с именем, другой пока без имени. Это были Б. А. Садовской и Б. Л. Пастернак. Здесь я должен сделать отступление.

Уход Льва Толстого из Ясной Поляны потряс всю Россию. Сразу заговорили все, в дворницких, в салонах, на рынках. Оказалось, что каждый имел какое-нибудь отношение к нему. Еще недавно он приезжал вместе с С〈офьей〉 А〈ндреевной〉 в Москву, потом поползли слухи о спорах между ними, говорили о каком-то завещании, выростала гора сплетен и пересудов. Года за два до этого Алеша Станчинский вместе с Танеевым был у него и привез несколько брошюр с надписью великого писателя. Я помню, как они лежали на рояле и как Алеша, взяв одну из них, говорил мне: «Ты знаешь, он разговаривал со мной о том, что не надо курить и есть мясо, а я-то думал, что он скажет что-нибудь о музыке...» И он досадливо положил брошюру на стол.

Меня это забавляло. Алеша играл Льву Николаевичу свои произведения, и тот, конечно, прекрасно понял, что перед ним декадент, и начал наставлять его правильному образу жизни.

Народ отнесся к затее старого графа неодобрительно.

— Ишь как обеспутился,— сказал мне один мужик в зипуне,— на старости, то есть, лет из дому убежал.

Как раз в этих числах в «Религиозно-философском обществе имени Вл. Соловьева», в особняке Морозовой на Воздвиженке, А. Белый читал доклад «Трагедия творчества у Достоевского». За столом президиума все,



кого мы привыкли видеть на этих собраниях, но были два редких гостя, В. Я. Брюсов и Эллис. Обычно на заседаниях общества они не бывали. А. Белый, конечно, не мог не сказать о Толстом. С Толстого он и начал. «Лев Толстой в русских полях», — закричал он, потрясая рукой. Брюсов как-то сбоку посмотрел на него и скверно улыбнулся. Великий поэт на этот раз был в помятом сюртуке, с несколько помятым лицом и мало походил на мага. Мне было очень приятно увидеть Брюсова в таком, можно сказать, домашнем облике. По мере того как А. Белый, по обыкновению смешивая все вместе — Достоевского, Веданту, платонизм и христианскую мистику, — вел речь к определению цели, то есть старался доказать, что искусство есть теургия, — Брюсов становился все мрачней и мрачней. Я слушал, стоя в проходе и чувствуя, что возле меня кто-то не безразличный мне. Оглянувшись, я прежде всего увидел глаза. Это было очень странно, но в тот момент я увидел только глаза стоявшего возле меня. В них была какая-то радостная и восторженная свежесть. Что-то дикое, детское и ликующее. Я припомнил фамилию и протянул руку. Мы уже встречались в кулуарах историко-филологического факультета. То был Борис Леонидович Пастернак.

Между тем Рачинский встал и объявил перерыв. Перерыв он всегда объявлял с удовольствием. Ему нужно было со столькими поздороваться, стольким и столько сказать, что, уже сидя за председательским местом, он дрыгал ногой от нетерпения. Во время перерыва в зал вошел довольно высокий, плотный молодой человек с копной рыжеватых густых волос. Я узнал его только тогда, когда А. Белый бросился к нему и они расцеловались. «Мы из Шахматова», — услышал я ровный спокойный голос. Здесь они оба отошли. Я смотрел им вслед и думал. На вечере присутствовали три поэта, владевшие мыслями нового поколения. Но я не ощутил никакой связи между ними. Особенно Брюсов поражал своим фатальным одиночеством. Об этом свидетельствовали самые линии его угловатой фигуры, складки его сюртука. Этого нельзя было сказать об Андрее Белом, готовом излиться в пространство, судорожно дергавшемся во все стороны, готовом закричать благим матом. Обычно он хватался за каждую мысль, развивая ее и, кажется, точно забывал. Блок внешне мало походил на поэта «Прекрасной Дамы». Только приглядевшись к нему, можно было понять его необычность. В нем не

было ничего исключительного. Наоборот, подчеркнутая сдержанность и даже как будто деловитость. А между тем неизвестно — кто по существу был безумнее — он или Белый. Безумие Блока было, во всяком случае, страшнее. Именно потому, что оно скрывалось очень глубоко, забронированное воспитанием, хорошими манерами, самообладанием и явным отвращением к толпе. А. Белый был так же безумен, как бывает голым человек, снявший с себя все. И это спасало его. Он мог кувыркаться, гримасничать, кричать, петь — одним словом, делать все, что ему вздумается.

Таковы были мои сравнения и выводы. Между тем перерыв окончился, все снова уселись. Слово попросил Валерий Яковлевич. Как всегда, содержание доклада А. Белого он свел к нескольким удобопонятным формулам.

— Зачем же, — сказал он в заключение, — вы хотите, чтобы искусство было *ancilla theologiae*?

Белый возражал что-то широко и неясно. Он доказывал, что его неправильно поняли, но, по его мнению, религия и искусство неразрывно связаны друг с другом. Брюсов, казалось, удовлетворился.

— В таком случае, — церемонно сказал он, — в следующие разы мы будем говорить с вами о значении религии в жизни человечества. — Так под маской просветителя скрылся демон, и только по его интонациям и мрачному блеску глаз можно было догадаться, что за этой педагогической формулой скрываются две непримиримых мысли.

Остальные выступления не удержались у меня в памяти. Как всегда бывало, все остались при своих мнениях и разошлись по домам.

Перед тем как вспомнить вечер в особняке Морозовой, я назвал два имени, хотя их ничто не связывало вместе и, пожалуй, было трудно найти столь разных людей, как Борис Садовской и Борис Пастернак. Но память имеет свои права, и я точно вижу, как они однажды вечером вошли один за другим в узенькие и расшатанные двери мезонина. Оба были знакомы с Юлианом давно. Пастернак участвовал в поэтическом сообществе «Сердарды», о котором он вспоминает в своей «Охранной грамоте», Садовской вообще был знаком со всеми теми местами, где откупоривали бутылки и читали стихи.

Они вошли как раз в ту минуту, когда Юлиан рассказывал какие-то небывлицы о портрете работы Тропинина, украденном у него на Разгуляе, и Садовской, сразу учуяв нечто знакомое и родное, принялся детально расспрашивать его, а Пастернак, усевшись возле В. О., о чем-то гудел ей на ухо, размахивая в то же время руками, вставая и приседая и снова садясь и снова вставая, В. О. слушала его с хохотом и вскриками,— по всем признакам, он очень забавлял ее. Я стоял поближе к Садовскому и, похлебывая чай, слушал его. На этот раз он был в ударе. «Заниматься так называемыми «исканиями»,— говорил он, как-то дерзко и презрительно отчеканивая слова,— дело ненужное. Это подмена жизни праздными словами. Чего искать? Уже все найдено. В стране, где были Пушкин и Фет, раз навсегда установлено, что такое поэзия». Юлиан, по обыкновению еще до нашего прихода осушивший бутылку белого вина, что-то беспомощно мычал, как будто соглашался и поддакивал, и в то же время обращал ухо к В. О., желая узнать, что скажет она, главная «искательница» в нашем сообществе. Но В. О. была слишком занята Пастернаком и не обращала ни малейшего внимания на Садовского. Тогда Юлиан воззвал ко мне: «Костя, что ты думаешь об этом?» — пробурчал он, уставив на меня меркнувший взгляд.

— Я думаю,— ответил я,— что Пушкин и Фет — замечательные поэты, но что мы живем в другое время.— Тогда Садовской окончательно вышел из себя.— В другое время? — воскликнул он.— Да знаете ли вы, что сделал я, приехавши из Нижнего в Москву по окончании гимназии? Я в тот же вечер пошел помолиться к могиле Грозного.— И он победоносно посмотрел на нас. Аргумент был, по его мнению, неотразим, и, высказав его, он сразу успокоился, уселся поглубже в кресло и занялся чаепитием. Я понимал, что все это поза и стилизация. Но Садовской вообще был таков. <...>

Между тем, разговаривая с Садовским и прислушиваясь к тому, что происходит в другом конце комнаты, я уловил несколько слов Пастернака о стихах и поэзии и вспомнил, что как-то в университете он хотел показать мне несколько стихотворений. Как раз в это время В. О., по-видимому решив, что настало время приступить к обычному священнодействию, встала и заявила о своем желании слушать стихи. Тотчас Юлиан заплетающимся языком прочел несколько переводов из Рильке, Садовской похвалил, но умеренно (переводов он вообще не

признавал), прочла два или три стихотворения В. О. Затем обратились к Пастернаку. Садовской с любопытством приготовился слушать. Он уже заранее ощущал его «дичь». Борис долго отмахивался, приводил разные аргументы, но в конце концов все-таки прочитал несколько стихотворений, в стиле «Близнеца в тучах», но, если память мне не изменяет, не вошедших в эту книгу. Все молчали.— Замечательно! — вдруг сказала В. О.— Прочтите еще! — Но мне бы хотелось!.. — Читайте, читайте!..— Последовало еще несколько стихов. Пока я понял только одно — передо мной подлинное, ни на что не похожее дарование. Но я совершенно не знал, как к нему отнестись. Стихи Пастернака были так непохожи на преобладающий стиль эпохи, в них не было обычного само собой разумеющегося современного канона.— Что же вы молчите,— закричала В. О.,— Борис Александрович, вам нравятся стихи? — «Ничего не могу сказать,— ответил Садовской, снисходительно посмотрев на Бориса.— Все это не доходит до меня». Борис оторопело и дико смотрел на него. Сам того не зная, Садовской задел у него самое больное место. Он сконфуженно пробормотал что-то, потом уже громко, размахивая руками, быстро заговорил: «Да-да, я вас понимаю, может быть, если б я услышал такие стихи несколько лет тому назад, я бы сам сказал что-нибудь в этом роде, но...» — тут он окончательно потерял дар слова и разразился потоком философов, смысл которых сводился к защите чего-то, что он хотел сделать, но, разумеется, не сумел сделать, и т. д. После этого он быстро убежал.— Ну вот,— сказала В. О.,— вы его напугали.— Все эти новейшие кривлянья глубоко чужды мне,— заявил Садовской, чувствуя себя хранителем священного огня. Вечер продолжался в том же духе, чередовались стихи, бутылки, приходил еще кто-то, разошлись поздно, по дороге обсуждая отдельные удачные строчки и стараясь понять Пастернака. «Так начинают жить стихом»,— мог бы процитировать я, вспоминая всю эту неразбериху на Юлиановой мансарде, где большинство блуждало между символизмом и мистикой. Они не подозревали, что перед ними большой поэт, и пока относились к нему как к любопытному курьезу, не придавая ему серьезного значения. Между тем появление Пастернака, так же как и близость Маяковского, обозначали конец символизма и новую поэтическую эру. Была ли она значительнее прежней, этого пока еще никто не мог решить. (<...>)

В Филиппьевском переулке, где я жил осенью 1908 года, проходили разные люди. В ту пору их было немного, можно было легко запомнить каждого встречного. Иногда мне встречался высокий седеющий блондин, с острой эспаньолкой, внимательным и немного ироническим взглядом, подчеркнута твердой походкой. Не совсем обычный облик запомнился мне. Придя в первый раз к Борису на дом, я был представлен ему. То был отец моего друга, Леонид Осипович, известный художник. Квартира Пастернаков широко и уютно расположилась в старом доме на Волхонке, комнаты были большие, мебель старая, в гостиной — карельская береза, на стенах — рисунки и портреты. Скоро мы сидели за чайным столом, у самовара несколько рассеянно разливала чай Розалия Исидоровна, две девочки в гимназических платьицах с косами заняли свои места. Брат Шура на этот раз отсутствовал. Боря был сдержан и являл вид воспитанного молодого человека. Разговаривали об искусстве, о литературе. Л. О. говорил несколько неопределенно, иронически поглядывая на сына. «Интересно, — подумал я, — знает ли он о его стихах». Потом оказалось, кое-что он знал и был не особенно доволен. Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безразличной, очень чистой и аккуратно убранной комнатой, с двумя столиками, двумя кроватями и какой-то стерилизованной скукой в воздухе. Внутренняя жизнь подразумевалась. Она подразумевалась и у Л. О., человека большого жизненного и художественного опыта. Но о ней я мог только догадываться — Л. О., по моему мгновенному тогда определению, был замкнутым, скорее скрытным, мог даже показаться несколько черствым. Это потому, что в глубине души он заключал какую-то горечь, какую-то грусть, не знаю что, быть может, мудрость или мудрый скепсис. Я понял только одно, что Борису в родительском доме жить трудно. Ему не хотелось огорчать родителей, а когда-нибудь, — так думал он, — их придется огорчить. Пока по внешности речь шла о профессии: философское отделение филологического факультета, стихи в будущем обещали не много. Отсюда неприятные разговоры, о которых он иногда мне передавал. Пока в этом доме я бывал не слишком часто. Мы предпочитали встречаться в университете, у Юлиана и в «Сafe грес» на Тверском бульваре. Борис почти каждый раз читал свои стихи, иногда на клочках бумаги записывал их, а я уносил домой

эту добычу и старался понять его. Мало-помалу передо мной начали вырисовываться контуры какого-то редкого и совсем необычного дарования. Стихи не были похожи ни на Брюсова, ни на Блока, в словаре изредка проскакивали знакомые сочетания, но в совсем другом смысле. Между тем символизм здесь, несомненно, был, но в какой-то другой пропорции и совсем с другим значением. Значение заключалось в относительности и условности образа, за которым скрывался целый мир, но эту условность подчиняло настолько натуралистическое применение деталей, что стихотворение начинало казаться россыпью золотой необработанной руды, валявшейся на дороге. Слова лезли откуда-то из темного хаоса, первичного, только что созданного мира. Часто он не понимал их значения и лепил строчку за строчкой в каком-то бреде дионисовского опьянения жизнью, миром, самим собой. Отсюда вопль о «непонятности», преследовавший его почти всю жизнь... Но дороже стихов, дороже необычной музыки был он сам. Это значило, что стихи были только одним из проявлений еще какого-то неосознанного и становящегося духовного мира. Вот почему писание стихов было для него не только счастьем, но и трагедией. После всего этого я понял его манеру разговаривать. Это было непрекращающееся творчество, еще не отлившееся в форму и поэтому столь же гениальное и столь же непонятное, как и его стихи. Мучение заключалось в необходимости выразить себя не в границах установленных смыслов, а помимо и вопреки им. Но преодолеть то, что сложилось в человеческом сознании с незапамятных времен, было немислимо. Отсюда другое единственно возможное решение задачи — создавать свой собственный мир в поэзии, не обращая внимания на традицию, смысл и т. п. Все это в какой-то степени намечалось и у других сверстников, выступавших одновременно с ним, то есть у раннего Маяковского и Хлебникова. Но о соотношении всех трех нужно говорить особо — и можно было сказать только через несколько лет.

Так проходило время в 1910—11 годах.

---

---

А. И. Пузиков

«НЕБОЖИТЕЛЬ»

(Б. Л. Пастернак)

Борис Пастернак не был кумиром моей юности. Возможно, не дорос, а вот до Маяковского дорос, и казалось мне, что Владимир Владимирович выше всех поэтов на свете, и прошлых и настоящих. Я искренне недоумевал, когда с трибуны Первого съезда писателей Н. И. Бухарин противопоставил поэзию Пастернака поэзии Маяковского как пример настоящего искусства — искусству агитационному, тенденциозному.

Верность Маяковскому я сохранил навсегда, но и Пастернак занял в моем поэтическом паноптикуме самое видное и необычайное место. И сейчас, много лет спустя, я с преклонением отношусь к тем, кто с самого начала понял Пастернака, оценил его огромный вклад в русскую поэзию. Может быть, их стараниями удалось восстановить справедливость в истинной оценке пастернаковского творчества.

Борис Леонидович впервые появился в послевоенном Гослитиздате как переводчик стихов Петефи и сразу же покорила меня своей простотой, скромностью, добросердечностью. И, прежде чем оценить его как поэта, я оценил его как человека.

Борис Леонидович не хлопотал о своих книгах, казалось, что он смирился с судьбой отверженного, официально не признаваемого поэта, проявлял, по крайней мере внешне, полное равнодушие к тому, что сборники его стихов перестали печатать. Однако надо было жить, зарабатывать, содержать семью, и средством для этого были переводы. Сила таланта, вдохно-



Борис Пастернак. Фотография 1931 г.

вения и мастерства проявлялась и здесь весьма зримо. В качестве переводчика он был доступен любому читателю. Глубоко проникая в суть переводимого произведения, находя единственно нужное слово, которое соответствовало бы поэтической мысли переводимого автора, Пастернак как бы уравнивал перевод и оригинал. Таковы его переводы Шекспира, Гете, Петефи, Важа Пшавела и многих, многих других великих классиков. И вместе с тем, его переводы всегда окрашены неповторимой пастернаковской индивидуальностью. Читая их, легко догадаться — это перевод Пастернака.

Итак, Борис Леонидович выступал у нас в роли переводчика, и разговоров о его собственном творчестве не происходило. Но вот однажды, в конце беседы, Пастернак вынул из внутреннего кармана пиджака небольшую, размером в полстраницы, машинописную книжицу, сшитую посередине нитками и заключенную в голубоватую плотную бумагу, заменявшую обложку. Ни фамилии автора, ни названия рукописи на этой импровизированной обложке не значилось.

— Прочтите! Это стихи из романа, который я сейчас пишу. Понравятся — сделаю дарственную



надпись, не понравятся — верните или оставьте себе на память.

Стихи из романа отличались от всего, что я читал прежде. Сохраняя присущую Пастернаку метафоричность, многоплановую образность, емкость каждого слова, каждой строки, они были, вместе с тем, классически просты и прозрачны, легки, наполнены осязаемыми вещами, запахами, картинны. Они погружали нас в очарование среднерусской природы, в торжественные дни старых праздников, таких, как Рождество, Пасха, в далекие дни юности, еще чувствительной ко всему, что нас окружает, трепетно религиозные, а иногда философски серьезные.

Они не могли не понравиться, не могли не вызвать чувства признательности за доставленное эстетическое наслаждение. И все же я их отверг. С позиции моего комсомольско-партийного максимализма, слишком были они далеки от нашей действительности, от нашего тогдашнего послевоенного умонастроения. Я считал, что поэзия не просто личное дело, что связана она с нашим гражданским поведением, должна звать нас к идеалам, которые мы решили достигнуть любой ценой, в борьбе со всем, что мешает их достижению, даже в борьбе с самим собой.

При очередной встрече я все это высказал Пастернаку. Дарственная надпись так и не появилась в этой самодельной книжечке, но Борис Леонидович пожал мне руку и поблагодарил за искренность.

Книжечка эта долго лежала в моем письменном столе, я давал ее почитать другим, так как стихи эти тогда еще не были напечатаны, но однажды она исчезла, похищенная кем-то из особо ретивых поклонников поэта. И если похититель прочтет написанные мною сейчас строки — пусть ему будет стыдно.

Между тем Пастернак радовал нас все новыми и новыми переводами, совершенствовал старые. В 1947 году в издательстве «Детская литература» вышел «Гамлет» Шекспира в переводе Пастернака. Вручая мне книгу, Борис Леонидович на этот раз без колебаний снабдил ее автографом: «Дорогому Александру Ивановичу Пузику на добрую память новый Гамлет переработанный».

Наши отношения становились все более теплыми, беседы все более доверительными. В феврале 1952 года Борис Леонидович пригласил меня и главного худож-

ника издательства — Николая Васильевича Ильина на день своего рождения.

Я был точен и явился в назначенный час. Мне повезло — гости еще не собрались и любезная супруга поэта — Зинаида Николаевна Пастернак проводила меня в кабинет Бориса Леонидовича, который находился в другой квартире на следующем этаже (семья Пастернака занимала две двухкомнатные квартиры, разместившиеся одна над другой).

Борис Леонидович встретил меня с присущей ему простотой и доброжелательностью, завязался разговор о Л. Н. Толстом.

— Я его помню! — сказал Борис Леонидович. — Мне было четыре года. Родители принимали гостей, а меня уложили спать. Детский сон пришел быстро, но вдруг я проснулся от звуков музыки, раздававшейся в соседней комнате. Появилось неодолимое желание посмотреть — что же там происходит. Спустившись с постели, в длинной ночной рубашке, я дошел до высочайших дверей, приоткрыл их и увидел много людей, а среди них старика с большой бородой. Меня водворили в постель, а утром, когда я спросил о старике, мне сказали:

— Запомни! Ты видел замечательного человека — Льва Толстого. — И я запомнил.

Это происходило, мы знаем, на Мясницкой улице в квартире Пастернаков 23 ноября 1894 года<sup>1</sup>. Продолжая разговор о Толстом, я поделился с Борисом Леонидовичем одним своим наблюдением: читая романы Толстого, особенно такие, как «Война и мир», «Анна Каренина», забываешь, что это литература; возникает полная иллюзия живой действительности, с ее неожи-

---

<sup>1</sup> Позднее, в 1956 г., Б. Л. более подробно расскажет об этом своем ярком впечатлении в очерке «Люди и положения». Я рискнул передать эпизод в том виде, как был он мне поведан тогда, в 1952 г. В очерке же, как мне кажется, художник возобладали над свидетелем. Б. Л. очень красочно описал гостиную и тех, кто в ней находился, но вряд ли четырехлетний ребенок мог запомнить такие детали, как: «Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза, они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именные цветы из цветочных корзин» и т. д.

Б. Л., на мой взгляд, нарисовал картину не только того, что увидел, а и того, что мог бы увидеть взрослым человеком. К тому же среди гостей не могло быть художника Н. Н. Ге, которого уже не было в живых.

данностями, случайностями, сюрпризами. Эта воспроизводимая художником жизнь всегда оказывается богаче читательского воображения. Догадливый читатель привык к тому, что может довольно точно предположить, чем закончится тот или иной эпизод, та или иная сюжетная коллизия, и редко обманывается. У Толстого по-другому. Вот один из примеров: смертельно ранен Андрей Болконский, и его везут в тыл. В это же время из осажденной Москвы уезжает семья Ростовых. Догадливый читатель решает: сейчас они встретятся, но увы — жизнь богаче воображения, и они не встречаются, а встречаются тогда, когда читатель встречи вовсе не ждет.

Жизнь богаче воображения. И эту истину Л. Толстой превратил в своеобразный художественный прием.

Борису Леонидовичу понравились мои рассуждения, он их одобрил, но тут разговор и окончился. Нас пригласили вниз, куда уже стали собираться гости. Пришел мой сослуживец — художник Николай Васильевич Ильин, а с ним дорогой мне человек — Петр Иванович Чагин, пришел актер МХАТа — Борис Ливанов с женой, а вслед за ним замечательный музыкант — Генрих Нейгауз. Ждали сына Нейгауза — Станислава, тоже замечательного пианиста, но тот прийти не смог.

Гостеприимная хозяйка потчевала нас вкусными домашними кушаньями, мужчины произносили тосты, в чем особенно усердствовал Борис Ливанов. Поначалу тихий и чинный, он постепенно расходился, и его сильный и красивый голос раздавался все громче, а смех становился все более раскатистым. Жена пыталась его останавливать, урезонить, но Ливанов на глазах у присутствующих превращался из застенчивого гостя в гоголевского Ноздрева — роль которого так удалась ему на сцене.

Ни одного слова не произнес Генрих Густавович Нейгауз, но он нашел свой способ участвовать в беседе. Вооружившись вилкой, как дирижерской палочкой, Нейгауз профессиональными дирижерскими движениями сопровождал усиливающийся шум и те немногие мгновения, когда наступала относительная тишина. А тишина вдруг окончательно наступила! Ливанов попросил Петра Ивановича Чагина почитать ранние стихи Пастернака. Борис Леонидович его горячо поддержал. К моему немалому удивлению, Чагин согласился и, не стесняясь присутствия выдающегося актера и автора, стал

читать ранние стихи поэта, читать по памяти. И как читать! Строки стихов, которые мне представлялись прежде затрудненными, малопонятными, обретали ясность. Глубинный смысл их всплывал наружу и, казалось, был осязаем. Аплодисменты присутствующих были наградой Чагину — этому удивительному человеку, который в молодости брал Зимний, дружил с Кировым и Есениным, редактировал газеты «Заря Востока», «Вечерний Ленинград», руководил во время войны Гослитиздатом. Какие неиспользованные возможности таились в нем, но реализовать их Петр Иванович не сумел, — быть может, не захотел, так как больше всего на свете любил жизнь, друзей, застолье.

После чтения Чагина Ливанов обрушился на меня: — Какие стихи! А вы не печатаете! Как вам не стыдно!

Голос его гневно гремел, а улыбающийся Генрих Густавович взмахивал своей импровизированной дирижерской палочкой, широкими и бурными движениями показывая, что симфония застолья достигла своей кульминации.

Ливанов был тысячу раз прав, ругая нас за пренебрежение к поэзии Пастернака, но мы были тогда бессильны. Да и сам Борис Леонидович тщательно скрывал обиду, делая вид, что смирился с ролью переводчика.

Огорчения подстерегали его, однако, и здесь. Перевод «Генриха Четвертого» Шекспира, одобренный Гослитиздатом, лежал без движения, так как кто-то из рецензентов дал отрицательный отзыв. В октябре 1947 года я получил письмо:

Дорогой Александр Иванович!

Предлагаю издательству «Короля Лира» в моем переводе. Мне хотелось бы, чтобы Гослитиздат выпустил по примеру прежних моих шекспировских переводов: Гамлета, Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра и Отелло.

Меня очень огорчает, что давно принадлежащий издательству и оплаченный им перевод ист. хроники «Король Генрих Четвертый» до сих пор не напечатан. Это та хроника, в которой выведен знаменитый Фальстаф. Я так старался, чтобы текст получился в понятном, легко усвояемом изложении. И вот все зря. Не можете ли Вы повлиять как-нибудь на все эти события! Будьте другом, — я не могу сказать, как буду благодарен Вам.

Сейчас ползимы я напишу свое собственное, роман в прозе, а потом обязательно возьмусь за начатого «Фауста», — Вы не бойтесь «Лиры», если требуется, — знает и читал Михаил Михайлович (Морозов. — А. П.). Кажется, он нравится ему.

14 октября 1947 г.

Ваш Пастернак.

Роман отнимал много времени, до Фауста не доходили руки, а материальное положение с каждым днем ухудшалось. Пока мы со свойственной нам неторопливостью разбирались с переводом «Генриха Четвертого», Борис Леонидович строчил уже новое тревожное письмо:

Дорогой Александр Иванович!

Не найдет ли кто-нибудь из отдела времени живым образом поинтересоваться «Генрихом» и прочесть работу не с точки зрения «Экспертизы» или «Шекспирологии», а просто обыкновенного читательского чтения. Ведь это та хроника, в которой выведен знаменитый Фальстаф и кот. так любил Пушкин.

Затем, нельзя ли будет вступить в договорные отношения по «Лиру».

Сердечный привет

21 февраля 1948 г.

Ваш Пастернак.

Да, материальные дела поджимали. В одной из наших бесед Пастернак жаловался на денежные затруднения, просил быстрее решить вопросы с изданием «Генриха» и «Лиры», говорил, что деньги ему нужны не только для себя и семьи, но и для того, чтобы помочь Аннушке (Анна Ахматова).

На этот раз мы проявили оперативность, обе пьесы Шекспира были срочно сданы в набор и вышли в свет в 1949 году с предисловием М. М. Морозова.

Главной творческой работой Бориса Леонидовича в эти годы были его собственный роман и перевод «Фауста». О романе речь впереди, а вот с «Фаустом» тоже было не все просто. Дело в том, что на русском языке существовал «Фауст» в переводе Н. А. Холодковского. Этот перевод считался классическим, непревзойденным и в 1914 году был отмечен Российской Академией наук Полной Пушкинской премией. К этому следует

добавить, что Холодковский трудился над переводом сорок лет. Перевод стал каноническим и неоднократно переиздавался в дореволюционное и советское время. Случай для издательства был нелегкий, но мы верили в Пастернака, как в свое время поверили в Н. М. Любимова, заново переведшего «Дон Кихот̄а». Договор на Фауста заключили, и теперь уже Борис Леонидович трепетал перед поставленной задачей.

Перевод был закончен в 1951 году, а в 1953 году пастернаковский «Фауст» увидел свет. Мнения о переводе разделились, но восторжествовала положительная оценка. Перевод Холодковского, отличавшийся близостью к оригиналу, не был зачеркнут, но появился еще один, сделанный рукою большого художника. В 1955 году мы повторили его издание, чем значительно поправили материальные дела поэта, и по требованию читателей приступили к подготовке третьего издания, осуществленного в 1957 году.

Борис Леонидович любил свое детище и каждый раз при переиздании совершенствовал перевод, собирался написать предисловие к нему. Сохранилось письмо, выдержки из которого я приведу:

«...У меня явилась мысль, не дать ли мне к третьему изданию «Фауста» несколько слов от себя о его существе, о его духе, подобно тем сообщениям, которые я делал для Воксовских заграничных начинаний и для радио? У меня своя точка зрения на Фауста, и ее изложение заняло бы страницу-две, не больше, между предисловием Вильмонта и началом текста. Не торопитесь отвечать утвердительно, я очень люблю Вас и не нуждаюсь в доказательствах Вашей отзывчивости. Подумайте трезво, может быть, это лишнее. В случае положительном все равно мне пришлось бы вставить предполагаемую заметку в корректуру. Я пока все еще загроможден всякими неотложностями, а мог бы написать о Фаусте спустя месяц, и тогда — на ходу, в процессе производства книги, пока бы он типографски это позволил.

Подумайте, пожалуйста, и мнение свое передайте в отдел, для сообщения мне. Речь о вставке двух страниц, не более.

Крепко жму Вашу руку...

Преданный Вам

Б. П.»

Письмо это написано в июне 1956 года, когда на улицу Бориса Леонидовича пришел праздник. Кончилась изоляция его как поэта, журналы печатают его стихи, закончен роман, опубликованы залежавшиеся переводы, готовится третье издание «Фауста», вахтанговцы поставили «Ромео и Джульетту», во МХАТе репетируют «Марию Стюарт» Шиллера (все в его переводах). Но главное! В самом начале года Гослитиздат предложил поэту подготовить однотомник его поэтических произведений...

Есть чему радоваться, и Борис Леонидович почти не вспоминает прошлые огорчения, на людях во всяком случае, а если и вспоминает, то с пастернаковской иронией и добродушием. Так вспоминал он при мне о звонке к нему Сталина. Было это, правда, давно после ареста О. Мандельштама, с которым Борис Леонидович дружил. Сталин спрашивал Пастернака о его отношении к Мандельштаму, даже упрекал его за то, что он плохо защищает своего друга. Неожиданный этот звонок был неприятен и настораживал.

— Я очень волновался, — говорил Борис Леонидович, и чувствовал себя так, как чувствовал бы себя кролик — доведись ему разговаривать с удавом.

Существовала легенда (может быть, и не легенда), что Сталин приказал Берия: «этого небожителя не трогать». Возможно, что Сталин понимал художественную ценность творчества Пастернака, возможно, ему импонировало и то, что поэт блистательно перевел грузинских лириков... Пастернака не трогали, но и не поощряли. Делали вид, что он давно забытое прошлое.

И вот теперь открылась широкая дорога к читателю, а задуманный однотомник включал не только ранее напечатанное, но по просьбе издательства (редактора Банникова) последний раздел книги предполагалось заполнить новыми стихами. И такой раздел появился: «Новые строки» (лето 1956 года). Борис Леонидович вдохновенно работал. Он устал от переводов, да и от романа в прозе. Стихи писались легко, хотя на ходу переделывались, совершенствовались. По свидетельству сына поэта — Евгения Борисовича Пастернака, — «к концу 1956 года было написано 21 стихотворение»<sup>1</sup>. И автор, и составитель — редактор Н. В. Банников с вододушевением готовили книгу. Отбиралось лучшее.

---

<sup>1</sup> Пастернак Е. Б. «Приблизить час». — В мире книг, 1987, № 5, с. 26.

Требовательный автор был порою более строг, чем издательство. И все же книге чего-то недоставало, недоставало вступительной статьи. Мы перебрали в уме возможных для нее кандидатов, но так и не нашли. О Пастернаке в последние годы никто ничего не писал. И тогда было решено: вступление напишет сам автор. Борис Леонидович с ликованием воспринял эту идею и в короткий срок создал очерк о себе, который в несколько измененном виде известен теперь под названием «Люди и положения». Борис Леонидович блестяще справился с задачей. В отличие от «Охранной грамоты», «испорченной», по его словам, «ненужною манерностью», очерк этот может служить образцом поздней прозы Пастернака — ясной, точной, образной. Мы были в восторге и в то же время весьма шокированы некоторыми местами, которые наше редакторское воспитание не позволяло принять. Очень смутила нас оценка Маяковского, особенно фраза: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью». Эта оценка как-то не вязалась с тем, что говорилось о Маяковском ранее, в «Охранной грамоте», да и всенародный интерес к нему подогревался не только «указаниями» сверху, но и шел снизу, от широчайших читательских кругов.

Не понравилась нам и другая фраза: «В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии, ничьей, ни его собственной, ни кого-либо другого...»

Статью мы отредактировали, в чем-то, может, и испортили, но все равно она тогда так и не увидела свет. В конце 1956 года ее перевели на грузинский язык и опубликовали в журнале «Мнатоби». Пастернак восстановил все вычеркнутые нами места, дополнил ее новыми страницами, изменил заключительную часть. Статья «Вместо предисловия» превратилась в самостоятельный автобиографический очерк, не зависящий более от однотомника. И названа она была по-другому — «Люди и положения». В 1967 году ее еще раз напечатал А. Твардовский в «Новом мире».

Однако я забежал вперед, и потому вернемся к удачливому началу 1956 года, когда еще ничто не предвещало бурю.

Борис Леонидович был деятелен, как-то помолодел, часто бывал в издательстве, на репетициях «Марии Стюарт» во МХАТе. Ему полюбился редактор-составитель Банников, и, заключая статью «Вместо предисло-



вия», он выразил ему благодарность следующими словами:

«В заключение мне осталось принести глубочайшую благодарность составителю книги, Николаю Васильевичу Банникову. Без него она не могла бы явиться. По его почину написан настоящий очерк, по его побуждению вызван к жизни и прибавлен новый стихотворный раздел».

Банникова смутил этот комплимент, да и мы убеждали Бориса Леонидовича убрать похвалу, — дескать, не принято, но Пастернак настаивал и настоял. Так же настоятельно он просил оплатить составительскую работу Банникова, волновался, когда возникли трудности, так как Банников был штатным сотрудником издательства:

«Дорогой Александр Иванович!

Опять возникают препятствия с финансовыми и договорными правомочиями Банникова. Меня это очень огорчает... Уладьте, пожалуйста, если это в Ваших силах, недоразумение с Банниковым» (из письма от 17 июня 1956 года).

Деталь, которая характеризует Пастернака — человека, всегда заботящегося о других, помнящего добро, внимательного и чуткого к своим товарищам. Одно-томник набрали, подписали к печати, все шло хорошо, он должен был выйти в 1957 году. И вдруг разразилась буря. Где-то в мае 1956 года Пастернак передал рукопись романа «Доктора Живаго» итальянскому издателю-коммунисту — Фельтринелли (через посредство сотрудника итальянского радиовещания — Серджио Д'Анджело). Еще раньше он направил рукопись в «Новый мир» и Гослитиздат.

Издательство отнеслось к роману с настороженностью, но и вниманием. Первая его часть вообще не вызвала никаких сомнений, а во второй части мы отметили места спорные, требующие бесед с автором, редакции.

Иную позицию занял «Новый мир». Члены редколлегии (Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов, А. Кривицкий) разразились многостраничной рецензией, зачеркивающей роман по идеологическим соображениям.

Рецензия «Нового мира», перечитанная сегодня, вызывает разноречивые чувства. Люди, подписавшие ее, — честные и талантливые писатели, и я не думаю, что,

отвергая роман, они поступали против совести. Тогда чем же объяснить ее резкий, непримиримый тон, допущенные в ней передежки? Вспомним, что все происходило через десять лет после окончания Великой Отечественной войны, что война эта была действительно Отечественной, действительно Великой. Целью войны была не только защита Родины в широком патриотическом плане, но и защита завоеваний Октября, завоеваний революции, Социализма. Патриотизм народа был преломлен через его революционное сознание. Многие из авторов рецензии откликнулись на события войны лучшими своими произведениями. Великая Октябрьская и Великая Отечественная слились в этих произведениях в единое целое, взаимосвязанное. Вне этого все стояло по другую сторону. И вдруг Живаго, с его сомнениями и неприязнью революции, с его гипертрофированным индивидуализмом. К этому надо добавить, что авторы рецензии не могли предвидеть трагический для Пастернака поворот событий, которые эта рецензия вызовет, предположить печальные ее последствия. Цени талант Пастернака, они думали, что помогут автору романа преодолеть интеллигентские предубеждения, вернуть на ту дорогу, которая однажды уже привела его к созданию «1905 года», «Лейтенанта Шмидта», проделать до конца тот путь к революции, который многие из них сами проделали. Думаю, что и Борис Леонидович понимал их намерения, хотя тон рецензии должен был его огорчить и обидеть. Среди рецензентов был Федин — давний друг, сам много раз страдавший от несправедливых рецензентских наскоков. Приглашая в эти дни семью Всеволода Иванова в гости, Пастернак сделал такую примечательную приписку: «Я также приглашу Константина Александровича с тем же легким сердцем и без задней мысли»<sup>1</sup>.

Но честные намерения авторов рецензии не освободили их самих от ошибок. А главная их ошибка, как мне кажется, — это знак равенства, который они поставили между Живаго и его создателем. Да, автор, несомненно, задумал своего героя как человека благородного, умного, гуманного, изобразил дореволюционный быт русского интеллигента как весьма удобный, располага-

---

<sup>1</sup> Иванова Т. Мои современники, какими я их знала. М., Советский писатель, 1987, с. 416.

ющий к духовной работе. Да, Живаго отказывался убивать гимназистов в военной форме, сражающихся против красных, он жалуется по поводу житейских неудобств, порожденных хаосом первых послереволюционных лет.

Доктор Живаго — историческая реальность, проявившаяся в чертах характера многих интеллигентов, например в Максимилиане Волошине, который прятал белых от красных и красных от белых. Этот реальный тип интеллигента, растерявшегося и не принимающего новый, революционный порядок, и создал Пастернак в лице своего героя.

Когда рукопись романа была передана в Гослитиздат, мы подошли к ней именно с этих позиций. Нам показалось возможным работать с автором, совершенствовать его произведение, довести до издания. Обнадеживало и то, что Борис Леонидович шел навстречу, соглашался с некоторыми нашими замечаниями.

Но увы! Рецензия «Нового мира», передача рукописи Фельтринелли круто изменили все наши планы. Договор с автором заключен не был, а идти против течения нам не позволили бы. Но тут произошло одно событие, которое, казалось бы, могло решить все проблемы. Стало известно, что Фельтринелли в спешном порядке готовит рукопись к изданию. Меня вызвали к высокому начальству:

— Говорят, что у вас хорошие отношения с Борисом Пастернаком. Попробуйте уговорить его написать письмо Фельтринелли с просьбой задержать издание романа.

Я ответил:

— У нас нет договора на роман. Как мотивировать Пастернаку свою просьбу?

— Заключите договор, начните с ним работу.

Весьма удовлетворенный этой беседой, я помчался в издательство, связался с Борисом Леонидовичем и, утаив свою беседу с начальством, сообщил ему, что мы могли бы с ним заключить договор, но с условием, что Фельтринелли задержит итальянское издание.

Предварительно мы составили текст телеграммы, и я показал его Борису Леонидовичу:

«Италия, Милан, Фельтринелли

Продолжаю работу над романом Доктор Живаго, который готовится к изданию Гослитиздатом. Будут дополнения и изменения. В связи с этим прошу направить рукопись романа в Гослитиздат по адресу:

Москва, Ново-Басманная, 19. Для перевода вышлю корректуру романа.

*Борис Пастернак».*

Борис Леонидович, весьма обрадованный возможностью заключения договора, все же задумался над текстом телеграммы и попросил его не торопить. Мы договорились отложить наш разговор на несколько дней. Накануне встречи я получил коротенькую записку:

«Дорогой Александр Иванович!

Слово честного человека: 12-го, во вторник, у меня будут дела со Станицыным во МХАТе, к которым мне надо с затратой большого труда подготовиться по пьесе (а тем самым и подготовить к печати М. Стюарт в последней дополнительной отделке).

Тогда буду у Вас, будет телеграмма, тогда будет Вам и белка, будет и свисток.

Целую

*Ваш Б. Пастернак».*

Получив согласие на телеграмму, мы не стали дожидаться очередной встречи с Борисом Леонидовичем и заключили с ним договор. В феврале телеграмма ушла в Италию, но с текстом, который составил Борис Леонидович на русском и итальянском языках:

«Е. Л. Т.

издателю Джанджакомо Фельтринелли  
улица Фатенефрателли, Милан

В соответствии с просьбой Гослитиздата, Москва, Ново-Басманная 19, прошу задержать итальянское издание романа Доктора Живаго на полгода, до первого сентября 1957 года и выхода романа в советском издании: ответ направить телеграфно в Гослитиздат

*Пастернак».*

Борис Леонидович не очень верил в нашу затею, чувствовал неловкость перед Фельтринелли и свои сомнения по этому поводу изложил подробно в письме 7 фев-

раля 1957 года. В нем он объяснял и причину, которая заставила его изменить текст телеграммы. Привожу письмо полностью:

«Дорогой Александр Иванович!

Мне очень жалко, что я написал Вам так легкомысленно и шутливо. Обещание повидать Вас и дать через Ваше посредство желаемую телеграмму я бы 12-го, во вторник по своему слову и исполнил.

Но теперь, ввиду происшедших в Гослитиздате изменений, разные вопросы обуревают меня<sup>1</sup>. Может быть, важно было, чтобы дать телеграмму уговорили меня Вы лично, а не кто-нибудь другой и чтобы она была при Вашем участии? Мне это именно только и дорого, т. е. личная нота моих с Вами отношений, а больше ничего. И тогда, если хотите, текст телеграммы я прилагаю к письму и отдаю Вам в руки для любого использования, для отправки по адресу или уничтожения, если эта телеграмма какое бы то ни было приобретение для Вас.

Это я делаю только в исполнение Вашей просьбы, от которой я долго увиливал, так как нелегка она и не заключает для меня ничего отрадного. Но и только.

Мне хочется, чтобы Вы знали, что я не только не жажду появления «Живаго» в том измененном виде, который исказит или скроет главное существо моих мыслей, но не верю в осуществимость этого издания и радуюсь всякому препятствию.

Так что это письмо и телеграфическое приложение к нему и ускорение назначенного к 12-му разговора не меры на пути реализации договора и сдачи романа в набор, а только звено наших личных отношений, которые единственно реальны для меня во всем этом, мне чуждом и вредном тумане.

Телеграмму я должен был составить серьезно, с определенными сроками, а не в виду просьбы «навсегда», потому что хотя она и дается коммунисту издателю, но при этом человеку реальному и деловому, и надо показать, что и просьба его о деле.

Я прошу о полугодовой отсрочке, в течение которой может выйти советское издание, но спорить о сроках не имеет смысла, т. к. ведь все это неосуществимо — противоречивое намерение (издание «Живаго» в Гослитиздате) и телеграмма только исключите-

---

<sup>1</sup> 28 ноября 1956 г. умер директор Гослитиздата — А. К. Котов.

льная формальность. Мой ломаный и забытый итальянский язык как раз и подходит к телеграфным сокращениям и может быть понят получателем только в телеграмме.

Если Вы ее пожелаете отправить, мне кажется, не надо давать ее на отредактирование нашим переводчикам с итальянского, но оставьте у себя копию.

Извините, что утомил Вас длинным письмом. Мне жалко, что разница во взглядах делает невозможным для Вас почувствовать, как я Вас люблю и уважаю

Ваш *Б. Пастернак*».

За строками этого письма, составленного в доверительном тоне, угадывается духовное напряжение автора, которому очень хотелось бы увидеть свой роман напечатанным у нас на Родине, и опасение, что это может произойти ценою непоправимых уступок, искажающих замысел произведения, с другой стороны, не хотелось бы порывать совсем с Фельтринелли — последний (на крайний случай) шанс обнародовать «Живаго» в первоначальном виде. Фельтринелли — член Компартии Италии, и это тоже аргумент в пользу деловых отношений с ним. Непрактичный Борис Леонидович весьма верно понимает, что не все зависит от издательства, как бы хорошо оно к нему ни относилось. Веря в мою искренность и доброжелательность, он легко догадывается, что и я — лицо зависимое и сам не смогу решить все спорные вопросы.

Колесания и сомнения овладели и нами. Благородна ли будет вся эта игра, не поставим ли мы себя в неловкое положение перед автором?.. И все же решили попробовать. Телеграмма Фельтринелли с текстом, составленным Борисом Леонидовичем, отправлена 21 февраля 1957 года. Ответ из Милана получили только 10 июня в виде пространного письма. Но еще до этого — шестнадцатого апреля 1957 года — я получил от Бориса Леонидовича беглую, на ходу карандашом составленную записку:

Дорогой Александр Иванович!

Сердечно благодарю Вас за деньги, устроенные по Марии Стюарт, за поклоны, за память, за участие. Не сердитесь, если узнаете, что прорва, или дыра эту последнюю выплатой еще не заткнута. Как только будет возможно, устройте, пожалуйста, перевод крупной суммы на сберкнижку из ожидающейся книги стихов (од-

нотомнику), или по Фаусту, или, как думает О. В.<sup>1</sup>, но как мне представляется неосуществимым, по роману (но ведь и он, и все вокруг него одна фантаσμαгория!).

Целую Вас, друг мой и благодетель, и благодарю за все, за все. Мучусь несказано, особенно ночами, и не вижу и не знаю, когда это кончится.

Всем в Гослитиздате сердечный, действительно сердечный привет. Ведь это вторая семья моя (или третья?), я от боли счет потерял».

Все наши старания не приносят желаемых результатов, и, предчувствуя беду, как чувствуют птицы наступление непогоды, Борис Леонидович предугадывает драматический конец истории с «Живаго». Шутливо-грустный конец письма только подчеркивает моральные и физические страдания поэта.

Но вернемся к письму миланского издателя. Фельтринелли заверил нас, что печатание «Живаго» задержано до появления в сентябре советского издания. Далее в письме излагалась оценка произведения, отмечалась его высокая художественная ценность, «сближающая автора с великими русскими писателями XIX века»:

«Пастернак замечательно показывает нам Россию, ее природу, ее душу, события ее истории, которые передаются при помощи ясного и конкретного изображения персонажей, вещей и фактов в духе реализма в лучшем смысле слова, реализма, который перестает быть тенденциозным и становится искусством».

В письме говорилось и о спорных суждениях Живаго и других героев о политических событиях. «Удельный вес этих суждений, — по утверждению Фельтринелли, — в книге весьма незначителен, а после XX съезда оглашение некоторых фактов нас больше не волнует и не удивляет».

По мнению автора письма, для западного читателя роман представляет особую ценность, как произведение первоклассного автора, «тот факт, что этот голос в глазах западного читателя принадлежит человеку, не связанному с активной политической деятельностью, делает его слова более искренними и достойными доверия; читатель не сможет не оценить волнующее изображение событий истории русского народа вне всякого идеологиче-

---

<sup>1</sup> Ольга Всеволодовна Ивинская.

ского риторизма, утверждение их значительности и положительных перспектив их развития. Западный читатель вынесет из этого убеждения, что пройденный путь поведет вашу страну вперед, что история капитализма кончена и начался новый период».

В заключении письма утверждалось, что публикация романа не преследует никаких сенсационных целей.

Мы не очень верили в искренность издателя, знали, что Фельтринелли человек сложный, что дело здесь не столько в сочувствии Пастернаку и признании его художественного мастерства, сколько в желании приобрести капитал в общественном и буквальном смысле этого слова. Позднее Фельтринелли вышел из Компартии, проповедовал маоизм и погиб при странных обстоятельствах под сетью проводов высокого напряжения. Вполне возможно также, что текст письма составлял не он, а кто-либо другой, более искренний и сочувствующий нам человек.

В письме было важно одно — до сентября роман в Италии не выйдет, надо торопиться. К редактированию был привлечен один из наших опытейших редакторов — Анатолий Старостин, и мы втроем — Старостин, Банников и я — летом 1957 года стали частыми посетителями пастернаковской дачи в Переделкине.

Личный кабинет Бориса Леонидовича помещался на втором этаже. Это была большая комната с огромным, похожим на самодельный, письменным столом. На столе стоял стакан (деревянный или пластмассовый), полный аккуратно очиненных карандашей, на стене небольшая полочка книг, где рядом разместились Шекспир, Рильке, Гете, Библия, какие-то другие книги. Их было немного, но они, по-видимому, представляли для хозяина кабинета первостепенную ценность. Вдоль стены, напротив, — диван, еще какая-то мебель. Обстановка подчеркнуто спартанская, простая, незатейливая, как сам автор: Борис Леонидович внимательно выслушивал наши замечания и предложения. При первом же посещении попытался просветить нас по поводу замысла романа. Говорил он, часто сбиваясь, растягивая слова, не очень последовательно излагал мысли, не претендуя на красноречие... Из сказанного можно было извлечь следующее:

Роман о русской интеллигенции. Революция — это локомотив, который с огромной скоростью несется



вперед, в будущее. Его нельзя остановить, а на рельсах толпы народа. «Те, которые не раздумывают, успевают вовремя сойти с путей, давая дорогу локомотиву, но кто-то еще размышляет, сомневается, в какую сторону ему отойти. Считанные минуты, и локомотив врежется в толпу нерешительных, давит и калечит их, оставляя кровавый след. Вот об этих колеблющихся, сомневающих, рассуждающих, то есть об интеллигентах, и написан мой роман, героем которого является совсем неплохой, талантливый человек — доктор Живаго. Я его не разоблачаю, я ему сочувствую».

Наши замечания, поправки Борис Леонидович принимал без охоты, но и без сопротивления, готов был убрать смущавшие нас эпизоды, спорные суждения. Помню один из моментов нашей беседы, касавшейся эпилога. Случайно встретившись в конце войны, друзья Живаго — лейтенант Гордон и майор Дудоров, тоже пережившие в свое время аресты и лагеря, — вспоминают прошлое, и один из них ополчается против колхозов: «Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою и в ошибке нельзя было признаться». Я спросил Бориса Леонидовича — бывал ли он в колхозах, и тот ответил, что, в сущности, не бывал или лишь проезжал через колхозные владения, как это было в Грузии, что-то наблюдал в переделкинском совхозе.

— Достаточно ли этого, чтобы делать какие-либо выводы о колхозах? — спросили мы.

— Да, я мало что знаю о колхозах, но мне говорили, что колхозы не удались... Но я и не настаиваю на этом месте, давайте уберем.

Борис Леонидович теперь часто болел, но порою болезнь отпускала, и тогда появлялся прилив энергии, уверенность в своей правоте, убежденность в правильности избранного пути — независимом и тернистом.

Это было осенью 1957 года, в один из погожих ноябрьских дней, когда по-летнему яркое солнце уже не прогревает осеннюю прохладу. Борис Леонидович спустился нас провожать без плаща — в одном костюме. Он стоял на ступеньках крыльца и махал нам рукой. Его стройную фигуру освещало солнце, на лице сияла улыбка, и казался он совсем молодым, одухотворенным, влюбленным в жизнь. Я видел его в последний раз. Таким он представляется мне изваянным из бронзы.

Тем временем полгода, отпущенные нам Фельтринелли, протекали. Кто-то об этом вспомнил, и вопрос о ру-

кописи «Доктора Живаго», о ее дальнейшей судьбе был поставлен на секретариате СП СССР, который вел А. А. Сурков. Докладывал Анатолий Старостин, сообщивший, что редактирование романа закончено. Заявление его было встречено в штыки. В ход пошла известная формула — «черного кобеля не отмоешь добела». Сама идея доработки романа была сочтена абсурдной. Советские на том и кончились, и мы, как побитые, ушли, поняв, что дальнейшая дорога к изданию «Доктора Живаго» закрыта.

Наступил роковой сентябрь. Фельтринелли издал роман, а вскоре последовала и Нобелевская премия его автору, — правда, с такой формулировкой: «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».

Но это было уже в октябре 1958 года. А сейчас? Праздник на улице Пастернака длился недолго! Работа над «Избранным» приостановлена, вопрос об издании у нас «Доктора Живаго» снят с повестки дня, одолевают болезни, вновь встает денежный вопрос.

Двадцать седьмого мая 1957 года новое письмо — грустное, безнадежное:

«Дорогой Александр Иванович!

Как жалко, что вы не посмотрели «Марию Стюарт», — мне так этого хотелось!

Я говорил Григорию Ивановичу<sup>1</sup>, что не верю ни в издание романа, ни даже в выход стихотворной книги».

Далее Борис Леонидович просил перечислить ему часть гонорара и заканчивал письмо такой грустной нотой:

«Грустно как-то. И до такой степени, что затягивающаяся болезнь, доставляющая много физического страдания, — лишь полбеда. А можно было бы жить, работать...

Ваш Б. Пастернак».

В ожидании самого худшего и задолго еще до присуждения Нобелевской премии Борис Леонидович с тревогой заглядывает в будущее, думает о самых простых житейских делах, о том, например, как содержать

---

<sup>1</sup> Владыкин Г. И. — директор издательства.

большую, разросшуюся семью. Желание материально себя обеспечить на завтрашний день заставляет его вновь и вновь обращаться к издателям. Ольга Всеволодовна Ивинская приводит в книге своих воспоминаний неотосланное ко мне письмо. И в нем тот же самый денежный мотив и сгущающаяся грусть.

Дорогой Александр Иванович!

Я сам своими частыми заболеваниями и больницами так надоел себе, что, наверное, еще больше должен надоесть Вам и самым близким людям. Я не верю в возобновившееся шевеление вокруг моего стихотворного сборника и толки о возможностях напечатания романа. Никогда этого не будет, ни к чему эти разговоры не поведут.

Но и мифы о моей мнимой состоятельности преувеличены. Раньше или позже, и, может быть, довольно скоро, мне понадобятся большие деньги<sup>1</sup>. Как хорошо было бы, если бы, как в былые годы, вместо гаданий о вещах неосуществимых издательство согласилось переиздать мои переводы шекспировских трагедий, как в сборнике 1958 года. Скажите О. В., что вы думаете о моих делах, если тут есть что-нибудь думать. Сердечный привет.  
4 марта 1958 г. *Б. Пастернак.*

В газетах еще не было сообщения о решении Нобелевского комитета, а меня и директора издательства Г. И. Владыкина вызвал к себе министр культуры СССР Н. А. Михайлов. Беседа была доверительной и кончилась поручением.

— Вот что,— сказал Николай Александрович.— Пастернаку присуждена Нобелевская премия. Поручаю вам двоим от имени издательства и от нашего имени отправиться немедленно в Переделкино и поздравить награжденного.

Владыкин наотрез отказался, а я промолчал, и это мое молчание было воспринято как знак согласия.

---

<sup>1</sup> Справедливости ради надо сказать, что материальное положение Бориса Леонидовича в это время (1956—1957 гг.) было удовлетворительным. В феврале 1956 г. издательство выплатило ему 50% гонорара за «Избранное» в сумме 59 750 рублей, в старом исчислении, после одобрения перевода «Марии Стюарт» (1957 г.)— 28 144 р. Всего же — 87 894 р., или 8789 в новом исчислении. Но Б. Л. думал о будущем, о шатком своем физическом состоянии, о семье, которая могла бы остаться без средств существования.

К Пастернаку я в тот день не поехал, решив дождаться утра, а утром, в самом начале рабочего дня, позвонил Михайлов, чтобы узнать о результатах моей поездки.

— Пузиков заболел,— сказал Владыкин, и в телефонной трубке послышался вздох облегчения.

Из всего этого мы сделали вывод, что вопрос о том, как отнестись к награждению, решался непросто. Кто-то с кем-то спорил.

Нет нужды излагать ход всех событий — собрание писателей, осудивших поведение Пастернака, исключение из СП, письмо Бориса Леонидовича в «Правду» о том, что он не собирается покинуть Родину, довольно безобидная проработка в издательстве тех, кто стремился к изданию романа и «Избранного», расторжение договора с Пастернаком, задержка издания поэтического однотомника.

После «проработочного» собрания в издательстве я получил от Николая Васильевича Банникова письмо:

Дорогой Александр Иванович!

Горячо благодарю тебя за благородное заступничество, которое устранило возможность подозрения публики в том, что у меня были какие-то диверсионные намерения, сказанное тобой на партийном собрании полностью соответствует действительности и еще раз свидетельствует о твоём светлом сердце».

Эпилогом моих воспоминаний будет маленькое резюме:

В конечном счете вся эта возня вокруг романа оказалась одним из эпизодов холодной войны, жертвой которой стал действительно замечательный наш русский поэт — Борис Леонидович Пастернак.

Были и мы «хороши» во всей этой истории!

---

---

## Н. И. Гаген-Торн

От составителя

*Нина Ивановна Гаген-Торн (1900—1986) — известный советский этнограф, кандидат географических наук. Еще в молодости она познакомилась с Андреем Белым, произведшим на нее неизгладимое впечатление (ее воспоминания о Белом напечатаны в сборнике «Андрей Белый. Проблемы творчества»). Это знакомство привело Н. И. Гаген-Торн к тому кругу духовных исканий, который был для Белого чрезвычайно важным.*

*Как и многие русские интеллигенты, Гаген-Торн дважды — в тридцатые и в сороковые годы — прошла тюрьмы, этапы и лагеря. В этом аду ее спасала наука, которой она искренне была увлечена, и литература, непосредственно связанная с представлениями о мире, сформировавшимися еще в двадцатые годы. В нынешней публикации мы представляем читателям как раз те документы из ее архива, которые рассказывают о литературной стороне таланта Н. И. Гаген-Торн. Отрывок под названием «КВЧ» — глава из ее воспоминаний «Второй тур», рассказывающих об аресте в 1948 году и последующих лагерных годах. С этими же воспоминаниями связан и отрывок «О себе и о Ломоносове» (текст поэмы также сохранился в архиве). Особый интерес представляет для нас в преддверии столетия со дня рождения Б. Л. Пастернака его письмо к Нине Ивановне, рассказывающее о впечатлениях от первой части этой поэмы.*



Нина Ивановна Гаген-Торн.  
Фотография 50-х годов

*Наконец, ряд стихотворений Н. И. Гаген-Торн представляет нам ее поэтическое творчество и является фактически первым знакомством широкого читателя с этим незаурядным явлением.*

#### КВЧ

Культурно-воспитательная часть — самое противоречивое явление советских лагерей. Детище времен Дзержинского, когда искренне верили, что лагеря перевоспитывают людей, приобщая к культуре, КВЧ сохранилась в разгар сталинских неистовств.

В 1936 г. на Колыме еще были отголоски прежних идей в легендах об Эдуарде Берзине.

При Берзине, говорили старые уркаганы, заключенные получали зарплату. По окончании срока человек выходил с деньгами, чтобы начать новую жизнь. При Берзине, если человек хорошо работал, ему разрешали жениться и отводили отдельную комнату. Были школы и библиотека для заключенных.

Встречались тогда воспитатели-коммунисты, готовые душу отдать, чтобы сделать тебя человеком.

Но Эдуарда Берзина в 1936 году вызвали в Москву и расстреляли. Колымские лагеря наполнили 58-ой статьей, которую не предполагали воспитывать: над Колымой принял власть полковник Гаранин.

Он расстрелял 10 тысяч человек, приписав им саботаж или попытку к бегству. Потом сам Гаранин был расстрелян. Люди в лагерях продолжали гибнуть от истощения, непосильной работы и произвола.

А КВЧ осталась. Она занималась устройством спектаклей. На Эльгене ставили «Коварство и любовь» Шиллера. Не только «шалашня» — блатные девчонки, — мужчины-уркаганы утирали слезы — урки сентиментальны и любят сильные страсти.

Театр процветал: в лагерях были народные артисты, певцы, художники. Из якутских лагерей приехал молодой уркач и рассказывал: какой-то с Москвы, Мейерхольд, обучал играть на сцене.

Художник В. И. Шухаев писал декорации в магаданском Доме культуры. Я видела, как он, высокий и худой, шел по Магадану, сутулясь в своей телогрейке. Стрелок с автоматом вел его из Дома культуры в барак.

Русланова пела где-то на лагерной сцене.

После войны в Ярославских лагерях были Радловы. Мне рассказывала о них на 10-м лагпункте берлинская немка фрау Майер. Она дружила в Ярославских лагерях с «фрау Анна Радлофф». Фрау Анна с мужем ставили постановки для вольных, им разрешили выписывать книги.

— Материально неплохо жили, — рассказывала фрау Майер, — но фрау Анна все тосковала, а потом — умерла.

«Самодеятельные спектакли» превращались в крепостной театр: подневольные артисты развлекали начальство. В «Мертвой дороге» Побожий описал такой крепостной спектакль («Новый мир», 1964 г.). Но подневольное искусство — все же искусство, и артисты играли, не только оберегаясь от тяжелой работы, а находя разрядку душевных сил, выход из бессмысленного существования. Крепостное представление было не только потехой начальства, но и отрадой з/к.

Функции КВЧ разнообразны. В Темниках КВЧ занималась:

1) Книгами: их то разрешали выдавать заключенным, то отбирали — приказы менялись;

2) воспитанием заключенных при помощи лозунгов и плакатов: «Честный труд искупает вину», «Кто не работает — тот не ест»; призывали выполнять норму, рисовали диаграммы выполнения плана;

3) самодеятельностью: редкие дни отдыха рекомендовалось заполнить зрелищем. Начальство понимало, что зрелище сохраняет контроль за рабочей силой.

Начальником КВЧ был молодой лейтенант. Он не работал — это не полагалось вольным, но руководил заключенными. Секретарем стала Надя Лобова. Может, потому, что на воле она тоже была лейтенантом. Кроме секретаря полагались художники, но их не было, когда мы прибыли.

Пришел новый этап.

— Нет ли художниц? — спросила Надя Лобова.

— Я художница, — откликнулась молодая женщина в «вольном» свитере. У нее удлиненные прозрачные глаза, нервный рот и пепельные кудри под беретом.

— Художница? — обрадовалась Надя. — Откуда? Как фамилия?

— Из Москвы... Андреева.

— Пойду скажу в УРЧе.

УРЧ (учет рабочей силы) направил Аллу Андрееву в художественную мастерскую. Ей повезло: в мастерской и работать и жить, вместе с Надей Лобовой.

Там большие окна; в солнечных лучах банки с красками, рулоны бумаги на длинном столе. Дальний угол загорожен фанерным щитом для плакатов. За ним два топчана и тумбочка. Минутами можно просто забыть, что лагерь. Я любила туда ходить. Вызовет начальник Лобову в свой кабинет, останусь с Андреевой. Она читает наизусть стихи своего мужа, Даниила Андреева, рассказывает об искусстве. Я читаю ей своего «Ломоносова» — не так часты квалифицированные слушатели.

Алла, между разговорами об искусстве, о росте культуры в нашу эпоху, рассказала об аресте и следствии. Неужели искренне восхищалась следователем? Утверждала, что понимает необходимость социальной борьбы, сообщила:

— Мы с ним сумели договориться, он убедил меня во многом: мы были не правы в своем скептицизме к Советской власти.

— Ну, в чем же он вас убедил?



— Что растет иная культура. Такая, которая создала новую интеллигенцию, других убеждений, но понимающую то, что дорого нам. Он говорил: «Мы с вами политические противники, но это не значит — враги. Вы жили в московской, интеллигентской ячейке, не зная жизни и стройки страны. Вспомните, что мы, коммунисты, выиграли войну с великими жертвами, и поймите необходимость бдительности. Имейте мужество говорить прямо, если у вас есть разногласия с нами!» И я поняла, что он прав! — воскликнула Алла, гордо подняв голову. — Следователь мой, во всяком случае, культурный человек. Вставал, когда меня приводили на допрос, предлагал: «Садитесь, пожалуйста, Алла Александровна». Я сказала, что верю в Бога, в роль христианства. Он цитировал Блока:

Инок шел и нес святые знаки  
На пути в желтеющих полях.

Или что-то другое, он много цитировал Блока... Мы говорили о многом.

Мне был не нов такой прием следствия: в 37 году камера ахала над глупостью маленькой женщины, жены видного командира, — следователь уверил ее, что влюблен.

Идя на допрос, она мазала брови пережженной спичкой, пудрилась зубным порошком. В кабинете следователя ее ждали пирожное и вино. Угощая, следователь рассказывал ей о шпионских злодеяниях ее мужа и восхищался ее женственной прелестью. Твердил: «Из-за него вы страдаете, я верю вашей невинности. Он совершал преступления, не думая о вас, зачем же вы стараетесь его прикрыть? Подтвердите, что он глава диверсионной группы, и я, как честно указавшую врага, смогу вас освободить». Она не знает про это? Пусть поверит ему, она же видит, как он к ней относится.

Женщина возвращалась в камеру как в чаду. Почти ежедневные вызовы по вечерам, ужин, тонкое вино, удобное кресло... Она привыкла. Вдруг месячный переыв — не вызывает! Непонимание, ожидание, тревога...

Наконец снова вызов. Следователь ахнул: как похуда, как побледнела! «Как вы замучились! Я месяц был в отъезде по вашему же делу... Попытка спасти вас — пусть виновный несет наказание, но не вы... Подпишите показания, которые я для вас составил, и завтра же вы на свободе. Я увезу вас в Крым, мы будем счастливы...»

Она подписала: видела у мужа диверсионную группу. Следствие было окончено. Следователь больше не появлялся, ее перевели в Кресты и дали 10 лет.

Все было примитивно, как в старом кино: дурочка клюнула на любовь, как рыбка на червяка.

Но Алла, интеллигентный человек, как могла она не понять, к чему ведут разговоры со следователем?

Она рассказывала, как следователь спрашивал:

— Скажите, Блок сродни Владимиру Соловьеву? А переводчик Коваленский, кажется, тоже сродни?

— Да.

— Это очень интересно! Вы ведь с ним в одной квартире жили?

— Да, он муж Добровой, двоюродной сестры моего мужа.

— И Коваленский ценил талант Даниила Леонидовича?

— Он ему завидовал.

— Ах так! Но он слушал его произведения?

— Конечно!

(«Хлоп! — подумала я, — западня поймала Коваленского и Доброву»).

А Алла продолжала упоенно рассказывать, с каким интересом спрашивал следователь о творчестве Даниила Андреева: он ценил его творчество, литературную силу романа. И Алла рассказала ему, как созревала замысел романа, кто слушал его чтение и какие высказывал мысли. По делу о написанном Даниилом Андреевым романе село около 200 человек, получив сроки от 10 до 25 лет. Сама Алла получила 10 лет лагерей...

Она рассказывала мне все следствие, спокойно рисуя плакаты о производстве и беседуя об условности моральных понятий добра и зла, о Достоевском и судьбах русской литературы. И страннее всего то, что у меня не было к ней негодования: все казалось настолько потусторонним, лежащим в ином пласте сознания, что не воспринималось. Вспоминая теперь, ощущаешь ту логику как логику сна.

Вторым художником КВЧ была «пани Фуля». Она появилась позднее, глубокой осенью, с тем этапом, что держали в осеннюю ночь за воротами, а дневальная, пани Бут, ждала у барака, надеясь узнать что-нибудь о доче-

рях. Когда впустили и они ринулись в наш барак, продрогшие, — мне бросилась в глаза, среди мятущейся толпы, хрупкая фигура с огромными черными глазами на молодом лице, с совершенно седой головой. Заговорила с ней. Не наша манера держать себя; твердый польский акцент.

— Вы давно в Советском Союзе?

— 3 войны, пани.

— Откуда?

— 3 Варшавы.

— Большой получили срок?

— 10 лет, прошу пани.

В лагерях не принято расспрашивать. Вежливость позволяет спросить: срок, статью, имя. Дальше человек сам, если хочет, расскажет. Что расскажет — его дело.

На воле человек — как изюмина в тесте — сидит в своей среде. В лагерях он без среды и без прошлого. Все по ту сторону — неизвестно, условно, призрачно. Прошлое он воссоздает по своему желанию. Настоящее — сегодняшний лагерный день, где он отражен в проявлениях, как под лучом прожектора. Чем труднее и беспощаднее настоящее, тем милее и прекраснее прошлое. В нем часто о желаемом рассказывают, как о бывшем. Так в 37-м году женщина в камере, на моих глазах, выдумала себе ребенка. Войдя в камеру, сказала, что у нее нет детей. Почти у всех в камере — были. О детях говорили, волновались, плакали. Ей показалось, что у нее тоже был ребенок. Через месяц он оброс плотью; она рассказывала, какие у него глаза, волосы, как он смеется, — «весь в отца». Она тосковала о нем и плакала, как другие. Это не было ложью. Это состояние сознания, где стерлись грани между желанным и бывшим. Чем это вызвано? Вероятно, тем, что настолько неправдоподобна была ложь, возведенная на нас, настолько невозможно было вообразить себя или окружающих женщин диверсантками, шпионками, террористками, что являлась потребность в правдоподобной и утешительной выдумке. Социальная ложь заражает. Прошлое принималось условно. Оно стало плоскостным отражением желаемого.

Условно «пани Фуля» была принята нами как «писателька». Она сама, пожалуй, верила, что «вся Польша тревожится о ее судьбе», что офицеры, защищавшие Варшаву от немцев, шли с ее именем. Черные глаза ее

горели, и седая прядь вдохновенно откидывалась со лба, когда она об этом рассказывала.

Надя Лобова слушала, изумленно открыв глаза, вопросительно поглядывая на Аллу. Алла смаковала романтику. Она нежно заботилась о Фуле, учила писать художественным шрифтом плакаты, растирать краски.

Я приводила своих друзей отдохнуть в мастерской, выпить чаю с печеньем из Аллиной посылки, она много получала. Но Александра Филипповна Доброва не ходила.

Как они встретились? Алла принесла ей печенье и масло. Александра Филипповна медленно посмотрела на нее. Ничего не сказала. И — взяла.

— Не ведает, что сотворила,— вздохнув, сказала она потом Нине Дмитриевне,— но не надо злобы, я устала от злобы; чтобы остаться живой, надо, необходимо надо, верить в Бога — это дает силы. И — прощать; это тоже дает силы. В мире чересчур полно злобы и мести.

— Да, злоба тяготит, принижает,— согласилась Нина Дмитриевна...

#### О СЕБЕ И О ЛОМОНОСОВЕ

У всех народов при похоронах и свадебных обрядах бывали плакальщицы. Они необходимы. Душа человеческая, наводненная силой переживаемого, теряет перед болью. В растерянности и бессилии перед совершающимся ищет форму, структуру. Для этого переживание необходимо ритмизировать. Человеку часто не хватает сил создать ритм самому. Нанимают плакальщиц, чтобы они организовывали его растерянность перед горем, дали художественное воплощение.

Так было в примитивных формах культуры. При усложнении ее человек всегда мог получить готовую форму: книги, картины, музыку, выражающую его переживания. Все сложное тысячелетнее накопление культуры.

В лагерях мы, интеллигенты, были лишены привычного наследия. Мы испытывали голод ума, лишённого привычной пищи — работы.

Пласт за пластом были сняты верхние корки сознания. Оставался трепещущий пульс глубинного слоя. Его можно было питать только стихами. Только стих утверждается в памяти без бумаги и книг. Я в лагерях

практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен, былин,— иначе не затвердишь, не запомнишь.

Книги были у нас случайностью; их то давали, то лишали. Писать запрещалось всегда...

Чтобы сохранить себя внутренне, нужно было отключиться от лагеря. Ясное понимание этой необходимости у меня уже было из опыта Колымы. Расскажу о том, какой я придумала себе отключатель (другие придумывали другой, но мой тоже интересен, как всякий правдивый рассказ о человеческом сознании, поставленном в нечеловеческие условия).

Это началось еще в карцере: чтобы не задыхаться, я переключалась на просторы Северной Двины, нырнула в блеск текущей воды своей юности. И стала нечувствительной к спертому воздуху. Чтобы объективизировать переживание, я приписала его Ломоносову. Было удобнее: не я — величина неизвестная,— а мощный и сильный человек, имеющий основания на бунт, на спор с историей, ходит и думает:

Если музу видит узник —  
Не замкнуть его замками.  
Сквозь замки проходят музы,  
Смотрят светлыми глазами.  
Тесны каменные стены.  
Узок луч в щели окна,  
Но морским дыханьем пенным  
Келья тесная полна.

Михаил Васильевич освобождал меня. Возвращая себе самой. Я или он ходили по камере? Все равно! Ходил человек.

И если ты попал в беду,  
К тебе наверно подойдут  
Глубокой горечи часы...  
Но воля силы воскресит!  
Ты — человек! И морды тех  
Зверей, что бродят в темноте,  
Тебя не в силах утратить.  
Ты — Человек! Ты будешь жить...

Так утешала я себя в камере. А в лагерях догадалась собрать все в Ломоносове.

Летом редок выходной день, но вдруг дали. Женщины толпятся под навесом у плиты. Здесь разрешают готовить продукты, полученные в посылках. Стоят

в очередь кастрюльки. Варят каши, пекут блины. Муравьишками суетятся, радуясь минуте, когда принадлежат себе...

Брожу по лагерю, мучима голодом. Другим голодом: почему я должна, как сказочный пеликан, питаться кровью собственной души? Как смеют лишать меня умственной пищи?! Разве я староста барака, обязанности которой следить за порядком, морить клопов? Нет, я — этнограф.

Меня из Академии убрать?  
Из Академии — меня?!  
Вы разве можете понять,  
Что это значит? От огня,  
Во мне горящего и ночь и день,  
Ведь как береста ваша лень  
Скореежится. Вы прахом и золой  
Рассыплетесь передо мной!  
Что надо вам? Покой, чины.  
Вы мыслей пухлые блины  
Печете в кухонном чаду  
И думаете, я уйду?

Кто говорит? Кто это говорит в зоне, бродя по дороге, обсаженной чахлыми березками? Я? Нет, это говорит Михаил Васильевич Ломоносов, когда одолевают его враги, засевшие в конференц-зале. Он и сказал:

Я знаю собственных Платонов  
И быстрых разумом Невтонов  
Россия может породить

Осенний рассвет в заморозках. Ледок на лужах. Как льдинки просветы неба в летящей куще туч. За зоной еще не улеглось рассветное движение птиц и деревьев. В зоне — торопливое передвижение людей: скоро развод. Бегут в столовую. Там полутьма. Толпятся темные фигуры. Над досками столов пар — дымятся миски. Склоненные головы хлебают: мелькают ложки. Мне не надо на развод. Я спокойно стою на помосте. В холодном воздухе запах хлеба и прелых щей. И с той же яркостью, как видимое, встает противоположное:

Немало милостивых слов.  
Царица графу посылала,  
Немало праздничных пиров  
В честь государыни даров  
Давал обласканный Шувалов.  
Но это пир среди пиров,

Всех веселее и нарядней:  
Хрусталь украшенных столов  
И горы фруктов и цветов,  
Литавры музыки парадной...  
И море радостных свечей  
Зеркал дорога отражает.

Я вижу прежде всего эту сияющую дорогу свечей. Она преображает сырую полутьму столовой. Она встает повторяющимися рифмами, смысла которых я еще не понимаю. А потом догадываюсь: это ведь Ломоносов приходит на пир к Шувалову! Где встречает Сумарокова... Ну конечно, это о нем. Я уже ушла из столовой и бреду по опустевшей зоне. Все ушли на развод. Здравствуйте, граф Шувалов! Вы встречаете Ломоносова? Образ наматывается, как провод на большую катушку. Он вывел меня из лагеря. Меня превратили в старосту барака? Я себя превратила в Ломоносова и ушла из лагеря. Я — неуязвима.

#### ПИСЬМО Б. Л. ПАСТЕРНАКА

8 февраля 1955.

Милая Нина Ивановна!

Я прочел Вашу рукопись до 40 страницы, до посещения Ломоносовым Шувалова на Фонтанке. Все это родилось у Вас очень живо, но неровности отделки ставят Ваш труд в невыгодное и ложное положение. Места, где вдохновенная небрежность слова и свободное течение рассказа сочетаются с хорошими и оправдывающими их образами, чередуются с местами совсем иного значения, лишенными этого оправдания, производящими впечатление неряшливости и бесформенности, и, однако, изложенными в том же тоне. Это чередование удач с неудачами, внешне неотличимое на невнимательный слух, может обесценить всю поэму в целом.

Вам надо позаботиться о большем единстве стиля и выражения не в этой вещи, а на будущее время, в виде постоянной основы для Ваших дальнейших начинаний.

Мне приятно было познакомиться с поэмой. Все о севере, море, поморах, рыбном обозе, заиконоспасском училище и Москве очень хорошо.

Так вольно и образно писали вслед за символистами в начале революции. За истекшие десятилетия всех на-

учили писать серее, однообразнее, логичнее и более связно.

Я не знаю, что Вам посоветовать в смысле устройства рукописи. В этих делах я не влиятелен и несведущ.

От души Вам всего лучшего.

Ваш *Б. Пастернак.*

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### КОЛЫМА

Мы выходим на рассвете,  
Целый день стоим с пилой,  
Где-то есть жена и дети,  
Дом, свобода и покой.  
Мы о них давно забыли —  
Только болью ноет грудь.  
Целый день мы пилим, пилим  
И не можем отдохнуть.  
Но и ночью отдых краток:  
Только, кажется, прилег  
В мерзлом холоде палаток,  
Уж опять гудит гудок,  
И опять мы начинаем.  
Режет ветер, жжет мороз.  
В Колыме, — я твердо знаю, —  
Сколько снега, столько слез.

\*

Что же? Значит, истощенье?  
Что же — значит, изнемог?  
Страшно каждое движенье  
Изболевших рук и ног.  
Страшен голод: бред о хлебе.  
«Хлеба, хлеба», — сердца стук.  
Далеко в прозрачном небе  
Равнодушный солнца круг.  
Тонким свистом клуб дыханья,  
Это — минус пятьдесят.  
Что же? Значит, умиранье?  
Горы смотрят и молчат.



\* \* \*

Тихо пальцы опускаю  
В снов синеющую воду.  
Снег весенний в полдень тает,  
Оседая — пахнет медом.  
По лесам проходят тени,  
Улыбаясь дальним склонам.  
В неба колокол весенний  
Солнце бьет широким звоном.  
Я сижусь, смежив ресницы,  
В пальцах сны перебирая,  
И душа, тяжелой птицей,  
К небу крылья подымает.

\* \* \*

Я раскрываю ладони,  
И сердце, звеня, вылетает.  
В синего неба затоне  
Солнце, как лебедь, играет.  
Где ты, о, где ты?  
Гагары, кликуши,  
Уток несущихся стаи.  
Чьи это белые души  
К небу из снега взлетают?  
Сердце поющее скоро  
Сыщет тебя среди птицы.  
Солнечный конь златоперый  
Крыльями бьет, чтоб на землю спуститься.

АНДРЕЮ БЕЛОМУ

1

Не пролей! Я поставлю тебе на ладони  
Сосуд, до краев налитый.  
Это сердце мое. Оно больше не стонет,  
В нем стихи, как в стакане открытом,  
В нем мысли чайнками плавают  
В настоящем крепком чае.  
Ни любви, ни тоски, ни славы,  
Лишь тебя мое сердце знает.

Положи мне на лоб ладонь,  
 Помоги, как всегда:  
 Дрожит, упираясь, конь,  
 Чернеет в провалах вода.  
 А мне надо: идя во льдах,  
 Слушать твои стихи.  
 Только кони впадают в страх  
 Перед разгулом стихий.

Что мне делать с твоими  
 Вложенными в меня стихами?  
 Я твержу твое имя —  
 Как оберег и как знамя.  
 На годы тебя забываю,  
 Заботой живя земною...  
 Но непреложно знаю  
 Руку твою надо мною.

Умер. Положили на дроги.  
 Долго везли мостовыми.  
 Сожгли. И немногие  
 Помнят самое имя.  
 А был он такой, что Вселенную  
 В тонкой держал ладони.  
 Травы над ним смиренные  
 Спины зеленые клонят.

#### «ПЕТЕРБУРГ»

Он над городом шляпой взмахнул,  
 И из шляпы легли: на торцы —  
 Лакированный мрак, на дворцы —  
 Из проспектов влетающий гул;  
 Над Невою встающая гарь,  
 Красной маски тревожный фонарь.  
 Он стоял пред высоким мостом,

И Хозяин с коня соскочил,  
Наклоняясь, чугунным перстом  
План на снегу начертил.  
Он дошел до стрельчатых ворот,  
Поднялись оба каменных льва.  
И он понял, что создал он тот  
Город снова — рожденным в слова.

\* \* \*

«Во блаженном успении  
Вечный покой...»  
Ни церковного пения,  
Ни креста над тобой.  
Не с венками, с оркестрами  
Хоронить понесли,  
И не выбрала места я  
У родимой земли.  
Над тобой не кричала я  
И волос не рвала,  
Только пташечка малая  
Весть ко мне принесла:  
«Выпил брагу он хмельную  
За тебя, за народ,  
И лежит он застреленный,  
И к тебе не придет».

\* \* \*

Аксинья-полухлебница —  
Зима на перевал.  
Мороз суровый след лица  
В деревьях надышал.  
Стоят они как в сахаре,  
Как сахаром хрустят.  
А бревна ночью ахали,  
С морозом говоря:  
— Ах, колемся, расколемся —  
Тяжка твоя рука!  
Святой Аксинье молимся,  
Заступе бедняка.  
В печи Аксинья солнечный  
Раздует огонек,

Осядет иней полночью,  
Как белый творожок.  
Аксинья-именинница  
Всем шанег напечет;  
Зима на север сдвинется,  
Нам — солнца поворот, .  
В последний раз, Аксинушка,  
Метелица метет.



М. Л. Гаспаров

**ФЕТ БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ**

Композиция пространства, чувства и слова

Чудная картина,  
Как ты мне родна:  
Белая равнина,  
Полная луна,

Свет небес высоких  
И блестящий снег  
И саней далеких  
Одинокий бег.

Это стихотворение Фета — одно из самых хрестоматийных: мы обычно знакомимся с ним в детстве, запоминаем сразу и потом задумываемся над ним редко. Кажется: над чем задумываться? оно такое простое! Но можно именно над этим и задуматься: а почему оно такое простое, то есть такое цельное? И ответ будет: потому что образы и чувства, сменяющие друг друга в этих восьми строках, сменяются в последовательности упорядоченной и стройной.

Что мы видим? «Белая равнина» — это мы смотрим прямо перед собой. «Полная луна» — наш взгляд скользит вверх. «Свет небес высоких» — поле зрения расширяется, в нем уже не только луна, а и простор безоблачного неба. «И блестящий снег» — наш взгляд скользит обратно вниз. «И саней далеких одинокий бег» — поле зрения опять сужается, в белом пространстве взгляд останавливается на одной темной точке. Выше — шире — ниже — уже: вот четкий ритм, в котором мы воспринимаем пространство этого стихотворения. И он не

произволен, а задан автором: слова «...равнина», «...высоких», «...далеких» (все через строчку, все в рифмах) — это ширина, высота и глубина, все три измерения пространства. И пространство от такого разглядывания не дробится, а, наоборот, предстает все более единым и цельным: «равнина» и «луна» еще, пожалуй, противопоставляются друг другу; «небеса» и «снег» уже соединяются в общей атмосфере — свете, блеске; и, наконец, последнее, ключевое слово стихотворения, «бег», сводит и ширь, и высь, и даль к одному знаменателю: движению. Неподвижный мир становится движущимся: стихотворению конец, оно привело нас к своей цели.

Это — последовательность образов; а последовательность чувств? Начинается это стихотворение описанием эмоциональным восклицанием (смысл его: не по хорошу мила, а по милу хороша эта описываемая далее картина!). Затем тон резко меняется: от субъективного отношения поэт переходит к объективному описанию. Но эта объективность — и это самое замечательное — на глазах у читателя тонко и постепенно вновь приобретает субъективную, эмоциональную окраску. В словах: «Белая равнина, полная луна» ее еще нет: картина перед нами спокойная и мертвая. В словах «свет небес... и блестящий снег» она уже есть: перед нами не цвет, а свет, живой и переливающийся. Наконец, в словах «саней далеких одинокий бег» — картина не только живая, но и прочувствованная: «одинокий бег» — это уже ощущение не стороннего зрителя, а самого ездока, угадываемого в санях, и это уже не только восторг перед «чудным», но и грусть среди безлюдья. Наблюдаемый мир становится пережитым миром — из внешнего превращается во внутренний, «интериоризируется»: стихотворение сделало свое дело.

Мы даже не сразу замечаем, что перед нами восемь строк без единого глагола (только восемь существительных и восемь прилагательных!), — настолько отчетливо вызывает оно в нас и движение взгляда и движение чувства. Но, может быть, вся эта четкость — только оттого, что стихотворение очень маленькое? Может быть, восемь образов — настолько небольшая нагрузка для нашего восприятия, что, в какой последовательности они ни предстань, они сложатся в цельную картину? Возьмем другое стихотворение, в котором таких сменяющихся образов — не восемь, а двадцать четыре:

Это утро, радость эта,  
Эта мощь и дня и света,  
Этот синий свод,  
Этот крик и вереницы,  
Эти стаи, эти птицы,  
Этот говор вод,

Эти ивы и березы,  
Эти капли — эти слезы,  
Этот пух — не лист,  
Эти горы, эти доли,  
Эти мошки, эти пчелы,  
Этот зык и свист,

Эти зори без затмения,  
Этот вздох ночной селенья,  
Эта ночь без сна,  
Эта мгла и жар постели,  
Эта дробь и эти трели,  
Это все — весна.

Стихотворение построено очень просто — почти как каталог. Спрашивается, чем определяется последовательность образов этого каталога, какова основа их порядка? Основа — та же самая: сужение поля зрения и интериоризация изображаемого мира.

В стихотворении три строфы. Как они соотносятся, каких перекликающихся подзаголовков просят? Можно предложить два варианта. Во-первых, это (I) свет — (II) предметы — (III) состояния. Во-вторых, это (I) открытие мира, (II) обретение миром пространства, (III) обретение миром времени. В первой строфе перед нами мир целый и нерасчлененный; во второй он дробится на предметы, размещенные в пространстве; в третьей предметы превращаются в состояния, протяженные во времени. Проследим, как это происходит.

Первая строфа — это взгляд вверх. Первое впечатление — зрительное: «утро»; и затем — ряд существительных, словно на глазах у читателя уточняющих это впечатление, подбирающих слово для увиденного: «день», «свет», «свод». Утро — время переходное, со слова «утро» могло бы начинаться и стихотворение о зыбких сумерках; и поэт спешит сказать: главное в утре — то, что оно открывает день, главное в дне — это свет, а зримый вид этого света — небосвод. Слово «свод» — первое очертание, первая граница в открыв-

шейся картине, первая остановка взгляда. И на этой остановке включается второе впечатление — звуковое, и опять проходит ряд слов, уточняющих его до точного названия. Звуковой образ «крик» (чей?) перебивается зрительным образом «вереницы» (чьи?), они связываются друг с другом в слове «стаи» (как будто поэт уже понял, чьи это крик и вереницы, но еще не нашел нужного слова) и, наконец, получают название в слове «птицы» (вот чьи!). Слово «птицы» — первый предмет в очертившейся картине, вторая остановка взгляда, уже не на границе ее, а между границей и глазом. И на этой остановке включается новое направление — впервые не вверх, а в стороны. Со стороны — со всех сторон? — доносится звук («говор...»), и на этот звук в сторону — во все стороны! — скользит взгляд («...вод!»).

Вторая строфа — это взгляд вокруг. Взгляд этот брошен невысоко от земли и поэтому сразу упирается в «ивы и березы» — и от них отбрасывается все ближе, во все более крупные планы: «эти капли» на листьях (они еще отдалены: их можно принять за слезы), «этот ...лист» (он уже совсем перед глазами: видно, какой он пуховый). Приходится бросить взгляд вторично, уже выше над землей; он уходит дальше, пока не упирается в «горы» и «долы»; и от них опять скользит обратно, все ближе, встречая на пути, в воздухе, сперва дальних мелких мошек, а потом близких крупных пчел. И от них, как от птиц в первой строфе, в дополнение к зрительным ощущениям включаются слуховые: «зык и свист». Так окончательно очерчивается внешний кругозор: сперва высокий круг небосвода, потом узкий круг ближних деревьев и, наконец, связующий их средний круг горизонта; и в каждом круге взгляд движется от дальнего обода к ближним предметам.

Третья строфа — это взгляд внутрь. Он сразу меняет восприятие и внешнего мира: до сих пор все образы воспринимались как впервые увиденные (и даже с трудом называемые), здесь они воспринимаются как уже знакомые внутреннему опыту — на фоне ожидания. Ожидание говорит, что вечер сменяется ночью, ночью замирает жизнь и воцаряется сон; и только в контрасте с этим стихотворение описывает «зори без затмения», «вздых ...селеня» и «ночь без сна». Ожидание включает чувство времени: «зори без затмения» — это длящиеся зори, и «ночь без сна» — длящаяся ночь; да и сам переход



от картины утра к картине вечера и ночи невозможен без включения времени. Ретроспективно это позволяет почувствовать временное соотношение и первых двух, статических строф: первая — ранняя весна, таяние снега; вторая — цветущая весна, зелень на деревьях; третья — начало лета, «зори без затмения». И на этом фоне опять проходит сужение поля зрения: небо («зори»), земля («селенье»), «ночь без сна» (всего селенья и моя?), «мгла и жар постели» (конечно, только моей). И, достигнув этого предела, образность опять переключается в звук: «дробь и трели». (Они подсказывают образ соловья, традиционного спутника любви, и этого достаточно, чтобы «дробь и трели» ощущались более интериоризованно, чем «зык и свист» предыдущей строфы.)

Таков образный ряд, определяющий структуру стихотворения. Ему соответствует и постепенная смена эмоциональных окрасок: в начале стихотворения — это слова «радость», «мощь», а в конце — «вздых», «мгла», «жар» (в середине эмоциональная окраска отсутствует — разве что на нее намекает метафора «слезы»: слово, которое одинаково перекликается и с чувством «радости» и с чувством «вздоха»). Так подчеркнуты крайние точки стихотворения: весна с лица и весна с изнанки, весна извне и весна в предельной интериоризации. Все стихотворение между этими двумя точками — путь от света к мгле и от радости и мощи к вздоху и жару: тот же путь от зримого к переживаемому, что и в первом нашем стихотворении.

Как изобразить схематически композицию этого стихотворения — соотношение начала, середины и конца? Всего возможно не так уж много вариантов: по наличию какого-либо признака может быть выделено начало («1-2-2»), конец («1-1-2»), середина («1-2-1») стихотворения, признак может усиливаться или ослабевать от начала к концу постепенно («1-2-3») и, наконец, может быть выдержан ровно («1-1-1»), то есть быть композиционно нейтральным. В нашем стихотворении образный ряд выделяет концовку-интериоризацию — стало быть, схема 1-1-2; а эмоциональный ряд выделяет сгущение эмоций в начале и конце вокруг ослабленной середины — стало быть, схема 1-2-1.

Но это только один уровень строения текста, а всего в строении всякого текста выделяются три уровня, каждый с двумя подуровнями. Первый, верхний, — идейно-образный, семантический: во-первых, идеи и эмоции

(эмоции в нашем стихотворении мы проследили, а идей в нем попросту нет, если не считать идеей, например, утверждение «весна — это прекрасно!»; стихи без идей имеют такое же право на существование, как, скажем, стихи без рифм, и только в отдельные эпохи «безыдейность» становится бранным словом, — за безыдейность, как мы знаем, современная критика очень бранила Фета), во-вторых, образы и мотивы (потенциально каждое существительное, обозначающее лицо или предмет, — это образ, каждый глагол — мотив). Второй уровень, средний, — стилистический: во-первых, лексика, во-вторых, синтаксис. Третий уровень, нижний, — фонический, звуковой: во-первых, метрика и ритмика, во-вторых, собственно фоника, звукопись. Различаются эти уровни по тому, какими сторонами нашего сознания мы воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний, звуковой, уровень мы воспринимаем слухом: чтобы уловить в стихах хореический ритм или аллитерацию на Р, нет даже надобности знать язык, на котором оно написано, это и так слышно. Средний, стилистический, уровень мы воспринимаем чувством языка: чтобы сказать, что такое-то слово употреблено не в прямом, а в переносном смысле, а такой-то порядок слов возможен, но необычен, нужно не только знать язык, но и иметь привычку к его употреблению. Наконец, верхний, идейно-образный, уровень мы воспринимаем умом и воображением: умом понимаем идеи и эмоции, зрительным воображением представляем себе синий свод, а слуховым — говор вод. Разумеется, такая систематизация (предложенная в 1920-х годах Б. И. Ярхо) не является единственно возможной, но она представляется нам самой практически удобной для анализа стихов.

Если так, то приостановимся и посмотрим, как переключаются с композицией прослеженного нами идейно-образного уровня остальные уровни фетовского стихотворения.

Лексико-стилистический аккомпанемент — это три отчетливо выделяющиеся стилистические фигуры, по одной в строфе. В первой — гендиадис («Эти стаи, эти птицы» вместо «эти птичьи стаи»; «гендиадис» буквально значит «одно выражение — через два»). Во второй — две метафоры («капли — слезы», «пух — лист») с хиастическим, крест-накрест, расположением членов параллелизма (точное слово — метафорическое — метафорическое — точное). В третьей — две

антитезы («зори без затмения», «ночь без сна»); к ним можно прибавить метонимию «вздых... селенья» и, может быть, гиперболу («зори без затмения» в июне реальны на широте белых ночей Ленинграда, но не реальны на широте орловских поместий Фета). Первая фигура укладывается в одной строчке, вторая в двух, третья в трех. Гендиадис — фигура тождества, метафора — фигура сходства, антитеза — фигура контраста: перед нами — последовательное нарастание стилистической напряженности. Схема — 1-2-3.

Синтаксический аккомпанемент — это однообразие непрерывных конструкций «это...» и разнообразие придаваемых им вариаций. Из шести коротких строчек ни одна не повторяет другой по синтаксическому строению. Из длинных строчек единообразны предпоследние в каждой строфе: «Эти стаи, эти птицы», «Эти мошки, эти пчелы», «Эта дробь и эти трели»; в средней строфе это единообразие захватывает и середину строфы («Эти капли — эти слезы», «Эти горы, эти доли»), в крайних оно слабее. Эта переключка крайних строф через голову (самой простой) средней подкрепляется очень тонкой аналогией синтаксиса строчек «Эта мощь — и дня и света» и «Эта мгла и жар — постели». Таким образом, в синтаксисе усложненность сосредоточена по краям стихотворения, единообразие — в середине; схема — 1-2-1.

Метрический аккомпанемент — это расположение, во-первых, пропусков ударения и, во-вторых, словоразделов. Пропусков ударения во всем стихотворении только три: в строчках «Этот крик и вереницы», «Эти ивы и березы», «Эти зори без затмения» — по одному разу в каждой строфе. Это — ровное расположение, композиционно нейтральное: 1-1-1. Словоразделы при столь частом расположении ударений возможны только женские («этот...») и мужские («крик...»), причем частое повторение слов «это, эти...» дает перевес женским. Но по стихотворению он распределен неравномерно: соотношение женских и мужских словоразделов в I строфе — 12:3, во II-й — 13:2, в III-й — 8:7. Таким образом, в I—II строфах ритм словоразделов очень единообразен, почти предсказуем, а в III строфе (где происходит поворот от внешнего мира к внутреннему) становится расплывчат и непредугадываем. Этим выделяется концовка: схема — 1-1-2.

Фонический аккомпанемент — это расположение звуков: гласных и согласных. Из гласных остановимся только на более заметных — ударных. Из пяти ударных звуков А, О, Е, И, У решительно преобладает (опять-таки благодаря «это, эти...») Е, занимающее первое ударение всех строк. Если отбросить эти 18 «Е», то среди оставшихся 45 ударных гласных будет такая пропорция А:О:Е:И:У: I строфа — 3:4:3:4:1, II строфа — 1:6:3:4:1, III строфа — 4:6:5:0:0. Иными словами, от строфы к строфе концентрация, монотонность усиливается: во II строфе две строки («Эти горы...») построены на совершенно тождественном Е-О-Е-О, III строфа вообще обходится только тремя ударными гласными. Это, стало быть, — постепенное нарастание, схема — 1-2-3. Из согласных звуков остановимся только на тех, которые повторяются (аллитерируют) внутри одной строки. Самые частые повторы (опять-таки из-за «это...») — это Т и Ть. Если их отбросить, то среди оставшихся в I строфе будет 5 повторений — Р, Сь/С, К, Рь, В; во II строфе — 2: Ль, С; в III строфе — 7:З, Н, Н, Й, Л/Ль, Р/Рь, Сь/С (заметим, как легко вычитывается здесь анаграмма «зной»). I и III строфы решительно богаче повторами, чем II-я: композиционная схема — 1-2-1. (Это кольцевое расположение подчеркнуто прямой перекличкой аллитераций первого и последнего полустрофий: «уТРо, РаДость» — «ДРобь, ТРели» и «Синий Свод» — «вСе веСна».)

Так композиция слов и звуков дополняет композицию образов и эмоций. Это — ответ на вопрос, который, может быть, возник у кого-нибудь из читателей: если есть только 4 вида композиции, не считая нейтрального, то откуда же берется такое разнообразие неповторимо индивидуальных по строению стихотворений? В самом деле, стихов с композицией образного ряда 1-1-2 (как у нас) можно насчитать множество; но чтобы композиция всех остальных рядов аккомпанировала этому образному ряду в точности так, как у нас, — вероятность этого ничтожна. Элементов, из которых складывается композиция стихотворения, мало, но сочетаний их — бесконечно много; отсюда — для читателя возможность наслаждаться бесконечным разнообразием живой поэзии, а для ученого возможность педантично ее анализировать.

Но мы слишком задержались на «Это утро, радость эта...» — а ведь это не самое известное и, конечно, не самое сложное из «безглагольных» стихотворений Фе-

та. Рассмотрим наиболее знаменитое: «Шопот, робкое дыханье...». Оно сложнее: в его основе не одно движение «от широкого к узкому», «от внешнего к внутреннему», а чередование нескольких таких сужений и расширений, складывающееся в осязаемый, но зыбкий ритм. (И само стихотворение ведь говорит о вещах гораздо более зыбких, чем картина ясной зимы или радостной весны.)

Шопот, робкое дыханье,  
Трели соловья,  
Серебро и колыханье  
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,  
Тени без конца,  
Ряд волшебных изменений  
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,  
Отблеск янтаря,  
И лобзания, и слезы,  
И заря, заря!..

Проследим прежде всего смену расширений и сужений нашего поля зрения. I строфа — перед нами расширение: сперва «шопот» и «дыханье», то есть что-то слышимое совсем рядом; потом — «соловей» и «ручей», то есть что-то слышимое и видимое с некоторого отдаления. Иными словами, сперва в нашем поле зрения (точнее, в поле слуха) только герои, затем — ближнее их окружение. II строфа — перед нами сужение: сперва «свет», «тени», «тени без конца», то есть что-то внешнее, световая атмосфера ночи; потом — «милое лицо», на котором отражается эта смена света и теней, то есть взгляд переводится с дальнего на ближнее. Иными словами, сперва перед нами окружение, затем — только героиня. И, наконец, III строфа — перед нами сперва сужение, потом расширение: «в дымных тучках пурпур розы» — это, по-видимому, рассветающее небо, «отблеск янтаря» — отражение его в ручье (?), в поле зрения широкий мир (даже более широкий, чем тот, который охватывался «соловьем» и «ручьём»); «и лобзания, и слезы» — в поле зрения опять только герои; «и заря, заря!» — опять широкий мир, на этот раз — самый широкий, охватывающий разом и зарю в небе, и зарю в ручье (и зарю в душе? — об этом дальше). На этом пределе широты стихотворение кончается. Можно сказать,

что образный его ритм состоит из большого движения «расширение — сужение» («шопот» — «соловей, ручей, свет и тени» — «милое лицо») и малого противодвижения «сужение — расширение» («пурпур, отблеск» — «лобзания и слезы» — «заря!»). Большое движение занимает две строфы, малое (но гораздо более широкое) противодвижение одну: ритм убыстряется к концу стихотворения.

Теперь проследим смену чувственного заполнения этого расширяющегося и сужающегося поля зрения. Мы увидим, что здесь последовательность гораздо более прямая: от звука — к свету и затем — к цвету. I строфа: в начале перед нами звук (сперва членораздельный «шопот», потом нечленораздельно-зыбкое «дыханье»), в конце — свет (сперва отчетливое «серебро», потом неотчетливо-зыбкое «колыханье»). II строфа: в начале перед нами «свет» и «тени», в конце — «измененья» (оба конца строф подчеркивают движение, зыбкость). III строфа: «дымные тучки», «пурпур розы», «отблеск янтаря» — от дымчатого цвета к розовому и затем к янтарному, цвет становится все ярче, все насыщенней, все менее зыбок: мотива колебания, переменчивости здесь нет, наоборот, повторение слова «заря» подчеркивает, пожалуй, твердость и уверенность. Так в ритмически расширяющихся и сужающихся границах стихотворного пространства сменяют друг друга все более ощутимые — неуверенный звук, неуверенный свет и уверенный цвет.

Наконец, проследим смену эмоционального насыщения этого пространства: насколько оно пережито, интериоризовано, насколько в нем присутствует человек. И мы увидим, что здесь последовательность еще более прямая: от эмоции наблюдаемой — к эмоции пассивно переживаемой — и к эмоции, активно проявляемой. В I строфе дыханье — «робкое»: это эмоция, но эмоция героини, герой ее отмечает, но не переживает сам. Во II строфе лицо — «милое», а изменения его — «волшебные»: это собственная эмоция героя, являющаяся при взгляде на героиню. В III строфе «лобзания и слезы» — это уже не взгляд, а действие, и в действии этом чувства любовников, до сих пор представленные лишь порознь, сливаются. (В ранней редакции первая строка читалась «Шопот сердца, уст дыханье...» — очевидно, «шопот сердца» могло быть сказано скорее о себе, чем о подруге, так что там еще отчетливее I строфа гово-

ворила о герое, II-я — о героине, а III-я — о них вместе). От слышимого и зримого к действительному, от прилагательных к существительным — так выражается в стихотворении нарастающая полнота страсти.

Чем сложнее «Шопот, робкое дыханье...», нежели «Это утро, радость эта...»? Тем, что там образы зримые и переживаемые сменяли друг друга как бы двумя четкими частями: две строфы — мир внешний, третья — интериоризованный. Здесь же эти две линии («что мы видим?» и «что мы чувствуем?») переплетаются, чередуются. I строфа кончается образом зримого мира («серебро ручья»), II строфа — образом эмоционального мира («милое лицо»), III строфа — неожиданным и ярким синтезом: слова «заря, заря!» в их концевочной позиции осмысляются одновременно и в прямом значении («заря утра!») и в метафорическом («заря любви!»). Вот это чередование двух образных рядов и находит себе соответствие в ритме расширений и сужений лирического пространства.

Итак, основная композиционная схема нашего стихотворения — 1-1-2: первые две строфы — движение, третья — противодвижение. Как откликаются на это другие уровни строения стиха?

Синтаксический аккомпанемент тоже подчеркивает схему 1-1-2: в I и II строфе предложения все время удлиняются, в III строфе — укорачиваются. Последовательность предложений в I и II строфе (совершенно одинаковая): 0,5 стиха — 0,5 стиха — 1 стих — 2 стиха. Последовательность предложений в III строфе: 1 стих (длинный) — 1 стих (короткий) — 0,5 и 0,5 стиха (длинного) — 0,5 и 0,5 стиха (короткого). Все предложения простые, назывные, поэтому их соположение позволяет ощущать соотношения их длины очень четко. Если считать, что короткие фразы выражают большую напряженность, а длинные — большее спокойствие, то параллелизм с нарастанием эмоциональной наполненности будет несомненен.

Лексико-стилистический аккомпанемент, наоборот, не подчеркивает основную схему. По части лексических фигур можно заметить: I строфа не имеет повторов, II строфа начинается полуторным хиазмом «свет ночной, ночные тени, тени без конца», III строфа заканчивается эмфатическим удвоением «заря, заря!..». Иначе говоря, I строфа выделена ослабленностью, схема — 1-2-2. По части семантических фигур можно заметить:

в I строфе перед нами лишь бледная метонимия «робкое дыханье» и слабая (спрятанная в эпитет) метафора-олицетворение «сонного ручья»; во II строфе — оксюморон, очень резкий — «свет ночной» (вместо «лунный свет»); в III строфе — двойная метафора, довольно резкая (субстантивированная): «розы», «янтарь» — о цвете зари. (В ранней редакции на месте второй строки был еще более резкий оксюморон, шокировавший критиков: «Речь, не говоря»). Иначе говоря, схема — опять-таки 1-2-2, а для ранней редакции даже с еще большим нарастанием напряжения: 1-2-3.

Метрический аккомпанемент подчеркивает основную схему 1-1-2, отбивает концевочную строфу. Длинные строки (4-стопные) сменяются так: в I строфе — 3- и 2-ударная, во II-й — 4- и 3-ударная, в III-й — 4- и 2-ударная; облегчение стиха к концу строфы в III строфе выражено более резко. Короткие строки сменяются так: от первой до предпоследней они 2-ударные с пропуском ударения на средней стопе (причем в каждой строфе первая короткая строка имеет женский словораздел, «трéли...», а вторая — дактилический, «сóнного...»), последняя же строка тоже 2-ударна, но с пропуском ударения на начальной стопе («...и заря́»), что дает резкий контраст.

Фонический аккомпанемент подчеркивает основную схему 1-1-2 только одним признаком — густотой согласных. В I строфе на 13 гласных каждой полустрофы приходится сперва 17, потом 15 согласных; во II строфе соответственно 19 и 18; а в III строфе 24 и 12! Иными словами, в I и II строфах облегчение фоники к концу строфы очень слабое, а в III строфе очень сильное. Остальные признаки — распределение ударных гласных и распределение аллитераций — отмечают все строфы более или менее равномерно, они композиционно нейтральны.

Наконец, обратимся к четвертому «безглагольному» стихотворению Фета, самому позднему и самому парадоксальному. Парадокс в том, что с виду оно — самое простое из четырех, проще даже, чем «Чудная картина...», а по композиции пространства и чувства — самое прихотливое:

Только в мире и есть, что тенистый  
Дремлющих кленов шатёр.  
Только в мире и есть, что лучистый  
Детски задумчивый взор.



Только в мире и есть, что душистый  
Милой головки убор.  
Только в мире и есть этот чистый  
Влево бегущий пробор.

Здесь только 16 неповторяющихся слов, все они — только существительные и прилагательные (два наречия тесно примыкают к прилагательным), сквозной параллелизм, сквозная рифма. Четыре двустипия, из которых состоит стихотворение, можно даже без труда менять местами в любом порядке. Фет избрал именно такой-то порядок. Почему?

Мы уже привыкли видеть, что композиционный стержень стихотворения — интериоризация, движение от внешнего мира к внутреннему его освоению. В этом стихотворении такая привычка заставляла бы ожидать последовательности: «кленов шатер» (природа) — «головки убор», «чистый пробор» (внешность человека) — «лучистый взор» (внутренний мир человека). Фет идет наперекор этому ожиданию: он выносит вперед два крайних члена этого ряда, отводит назад два средних и получает трудноуловимое чередование: сужение — расширение — сужение («шатер — взор», «взор — убор», «убор — пробор»), интериоризация — экстериоризация («шатер — взор», «взор — убор — пробор»). Зачем он так делает? Вероятно, ради того, чтобы вынести на самое ответственное, самое многозначительное, самое выделенное место в конце стихотворения — наиболее внешний, наиболее необязательный член своего перечня: «влево бегущий пробор». (Заметим, что это — единственный в стихотворении образ протяженности и движения, — особенно на фоне начальных образов «дремлющий...», «задумчивый...».) Громоздкий многократный параллелизм «Только в мире и есть...» нагнетает ожидание чего-то очень важного; психологизированные, эмоционально подчеркнутые предшествующие члены — «дремлющие» клены, «детски задумчивый» взор, «милая» головка — заставляют предполагать и здесь усиленную интериоризацию; и когда на этом месте появляется такой неожиданный образ, как «пробор», — это заставляет читателя подумать приблизительно вот что: «Как же велика любовь, которая даже при взгляде на пробор волос наполняет душу таким восторгом!» Это — сильный эффект, но это и риск: если читатель так не подумает, то все стихотворение для него погибнет — окажется немотивированным, натянутым и претенциозным.

Мы не будем прослеживать, как сопровождают этому основному композиционному уровню другие композиционные уровни. Наблюдений можно было бы сделать много. Заметим, что здесь впервые в нашем материале появляется обонятельный эпитет «душистый убор» и что он воспринимается как более интериоризованный, чем зрительный «чистый пробор», — может быть, потому, что «обонятель» мыслится ближе к объекту, чем «зритель». Заметим, как в трех словах «дремлющих кленов шатер» содержатся сразу две метафоры, «дремлющие клены» и «кленов шатер»; они частично покрывают друг друга, но не совпадают друг с другом («клёны» в первой метафоре одушевлены, во второй неодушевлены). Заметим, как в коротких строках чередуются нечетные, начинающиеся с прилагательных и причастий («дремлющих», «милой»), и четные, начинающиеся с наречий («детски», «влево»). Заметим, что в нечетных двустопных семантические центры коротких строк («клёны», «головка») не совпадают с их синтаксическими центрами («шатер», «убор») — первые стоят в косвенных падежах, а последние в именительных. Заметим, как опорные согласные в рифмах длинных стихов располагаются через двустопные («лучистый — чистый»), а в рифмах коротких стихов — подряд («убор — пробор»). Заметим, как в коротких стихах чередуются последовательности ударных гласных ЕОО — ЕУО — ИОО — ЕУО, а заодно — полное отсутствие широкого ударного А (которое пронизывало все рифмы в предыдущем стихотворении, «Шопот, робкое дыханье...»). Свести все эти и подобные наблюдения в систему можно, но сложно. Разве что единственное сверхсхемное ударение внутри стиха — «этот» в предпоследней строке — сразу семантизируется как сигнал концовки, подчеркивающий парадоксальную кульминацию стихотворения — слово «пробор».

Весь наш небольшой разбор — это не литературоведческое исследование, а только схема его: попытка дать себе отчет во впечатлении, которое производит чтение четырех очень известных стихотворений Фета: чем оно вызывается? Именно с такой попытки самоотчета начинается каждое литературоведческое исследование, но отнюдь не кончается ею. Некоторым читателям такая попытка бывает неприятна: им кажется, что эстетическое наслаждение возможно лишь до тех пор, пока мы не понимаем, чем оно вызывается. При этом охотно

говорят о «чуде» поэзии и о «тайне», которую надо уважать. Мы не посягаем на тайну поэзии: конечно, такой разбор никого не научит искусству писать стихи. Но, может быть, на таком разборе можно научиться хотя бы искусству читать стихи — то есть видеть в них больше, чем видишь при первом беглом взгляде.

Поэтому закончим наш урок чтения упражнением, которое как будто предлагает нам сам Фет. Мы уже заметили, что четыре двестишия, из которых состоит стихотворение, можно без труда менять местами в любом порядке. Здесь возможны 24 различных сочетания, и совсем нельзя сказать заранее, что все они хуже, чем то, которое избрал Фет. Может быть, они и не хуже — они просто другие, и впечатление от них другое. Пусть каждый любознательный читатель попробует на свой страх и риск сделать несколько таких перестановок и дать себе отчет, чем различаются впечатления от каждой из них. Тогда он испытает то чувство, которое испытывает каждый литературовед, приступая к своей работе. Может быть, такой душевный опыт окажется для иных небесполезен.

---

---

С. С. Гречишкин, А. В. Лавров

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ РОМАНА БРЮСОВА  
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»<sup>1</sup>

*Памяти Павла Наумовича Беркова*

1

«Огненный Ангел» Валерия Брюсова — своеобразное явление в русской литературе: личная, биографическая основа мастерски скрыта в нем под тщательно выписанными аксессуарами Германии XVI века. На эту особенность обращали внимание не раз. «Роман <...> не только знакомит нас с фактами культурной жизни, с воззрениями известной части немецкого об-

---

<sup>1</sup> Предлагаемая вниманию читателей работа была в основе своей подготовлена в 1969—1971 гг. и опубликована в 1978 г. в Австрии (Wiener slawistischer Almanach, 1978, Bd. 1—2). Длительные попытки напечатать статью в нашей стране тогда не увенчались успехом (один из основных аргументов против опубликования — инкриминировавшаяся авторам «солидаризация с Ходасевичем»). Лишь в самом общем виде проблематика работы была затронута в нашей вступительной статье к переписке Брюсова и Андрея Белого (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976 с. 332—339). Ныне статья печатается без существенных изменений по отношению к ранее опубликованному тексту; в нее введены лишь дополнения и коррективы частного характера и некоторые новонайденные материалы. Проблематика работы затрагивается также в новейших исследованиях: Б е н ь к о в и ч М. А. «Огненный Ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли). — В кн.: Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984, с. 18—36, М и н ц З. Г. Граф Генрих фон Оттергейм и «московский ренессанс». Символист Андрей Белый в «Огненном Ангеле» В. Брюсова. — В кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988, с. 215—240.



Н. И. Петровская. Фотография начала века

щества XVI века,— писал в 1930-е годы А. И. Белецкий,— но представляет, до некоторой степени, «мемуары» Брюсова о его личной жизни и жизни группы, с которой он был связан в Москве девятисотых годов. Для нас это, следовательно, роман вдвойне «исторический»<sup>1</sup> М. А. Кузмин, касаясь «Огненного Ангела», намекал: «Нам кажется, что мы не ошибемся, предположив за внешней и психологической повестью содержание еще более глубокое и тайное для «имеющих уши слышать», но уступим желанию автора, чтобы эта тайна только предполагалась, только веяла и таинственно углубляла с избытком исполненный всяческого содержания роман. При всем историзме своем, «Огненный Ангел» проникнут совершенно современным пафосом и чисто брюсовской страстностью при спокойствии и сдержанности тона <...>»<sup>2</sup>. Сопоставле-

<sup>1</sup> Белецкий А. И. Первый исторический роман В. Я. Брюсова.— Научные записки Харьковского гос. пед. ин-та, т. III. Харьков, 1940, с. 31.

<sup>2</sup> Аполлон, 1910, № 9, июль — август, отд. I, с. 39.



В. Я. Брюсов

ние реальных жизненных судеб с сюжетными перипетиями «Огненного Ангела» позволяет не только с большей полнотой и глубиной раскрыть проблематику этого произведения, но и затронуть некоторые существенные аспекты символистского мироощущения и специфически символистского литературного быта.

Известно, что сюжет «Огненного Ангела» построен на биографических коллизиях: «треугольнику» Рупрехт — Рената — граф Генрих соответствуют личные отношения Брюсова, Нины Петровской и Андрея Белого. Брюсов, отразивший в романе свою любовь к Н. Петровской, сознательно запечатлел в отношениях персонажей реальные ситуации и характеры; более того, нередко он преднамеренно конструировал в жизни ситуации с дальним умыслом — воспроизвести их затем в «Огненном Ангеле» как можно более убедительно. О своем замысле Брюсов писал Петровской: «Там, на этих исписываемых мною страницах, Ты, та Ты, которую я знаю, которую люблю, которую хочу сохранить себе и ми-

ру — навек!»<sup>1</sup> В черновиках глав романа, наиболее зримо отразивших автобиографические коллизии, мы находим пояснительные пометы Брюсова: «Преимущ (ественно) о Белом»; «Понял, что ее любовь — истерия, не ко мне, не к Б. Н., а вообще»<sup>2</sup>. На жизненную основу романа многократно указывал и Андрей Белый: Брюсовым осуществлена «мифизация» (...) наших отношений в эпоху 1904—1905 годов в его романе «Огненный Ангел», где он меня «удостоил» роли графа Генриха»<sup>3</sup>. Особенно ярко о Брюсове — авторе «Огненного Ангела» писала в своих мемуарах Н. И. Петровская: «...во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния (...), оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке (...）」<sup>4</sup>

Непременным условием анализа биографического подтекста «Огненного Ангела» является знакомство с взаимоотношениями Брюсова, Андрея Белого и Н. И. Петровской в 1903—1905 годах, с их сложными идеологическими и психологическими мотивировками.

С зимы 1903 года все более крепнут, переходя в дружескую привязанность, личные отношения Брюсова и Андрея Белого. Брюсов становится для Белого постоянным связующим звеном с кругом московских симво-

<sup>1</sup> Письмо от 10 июля 1905 г. — ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 12.

<sup>2</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 32, ед. хр. 2, л. 55; ед. хр. 9, л. 2. «Б. Н.» — Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Ср. суждение В. Ф. Ходасевича о Петровской — Ренате: «Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: (...) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали — истерички» (Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 18).

<sup>3</sup> Белый Андрей. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития. Ann Arbor, 1982, с. 24.

<sup>4</sup> Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 782 (публикация Ю. А. Красовского). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с обозначением ЛН и номера страницы.



Андрей Белый. Фотография начала века

листов, информатором о текущих литературных делах. Одновременно Белый интересен и притягателен для Брюсова как талантливейший представитель нового поколения символистов: «Он очень настоящий человек. У меня душа успокаивается, когда я думаю, что он существует»<sup>1</sup>. В то же время все более явственно обозначались различия духовных устремлений и жизненных концепций обоих писателей.

К началу 1903 года вокруг Андрея Белого сплотились молодые московские поэты-символисты, художники и философы, преимущественно студенты; образовался кружок «аргонавтов». Члены кружка (Эллис, А. С. Петровский, В. В. Владимиров, С. М. Соловьев, А. С. Челищев, А. П. Печковский и др.), вдохновлявшиеся религиозной философией позднего Владимира Соловьева, жаждали крутых изменений изначальных основ бытия, насы-

---

<sup>1</sup> Письмо Брюсова к П. П. Перцову от 19 октября 1902 г. — ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 21.



щения жизни новым духовным смыслом, пытались развивать апокалипсическое мирозерцание. Огромное влияние на них оказали также философско-поэтические произведения Ницше и, еще более, сама личность мыслителя, в их представлении трансформированная в образ нового «пророка». Андрей Белый впоследствии писал: «„Аргонавтизм“ — не был идеологией, ни кодексом правил, или уставом; он был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель виделась в тумане будущего»<sup>1</sup>. Действительно, Белый и не стремился к систематизированному выражению и логической аргументации своих духовных чаяний. Упоение «музыкой зорь» и стихийная, импульсивная передача эмоционального состояния — самозабвенного ожидания грядущих мистических сдвигов и преображений, — к этому, по существу; и сводился весь пафос «аргонавтизма». Волнения и надежды Андрея Белого запечатлелись в его «мистической любви» к М. К. Морозовой, образ которой он наделял чертами высшей духовности. Послания Белого к Морозовой служат красочной иллюстрацией к «аргонавтизму» как жизнеотношению в целом; вот, например, одно из них:

«Люблю. Радуюсь.

Сквозь вихрь снегов, восторг метелей слышу лазурную музыку Ваших глаз. Лазурь везде.

Со мной небо.

И заря моя не угасла. Вижу ее — мою розу — мировую, нетленную, чистую розу —

— лучезарно мистическую.

Тучи снегов заметают границы жизни и смерти, но заря моя не угасла. Вздохи снежных метелей и высоки, и восторженно бурны, но еще выше лазурь знакомых глаз.

Христос — наше Солнце. Солнце близится. Оно близится. Наша Радость, Звезда наша — Она с нами.

Благословляю. Братски целую Вас — люблю Вас, сестра моя во Христе.

Христос с Вами.

Р. С. Опять замолчу»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Белый Андрей. Начало века. М.—Л., 1933, с. 54.

<sup>2</sup> Письмо от 26 января 1903 г. — ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 1а.

«Аргонавтические» откровения и медитации Андрея Белого неизменно облекались в подобную метафорическую форму; иным образом, собственно, они и не могли быть выражены. Характерен своеобразный синкретизм аргонавтических чаяний: они находили одинаковое или очень сходное воплощение в «жизни» (о чем свидетельствуют пафос и стиль писем Белого) и в художественном творчестве (сборник стихотворений Белого «Золото в лазури», «симфонии» и ряд его «лирических» статей). Следует особо выделить в мистицизме «аргонавтов» тревожное ожидание скорого «исполнения сроков» и второго пришествия Христа; тема второго пришествия была выражена в первоначальной редакции «четвертой симфонии» Белого, не дошедшей до нас в полном объеме, ею проникнуты и его письма этого периода.

«Мы — стремились к *«мистерии»*, к творчеству жизни, к конкретному перевороту,— писал Белый.— Всем нам Брюсов был несколько чужд; Александр Блок ощущался своим, родным»<sup>1</sup>. Действительно, по своим идейно-эстетическим взглядам Брюсов оставался внутренне далек от жизнетворческих исканий Белого и его друзей-«аргонавтов», однако его рационалистический ум, неизменно заинтересованный любыми попытками найти выход «за пределы предельного», за границы традиционного, приземленного мироощущения, без сомнения, глубоко занимали построения и дерзания Белого. Отношение Брюсова к «аргонавтизму» Белого, как и вообще к новым веяниям в символизме, было двойственным. С одной стороны, он не скупился на иронию при обрисовке мистического кружка: «Все, иже с Белым, замкнулись в общество «Арго», где выискивают «чистых» духом и говорят раз в неделю, по пятницам, о добродетели»<sup>2</sup>,— с другой — стремился всерьез и глубоко осмыслить идеалы «младших» символистов и определить собственную в этой связи позицию, жалея даже,— или сознательно культивируя в себе соответствующие эмоции,— что ему недоступны прозреваемые ими мистические глубины. Так, в апреле 1903 года в журнале «Ежемесяч-

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Материал к биографии (1923).— ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 41 об. Далее ссылки на этот источник приводятся в тексте в скобках с обозначением *МБ* и номера листа.

<sup>2</sup> Письмо к П. П. Перцову. — Печать и революция, 1926, кн. 7, с. 43.

ные сочинения» появилось стихотворение Брюсова «За оградой»; впоследствии оно было перепечатано в книге «Urbi et orbi» под характерным заглавием «Младшим» с эпиграфом из Блока: «Там жду я прекрасной дамы»:

Они Ее видят! они Ее слышат!  
С невестой жених в озаренном дворце!  
Светильники тихое пламя колышат,  
И отсветы радостно блещут в венце.

А я безнадежно бреду за оградой  
И слушаю говор за длинной стеной.  
Голодное море безумствовать радо,  
Кидаясь на камни, внизу, подо мной.

За окнами свет непонятный и желтый,  
Но в небе напрасно ищу я звезду...  
Дойдя до ворот, на железные болты  
Горячим лицом приникаю — и жду.

Там, там, за дверьми, — ликование свадьбы,  
В дворце озаренном с невестой жених!  
Железные болты сломать бы, сорвать бы!..  
Но пальцы бессильны, и голос мой тих.

Стихотворение Брюсова — его непосредственный отклик на приход в литературу «младших» символистов, прежде всего Белого и Блока; преграду между ними и собой Брюсов считает непреодолимой: мистические откровения «младших» и весь их эзотерический опыт для него — за семью печатями.

Несмотря на различие психологических типов и жизненных концепций, стремление Брюсова и Андрея Белого к взаимопониманию и своеобразному взаимознанию усиливалось; в 1903 году их личные взаимоотношения еще подчеркнуто дружественны и гармоничны. Оформляется литературно-издательское единство поэтов: именно в конце 1903 года организуется символистский журнал «Весы», и Брюсов, его фактический редактор, приглашает Белого стать одним из ведущих сотрудников. К 1903 году относится и обмен поэтов стихотворными посланиями, в которых уже намечались психологические мотивировки дальнейшего переплетения их судеб.

В символистском окружении в начале века все более определялось восприятие Брюсова как поэта-«мага», что в значительной степени объяснялось его общеизвестной увлеченностью спиритизмом и вообще «тай-

ными» науками. Не удивительно, что и Андрей Белый принял участие в создании Брюсову ореола «вселенского мага»: в 1903 году появилось его стихотворение «В. Я. Брюсову», впоследствии перепечатанное в сборнике «Золото в лазури» с тем же посвящением, но уже под названием «Маг»:

Я в свисте временных потоков,  
Мой черный плащ мятежно рвущих.  
Зову людей, ищу пророков,  
О тайне неба вопиющих.  
Иду вперед я быстрым шагом.  
И вот — утес, и вы стоите  
В венце из звезд упорным магом,  
С улыбкой вещью глядите.  
У ног веков нестройный рокот,  
Летит, бунтуя в вечном сне.  
И голос ваш — орлиный клекот —  
Растет в холодной вышине.  
В венце из звезд, над царством скуки,  
Над временем вознесены,—  
Застывший маг, сложивший руки,  
Пророк безвременной весны<sup>1</sup>.

Свое стихотворение Белый считал прозорливым отображением духовного облика Брюсова; в письме к Э. К. Метнеру он дал свое развернутое истолкование брюсовского «магизма»: «Вы все еще вспоминаете мне, что я назвал «магом» Валерия Брюсова, но ведь «магизм» я понимаю в широком смысле, и как чудодейственность силы, употребленной не во славу Божию (как напр<имер> у Лермонтова), так и отблеск того отношения к действительности, которое родит *магов* в тесном смысле. А если бы Вы ближе узнали Брюсова, то Вы согласились бы, что он истинный маг в потенции — маг, как тип человека, стоящего ступенью ниже теурга, ибо теург — *белый* маг. <...> Конечно, Брюсов среди магов выдающийся, умный, знающий *маг*, к которому термин «*пророк безвременной весны*» подходит, ибо над-временность очень характерна в Брюсове. Может быть, это у него *только* поза, но он великолепный в таком слу-

<sup>1</sup> Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903, с. 35. В этом же издании помещено стихотворение Александра Койранского «Валерию Брюсову», в котором образ поэта рисуется сходными штрихами:

В немую даль веков пытливо ты проник,  
Прислушался к их звукам отзвучавшим  
И тайный разговор расслушал и постиг.  
Ты очертанья дал теням, едва мелькавшим.  
Ты начертал свой круг и стал в нем, вещий маг!  
и т. д. (с. 76).

чае актер, когда в обществе «застывше» и «надвременно» относится к окружающему. Кроме того, он донельзя гьератичен в манерах — опять-таки черта магическая...»<sup>1</sup>.

Брюсов, в свою очередь, в книге «Urbi et orbi» поместил стихотворное послание «Андрею Белому», явившееся своеобразным откликом на ранние стихи Белого и стилизацией его основных мотивов и стиля.

Я многим верил до иступленности,  
С такой надеждой, с такой любовью!  
И мне был сладок мой бред влюбленности,  
Огнем сожженный, залитый кровью.

Как глухо в безднах, где одиночество,  
Где замер сумрак молочно-сизый...  
Но снова голос! зовут пророчества!  
На мутных высях чернеют ризы!

«Брат, что ты видишь?» — Как отзвук молота,  
Как смех внемирный, мне отклик слышен:  
«В сиянии небо — вино и золото! —  
Как ярки дали! как вечер пышен!»

Отдавшись снова, спешу на кручи я  
По острым камням, меж их изломов.  
Мне режут руки цветы колючие,  
Я слышу хохот подземных гномов.

Но в сердце — с жадой решенье строгое,  
Горит надежда лучом усталым.  
Я много верил, я проклял многое,  
И мстил неверным в свой час кинжалом.

«Зовы пророчеств», «ризы на мутных высях», «хохот подземных гномов» — маргинальные приметы образной структуры ранних произведений Андрея Белого, вплоть до почти цитатного ее воспроизведения: «В сиянии небо — вино и золото!» При этом в стихотворении впервые прослеживается оппозиция, со всей определенностью воплотившаяся в последующих личных отношениях поэтов: Андрею Белому, приобщенному к мировой гармонии и пророчествуемому на «высях», Брюсов противопоставляет свое авторское «я» в маске страстного и мстительного героя; первый образ наделен оптимистической цельностью и светлым пафосом, второй отмечен трагической дисгармонией. В 1904 году Белый воспринимал это стихотворение и недвусмысленно

<sup>1</sup> Письмо от 25 июля 1903 г.— ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 19.

сформулированную в нем угрозу исключительно в личном плане, связывая его с обострением отношений между ним и Брюсовым. Это обострение зримо обозначилось, когда жизнь Белого, а затем Брюсова оказалась связанной с Н. Петровской.

Нина Ивановна Петровская (1884—1928) — второстепенная писательница из круга московских символистов, жена С. А. Соколова (Кречетова), поэта и главы издательства «Гриф», — была одной из участниц кружка «аргонавтов». Знакомство с нею Белый относил к марту — апрелю 1903 года: «...знакомлюсь с Соколовым-«Грифом», его женою, писательницей Ниной Петровской; начинаю бывать у них в доме довольно часто» (МБ, л. 34 об.). Постепенно Белый начал выделять Петровскую из числа единомышленников и соратников, подчеркивая ее «особую чуткость» к нему: «С осени 1903 г. совсем неожиданно вырастает моя дружба с Н\*\*\*〈...〉»<sup>1</sup>. Отношение Петровской к Белому в это время было благоговейным; в мемуарах она сообщает, что считала его «новым Христом». От месяца к месяцу эта духовная связь все более отчетливо вырисовывается для Белого, и он начинает воспринимать ее как реальное воплощение открытых и проповедуемых им качественно новых человеческих отношений — непосредственно духовной близости, осуществляющейся в мистическом откровении и мистериальной любви. «Моя тяга к Петровской, — вспоминает Белый о ноябре 1903 года, — окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистерию 〈...〉» (МБ, л. 42). Н. Петровская, в свою очередь, стремилась идти по стопам Белого; это подтверждает и ее рассказ «Последняя ночь» (октябрь 1903 г.; Альманах «Гриф». М., 1904), навеянный «аргонавтизмом» Белого и ему же посвященный. С «пропорциями» медитациями Белого вполне созвучны томления самоубийцы — героя этого рассказа Н. Петровской: «И разгорался светоч, и иглы венца Его сладостной болью ранили меня, и, весь отдав себя Ему, я стал безмолвно ждать последнего, неведомого людям чуда»; «Я знаю, Он придет вместе

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Начало века, с. 276. Под литерой Н\*\*\* Белый выводит в своих мемуарах Петровскую, когда касается личных отношений с нею.

с солнцем. <...> Под ноги Его я брошу мое земное, греховное тело, а душой потону в Его Вечном, немеркнущем свете, и мы будем одно — я в Нем и Он во мне», и т. д. Близко знавший Петровскую В. Ходасевич свидетельствует: «Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась»; «...на черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый»<sup>1</sup>. Белый обращает к Петровской послания, в которых убеждает ее в особенном смысле их отношений, в том, что они «связаны для Вечности». Он ищет в возникающем чувстве осуществления грядущей благодати; любовь для него — еще одна сфера доселе неведомых прозрений, свыше освященный союз душ. Всякое возможное проявление чувственности он отвергает и с глубоким опасением и сожалением судит о возможности между ним и Петровской земной человеческой любви. «Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей», — замечает в мемуарах В. Ходасевич<sup>2</sup>. Однако если в отношении Петровской эти слова, видимо, вполне верны, то в отношении Белого — едва ли: «малой правды» и «просто человеческой любви» он от Петровской явно не ждал и, тем более, не добивался.

Раннюю стадию своих переживаний, связанных с Петровской, Белый отразил в стихотворении «Преданье» (декабрь 1903 г.: «...пишу стихотворение „*Sanctus Amor*“, навеянное отношениями с Н. И. Петровской <...>». — *МБ*, л. 42):<sup>3</sup>

Он был пророк.  
Она — сибилла в храме.  
Любовь их, как цветок,  
Горела розами в закатном фимиаме.

Под дугами его бровей  
Сияли взгляды  
Пламенносвятые.

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 15, 16.

<sup>2</sup> Там же, с. 16.

<sup>3</sup> Белый называет стихотворение по заключительной формуле, несущей в себе его основной смысл. Это определение — «*Sanctus Amor*» — привилось к образу вдохновительницы стихотворения. Н. Петровская впоследствии назвала так книгу своих рассказов (М., Гриф, 1908); так озаглавил и стихотворение, посвященное Петровской, Ходасевич (Ходасевич Владислав. Молодость. М., Гриф, 1908, с. 17—18).

Струились завитки кудрей —  
Вина каскады  
Пеннозолотые.

Как облачко, закрывшее лазурь,  
С пролетами лазури  
И с пепельной каймой —  
Предтеча бурь —  
Ее лицо, застывшее без бури,  
Волос омытое волной. <...>

Забит теперь, разрушен храм.  
И у дорической колонны,  
Струя священный фимиам,  
Блестит росой шиповник сонный.

Забит алтарь. И заплетен  
Уж виноградом диким мрамор.  
И вот навеки иссечен  
Старинный лозунг: «Sanctus Amog» <...>

Стремление Белого воспеть любовь как средоточие томлений по запредельному, как просветленный выход в недоступные обыденному миропознанию сферы с наибольшей полнотой раскрылось в этом стихотворении. Именно такими хотел видеть и надеялся воплотить Белый свои чувства к Петровской. Однако в конце января 1904 года произошло изменение в их отношениях, которого он остерегался и которое поколебало все его духовные устои: «...произошло то, что назревало уже в ряде месяцев,— мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того,— я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, происшедшее между нами,— есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне — глубокое чувство, у меня же — братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне стало ясно, поэтому не сразу все это мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось — недоумение, вопрос; и главным образом — чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами — Христос; она — соглашалась; и — потом, вдруг,— «такое». Мои порывания к мистерии, к «теургии» потерпели поражение» (МБ, л. 42 об.— 43).



Белый воспринял происшедшее как удар по своим идеалам «аргонавтизма»; в его мироощущении зарождается то, что сам он позднее назовет «хаосом расшибания лбов»<sup>1</sup>. Писатель и несколько ранее переживал симптомы скорой утраты «аргонавтического» состояния оптимистической открытости. Хотя из-под его пера все еще выходили произведения, свидетельствовавшие, казалось бы, о незыблемости сложившегося мироощущения, жизненные переживания с неизбежностью вели к осознанию того, что «на душе все более и более сгущается сумрак: недоумение, неясность будущего; и — отчетливое ощущение, что «зори» — гаснут» (октябрь 1903 г. — *МБ*, л. 40 об.). Остро переживая кризис своих прежних духовных устремлений и убеждений, Белый продолжает тяготящие его отношения с Н. Петровской. В феврале 1904 года «они приобретают явно чувственный характер» (*МБ*, л. 43) и в дальнейшем все более запутываются. Белый не видит нравственного оправдания этого «романа», подмену «мистерии» «эротикой» он переживает крайне болезненно. Соединение «мистерии» и «эротика», по Белому, невозможно: одно должно неизбежно заместиться другим, и «эротика» вытеснила «мистику», ощущение непосредственной духовной близости заменилось «романом». Целостность жизненной концепции Белого, по его собственному признанию, не выдержала испытания реальной жизнью; отсюда — глубокий трагизм разочарования в себе, утрата уверенности в своей способности к жизнетворческому «подвигу», ощущение себя самозванным пророком.

В феврале, марте и позднее отношения Белого и Петровской существенно не меняются; по-прежнему Белый ощущает глубокую неудовлетворенность собою. В апреле 1904 года происходит столкновение между Петровской и Александрой Дмитриевной Бугаевой, матерью Белого; сам Белый приходит к выводу: «Все предыдущие недели я осознавал ясно, что Н. И. не люблю и что я длю отношения с ней только из боязни, что она наделает глупостей (покончит с собой или что-нибудь в этом роде); тогда я решаю остаться на несколько дней сам с собой, и, пользуясь зовом Метнера приехать к нему в Нижний Новгород, уезжаю из Москвы» (*МБ*, л. 45). Разъясняя матери смысл этой поездки к близкому другу и единомышленнику, Белый писал: «Там я и поговееу, а

<sup>1</sup> Белый Андрей. Почему я стал символистом..., с. 37.

то здесь мне будет трудно говеть, потому что, говея, я должен буду подтвердить свои данные Богу обещания стоять на страже зарождающегося религиозного искания»<sup>1</sup>. К этому времени отношения Белого и Петровской не составляли тайны в символистском окружении, и Брюсов, едко иронизировавший над близостью «грифики» (как он тогда нелюбезно называл Петровскую) и «ангелочка с демонскими крылышками», «ангелоподобного Андрея»<sup>2</sup>, отмечал, в частности, по этому поводу в дневнике: «Нина Петровская предалась мистике. (...) А Белого мать, спасая от «развратной женщины», послала на страстную неделю в Нижн(ий) Новг(ород). Сам он исхудал и серьезно поговаривает, как хорошо бы поступить в монастырь»<sup>3</sup>. «Бегство» в Нижний Новгород благотворно повлияло на расстроенное душевное состояние Белого: «В Нижнем я оправляюсь несколько от ряда ударов, нанесенных моим утопиям о мистерии (...)»<sup>4</sup>.

К этому времени Белый относит и начало решающего поворота в своем мирозерцании: от «аргонавтизма», чаяния «мистерии» и порываний к запредельному — к строгой «теории знания», к неокантианству, попыткам выработать «систему символизма»: «Возвращаюсь из Нижнего, опустив забрало: лозунг «теургия» спрятан в карман; из кармана вынут лозунг: „Кант“»<sup>5</sup>.

Весной 1904 года, по возвращении в Москву, тяготившая Белого связь не прекращается: заменить «эротические» отношения «братскими» ему не удастся, продолжение же отношений «эротических» он считает пагубным для себя: «...этим летом я ощущаю последствия «падений»; духовный язык природы как бы закрылся для меня» (МБ, л. 46 об.). Находясь в июне в родительском имении Серебряный Колодезь, он признавался Э. К. Метнеру: «...для меня выяснилось одно: в мистическом отношении полоса затишья»<sup>6</sup>. Конец июня Белый проводит в Москве, где почти ежедневно бывает у Пет-

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358.

<sup>2</sup> Из писем Брюсова к П. П. Перцову от 5 декабря 1903 г. (ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 23) и к З. Н. Гиппиус (1903) (ГБЛ, ф. 386, карт. 70, ед. хр. 37).

<sup>3</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16. В издании дневников (Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927) эта фраза опущена.

<sup>4</sup> Белый Андрей. Почему я стал символистом..., с. 41.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Письмо к Э. К. Метнеру (1904 г., вторая половина июня). — ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 38.

ровской; однако в июле он резко порывает с нею и возвращается в Серебряный Колодезь. В августе уже происходит окончательный разрыв: «...я заявляю Н. И. Петровской, что я — *неумолим*; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л. Д. Блок; ее пронизательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство» (МБ, л. 48).

Еще более странный и драматический оттенок этим затухавшим и, по сути, исчерпавшим себя отношениям стала придавать зарождавшаяся близость Петровской и Брюсова.

В 1904—1905 годах Брюсов, по его собственным признаниям, переживал один из наиболее острых, эмоционально насыщенных периодов в своей жизни. С одной стороны, это было вызвано бурными общественными событиями (война, революция, общественный подъем), с другой — сугубо личными переживаниями, связанными с любовью к Нине Петровской. Некоторое время спустя Брюсов занес в дневник краткую запись, свидетельствующую о чрезвычайной значимости отношений с нею для понимания его биографии и творчества:

«Из 1904—1905 года.

Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Большая часть переживаний воплощена в стихах моей книги «Stephanos». Кое-что вошло и в роман «Огненный Ангел». Временами я вполне искренно готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова.

Литературно я почти не существовал за этот год, если разуместь литературу в Верлэновском смысле. Почти не работал: «Земля» напечатана с черновика. Почти со всеми порвал сношения, в том числе с Бальмонтом и Мережковскими. Нигде не появлялся. Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов...»<sup>1</sup>

Как «связь двух врагов» воспринимал свои отношения с Брюсовым и Андрей Белый, причем его чувства и переживания носили необычайно аффектированный характер. Ощущение Брюсова зловещим «магом», выйдя из сферы поэтических уподоблений в непосредственную

<sup>1</sup> Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927, с. 136.

«жизнь», достигло в 1904 году своего апогея, и Брюсов в восприятии Белого все более явственно выступает активным действующим лицом в подспудно разыгрывающейся мистической драме. Еще в период искания «мистериальной» любви Белый стал относиться к Брюсову подсознательно враждебно. В 1904 году, когда безнадежно запутываются его отношения с Петровской и обостряется мировоззренческий кризис, Белый, глубоко потрясенный крушением мистических упований, начинает все отчетливее ощущать Брюсова как некий роковой феномен, деформирующий его сознание. Брюсов для него — знак инфернальных сил, угрожающих цельности его духовного «я»: «...с Брюсовым устанавливаются холодные, жуткие отношения; кроме того: я чувствую, что какая-то дверь, доселе отделявшая меня от преисподней,— распахнулась: точно между мной и адом образовался коридор: и — вот: по коридору кто-то бежит, настигая меня; чувствую: этот бегущий — враг, меня осенило: враг — Брюсов» (МБ, л. 43 об.). С. М. Соловьев, ближайший друг Белого, еще больше укрепляет его в мнении, что в Брюсове «есть нечто магическое».

В феврале 1904 года Белый пишет ряд стихотворений и отмечает влияние брюсовской поэтики на свое творчество, брюсовские интонации и ритмы: «Я пишу несколько отрывков стихотворных, посвященных Брюсову, и с удивлением вижу по ним, что от ритмов «Золота в Лазури» и следа не осталось; влияние поэзии Брюсова на себе я ощущаю болезненно; в этом влиянии точно сламывается во мне что-то; февраль могу назвать перегоранием «Золота в Лазури» в „Пепел“» (МБ, л. 43 об.).

Эти новые тенденции ярко проявились в стихотворении «Маг»<sup>1</sup>, в котором Белый изображает Брюсова, в противоположность собственным полукошмарным переживаниям, магом-властелином, одиноко царящим над вселенной:

Упорный маг, постигший числа  
И звезд магический узор,  
Ты — вот: над взором тьма нависла...  
Тяжелый, обожженный взор.

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Урна. Стихотворения. М., 1909, с. 18—19. Стихотворение датировано: «1904, 1908», в издании 1923 г.: «1904. Март».

Бегут года. Летят: планеты,  
Гонимые пустой волной,—  
Пространства, времена... Во сне ты  
Повис над бездной ледяной. <...>

Ты знаешь: мир, судеб развязка,  
Течение быстрое годин —  
Лишь снов твоих пустая пляска;  
Но в мире — ты, и ты — один,

Все озаривший, не согретый,  
Возникнувший в своем же сне...  
Текут года, летят планеты  
В твоей несчастной глубине.

Отточенные «металлические» строфы, логическая завершенность, лаконичность и ясность поэтического языка, столь свойственные стилю Брюсова, мы находим в этом стихотворении Белого. Неистовость красок, подчеркнутая эмфатичность всей образной системы «Золота в лазури» сменяется глубокой внутренней цельностью, чеканностью стиха, органически входит в строгие формальные рамки. Стилю Брюсова следует здесь Андрей Белый, возвеличивая и образ Брюсова-поэта. Знаменательно, что в поэтическом тексте, датированном тем же 1904 годом, Белый возводит Брюсова на пьедестал: «маг» Брюсов предстает гордым повелителем мира; в стихотворении, без сомнения, обрисован «белый» маг. «Реальный» же Брюсов для него в это время — «черномаг и отдушник, из которого, как из печки, в дни ужасов кто-то выбрасывает столбы серных паров»<sup>1</sup>, и это ощущение в особенности обострилось у Белого, когда между Брюсовым и Петровской установились близкие отношения.

Согласно мемуарным свидетельствам Ходасевича, в союз с Брюсовым Петровская вступила, руководствуясь первоначально лишь желанием отомстить Белому за попрание ее чувства, однако «союз тотчас же был закреплен взаимной любовью»<sup>2</sup>. Натура раздвоенная и противоречивая, Петровская была склонна и к безудержной чувственности, и к мистической экзальтации. Отвергнутая Белым, но в глубине души преданная ему и желавшая сохранить верность его идеалам и заветам, она делилась своими переживаниями с Брюсовым; Белый тем

<sup>1</sup> Письмо Белого к Э. К. Метнеру (1904 г., первая половина мая). — ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 35.

<sup>2</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 18.

самым становился постоянным объектом их интимных бесед. «Все, что было до Б. Н. — *не существует, все о нем*, эти два года минуту за минутой я рассказала тебе, не скрывая ничего», — писала впоследствии Петровская Брюсову<sup>1</sup>. Первоначальное преклонение перед Белым, как учителем жизни, вызывало в свою очередь у Брюсова чувство соперничества, которым отчасти можно объяснить занятую им позицию: Брюсов хотел проверить крепость и стойкость жизненного кредо своего «соперника». Белый позднее подробно описал возникавшие между ними «сеансы мистических фехтований»<sup>2</sup>: «...в подходе ко мне ощущал постоянно я некоторую предвзятость и обостренное любопытство, меня заставлявшее как-то сжиматься; теперь точно скинул он маску; весь стиль наших встреч — откровенное, исступленное нападение Брюсова на устои моего морального мира; и я отвечал не предвзято на это — перчаткою, брошенной Брюсову; между нами господствовал как бы вызов друг друга на умственную дуэль; все-то чувствовалось, что между нами в глубинах туманного подсознания нашего назревает конфликт (...)»<sup>3</sup>.

В это время Брюсов уже был готов к осуществлению долго вынашивавшегося замысла «Огненного Ангела», и его позиция по отношению к Белому отчасти объясняется и писательской заданностью — воплотить возможно точнее и полнее задуманные психологические типы, проверить «жизнью» сюжетные ходы, а в «последней», может быть, не до конца осознанной глубине художественной идеи — реализовать такое творческое задание, которое — вполне в духе программных символистских установок — позволило бы говорить об осуществившемся на деле стирании различий между жизнью и искусством, игрой и «гибелью всерьез», по позднейшей формуле другого поэта.

Мотивы поведения Брюсова были Андрею Белому совершенно неведомы. И он мучился в поисках выхода из создавшегося непонятного положения; духовное отчуждение сменялось исповедальной искренностью, стремлением к «братской» близости. Попытки как-то разрешить гнетущие отношения ярчайшим образом сказались

<sup>1</sup> Письмо от 14 декабря 1905 г. — ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95.

<sup>2</sup> Формулировка из письма Белого к Э. К. Метнеру (1904 г., первая половина мая).

<sup>3</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923). — ГПБ, ф. 60, ед. хр. 11, л. 69.

в одном из его писем к Брюсову (август 1904 г.): Белый призывает своего корреспондента к полной откровенности, и сам он стремится возможно искреннее раскрыть свои душевные терзания, исповедаться в том, «что стыдливо прячешь где-то в самом далеком уголке души» (ЛН, с. 377). После разрыва с Петровской Белый еще более обостренно чувствует в Брюсове «врага»; эти переживания совпадают с порой сближения Брюсова с Петровской. «Общая тональность этого времени — тревожная и мрачная; ощущение, что *враг* невидимый подступает ко мне, все усиливается; оно началось еще в феврале 1904 года; теперь — оно усиливается; и опять ощущение: *враг* этот — Брюсов. Я от Брюсова скрываю свое отношение к нему, но он словно чует его; и внимательно вглядывается в меня» (МБ, л. 49).

Октябрь, ноябрь и декабрь 1904 года Андрей Белый считает кульминацией своей борьбы с Брюсовым. Ему наконец открывается то, чем обусловлена напряженность отношений: «...меня осеняет вдруг мысль: состояние мрака, в котором я нахожусь, — гипноз, Брюсов меня гипнотизирует; всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни; я не подозреваю подлинных причин такого странного внимания ко мне Брюсова: причина — проста: Брюсов влюблен в Н. И. Петровскую и добивается ее взаимности; Н. И. — любит меня и заявляет ему это; более того, она заставляет его выслушивать истерические преувеличения моих «светлых» черт; Брюсов испытывает ко мне острое чувство ненависти и любопытства; он ставит себе целью: доказать Н. И., что я сорвусь в бездну порока; ему хотелось бы меня развратить; и этим «отмстить» мне за невольное унижение его; вместе с тем: любовь к сомнительному психологическому эксперименту невольно поворачивает его на гипноз; он не удовольствуется разговорами со мной на интересующую меня тему; он старается силой гипноза внушить мне — любовь к разврату, мраку» (МБ, л. 50).

Если доверять многочисленным свидетельствам Белого, Брюсов действительно стал сознательно выступать перед ним в роли «мага», демонического искусителя и служителя «тьмы». Памятуя о большой компетентности Брюсова в оккультных науках, можно предположить реальную возможность таких гипнотических экспериментов — или хотя бы их более или менее искусную имитацию, — проявление которых было, конечно,

Белым невероятно преувеличено: «...предо мною порой раскрывается «маг» Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканием приемов весьма подозрительно (го) эксперимента»<sup>1</sup>.

Все эти приемы оказывали на переутонченную душевную организацию Андрея Белого чрезвычайно сильное воздействие. Белый видел в них выражение той темной, дьявольской, плотской стихии, которую стремился отринуть во имя высших духовных ценностей: «При встречах в гостях он (Брюсов) с таинственной интимностью подсаживался ко мне, отзывал в теневой уголок, усаживал рядом; и начинал говорить преувеличенные комплименты; вдруг, сквозь них, больно всаживал он, точно рапиру, подкалывая — «дьявольским афоризмом» или пугая намеком, что этот подкоп может стать... и боем на рапирах»<sup>2</sup>. В ответ на постоянно декларируемое Белым противостояние «темным силам» («Я иду к Свету, борюсь с мраком») <sup>3</sup> Брюсов еще более стремился декорировать себя под «служителя тьмы»: «...стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер: я утверждаю — «свет победит тьму». В. Я. отвечает: „мрак победит свет, а вы погибнете“»<sup>4</sup>. Это проявлялось даже при обиходных обстоятельствах — в которых, впрочем, всегда обнаруживались знамения и иносказания; Белый зафиксировал, например, такой случай: «...раз я, приподнявши бокал, возгласил: «Пью, за свет». В. Я. Брюсов, усевшийся рядом со мною, вскочил, как ужаленный; он, поднимая бокал, прогортанил: «„За

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 76.

<sup>2</sup> Белый Андрей. Начало века, с. 285. Вот, к примеру, один из таких «дьявольских афоризмов» Брюсова: «За Бога, допустим, процентов так сорок; и против процентов так сорок; а двадцать, решающих, — за скептицизм» (там же, с. 284). Ср.: «Помню один характерный разговор мой с Брюсовым, когда В. Я. воскликнул с совершенно искренним пафосом: «что же, Борис Николаевич, ведь в Апокалипсисе сказано, что гад будет повержен в смерть. Итак: вы против Гада, против слабейшего? Мне — жаль гада, бедный гад, я с гадом!» (Белый Андрей. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. — Записки мечтателей, № 6. Пб., 1922, с. 95).

<sup>3</sup> Из письма Белого к матери, А. Д. Бугаевой (1906 г.). — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358.

<sup>4</sup> Белый Андрей. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. — Записки мечтателей, № 6, с. 95.



тьму!»<sup>1</sup>. В письме к А. Блоку (декабрь 1904 г.) Белый сообщал даже о «медиумических явлениях», происходящих в его квартире: мгновенно тухла лампа, полная керосину, раздавались непонятные стуки, шепот, звуки выстрелов и т. п.<sup>2</sup>

Защита Брюсовым «тьмы», несомненно, была лишь умелым исполнением взятой на себя роли, набором атрибутов и приемов в затеянном идейно-психологическом маскараде, но она имела под собой серьезное и глубокое внутреннее противостояние всей мировоззренческой системе Андрея Белого. Это противостояние осуществлялось и в поэтическом творчестве.

В том же 1904 году Брюсов работал над стихотворением «Предание»<sup>3</sup>. Это был отклик на затронутое выше стихотворение Белого под тем же названием, навеянное отношениями с Петровской на их ранней стадии. Стихотворение посвящено Белому, в него педантически перенесены все отличительные приметы первоисточника, последовательно выдержаны стиль, образно-сюжетная схема, размер (четырёхстопный ямб) и система рифмовки основных частей «Предания» Белого. Но в трактовке темы Брюсов отходит от «оригинала», утверждая именно те ценности, отказ от которых воспел Белый: если в стихотворении Белого воплощены мистические томления по «святой», «мистериальной» любви, то Брюсов воспевает свою земную любовь к Петровской.

В описании заката на море и отплытия пророка вдаль Брюсов почти буквально повторяет первоисточник. У Белого:

На башнях дальних облаков  
Ложились мягко аметисты.  
У каменистых берегов  
Челнок качался золотистый.

Диск солнца грустно ниспадал,  
Меж тем как плакала сибилла.  
Средь изумрудов мягко стлал  
Столбы червонные берилла.

<sup>1</sup> Белый Андрей. Воспоминания о Блоке.— Эпопея, № 1. М.— Берлин, 1922, с. 261.

<sup>2</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 116.

<sup>3</sup> Впервые опубликовано в кн.: Брюсов Валерий. Неизданные стихотворения. М., 1935, с. 116—119. Авторская датировка стихотворения: «1904 — ноябрь, 1905 — март, 1906 — март».

## У Брюсова:

И весь челнок и плащ пловца  
Сверкали ясным аметистом;  
В кудрях пророка, вокруг лица,  
Закат горел венцом лучистым.

И в грозно огненный закат  
Уйдя безумными очами,  
Пловец не мог взглянуть назад  
На скудный берег за волнами.

Меж ним и берегом росли  
Огни топазов и берилла,  
И он не видел, как с земли  
Стремилась взор за ним Сибилла.

У Белого пророк перед своим отплытием надевает сибилле венки:

Сибилла грустно замерла,  
Откинув пепельный свой локон.  
И ей надел поверх чела  
Из бледных ландышей венки он.

Две последние строки из этого четверостишия Брюсов взял эпиграфом к своему стихотворению. В его версии «Предания» после отплытия пророка перед сибиллой появляется «верховный жрец» и снимает надетый пророком венки:

И тень, приблизившись, легла,  
Верховный жрец отвел ей локон,  
И тихо снял с ее чела  
Из белых ландышей венки он.

Далее Брюсов живописует тайную любовь жреца и сибиллы. Воспетую Белым любовью «святую», мистическую, исполненную молитвенной умиротворенной созерцательности, он заменяет трагической страстью, всепоглощающей, изнуряющей эротикой; на сибилле теперь вместо венка из белых ландышей — венки из роз<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Белый цвет — древний символ высокой мистики, декларируемый в стихах и «симфониях» Белого. Говоря о своих и С. М. Соловьева духовных исканиях, Белый отмечал в декабре 1900 г. «узнание апокалиптических переживаний в связи с «белым» цветом; смеясь, мы говорили друг другу, что мы исследуем «белые начала» жизни; в них — веяние наступающей великой эры пришествия Софии Премудрости и Духа Утешителя» (МБ, л. 16). Брюсов противопоставляет белым ландышам из стихотворения Белого розы — символ чувственной любви.

Струи священного вина  
Пьянили мысль, дразня желанья,  
И, словно в диком вихре сна,  
Свершались таинства лобзанья.

На ложе каменном они  
Безрадостно слетали руки:  
Плясали красные огни  
И глухо повторялись звуки.

Но вдруг припомнив о былом,  
Она венюк из роз срывала,  
На камни падала лицом  
И долго билась и стенала.

И кротко жрец, склонясь над ней,  
Вершил заветные заклятья,  
И вновь, под плясками огней,  
Сплетались горькие объятья.

Безусловно, в этих строфах отражены отдельные психологические моменты отношений Брюсова и Петровской, которые впоследствии были отражены в любовной лирике книги Брюсова «Στέφανος» и подробно воссозданы в «Огненном Ангеле».

В стихотворении Белого сибилла остается ждать пророка, и на камне навеки остается надпись «Sanctus Aпог». Стихотворение Брюсова заканчивается сценой, отсутствующей в «Предании» Белого: пророк возвращается к сибилле, возвещая ей «вечное свидание».

Спросил он: «Ты ждала меня?»  
Сказала: «Верила и знала».  
Лучом сапфирного огня  
Луна их лик поцеловала.

Рука с рукой к прибою волн  
Они сошли, вдвоем отныне...  
Как сердолик — далекий челн  
На хризолитовой равнине!

А в башне, там, где свет погас,  
Седой старик бродил у окон,  
И с моря не сводил он глаз,  
И целовал в последний раз  
Из мертвых ландышей венюк он.

Воспетая Андреем Белым «мистериальная» любовь оказывается скомпрометированной, спародированной: «вечным свиданьем» вознаграждена, как «непорочная жрица», сибилла, отдававшая любовь «седому старику», и это позволяет Брюсову восславить, как высшую цен-

ность, «хаотическое» земное человеческое чувство. Все цитаты из Белого, воспроизводимые Брюсовым, действуют против первоисточника, последовательно его дезавуируя. Брюсов писал стихотворение в ноябре 1904 года, затем дорабатывал в 1905—1906 годах, но так и не опубликовал; в 1906 году он прочел его в присутствии Белого (как «подражание» последнему) на вечере у Ходасевича<sup>1</sup>.

В ноябре 1904 года ощущение своей роковой подвластности Брюсову усиливается у Белого до такой степени, что в последних строках написанного Брюсовым и посвященного ему еще в 1903 году стихотворения:

Я много верил, я проклял многое  
И мстил неверным в свой час кинжалом —

он начинает видеть конкретную угрозу себе. В эти дни он создает стихотворение «Отчаянье»<sup>2</sup>, в котором образ Брюсова запечатлен в строках:

Двойник мой гонится за мной;  
Он на заборе промелькает,  
Скользнет вдоль холодной мостовой  
И, удлинившись, вдруг истает.

Душа, остановись — замри!  
Слепите, снеговые хлопья!  
Вонзайте в небо, фонари,  
Лучей наточенные копья!

---

<sup>1</sup> Ходасевич в подробностях воспроизвел в мемуарах этот эпизод: «Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. (...) Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив, по обычаю, руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клокочущим голосом:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

— Тем хуже для вас!» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 69—70).

<sup>2</sup> Впервые опубликовано: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905, с. 9.

«Брюсов становится для меня темным, неизвестным другом-врагом, пронзающим *копьями* гипноза, — вспоминал Белый о ноябре 1904 года. — То я начинаю сознавать, что все «это» есть наваждение; борюсь с обессиливающим меня «сном смертной лени»; и — с Брюсовым; эта борьба выражается странно; она доходит до видимости каких-то «магических» сеансов между нами <...>. И когда я восклицаю — «вонзайте в небо, фонари, лучей наточенные копья», то я как бы уступаю действию гипноза Брюсова» (МБ, л. 50 об.).

Трансформированный образ Брюсова возникает и в философско-поэтической прозе Андрея Белого («Химеры», «Сфинкс»). В первом из этих произведений описана борьба «юноши с солнечными волосами» с преследующими его «химерами»; одна из них — некий «профессор мрака», бросающийся на противника «жадно и мстительно»; «слова его — море шипящих змей»<sup>1</sup>. В «Сфинксе» же представления, внушенные восприятием Брюсова, воплощены в образе «мага, закрытого пледом»; сама магия дискредитируется: «Ведовство, магия — это искусство вызывать ужас и глушить им людей. <...> Всегда на руку ведуны вызвать в человеке зверя. <...> Не ремесло человеку магия. Ужас — она»<sup>2</sup>.

Наконец, конфликт достиг высшего напряжения, когда Брюсов направил Андрею Белому свое стихотворение «Бальдеру Локи»<sup>3</sup>. Бальдр и Локи — герои скандинавских мифов, в том числе сказаний «Старшей» и «Младшей» «Эдды». Бальдр — юный бог, сын верховного бога Одина, прекрасный, светлый и благостный; характерна его роль пассивной жертвы. Локи — стихийный, «демонический» многоликий бог, отличающийся хитростью и коварством; по его наущению погиб Бальдр. Локи в брюсовском тексте — сам автор, Андрею Белому (Бальдеру) он послал стихотворение, свернув лист в виде стрелы.

Светлый Бальдер! Мне навстречу  
Ты, как солнце, взносишь лик.  
Чем лучам твоим отвечу?

<sup>1</sup> Веса, 1905, № 6, с. 4—5.

<sup>2</sup> Веса, 1905, № 9-10, с. 40, 41.

<sup>3</sup> Ср. комментарий Брюсова к этому стихотворению в его кн.: Στέφανος Βενок. Стихи 1903—1905 года. М., 1906, с. 172. Опубликовано впервые стихотворение было с подзаголовком: «Андрею Белому» («Северные цветы ассирийские». Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905, с. 35—36).

Опаленный, я поник.  
Я взбегу к снегам, на кручи:  
Ты смеешься с высоты!  
Я взнесусь багряной тучей:  
Как звезда сияешь ты!  
Припаду на тайном ложе  
К алой ласковости губ:  
Ты метнешь стрелу,— и что же!  
Я, дрожа, сжимаю труп.

Но мне явлен Нертой мудрой  
Призрак будущих времен.  
На тебя, о златокудрый,  
Лук волшебный наведен.  
В час веселья, в ясном поле,  
Я слепцу вручу стрелу,—  
Вскрикнешь ты от жгучей боли,  
Вдруг повергнутый во мглу!  
И когда за темной Гелой  
Ты сойдешь к зловещим снам,—  
Я предам, со смехом, тело  
Всем распятым! всем цепям!  
Пусть в пещере яд змеинный  
Жжет лицо мне, я в бреду  
Буду петь с моей Сигиной:  
Бальдер! Бальдер! ты в аду!

Не вотще вещали норны  
Мне таинственный обет.  
В пытках вспомнит дух упорный:  
Нет! не вечен в мире свет!  
День настанет: огнебоги  
Сломают мощь небесных сил,  
Рухнут Одина чертоги,  
Рухнет древний Игдрасил.  
Выше радуги священной  
Встанет зарево огня,—  
Но последний царь вселенной  
Сумрак! сумрак! — за меня<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В рукописных вариантах текста есть знаменательные строки:

Тетиву слепец подвинет,  
Скульд направит лет стрелы,  
И твоя душа не минет,  
Бальдер светлый, власти мглы!

(примечания М. И. Дикман в кн.: Брюсов Валерий. Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта». Большая серия). Л., 1961, с. 768). Приведем еще несколько вариантов строк, не вошедших в окончательный текст стихотворения:

Лик твой, отрок златокудрый,  
Тайной тенью омрачен. <...>  
Ты как все сойдешь под кровлю  
Грез зловещих, грешных мук.

Учитывая, как обостренно переживал тогда Белый проблему борьбы «света» с «мраком», Бога с дьяволом, небесного с земным, можно представить, что послание Брюсова он мог воспринять — и воспринял — только как жест, до последней ясности обозначающий их жизненное противостояние. Стихотворением «Бальдеру Локи» Брюсов недвусмысленно заявил, что он намеренно надел на себя личину «демона», дабы противостоять чуждым ему духовным устоям Белого.

Сохранилось несколько рисунков Белого, созданных под впечатлением от этого послания, где он изобразил себя и Брюсова<sup>2</sup>. На одном из них Брюсов, весь в черном, стреляет в Белого из лука, причем Белый облачен в светлые одежды, на груди у него крест. Подпись к рисунку — две первые строки стихотворения «Бальдеру Локи». На другом рисунке Брюсов обеими руками простирает стрелу к Белому, поднимающемуся из постели. И на этом рисунке воспроизведены стихи из «Бальдеру Локи»: «Вскрикнешь ты от жгучей боли, // Вдруг повергнутый во мглу»; подпись к рисунку: «Чем занимается [великий] чумоносный человек, когда остается один». На третьем рисунке пробудившийся от сна Белый видит над собой Брюсова с угрожающе простертыми к нему руками. Подпись: «Что снится тогда врагам великого человека».

Образ Брюсова занял в этот период важнейшее место в духовной жизни Белого; борьба с брюсовским

---

Я в тиши давно готовлю  
Из ольхи волшебный лук. <...>

Боги света — вы далеко,  
Ваших радостей не счесть!  
Но одно блаженство Локи  
Но уступит азам — мечь. <...>

Всеми, отрок светлоокый,  
Ты, как ясный день, любим,  
Я же — злой и хитрый Локи —  
Застылаю даль, как дым. <...>

И падут в последнем бое  
Боги светлые на щит.  
Все земное, неземное,—  
Сумрак, сумрак победит.

(ГБЛ, ф. 386, карт. 6, ед. хр. 1, л. 50—52).

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 6, ед. хр. 4. Опубликовано В. Н. Орловым в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка (на вклейках).

«искушением» стала главным стимулом в его внутренних исканиях. Белый отказывался сдаваться натиску Брюсова, стремился сокрушить «обставший» его «магизм». «Теперь тень пала для меня на Лик Валерия Брюсова, — сообщал он Блоку, — и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук»<sup>1</sup>.

14 декабря 1904 года Андрей Белый отправил Брюсову — в ответ на «Бальдеру Локи» — стихотворное послание «Старинному врагу», сопроводив его особым листом бумаги, на котором начертал крест и написал несколько цитат из Евангелия; несомненно, он придавал этому определенный мистический смысл: отвержение крестным знаменем и сакральным словом «дьявольского» наваждения. Стремясь своим стихотворением сокрушить «демоническое» начало в Брюсове, Белый ощущал себя вдохновенным «Незримым Светом»: «Пока писал — чувствовал: через меня пробегает нездешняя сила; и — знал: на клочке посылаю заслуженный неотвратимый удар (прямо в грудь), отучающий Брюсова от черной магии — раз навсегда; грохотала во мне сила света»<sup>2</sup>. Стихотворение приводится по рукописи, посланной Брюсову:<sup>3</sup>

#### СТАРИННОМУ ВРАГУ В ЗНАК ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ

Я был в ущелье. Демон горный  
Взмахнул крылом — затмился свет.  
Он мне грозил борьбой упорной.  
Я знал: в борьбе пощады нет.

И длань воздел. И облак белый  
В лазурь меня — в лазурь унес.  
Опять в эфирах вольный, смелый,  
Омытый ласковостью рос!

<sup>1</sup> Письмо от 18 или 19 декабря 1904 г. — В кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 116.

<sup>2</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 74. Стихотворение опубликовано в журнале «Вопросы жизни» (1905, № 3, с. 100) с посвящением «В. Б.»; в сборники не включалось; перепечатано в кн.: Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта». Большая серия). М.—Л., 1966, с. 465. Первая строфа существенно отличается от публикуемой в рукописном варианте.

<sup>3</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 79, ед. хр. 1.



Ты несся ввысь со мною рядом,  
Подобный дикому орлу.  
Но опрокинут тяжким градом,  
Ты пал, бессильный, на скалу.

Ты пылью встал, но пыль, но копоть  
Спалит огонь, рассеет гром.  
Нет, не взлетишь: бесцельно хлопать  
Своим растрепанным крылом.

— — — — —  
Моя броня горит пожаром.  
Копье мне — молния, Солнце — щит.  
Не приближайся: в гневе яром  
Тебя гроза испепелит.

1904 года 9-го декабря.

Эта ответная угроза уничтожить Брюсова-«демона» «Светом» произвела на адресата чрезвычайно сильное впечатление. Белый пишет: «Получив это стихотворение, он видит во сне, что между нами дуэль на рапирах и что я проткнул его шпагой; просыпается — с болью в груди (это я узнал от Н. И. Петровской)» (МБ, л. 51). О том, что стихотворение Белого оказало свое воздействие, свидетельствует и М. Волошин, приводящий в дневниковой записи от 21 декабря 1904 года признания Брюсова: «Я написал Белому («Бальдур и Локэ») и он мне ответил. Такого тона у Белого еще не было. Он заговорил Архангелом»<sup>1</sup>.

Белый воспринял реакцию Брюсова как победу своего духовного мира и образа мышления, как торжество «Света» над «тьмою». Это способствовало разрешению глубокого внутреннего кризиса. Белый с удовлетворением писал: «Я чувствую, что силами молитв, обращенных к Серафиму, я стряхнул с себя наваждение <...>» (МБ, л. 51);<sup>2</sup> «...с того вечера: пропал Брюсов, стращавший в астрале; и не было нападений, угасли в квартире «феномены»; воля Брюсова была сломлена: сброшен гипноз»<sup>3</sup>.

Радость победы у Белого была небеспричинной. Брюсов, вероятно, на самом деле почувствовал несостоятельность своей роли «демона-искусителя» и гипнотизера

---

<sup>1</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 31 об.

<sup>2</sup> Упоминается св. Серафим Саровский (1760—1833) — иеромонах Саровского монастыря, прославившийся как величайший подвижник; был глубоко чтим Белым.

<sup>3</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 75.

перед выстраданными религиозными и моральными устоями своего противника. И от «преследования» Белого он обратился к его воспеванию. Трудно судить, в какой степени эта перемена была обусловлена непосредственными переживаниями, в какой — «игровыми», творческими заданиями, — слишком часто у Брюсова подлинное содержание духовной жизни проступало сквозь артистическую позу, маску, даже через заведомую мистификацию<sup>1</sup>, — однако 1 января 1905 года он написал стихотворение «Бальдеру. II», полное намеков на отношения поэтов с Петровской. Стихотворению Брюсов предпослал вполне однозначный эпиграф из З. Н. Гиппиус: «Тебя приветствую, мое поражение»:

Кто победил из нас, — не знаю!  
Должно быть, ты, сын света, ты!  
И я, покорствуя, встречаю  
Все безнадежные мечты.

Своим и я отметил знаком  
Ту, за кого воздвигся бой.  
Ей на душу упал я мраком  
И в бездны ринул за собой.

Но в самом ужасе падений,  
На дне отчаянья и тьмы,  
Твой дальний луч рассеял тени,  
И в небеса взглянули мы!

Нас сладострастным содроганьем  
Вязала страсть, но встал твой лик!  
И мы отпрянули с рыданьем,  
И я над плачущей поник.

Когда я мнил кричать проклятья,  
Благословили скорбь уста,  
И в наши грешные объятья  
Влилась незримо — Чистота!

Я молча раскрываю руки:  
Она — твоя, возьми! бери!  
Мне сладко от смертельной муки,  
Мне больно от лучей зари<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: Трифонов Н. А. От искусства эстетической игры к поэзии социальной действительности (Заметки о творческом пути Валерия Брюсова). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 44, 1985, № 6, с. 495—505.

<sup>2</sup> Брюсов Валерий. Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта». Большая серия), с. 502—503. Это стихотворение Брюсов первоначально предполагал включить в книгу *Στέφανος*. Венок». Рукописный вариант 6-й строки:

Ту, за кого [сошлись] [мы] в бой.  
(ГБЛ, ф. 386, карт. 6, ед. хр. 1, л. 54).

Помимо того, что это стихотворение — завершение «умственного» поединка поэтов, оно примечательно и тем, что проясняет значительную роль, которую играл образ Белого в отношениях Брюсова и Петровской — «той, за кого воздвигся бой». Брюсов не отослал адресату этого стихотворения и не опубликовал его, и Белый, по всей вероятности, так и не узнал о его существовании<sup>1</sup>.

Впоследствии ощущение мистической подвластности Брюсову у Белого исчезло, но напряженные отношения сохранялись, грозя привести к новым осложнениям. Именно такое столкновение произошло в феврале 1905 года; это был уже чисто «внешний» конфликт — инцидент между Брюсовым и Белым, едва не приведший к дуэли. Поводом для него оказались отношения поэтов с Мережковскими.

В январе 1905 г. Белый побывал в Петербурге, где очень сблизился с Мережковскими. «Я ужасно как привязался к Дм<итрию> Серг<еевичу> и Зинаиде Ник<олаевне> <...>, — сообщал он матери из Петербурга. — Ведь то, что я в религии получил от Мережковских, есть самое главное, что у человека должно быть в жизни. У меня на многое открылись глаза. Первый раз в жизни мои убеждения вполне закончились и определились»<sup>2</sup>. Мережковские приняли Андрея Белого в свою интимную «религиозную общину» седьмым членом. З. Н. Гиппиус подарила ему крест, который он демонстративно носил поверх одежды, празднуя, после отторжения соблазнов, причастность свою к «Свету». Брюсов понял направленность этого жеста и с иронией говорил, что «Борис Николаевич нас пугает крестом своим»<sup>3</sup>. Известно стало Брюсову и о том, что в Петербурге на «воскресенье» у В. В. Розанова 16 января Белый делился своими пророчествами о «Звере, выходящем из бездны в лице Бальмонта и Валерия Брюсова»<sup>4</sup>. Недовольство Брюсова касалось,

---

<sup>1</sup> Белый полагал, что под влиянием его послания «Старинному врагу» было написано стихотворение Брюсова «Молния» («Опять душа моя расколота...») (см.: Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 75). Однако это неверно, поскольку стихотворение «Молния» датируется 17 ноября 1904 г., тремя неделями ранее получения стихов Белого.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358.

<sup>3</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 137.

<sup>4</sup> Об этом сообщил Брюсову П. П. Перцов в письме от 17 января 1905 г. (ГБЛ, ф. 386, карт. 93, ед. хр. 12). К. Д. Бальмонт был неприемлем для Белого как законченный выразитель «декадентства».

конечно, и усиления симпатий Белого к Мережковским и их литературной платформе (Белый не раз замечал симптомы подспудной борьбы Брюсова и Мережковских за то, чтобы «перетянуть» его на свою сторону).

19 февраля, по возвращении Белого из Петербурга, Брюсов, зайдя к нему домой, завел разговор о Мережковском и оскорбительно отозвался о нем: «Вдруг без всякого повода, точно бутылка шампанского пробкою, хлопнул ругательством,— не на меня: на Д. С. Мережковского, зная, что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним; я — оборвал Брюсова; он, отступая шага на два, свой рот разорвал: в потолок:— «Да, но он продавал...» — «что» опускаю: ужаснейшее оскорбление личности Мережковского; я — так и присел; он, ткнув руку, весьма неприязненно вылетел»<sup>1</sup>. После ухода Брюсова Белый написал ему наскоро довольно резкое письмо, в котором осуждал его «злословие»: «Ведь Вы ругаете *периодически* всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например) <...> предупреждаю, что *без позволения* я бы не мог выслушать *теперь* Ваши слова о Мережковских, особенно в присутствии третьего постороннего лица» (ЛН, с. 381); на следующий же день (20 февраля) Брюсов отправил Белому в ответ письмо, фактически являвшееся вызовом на дуэль (см.: ЛН, с. 381—382).

Акт, предпринятый Брюсовым, привел Белого в полное недоумение, так как он не видел для дуэли, и вообще для серьезной ссоры, никакого повода; вызов он воспринял как нападение, с умыслом организованное Брюсовым, как новое проявление ненависти после успешного отвержения Белым «психологического» натиска. «Очевидно, что Брюсов искусственно строит дуэль,— писал Белый,— что причин к дуэли меж нами и нет; Мережковский — предлог, чтоб взорвать; вся дуэль — провокация Брюсова; для провокации этой имел он

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Начало века, с. 469. Сохранился рисунок Белого, из подписи к которому мы узнаем слова Брюсова: «Он продавал свои ласти, Борис Николаевич». («Ласти» — ласки; Белый пародирует манеру произношения Брюсова.) Рисунок подписан Белым: «Как злословит великий человек!» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 128—129). Имеется в виду слух об отношениях Мережковского с Е. И. Образцовой, отраженный в дневнике Брюсова (см.: Брюсов В. Я. Моя жизнь, кн. 14.— ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16) и в письмах Образцовой к Брюсову (ГБЛ, ф. 386, карт. 96, ед. хр. 33, 34).

причины; а у меня причин не было принимать этот вызов. И Брюсову написал я письмо; и просил В. Я. Брюсова взвесить: коль будет он твердо настаивать на дуэли, то буду я вынужден согласиться, но именно — вынужден». В этом письме Белый отказался признать свои слова оскорбительными и еще раз более сдержанно пояснил их смысл, уверяя Брюсова, что намекал в прежнем письме лишь на его «вспыльчивый темперамент»: «...не понимаю, в каких именно оттенках слов Вы увидели нечто, оскорбившее Вас. Потрудитесь или переслать мне письмо с подчеркнутыми местами, которые Вам не нравятся, или процитировать их, чтобы я мог их объяснить» (ЛН, с. 382). О вызове Белый известил своих ближайших друзей — С. М. Соловьева и Эллиса, прося их быть его секундантами. Однако дуэль не состоялась. 22 февраля Брюсов пришел к С. М. Соловьеву и оставил Белому письмо, в котором счел себя удовлетворенным представленными объяснениями (см.: ЛН, с. 383).

Белый осмыслял вызов Брюсова в непосредственной связи со всем характером их предшествующих отношений: «...у меня с Брюсовым должна была быть эмпирическая, а не символическая дуэль, или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел окончательно воплотиться» (как черт в Ивана Карамазова)<sup>2</sup>. Вячеслав Иванов, бывший с Брюсовым в эту пору очень близок и имевший представление о «символизме» его отношений с Белым, узнав о вызове на дуэль, прислал Брюсову из Женевы негодующее письмо, из которого ясно, что и для него инцидент был наделен опосредованным, своего рода мифопоэтическим, смыслом — затрагивал в равной мере сферы «жизни» и «литературы»: «Благодарю силы, которые призываю на тебя, за то, что преступление совершено тобою только в мире возможного. Ибо ты хотел убить Бальдера. <...> Я предвидел, что Б. все сделает, чтобы избежать этого кощунственного поединка; но считал возможным и принятие вызова, в каковом случае он, конечно, не поднял бы руки на тебя (твоя жизнь для него священна); но ты мог бы его убить, чтобы потом казнить самого себя <...> Исполни мое желание: помирись

---

<sup>1</sup> Белый Андрей. Начало века. Берлинская редакция (1922—1923), л. 138.

<sup>2</sup> Письмо к Э. К. Метнеру от 1 апреля 1905 г.— ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 44.

с Бальдером сполна и братски, ибо ведь и ты, себя не узнающий,— светлый бог» (ЛН, с. 473).

Брюсов собирался описать в дневнике этот инцидент (сохранился заголовок: «История моей дуэли с Белым»<sup>1</sup>), но так и не осуществил своего намерения.

После несостоявшейся дуэли в отношениях Брюсова и Белого обозначились новые тенденции, направленные к преодолению внутренней враждебности, которая еще давала о себе знать после напряженных психологических схваток. Для Белого все более прояснились мотивы поведения Брюсова. «Марево разорвалось,— писал Белый Блоку в конце февраля — начале марта 1905 года.— Ничего не осталось. Теперь я узнал некоторые чисто биографические подробности, почему Брюсов по отношению ко мне был так жесток. Прощаю ему охотно. Я бессознательно делал ему много зла. Он мне мстил. Теперь я все понял. Как хорошо, что все относительно него яснее»<sup>2</sup>. Летом 1905 года Белый уже писал Брюсову из Дедова: «Хочу сказать Вам из тишины, где ближе душа к самому себе, что я Вас всегда любил, а теперь еще более глубоко люблю, что бы между нами ни было в прошлом или в будущем» (ЛН, с. 384). В июле, после поездки с Петровской в Финляндию, Брюсов гостил у Белого и С. М. Соловьева в Дедове, где в их отношениях царила дружеская теплота; Брюсов, по словам Белого, всех «пленил». Не могли не сказаться на затухании личных конфликтов и перемены в общественной атмосфере: и для Брюсова, и для Белого в бурные революционные дни 1905 года индивидуальное неизбежно отступало на второй план перед общезначимым.

В 1906—1907 годах между писателями установились спокойные дружественные контакты, которые, все более укрепляясь, приобрели даже оттенок своеобразной привязанности и любви. Основой для этого сближения было общее дело — издание «Весов». Острота и резкость противоречий в основных вопросах мировоззрения сгладились, взаимоотношения стали развиваться под знаком литературной консолидации. Брюсову принадлежат знаменательные слова (в письме к Белому от 22 апреля 1907 г.), отчетливо характеризующие сближение писателей в этот период: «Вспоминая наше далекое

<sup>1</sup> Брюсов В. Я. Моя жизнь.— ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 37.

<sup>2</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 126.

прошлое и глядя на недавно пережитые дни, я думаю, что уже нет таких событий, которые сделали бы нас чуждыми друг другу. Здесь — нечто, стоящее выше всех расчетов человеческих» (ЛН, с. 408).

В конце 1906 года Брюсов известил Белого, находившегося тогда в Германии, о своем желании посвятить ему сборник своих рассказов «Земная ось» (ЛН, с. 401). Белый ответил благодарностью и согласием, и «Земная ось» (М., 1907) вышла с посвящением: «Андрею Белому память вражды и любви». Посвящение (оно сохранялось и в двух переизданиях книги) можно рассматривать как своеобразное резюме личных отношений Брюсова и Андрея Белого 1903—1906 годов.

Установившаяся в ходе «символической» борьбы с Белым близость Брюсова и Петровской вылилась в глубокую и сильную взаимную страсть, которая сыграла огромную роль в жизни и творчестве Брюсова и целиком овладела внутренним миром Петровской. В июне 1905 года, когда Брюсов и Петровская вместе жили в Финляндии, на Сайме, их отношения достигли своей кульминации. «Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней,— писал по возвращении Брюсов Петровской.— Как много раз я говорил,— да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро, открылись мне оба океана — моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидеть последние глубины, последние тайны моей души»;<sup>1</sup> «И все, что было в горниле моей души буйством, безумием, отчаяньем, страстью, перегорело и, словно в золотой слиток, вылилось в Любовь, единую, беспредельную, навеки»<sup>2</sup>. Последующее короткое расставание (июль — август 1905 г.) породило лавину писем друг к другу, отсылавшихся почти ежедневно; Петровская в них вновь и вновь возвращалась к Сайме с воспоминаниями о сбывшемся счастье. В эти дни временной разлуки, в селе Антоновка (близ Тарусы), Брюсов приступил к непосредственной работе над «Огненным Ангелом». «Буду писать к Тебе, много, без конца,— сообщал он Петровской 7 июля 1905 года.— Буду писать и *Твой* роман, с сегодняшнего дня, с того

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4.

<sup>2</sup> Письмо к Н. И. Петровской от 29 августа 1905 г.— Там же.

часа, как вернусь домой. Он должен быть написан, и написан *прекрасно*, быть эпохой в литературе. Клянись Тебе в этом»<sup>1</sup>.

2

Когда Андрей Белый ознакомился с первыми главами «Огненного Ангела», печатавшегося в «Весах» в 1907—1908 годах, ему открылся потаенный смысл тех странностей, которыми его преследовал Брюсов: «...обирал он себя для героя романа, для Рупрехта, изображая в нем трудности нянчиться с «ведьмой», с Ренатой; натура, с которой писалась Рената, его героиня, влюбленная в Генриха, ею увиденного Мадизлем, есть Н\*\*\*; графом Генрихом, нужным для повести, служили ему небылицы, рассказанные Н\*\*\* об общении со мной; он, бросивши плащ на меня, заставлял произвольно меня в месяцах ему позировать, ставя вопросы из своего романа и заставляя на них отвечать; я же, не зная романа, не понимал, зачем он, за мною — точно гоняясь, высматривает мою подноготную и экзаменует вопросами: о суеверии, о магии, о гипнотизме, который-де он практикует; когда стали печататься главы романа «Огненный Ангел», я понял «стилистику» его вопросов ко мне»<sup>2</sup>; «Автор рассказа — Брюсов; граф Генрих — лучшая часть меня, борющаяся *«светом»* с мраком; Рената — полная копия с Нины Ивановны Петровской» (МБ, л. 51).

Герой романа, от лица которого ведется повествование, бывший студент Кельнского университета Рупрехт возвращается на родину после пятилетнего пребывания в Америке. По пути к Кельну, в придорожной гостинице, он встречает Ренату — женщину, одержимую демонами<sup>3</sup>, которая рассказывает ему историю своей жизни.

---

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 12.

<sup>2</sup> Белый Андрей. Начало века, с. 284.

<sup>3</sup> Общение Ренаты с духами имеет конкретную жизненную параллель: Белый отмечает, что в спиритических сеансах, которые устраивали Брюсов, А. А. Ланг (Миропольский), С. А. Соколов, композитор В. И. Ребиков и др., Петровская «оказывается сильным медиумом» (МБ, л. 46). По убеждению Белого, именно совместные спиритические сеансы явились поводом для сближения Петровской и Брюсова.



Еще в детстве Ренате стал являться ангел, озаренный солнечными лучами, «весь как бы огненный, в бело-снежной одежде»<sup>1</sup>, которой называл себя Мадизель. Ночью ангел носил Ренату на крыльях по небу и показывал «неземные, лучезарные селения». «Когда Рената несколько подросла, Мадизель возвестил ей, что она будет святой» (с. 21), и потребовал от нее вести жизнь подвижницы, заставляя ее подвергать себя жестоким испытаниям. «Рената проводила по целым ночам на коленях, а Мадизель, оставаясь подле, укреплял изнемогающую, как ангел Спасителя в саду Гефсиманском». Видя, «что девушки ее лет имеют женихов или возлюбленных, Рената приступила к своему ангелу с настойчивой просьбой, чтоб он сочетался с нею и телесно» (с. 22), но Мадизель, напомнив о блаженстве праведных душ, запретил ей и думать о плотских соблазнах; когда же Рената попыталась принудить его соединиться с нею, он улетел, опалив небесным огнем ей плечи и волосы<sup>2</sup>. После длительных молений Мадизель явился ей во сне и обещал, если она жаждет любви, сочетаться с нею в образе человека.

«Приблизительно через два месяца после этого видения узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это — Мадизель. Но приехавший не хотел показать, что они знают друг друга, и называл себя графом Генрихом фон Оттергейм» (с. 23). Вскоре граф открылся Ренате в любви и увез ее в свой замок, но к концу второго года их совместной жизни уехал неизвестно куда<sup>3</sup>. Ренату

<sup>1</sup> Брюсов Валерий. Огненный Ангел. Повесть в XVI главах. Издание второе. М., 1909, с. 21. Далее при ссылках на это издание в скобках указывается лишь номер страницы.

<sup>2</sup> Ср. строки из стихотворения Брюсова «Видение крыльев» (ноябрь 1905 г.):

Крылья! крылья! крылья! —  
Яркое виденье  
Ослепило нас.  
Страшен и неведом,  
Там Крылатый Кто-то  
Озарен огнем.

<sup>3</sup> От хозяйки гостиницы Рупрехт узнает, что граф «принял на себя крест и ушел босым ко святому гробу Господню, а свою сожительницу приказал слугам прогнать из замка» (с. 27). Ср. «бегство» Андрея Белого в Нижний Новгород.

стали одолевать злые духи, «но в то же время добрые духи-покровители всячески обороняли ее и предупреждали, что скоро она повстречает рыцаря Рупрехта, который будет истинным защитником ее жизни» (с. 24).

В приведенных здесь деталях внешнего облика графа Генриха (голубые глаза, золотистые волосы) мы уже узнаем характерные приметы Андрея Белого. Нетрудно увидеть в требовании ангелом возвышенной любви, ведущей к райскому блаженству, сходство с «аргонавтической» проповедью любви «мистериальной» и невниманием к земному чувству. Графа Генриха Брюсов делает в романе земным воплощением ангела, явленной в человеческом образе идеей божественности; Рената изначально задана как натура, «вся сотканная из противоречий и неожиданностей» (с. 48), мечущаяся между земным и небесным, ангельским и греховным. («Андрей Белый считал свою любовную связь с Ниной грехом и темным пятном на своем духовном облике (...), — вспоминала Л. Д. Рындина. — Нина мучилась в этой греховной любви, оделась во все черное, носила на груди деревянный крест большой. Но тут же, чтобы забыться, ходила чуть не каждый день играть в железку в литературный клуб»<sup>1</sup>.) Образ Ренаты, воплощающий неразрешимое противоречие любви к «небесному» графу и «земному» Рупрехту, становится фабульным центром романа.

Находясь под влиянием чар Ренаты, Рупрехт направляется с нею в Кельн на розыски графа Генриха. Добивающийся любви Ренаты, он с душевным терзанием выслушивает ее слова томления по графу Генриху («Разве ты его не любишь, Рупрехт? Разве можно его не любить? Ведь он — небесный, ведь он — единственный!» — с. 39), но оказывается не в силах противостоять ее притягательной силе. Побуждаемый Ренатой к поискам Генриха, он вступает с этой целью в сношения с духами, попадает на шабаш, где прибегает к услугам дьявола (вопрос о «реальности» этой сцены остается в романе открытым), прилежно изучает оккультные науки и проводит магические эксперименты. Постепен-

---

<sup>1</sup> Рындина Л. Д. Невозвратные дни. Воспоминания. — ЦГАЛИ, ф. 2074, оп. 2, ед. хр. 9, л. 3. Лидия Дмитриевна Рындина (сценич. псевдоним; наст. фамилия Брылкина) — актриса московских театров Корша и Незлобина, вторая жена С. А. Соколова (Кречетова) после его развода с Петровской.

но все более вырисовывается автобиографическая основа образа Рупрехта, созерцателя и рационалиста, стремящегося овладеть всевозможными знаниями и видящего в книгах «лучшее сокровище человечества» (с. 189). Характерен аналитический ясный слог, которым Рупрехт-Брюсов пользуется при описании самых ирреальных событий; в разговорах с духами он устанавливает правила в вопросах и ответах, подробно описывает свои действия и ощущения при магических пассажах, пытаясь логикой поверить и упорядочить алогичное. Увлеченность Рупрехта «тайными» знаниями — одна из наиболее ярких примет автобиографичности главного героя романа, но и в целом этот образ, вполне отвечающий представлениям о человеке эпохи европейского Ренессанса, отражающий его внутренний облик, направленность интересов и психологию, согласуется с личностью Брюсова, многосторонней и «протеистичной», тяготеющей к сочетанию интуитивного знания с научным методом, безудержной страсти с умом и трезвым расчетом.

Существенное место в романе занимает детальная и внимательная фиксация экстатических состояний полубезумной Ренаты, причудливо совмещающей в себе высокие мистические взлеты и бездны «дьявольского» греха. Героиня романа раздираема противоречивыми страстями, каждая из которых захватывает все ее существо. В этой самозабвенной одержимости, опять же, преломляются главные черты психологического облика Петровской. «Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, — вспоминал Ходасевич, — видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи — всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом»<sup>1</sup>. Письма Петровской к Брюсову перенасыщены этим максималистским пафосом, требованием полной самоотдачи.

По дальнейшему ходу сюжета Рената сообщает Рупрехту, что граф Генрих появился в Кельне, но отказался говорить с нею и с негодованием скрылся. Только

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 11.

теперь Рупрехт узнает от Ренаты причины подобного поведения графа: «...Генрих был участником одного тайного общества, вступая в которое дают обет целомудрия. Это общество должно было скрепить христианский мир более тесным обручем, нежели Церковь, и стать во главе всей земли более властно, чем Император и Святейший отец. Генрих мечтал, что он будет избран гроссмейстером этого ордена и выведет ладью человечества из пучины зла на путь правды и света. Ренату позвал он за собой лишь как помощницу в его опытах новой, божественной магии, ибо ему нужна была особая сила, таящаяся в некоторых людях. Но Рената, почитая Генриха воплощением своего Мадизеля, приблизилась к нему с одной целью — владеть им, и, не пренебрегая никакими средствами, достигла торжества своих желаний» (с. 142).

Участники «тайного общества» руководствовались, по сути, теми же идейными интуициями, что и «аргонаты», слушавшие «музыку зорь» и возвещавшие о грядущих мистических катаклизмах. Разочарование Белого в своей возможности постигать «духовный язык природы», в скорейшем исполнении «мистериальных» предначертаний, приведшее к кризису всего миропонимания, в личном плане было вызвано прежде всего «падением» с Н. Петровской, подтвердившим несовместимость реальности и мистических надежд. «Генрих никогда не искал человеческой любви! Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине! Это я, это я заставила его изменить клятве! Да, я отняла его у Неба, я у него отняла лучшие мечты, и за это он меня теперь презирает и ненавидит!» (с. 142) — восклицает Рената. Ходасевич (опираясь во многом уже на «Огненного Ангела» и находя в романе объяснение реальных коллизий) писал о разрыве Белого с Петровской: «О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз»<sup>1</sup>.

Экзальтированная любовь сменяется у Ренаты истерическим припадком ненависти к графу Генриху, она отказывается верить в его божественность и требует, чтобы Рупрехт убил графа, вызвав его на поединок, обе-

---

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 16—17.

щая ему за это свою любовь. Рупрехт согласился. Любовь Рупрехта и Ренаты, как и страсть, воспетая в стихотворениях раздела «Из ада изведенные» в книге Брюсова «Στέφανος», навеянного отношениями с Петровской, — это «колесо ласк» и «крест сладострастия» (с. 146). «Я полюбила тебя с последней верой в последнее счастье, — писала Брюсову Петровская. — Второй раз я бросила мою душу в костер и вот сгораю, гибну, чувствую, что второй раз не будет воскресенья. Никто больше не скажет «из ада изведенные»...»<sup>1</sup>

Описывая встречу и столкновение Рупрехта с графом Генрихом, Брюсов совмещает в одной сюжетной ситуации две биографические предпосылки — «умственную дуэль» с Белым, сопровождавшуюся «гипнотическими» опытами и символическими стихотворными посланиями и завершившуюся «поражением» Брюсова, и реальный вызов на дуэль в феврале 1905 г. Здесь же он иронически обыгрывает метод мышления Белого и стиль эзотерического общения между участниками «аргонавтического» клана.

Рупрехт приходит в дом графа с заведомым намерением оскорбить его и вызвать на поединок. Облик графа Генриха производит на Рупрехта неизгладимое впечатление: «Лицо Генриха, безбородое и полуиюношеское, было не столько красиво, сколько поразительно: голубые глаза его, сидевшие глубоко под несколько редкими ресницами, казались осколками лазурного неба, губы, может быть, слишком полные, складывались в улыбку, такую же, как у ангелов на иконах, а волосы, действительно похожие на золотые нити, так как были они тонки, остры и сухи и до странности лежали каждый отдельно, возносились над его челом, словно нимб святых. Во всех движениях Генриха была стремительность не бега, но полета, и если бы продолжали настаивать, что он — житель неба, принявший человеческий облик, я бы, может быть, увидел за его детскими плечами два белых лебединых крыла» (с. 148). В этом портрете отражены практически все характерные черты облика Андрея Белого, каким его воспринимали современники, — достаточно сравнить впечатления от его внешности, зафиксированные различными мемуаристами: «Странная и прекрасная голова: голубовато-прозрачное, излу-

<sup>1</sup> Письмо от 14 декабря 1905 г. — ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95.

чающее свет лицо, нить золотых волос вокруг непомерно высокого лба. <...> Вдохновенно-безумное лицо пророка <...>, синие лучисто-огневые глаза <...>» (Н. И. Петровская);<sup>1</sup> «В его внешности, при первом взгляде на него, бросались в глаза его лоб, высокий и выпуклый, и глаза, большие, светло-серо-голубые <...> большею частью широко открытые и смотрящие, не мигая, куда-то внутрь себя. Глаза очень выразительные и постоянно менявшиеся. Лоб его был обрамлен немного редкими, откинутыми назад, слегка вьющимися волосами. Овал лица и черты его были очень мягкие» (М. К. Морозова);<sup>2</sup> «Очень любопытны его глаза: они светло-серые, с несколько желтоватыми золотистыми лучами, слегка влажные. <...> Волосы темно-русые, сухие и довольно редкие; может быть, скоро начнется лысина, и от этого такой большой лоб» (М. И. Пантюхов);<sup>3</sup> «...как я записал в утраченном мною дневнике,— «комната вся словно бы озарилась»... Замечательно, что такое впечатление производил Андрей Белый далеко не на одного меня» (В. Пяст);<sup>4</sup> «В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел» (В. Ф. Ходасевич);<sup>5</sup> «Особенно выделялись серо-голубые глаза, лучистые, обрамленные непомерно густыми ресницами»; «У него была интересная голова, светлые волосы, чудные глаза, очаровательная улыбка, «крылья» (он ведь «летал» по всей Москве), «а дальше ничего» <...>. Он был как бы бестелесен, не-физичен» (Н. Валентинов)<sup>6</sup>. Все эти описания могут быть отнесены к персонажу «Огненного Ангела», равно как и описание внешности графа Генриха правомерно рассматривать как еще один словесный портрет Андрея Белого.

В диалоге Рупрехта и графа Генриха особенно наглядно вскрывается биографический подтекст. Генрих принимается задавать Рупрехту странные вопро-

---

<sup>1</sup> Петровская Н. И. Воспоминания.— ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 2.

<sup>2</sup> Морозова М. К. Андрей Белый.— ЦГАЛИ, ф. 1337, оп. 2, ед. хр. 38, л. 6.

<sup>3</sup> Из дневника М. И. Пантюхова.— В кн.: Михаил Иванович Пантюхов. Автор повести «Тишина и старик». Киев, 1911, с. 14.

<sup>4</sup> Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 22—23.

<sup>5</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 16.

<sup>6</sup> Валентинов Н. Два года с символистами. Stanford, California, 1969, с. 11, 46.

сы, в которых иронически стилизована манера высказываний Белого: «Ответьте сначала <...>, родственны ли вы нам по основным устремлениям своего духа? Одушевлены ли вы, как и мы, ненавистью к зверям Востока и Запада? Приняли ли вы, как первое и вечное руководство, эмблему Сына Господня, озаренную светом?» (с. 149—150). В примечаниях Брюсов указал, что «звери Востока и Запада» — это «Магомет и папа» (с. 349). Но в подтексте возможна и актуальная для начала XX века расшифровка, затрагивающая насущную историософскую проблему: тема Востока и Запада была одной из основополагающих в мистико-эсхатологическом учении Владимира Соловьева, которым вдохновлялись Белый и другие «младшие» символисты.

В ответ на тираду графа Рупрехт обращается к нему с нарочито затуманенной речью, пользуясь набором выражений из прочитанных им книг по оккультизму, причем эти «совершенно пустые слова» (как их аттестовывает сам Рупрехт) воодушевляют графа на новые исповедальные излияния: «Первое слово, которое должны мы говорить новоприбывшему, это — жертва. Лишь тот, кто жаждет принести себя в жертву, может стать учеником. Вдумались ли вы в примеры: светлого Озириса, погубленного темным Тифоном? божественного Орфея, растерзанного вакханками? дивного Диониса, умерщвленного титанами? нашего Бальдура, сына света, павшего от стрелы хитрого Локи? (уже прямое авторское указание для «посвященных» на двойной смысл повествования.— С. Г., А. Л.) Авеля, убитого рукою Каина? Христа распятого?» (с. 150—151). Слушая графа, Рупрехт замечает, что он, хотя и защищенный иронией, поддается его обаянию, и в нем начинает пропадать все недоброжелательство: «Я слушал удивительные переливы его голоса, словно открывавшие голубые дали, вглядывался в его глаза, которые, как мне казалось, оставались, несмотря на оживленность речи, печальными, как бы тая на своем дне канувшее туда отчаяние,— и был как змея, выползшая из-под камня, чтобы ужалить, но зачарованная напевом африканского заклинателя» (с. 151). Тем не менее он продолжает свое жонглирование магическими терминами, и граф ему вдохновенно и увлеченно отвечает. В этом опять же с удивительной точностью отразился Андрей Белый, всегда с готовностью раскрывавший душу даже случайному, мало-

знакомому человеку<sup>1</sup>. Вот еще характерный пример полупародийного перепева воззрений Белого — его апокалиптических прорицаний («Нужно готовиться к нежданному, чтобы «оно» не застало врасплох, потому что буря близка <...>»;<sup>2</sup> «Приблизился какой-то роковой рубеж, за которым или смерть, или победа»;<sup>3</sup> «Время приблизилось. Обозначился центр в Москве»<sup>4</sup> и т. п.): «Ведь вы тоже знаете, что времена и сроки исполнились. Ведь вы тоже, как только наступает тишина, слышите раскрываемые двери. Вот и сейчас: прислушайтесь? Слышите: шаги приближаются? слышите: падают листья с деревьев?» (с. 152).

Внезапно без всякого повода Рупрехт оскорбляет Генриха, который со всей кротостью стремится уладить столкновение, однако Рупрехт вызывает его на поединок, и граф вынужден принять вызов<sup>5</sup>.

На поединке граф Генрих появляется в сопровождении своего юного друга Люциана Штейна<sup>6</sup>, который

<sup>1</sup> Об этой предельной открытости Белого рассказывают многие мемуаристы. Описывая драматические обстоятельства его жизни в Берлине в 1922—1923 гг., Ходасевич отмечает: «Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям» (Х о д а с е в и ч В. Ф. Некрополь, с. 90). С. М. Алянский, глава издательства «Алконост», вспоминает, что в первый же день знакомства Белый произнес перед ним «двухчасовую речь», подробно рассказав о последних обстоятельствах своей жизни и развив философскую концепцию новейших мировых событий: «Это был какой-то бешеный шквал, который обрушился на меня» (А л я н с к и й С. Встречи с Александром Блоком. М., 1969, с. 52). Е. М. Тагер рассказывает Н. И. Гаген-Торн о своих встречах с Белым: «Мы проговорили весь вечер с необычайной душевной открытостью. <...> Встретились через две недели на каком-то собрании, и он — не узнал меня. Я понял, что тогда говорил не со мною — с человечеством. Меня не успел заметить!» (Г а г е н - Т о р н Н. И. Воспоминания об Андрее Белом. — В кн.: Andrey Bely. Centenary Papers. By Boris Christa. Amsterdam, 1980, p. 9).

<sup>2</sup> Студент-естественник (Андрей Белый). По поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». Отрывок из письма. — Новый путь, 1903, № 1, с. 159.

<sup>3</sup> Белый Андрей. Маска. — Весы, 1904, № 6, с. 6.

<sup>4</sup> Письмо Белого к Э. К. Метнеру от 23 января 1904 г. — ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 31.

<sup>5</sup> Любопытен намек графа на рыцарское происхождение Рупрехта; вспомним, что Белый был «потомственный дворянин», а Брюсов — «мещанин».

<sup>6</sup> Возможно, что в образе юного друга графа Генриха в «реальном» плане подразумевался С. М. Соловьев, сподвижник и единомышленник Белого в те годы, который был на пять лет моложе Белого. В этой связи не случайно указание, что граф Генрих живет в доме Эдуарда Штейна (с. 147). Белый жил в Москве долгие годы в одном доме на Арбате с семейством Соловьевых, а летние месяцы проводил в имении бабушки С. М. Соловьева.



от имени графа предлагает примирение, однако Рупрехт стоит на своем, и поединок начинается: «...я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве своего соперника, ибо под своим клинком обрел я шпагу твердую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринужденностью мастера, и очень скоро перешел в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. <...> И вот уже стало казаться мне, что глаза Генриха сияют где-то в высоте надо мною, что наш бой идет в свободных надземных пространствах, что это не я отбиваю нападения врага, но что темного духа Люцифера теснит с надзвездной высоты светлый архистратиг Михаил и гонит его во мрак преисподней...»<sup>1</sup>

И вдруг, при одном моем неверном параде, граф Генрих с силою отбросил мою шпагу, и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за этим почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием; шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако,— и я упал» (с. 168).

При рассмотрении романа в автобиографическом аспекте двойной смысл этого описания очевиден. Поединок на шпагах Рупрехта и графа Генриха (имевший частичную аналогию и в действительности: брюсовский вызов, в принципе, мог иметь свои последствия) столь же эмблематичен, сколь и сложенное стрелой стихотворение «Бальдеру Локи», и осознается он Рупрехтом в полном согласии с распределением «ролей» между Брюсовым и Белым в ходе их внутреннего противоборства. Решающий удар графа Генриха подобен стихотворению Белого «Старинному врагу», которое привело Брюсова в глубокое душевное потрясение; психологическая основа победы графа над Рупрехтом — ощущение Брюсовым своего поражения в «умственном поединке». «Мне стороной передали,— писал Белый Блоку о Брюсове,— что он видел сон, что я его убил на дуэли после ссоры в кабачке в Кельне в XVI веке (он теперь пишет

---

<sup>1</sup> Восприятие Рупрехтом графа Генриха на поединке как «архистратига Михаила», возможно, отразилось в позднейших записях Белого, описывавшего свое противоборство с Брюсовым: «...сквозь Брюсова, как сквозь медиума, на меня действовали силы *«Древнего Дракона»*. Я должен был воззвать к силам Архангела Михаила и этими силами уничтожить действие в себе „гада“» (МБ, л. 51).

роман из Кельнской жизни) <...><sup>1</sup>. В кульминационном эпизоде столкновения Рупрехта с графом, как в стихотворении «Бальдеру Локи» и в символике личных отношений, Брюсов намеренно выставляет своего героя-двойника служителем «темного духа Люцифера», который угрожает святине и низвергается «светлым архистратигом» во тьму.

Подтекст романа, вызванный отношениями Брюсова с Белым, далее проявляется в повествовании менее ощутимо. После излечения Рупрехта от раны начинается счастливая пора его страстной любви с Ренатой, что имеет параллель и в действительных отношениях Петровской и Брюсова. «Валерий! Доверься этим дням, не бойся *отдавать*, любить и тонуть в несбыточном счастье. Эти дни огненным знаком отметят душу, *таких не будет больше никогда*», — писала Петровская Брюсову<sup>2</sup>. В краткие дни любви с Рупрехтом Рената забывает о тревожившем ее душу графе Генрихе — вновь в соответствии с жизнью своего прототипа; в одном из писем Петровской к Белому находим признание: «В тот же год, как Вы ушли, мне дана была радость видеть любовь иную, в иной душе, безмерно полнее близкой, чем Ваша. Я перед ней преклонилась и ей, одной ей, предала всю мою жизнь навсегда»<sup>3</sup>. «*О нем* в душе холодная, белая святая могила, от которой, простясь, я отошла навсегда и больше не оглянусь туда», — писала Петровская о Белом Брюсову 14 декабря 1905 года<sup>4</sup>.

В романе, однако, Рената, которой вновь является Мадизель, исчезает. Рупрехт после долгих поисков находит ее в монастырской тюрьме, осужденной судом инквизиции за ведовство и сношения с дьяволом, где она и умирает. После смерти Ренаты Рупрехт случайно встречает графа Генриха, и между ними происходит примирительный разговор, опять же имеющий аналогии в дружественных отношениях Брюсова и Белого 1906—1907 годов. Граф Генрих: «Я узнал вас, господин Рупрехт. Верьте, я был от души рад, что удар моей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть». Рупрехт отвечает: «А я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувства

<sup>1</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 117.

<sup>2</sup> Письмо от 10 августа 1905 г. — ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95.

<sup>3</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 21, ед. хр. 17.

<sup>4</sup> ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95.

против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку; нанося мне удар, вы только защищались, и Бог не поставит вам его в счет» (с. 322). В одном из черновых вариантов этой сцены Рупрехт дарит графу молитвенник Ренаты с надписью «память вражды и любви»<sup>1</sup>, дословно совпадающей с посвящением сборника «Земная ось»: «Андрею Белому память вражды и любви».

В связи с наблюдаемыми соответствиями вдвойне убедительно звучат слова В. Ходасевича о символизме, который «не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом»; «События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались как *только* и *просто* жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества»<sup>2</sup>.

Каждый из трех участников разыгрывавшейся жизненной драмы воспринимал ее реальные, бытовые обстоятельства в аспекте небытового, мифологизированном. Эту двойственность происходящего, однако, каждый понимал по-своему, наполнял собственным содержанием. Для Белого «мистериальная» любовь была своего рода жизнетворческим деянием, в идеале позволяющим приблизиться к постижению кардинально нового, провиденциального бытия. То, что для Белого было лишь путем к высшим ценностям, для Петровской было уже ценностью безусловной; для нее конечный идеал — «поэма из своей жизни», предельное выражение эмоций и переживаний, позволяющее жизненное поведение измерять художественными критериями, формировать свою личность под знаком эстетических императивов. Наконец, Брюсов, «мифизировавший» жизнь подобным же образом, был одержим уже и собственно художественными, даже миметическими задачами; характерно

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 32, ед. хр. 5, л. 16.

<sup>2</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 8, 10—11.

его признание в письме к Петровской от 10 июля 1905 года, в котором он сообщает о работе над книгой («мой роман, Твой роман»): «И я ловлю себя почти на актерстве: я вслух произношу слова моей Велли (первоначальное имя героини романа.— С. Г., А. Л.), стараясь уловить Твое произношение, чувствуя иной раз, что *тáк* Ты не сказала бы, и торжествуя наконец, что вот-вот это истинный голос»<sup>1</sup>. «Актерство», осознававшееся Брюсовым, следует понимать в самом широком плане: не только в воображении, но и в действительности писатель направленно моделировал коллизии по «программе» задуманного художественного произведения. Биографическая основа «Огненного Ангела» убедительнее всего подтверждает мысль о том, что «личная жизнь и любовь» Брюсова «превращались им, по его воле и заданию, в экспериментальную сценическую площадку, в лабораторию чувств и ситуаций, дающих материал для его творчества»<sup>2</sup>.

### 3

До сих пор мы отмечали отражения реальных характеров и ситуаций в романе; после появления «Огненного Ангела» в печати (1907—1908) наблюдается обратное явление: культивирование в жизни запечатленных в романе отношений, воздействие художественной реальности на судьбы и духовный облик людей, ставших прототипами вымышленных героев. Более всего это относится к последующей судьбе Нины Петровской.

Сложные, драматические отношения Брюсова и Нины Петровской, завязавшиеся в 1904 году и длившиеся семь лет, были известны всей символистской среде. По воспоминаниям Петровской, они «влачили» свою трагедию «не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам». Брюсов и в особенности Петровская не делали из своих отношений тайны; Петровская даже подчеркивала их открытость<sup>3</sup>. Поэтому и второй, био-

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 12.

<sup>2</sup> Максимов Д. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969, с. 58.

<sup>3</sup> О степени открытости отношений достаточно выразительно свидетельствует письмо Л. Н. Вилькиной Брюсову из Парижа от 22 ноября 1908 г.: «Представьте, какая досада: была у меня Нина Петровская и преглуно не застала дома. <...> А мне почему-(<то>) ужасно захотелось видеть губы, которые вы целовали» (ГБЛ, ф. 386, карт. 80, ед. хр. 15; Людмила Николаевна Вилькина (1873—1920) — писательница символистского круга, жена Н. Минского).

графический, план «Огненного Ангела» не был тайной для окружающих и служил материалом для идентификации духовного облика прототипов<sup>1</sup>. Насколько проницательно обрисовал Брюсов в образе графа Генриха контуры личности Белого (в «аргонавтический» период его жизни), позволяет судить одно из писем Эллиса к Белому — «графу Генриху», полное призывом осознать свою провиденциальную миссию: «Обращаюсь к тебе не как к Боре, не как к Борису Николаевичу, не как к Андрею Белому, а как к Тому <...>, кто существует как узор складок на одежде Жены, облеченной в Солнце, как неумершая часть души Гоголя, кто есть истинный граф Генрих и кто воистину убил Рупрехта на дуэли, поддержанный крылатыми всадниками. Графу Генриху я говорю: Ты был поддержан, Ты осенен и облечен, ибо умел смеяться из солнечного лика, когда лежал в колыбели, ибо Ты тонул и не утонул, любил и не погиб, убивал и прощен <...>»<sup>2</sup>. В стихотворении Эллиса «Избраннику» имя Белого не названо, однако в тексте рассыпано множество указаний на то, что «избранник» в представлении Эллиса — именно Белый; одно из них опять же восходит к «Огненному Ангелу»:

Ты встал над родиной, сияя и свиреля,  
как над Ренатою виденье Мадиэля,

обвила грудь твою, безумствуя, она,  
ты графом Генрихом очнулся ото сна<sup>3</sup>.

Что касается Петровской, то после появления «Огненного Ангела» она старалась воспринимать свою жизнь в соответствии с литературным образцом и даже полностью слиться с ним. Свои письма к Брюсову, по стилю сходные с речами героини романа, она подписывала именем Ренаты (либо: «Та, что была твоей Ренатой», «Рената (бывшая)» и т. п.). Находясь в 1908 году в Венеции

---

<sup>1</sup> Любопытно в этом отношении мемуарное свидетельство Н. Валентинова, общественного деятеля — социал-демократа, общавшегося с Белым во второй половине 1900-х годов. Он ничего не знал о биографическом аспекте «Огненного Ангела», но, прочитав роман, подметил в графе Генрихе сходство с Белым; сообщением об этой догадке он привел в восторг Эллиса, усмотревшего в «прозрении» Валентинова «окультиные токи» и сообщившего ему «под большим секретом» о положении вещей (В а л е н т и н о в Н. Два года с символическими, с. 165—166).

<sup>2</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 31.

<sup>3</sup> Э л л и с. Stigmata. М., 1911, с. 113.

вместе с влюбленным в нее Сергеем Ауслендером, Петровская сообщала Брюсову: «...всякие выходки мальчика довели меня до того, что я хотела не ехать с ним. Но когда я сказала «не поеду», — он понял серьезность угрозы и, немножко зная способность Ренаты к поступкам безумным, смирился и изменился»<sup>1</sup>; из Италии же она писала: «...я хочу умереть (<...>), чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы»<sup>2</sup>. В конце 1908 года, когда уже наступало охлаждение былой страсти, Петровская специально ездила из Парижа, где она тогда жила, в Кельн, чтобы полнее и проникновеннее ощутить себя героиней «Огненного Ангела». «Чувствовала себя одной во всем мире — забытой покинутой Ренатой, — писала она Брюсову 21 октября 1908 года. — Я лежала на полу собора, как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил. (<...> На плитах Кельнского собора я пережила всю нашу жизнь минуту за минутой. (<...> А в темных сводах дрожали волны органа, как настоящая похоронная песнь над Ренатой», и т. д.<sup>3</sup> Желаемого слияния с брюсовской героиней Петровской в известном смысле удалось достичь: в 1910-е годы она перешла в католичество, приняв имя Ренаты.

Вслед за «Огненным Ангелом» появились и другие произведения, в которых были отражены отношения Брюсова и Петровской. Прежде всего нужно отметить сборник рассказов Петровской «Sanctus Amog» (М., 1908) — апофеоз любви «святой и безгрешной» «в ее яркой земной красоте»<sup>4</sup>. Рассказы настолько близки по стилю письмам Петровской, что могут без особой натяжки интерпретироваться как беллетризованный дневник (хотя все они и написаны в форме мужского монолога)<sup>5</sup>. Наиболее богат аллюзиями отношений с Брюсовым

<sup>1</sup> Письмо от 20 марта 1908 г. — ГБЛ, ф. 386, карт. 98, ед. хр. 19.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95. Брюсов дописывал роман летом 1908 г.; 24 июня он сообщал Петровской: «...лишь теперь принялся за две последние главы «Ангела» (ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4).

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 56, оп. 1, ед. хр. 95.

<sup>4</sup> Формулировки из письма Петровской к Белому (б. д.). — ГБЛ, ф. 25, карт. 21, ед. хр. 19.

<sup>5</sup> А. И. Бачинский (Жагадис), литератор символистского лагеря, между прочим, советовал Петровской «бросить всякие литературные формы писания и писать дневник, (<...> рассказывать о себе, называть всех по именам, все события полными словами» (Письмо Петровской к В. Ф. Ходасевичу от 11 мая 1907 г. — ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 73).

рассказ «Раб»<sup>1</sup>. Сборник «Sanctus Amor» был посвящен Сергею Ауслендеру, молодому прозаику из круга петербургских модернистов; Петровская сблизилась с ним в Петербурге в сентябре 1907 года. «Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком»,— заверяла она Брюсова. «А когда я сказала,— писала она в другом письме,— что люблю тебя и буду любить всегда, он побледнел, а глаза у него стали большие, и в слезах. (...) (Он больше «существо», чем Б. Н.) (...) Он ведь не захочет быть бледным пажом нашей любви»<sup>2</sup>. Ауслендер посвятил Петровской стилизованную новеллу «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», написанную в сентябре — октябре 1907 года<sup>3</sup>.

Позднее Ауслендер написал роман «Последний спутник», в котором запечатлел Петровскую в образе Юлии Михайловны Агатовой. Героиня романа переживает любовный разрыв с Ксенофонтом Алексеевичем Полуярковым — знаменитым писателем и властным редактором модернистского журнала; под именем Полуяркова, бесспорно; выведен Брюсов. Встретившись с молодым художником Гаврииловым, Агатова проникается к нему, «самому юному и прекрасному из смертных»<sup>4</sup>, необыкновенно аффектированной любовью. В образе Гавриилова причудливо совмещены отдельные черты Андрея Белого и облик самого Ауслендера. Характерно, что в первой половине романа, когда Гавриилов пытается «спастись» от любовных притязаний Агатовой, всячески подчеркиваются его «неземной» ореол, целомудрие и «святость» (заимствованные, скорее всего, от Брюсовского графа Генриха; собственно с Белым Ауслендер был знаком очень поверхностно). Во второй же половине романа, когда Гавриилов постепенно сближается с Агатовой и отправляется с ней в Италию, в нем уже доминируют «светские» черты, роднящие его с самим автором. Если роль духовных опекунов Гавриилова в первой половине «Последнего спутника» исполняют священники

<sup>1</sup> Первоначально опубликован: Перевал, 1906, № 2, с. 48—50. Отношениями с Брюсовым навеяно и стихотворение в прозе Петровской «Из цикла „Песни любви“» (Альманах «Кристалл». Харьков, 1908, с. 115—116).

<sup>2</sup> Из писем от 25 и 27 сентября 1907 г.— ГБЛ, ф. 386, карт. 98, ед. хр. 19. «Б. Н.» — Андрей Белый.

<sup>3</sup> См.: Ауслендер Сергей. Золотые яблоки. Рассказы. М., 1908, с. 167—189.

<sup>4</sup> Ауслендер Сергей. Последний спутник. Роман в трех частях. М., 1913, с. 19.

и монахи, то затем на их месте появляется утонченный поэт и музыкант Юнонов (в этом образе выведен М. А. Кузмин). Любовная история разворачивается на фоне внешней литературно-художественной жизни, хорошо знакомой Ауслендеру.

Отношения Брюсова и Петровской, апогей которых относится к 1905—1906 годам, в дальнейшем становились все более конфликтными. Уже в ноябре 1907 года Петровская упрекает Брюсова в том, что он «плюет» на ее любовь «с бóльшим пренебрежением, чем когда-то Б. Н.»<sup>1</sup>. В 1908 и 1909 годах она провела несколько месяцев вдали от Брюсова, за границей; Брюсов постепенно готовил ее к забвению «перегоревшей» страсти. «Я чувствую,— писал он Петровской,— как в моей душе моя любовь к Тебе из дикого пламени, мечущегося под ветром, то взлетающего яростным языком, то почти угасающего в золе, стала ровным и ясным светом, который не угасит никакой вихрь, ибо он не подвластен никаким стихиям, никаким случайностям»<sup>2</sup>. Осложнения во взаимоотношениях обострились и тем, что Петровская постоянно находилась в состоянии болезненной душевной взвинченности, вызванной как особенностями ее психики, так и злоупотреблением наркотиками. «Нина меня приводит в совершенное отчаяние,— писал С. А. Соколов,— не хочет никуда двигаться: образ жизни ведет обычный: днем плачет и лежит на диване, вечером в клубе». «Не удастся никак исцелить рану моей души — Нину,— сообщал он через год.— Ни с какого боку не приладишь ее к жизни. <...> Человек она — неуравновешенный, издерганный вконец и почти невменяемый»<sup>3</sup>.

В этой связи знаменателен инцидент, случившийся 14 апреля 1907 года в Политехническом музее; Брюсов сообщает о нем в письме к З. Н. Гиппиус: «На лекции Бориса Николаевича подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф, Эллис

<sup>1</sup> Письмо к Брюсову от 13 ноября 1907 г.— ГБЛ, ф. 386, карт. 98, ед. хр. 19.

<sup>2</sup> Письмо, датированное Брюсовым: «декабрь 1908 — январь 1909». — ЦГАЛИ, ф. 376, оп. 1, ед. хр. 4.

<sup>3</sup> Из писем к В. Ф. Ходасевичу от 10 мая и 7 июня 1907 г.— ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 78.



и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно,— совсем как в лермонтовском «Фаталисте». И, следовательно, без благодетельной случайности или воли Божьей, Вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма, от «Скорпиона» конверт с траурной каймой» (ЛН, с. 694)<sup>1</sup>. Дополнительные подробности об этом случае сообщает Л. Рындина: «Нина грозила самоубийством, просила ей достать револьвер. И, как ни странно, Брюсов ей его подарил. Но она не застрелилась, а поспорив о чем-то с Брюсовым в передней литературного кружка, выхватила револьвер из муфты, направила его на Брюсова и нажала курок. Стоявший с ней рядом Гриф выхватил из ее рук револьвер и спрятал его себе в карман. (...) Потом этот маленький револьвер был долго у меня»<sup>2</sup>.

Это происшествие, впрочем, существенно не изменило характера отношений Брюсова и Петровской; в ее душе, как и у Ренаты из «Огненного Ангела», чередовались самые противоречивые чувства. С годами эти отношения приобретали все более драматическую окраску. Петровская требует от Брюсова прежнего чувства, а не «мертвых свиданий из жалости»; ее здоровье, подорванное переживаниями и наркотиками, ухудшается<sup>3</sup>, и С. Соколов с Брюсовым решают отправить ее за границу. «Наступил день отъезда — 9 ноября (1911 г.), — вспоминает В. Ходасевич. — Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка,

<sup>1</sup> Письмо не было отправлено. Борис Николаевич — Андрей Белый; «Гриф» — С. А. Соколов.

<sup>2</sup> Рындина Л. Д. Невозвратные дни, л. 11. Покушение на Брюсова описано также в мемуарах Белого «Начало века» (с. 285—286) и (с неточностями) в «Некрополе» Ходасевича (с. 19); со слов Белого инцидент пересказывает И. Одоевцева в своих воспоминаниях «На берегах Невы» (М., 1988, с. 224).

<sup>3</sup> В письме к Блоку, написанном около 10 ноября 1911 г., Белый упоминает о своем «посещении находящейся на волосок от смерти Нины Ивановны» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 274).

плача и обнимаясь (...) Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки»<sup>1</sup>.

В автобиографическом венке сонетов «Роковой ряд», в котором воссозданы женские образы, волновавшие Брюсова (включен в его книгу стихов «Девятая Камена», 1917 г.), поэт посвятил восьмой сонет своей любви к Петровской:

Ты, слаще смерти, ты, желанней яда,  
Околдовала мой свободный дух!  
И взор померк, и воли огонь потух,  
Под чарой сатанинского обряда.

В коленях — дрожь, язык — горяч и сух,  
В раздумьях — ужас веры и разлада;  
Мы — на постели, как в провалах Ада,  
И меч, как благо, призываем вслух!

Ты — ангел или дьяволица, Дина?  
Сквозь пытки все ты провела меня,  
Стыдом, блаженством, ревностью казня.

Ты помнишься проклятой, но единой!  
Другие все проходят за тобой,  
Как будто призраков туманный строй<sup>2</sup>.

Через посредничество С. Соколова Брюсов поддерживал Петровскую материально в ее заграничной жизни; кроме того, он помещал ее переводы из западноевропейских прозаиков в журнале «Русская мысль». В Россию она более не возвращалась. Уехав из Москвы в ноябре 1911 года в Италию, Петровская жила впоследствии также в Германии, в Варшаве, в Париже. Ее жизнь за границей сложилась глубоко драматически. В 1912 году она перенесла мучительную болезнь<sup>3</sup>, которая сопровождалась тяжелым нервным расстройством. С. Соколов сообщал, что Петровская «почти умирала, долго лечи-

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 41.

<sup>2</sup> Скрижаль, сб. 1. Пг., 1918, с. 140. В рукописи «Девятой Камены» 9-й стих: «Ты — ангел или дьяволица, Нина?» (ИРЛИ, ф. 444, ед. хр. 13). Ср. посвященное Нине Петровской стихотворение Брюсова «В ответ на одно признание», написанное 9 апреля 1909 г. (Брюсов В. Валерий. Зеркало теней. Стихи 1909—1912 г. М., 1912, с. 191—192).

<sup>3</sup> О болезни Петровской (туберкулез колена) извещал Брюсова С. Соколов в письме от 24 ноября 1912 г. — ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 16. Очевидно, эта болезнь была следствием попытки самоубийства: в Париже, «кажется, в 1913 году однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 21).

лась в Мюнхене <...>. Душа у нее больная и печальная». «Хорошо лишь то, что теперь она совершенно излечилась душой от власти Брюсова и давно порвала с ним абсолютно», — добавлял он в другом письме<sup>1</sup>.

Последующая жизнь Петровской складывалась все более безотраднo. Связь с Брюсовым, поддерживавшаяся в переписке, распалась окончательно, а первая мировая война вообще отрезала Петровскую от России. «Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пиала. Порой доходила до очень глубоких степеней падения»<sup>2</sup>. Годам своего пребывания в Италии сама Петровская подвела горький итог: «Жила 8 лет точно в Шлиссельбурге. Верно, только на том свете мне воздадут за эти воистину погибшие годы»<sup>3</sup>. Осенью 1922 года Петровская перебралась в Берлин, бывший тогда центром русской литературной жизни.

«Здесь Нина Петровская, — сообщал из Берлина В. Ходасевич. — Уж чего только не натерпелась, чего не вынесла — а все та же: 1905 год. Ничему не научилась»<sup>4</sup>. В Берлине и произошла ее последняя встреча с Андреем Белым. «„Где писательница Петровская?“ — «В Риме»... И — нет: вот она: оказывается у Gedächtniss Kirche <...>», — писал Белый в очерке о берлинской жизни<sup>5</sup>. Ходасевич пригласил к себе обоих участников пережитой драмы: «8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно

---

<sup>1</sup> Из писем к Андрею Белому от 23 ноября 1913 г. и 25 февраля 1914 г. — ГБЛ, ф. 25, карт. 23, ед. хр. 2.

<sup>2</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 21.

<sup>3</sup> Письмо к О. И. Ресневич-Синьорелли от 30 октября 1922 г. — («Жизнь и смерть Нины Петровской». Публикация Э. Гарэтто. — В кн.: Минувшее. Исторический альманах. 8. Paris, 1989, с. 95—96).

<sup>4</sup> Письмо к А. И. Ходасевич от 12 октября 1922 г. — ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 46.

<sup>5</sup> Белый Андрей. «Одна из обителей царства теней». Л., 1924, с. 30.

друг с другом»<sup>1</sup>. «...Это уже не А. Белый прежних дней, тот, каким я его знала,— писала Петровская несколько дней спустя после этой встречи.— Растолстел, изменился, иначе думает, иначе живет и „конкретизируется“». В другом письме она добавляла: «Ведь мы однажды друг друга любили, «как любят»... и все этим было живо. А теперь... точно актеры, сыграли драму, сняли грим и в кафе прозаически коньяк пьют. Мне от этого скучно и тошно и совестно чего-то. Может быть, и ему тоже»<sup>2</sup>. В сознании Петровской, однако, представление о личности Белого в «ипостаси» графа Генриха сохранялось глубоко и неприкосновенно. В откликах на его произведения она вспоминает эпоху «аргонавтизма», когда «А. Белый,— страстный до безволия и гениальный до болезни, влекомый нечеловеческими, далекими естеству земными образами, заговорил о «чуде» — о несказанном»<sup>3</sup>. В 1922 году, сообщая о публичном выступлении Белого, она характеризует его в знакомой тональности: для нее он по-прежнему — «весь напряжение, устремление, зоркость, весь пророчество,— тончайший, озаренный, вибрирующий струнами, как Эолова арфа, горя, не сгорающий»<sup>4</sup>. Необыкновенно высоко Петровская оценивает и творчество Белого<sup>5</sup>.

«Сменовеховская» газета «Накануне» стала литературным пристанищем Петровской в пору ее берлинской жизни. С октября 1922 года вплоть до закрытия газеты в июне 1924 года регулярно появлялись ее корреспонденции — фельетоны, рассказы, рецензии на русские книги. Годы пребывания в Италии дали ей богатый материал для многочисленных очерков об итальянской жизни; на приход к власти фашистов она откликнулась целой серией разоблачительных фельетонов и пам-

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 91.

<sup>2</sup> Из писем Петровской к О. И. Ресневич-Синьорелли от 13 октября и 8 декабря 1922 г. («Жизнь и смерть Нины Петровской», с. 92, 101).

<sup>3</sup> Петровская Н. Рецензия на кн.: Андрей Белый. Стихотворения. Берлин — Пб.— М., изд. З. И. Гржебина, 1923.— Накануне, 1923, № 475, 1 ноября.

<sup>4</sup> Петровская Нина. Трагедия и современность (Лекция Ф. А. Степуна).— Накануне. Литературное приложение под ред. гр. А. Н. Толстого, № 31, 1922, 17 декабря.

<sup>5</sup> Так, в рецензии на сборники «Эпопея», вышедшие под редакцией Андрея Белого, она утверждает, что его «Воспоминания о Блоке», опубликованные в них,— «несомненный вклад в сокровищницу русской историко-мемуарной литературы» (Накануне. Литературное приложение, № 54, 1923, 27 мая).

флетов. Особенно много внимания уделяла Петровская отзывам о новинках русской литературы; примечательна ее горячая заинтересованность писателями, рожденными революцией, которых она противопоставляла своему литературному поколению, с его «ароматами мертвых кладбищенских тубероз»<sup>1</sup>. В декабре 1923 года был выпущен специальный номер литературного приложения к «Накануне», посвященный 50-летию Брюсова. Среди юбилейных откликов поместила в нем свою статью и Петровская. Пытаясь дать объективную характеристику заслуг поэта, она, тем не менее, не могла обойти определенных сторон, сыгравших столь значительную роль в ее жизни, когда писала об «испепеляющем костре», «очистительном огне», на который Брюсов «бросил без остатка душу и жизнь»: «Превратить свою жизнь в суровую трагедию искупления, сказать, что

Все в жизни лишь средство  
Для ярко певучих стихов,

и знать только одно, что: «От века из терний поэта заветный венок»,— дано лишь немногим в русской литературе»<sup>2</sup>.

Работа в «Накануне», впрочем, осталась лишь эпизодом в ее полной мытарств заграничной жизни. Старая знакомая Петровской, Е. В. Галлон, сообщает о встрече с нею в Берлине в 1924 году: «В опустившейся, старой, больной, нищей женщине трудно было узнать сразу блестящую хозяйку модного литературного салона. (...) Все же она остается в памяти сильной духом, ясно мыслящей, вполне сохранившей внутреннее достоинство. (...) Я застала ее на краю гибели, когда хочешь не хочешь, а надо выбирать между медлительной смертью от голода и быстрой от яда. Мне удалось уговорить ее пока отказаться от самоубийства и принять мою помощь, взамен которой она напишет для меня свои воспоминания»<sup>3</sup>. Эти воспоминания — последнее произведение

---

<sup>1</sup> Петровская Нина. Весенний ветер (рец. на кн.: Василий Казин. Рабочий май. М.—Пб., 1923).— Накануне. Литературное приложение, № 46, 1923, 1 апреля.

<sup>2</sup> Петровская Нина. Валерий Брюсов.— Накануне, № 507, 1923, 16 декабря, Литературная неделя, с. 8.

<sup>3</sup> Галлон Е. В. Предисловие к воспоминаниям Н. И. Петровской («Жизнь и смерть Нины Петровской», с. 13).

Петровской, в них замечательно воссоздаются характернейшие приметы символистской эпохи<sup>1</sup>.

Весной 1927 года Петровская приехала в Париж. «Она уже была точно по другую сторону жизни», — замечал Ходасевич, приводя выдержки из писем Петровской к нему этого времени, полных постоянных мыслей о смерти<sup>2</sup>. Друзья-писатели — Ходасевич, Б. Зайцев, М. Алданов, Ю. Айхенвальд — старались ей помочь, но их усилия не могли существенно изменить положения дел. Чтобы заработать на жизнь для себя и больной сестры, Петровская устроилась на работу в ресторанной кухне. «Пальцы мои, привыкшие только держать перо, — сводит к ночи крючками, — писала она 10 августа 1927 года Ю. И. Айхенвальду. — Мир два часа вижу только через суповой пар и именно в эти два часа все больше и больше постигаю его подлинную сущность... <...> А дабы от всего этого не страдать, *как все* (заветы символической эпохи храню свято), — вспоминаю Бодлера, который рекомендо<вал> «опьяняться». Чем бы то ни было, — но «опьяняться». Опьяняюсь усталостью, тоской, жарой, грубостью окружающих, собственными ядовитыми мыслями... И вот так пока живу!»<sup>3</sup>

В январе 1928 года умерла ее младшая, умственно неполноценная, сестра, Надежда Ивановна Петровская, сопровождавшая Нину Ивановну во всех скитаниях и глубоко ей преданная, — последняя нить, связывавшая ее с жизнью. Спустя месяц, в ночь на 23 февраля 1928 года, Нина Петровская покончила с собой, отравившись газом. В некрологе, помещенном в газете «Дни», говорилось: «Известная писательница и переводчица Нина Ивановна Петровская покончила с собой. Кончилась ее подлинно страдальческая жизнь в маленьком парижском отеле, и эта жизнь — одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции. Полное одиночество, безвыходная нужда, нищенское существование, отсутствие самого ничтожного заработка, болезнь — так жила все эти

---

<sup>1</sup> Предварительным опытом по отношению к этим воспоминаниям может быть назван мемуарный этюд Петровской «О катастрофических писателях», посвященный истории возникновения издательства «Гриф» (Накануне, № 73 (590), 1924, 28 марта). Замечаний мемуарного характера полны и другие ее корреспонденции в «Накануне». В полном объеме «Воспоминания» Петровской опубликованы Э. Гаррето («Жизнь и смерть Нины Петровской», с. 17—90).

<sup>2</sup> Х о д а с е в и ч В. Ф. Некрополь, с. 23.

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 140.

годы Нина Петровская, и каждый день был такой же, как предыдущий,— без малейшего просвета, безо всякой надежды. Несколько месяцев тому назад она перебралась из Берлина в Париж, но и в Париже не стало лучше. Вынужденная жить буквально подаянием, помощью отдельных писателей, тоже дававших ей не от избытка, одинокая и забытая,— она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особо несчастно»<sup>1</sup>.

Напрашивающееся сравнение между вдохновенно-патетическим финалом Брюсовского романа, изображающим смерть Ренаты на руках у Рупрехта, и безысходно трагичной во всей своей обыденности гибелью Петровской, ставшей по-своему закономерным завершением прожитых лет, подтверждает не только тривиальную мысль об извечной несовместимости жизни и искусства — несовместимости, которую Петровская стремилась преодолеть, вероятно, не менее решительно, чем автор «Огненного Ангела». Ее судьба говорит и о цене, которую порой приходилось платить за эйфорию восприятия жизни как своего рода эстетического феномена. Ее гибель, по сути являясь лишь последним звеном в цепи мытарств, пунктиром прослеживаемых до конца 1920-х годов, может быть, красноречивее других фактов возвещает о «конце прекрасной эпохи» — той эпохи символизма, расцвет которой приходится на пору написания «Огненного Ангела» и которая в сплетениях жизнью Брюсова, Белого и Петровской осуществила себя, видимо, не менее полно и выразительно, чем в иных художественных созданиях.

---

<sup>1</sup> Дни, № 1340, 1928, 25 февраля. Заметка написана, по всей вероятности, В. Ф. Ходасевичем.

---

Т. Л. Никольская  
МУЗА ФУТУРИСТОВ

29 сентября 1919 года в тифлисских газетах появилось следующее объявление:

«Завтра, во вторник 30 сентября, издательство «41°» устраивает в кафе «Интернационал» «Чашку чая» на 35 человек для раздачи авторских экземпляров сборника «С. Г. Мельниковой — Фантастический кабачок». Приглашенных просят явиться к 7 час. вечера».

Сборник, о котором шла речь в объявлении, был составлен из стихов Н. Васильевой, Т. Вечорки, Кара-Дарвиша, В. Катаняна, А. Крученых, С. Короны, Т. Табидзе, И. Терентьева, Г. Робакидзе, Н. Чернявского, Г. Шайкевича и П. Яшвили, отрывка из заумной драмы И. Зданевича «Асел напрат» и статьи Д. Гордеева «Несколько слов о лицевом списке Иосибзилиханиани Библиотеки общества распространения грамотности среди грузинского населения в Тифлисе», иллюстрированных рисунками В. Гудиашвили, К. Зданевича, А. Бажбеук-Меликова, С. Валишевского, Н. Гончаровой, М. Калашникова, И. Терентьева и И. Зданевича.

Имена многих из названных поэтов ничего не говорят современному читателю. Далеко не всем известно, что представлял собой «Фантастический кабачок» и кто такая С. Г. Мельникова.

София Георгиевна Мельникова (1890—1980) была артисткой. В десятых годах она играла в Литейном театре в Петербурге и в Петроградском театре «Фарс». В 1917 году Мельникова переехала в Тбилиси, где стала примой открывшегося в сентябре «Театра миниа-



тюр», помещавшегося на проспекте Руставели (тогда он назывался Головинским) в доме А. Мелик-Азарьянца. В «Театре миниатюр» ставились в основном одноактные пьесы и интермедии французских авторов, не отличавшиеся высокими художественными достоинствами. Местная критика выделяла игру Мельниковой, актриса неоднократно имела бенефисы, но, видимо, ее известность ограничилась бы кругом поклонников легкого жанра, если бы не ее интерес к новейшей поэзии и дружба с футуристами.

Нужно напомнить, что в 1917 году Тбилиси сделался своеобразным культурным оазисом. Сюда со всех концов России съехались поэты, художники, артисты и музыканты самых различных направлений, образовавшие множество литературно-художественных кружков и группировок. В один из таких кружков, литературное дружество «Альфа-Лиры», основанное поэтессой Т. Вечоркой, вступила С. Мельникова. Членом этого кружка была также поэтесса Н. Васильева, возможно знакомая с Мельниковой еще по Петрограду,— в 1916 году в Петроградском театре миниатюр на Литейном шла одноактная пьеса Васильевой. Частыми гостями кружка были футурист-заумник И. Зданевич, который сделал на одном из заседаний доклад «Об абсолютном преобладании формы над содержанием» и гимназист Вася Катанян, будущий биограф Маяковского. Приходили на заседания дружества и грузинские поэты-символисты из группы «Голубые роги» Т. Табидзе и П. Яшвили. Раз в неделю члены «Альфы-Лиры» собирались, как правило, на квартире Т. Вечорки, читали рефераты, свои и чужие стихи, занимались переводами, изучали историю Грузии. Устраивались и публичные вечера дружества, на которых С. Мельникова выступала с чтением стихов.

В конце 1917 года заявили о себе и собравшиеся в Тбилиси футуристы. 20 ноября в зале Консерватории они устроили свой первый вечер. Его открыл поэт Ю. Деген, который сделал доклад о футуризме. Затем с докладом «О женской красоте» выступил создатель заумного языка А. Крученых. Другой футурист-заумник — И. Зданевич прочел отрывки из своей пьесы «Янка-Круль албанскай». В вечере приняла участие и С. Мельникова, читавшая стихи В. Брюсова, А. Блока, И. Северянина и А. Крученых. Ее выступление, как сообщала газета «Тифлисский листок» от 25 ноября, «имело

шумный успех». И. Зданевич и А. Крученых в содружестве с армянским поэтом-футуристом Кара-Дарвишем и художниками К. Зданевичем, В. Гудиашвили и С. Валишевским вскоре образовали группу «Синдикат футуристов». С. Мельникова участвовала в публичных выступлениях этой группы, иллюстрируя лекции футуристов о заумном языке декламацией новейшей поэзии. Так, на вечере заумной поэзии, устроенном «Синдикатом футуристов» 19 января 1918 года в помещении столовой «Имеди», после доклада И. Зданевича «Заумная поэзия и поэзия вообще» она прочла стихи Д. Бурлюка, В. Гнедова, Е. Гуро, И. Зданевича, А. Крученых и В. Хлебникова, после чего состоялся диспут, в котором приняли участие русские и грузинские поэты.

Центром встреч футуристов вскоре стал «Фантастический кабачок», первоначально называвшийся «Студией поэтов». Открытие этой студии состоялось 12 ноября 1917 года в доме по проспекту Руставели № 12 в помещении бывшей столярной мастерской. Это была длинная узкая комната с низкими потолками и неглубокими нишами, расписанными футуристической живописью. Как вспоминает жена Т. Табидзе Н. Макашвили, «в Фантастическом кабачке» не было стульев, только пни и табуретки, а единственный стол был покрыт циновкой». Инициаторами создания кабачка были Ю. Деген и А. Корона, поэт и композитор, сочинявший песенки в манере Вертинского. Грузинский поэт Г. Робакидзе так описывал этот уголок интернациональной богемы: «Тбилиси стал фантастическим городом. Фантастическому городу нужен был и фантастический уголок, и в один прекрасный день на проспекте Руставели, № 12, во дворе, поэты и художники открыли «Фантастический кабачок», который состоял из маленькой комнаты, рассчитанной на 10—15 человек, куда каким-то чудом набивалось до 50 душ. Стены комнаты украшали фантазмагории. Почти каждый вечер «Кабачок» был открыт и поэты и художники выступали со своими стихами и докладами». А вот каким запечатлелся кабачок в памяти Н. Макашвили: «Все мы там собирались <...> Молодая талантливая Верико Анджапаридзе приходила в закрытой зеленой кофте и в шляпе с зеленым пером <...> Футурист Алексей Крученых, который проявлял оригинальность в том, что очищал каштаны ножницами и коллекционировал лоскутки цветной бумаги.

Вася Катанян.

Армянский футурист Кара-Дарвиш, который сам, за свой счет, издавал свои футуристические стихи. Их распространял какой-то пухлячок в очках. Стихи никто не хотел покупать, но сам Кара-Дарвиш был изумительный человек — много знающий, очень любящий и беспредельно наивный <...>

Илья Зданевич с большим подъемом читал своего «Авиатора». А иногда его стихи читала артистка Мельникова...»

С. Мельникова устроила в «Фантастическом кабачке» и несколько «Интимных вечеров», на которых силами артистов театра миниатюр разыгрывались сценки и интермедии, исполнялись песенки. Но «Фантастический кабачок» вскоре превратился из тифлисского аналога петроградских литературно-художественных подвалов «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» в своеобразную поэтическую лабораторию. С февраля 1918 года в нем открылся «футуристический университет». Вот как сообщала об этом событии газета «Республика»:

«Футур-всеучбище (университет). 8 февраля открывается первый в России футуристический университет. Запись на первые 4 лекции А. Крученых (при участии артистки С. Мельниковой и др.) производится в женской дружине (чашка чаю). Порядок лекций: «Тайные пороки академиков», «Азеф — Иуда — Хлебников», «Буква как таковая», «Любовное приключение Маяковского».

Кроме Крученых лектором футурвсееучбища стал И. Зданевич, который прочел доклады «Об итальянском футуризме», «О заплетающихся языках Ф. Тютчева и В. Брюсова», «Лорнет Доди Бурлюка» и ряд других. Немного позднее к лекторам присоединился И. Терентьев. Вместе с поэтом Н. Чернявским они вчетвером образовали группу футуристов-заумников «41°», названную по параллели, на которой лежит столица Грузии, — самую авангардную из всех существовавших футуристических группировок, пришедшую на смену распавшемуся «Синдикату футуристов». Но не только заумники абонировали «Фантастический кабачок». Летом 1918 года в его помещении стали собираться молодые поэты, поссорившиеся с С. Городецким, в частности, из-за его непримиримого отношения к футуризму и в знак протеста вышедшие из его «Цеха поэтов», основанного в Тбилиси весной 1918 года. Молодые поэты образовали свой «Цех поэтов», председателем которого стал Ю. Деген, а деятельными членами Т. Вечорка, Н. Василь-

ева, ставшая неизменным секретарем «Фантастического кабачка», В. Катанян, А. Чачиков, Г. Шайкевич и некоторые другие. Как писал А. Крученых в статье, посвященной годовщине «Фантастического кабачка», «в новом цехе открылась полная свобода всяким поэтическим исканиям, и потому дружные заседания его проходили оживленно, разнообразно и интересно».

Частыми гостями «Фантастического кабачка» были и грузинские поэты-голубороговцы Г. Робакидзе, Т. Табидзе и П. Яшвили, которые читали свои стихи и выступали в прениях по докладам футуристов. Атмосфера «Фантастического кабачка» и портреты его завсегдатаев запечатлены в поэме Н. Васильевой, некоторые строфы из которой мы приведем:

Пестро раскрашенные стены  
В неверном отблеске свечей,  
А голос Юрия Дегена  
Чарует ритмов стройных сменой,  
Такой далекий и ничей.

. . . . .  
Тебя ли, кабачок, забудем,  
Где часто так по вечерам  
Крученых возвещал о чуде  
И где писал Владимир Гудиев<sup>1</sup>,  
Отдавшись творческим мечтам.

. . . . .  
Футур-всеучбища основы  
Зданевич здесь провозгласил:  
О самоценной силе слова,  
С врагами в бой вступить готовый,  
Кричал он, не жалея сил.

. . . . .  
И вождь восточных футуристов  
Кара-Дарвиш, гетер певец,  
Друг самых крайних анархистов,  
Всегда восторжен и неистов,  
Пророчил грустный нам конец.

. . . . .  
Поэтов цех, где судий строгих  
Остро насмешлив приговор,  
Но под насмешкой смысл глубокий  
Скрывался, вызывая многих  
На вдохновенно-страстный спор.

. . . . .  
Вечорки голос торопливый  
Рассказывал, как близки ей  
Развалин на горах извивы  
И взгляды ланей боязливых,  
Но все ж милее всех Бердслей.

---

<sup>1</sup> В. Гудиашвили.

Когда ж кончались цеха сроки,  
В наш Фантастичный Кабачок  
Являлись Голубые Роги,  
Толкались шумно на пороге,  
Бросая символов намеки.

Блестяще красочный Паоло<sup>1</sup>  
Пел про лягушку и абсент.  
Табидзе, взгляд склонивши долу,  
Отставив французоз школу,  
Пленительный явив акцент.

И, нарушая строгость стиля  
Пьянящей близостью кулис,  
К нам Мельникова приходила,  
И в кабачке богемы милой  
Свободный царствовал каприз.

С. Мельникова сделалась музой многих постоянных посетителей «Фантастического кабачка». Особенно горячим ее поклонником был И. Зданевич. Ему-то и пришла в голову идея собрать стихи и рисунки у завсегдатаев кабачка и выпустить на свои средства сборник, ей посвященный. Идея эта блестяще осуществилась. Зданевичу удалось выпустить сборник, собравший под своей обложкой не только талантливую плеяду поэтов и художников, но и ставший образцом искусства полиграфии. Отпечатанное на великолепной бумаге, поражающее виртуозной игрой шрифтами различных размеров и форм, прекрасным качеством иллюстраций, это издание, сразу ставшее раритетным, является вожаделенной мечтой библиофилов.

Как и было задумано, ведущую роль в сборнике играли футуристы. Сам И. Зданевич был представлен отрывком из его футуристической пьесы «Асел напрат», иллюстрированной рисунками Н. Гончаровой и его собственными. Подборку стихов Крученых открывало посвященное С. Мельниковой стихотворение «Музка», начинавшееся строками:

Я прожарил свой мозг на железном пруте,  
Добавляя перцу, румян и кислот,  
Чтобы он понравился, музка, тебе  
Больше, чем размазанный Игоря Северянина торт.

Стихи Крученых были иллюстрированы рисунками К. Зданевича и А. Бажбеук-Меликова.

---

<sup>1</sup> Паоло Яшвили.

Цикл стихов И. Терентьева «Готово», иллюстрированный им самим, начинался «Бесконечным тостом в честь Софии Георгиевны», представлявшим собой набор слов без словоразделов, из которого при пристальном прочтении можно было выделить такие значимые неологизмы, как «громпором», образованное от «грома» и «штопора», и «шампурским», составленное из «шампура» и «шампанского». Н. Чернявский дал для сборника свои «симфонические стихи», с трудом поддающиеся расшифровке и рассчитанные в основном на визуальное восприятие. Игра шрифтами — значимый элемент и в армянских стихах Кара-Дарвиша, сопровождаемых рисунком С. Валишевского: «Кара-Дарвиш подносит стихи С. Г. Мельниковой». С футуристическим разгулом фантазии контрастировала строго научная статья приват-доцента искусствоведа Д. Гордеева, мужа поэтессы Н. Васильевой, посвященная описанию древней рукописи. Между этими полюсами находились стихи остальных участников: выдержанные в манере «проклятых» французских поэтов стихотворения «Сплин» Г. Робакидзе и «Эфемерный маскарад» Т. Табидзе, построенное на звукописи стихотворение П. Яшвили «Буква л на рояли», иллюстрированное В. Гудиашили. Все стихи грузинских поэтов были напечатаны на грузинском языке. Непосредственно Мельниковой был посвящен цикл стихотворений В. Катаняна «Убийство на романтической почве», открывающийся стихотворением «Собственно говоря, вы африканская женщина». Тяготеющий к футуризму поэт А. Чачиков дал в сборник поэму «Наступление на Моссул», поражающую обилием экзотически звучащих географических названий, создающих заумный эффект. Поэтессы — участницы «Фантастического кабачка» были представлены тремя стихотворениями Н. Васильевой и циклом Т. Вечорки, написанным под влиянием поэтики Крученых.

Кроме стихов, сборник включал посвященную С. Г. Мельниковой библиографию докладов, прочитанных Крученых, И. Зданевичем и Терентьевым в 1917—1919 годах как в «Фантастическом кабачке», так и за его пределами. Особо были отмечены выступления, в которых участвовала Мельникова. Когда сборник вышел в свет, в кафе «Интернационал» состоялся вечер, на котором Мельникова надписывала экземпляры всем его участникам. Как вспоминает Н. Макашвили, на этом

вечере «присутствовала вся художественная богема Тбилиси».

Сборник вызвал разноречивые отклики в местной прессе. В основном критики спорили о праве заумного футуризма на существование, но героиня сборника С. Г. Мельникова тоже не осталась без внимания. Так, Б. Корнеев в статье «Поэзия 41°», опубликованной в газете «Искусство» 27 октября 1919 года, писал: «Заканчивая статью о последнем выступлении футуристической плеяды, упомянем, что им на этот раз пришлось отступить от одного из важнейшего из своих канонов: «презрение к женщине». Музе, специальной музе посвятили на этот раз свой сборник футуристы. Очевидно, надобность в таковой испытывает и их творчество в противовес прошлым заверениям. Поражает только бесцеремонное отношение к ней футуристов. Для Крученых она — «Музка», для Зданевича — «гоп-сестра», а для Терентьева просто «Сукина дочь».

С. Рафалович в статье «Музы и муза», посвященной «избранницам, которых любили поэты и которыми вдохновлялись для лучших своих произведений», писал: «Не так давно одну из таких женщин мы чествовали на банкете тифлисской параллели, удивляясь странному сочетанию географии с поэзией. Поэт Илья Зданевич, самый убежденный и последовательный из футуристов, приемом поистине футуристическим ославил свою музу, которой мы обязаны не только разными его поэтическими произведениями, но и прекрасной книгой, в которой много произведений принадлежит не его перу».

Вскоре после выхода сборника в свет «Фантастический кабачок» прекратил свое существование. А. Крученых и Т. Вечорка переехали из Тбилиси в Баку. Немного позднее уехал за границу И. Зданевич. С. Мельникова переехала в Сухуми, где работала в местном театре вместе с режиссером и драматургом Н. Евреиновым, выступала она и в Батуми. В двадцатые годы Мельникова поселилась в Москве, где прожила всю оставшуюся жизнь. В 1977 году я посетила Мельникову в ее большой коммунальной квартире на улице Чернышевского. Софье Георгиевне было далеко за восемьдесят, но держалась она бодро, была подтянутой, тщательно причесанной. О дружбе с футуристами она вспоминала как о грехах молодости. Софья Георгиевна показала мне свой альбом с автографами К. Зданевича, В. Каменского, Кара-Дарвиша, Д. Гордеева, рисунками С. Вали-

шевского, автопортретом Г. Гюрджиева, эскизом декорации пьесы «Самое главное», выполненным Н. Евреиновым. Были в альбоме и стихи Т. Вечорки, А. Чачикова. Г. Робакидзе записал в альбом по-грузински стихотворение «Сплин», то самое, что было помещено в сборнике, ей посвященном. В конце семидесятых годов все больше исследователей стало приходить к Мельниковой, и она все охотнее рассказывала о своем прошлом. А незадолго до смерти к ней в гости пришла приехавшая в Советский Союз вдова Ильи Зданевича Элен Зданевич. Так первая муза Зданевича встретила с последней.



---

---

А. Е. Парнис

БЛОК И МАЯКОВСКИЙ — 30 октября 1916 года

(Реконструкция одной встречи)<sup>1</sup>

Однажды — это было уже после создания «Двенадцати» — Блока спросили о его отношении к Маяковскому. «Вначале мне показалось, что он близок к гениальности, но ему чего-то недостает...» — ответил Блок<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Эта статья уже имеет свою небольшую, но примечательную историю. Она написана в 1983 г. для юбилейного двухтомника «В мире Маяковского» (М., Советский писатель, 1984) и доведена была до второй корректуры. Но редакция сняла ее по настоянию цензуры из-за упоминания... Лили Брик, причем снята была вместе с важной источниковедческой статьей самой Л. Ю. Брик, написанной до войны и уже не раз публиковавшейся. Эти изъятия были сделаны со ссылкой на негласное, но странное указание отдела культуры ЦК, запрещающее упоминать в юбилей Маяковского имя Л. Ю. Брик. Из-за Бриков был разрушен музей поэта на Таганке в Москве, из-за них многие годы задерживался выход основной биографической книги о поэте, написанной В. Катаняном «Маяковский. Хроника жизни и деятельности»; из изданий сочинений Маяковского изымались все посвящения и упоминания Л. Ю. Брик. С 1984 г. моя статья, не имеющая, разумеется, прямого отношения к интимной жизни поэта, безуспешно кочевала из одного издания в другое — ее долго штудировали в «Вопросах литературы», «Литературном обозрении», «Огоньке», «Литературной учебе», «Русской литературе», «Нашем наследии», «Альманахе библиофила», сб. «Маяковский и современность» и в др. изданиях. Она терпеливо (!) ждала своего часа. Уже грядет новый юбилей — столетие Маяковского, но до сих пор под каким-то запретом находится «больная» и пресловутая проблема «Маяковский и Брики». Она всерьез не ставится и не решается, хотя уже и появился ряд публикаций с упоминанием имен Л. Ю. и О. М. Бриков, но главным образом со знаком минус.

Маяковский сам выбрал себе друзей и спутников жизни, сам решил, с кем ему «стоять... рядом»; и как справедливо писал Б. Пастернак в 1931 г.: это было «еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна». Не наше дело пересматривать его выбор, никто не имеет права пересматривать биографию поэта, а главное, никто не должен нарушать заповедь Маяковского: «...не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил».

<sup>2</sup> К о г а н П. С. Литература Октябрьского пятилетия. — Известия, 1922, 7 ноября.

Это, несомненно, достоверное высказывание Блока было опубликовано, что очень важно, еще при жизни Маяковского. Продуманность, взвешенность каждого блоковского слова, «беспощадная искренность» Блока заставляет пристально взглянуться в приведенное высказывание. «Вначале мне показалось... но...» — сама конструкция фразы, ее синтаксис и интонация показывают блоковскую мысль как процесс, запечатлевают некоторую непрерывность раздумий Блока о Маяковском, постоянство внимания Блока к творчеству своего младшего современника. Мысль Блока антистатична и стремится передать не чувство момента, но чувство пути Маяковского. Блоковская оценка менее всего исходит из факта противостояния литературных направлений и групп (например, символизма и футуризма) — она хочет постигнуть собственные, имманентные закономерности развития Маяковского.

Этот интерес Блока к Маяковскому подтверждает и примечательная ранее малоизвестная его запись, относящаяся к итоговому сборнику «Все сочиненное Владимиром Маяковским»: «...» удалось достать в «Книжном угле» 9.XII. 1919»<sup>1</sup>. При всей своей лаконичности, эта запись достаточно красноречива<sup>2</sup>.

Маяковский же, пребывая внешним образом в состоянии ожесточенной борьбы с символистским «старьем», внутренне всегда и непрерывно переживал творчество Блока как значительнейший из фактов своего поэтического сознания, более того — как лирический фактор своего творчества.

Очень ценное свидетельство, связанное с сопоставлением Блока и Маяковского и важное для уяснения генезиса заглавий и интерпретаций ряда произведений раннего Маяковского, привел Р. О. Якобсон в 1956 году: «По существу, заглавие «150 000 000» — это полемический ответ на «Двенадцать». Не 12 делали революцию, а 150 000 000. Это Владимир Владимирович сам говорил. Вообще его заглавия носили полемический характер. Как-то я спросил: «Чем ты занимаешься?» (Это было

---

<sup>1</sup> ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388, л. 119 об. (любезно сообщено А. В. Лавровым). См. также: Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982, с. 101.

<sup>2</sup> О пометах Блока на сб. «Пощечина общественному вкусу» (М., 1912), который сохранился в собрании известного коллекционера М. С. Лесмана (Ленинград), см. далее.

**В. В. МАЯКОВСКИЙ.**

*А. Блоку*

*13 мая 1925 г.*

*расширяется —*

*исходником и. т. д.*

*к его слову*

**ОБЛАКО В ШТАНАХ.**

**ТЕТРАПТИХ.**

Титул книги В. Маяковского «Облако в штанах»  
с его автографом А. Блоку

очень давно, еще до революции.) Он ответил: «Я переписываю мировую литературу. Я переписал «Онегина», потом переписал «Войну и мир», теперь переписываю «Дон Жуана»<sup>1</sup>.

«В 1915 году, когда мы познакомились, — вспоминала Л. Ю. Брик, — Маяковский был еще околдован Блоком. Своих стихов у него тогда было немного. Он только что закончил «Облако», уже прочел его всем знакомым и теперь вместо своих стихов декламировал Блока. Все мы тогда без конца читали Блока, и мне трудно вспомнить с абсолютной точностью, что повторял именно Маяковский»<sup>2</sup>. Позднее в своих неизданных воспоминаниях она писала: «Если искать чье-то влияние, то скорее влияние Блока, который в то время, несмотря на контр-агитацию Бурлюка, продолжал оставаться кумиром Маяковского»<sup>3</sup>.

Двуединство Маяковского — лирика и сатирика, иронического и трагического поэта одновременно — делало его чутким к опыту предшественников в широком диапазоне. Д. Бурлюк отмечал в одной из ранних статей о поэте: «Маяковский в осенние бульварные туманы 11—12 года, гуляя со мной, поражал меня знанием Александра Блока и Саши Черного. Не правда ли, почти чудовищно противоестественно? А между тем характерно и очень показательно и для будущей деятельности поэта чрезвычайно программно. Если пристально взглянуть в творчество Маяковского, то сразу бросится эта его «двуличность» в смысле Блока и Саши Черного»<sup>4</sup>.

Маяковский и Блок, несмотря на всю совокупность стремящихся их развести обстоятельств, несомненно, проявляли глубокий интерес и тяготели друг к другу. В неопубликованных воспоминаниях Д. Бурлюк рассказы-

---

<sup>1</sup> Запись выступления Р. О. Якобсона в ИМЛИ 24 мая 1956 г. (архив В. А. Катаняна). См. также в статье Р. О. Якобсона «К поздней лирике Маяковского»: «Если заглавие «Ста пятидесяти миллионов» было полемическим ответом на «Двенадцать» Блока, тот же поэт подсказал Маяковскому и заглавие второй поэмы о революции — «Хорошо!» (Русский литературный архив, Нью-Йорк, 1956, с. 183).

<sup>2</sup> Брик Л. Ю. Чужие стихи. — В сб.: Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 332.

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 2577. См. также: Брик Л. Ю. Из воспоминаний. — Дружба народов, 1989, № 3, с. 192.

<sup>4</sup> Бурлюк Д. Владимир Маяковский. — Творчество. Владивосток, 1920, № 1, с. 12. В этой статье Бурлюк подробно описал свой разговор с Блоком о Маяковском в 1914 г. (см. далее).

вает о своей единственной встрече с Блоком: «⟨...⟩ я вспомнил (в беседе с Блоком.— А. П.) начало моего знакомства с Маяковским и усилия, которые я расходовал на то, чтобы поселить в душе талантливого юноши высокомерную насмешку над старым творчеством. В Маяковский любил читать А. Блока по памяти. Демонстрацией французов ⟨...⟩ мне удалось скоро добиться этого и «выкурить» Блока «из улья» Маяковского, но Саша Черный сидел глубже, и Володя сладострастно сотрудничал в «Сатириконе»<sup>1</sup>. Принимая свидетельство Бурлюка о Саше Черном почти без существенных оговорок, нужно сделать решительную оговорку относительно «выкуривания» Блока — будто бы удачного — «из улья» Маяковского. Блок, как известно, всегда продолжал присутствовать в поэтическом мире Маяковского, о чем откровенно свидетельствуют блоковские реминисценции в ранних стихах Маяковского, а также его поздняя поэма «Хорошо!» (1927).

Но вряд ли следует упрощать, сглаживать литературные отношения поэтов. Не следует забывать, что в этих отношениях была ожесточенная полемика, была оппозиция различных литературных направлений, различных поэтических систем. В пору дореволюционных футуристических боев и литературной полемики, а также в начале 20-х годов отношение Маяковского к Блоку претерпевало определенные колебания. В некрологе Блоку Маяковский писал: «Другие преодолели его романтику, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем (эпигонам Блока.— А. П.) и другим одинаково памятен Блок»<sup>2</sup>. Это полемическое отношение и даже объявленная «поэтическая война» с «романтизмом» Блока характерны прежде всего для самого Маяковского — он, так сказать, постоянно «преодолевал» в себе Блока.

В 1921 году в интервью для берлинской газеты «Новый мир», вскоре после своей статьи-некролога «Умер Александр Блок», Маяковский дает резкий отзыв о

---

<sup>1</sup> Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста.— ГПБ, ф. 552, ед. хр. 1.

<sup>2</sup> Маяковский В. Полн. собр. соч., т. 12, с. 21.

поэте — «никчемный Блок»<sup>1</sup>. Сохранилась дневниковая запись К. И. Чуковского, помеченная 17 марта 1922 года и свидетельствующая об отрицательной оценке Маяковским поэмы «Двенадцать»: «⟨...⟩ Маяковский в прошлом году в мае страшно бранил «Двенадцать» Блока: «Фу, какие немощные ритмы»<sup>2</sup>. А в 1924 году в тезисах своего доклада «О современной поэзии» (20 мая) Маяковский записал: «Блок мне не так интересен, как Белый» — и назвал его в этом докладе, по отзыву газеты, «наиболее неинтересным и бесцветным Блоком»<sup>3</sup>. По-видимому, какой-то резкий выпад против символистов и непосредственно против самого Блока Маяковский позволил себе при личной встрече с поэтом. Н. Асеев свидетельствовал еще в 1920 году, то есть при жизни Блока, что «неудача всего движения (символистов.— А. П.), всей литературной школы; такая неудача сделала Брюсова врагом футуризма, долго держала настороже А. Белого, едва не поссорила Блока с Маяковским»<sup>4</sup>. Конкретную причину назревавшего конфликта установить не удалось.

В 1918 году в малоизвестной рецензии Бурлюк писал: «Не удивительно, что Маяковский является родоначальником школы поэтов молодых, а старшие современники, как, например, Блок, Кузмин и Брюсов, не избежали его влияния»<sup>5</sup>. В рецензии, кроме очевидного полемического задора, Бурлюк точно подметил факт определенного «влияния» раннего Маяковского на символистов, и в частности на Блока. Этот вопрос в исследовательской литературе остается до настоящего времени открытым и требует специального анализа. Например, следует рассмотреть вопрос о связях и даже воздействии поэмы «Облако в штанах» (первоначальное заглавие «Тринадцатый апостол») на поэму «Двенадцать».

Р. В. Иванов-Разумник в конце 1918 года написал статью о Маяковском под заглавием «„Мистерия“ или

<sup>1</sup> С п а с с к и й К. У Маяковского.— Новый мир, Берлин, 1921, № 227, 27 октября.

<sup>2</sup> Литературное наследство, т. 92, кн. 2. М., 1981, с. 258.

<sup>3</sup> М а я к о в с к и й В. Полн. собр. соч., т. 13, с. 181, 392.

<sup>4</sup> А с е е в Н. Московские записки.— Дальневосточное обозрение, 1920, № 357, 14 (27) июня.

<sup>5</sup> О р а с о в [Д. Бурлюк]. «Облако в штанах» и «Человек». Вл. Маяковский.— Газета футуристов, 1918, № 1, 15 марта. (Псевдоним Д. Бурлюка раскрыт Н. И. Харджиевым.— День поэзии. М., 1968, с. 160.)

„Буфф“?), которую послал Блоку (в ней он подробно останавливался и на «Облаке в штанах»<sup>1</sup>. Кроме того, 21 ноября того же года Иванов-Разумник выступил с речью, в которой сопоставил Блока с Маяковским. Текст его речи не сохранился, но Блок, присутствовавший на этом выступлении, записал основной его тезис: «Я — Некрасов, Маяковский — Благосветлов»<sup>2</sup>. В посланной Блоку статье о Маяковском Иванов-Разумник наметил, как бы вскользь, несомненную внутреннюю, глубинную, с его точки зрения, связь блоковской поэмы с «Облаком в штанах»: «⟨...⟩ здесь тринадцатый апостол» продолжает вечный путь «двенадцати»<sup>3</sup>. К сожалению, он не развил эту мысль.

Еще при жизни Блока были высказаны замечания вдумчивых критиков и исследователей, которыми вряд ли следует пренебрегать. «Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры» пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского», — писал Б. Эйхенбаум в 1918 году<sup>4</sup>. А поэт и критик С. Бобров в резкой рецензии на сборник Блока «Седое утро» даже упрекнул его в «неумелом подражании» Маяковскому<sup>5</sup>.

Полемические отношения двух поэтов, записи Блока о Маяковском в дневнике и записных книжках, характерное упоминание в блоковской статье «Без божества, без вдохновенья», мемуарные свидетельства, широко используемые при анализе литературных отношений Блока и Маяковского, статья-некролог Маяковского о Блоке, в которой он, несмотря на ряд выпадов, называет Блока «славнейшим мастером-символистом», встреча поэтов в дни Октября (эпизод, введенный в поэму «Хорошо!» и ставший одним из главных в ее лирическом

<sup>1</sup> Блок А. Записные книжки, с. 437, 442. 16 мая 1919 г. в помещении общества искусств «Арион» состоялся доклад поэта Н. А. Оцуца, посвященный «Мистерии-буфф» Маяковского, «Христос Воскрес» А. Белого и «Двенадцать» Блока» (Жизнь искусства, 1919, № 141, 20 мая). Блок и Маяковский не присутствовали.

<sup>2</sup> Блок А. Записные книжки, с. 436. При анализе взаимоотношений поэтов этот тезис, отмеченный самим Блоком, нельзя не учитывать, но этот вопрос требует отдельного разговора.

<sup>3</sup> Искусство старое и новое. Пг., 1921, с. 51.

<sup>4</sup> Эйхенбаум Б. Грубный глас.— Книжный угол. П., 1918, № 1. Интересно, что этот номер журнала находился в личной библиотеке Блока (ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388). Эту же статью Б. Эйхенбаума Маяковский включил в свою библиографию, вошедшую в 1-й том прижизненного собрания сочинений (М., 1928, с. 344).

<sup>5</sup> Печать и революция, 1921, № 1, с. 146.

пласте), присутствие Блока на премьере «Мистерии-буфф» — все эти широко известные биографические и творческие факты контактов двух поэтов в нашей статье не рассматриваются<sup>1</sup>. Мы остановимся на истории одной встречи Блока с Маяковским, «полуизвестность» которой успела обрасти толстым слоем слухов, легенд и сомнительных комментариев. Пора уже пробиться через эту толпу и установить научную истину, поскольку она связана с таким важным вопросом, как встреча — одна из немногих — двух великих поэтов; пора на место слухов и легенд поставить простой и неотторжимый от двух замечательных биографий факт, и не апокриф, а приближающий к достоверности факт.

Но для начала — попутно, так сказать, — установим факт еще одной встречи двух поэтов, не попавший в хронику Блока, а в хронике Маяковского ранее датируемый ошибочно. Это тем более важно, что личных встреч Маяковского с Блоком было, как известно, не так уж много<sup>2</sup>. Поэтому представляет несомненный интерес их совместное публичное выступление 20 февраля 1919 года — по-видимому, единственное — на XXXIX вечере поэтов в литературно-артистическом кабаре «Привал комедиантов». О выступлении Маяковского на вечере поэтов Блок в своей записи под соответствующей датой почему-то не упоминает<sup>3</sup>. Но ставшая недавно

<sup>1</sup> В день смерти Блока, 7 августа 1921 г., Маяковский был на вечере поэтов в Доме литераторов. По свидетельству В. Мануйлова, Брюсов «очень тихо» объявил о смерти Блока, «почтили память поэта. Речей не было. А потом перешли к очередной программе. Читали стихи». Маяковский не выступал (Маяковский в современном мире. Л., 1984, с. 283—284). Через несколько дней, 10 августа, в газете «Агит-Роста» (№ 14) была напечатана статья Маяковского «Умер Александр Блок».

<sup>2</sup> См. о других встречах: В. Шкловский вспоминает разговор Блока с Маяковским на публичном чтении «Мистерии-буфф» в Театре миниатюр (?) (вероятно, в 1918г.) (Шкловский В. О Маяковском. М. 1940, с. 110); в воспоминаниях Е. Хин «Как живой с живыми...» (Звезда, 1959, № 1, с. 149) рассказано о визите Маяковского к Блоку и чтении у него на квартире «Облака в штанах»; об эпизодической встрече поэтов на улице со слов самого Маяковского сообщено в мемуарах В. Саянова (в кн.: В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 522).

<sup>3</sup> Блок А. Записные книжки, с. 450. Об участии Маяковского в этом вечере не упоминается и в предварительных газетных объявлениях (Жизнь искусства, 1919, 19 и 20 февраля), а также в сохранившейся программе вечера (ГПБ, Отдел эстампов — сообщено А. М. Конечным). Блок упоминает Маяковского в другой записи о вечере в «Привале комедиантов» (19 ноября 1918), на котором А. В. Луначарский читал доклад о К.-Ф. Мейере. — Блок А. Записные книжки, с. 436; ср.: Жизнь искусства, 1918, № 19, 21 ноября.



известной дневниковая запись М. А. Кузмина, а также его газетный отчет, посвященный этому вечеру поэтов, позволяют уточнить дату и утверждать, что именно 20 февраля, а не 27-го, как было ранее указано в хронике Маяковского<sup>1</sup>, на вечере в «Привале комедиантов» выступили Блок и сверх программы Маяковский.

Дневниковая запись Кузмина датирована 7 февраля по старому стилю, что соответствует 20 февраля нового стиля: «Читали мрачно довольно. Потом вылез Маяковский, и все поэты попрятались в щели. Наверху Луначарский читал пьесу <...> Спустились. Сидят Пронин, Блок <...>»<sup>2</sup>.

Подробнее об этом вечере Кузмин рассказал в газетном отчете (дата вечера не указана): «После долгого перерыва в «Привале комедиантов» возобновились вечера поэтов <...> Прочли стихи А. Блок, Б. Евгенийев, Г. Иванов, Кузмин, Курдюмов, Ляндау, Оцуп, А. Радлова, В. Рождественский <...> Приблизительно все по-старому, и поэты все прежние, и читали стихи, кажется, старые, и опять было впечатление призрачности и чего-то бездушного <...> Можно было понять Маяковского, который самосильно явился на эстраду, как фея Карабосс, которую не пригласили на крестины, и стал читать свои стихи, предпослав, разумеется, им вступительное слово. С большим апломбом он бранил только что читавших поэтов, противопоставляя им себя. <...> Ни восторга, ни возмущения это выступление, почти автоматическое, не возбудило, публика лениво посмеялась, потом выслушала хорошо известный «Наш марш». Только режиссеры и антрепренеры с завистью смотрели на Маяковского, думая, какие прекрасные актерские данные остаются неиспользованными...»<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. М., 1961, с. 116. В последнее издание «Хроники» (М., 1985) была внесена после моих замечаний соответствующая поправка в датировку этого вечера.

<sup>2</sup> Литературное наследство, т. 92, кн. 2, с. 163.

<sup>3</sup> Кузмин М. Вечер поэтов.— Жизнь искусства, 1919, № 91, 5 марта. Интересно отметить, что именно в хронике этого номера газеты сообщалось, что на экранах Петрограда демонстрируются два фильма с участием Маяковского — «Не для денег родившийся» и «Барышня и хулиган». Режиссер С. Э. Радлов вспоминал, что в 1919 г. в «Привале комедиантов» он, полушутя, предлагал Маяковскому играть роль Отелло» (Литературный Ленинград, 1936, № 15, 27 марта).

К сожалению, Блок никак не зафиксировал в своих записях это выступление Маяковского, но вряд ли он относился к числу тех участников вечера, которые, по словам Кузмина, равнодушно отреагировали на выступление поэта, не выразив «ни восторга, ни возмущения».

Как известно, Блок всегда был внимателен к поэтическому слову своих современников, даже начинающих авторов, тем более к такому явлению, как Маяковский. Между тем сохранилось важное мемуарное свидетельство об этом вечере критика, а впоследствии блоковеда П. Н. Медведева, так или иначе говорящего об отношении Блока к Маяковскому: «20 февраля в «Привале комедиантов» очередной вечер поэтов. Стоим за кулисами с Блоком. Беседуем и слушаем. На эстраде гремит и глушит, мечет и позирует Влад. Маяковский. Вдруг Блок обрывает реплику и хватает меня за руку: «Слышите, строчка из Пушкина!» Ему радостно было услышать родное и вечное в том, что на отрицании всего этого, а порою — и на глумлении над ним, строит свое ударное красноречие»<sup>1</sup>.

Некоторые интересные уточнения об этом вечере, а главное — какие именно стихи читал Блок, сообщены другим мемуаристом, искусствоведом Л. В. Розенталем: «В «Подвале» среди обычной литературной богемы выделялась меценатская фигура Луначарского. Его почтительно просили прочесть свои стихи, но он благоразумно отказался. Только груды неубранного снега да присутствие Луначарского служили в тот вечер напоминанием о гражданской войне где-то там за наглухо забитыми стенами подвала. В самих стихах поэтов не было ничего о революции, если не считать «Наш марш», демонстративно выкрикнутый Маяковским. Кузмин, как ни в чем не бывало, читал по тетрадке кантату «Святой Георгий». По обыкновению, одним из последних выступил Блок. Он вынул записную книжку и стал читать самые страшные стихи — «Пляски смерти»: «Вновь... богатый... зол и рад... // Вновь... унижен... бедный...» А затем — самые безрадостные: «Ты... твердишь... что я холоден... замкнут... и сух». Все эти стихи были написаны в 1914—16 гг., но мне казалось, что они сочинены

---

<sup>1</sup> Искусство, Витебск, 1921, № 4/6, с. 3.

недавно, уже после «Двенадцати». И от этого было еще страшнее. Голос Блока звучал особенно глухо»<sup>1</sup>. По устному свидетельству Л. В. Розенталя, Маяковский, кроме «Нашего марша», прочел также и «Левый марш»<sup>2</sup>.

Итак, по свидетельству мемуаристов, Маяковский в тот вечер читал «Наш марш» и «Левый марш». И Блок, говоря о реминисценции из Пушкина, по всей вероятности, имел в виду строки Маяковского из «Нашего марша»: «медленна лет арба» и «лёт быстролетным коням» или «клячу историю загоним» из «Левого марша», которые перекликаются с пушкинской строчкой из стихотворения «Телега жизни»: «А время гонит лошадей».

Наблюдение Блока о пушкинской цитате у Маяковского говорит не только о его внимании и интересе к нему, но и о постоянном желании Блока определить, установить связь между «вечным» — классиками — и новыми поэтами.

По свидетельству актрисы О. В. Гзовской, читавшей в 1918 году «Наш марш» с эстрады, Маяковский сам сравнивал образы своего стихотворения с «Телегой жизни» Пушкина: «Как это — лет арба? — спросила я. — Когда говоришь — непонятно». Маяковский серьезно посмотрел на меня и ответил: «Вам же у Пушкина «телега жизни» понятна. Почему же вам непонятна у меня «арба лет»? Разве не ясно? Надо читать без декламации, просто от сердца. Все дойдет»<sup>3</sup>.

Эта встреча Блока и Маяковского в «Привале комедиантов» была, надо полагать, одной из последних встреч поэтов: через несколько дней — 1 или 2 марта 1919 года — Маяковский, как известно, окончательно переехал на постоянное жительство в Москву. Последний раз

---

<sup>1</sup> Розенталь Л. В. Свидетельские показания любителя стихов начала XX века (1931; ГМИИ, фонд материалов А. А. Блока, КП-106901, л. 2—3.— Текст любезно сообщен Ю. Е. Галиной).

<sup>2</sup> В беседе с нами, дополняя новыми штрихами свои мемуарные свидетельства, Л. В. Розенталь объяснил, что он запомнил, как сидевшая рядом с ним Л. Ю. Брик вполголоса скандировала вместе с Маяковским «Левый марш» и даже подсказала ему слова, когда он неожиданно сбился.

<sup>3</sup> В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 158—159.

Маяковский видел и слушал Блока в мае 1921 года на его выступлении в Политехническом музее<sup>1</sup>.

Но еще до вечера поэтов в «Привале комедиантов» имела место другая встреча — та самая, окруженная слухами и легендами, о которой уже упоминалось. Об этой встрече сохранилось несколько мемуарных свидетельств, так сказать, второй степени — по рассказам Маяковского, записанным третьими лицами, ибо ни один мемуарист не был прямым ее свидетелем. Два великих поэта встретились с глазу на глаз...

Б. Бажанов, в 1920-е годы секретарь Сталина, в статье, посвященной смерти поэта, вспоминал, что на одном из вечеров «Чистки современной поэзии» (то есть 19 января или 17 февраля 1922 г.) Маяковский рассказал с эстрады о своем визите к Блоку и о дарственной надписи, сделанной Блоком на какой-то книге своих стихов: «Владимиру Маяковскому, о котором я много думаю. Александр Блок»<sup>2</sup>. Книга с автографом Блока, к сожалению, не сохранилась, а ее название и дату встречи поэтов мемуарист не привел. Сообщение Бажанова до недавнего времени являлось единственным источником текста дарственной надписи Блока, и этот вариант надписи кочевал из одной работы в другую, где речь шла о взаимоотношениях поэтов.

Д. Бурлюк в цитированном выше очерке о Маяковском, опубликованном еще в июне 1920 года (то есть — подчеркнем — при жизни обоих поэтов), сообщает: «С Ал. А. Блоком я встретился один раз у (покойного теперь) Кульбина. Я знал, что он в восторге от Маяковского, что он преподнес ему полное собрание своих произведений...»<sup>3</sup> Получается, что упоминающуюся Б. Бажановым дарственную надпись Блок сделал будто бы на своем «Полном собрании»...

В. Б. Шкловский в книге о Маяковском (1940) и более поздних воспоминаниях «Жили-были» (1966) тоже

---

<sup>1</sup> Маяковский присутствовал на втором выступлении Блока в Москве — 5 мая. Дата уточняется по дневниковой записи К. И. Чуковского, которая помечена этим днем: «На лекции был Маяковский, в длинном пиджаке до колен, просторном, художническом; все наше действо казалось ему скукой и смертью. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать...» — Литературное наследство, т. 92, кн. 2, с. 256.

Цит. по кн.: К а т а н я н В. Литературная хроника. Маяковский. М., 1961, с. 439.

<sup>3</sup> Творчество, Владивосток, 1920, № 1, с. 13.

сообщает некоторые сведения об истории этого блоковского автографа.

«Лиля захотела иметь книжку с автографом Александра Блока. Маяковский поехал к Блоку. Тот принял его как поэт поэта, хотел говорить с ним долго, но Маяковскому было некогда, он торопился, ушел с автографом. А Блок не успел придумать автографа. Он хотел посидеть с поэтом. Поговорили они позднее», — вспоминал Шкловский в довоенной книге о поэте<sup>1</sup>.

Через много лет он написал об этом подробнее и сделал ряд уточнений: «Женщина, которую любил Маяковский, попросила, чтобы он принес книгу Блока с автографом. Не знаю, где сейчас этот автограф. Блок охотно написал автограф на книге «Седое утро». Маяковский взял книгу и собрался уходить. Стояли друг против друга двое, очень хорошо знающие друг друга, готовые друг для друга на жертву. «Может быть, мы поговорим, если уж вы пришли?» — сказал Александр Блок. Владимир Маяковский ответил, как очень молодой человек: «Мне некогда: автограф ждут». — «Это хорошо, когда человеку некогда от любви, когда он торопится. Но нехорошо, что у нас нет времени друг для друга». Историю эту мне печально рассказывал сам Владимир Владимирович<sup>2</sup>.

В воспоминаниях Шкловского вместо собрания сочинений названа другая книга — «Седое утро».

Вспоминала о визите Маяковского к Блоку много позднее и сама Л. Ю. Брик. «Память человеческая, — писала она, — как известно, неточна. Мне помнится, что мы долго ждали Маяковского к обеду. Наконец, он пришел и сказал, что он битый час ждал Блока, который ушел в соседнюю комнату. В результате на книге оказалось «Маяковскому от Блока»<sup>3</sup>. В свидетельстве Л. Ю. Брик появился совсем иной, гораздо более лапидарный, текст дарственной надписи.

Об этом же визите Маяковского к Блоку рассказал В. Катаев в книге «Трава забвенья»<sup>4</sup>. Писатель нарисовал красочную беллетристическую картину встречи поэтов, и к этой катаевской «реконструкции» — чисто романной — трудно было бы предъявить какие-нибудь пре-

<sup>1</sup> Шкловский В. О Маяковском. М., 1940, с. 109.

<sup>2</sup> Шкловский В. Жили-были. М., 1966, с. 156.

<sup>3</sup> Цит. по копии письма Л. Ю. Брик к А. В. Валюженичу от 9 февраля 1976 г., любезно предоставленной мне В. В. Катаняном.

<sup>4</sup> Катаев В. Трава забвенья. М., 1967, с. 164—167.

тензии, если бы она не воспринималась безусловным большинством читателей как документальная, основанная на реальных и достоверных фактах. По собственному определению В. Катаева, он предлагает читателю «раскованный рассказ» самого Маяковского в своем авторском переложении, то есть, по-видимому, не слишком стесняя себя фактами. К сожалению, сам текст катаевского произведения не дает читателю достаточно выразительных черт этой «раскованности» и очевидным образом претендует на то, чтобы восприниматься как историческая правда о событии.

О встречах двух поэтов в повести говорится как об «историческом» событии, имеющем «всемирно-литературное значение», и эти катаевские определения можно было бы обсудить, если бы они в повести не исходили от самого Маяковского (правда, иронически). Трудно представить себе, чтобы Блок принимал своего собрата по цеху «величественно и благосклонно», как сказано у Катаева, а Маяковский, в свою очередь, назвал бы Блока «живым гением», «великим поэтом» и «кумиром», — не потому, что это не соответствует отношению Маяковского к Блоку, а потому, что ироническая высокопарность (вообще свойственная высказываниям Маяковского) в повести выглядит нестерпимой фальшью. Вспомним, что Маяковский был в ту пору ниспровергателем «великих» классиков и признанных «кумиров», а Блок, как вспоминают современники, был решительно чужд всякой позы. Невозможно представить себе и то, что Блок не давал Маяковскому «сказать ни одного слова»<sup>1</sup> и что он сказал ему: «Приемлю в вашем лице грядущее Мира. И, конечно, русской литературы...» Сколь бы ни был велик интерес Блока к Маяковскому и Хлебникову, Блок никогда бы так не сказал, и уж тем более не назвал себя их «учеником», как уверяет автор повести. Известно, что в это время Блок, несмотря на свой большой интерес к футуристам, продолжал относиться к ним все же достаточно настороженно<sup>2</sup>. Прочитав иронические блоковские строки:

---

<sup>1</sup> В связи с этим см. приведенное далее авторитетное свидетельство К. И. Чуковского из письма к Л. Ю. Брик.

<sup>2</sup> См., напр., ответное резкое письмо Блока Н. Асееву от 20 мая 1916 г. (публикация В. Н. Орлова). — Тезисы I Всесоюзной конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 176—177.

Хлебников и Маяковский набавили цену на книги,  
Так что приказчик у Вольфа не мог их продать без улыбки,—

Маяковский никоим образом не мог сказать, что, мол, жаль, «эта строфа тогда почему-то в печать не попала», как сообщает Катаев<sup>1</sup>. Он не мог так сказать по той простой причине, что она именно «тогда» как раз попала в печать. Стихотворение Блока «Из «Жизни моего приятеля» (май 1914) с этими строками было напечатано в нашумевшем альманахе «Стрелец» (№ 1), впервые объединившем символистов и футуристов и вышедшем в марте 1915 года,— в нем принял участие также и Маяковский. Блоковское стихотворение Маяковский знал прежде всего по этой публикации. И, наконец, совсем уже необъяснимо, зачем и почему надпись Блока на книге (главная цель визита Маяковского, а по Катаеву, Блок «с выражением высокомерия (? — А. П.) расчеркнулся на книжке») автор «Травы забвенья» переадресовывает почему-то Л. Ю. Брик и тем самым абсолютно перечеркивает самое содержание надписи, которое он намеренно не приводит. Даже самая раскованная форма повествования не оправдывает такого произвола в отношении реального события. Но все это, повторяем, имеет значение лишь постольку, поскольку версия В. Катаева доверчиво принимается читающей публикой за подлинные факты.

Более того, как достоверный источник этот эпизод рассматривается и воспринимается не только читателями, но даже исследователями. М. Ф. Пьяных, в напечатанной работе «Блок и русская советская поэзия» анализируя творческие взаимоотношения Блока и Маяковского, некритически отнесся к катаевской версии этой встречи и принимает беллетристическую картину за достоверный разговор поэтов: «В. Шкловский рассказал о первой встрече (почему первой? — А. П.) поэтов, состоявшейся незадолго до революции (?). Позднее со слов Маяковского она весьма *подробно* (курсив наш. — А. П.) была описана В. Катаевым в повести «Трава забвенья» со следующими выводами: «Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина», (...)

---

<sup>1</sup> Катаев В. Трава забвенья, с. 166.

«Блок был совестью Маяковского»<sup>1</sup>. Такие утверждения В. Катаева в книге, которую менее всего можно считать мемуарной и достоверной, требуют, разумеется, со стороны исследователя аналитического подхода и определенных оговорок, но в работе М. Ф. Пьяных их нет.

Собрав разноречивые, несогласованные сведения мемуаристов, некий журналист Н. Наумов также пытался воссоздать реальную картину встречи поэтов и историю блоковской надписи. Эта попытка реконструкции оказалась явно несостоятельной даже на журналистском уровне. Автор не снял и не объяснил противоречия своих источников, а напротив, еще больше запутал и без того не слишком ясный вопрос и создал еще одну легенду о Маяковском<sup>2</sup>.

Между тем сохранилась дневниковая запись К. И. Чуковского, помеченная 8 декабря 1920 года и зафиксировавшая наиболее полный и точный рассказ самого Маяковского об этом эпизоде: «Маяковский забавно рассказывал, что он был когда-то давно у Блока. Лили была именинница, приготовила блины — велела не запаздывать. Он пошел к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его книги — с автографом. — Я пошел. Сижусь. Блок говорит, говорит. Я смотрю на часы и рассчитываю: десять минут на разговор, десять минут на просьбу о книгах и автографах и минуты три на изготовление автографа. Все шло хорошо — Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо — сидит пять минут, десять, пятнадцать. Я в ужасе — хочу крикнуть: скорее! — он сидит и думает. Я говорю вежливо: вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову, — он сидит с пером в руке и думает. Пропали блины! Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу — немного размазал, благодарю, беру, читаю: «Вл. Ма-

<sup>1</sup> Литературное наследство, т. 92, кн. 1. М., 1980, с. 180.

<sup>2</sup> Наумов Н. Автограф. — Сельская молодежь, 1976, № 5, с. 62—63. Кроме того, в печати появились совершенно абсурдные утверждения, что это автограф Блока «рассказывает» о дружбе (?!), которая существовала между Маяковским и Блоком (Поэзия, 1972, с. 61). Нужно иметь крайне смутное представление о взаимоотношениях футуриста Маяковского и символиста Блока, чтобы умудриться написать об их «дружбе».



яковскому, о котором в последнее время я так много думаю»<sup>1</sup>.

Не следует удивляться ироничности этого рассказа Маяковского: снижение пафоса иронией было обычным и для его стихов, и для его устной речи. Тем более в этом эпизоде он выступал в непривычной для него и, должно быть, смешной, с его точки зрения, роли просителя автографа.

Приведенный в дневнике К. Чуковского текст надписи Блока — несомненно, достоверный, он существенно отличается от версии надписи Б. Бажанова, попавшей в научный обиход, и других версий дополнительными конкретизирующими словами — «в последнее время» и «так». Эти эмоциональные «нюансы» значительно обогащают тональность надписи Блока.

Дневниковая запись К. Чуковского заслуживает доверия еще и потому, что была сделана в тот же самый день, когда Маяковский был у него в гостях и рассказал этот эпизод, — 8 декабря 1920 года. Одновременность подтверждается тем, что известные свои рисунки-шаржи «Окно сатиры Чукроста» и соответствующие стихи Маяковской нарисовал и вписал в «Чукоккалу», датируя их тем же днем<sup>2</sup>. Кроме того, есть и прямое свидетельство К. Чуковского: в письме к Л. Ю. Брик, отвечая на ее вопрос об отношении к катаевской версии этой встречи, он писал в июне 1967 года: «По поводу эпизода Блок — Маяковский: В〈ладимир〉 В〈ладимирович〉 рассказывал этот эпизод моей жене, а я тут же записал его рассказ слово в слово. Весь рассказ занимает 8—10 строк. Вообще нельзя себе представить В. В. очень *болтливым*. Он бросал реплики, острил, декламировал отрывки чужих стихов, но говорить монолог он был не склонен. И Блок не страдал недержанием речи. Все это было *иначе...*»<sup>3</sup>.

Таким образом, мы знаем об этом визите как бы от самого Маяковского в записи, сделанной в тот же день, когда он сам об этом рассказал.

<sup>1</sup> Литературное наследство, т. 92, кн. 2, с. 253.

<sup>2</sup> Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979, с. 18—19.

<sup>3</sup> Письмо К. И. Чуковского к Л. Ю. Брик любезно сообщено В. В. Катаняном. Сейчас этот фрагмент из письма опубликован М. С. Петровским и Е. Чуковской в подборке материалов К. Чуковского о Маяковском («Огонек», 1986, с. 14).

Сохранившиеся свидетельства современников говорят о том, как важна для Маяковского была эта встреча, как много значило для него признание Блока, выразившееся в дарственной надписи,— охотно и не раз, хотя и с иронической окраской, Маяковский повторял рассказ о своем визите к Блоку и его надписи на книге. И, пожалуй, сам Маяковский был создателем мифопоэтической версии этой встречи.

Едва ли когда-нибудь будет обнаружена более полная или более точная запись рассказа Маяковского. На основании записи Чуковского и анализа прочих свидетельств можно построить достоверную картину встречи поэтов и попытаться дополнить этот эпизод новыми уточненными данными. Прежде всего — сведения о дате встречи и о том, какую книгу подарил Блок Маяковскому со своим автографом. Можно также попытаться установить подлинный текст блоковской надписи или, по крайней мере, максимально приблизиться к нему.

Приняв за основу текст блоковского автографа в записи Чуковского и сравнив его с другими дарственными надписями поэта, следует внести в реконструируемый нами текст автографа подпись и дату. Анализ четырехсот дарственных надписей Блока на книгах и фотографиях, которые нам удалось собрать и опубликовать, приводит к выводу, что поэт, с присущей ему безупречной аккуратностью, неизменно проставлял на них подпись или слова «от автора», а также почти всегда (исключения чрезвычайно редки) обозначал дату и — как правило — место<sup>1</sup>. Подпись Блока в дарственной надписи Маяковскому представляется необходимой еще и потому, что текст надписи, несомненно, создавался по модели «поэту — поэт». Л. Ю. Брик так и запомнила: «Маяковскому от Блока». Подпись Блока фигурирует и в версии автографа, сообщенной Б. Бажановым. Поэтому будем считать, что во время этой встречи Блок написал на какой-то своей книге: «Владимиру Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю. Александр Блок».

---

<sup>1</sup> См. об этом публикации В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях». — Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 5—152.

Чтобы выяснить дату встречи и название подаренной книги, следует обратить внимание на то, что в ряде воспоминаний об этой встрече упоминается ее одновременность с каким-то семейным праздником Л. Ю. Брик: К. И. Чуковский записал — «именины». Но Л. Ю. Брик никогда не отмечала именин, а всегда только день рождения — 30 октября (11 ноября н. ст.). Маяковский в 1920 году говорил (по записи Чуковского), что его визит к Блоку состоялся «когда-то давно». Встреча двух поэтов в день рождения Л. Ю. Брик не могла произойти раньше осени 1915 года, так как знакомство Маяковского с Л. Ю. Брик состоялось лишь в июле этого года, как поэт отметил в своей автобиографии<sup>1</sup>. На другом краю стоит дата — октябрь — ноябрь 1918 года, так как в начале марта следующего — 1919 года Маяковский и Брики окончательно переехали в Москву. Итак, встреча Маяковского с Блоком произошла между 1915 и 1918 годами.

Свидетельства о визите Маяковского к Блоку и о блоковском книжном подарке с автографом можно выстроить в следующий хронологический ряд:

1. Д. Д. Бурлюк (июнь 1920 — полное собрание сочинений Блока, без текста надписи);
2. К. И. Чуковский (8 декабря 1920 — текст надписи, без названия книги);
3. Б. Бажанов (29 апреля 1930 — текст надписи, без названия книги);
4. В. Б. Шкловский (1940 и 1966 — сборник Блока «Седое утро», без текста надписи);
5. В. П. Катаев (1967 — рассказ о встрече без указания книги и текста надписи);
6. Л. Ю. Брик (1976 — текст надписи, без названия книги).

Из записи Блока известно, что его единственная встреча с Бурлюком произошла 27 октября 1914 года: «Встреча с Кульбиным. Он затащил к себе на 10 минут и познакомил с Д. Бурлюком»<sup>2</sup>. Именно тогда у них и произошел разговор о Маяковском, о котором вспоминал Бурлюк. Свидетельство Бурлюка в целом не вызывает сомнений в достоверности, хотя он, вероятно, несколько гиперболизирует блоковский «восторг от Маяковского» и демонстрирует очевидную аберрацию

<sup>1</sup> Маяковский В. Полн. собр. соч., т. 1, с. 23.

<sup>2</sup> Блок А. Записные книжки, с. 245.

памяти — в 1914 году он еще не мог знать о книжном подарке Блока.

Поскольку Бурлюк уехал на Дальний Восток в апреле 1918 года, он, следовательно, мог слышать рассказ Маяковского о визите к Блоку до этой даты, и 1918 год как дата встречи поэтов отпадает, сужая временные рамки до трех лет — между 1915 и 1917 годами.

В записи от 30 октября 1915 года Блок перечисляет все события дня (вечером, например, он был с родными на спектакле «Борис Годунов»), но о визите Маяковского в этой записи не упоминается<sup>1</sup>. Предельная аккуратность Блока в такого рода записях заставляет сделать вывод, что в этот день Маяковский не приходил к нему.

Запись Блока за тот же день следующего, 1916 года, к сожалению, неизвестна. В октябре этого года Блок приехал в Петроград из действующей армии, получив месячный отпуск, и, видимо, в это время не вел записей. Не сохранились также записи под соответствующей датой и за 1917 год (две записные книжки, относящиеся к этому времени, поэт уничтожил незадолго до смерти), но представляется очевидным, что приход Маяковского к Блоку и не мог состояться в октябре 1917 года: грозные исторические события не располагали к «легкомысленным» визитам. Впоследствии Маяковский — в статье «Умер Александр Блок» и в поэме «Хорошо!» — вспоминал свою встречу с Блоком в эти дни, но то была уже встреча совсем иной тональности — у костра, разложенного перед Зимним дворцом в дни революции. Ясно, что и 1917 год как дату встречи поэтов и дату блоковского автографа тоже следует отвести. Интересующий нас визит Маяковского к Блоку, о котором сохранились столь разноречивые свидетельства, мог состояться только в октябре 1916 года.

Об очевидном интересе Блока к Маяковскому как раз в эту пору — то есть после выхода поэмы «Облако в штанах» (сентябрь 1915 г.) — свидетельствует и недавно найденное его письмо от 7 февраля 1916 года к В. Э. Мейерхольду. Обращаясь к нему как редактору-издателю театрального журнала «Любовь к трем апельсинам» (Блок вел в этом издании отдел поэзии), Александр

---

<sup>1</sup> Блок А. Записные книжки, с. 273.

Александрович писал: «Если бы вместо всех стихов, которые я сейчас имею Вам предложить, дал отрывок или отрывки Маяковской, было бы интереснее»<sup>1</sup>. Слова Блока «отрывок или отрывки», несомненно, подразумевают большую поэтическую форму — поэму; скорее всего, Блок имел в виду еще не изданные отрывки из поэмы «Флейта-позвоночник», первая часть которой была опубликована в декабре 1915 года в сборнике «Взял» (находился в библиотеке Блока)<sup>2</sup>, или отрывки из поэмы «Война и мир», над которой Маяковский тогда работал<sup>3</sup>. Стихи Маяковского в журнале «Любовь к трем апельсинам» так и не появились.

13 июня 1916 года Блок сделал такую значимую запись: «Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов и говорил, что очень уж много страшного написал про войну, надо бы проверить, говорят, — там не так страшно. Все это с обычной ужимкой, но за ней, кажется, подлинное (то же, как мне до сих пор казалось)»<sup>4</sup>. Рассказ Маяковского, записанный Блоком, связан, по-видимому, с упомянутой поэмой «Война и мир». А слова Блока о «подлинном» в Маяковском и о том, что «до сих пор казалось», явным образом перекликаются со смыслом дарственной надписи: «...о котором в последнее время я так много думаю».

В конце предыдущего года (11 декабря 1915 г.) Блок получил письмо от начинающей поэтессы Н. А. Минич, полное откликов на какие-то разговоры Блока (или его письма) о Маяковском, в частности о его поэме «Облако в штанах». «Как ни груб и ни нелеп порою Маяковский, — писала корреспондентка Блока, — но я его очень люблю. Вот он, по-моему, очень талантлив. Его стихи, не-

---

<sup>1</sup> Зильберштейн И. С. Александр Блок: неизданное наследие. — Литературная газета, 1973, № 11, 14 марта; полный текст письма Блока см.: Новый мир, 1979, № 4, с. 165—166.

<sup>2</sup> См. каталог личной библиотеки Блока, составленный им самим. — ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388.

<sup>3</sup> В журнале М. Горького «Летопись», в котором участвовал Блок, а Маяковский числился постоянным сотрудником, в 1916 г. была принята к напечатанию 3-я часть поэмы «Война и мир». В № 9 «Летописи» за 1916 г. поэма «Война и мир» (3-я часть) названа в списке произведений, которые «не могут быть напечатаны по не зависящим от редакции обстоятельствам». Этот номер «Летописи» упоминается в дневнике Блока (т. 7, с. 413).

<sup>4</sup> Блок А. Записные книжки, с. 306.

смотря на все выверты, прочтешь от доски до доски (правда, конец слабее), и они как-то стискивают сердце — их не просто глазами читаешь, а говоришь душою. Он по-настоящему «выжег души, где нежность растили». Вы слышали, как он читает? Я слышала, и когда читаю его стихи, слышу его голос — это страшно помогает при нелепой печати»<sup>1</sup>. «Нелепая печать» — это, вероятно, лесенка, непривычная тогдашнему читателю, а слова Минич о «нелепом» Маяковском и его «вывертах» удивительно соответствуют словам Блока об «ужимке», за которой «подлинное». К сожалению, ответное письмо Блока с его отзывом о Маяковском — на письмо Н. А. Минич он пометил «Ответил 14.XII»<sup>2</sup> — не сохранилось.

Итак, именно в 1916 году Блок, как никогда, имел основания сказать, что в «последнее время» он о Маяковском «так много думает». Приведенные факты позволяют с достаточным основанием предположить, что визит Маяковского к Блоку состоялся 30 октября 1916 года (и эта же дата, по всей вероятности, стояла под автографом Блока).

Остается только выяснить, на какой своей книге Блок сделал дарственную надпись Маяковскому.

Сообщение В. Б. Шкловского о том, что подарена была будто бы книга «Седое утро», — ошибочное, так как этот сборник вышел в свет лишь в октябре 1920 года. Если верно сообщение Бурлюка о подаренном Маяковскому «полном собрании произведений», то речь может идти только о четырехтомном издании, вышедшем в издательстве «Мусагет» в 1916 году (косвенно снова подтверждается год встречи). Экземпляры предыдущего трехтомного «мусагетовского» издания (1911—1912) к этому времени у Блока не сохранились: обзор дарственных надписей Блока показал, что ни одна из книг названного издания не была подарена автором в 1915—1916 годах<sup>3</sup>.

Теперь мы знаем, что Блок сделал надпись, вероятнее всего, на четырехтомном собрании своих произведений 1916 года, — конечно же, на первом его томе, которая могла выглядеть так:

---

<sup>1</sup> Литературное наследство. т. 92, кн. 3, с. 12, 21.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, т. 92, кн. 3, с. 143—147.

*Владимиру Маяковскому,  
о котором в последнее время  
я так много думаю.*

*Александр Блок.*

30 октября 1916 года.

СПб.<sup>1</sup>.

\* \* \*

Что же знал Блок о Маяковском, о его поэзии до 30 октября 1916 года, до дня предполагаемой встречи? С какими его произведениями был знаком к этому дню? Что заставило Блока «последнее время» о Маяковском «так много думать»?

Попытаемся суммировать все известные, а также малоизвестные материалы о Маяковском, отраженные в блоковедческой литературе, и введем в оборот уточненные и новые сведения о книгах Маяковского, почерпнутые из личной библиотеки Блока, хранящейся в Пушкинском Доме (ИРЛИ).

1913 год был, как известно, кульминационным в движении кубофутуристов. Блок внимательно к ним присматривался, следил за публичными и печатными выступлениями футуристов, собирал их издания, которые частично сохранились в его библиотеке.

В декабре 1912 года Маяковский дебютировал в программном футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу» двумя стихотворениями — «Ночь» и «Утро» — и подписал групповой манифест, включавший выпады и против Блока. Сборник «Пощечина общественному вкусу», принадлежавший Блоку, сохранился<sup>2</sup>. В нем стихи Маяковского отчеркнуты красным карандашом, и это достаточно примечательный факт. Блок обратил внимание на Маяковского, как теперь выясняется, начиная с первых его шагов в литературе. Кроме того, в петербургской «Воскресной вечерней газете» 30 декабря 1912 года был опубликован издавательский фельетон Аркадия Бухова «Выход рыжих»,

<sup>1</sup> Некоторые компоненты надписи могли, конечно, варьироваться. Могло быть приведено полностью имя и отчетство — «Владимиру Владимировичу», могло быть опущено число и слово «год», а месяц написан римскими цифрами, мог быть опущен город (Петербург-Петроград) или приведен в виде аббревиатуры, а подпись Блока зафиксирована в виде инициалов.

<sup>2</sup> Блоковский экземпляр сборника «Пощечина общественному вкусу» ныне находится в собрании М. С. Лесмана (Ленинград). Маргиналии поэта на этом сборнике требуют отдельного исследования.

один из первых откликов на «Пощечину...», где был перепечатан футуристический манифест и процитировано стихотворение Маяковского «Утро». Не исключено, что этот фельетон мог попасть в поле зрения Блока.

Интерес Блока к футуризму, вначале несколько настороженный, поддерживался или, так сказать, подогревался его другом — поэтом В. А. Пястом и одним из лидеров авангардного искусства — художником и лектором Н. И. Кульбиным.

В феврале 1913 года вышел 2-й альманах «Садок судей» с коллективным манифестом и стихотворениями Маяковского «Уличное» («В шатрах истертых масок цвель где...») и «Порт» («Отплытие»). В библиотеке Блока сохранился этот сборник с дарственной надписью, но не Маяковского (как ошибочно указано В. Н. Орловым<sup>1</sup>), а издателя альманаха — художника и композитора М. В. Матюшина: его подпись под автографом прочитывается без особого труда. Этот «Садок судей» был, видимо, подарен Блоку 21 марта этого же года. В дневниковой записи от 22 марта поэт отметил состоявшуюся накануне встречу с Матюшиным, «который футуристически молодится»<sup>2</sup>.

Об обстоятельствах, при которых Блоку был вручен первый альманах «Садок судей» на «башне» Вяч. Иванова, Матюшин вспоминал в своем мемуарном очерке<sup>3</sup>. Но Маяковский в первом «Садке судей» не участвовал, так как он вышел в свет в 1910 году — до литературного дебюта поэта.

23 и 24 марта 1913 года в Петербурге состоялись публичные диспуты футуристов о современной живописи и новой поэзии. На втором диспуте (24 марта) выступил Маяковский с направленным против символистов докладом «Пришедший сам», в котором были полемические выпады и против Блока<sup>4</sup>.

25 марта Блок, видимо, уже познакомившийся со 2-м выпуском «Садка судей», сделал в дневнике важную запись, запечатлевшую дифференцированное, тщательно взвешенное его отношение к футуристам:

---

<sup>1</sup> См. Владимир Маяковский, сб. 1. М.—Л., 1940, с. 331. Эти ошибочные данные до сего времени упоминаются в исследовательской литературе.

<sup>2</sup> Блок А. Собр. соч. т. 7, с. 231.

<sup>3</sup> Литературный Ленинград, 1934, № 53, 20 октября.

<sup>4</sup> Тезисы этого доклада см.: Маяковский В. Полн. собр. соч., т. 1, с. 366.



«Эти дни — диспуты футуристов, со скандалами. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня <...> Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм <...> Футуристы прежде всего дали Игоря Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это более земное и живое, чем акмеизм <...> Звонил Пяст, рассказывал о футуристах. На вчерашней афише стояло: освобождение литературы из той грязи, в которую посадили ее Андреев, Сологуб, Блок и пр<очие>»<sup>1</sup>.

И хотя в ряду перечисленных Блоком поэтов-футуристов нет имени Маяковского (вероятно, прежде всего потому, что он к этому времени был автором всего пяти напечатанных стихотворений), но Блок, как известно по его пометам на «Пощечине общественному вкусу», читал его стихи. Отметим, что в записи Блока соотносительная ценность поэтических дарований внутри нового течения определена пронизательно и четко. Его оценка нового направления в искусстве, хотя и в интимной, «для себя», записи, была сделана, что особенно важно, в самом начале футуристического «бума», когда газетная и журнальная критика дружно и безоговорочно отрицала футуристов и поднимала на смех их всех, не пытаясь подойти к вопросу серьезно и дифференцированно.

В конце 1913 года (2 декабря) Блок присутствовал на представлении трагедии «Владимир Маяковский» — с автором в заглавной роли. Постановка этой трагедии состоялась в помещении театра «Луна-парк», где семь лет до нее с большим успехом была поставлена В. Э. Мейерхольдом драма Блока «Балаганчик». По воспоминаниям Вас. В. Гиппиуса, Блок через несколько дней после футуристического спектакля так отозвался об авторе трагедии: «Есть из них один замечательный: Маяковский». Это было неожиданно уже потому, что о футуристах принято было говорить огулом, не задумываясь над индивидуальными различиями. На вопрос, что же замечательного находит он в Маяковском, Блок ответил с обычным лаконизмом и меткостью — одним словом: «Демократизм»<sup>2</sup>.

Через несколько дней после футуристического спектакля (7 декабря) Блок присутствовал в Тенишевском училище на лекции В. А. Пяста «Поэзия вне групп.

<sup>1</sup> Блок А. Собр. соч., т. 7, с. 232.

<sup>2</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1980, с. 83.

Гороскоп новорожденным футуристам», в которой лектор провозгласил Маяковского «крупным талантом»<sup>1</sup> (хотя и с некоторыми оговорками) и отметил, что в его произведениях «красуются зародыши какой-то литературы будущего»<sup>2</sup>. На лекции Пяста присутствовали и те, о ком говорил лектор,— Маяковский, И. Северянин, О. Мандельштам, А. Ахматова<sup>3</sup>.

10 декабря в концертном зале при Шведской церкви состоялась лекция Н. И. Кульбина «Футуризм и отношение к нему современного общества и критики», после которой в диспуте приняли участие многие поэты, среди них и Маяковский. Был ли Блок на лекции Кульбина — неизвестно, но в этот же день, видимо под общим впечатлением от футуристического спектакля и лекции Пяста, он записал: «Когда я говорю со своим братом-художником, то мы оба отлично знаем, что Пушкин и Толстой — не боги. Футуристы говорят об этом с теми, для кого втайне и без того Пушкин — хам («аристократ» или «буржуа»). Вот в чем лезть и, следовательно, ложь»<sup>4</sup>. А через месяц, 9 января 1914 года, сделал к этим словам следующую приписку: «А что, если так: Пушкина научили *любить* опять *по-новому* — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а... *футуристы*. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому. В «Онегине» я это почувствовал»<sup>5</sup>.

Наконец, 23 января 1914 года Блок впервые в своих записях упомянул Маяковского: «Весть о том, что Маяковского побили в Киеве»<sup>6</sup>. Эта запись связана либо с каким-то непроверенным слухом, имевшим отношение к публичным выступлениям Маяковского, Бурлюка и Каменского во время их турне по городам России, либо к другому эпизоду... Но так как первое выступление футуристов состоялось в Киеве несколько позже — 28 января, то запись Блока могла быть запоздалой реакцией на скандал футуристов 8 декабря 1913 года в подвале «Бродячая собака», закончившийся «жестоким дракой». Как писали газеты, Маяковский оказался в числе

---

<sup>1</sup> А да м о в Е. (Е. А. Френкель). Современная поэзия.— День. СПб., 1913, 8 декабря.

<sup>2</sup> Биржевые ведомости. СПб., 1913, 8 декабря.

<sup>3</sup> Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 426.

<sup>4</sup> Б л о к А. Записные книжки, с. 198.

<sup>5</sup> Т а м ж е.

<sup>6</sup> Б л о к А. Записные книжки, с. 203.

пострадавших<sup>1</sup>. Либо запись Блока датирована ошибочно...

Летом 1912 года, когда жена поэта начала играть в труппе Териокского театра, Блок сблизился с художником и главным декоратором этого театра Н. И. Кульбиным. Инициативный и неутомимый Кульбин, пытавшийся всех вокруг себя сделать адептами художественного и поэтического авангарда, посвящал Блока во внутреннюю «кухню» этого движения и пытался сделать его своим союзником, приверженцем нового направления в искусстве.

Об этом писал сам Блок в дневнике (14 декабря 1912 г.): «Вечером пришел к нам Ник. Ив. Кульбин, принес нам цветов, очень хороших. Мы долго сидели и говорили. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень мне нужно. Он рассказал историю Давида Бурлюка; говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться. От засиживания в своем месте, на которое посажен «призванный», приходит «собачья старость». Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворянжки». Тщетно восстанавливал в моем мнении «Бродячую собаку», кой-что я принимаю, но в общем — мнение мое непоколебимо»<sup>2</sup>.

Обратим внимание, что эта настороженная по отношению к футуризму запись Блока, сделанная накануне выхода сборника «Пощечина общественному вкусу» (18 декабря 1912 г.), свидетельствует, однако, о нарастающем интересе поэта, и сделана она была за три с половиной месяца до цитированных выше его слов о диспутах, где он дал свою тщательно продуманную оценку основных представителей нового течения. Эволюция Блока от одной записи к другой весьма показательна.

1 февраля 1914 года Блок присутствовал на лекции лидера итальянских футуристов Ф. Т. Маринетти<sup>3</sup> и был, видимо, свидетелем конфликта, который произошел между Кульбиным и поэтом Хлебниковым<sup>4</sup>, пы-

<sup>1</sup> Санкт-Петербургские ведомости, 1913, № 275, 8 декабря. См. также: П а р н и с А. Е., Т и м е н и к Р. Д. Программы «Бродячей собаки». — Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985, с. 219.

<sup>2</sup> Б л о к А. Собр. соч., т. 7, с. 192.

<sup>3</sup> Б л о к А. Записные книжки, с. 205.

<sup>4</sup> Л и в ш и ц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933, с. 213.

тавшимися распространять манифест-листовку, направленную против Маринетти.

Кульбин знакомил Блока со своими соратниками. Как упоминалось выше, Блок у Кульбина познакомился с Д. Бурлюком (октябрь 1914 г.) и имел с ним продолжительную беседу о Маяковском. А жена Блока в письме к нему от 21 июня этого же года сообщает, что она познакомилась у Кульбина с А. Крученых и Б. Лившицем<sup>1</sup>. Не исключено, что личное знакомство Блока с Маяковским также могло произойти у Кульбина. Сохранилось важное свидетельство искусствоведа М. В. Бабенчикова: «Бывая в доме Кульбина, Маяковский получил возможность встречаться со многими интересными людьми — Ал. Блоком, певицей Забеллой-Врубель, композиторами, режиссерами, художниками»<sup>2</sup>. В других воспоминаниях о Блоке Бабенчиков подтверждает: «Ал. Ал. заметно влекло к новым для него лицам. Он постоянно встречался с Н. И. Кульбиным, а через него одно время соприкасался и с В. В. Маяковским»<sup>3</sup>.

В. Пяст, близко знавший Блока и Кульбина, так писал об их отношениях: «В дневниках Блока за 1913 год встречается не раз упоминание о вечерах, проведенных у него Кульбиным, и о влиянии какой-то настоящей уютности его, Кульбина, атмосферы. В силу упомянутого мною резкого различия между людьми, в силу известного также консерватизма натуры Блока (вследствие чего он с трудом допускал к общению с собой, в те по крайней мере годы, новых людей...), в силу всего этого, в устах Блока, да еще в интимной записи не для посторонних глаз, такое «признание» «кульбинской атмосферы» значило весьма много. Кульбин же, как я говорил, умел находить талант, умел нащупывать нерв, чувствовать «новый трепет» в творчестве, как никто. Он всегда был бы с самым новым, с самым молодым, с тем единственным, за чем было бы будущее. Я его любил за это бесконечно. Он открыто говорил, например, против блоковского творчества, находя его уже установавшимся, музейным»<sup>4</sup>.

Сам Кульбин сообщал в недатированном письме к В. Каменскому, относящемся, вероятно, к весне — началу лета 1914 года: «Видел А. А. Блока, он сказал:

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 165, л. 8.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 2094, оп. 1, ед. хр. 123, л. 8.

<sup>3</sup> Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 156.

<sup>4</sup> Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 281—282.

будем вместе. Часто вижу М. Кузмина, Ф. Сологуба, К. Чуковского, они нас приветствуют»<sup>1</sup>.

Об этом вспоминал и В. Каменский: «К нам потянулись такие поэты, как Брюсов, Блок, Кузмин, очевидно почувствовав в наших ритмах и образах живое и реальное преломление быстро надвигающихся грозных событий»<sup>2</sup>.

Пока, к сожалению, не удастся уточнить, когда именно Блок познакомился с Маяковским, но ясно, что с декабря 1913 года, после трагедии «Владимир Маяковский», Блок внимательно следил за его творчеством (отдельное издание трагедии, вышедшее в марте 1914 года, находилось в библиотеке поэта). К моменту разговора Блока с Бурлюком о Маяковском кроме упомянутых футуристических сборников Блок был уже знаком с первым исследованием о поэте — брошюрой А. Крученых «Стихи В. Маяковского» (издана в феврале 1914 года и указана в каталоге Блока)<sup>3</sup>. «Это лучшее, что обо мне написано», — отозвался сам Маяковский об этой брошюре<sup>4</sup>.

Об отношении Блока к футуристам в этот период В. Пяст вспоминал: «Побывав на некоторых футуродиспутах и иных, — он высказал следующее, приблизительно, мнение.

— Вот придет некто с голосом живым. Некто вроде Горького, — а может быть, он сам. Заговорит по-настоящему, во всю мочь легких своей богатырской груди, заговорит от лица народа, — и одним дыханием сметет всех вас, — как кучу бумажных корабликов, — все ваши мыслишки и слова, как ворох карточных домиков»<sup>5</sup>.

В этих словах Блока, зафиксированных Пястом, безусловно, слышится и его впечатление от появления такого необычайного явления в искусстве, как Маяковский.

О большом интересе Блока к Маяковскому в ту пору сохранились свидетельства современников. Тот же Пяст писал в 1923 году: «Очень им ценились за талант Кузмин, Игорь Северянин, Бальмонт; затем Маяковский, Ахматова и некоторые (немногие) из молодежи»<sup>6</sup>. «Возражая многим и многим, Блок, — по воспо-

<sup>1</sup> Каменский В. Путь энтузиаста. Пермь, 1968, с. 153.

<sup>2</sup> Каменский В. Жизнь с Маяковским. М., 1940, с. 143.

<sup>3</sup> О других футуристических книгах, находившихся в библиотеке Блока, см. каталог. — ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388.

<sup>4</sup> Встречи с прошлым, вып. 3. М., 1978, с. 294.

<sup>5</sup> Пяст В. Встречи, с. 281.

<sup>6</sup> Пяст В. Воспоминания о Блоке. П., 1923, с. 183.

минаниям В. Зоргенфрея,— отстаивал за Маяковским право громадного таланта»<sup>1</sup>. Актриса В. П. Веригина также свидетельствует в своих мемуарах, написанных в 1930-х годах: «Я спрашивала мнение А. Блока о стихах Хлебникова и Маяковского. Александр Александрович находил их талантливыми»<sup>2</sup>. О том, что Блок «восторженно принимал» Маяковского, вспоминал и поэт В. Нарбут<sup>3</sup>.

В предсмертной статье «Без божества, без вдохновения» (1921), вспоминая о футуристических скандалах предвоенного времени, Блок отмечал, «как откликнулись (...) на голос автора нескольких грубых и сильных стихотворений, независимо от битья графинов о головы публики, от желтой кофты, ругани и футуризма», и продолжал: «русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие «прозорливые» и очень умные люди не догадывались»<sup>4</sup>. Под «автором нескольких грубых и сильных стихотворений» Блок, несомненно, имел в виду Маяковского.

24 мая 1914 года Блок написал стихотворение «Жизнь проходила как всегда» (из цикла «Жизнь моего приятеля») — единственное, где у него появляется мотив, связанный с футуризмом<sup>5</sup>. Почти через год — в марте 1915-го — он опубликовал его, как отмечалось, в сборнике «Стрелец» (№ 1), ставшем знаменательным событием. В 1914—1915 годах, когда Блок создал и напечатал это стихотворение, книги Хлебникова и Маяковского уже были заметным литературным явлением, и сам автор стихотворения, вероятно, был свидетелем или участником описанного им в иронических тонах эпизода:

Хлебников и Маяковский  
Набавили цену на книги  
(Так что прикащик у Вольфа  
Не мог их продавать без улыбки).

<sup>1</sup> Зоргенфрей В. А. А. А. Блок.— В кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 33.

<sup>2</sup> Веригина В. П. Воспоминания. М., 1974, с. 203.

<sup>3</sup> Нарбут В. О Блоке. Ключки воспоминаний.— Календарь искусств. Харьков, 1923, № 2, 5 января.

<sup>4</sup> Блок А. Собр. соч., т. 6, с. 180—181.

<sup>5</sup> Вас. В. Гиппиус вспоминает, что Блок читал ему это стихотворение весной 1914 г.— В. кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 85.

Ухмылка «прикащика у Вольфа»<sup>1</sup>, надо думать, относилась к самому автору — в личной библиотеке Блока, как было отмечено, имелись многие футуристические издания, в том числе и книги названных поэтов.

Но, пожалуй, непосредственным источником этой темы является следующий примечательный факт. В мае 1913 года популярный журнал «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии» опубликовал результаты читательского опроса. На анкету, поставившую проблему — существует ли интерес к новой русской поэзии — и состоящую из 10 вопросов, ответили 3429 читателей. Большинство голосов (2361) первым поэтом был признан К. Д. Бальмонт. Александр Блок удостоился всего 429 голосов и занял одиннадцатое место, лишь на 2 голоса «опередив» некую поэтессу Веру Рудич (427 голосов), ныне совсем забытую и неизвестную даже специалистам. Между тем поэты-футуристы «Хлебников, Бурлюк, Лившиц, Маяковский и тому подобные, как сказано в обзоре, получили лишь по 3—5 голосов»<sup>2</sup>.

Через несколько дней в «Биржевых ведомостях» появился издевательский фельетон о футуристах, в котором газетный репортер обильно цитировал Маяковского и Хлебникова, не называя их имен. Он также упоминал анкету, разосланную «Известиями», и демонстративно, пренебрегая результатом опроса, заявил, что футуристы не получили ни одного «голоса» и утверждал, что читатели покупают их скупо»<sup>3</sup>.

Между тем экспансия футуристов в 1913—1914 годах захватывала все новые и новые плацдармы и расширяла свою читательскую аудиторию. Поэтому Блок через год в своем стихотворении, с характерной для него проницательностью и вопреки утверждениям таких репортеров и недалёковидных критиков, писал не только о том, что Хлебников и Маяковский «подбавили цену на книги», но и поместил в «Стрельце» это свое стихотворение рядом со стихами самого Хлебникова и Маяковского.

---

<sup>1</sup> См., например, в его письме к Л. Д. Блок от 13 октября 1914 г.: «Сегодня, покупая у Вольфа книги...» — Литературное наследство, т. 89. М., 1978, с. 333.

<sup>2</sup> Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. СПб.— М., 1913, № 5, с. 135.

<sup>3</sup> Анчар [В. Ф. Боцяновский]. Дребедень.— Биржевые ведомости, 1913, 5 июня.

Маяковский напечатал в «Стрельце» отрывки из поэмы «Облако в штанах», и его соседство в сборнике с автором «Стихов о Прекрасной Даме» было воспринято критикой крайне недоуменно. Более того, газетный рецензент даже принял «моего приятеля» из стихотворения Блока за футуриста, которому посвящено все стихотворение<sup>1</sup>. Другой рецензент пытался убедить читателей, что объединение символистов и футуристов в «Стрельце» — «чисто механическое» и поэты участвуют в сборнике каждый «сам по себе»<sup>2</sup>. Однако выход «Стрельца», оживленная полемика вокруг него и ставшие знаменитыми слова Горького, произнесенные во время обсуждения альманаха в «Бродячей собаке»: «В них что-то есть!» — были своего рода литературным признанием футуристов.

В марте 1916 года в петербургском журнале «Рудин» (№ 7) была сделана одна из первых попыток сравнить поэзию Блока с молодыми представителями нового направления в литературе. Автором статьи «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому», напечатанной под псевдонимом «Л. Храповицкий», была Лариса Рейснер. В статье, в основном посвященной Северянину и Маяковскому (обильно цитировалось «Облако в штанах»), дана лишь краткая обобщенная характеристика блоковской поэзии. Но сам Блок, как он отметил в дневнике, познакомился с этой статьей лишь в 1920 году<sup>3</sup>.

Итак, суммируя все приведенные здесь факты, становится очевидным, что ко дню визита Маяковского, состоявшегося, по всей видимости, 30 октября 1916 года, Блок, безусловно, был знаком со многими текстами Маяковского из упомянутых сборников и, конечно же, с его поэмой «Облако в штанах», которую единомышленник и друг Маяковского Велимир Хлебников назвал «неслыханной вещью»<sup>4</sup>.

В библиотеке Блока сохранились отдельные издания поэм Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник» с его автографами. На «Облаке в штанах» надпись: «А. Блоку В. Маяковский расписка — все-

<sup>1</sup> Современный мир, 1915, № 3, с. 168 (паг. 1-я).

<sup>2</sup> Речь, 1915, № 64, 4 марта.

<sup>3</sup> Блок А. Собр. соч., т. 7, с. 412—413.

<sup>4</sup> Хлебников В. Собр. произведений, т. 5. Л., 1933, с. 214.



гдашней любви к его слову»<sup>1</sup>, а на «Флейте-позвоночнике» — сдержанная и лаконичная надпись: «Александрю Александровичу Блоку В. Маяковский».

Обе надписи сделаны черной тушью, содержание автографов, их соотношение между собой (один как бы дополняет другой), сходный характер почерка и равномерная сила нажима позволяют предположить, что обе книги были надписаны и подарены о д н о в р е м е н н о. Кроме того, тексты надписей Маяковского и содержание надписи Блока явно корреспондируют между собой и представляют, условно говоря, диалог. Поэтому не исключено, что указанные книги (напомним, что обе поэмы посвящены Л. Ю. Брик) Маяковский подарил Блоку во время описанного выше визита к нему, тем более что визит Маяковского и его цель — получение книг (или книги) с автографом по просьбе Л. Ю. Брик, — несомненно, предполагали предваряющие (или ответные) книжные дарения и со стороны Маяковского.

Косвенным подтверждением того, что книги были подарены одновременно, при личной встрече, служат еще два обстоятельства. Если бы Маяковский прислал книги по почте, то Блок, отвечающий с характерной для него пунктуальностью на все письма, зафиксировал бы этот факт в своих записях и письменно поблагодарил бы Маяковского. Но таких записей или письма не сохранилось. Другое: именно в октябре 1916 года вышел первый «настоящий» сборник Маяковского «Простое как мычание», в который вошли почти все его написанные к тому времени стихи. Но он дарит Блоку не этот сборник (в библиотеке Блока и впоследствии его не было), а две отдельно изданные поэмы, посвященные Л. Ю. Брик.

На полях большинства страниц отдельного издания «Облака» (подаренного Маяковским) есть маргиналии Блока, свидетельствующие о внимательном прочтении поэмы<sup>2</sup>. Интересно было бы обнаружить в блоков-

---

<sup>1</sup> Интересно, что этот же оборот — «всегдашней любовью» — Маяковский повторил в 1922 г. в автобиографии, говоря о своем отношении к Д. Бурлюку (т. 1, с. 20).

<sup>2</sup> Маргиналии Блока на «Облаке в штанах» любезно сообщены нам О. В. Миллер, которой приносим глубокую благодарность. На «Флейте-позвоночнике» помет Блока нет. В настоящее время изданы три книги «Библиотека А. А. Блока. Описание» (Л., 1984—1986), во 2-й книге отмечены маргиналии Блока на «Облаке в штанах» Маяковского (с. 148).

ских пометах какую-то последовательность, сквозную мысль, систему, но эта работа требует специальных исследований. Поэтому просто отметим то, что в этих отчеркиваниях сразу кидается в глаза. Во-первых, отчеркнуты Блоком все строки поэмы, группирующиеся вокруг слов «сердце» и «душа»,— Блок словно бы отмечает, с какой смелостью Маяковский обновляет контекстом эти «истрепанные, как пословица», поэтизмы, и присматривается к самохарактеристикам внутреннего мира поэта. «Романтическая», любовная линия поэмы, судя по отчеркиваниям, не вызывает внимания Блока. Напротив, отчеркнуто все, что касается задач и мук творчества — той цены, которую поэт платит за свое слово. Другими словами, все отчеркивания Блока относятся, собственно, к Маяковскому-поэту.

У Блока было основание и право сделать именно в 1916 году посвятельную надпись: «Владимиру Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю...»

---

---

## Ф. А. Петров

### Л. Н. ТОЛСТОЙ И ОЛСУФЬЕВЫ

Среди многочисленных знакомых Л. Н. Толстого были представители старинного русского дворянского рода Олсуфьевых.

Как известно, соседями Толстых по дому в Хамовниках были Олсуфьевы — Василий Александрович (1831—1883) и его жена Александра Григорьевна. Две дочери Олсуфьевых дружили с Татьяной Львовной Толстой, бывая часто в их доме, а Лев Николаевич не раз посещал обширный олсуфьевский сад, для чего в старом заборе существовала небольшая калитка, соединявшая обе усадьбы<sup>1</sup>.

Двоюродными братьями Василия Александровича были Алексей, Адам и Александр Олсуфьевы — сыновья обер-гофмейстера графа Василия Дмитриевича Олсуфьева (1796—1858). В воспоминаниях Сергея Львовича Толстого рассказывается о встрече в период Севастопольской обороны 1854—1855 годов его отца с Алексеем Васильевичем Олсуфьевым (1831—1915) — тогда штабным офицером, а впоследствии генералом от кавалерии<sup>2</sup>. Хорошо знал Лев Николаевич и Александра Васильевича Олсуфьева (1843—1907) — генерал-лейтенанта, помощника начальника императорской квартиры, к которому он неоднократно обращался за посредничеством в делах, требовавших разрешения в высших инстанциях<sup>3</sup>. Так, в 1897 году Толстой трижды

писал Александру Олсуфьеву, обращаясь через него с ходатайством к Николаю II о возвращении молоканам Самарской губернии отобранных у них детей<sup>4</sup>, в 1903 году ходатайствовал за крестьянина Агеева<sup>5</sup>, в 1905-м — за Евтихия Гончара<sup>6</sup>. Александр Олсуфьев выведен в романе «Воскресение» в образе флигель-адъютанта Богатырева.

Но особенно близок был Лев Николаевич Толстой с семейством графа Адама Васильевича Олсуфьева (1833—1901), отставного свитского генерала. Сыновья Адама Васильевича — Михаил (1860—1918), земский деятель Московской губернии, дмитровский уездный предводитель дворянства, и Дмитрий (1862—1938), земский деятель Саратовской губернии, камышинский уездный предводитель дворянства, член Государственного совета, камергер — были товарищами по университету С. Л. Толстого, а дочь Елизавета Адамовна (1857—1898) — подругой Татьяны Львовны Толстой. После смерти Александра Васильевича Олсуфьева Л. Н. Толстой обращался к его племяннику Дмитрию Адамовичу, близкому знакомому всеильного «премьера» П. А. Столыпина, с ходатайством за разных лиц, которым угрожала административная высылка, тюремное заключение или даже смертная казнь. Так, например, 8 ноября 1907-го и 22 июня 1908 года Толстой написал письма Д. А. Олсуфьеву с просьбой содействовать освобождению своего секретаря Н. Н. Гусева (впоследствии известный литературовед и биограф Толстого), высланного за распространение его сочинений в Пермскую губернию; в 1907 и 1909 годах дважды обратился к Д. А. Олсуфьеву с просьбой «спасти молодую жизнь» ученика 6-го класса реального училища Г. А. Ветвинова, которому угрожала смертная казнь; 26 сентября 1907 года ходатайствовал за высланного из Саратовской губернии народного учителя В. А. Хорькина, 16 ноября 1908 года — за крестьянина Лисицына; в 1907—1910 годах обратился с просьбой содействовать освобождению Н. Е. Фельтена и В. А. Молочникова, привлеченных к ответственности за хранение и распространение запрещенных произведений Толстого, и за высланного народного учителя С. И. Звягинцева<sup>7</sup>. При этом Л. Н. Толстой не скрывал своих идейных разногласий с Д. А. Олсуфьевым. «Два раза спорил с Дм(итрием) Ад(амовичем), — записал Л. Н. Толстой в своем дневнике от 4 января 1895 года. — Он пристроил себе практическое в славяно-

фильск(ом) духе служение народу, т. е. пуховик, на к(отором) лежать, не работать. Все дело в том, что они признают жизнь неподвижную, а не текущую»<sup>8</sup>.

Лев Николаевич неоднократно бывал вместе с дочерью Татьяной в подмосковном имении Олсуфьевых Никольское-Обольяново Дмитровского уезда (ныне село Подъячево близ г. Солнечногорск)<sup>9</sup> — с 1 по 18 декабря 1885, с 3 по 13 января 1887, с 1 по 18 января и с 19 по 31 мая 1895, с 21 февраля по 9 марта 1896, с 31 января по 3 марта 1897 года<sup>10</sup>. Там он работал над созданием ряда художественных произведений, в том числе над романом «Воскресение», закончил рассказ «Хозяин и работник»; в свою очередь, семья Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых не раз бывала в Ясной Поляне.

Семья Олсуфьевых была симпатична Толстому. «...очень, очень милое, честное все семейство, — писал он С. А. Толстой 23 декабря 1885 г. — <...> Роскошь жизни их очень большая и, очевидно, тяготит, давит их — и им скучно, и у них скорее скучно. Выкупается все нравственной чистотой и честностью, к(оторая) чувствуется во всех»<sup>11</sup>. А вот что Толстой написал об Олсуфьевых В. Г. Черткову 7 марта 1896 года: «Они такие простые, очень добрые люди, что различие их взглядов с моими, и не различие, а непризнание того, чем я живу, не тревожит меня. Я знаю, что они не могут, а что они желают быть добрыми, и в этом направлении дошли, докуда могли»<sup>12</sup>.

В дружеских отношениях с Л. Н. Толстым находилась А. М. Олсуфьева (1835—1899). Так, в записке Черткову от 7 июня 1899 года Толстой сообщал: «Мне горе: умерла Анна Михайловна Олсуфьева». До недавнего времени было известно три письма Л. Н. Толстого А. М. Олсуфьевой — от 23 декабря 1894 года и от 16 января 1896 года, в которых Толстой благодарит за приглашение приехать в Никольское-Обольяново, и письмо Ад. В. и А. М. Олсуфьевым от 28 февраля 1898 года, в котором он выражает соболезнование по поводу смерти их дочери Елизаветы<sup>13</sup>. В 1978 году в Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого поступили автографы 17 писем Толстого к Олсуфьевым (до сих пор большая часть писем публиковалась по копиям), из них три ранее неизвестных письма, адресованных А. М. Олсуфьевой. Эти письма были опубликованы в «Яснополянском сборнике» за 1978 год<sup>14</sup>.

Наибольший интерес представляет письмо Л. Н. Толстого от 23 января 1895 года. В этом письме отразилась реакция Толстого на пресловутую речь Николая II 17 января 1895 года, в которой царь назвал «бесмысленными мечтаниями» возлагавшиеся на него либералами надежды на реформы в связи с восшествием на престол. Как известно, эта речь произвела резко отрицательное впечатление на Л. Н. Толстого, что отразилось в его неоконченной статье «Бесмысленные мечтания»<sup>15</sup>. В этой статье, осуждая трусливое поведение либеральной общественности, которая «проглотила оскорбление», Толстой сосредоточивает главный удар на критике политики Николая II — «молодого царя, ничего не понимающего ни в управлении, ни в жизни». Толстому явно не удалось, как он писал А. М. Олсуфьевой, «негодование заменить состраданием». В статье он выступает, говоря ленинскими словами, как «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик»<sup>16</sup>, беспощадно развенчивающий царское самодержавие:

«...существует огромное государство с населением свыше 100 млн. людей, и это государство управляемо одним человеком. И человек этот назначается случайно». Государство «управляется и неограниченно, такими сыновьями и внучатыми племянниками не только не хороших правителей, но на деле показывающих свою неспособность к управлению людей»<sup>17</sup>.

В двух других письмах, относящихся к началу июня и к концу июля 1895 года, Л. Н. Толстой Называет Олсуфьевых «людьми, родственными ему по духу», и приглашает приехать в Ясную Поляну<sup>18</sup>.

В августе 1895 года Адам Васильевич и Анна Михайловна воспользовались приглашением. Полагаю, что несомненный интерес представляет письмо Анны Михайловны к сыну Дмитрию из Ясной Поляны от 24 августа, которое хранится в составе личного архивного фонда Олсуфьевых в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея.

В этом письме описывается чтение Л. Н. Толстым глав романа «Воскресение» в присутствии Олсуфьевых, ближайшего друга Толстого В. Г. Черткова, выдающегося русского музыканта и композитора С. И. Танеева, литературного критика Н. Н. Страхова и др. «Толстой, — пишет А. М. Олсуфьева, — читал нам свою новую по-

весть (длинную), он ее не кончил и не обработал еще, прочел же ее, чтобы услышать мнение от Страхова и видеть впечатление, которое она произведет на меня. Начало ее — сама прелесть, сама поэзия, с середины начинаются опять старые прения против судов, выступает теория Непгу George<sup>19</sup>, и выходит что-то невозможное. Для повести социальные вопросы занимают слишком много места, а для социального трактата эти вопросы разбираются слишком поверхностно. Вообрази себе, одна я решилась высказать Льву Николаевичу свои мысли и чувства по поводу его нового сочинения <...> мне казалось, что покривить душой перед ним было бы с моей стороны преступлением после всех его теплых, сердечных писем ко мне. Страхов даже, пожившись долго, поддержал меня и процедил сквозь зубы, что вообще разделяет мое мнение. Толстой поставил такой вопрос: что, если бы мы сами были авторами, что бы мы желали написать: «Рай» Мильтона или «Хижину дяди Тома», я ответила — «Рай» Мильтона, потому что он не исключает «Хижину дяди Тома», когда она уместна <...> Я пишу для всех, а не для избранных, говорит Толстой; я же в ответе подумала, что заслуга автора уже велика, если он своими творениями увеличит число избранных»<sup>20</sup>.

В этой оценке романа сказались то «различие взглядов» Л. Н. Толстого и Олсуфьевых, то «непризнание» того, чем он живет, о котором говорил сам писатель. Вместе с тем, письмо А. М. Олсуфьевой, думается, представляет определенный интерес как свидетельство современника великого русского писателя, к тому же близко с ним знакомого.

Оставалось неизвестным вплоть до настоящего времени и хранящееся в том же фонде ОПИ ГИМ письмо Т. Л. Толстой Д. А. Олсуфьеву от 24 февраля 1896 года, написанное во время пребывания Татьяны Львовны вместе с Львом Николаевичем в Никольском-Оболянове.

«...Пишу вам из Никольского, куда папа и я приехали три дня тому назад. Мне здесь очень близко, уютно и хорошо. Таких семей мало на свете, и я всю жизнь буду держаться этой дружбы и дорожить ею. Мы с Лизой делаем планы ехать весной на Кавказ, может быть с заездом в Нижний и Саратов. С нами поедет мой брат Миша. Но это еще воздушные замки.

До свидания.

Если напишете мне, то уже в Москву, мы здесь про-  
будем до 5 или 7 марта.

Желаю вам всего хорошего. Когда увидим вас?

24 февр. 96.

Толстая  
Обольяново»<sup>21</sup>.

Через два года Лиза Олсуфьева скоропостижно скончалась. Сохранилось трогательное письмо Софьи Андреевны Толстой Анне Михайловне и Адаму Васильевичу Олсуфьеву с выражением соболезнования по поводу безвременной смерти их дочери. Это письмо, проникнутое глубоким, искренним чувством, как бы дополняет упомянутое выше письмо Л. Н. Толстого от 28 февраля 1898 года:

«Милые и сердечно уважаемые Анна Михайловна и Адам Васильевич.

Не собралась до сих пор с силами написать вам, все плачу и плачу о том горе, которое всех нас так неожиданно поразило. Мы с Львом Николаевичем всякую минуту нашей жизни душой живем с вами и стремимся к вам, но боимся стеснить. Вчера собрались родные и друзья молиться о дорогой и любимой всеми покойнице, а я просила ее чистую, светлую душу молиться о нас, грешных. Никого не знала я лучше Лизы во всей своей жизни, разве еще своего маленького Ванечку. Такой настоящей, верной, участливой доброты, без лишних слов,— я ни у кого не встречала. Когда она бывала у нас, или когда судьба мне посылала счастье жить с ней в Никольском, какую-то тихую радость, примирение и веру во все хорошее вызывало в моем сердце ее милое присутствие.

Вы поверите, милая Анна Михайловна, моим материнским страданиям за вас. Я не могу утешать вас, я слишком сама огорчена, и потому так плохо пишу и совсем не умею выразить, что чувствую.

Все вижу перед собою милую, так горячо всеми нами любимую Лизу, как она была у нас, и я, обняв ее уже в шубе, говорю ей, что не могу с ней никак расстаться, а она своим добрым, ласковым голосом говорила мне: «приезжайте к нам». И теперь я приеду только поклониться ее могиле, и только одним стараюсь утешаться и усиленно вызываю в себе веру в то, что ее любящая душа будет продолжать любить нас и вне этого мира и на мою долю выпадет частица ее нежности и из-за загробной жизни.



Обнимаю вас горячо и нежно, простите за письмо, которое вызвано моим глубоким горем и горячим сочувствием. Молю Бога о том, чтобы нам никому не возроптать и смириться и уверовать в несомненное добро Божьей Воли.

*С. Толстая*

3 марта 1898 г.»<sup>22</sup>.

Помимо этих писем жены и дочери Л. Н. Толстого в фонде Олсуфьевых сохранились и копии вышеупомянутых писем Толстого Анне Михайловне Олсуфьевой (от 23 декабря 1894, 23 января и 4 июня 1895), сделанные рукой Д. А. Олсуфьева<sup>23</sup>. Хранится здесь же и машинописная копия воззвания «Помогите!», написанного П. И. Бирюковым, И. М. Трегубовым и В. Г. Чертковым, с послесловием Л. Н. Толстого. Как указывается в комментариях к Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого, это воззвание с послесловием Толстого в машинописных копиях «получило широкое распространение»<sup>24</sup>. Это — еще одно доказательство интереса к Л. Н. Толстому в семье Олсуфьевых.

Как нам представляется, материалы из собрания Отдела письменных источников Государственного Исторического музея в сочетании с имеющимися публикациями переписки Толстого с Олсуфьевыми вносят дополнительные, интересные сведения о жизни Л. Н. Толстого и его семьи в конце XIX века.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Булгаков В. Н. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Путеводитель. М.—Л., 1928, с. 30. В примечаниях С. А. Толстой к изданию «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 гг.» говорится: «Олсуфьевы, не графы, были наши соседи, когда мы купили дом» (Указ. соч. М., 1913, с. 177).

<sup>2</sup> Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 111.

<sup>3</sup> В 1897 г., во время приезда в Петербург, Л. Н. Толстой останавливался в доме Александра Васильевича Олсуфьева на Фонтанке, № 11 (см.: Кузьмина Л. За други своя.— Нева, 1985, № 8, с. 184).

<sup>4</sup> См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 70, с. 76—77, 83—84, 141—142. Письмо было передано царю лично Олсуфьевым, но ответа не последовало. И только после визита Т. Л. Толстой к обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву дети были возвращены

(см.: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 278).

<sup>5</sup> В результате доклада Олсуфьева Николай II сделал распоряжение о помиловании Агеева (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 74, с. 103—104).

<sup>6</sup> См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 76, с. 31.

<sup>7</sup> См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 77, с. 206—207, 238—239, 244, 263—264, 270, 279, 329—330; т. 78, с. 168—169; т. 80, с. 184; т. 81, с. 38, 141—148, 259—260; т. 82, с. 130.

<sup>8</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 53, с. 3.

<sup>9</sup> Родовое имение А. М. Олсуфьевой, урожденной Оболяниновой (внучка всесильного обер-прокурора Павла I П. Х. Оболянинова).

<sup>10</sup> См.: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910. М., 1960, с. 162—163, 179, 204, 228—233. О пребывании Толстого в имении Олсуфьевых написано в заметке Т. Старобинской «Толстой в Никольском» (Известия, 1983, № 23 (20369), 23 января).

<sup>11</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 83, с. 554.

<sup>12</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 87, с. 358. В дневнике за 1 марта 1897 г. Л. Н. Толстой записал: «Думал об Ад(аме) Вас(ильевиче), как типе для драмы — добродушном, чистом, балованном, любящем наслаждения, но хорошем и не могущем вместить радикальные нравственные требования» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 53, с. 142).

<sup>13</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 67, с. 291; т. 69, с. 24; т. 71, с. 297—298. Известно, что Толстой очень тепло отзывался о Е. А. Олсуфьевой. «Это прелестное было существо, — писал он Черткову 8 марта 1898 г., — веселое, скромное, простое, доброе. Заразилась скарлатиной и в три дня умерла» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 88, с. 82).

<sup>14</sup> «Яснополянский сборник» за 1978 г. Тула, 1978, с. 64—68.

<sup>15</sup> 12 марта 1895 г. Л. Н. Толстой сообщил своему последователю кн. Д. А. Хилкову, что собирался «написать письмо Николаю по поводу его речи земствам, но почувствовал, что руководило мною не доброе чувство, а, с одной стороны, раздражение, а с другой, желание вызвать на гонение, и оставил». Статья осталась недоделанной и при жизни Толстого в печати не появлялась. Впервые она была опубликована В. Г. Чертковым в газете «Утро России» 1 и 3 июня 1917 г.; в том же году вышла в свет отдельной брошюрой (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 31, с. 307—308).

<sup>16</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

<sup>17</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 31, с. 188—189.

<sup>18</sup> Яснополянский сборник, с. 64—66.

<sup>19</sup> Джордж Генри (1839—1897), американский публицист, экономист и общественный деятель, автор работы «Прогресс и бедность».

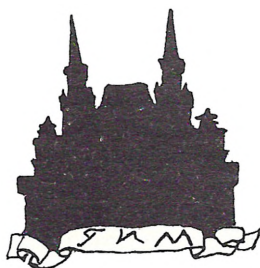
<sup>20</sup> ОПИ ГИМ, ф. 164, ед. хр. 56, л. 96—98.

<sup>21</sup> ОПИ ГИМ, ф. 164, ед. хр. 60, л. 2—3.

<sup>22</sup> ОПИ ГИМ, ф. 164, ед. хр. 60, л. 4—5.

<sup>23</sup> ОПИ ГИМ, ф. 164, ед. хр. 60, л. 1.

<sup>24</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., с. 191—196. Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — друг Л. Н. Толстого, автор четырехтомной его биографии. Трегубов Иван Михайлович (1858—1931) — последователь Л. Н. Толстого. См.: ОПИ ГИМ, ф. 164, ед. хр. 60, л. 7—14.



---

---

**ПИСЬМА АНДРЕЯ БЕЛОГО**  
**К С. Д. и С. Г. СПАСКИМ**

В конце двадцатых и начале тридцатых годов Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) очень много писал и всеми силами старался казаться не «непризнанным братом, отщепенцем в народной семье» (как точно определил это его младший современник О. Э. Мандельштам), а плотью от плоти становящейся советской литературы. Сделать это ему было весьма нелегко, как и другим писателям его круга и его интересов.

Один за другим арестовываются люди его круга, близкие знакомые, даже жена. О символизме говорят в лучшем случае настороженно, а по большей части — с прямым осуждением. Тот путь исканий, которым в середине двадцатых годов еще можно было гордиться и который можно было описывать как движение, объединенное одной целью, теперь становился все более и более опасной уликой. Вся ситуация, в которой оказался Белый, становилась противоестественной, и для того, чтобы попытаться слить свой голос с голосами других писателей, искренне уверенных в том, что советская литература переживает расцвет, Белому надо было убедить себя в том же самом.

Творчество Андрея Белого этого времени — тема совершенно особая, требующая многочисленных разработок, немалое место в которых должны занять разыс-

---

Издательство готовит к публикации «Воспоминания» Андрея Белого в 3-х томах.



Андрей Белый. Фотография 30-х годов

кания, касающиеся его взаимоотношений с различными изданиями и издательствами. Отчасти эта тема приоткрывается в публикуемых письмах к поэту и прозаику Сергею Дмитриевичу Спасскому (1898—1956) и его жене Софье Гитмановне (урожд. Каплун; 1901—1962). Спасский был тесно связан с «Издательством писателей в Ленинграде» — одним из последних кооперативных издательств, — и потому с ним Белый предпочитал вести переговоры относительно издания своих книг.

Однако отношения их имеют под собой гораздо более глубокую почву, и для верного понимания писем следует рассказать о том типе взаимоотношений, который связывал Белого с этой семьей.

Белый и Спасский познакомились в апреле 1918 года в Москве<sup>1</sup>. Но, по всей видимости, тогда это знакомство не переросло в сколько-нибудь близкие отношения, хотя в архиве Белого и сохранилось письмо Спасского, которое, очевидно, можно датировать 1920 годом:

---

<sup>1</sup> Летопись жизни и творчества Белого, составленная К. Н. Бугаевой. — ГПБ, ф. 160, ед. хр. 107.

«Если все меняет свой лик, если чувствуешь, как вздрагивает земля под ногами, если каждое сегодня — только шаткий мост над огнедышащей бездной,— то не к прозрачным ли внереальным вершинам должна стремиться душа современника, чтобы там обретать смыслы и цели и ждать и готовиться к решению последней судьбы. И кто может видеть, кто может осознавать, пусть неустанно и зорко вглядывается в провалы между обычными словами, делами и днями, чтобы постигнуть подлинный и Единый Лик, открывающийся за смятыми нашим временем покровами.

И оттого, что могу говорить и строить,— строю и говорю, нащупывая возможность выразить и объяснить пока еще самому неясные и не открывшиеся слова.

Во имя Ваших исканий, во имя Ваших прозрений хочется подойти к Вам не только как к мастеру формы, но и как к знающему и достигающему, подойти и просто передать Вам свое, веря, что Вы поймете это больше, чем кто-либо другой.

Шлю первую часть задуманной мной небольшой трилогии в стихах<sup>1</sup>, просто потому, что приятно знать, что она в Ваших руках.

Шлю извинения за то, что отнимаю у Вас время, хотя мой шаг строится исключительно на глубоком доверии к Вам как к поэту и на искренней симпатии, которая родилась во мне при наших случайных встречах.

Уважающий Вас

*Сергей Спасский»*

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 275).

Примерно в те же годы Н. А. Павлович, жившая, как и Спасский, в Самаре, передавала Белому привет от младшего поэта (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 236). Но все же, по всей вероятности, в те годы Спасский был для Белого лишь одним из многих и многих молодых людей, окружавших его и стремившихся соотнести свое творчество с его художественными устремлениями.

Гораздо более дружеские отношения связывали Белого с С. Г. Каплун. Она была членом семьи, не только симпатизировавшей Белому, но и покровительствовавшей по мере сил ему, заботившейся о нем в те нелегкие для существования годы. Ее брат Борис Гитманович,

---

<sup>1</sup> С п а с с к и й Сергей. Рупор над миром. Пенза, 1920.

управляющий управления делами Петроградского Совета рабочих депутатов, брал на себя многие материальные заботы Белого<sup>1</sup>, ее сестра Клара Гитмановна была начальницей Белого по службе в библиотеке Наркомата иностранных дел, где тот работал в 1921 году. Среди тех, с кем Белый «чаще всего виделся» в марте — августе 1921 года в Петрограде, он называет С. Г. и К. Г. Каплун<sup>2</sup>.

Свидетельством этих связей являются дарственные надписи Белого на книгах, хранящихся ныне в собрании В. С. Спасской: «Дорогой Соне Каплун в знак искренней любви и симпатии от автора. 30 августа 21 года» (на книге «На перевале. III. Кризис культуры». Пб., 1918) и «Дорогой Соне Каплун с любовью, благодарностью и с надеждой на будущие свидания. С братским чувством. Андрей Белый. 10 октября 21 года» (на книге «Первое свидание». Пб., 1921).

Оказавшись в Берлине, Белый попал под дружескую опеку Соломона Гитмановича Каплуна-Сумского, владельца издательства «Эпоха», выпустившего ряд его книг.

После возвращения в СССР Белый читал немногим слушателям в январе — феврале 1924 года три лекции «Александр Блок в проблеме «Пути»<sup>3</sup>. По всей видимости, С. Д. Спасский был в числе этих немногих слушателей.

В списке прочитанных лекций Белый помечает под номерами 887—889 три чтения из книги «История становления <самосознающей души>» в мае—июне 1926 года у С. Г. Спасской (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 96). Тогда же он участвовал в прениях по докладу известного своей близкой дружбой с Блоком Евгения Павловича Иванова «Об Евангелии Иоанна», также состоявшемся на квартире у Спасских.

---

<sup>1</sup> Об их взаимоотношениях свидетельствует инскрипт Белого: «Глубокоуважаемому и дорогому Борису Гитмановичу Каплуну с любовью, Андрей Белый. Берлин 22 июня 22 года» (на книге «Стихи о России». Берлин, 1922; собрание В. С. Спасской).

<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 98. л. 5 об.

<sup>3</sup> ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 96; ср. позднейшую запись в «Материалах для биографии»: «Читаю небол(ьшому) кружку любителей Блока 3 лекции об образных мифах у Блока» (там же, ед. хр. 98). Несколько позже Белый надписывает Спасскому «Первое свидание»: «Дорогому Сергею Дмитриевичу Спасскому с искренней любовью. Андрей Белый. 25 года. 1 января» (собрание В. С. Спасской).

Таким образом, с этой семьей Белого связывали достаточно давние, хотя и прерывавшиеся на время отношения. В центре дружеских связей, бесспорно, стояли духовные проблемы, решавшиеся сходным образом. С. Г. Спасская-Каплун была деятельной участницей встреч в Вольфиле (Вольной философской ассоциации), испытывала сильное влияние антропософии, остававшейся для Белого до конца жизни важнейшей областью жизненных устремлений. С глубокой заинтересованностью пишет об антропософии и С. Д. Спасский в большом письме к Белому от 15 октября 1928 года. Оно было написано после чтения рукописи книги «Почему я стал символистом и почему я не переставал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития». Многие вопросы, обсуждавшиеся в этом письме, вряд ли могут представить интерес для сегодняшнего читателя, но в то же самое время оно дает отчетливое представление о круге интересов, являвшихся общими для обоих поэтов, поэтому приведем несколько отрывков из этого письма: «В 20-м году я сидел в Самаре и работал над докладом о Вашем творчестве. Меня занимал в тот момент не столько Ваш художественный путь, с которым я издавна инстинктивно сжился, но и рост и развитие Вашего мировоззрения. Я чувствовал, что из приближения к пониманию Вашей мировоззрительной установки может возникнуть и понимание «Петербурга», «Котика Летаева», стихов и симфоний. Передо мной лежал «Символизм», «Кризисы» и только что вышедший первый номер «Записок Мечтателей» (...)

Для меня, не подготовленного философски, путающегося в терминологии, «Эмблематика»<sup>1</sup> предстала «гранитом науки», который надлежало грызть, рискуя сломать себе зубы. Разумеется, я не разгрыз ее в полной мере. Вряд ли разгрыз бы я ее целиком и теперь. Но, помню, переход от «Эмблематики» к «Кризисам» и даже к «Запискам чудака» показался мне совершенно естественным. Я чувствовал, что везде речь идет об одном. В существе Белый никогда не менялся, — вот основной тезис моего маленького докладика (...)

Только что прочтенная рукопись утвердила мои давние догадки. Борьба за «Символ» (беря его в Вашем смысле) — тема Вашего творчества и Вашей жизни (...)

---

<sup>1</sup> Имеется в виду статья Белого «Эмблематика смысла», вошедшая в книгу «Символизм» М., 1910.



Сфера символа на моем языке есть соединение творимой действительности не только физической и не только духовной, но образуемой повышением физического в духовное. Это физическое в состоянии духовности, действительность, *не предложенная* нам нигде. Она всегда создается нами заново, впервые. Теории пролетают мимо нас, как касательные пролетают мимо круга, соприкасаясь с ним в какой-либо одной точке. Сознательное творчество этой действительности — наша задача. И эта творимая нами действительность — есть подлинная реальность. Так думаю я, так обосновываю свое реалистическое мировоззрение. Символизм (так, как понимаете его Вы) или реализм? Я не вижу тут противоположения. В существе, в содержании и, я полагаю, даже в творческой жизненной практике — это одно. Тут дело в умении читать явления и из прочитанных рассыпанных букв складывать новое слово».

Особо занимала Спасского проблема духовной ответственности писателя, берущего на себя большой груз, чем жизненная задача обыкновенного человека: «Малейшая крупинка даже не знания, а только предчувствия возможности знания множит ответственность в геометрической прогрессии. Мы, подведенные судьбой к предчувствиям и за то благодарные судьбе, не смеем не принимать на себя ответственности. И только в такой ответственности — залог, что предчувствия наши не напрасны.

Говоря проще, встает вопрос: как же правильно жить с людьми мне, человеку вполне такому же, только хотящему большей ответственности? Этот вопрос решается практически всю жизнь, и не знаю, в силах ли решить его кто-либо из нас. Неразрешимые вопросы снимаются лишь мощью Духа».

В таком контексте велся спор и по поводу отдельных положений книги Белого. Особый интерес для нас представляют размышления о том образе Блока, который нарисован на страницах «Почему я стал символистом...»: <sup>1</sup> «У Блока был свой путь. О нем мы знаем тоже от Вас. Именно Вы с удивительной пронизательностью вскрыли все изломы, все повороты этого пути. Я никогда не забуду блоковских заседаний в «круглой комнате». В течение трех вечеров Вы вводили нас в духовные процессы, кипевшие в душе Блока и нашедшие свое высо-

---

<sup>1</sup> См. также стихотворение Спасского «Памяти Блока» (в сб.: Экспрессионисты. М., 1921, с. 6).

кое воплощение в его замечательной поэзии. В меньшем объеме, но с той же значительностью подняты проблемы творчества и жизни Блока в напечатанных Ваших воспоминаниях<sup>1</sup>. Воспоминания были событием для многих и многих. Вы один проникли *внутрь* мира блоковских образов и ввели туда и нас, слушателей и читателей. Воспоминания — *победа* конкретного мировоззрения.

Когда знаешь Блока в подлинном источнике его биографии — в его творчестве, когда знаешь его через Ваши воспоминания — само собой и вполне понятно, что Вы не могли не расходиться с ним в те или иные периоды. И подобные расхождения не «умалют» ни одну сторону. Об этом просто не может быть и речи. Блок проходил свой трудный путь сам. Не всякий может сознательно овладеть конкретным мировоззрением и превратить его в практику. В какой степени овладел или не овладел им Блок, судить не берусь. Но, проходя «путем неудач», Блок мужественно брал на себя ответственность. И он до конца знал, что его путь — «путь неудач». Он просто, глубоко человеческим голосом рассказал нам о своей дороге. Есть один непростительный грех против Духа — стоянье на месте, отказ от всяких путей. Блок шел. Остальные грехи — эмпирика» (ГБЛ, ф. 25, карт. 23, ед. хр. 5, л. 1—3 об).

В этом примечательном тексте следует обратить внимание на два очень характерных момента: во-первых, на поднятую Белым и подробно обсуждаемую Спасским проблему пути у Блока, которая недавно была с такой глубиной разработана Д. Е. Максимовым<sup>2</sup>, и, во-вторых, на размышления Спасского над идеей ответственности художника перед своим временем и перед самим собой. Выглядит маловероятным, чтобы он был знаком с первым опубликованным выступлением М. М. Бахтина<sup>3</sup>, но тем не менее связь между кругом идей Бахтина и Спасского (несмотря на все различия в глу-

---

<sup>1</sup> Очевидно, имеются в виду «Воспоминания о Блоке» (Эпопея, 1922, № 1—4).

<sup>2</sup> Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981, с. 6—151.

<sup>3</sup> Бахтин М. Искусство и ответственность.— День искусства, Невель, 1919; перепечатано в его кн.: Эстетика словесного творчества. М., 1979.

бине и убедительности окончательных решений) выглядит почти несомненной.

Печатаемые нами письма составляют меньшую часть тех, что существовали еще в конце тридцатых годов. В обзоре литературного наследия Белого значатся 26 писем 1921—1933 годов<sup>1</sup>, но сохранились лишь письма 1931—1933 годов. Вызвано это, очевидно, нелегкой судьбой как С. Д., так и С. Г. Спасских. Им обоим пришлось пройти через сталинские лагеря, со всеми вытекающими отсюда последствиями<sup>2</sup>. Можно только пожалеть, что пропали письма Белого с прямыми размышлениями о духовных проблемах, которые, очевидно, существовали. Но и среди ныне обнаруженных писем довольно много интересного, относящегося как к литературным взглядам Белого, так и, прежде всего, к истории его взаимоотношений с различными журналами и газетами, а также с издательствами, в том числе и с издательством «Художественная литература», в те годы именовавшимся ГИХЛ. Многочисленные планы, отчасти реализовавшиеся, отчасти — нет, суждения о произведениях его адресата, наконец, сам стиль жизненных отношений с добрыми знакомыми — все это делает публикуемые письма общеинтересными.

Письма хранятся в личном архиве дочери С. Д. и С. Г. Спасских — В. С. Спасской.

1

Кучино, 12 марта (19)31 г.

Дорогие, милые Сергей Дмитриевич и Соня, всю эту зиму мысленно писал Вам, да упорная работа с «Началом века»<sup>1</sup> до января связывала; а после начался период, который ознаменовался нашими болезнями, смертью старичка-хозяина и роем таких серьезных неудобств (в) жизни, что в итоге их я взял командировку в Тифлис<sup>2</sup> (К. Н.<sup>3</sup> же как секретарь) и теперь спешно еду на Кавказ, отчего и не может состояться наш приезд к Вам.

<sup>1</sup> Бугаева К., Петровский А. [Пинес Д.] Литературное наследство Андрея Белого.— Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 634.

<sup>2</sup> См.: Милютина Т. М. Автобиография.— Вестник русского христианского движения, 1988, № 152, с. 187, 190.

И так технически трудно мне выехать; чтобы выехать, надо все время быть в Москве и ликвидировать здешние дела, что очень сложно (одна перевозка ряда вещей из Кучина, редакции, бумажки и т. д.); поездка в Ленинград, которая в других обстоятельствах была бы нам очень приятна, теперь лишь крюк на пути в Тифлис, куда должны ехать не позднее 20 марта, а еще почти ничего не сделано.

Спасибо за доброе и сердечное гостеприимство, которым и воспользуемся, но не теперь, а после Тифлиса, предварительно списавшись (летом ли, осенью ли,— не знаю).

Дорогой Сергей Дмитриевич, спасибо Вам за книгу и за тронувшую меня надпись<sup>4</sup>. Представьте,— так много было спешных работ и дел, что еще не читал; я люблю читать всерьез; а все эти недели этого «серьеза» не было. Вашу книгу берегу в дорогу. Мы так измучены, что собираемся ехать в международном; там, в тишине, буду живо общаться с Вами через книгу вместо личного общения.

Так досадно, что живешь не по своей воле, а по линии наименьшего сопротивления всяким житейским сложностям. Поездка в Ленинград перед Тифлисом была бы этим техническим обременением.

Итак,— до «после Тифлиса».

Остаюсь сердечно любящий Вас обоих и сердечно преданный  
*Борис Бугаев.*

Р. С. Что это Вы, Соня,— приболеваете; А. С.<sup>5</sup> рассказывал о Вас; кончайте скорей с Вашей операцией, чтобы весной оправиться; нужно сбрасывать с себя болезни в начале весны.

Р. Р. С. К. Н. шлет Вам обоим сердечный привет.

---

<sup>1</sup> Вторая часть воспоминаний Белого «Начало века» вышла в свет в 1933 г.

<sup>2</sup> Андрей Белый был на Кавказе в 1927, 1928 и 1929 гг. Его впечатления от этих поездок отразились в книге очерков «Ветер с Кавказа» (М., 1928). См. также: Андрей Белый в Грузии.— Дружба народов, 1966, № 2; Белый Андрей. Армения. Ереван, 1985.

<sup>3</sup> К. Н.— Клавдия Николаевна Васильева (1886—1970), с июля 1931 г.— жена Белого, автор «Воспоминаний о Белом» (Berkeley, 1981). В предисловии к этому изданию, в статье Д. Малмстада, наиболее подробно рассказана ее биография.

<sup>4</sup> Речь идет, очевидно, о сборнике стихов Спасского «Особые приметы» (Л., 1930).

<sup>5</sup> А. С.— по всей вероятности, Алексей Сергеевич Петровский (1881—1958), близкий друг Белого, один из «аргонатов»— членов мистического кружка, группировавшегося в начале века вокруг Белого.

2

Кучино, 16 марта (1931).

Милая, милая Соня, дорогой Сергей Дмитриевич. Судьба располагает; и человек со всеми его решениями — игрушка. Только что Вам написал с грустью отказ от Вашего любезного приглашения побывать у Вас в виду спешного нашего уезда на Кавказ, не позволявшего нам сделать лишний крюк; и на другой день после отправки Вам письма и отправки телеграммы в Тифлис, чтобы закрепить за нами две снятые нам комнаты (они-то и обусловили спешку отъезда),— все неожиданно, самым странным образом перерешилось; наша поездка в лучшем случае откладывается до осени (и то, если будут деньги); и стало быть: падают механические препятствия к нашей поездке в Ленинград — Детское; и стало быть: восстанавливается во всей силе наше осеннее желание приехать; кроме личной радости повидаться с Вами, с Р. В.<sup>1</sup>, Сергеем Дмитриевичем, у нас есть потребность отдохнуть от Кучина, которое стало очень трудно: ввиду невозможности ехать на Кавказ летом (до осени) есть даже тайная мысль: попытаться на лето устроиться где-нибудь под Ленинградом (хотя бы в Детском); все равно в Кучине летом не просидишь; более того: есть тайная мысль,— ввиду необходимости уехать из Кучина совсем (гнилой домик, шалая хозяйка и т. д.) — о переезде на зиму в Ленинград или около, ибо работать могу с равным удобством и около Москвы, и около Ленинграда.

Все вместе: желание повидаться, переменить воздух, отдохнуть (К. Н. измучена до крайности) и сделать попытку найти летнее убежище обращает нас к Вам. Итак, если мы Вас не стесним, то мы приедем, чтобы прожить несколько дней у Вас и несколько дней у Р. В.; но мы не можем приехать до 30; 30 остаемся в Москве, а после тотчас приедем, *если только справимся с билетами*; но для этого нам нужно знать заранее, что в эти дни мы не помешаем Вам и Р. В. (т. е. начало апреля).

Очень мечтаем с К. Н. отдохнуть с друзьями в другой атмосфере (с ноября до сих пор — жизнь в Кучине — страда!) при условии, что не стесним Вас. Будем ждать хоть ответной открытки до 30-го, ибо могли бы ехать 31-го, 1, 2-го уже; пошлите скорой почтой. То же, приблизительно, пишу и Р. В. К. Н. шлет сердечный привет; она — в Москве; бедняжка — захлопоталась: вся тяжесть укладок, перевозок вещей — падала на нее; в Кучине так неорганизованно, что с тяжелыми чемоданами нельзя уехать (некому донести до станции, а наши сердца — больные); и вот приходилось укладочный материал таскать в Москву (это я о Кавказе, куда ехали надолго с многими вещами); К. Н. так устала, что не может даже писать. Одно из заданий моих — ее увезти, чтобы ей немного отдохнуть: ведь и все тяжести Кучина, и трения с хозяйкой падали ей на голову.

Ну вот, дорогие и близкие Соня и Сергей Дмитриевич,— написал, и жду от Вас открытки.

С надеждой на скорое свидание

Остаюсь любящий Вас обоих

*Борис Бугаев.*

---

<sup>1</sup> Р. В.— Разумник Васильевич Иванов (псевдоним — Иванов-Разумник; 1878—1946) — историк литературы, критик, публицист, близкий друг Белого на протяжении многих лет. О нем см. во вступительной статье А. В. Лаврова к его переписке с Блоком (Литературное наследство, т. 92, кн. 2. М., 1981, с. 366—391). Специально об отношениях Белого и Иванова-Разумника см. в статье А. В. Лаврова «Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 23—30). В то время он жил в Детском Селе (ныне г. Пушкин), и Белый с женой прожили в одном доме с ним (хотя и с продолжительными перерывами) целый год — с апреля 1931-го по апрель 1932 г.

〈Недатированная открытка. Почтовый штемпель — Детское Село, 2. 10. 〈19〉31.〉

Дорогой, милый Сергей Дмитриевич, передал Дм. Мих.<sup>1</sup>, что лучше, чтоб Вы приехали к нам 30 или 1-го, а не 29, ибо как раз 29-го должен был писать

план романа для «Книгоиздательства Писателей (в Ленинграде)»<sup>2</sup>. Боюсь, что Вы могли обидеться и подумать, что не хотим Вас и Соню видеть. Приезжайте! Я бы сам у Вас был, да сижу в гриппе, отрезан от Ленинграда. Между тем: кроме радости Вас видеть есть и вопросы к Вам; именно: я имею право на дополнит(ельную) площадь; и если мы с К. Н. займем прошлог(однюю) комнату, понадобится бумажка на это право. И еще: нужен мне нотариус; если сможете навести справки, где наход(ится) это учреждение в Ленингр(аде) (вероятно, в «Издаг(ельстве)»: знают), буду очень благодарен; еще: слышал, что куда-то едете; если в Москву, то был бы признателен, если б Вы, будучи в «Гихле», справились о моем романе<sup>3</sup>. Да всего не напишешь.

Итак, ждем Вас с Соней. Кстати: если не забудете, привозите дорожные ремни, а я Вам передам Ваши (они теперь коротки для нас, ибо много подушек); и, чего доброго, могут скорее пригодиться. Итак, до скорого свидания. Надеюсь, что Вы правильно отнеслись к просьбе отложить до 30-го приезд. Привет от нас обоих Вам с Соней. Б.Б.

---

<sup>1</sup> Д м. М и х.— Дмитрий Михайлович Пинес (1891—1937), библиограф, исследователь творчества Белого. Был репрессирован.

<sup>2</sup> Речь идет о замысле романа «Германия», так и не написанного Белым. Об этом замысле см.: Г р е ч и ш к и н С. С., Л а в р о в А. В. Неосуществленный замысел Андрея Белого (План романа «Германия»).— Русская литература, 1974, № 1. См. о нем также в следующем письме.

<sup>3</sup> Р о м а н — «Маски» (М., 1933).

4а<sup>1</sup>

Москва. 27 окт(ября) (19)32.

Уважаемый Сергей Дмитриевич,  
получив от Вас любезное извещение, исходящее от Правления «Книгоиздательства Писателей в Ленинграде», что оно, не стесняя меня договором, предоставляет мне право написать роман «Германия» тогда, когда я это сумею исполнить,— спешу ответить,— Вам, а не т. Сорокину, имя и отчество которого не имею чести знать<sup>2</sup>:

я, конечно, согласен на это предложение, так как хотел бы писать мною задуманный роман; я не смог выполнить условий договора ввиду очень трудных обстоятельств личной жизни и ввиду неудобств с жилплощадью, дававших возможность брать легкую работу и не дававших сосредоточенности, которая необходима при выполнении работы художественной.

Так случилось, что я вместо того, чтобы писать роман, взял легкую работу (3-ий том воспоминаний), данную мне «Федерацией»<sup>3</sup>.

Мои жилищные условия изменятся, вероятно, не раньше марта<sup>4</sup>; работа над третьим томом (30 печ(атных) листов) продолжится до августа (19)33 года; стало быть: лишь с будущей осени смогу я вплотную приняться за роман, который надеюсь кончить в (19)34 году лишь.

Если издательство не пугают столь далекие сроки, то это устраивает меня вполне, потому что роман, который я не могу писать ныне, живет ярко в воображении моем.

Прошу Вас, дорогой Сергей Дмитриевич, содержание этого письма передать Правлению «Издат(ельства) Пис(ателей) в Ленинграде» и поблагодарить его за то внимание, с которым оно отнеслось к моим жизненным затруднениям.

В случае, если бы дальний срок сдачи романа оказался бы неудобным, прошу меня известить, чтобы я перевел 1000 р(ублей) взятого аванса на текущий счет, когда «Федерация», не платящая мне 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца сле-дующего аванса (в размере 3000 т(ысяч) р(ублей)) его выплатит.

Остаюсь с уважением

*Борис Бугаев (А. Белый).*

Дорогие мои,— Соня и Сергей Дмитриевич!

Не удивитесь «уважаемому» и прочим косолапостям стиля; ведь это не к Сергею Дмитриевичу, а к правлению, которое должен поблагодарить за действительно человеческое отношение к трудностям моей жизни; и еще сердечное, горячее спасибо, Сергей Дмитриевич, Вам, приложившему руку к этому делу.



Постоянно вспоминаем Соню и Вас, особенно после того, как пережили бурное волнение за Соню летом, волнение, которое разрешилось радостью, потому что время, переживаемое Соней, отдается нам, как большая, серьезная и ответственная радость жизни; помните, что мы с Вами!

Я просто закупорен словами и мыслями, которые готовы хлынуть потоком на Вас, а — ряд месяцев просто не мог писать ничего конкретного, сперва — кончая Гоголя<sup>5</sup>, потом — таскаясь по учреждениям и борясь с молочным хвостом<sup>6</sup>; а попав в Лебединь, опять засел с головой в работу и в свободное время отдавал весь досуг Е. Н.<sup>7</sup>.

Пусть эти косноязычные строчки прилетят к Вам лишь как голубь с масличной ветвью, а не как членораздельные слова с мыслью; они — от любви, но из-под немощи и опустошенности оконченного трудового дня (т. е. писаны ночью перед отходом ко сну).

Кстати: на днях у Санникова<sup>8</sup> разговаривал с человеком, недавно видевшим «лже-Спасского», еще служившего в Алма-Ате и продолжавшего себя утверждать Сергеем Дмитриевичем (Вы, конечно, знаете об этом самозванце по «Лит(ературной) Газ(ете)»<sup>9</sup>).

Если не трудно, черкните, что можно: откуда Д. М. узнал о возвращении Алеши; здесь в Москве мы ничего не знаем, кроме смутных слухов неизвестного источника; и не верим им, чтобы потом не пережить огорчения<sup>10</sup>.

Мы уже месяц в Москве; нигде не бываю, никого не вижу: работаю, гуляю, отдыхаю; режим почти такой, как в Детском; но, конечно, в Подвале — уютней, сердечней, теплей (несмотря на то, что не топят).

К. Н. шлет самый теплый привет и просит передать, что, как только я буду меньше ее мучать перепиской и диктовкой, она Вам напишет.

Остаюсь сердечно любящий Вас обоих. Обнимаю Вас крепко обоих.

*Борис Бугаев.*

---

<sup>1</sup> Письма 4а и 4б вложены в один конверт. Первое предназначалось для выяснений отношений с «Издательством писателей в Ленинграде», от имени которого Спасский 5 ноября (в оригинале письма описка — октября) 1932 г. писал Белому: «Издательство соглас-

но на Ваши строки и будет ждать роман, нисколько Вас не торопя. Договор, конечно, потом надо будет переписать в связи с новыми ставками» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981, с. 77). Белый должен был представить роман «Германия» в издательство не позднее 1 сентября 1932 г., но обещания своего не выполнил, чем и вызвана переписка.

<sup>2</sup> Григорий Эммануилович Сорокин (1898—1954) был заведующим «Издательства писателей в Ленинграде». Подробнее о нем см.: Пастернак Б. Л. Письма к Г. Э. Сорокину. Публ. А. В. Лаврова, Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака.— Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981, с. 201—204. Письма Белого к Сорокину опубликованы в статье А. В. Лаврова «Материалы Андрея Белого в Рукописном отделе Пушкинского Дома» (там же, с. 76—79).

<sup>3</sup> «Федерация» — издательство ФОСП (Федерации объединенных советских писателей). Третий том воспоминаний Белого «Между двух революций» вышел уже после смерти Белого в «Издательстве писателей в Ленинграде».

<sup>4</sup> Белый рассчитывал получить квартиру в писательском кооперативе на ул. Фурманова (дом ныне не существует).

<sup>5</sup> Книга «Мастерство Гоголя» (М., 1934).

<sup>6</sup> В это время Белый жил в полуподвале (Плющиха, д. 53, кв. 1), и очереди в молочную, находящуюся в том же доме, мешали работе. См.: Кузьмин Николай. Иллюстрируя Андрея Белого.— Звезда, 1972, № 5, с. 182.

<sup>7</sup> Е. Н.— Елена Николаевна Кезельман, сестра К. Н. Бугаевой, жила в то время в г. Лебедяни, где Белый с женой провели лето. Воспоминания Кезельман об этом пребывании опубликованы в приложении к «Воспоминаниям» К. Н. Бугаевой. Письма Белого к ней — см.: Новый журнал, 1976, № 124, с. 163—172.

<sup>8</sup> Григорий Александрович Санников (1889—1969) — поэт, в те годы — близкий знакомый Белого.

<sup>9</sup> См.: Скосырев Петр. Проходимцы.— Литературная газета, 1932, 11 октября.

<sup>10</sup> Речь идет о судьбе А. С. Петровского, находившегося в заключении. В ответном письме Спасский писал: «Сведения Дм. Мих. об А. С., на мой взгляд, преждевременны. Они основываются на том, что известно в Москве, и вернулись к Вам, описав круг и при этом несколько оплотнев» (ГПБ, ф. 60, № 67).

## 5

Москва. 10 дек<абря> <19>32 г. <открытка>  
Дорогой, милый Сергей Дмитриевич,  
горячее Вам спасибо за книгу<sup>1</sup>; прочел,— с все уси-

ливающимся интересом: остро, сильно, четко, оригинально! Насыщено драматизмом *до последней степени*; убедителен тот скупой доризм, с которым подана тема. Как всегда, пишу Вам из-за вороха дел; при первом случае напишу конкретнее о вещи, которая *впервые* заставила меня оценить Вас как «прозаика» в равной мере, как и поэта; мне кажется, что в этой повести Вы нащупали Ваше будущее; точно открыли дверь в далекие перспективы, *только Вам* принадлежащие. Соне от нас с К. Н. сердечный привет: *очень думаем о ней*. Любящий Вас Б. Бугаев.

Р. С. К. Н. сердечно приветствует.

---

<sup>1</sup> Повесть Спасского «Новогодняя ночь» (Л., 1932). Декабрем 1932 г. помечена дарственная надпись жене на этой книге (собрание В. С. Спасской).

6

Москва. 13 март(a) <19>33 г.

Дорогой, милый Сергей Дмитриевич,—

— родная Соня, которую я еще не поздравил и которую я обнимаю и поздравляю,—

мои родные, обнимаю и поздравляю Вас не только с новорожденной (это — само собой), но и с изумительной по строгости, силе ритма, новизне и безукоризненности «Да» (я разумею книгу стихов Сергея Дмитриевича, которую я получил третьего дня и которой мы попеременно зачитывались с Кладей<sup>1</sup>; а теперь ее отхватил Санников; и тоже зачитывается, прося меня дать ему еще на день; как только получу обратно, буду вчитываться).

Ух, и все это — одна фраза: с захлеба, от радости, что появилась новая ценность; да,— Вашу книжечку надо *изучать* (и буду: в городе и в природе); только что упивался «Вторым рождением» Пастернака; а тут новая радость: «Да». И как хорошо, что Вы так назвали эту книгу; ей говорю от всего сердца:

— Да, да, да!

Она — просто рубеж в поэзии; только что говорили с Кладей и Санниковым, что в ритме там просто откровения: такие чудеса проделывать, например, с ямбом! И в чисто формальном смысле «Да» побивает рекорды Тихонова и Пастернака (о Сельвинском не хочу говорить: это — циркизм, джаз-банд, а не поэзия<sup>2</sup>).

Не говорю о ее тематике, которая мне удивительно близка.

Завтра, вероятно, увижу Гронского<sup>3</sup> и буду просить его поручить мне рецензию на нее; мне радостно, что я теперь могу, может быть, поддержать Вашу поэзию конкретно, если только меня насильно не лишит голоса «группировочка» от Сельвинских, не могущих мне простить, что не испрашиваю разрешения у них, кого хвалить, кого бранить; а скоро ухнут меня за то, как смею я Гладкова ставить выше литер(атурных) принцев<sup>4</sup>. Вообще: ряд людей рвет и мечет за меня на то (так в оригинале.— В. С., Н. А.), что я пишу не по указке «воеводства», ибо у нас, например, «Литературка» есть переделанное «воеводство»: сама редакция — редакция от Сельвинских и К°.

Может, Гронский испугается поднимаемому против меня скрежету; не думаю: он — независим; тогда в скорейшем времени постараюсь изучить Вашу книжку и для рецензии, а потом — в месяцах буду ее изучать и от души.

Спасибо Вам за подарок и за радость, связанную с ним.

Милая, дорогая Соня, поцелуйте от меня Вашу маленькую; а я одно время мечтал ее лично видеть (меня волок Лавут<sup>5</sup> в Ленинград на лекцию), но я, исхрипевшись на докладах после трех гриппов, должен был оставить эту затею; и в Ленинград не поехал. Ну, всего светлого Вам и малышке.

Б. Бугаев<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> К л а д я — К. Н. Бугаева.

<sup>2</sup> Обострение ритмических поисков в поэзии конца двадцатых и начала тридцатых годов вызвало повышенный интерес Белого — крупнейшего стиховеда начала века. Этому посвящена значительная часть его рецензии на роман в стихах Г. Санникова «В гостях у египтян» (Новый мир, 1932, № 11), а также многие размышления, только отчасти выразившиеся в книге «Ритм как диалектика и «Медный всадник» (М., 1929). Говоря о «цирризме» Сельвинского, Белый, вероятно, имеет в виду две уникальные по ритмическому строению строки из «Записок поэта»:

Я человеконенавистник,  
А не революционер.

<sup>3</sup> Иван Михайлович Г р о н с к и й (1894—1985) был в то время редактором газеты «Известия» и журнала «Новый мир», где Белый

регулярно печатался. Поэт считал Гронского одним из главных своих союзников в современной литературе.

<sup>4</sup> Имеется в виду рецензия Белого на роман Ф. Гладкова «Энергия» (Новый мир, 1933, № 4).

<sup>5</sup> Павел Ильич Л а в у т (1898—1979) — организатор и устроитель поэтических вечеров и лекций. Известна его большая работа по организации поездок Маяковского по стране. Автор книги «Маяковский едет по Союзу» (2-е изд. М., 1969).

<sup>6</sup> В конце письма — приписка К. Н. Бугаевой. 23 марта 1933 г. Спасский отвечал на это письмо: «Собирался писать, что до нас дошли, наконец, «Маски» <...> Прочел еще очень мало, но сразу подхвачен ее ошеломляющим ритмом, непрерывной словесной тягой, звуковым ветром, несущимся по страницам, прохватывающим все тело насквозь. На мой взгляд, здесь еще более сильный ритмический натиск, чем в предыдущих томах. Очевидно, роман и нельзя читать залпом, хотя разворачивание интриги все время тянет от куска к следующему. Но после первых строк я поделился с Соней чувством почти физического удовольствия, которое ощущаешь не абстрактно, а где-то в гортани, произнося мысленно текст. Это редкое ощущение, невозможное при чтении почти всей нашей прозы. Дорогой Борис Николаевич, мне доставило чрезвычайную радость Ваше внимание к моей книжке. Очень благодарен Вам за все, что Вы мне написали, хотя по совести и никак не могу целиком совместить это с текстом стихов. Но Ваши добрые слова для меня очень много значат. Тем более что ведь извне никаких откликов на мою работу никогда не поступает. Лишь подчас кто-тонибудь (так! — Н. А.) уронит на голову случайный кирпич. Но я знаю одно — надо работать во всю меру сил. И в этом смысле Вы тоже для меня недостижимый пример. А такое одобрение, как Ваше, или дружеские приветы Бориса Леонидовича освещают дорогу и пробуждают энергию.

Очень понятно все, что Вы пишете о «воеводстве». Это точный и безошибочный термин. У нас в Ленинграде есть свое воеводство, и я чувствую, что у меня руки уже чешутся, не тороплю событий, но драка, очевидно, неминуема.

Сейчас переписываю свою новую прозу, не знаю, как с ней обойдется, обстановка в литературе (по крайней мере у нас) опять затуманилась...» (ГПБ, ф. 60, № 67, л. 2—3).

7

⟨Открытка с почтовым штемпелем  
«Москва 5.9.1933»⟩

Дорогой Сергей Дмитриевич,  
мне спешно нужно знать имя и отчество Сорокина  
(из «Изд⟨ательства⟩ Пис⟨ателей⟩ в Лен⟨инграде⟩»)¹;

не откажите в спешной посылке мне ответа на интересующий вопрос. На случай Вашего отсутствия, пишу на имя Сони; ей, находясь в Ленинграде, вероятно, ничего не стоит по телефону узнать имя и отч(ество) Сор(окина) и немедленно известить меня открыткой.

Заранее ей благодарен.

Остаюсь сердечно преданный

*Б. Бугаев.*

Соне сердечный привет.

---

<sup>1</sup> О Сорокине см. примечания к письму 4. На эту открытку Спасский откликнулся своей от 8 сентября 1933 г., где выполнял просьбу Белого.

8

Москва. 10 сент(ября) (19)33.

Дорогой Сергей Дмитриевич,—  
сердечное спасибо!

Очень жду Вас в Москву. Имею многое Вам сообщить. Чрезвычайно обрадуете нас, если посетите нас (с Соней, разумеется, если и она будет, на что не надеюсь). Шлем Соне самый горячий привет. Как хотелось бы увидеть Вашу девочку! Может быть, с первым снежком будем в Ленинграде (остановимся у Томашевских<sup>1</sup>, с которыми установились самые сердечные отношения в Коктебеле). До скорого свидания.

Искренне любящий Вас

*Борис Бугаев.*

---

<sup>1</sup> Об отношениях Белого с Борисом Викторовичем Томашевским (1890—1957) и Ириной Николаевной Медведевой-Томашевской (1903—1973) см.: Б. В. Томашевский в переписке с Андреем Бельгм. Публ. А. В. Лаврова.— Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982, с. 224—239.

Москва. 29 ноября (1933).

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Большое Вам спасибо за передачу любезного приглашения «Изд(ательства) Ленингр(адских) Писателей», пожелавшего включить в план издания 1934 г. книгу мою «Начало Века» (2-ой том), называющуюся «Между двух революций»; книга эта писалась для «Изд(ательства) Федерации» в эпоху, когда «Гихл», выпускавший 2 мои книги, не имел возможности выпустить третью<sup>1</sup>. С прошлого года образовавшийся при «Гихле» Горком писателей предложил мне выпустить 2-ой том «Нач(ала) Века», который я и взял из «Федерации» для «Гихла». Но с осени выпускная способность «Гихла» оказалась опять под ударом ввиду препятствий, оказываемых «Огизом», желающим, чтобы «Гихл», сосредоточась на классиках, занимался бы минимально совр(еменной) худ(ожественной) литературой; «Гихл» вынужден отказаться от ряда намеч(енных) книг (напр(имер,) «Энергии» Гладкова и т. д.), так что я волен распорядиться «Началом Века», как мне угодно, или опять ждать. 2-ой том «Н(ачала) В(ека)» мне тем приятней передать «Изд(ательству) Пис(ателей) в Ленинграде», что я уже пишу 4-ый том воспоминаний. 3-ий том готов совершенно (отрывок из него «Жорес» напечатан в «Нов(ом) мире»<sup>2</sup>); считаю его наиболее удачным из 3-х томов воспоминаний. Итак,— с охотой иду навстречу предложению издательства; рукопись может в любое время быть отослана. Жду уведомления об этом. Черкните мне о точном адресе Издательства; или: книга может быть отослана Вам? Нужно ли еще кроме этого официальное заявление в «Изд(ательство)»? Буду ждать от Вас ответа.

Милый Сергей Дмитриевич, очень жду Вас в январе. Давно не видались. И много-много накопилось Вам сказать и объяснить (о Вашей книге «Да» и о том, почему моя рецензия о ней осталась помимо моей воли ненаписанной); и о многом другом имею Вам сообщить. Хорошо, что Соня отдыхает. Все мечтаю лично познакомиться с Вероникой. Будете писать Соне,— от нас с Кладей сердечнейший привет.

Остаюсь сердечно Вас любящий

*Борис Бугаев*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> В письме от 22 ноября 1933 г. Спасский писал Белому: «...при составлении планов на следующий год в Издательстве писателей встал вопрос о том, не дадите ли Вы какой-нибудь рукописи нам, если не все у Вас окончательно законтрактовано. Так как роман, очевидно, Вы не осуществите в ближайшее время, правление просило передать Вам такую просьбу: может быть, Вы найдете возможным уступить Издательству «Начало века», или вообще одну из книг этой серии. Это не значит, что *Издательство* обеспокоено выданным Вам авансом. Вопрос об авансе не должен никак влиять на Ваши намерения, и не он — причина обращения Из⟨дательст⟩ва к Вам. Просто правление заинтересовано в том, чтобы привлечь Вас к Издательству ближе, и хочет получить Вашу рукопись для издания» (ГПБ, ф. 60, № 67, л. 6—6 об).

<sup>2</sup> Новый мир, 1933, № 10.

<sup>3</sup> К письму сделана приписка К. Н. Бугаевой бытового характера. 5 декабря Спасский отвечал Белому: «Получил Ваши письма и отправился немедленно в Издательство. Там встретили известие о согласии Бориса Николаевича передать сюда рукопись с большим удовлетворением. Теперь дело обстоит так: нужно прислать рукопись и приложить маленькое заявление. В заявлении указать, что Б. Н. предоставляет эту рукопись вместо романа «Германия» и просит в этом смысле переписать договор. Совершенно естественно, что материальная сторона договора также будет изменена.

Послать все можно тоже прямо на мое имя. Кстати, хорошо было бы мне знать, какие у Бориса Никол. условия с ГИХЛом и какую полустную оплату он считает для себя подходящей. Тогда я поговорю с заведующим, чтоб не было лишней переписки по данному вопросу» (ГПБ, ф. 60, № 67, л. 9—9 об).

*Вступительная статья, примечания*  
*Н. Алексеева,*

*Подготовка текста писем*  
*В. С. Спасской*



---

# РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ





## В. Перелешин

### ОБ АРСЕНИИ НЕСМЕЛОВЕ

\* \* \*

Старшим по возрасту и наиболее влиятельным среди харбинских поэтов двадцатых, тридцатых и сороковых годов нашего века был Арсений Несмелов (Арсений Иванович Митропольский). Настоящих биографических данных о нем нет, но в июне 1940 года он сам сообщил о себе следующее (для статьи о дальневосточных поэтах и писателях, которую моя мать, журналистка Евгения Александровна Сентянина, написала для журнала «Рубеж»):

«Родился в Москве; в Москве и начал писать. Два раза уезжал из Москвы, и оба раза — воевать. Уехав в 1918-ом году в Омск, назад не вернулся, а вместе с армией Колчака оказался во Владивостоке, где и издал первую книгу стихов («Стихи» — 1921, затем, в 1922-ом году, поэма «Тихвин» и в 1924 — книжка стихов «Уступы»). До этого, еще в Москве, издал маленькую книжечку рассказов — военных («Военные странички: стихи и рассказы», 1915). Печататься начал в «Ниве», в 1912—13-ом годах, кажется. Поручик, с австро-германцами воевал в рядах 11-го гренадерского Фанагорийского полка. Пятнадцать лет живу в Харбине; пишу стихи, рассказы. Еще кое-как существую. Летом, впрочем, славно. Имею «движимое имущество» — лодку «Удача», в которой с другом Колей Гаммером уплываю далеко от города. Надеюсь, что этого довольно. Арсений Несмелов».

Не «довольно», конечно: даже точная дата рождения поэта нам неизвестна, только год — 1891. Да и да-

та смерти (осень 1945 года) выяснилась лишь в 1970-е годы.

Мое знакомство с Арсением Несмеловым началось в 1932 году. В этот период поэт был видным сотрудником журнала «Рубеж», вел страницу юного читателя в газете «Рупор» («Юнчит») и почти ежедневно давал в этой газете стихотворный фельетон. Это были, конечно, не стихи, несмотря на присущие ему остроумие и наблюдательность, и это приносило ему прямой вред, приучая к небрежности и спешке, от которых не всегда умел освободиться даже тогда, когда говорил как «власть имущий», как поэт Арсений Несмелов.

От литературных объединений Несмелов держался в стороне, он не был падок на дешевые лавры, не искал учеников, не причислял себя к «молодым поэтам». Говорил он за целое поколение людей, которые в ранней юности попали на германскую войну, сражались в белых армиях и, наконец, оказались за рубежом — и не в понятной Европе, а в неведомых Даурии, Монголии, Маньчжурии.

Стихов своих Несмелов обычно не датировал, но его «Кровавый отблеск» — первая изданная им в Харбине книга (1928) — сплошное зарево гражданской войны, памятник ненависти и любви, холод прощания с землей, которая изменила своим идеалам. Многие стихотворения не подсказаны, а грубо навязаны поэту жестокими эпизодами гражданской войны в Сибири — страшными ночами, лютыми морозами, гранатами, расстрелами («Солдат», «Лось», «Казнь», «Бандит», «Стихи о револьверах»). Навсегда запоминается своим чеканом «Баллада о Даурском Бароне» (Унгерне), верившем в успех, пока его любимый ворон каркал на его плече. Но вот ворона не стало, и суеверный барон пришел в отчаяние...

У Арсения Несмелова — тогда еще очень молодого — было поразительное «чувство истории», способность сразу оценивать события как бы в перспективе отдаленного будущего. Он угадал, например, смысл японской интервенции в Сибири и понял, что целью вмешательства была вовсе не борьба с коммунизмом. В его «Партизанах» речь идет о защите русской земли от захватчика, и поэт перевоплощается в партизана вообще — будь то белого, будь то красного.

Очень скоро после революции Несмелов оглядывается на еще столь недавнее прошлое и взвешивает его значение. Он сознает, что, какова бы ни была его личная

боль и боль его поколения, к прошлому долго не будет возврата: русские ордена, медали и гербы идут с молотка («В ломбарде»), и поэту особенно жаль Георгиевского креста: «Твой знак носил прекрасный Гумилев // И первым кавалером был Кутузов!»

Тем же зорким глазом поэт замечает разочарование старожилков, еще до революции осевших в Маньчжурии, провалом белого движения. «Коль вы, шпана, не добыли Москвы, // На что же, голоштаные, мне вы?» («Броневик») — как бы спрашивает Харбин, до революции форпост российского империализма, а теперь прибежище голодных и вшивых белогвардейцев.

Так или иначе, пришлось на двадцать с лишним лет бросить якорь в Харбине. Для большинства беженцев началась полоса жизни, не богатая внешними событиями (служба, семья, имущество, землячества и разные объединения). Россия осталась позади. Арсений Несмелов тоже «обосновался».

\* \* \*

Во время первого моего свидания с редактором выходившего еженедельно «Рубежа» я уже был Валерием Перелешиным. Как мне запомнилось, «крестили» меня мама и сам редактор — М. С. Рокотов (Бибинов). Когда выяснилось, что мои стихи приняты, возник вопрос о псевдониме или полной подписи. Когда-то Розанов восклицал риторически: «Ну кто станет читать стихи Василия Розанова?» Но и восприемники мои тоже сочли, что никто не станет читать стихи Валерия Салатко-Петрище, и остановили выбор на простой русской фамилии, без тени притязания на красоту: ни Кастаньского, ни Музина, ни Пегасевича. Эта простота обманула многих. Меня не раз спрашивали, не из тех ли я Перелешиных, которые...

Первое мое стихотворение в журнале «Рубеж» было напечатано 11 июня 1932 года. Сегодня оно кажется мне убийственно скверным, но редактору было виднее. То, что ему приносили другие новички, было, вероятно, еще хуже.

В тот же первый визит в «Рубеж» был я представлен Л. С. Резниковой, управляющей конторой, и видел ее дочь, писательницу, поэтессу и журналистку Наталию Семеновну Резникову, но был ей представлен, кажется, через неделю. В ближайшие дни я познакомился с Арсением Несмеловым, Лидией Хаиндровой, Ириной Лесной.

Несмелов оказался господином среднего роста, довольно полным. Лицо у него было бело-розовым, волосы почти седые. Его стихи я часто встречал в «Рубеже», он также вел стихотворный фельетон в газете «Рупор» и, как уже было сказано, редактировал страницу «Юнчита». Только недавно я узнал, что свои самые ядовитые отзывы он подписывал гетеронимом «Тетя Розга». Журналистика была в его случае несомненным врагом поэзии.

\* \* \*

Со дня выхода московского журнала «Октябрь» за ноябрь 1988 года, в котором Е. В. Витковский, ссылаясь на меня как на первоисточник сведений о жизни и литературном наследии выдающегося русского дальневосточного поэта, рассказал установленную им полную правду о его смерти, очевидцем которой был И. Н. Пасынков, хорошо мне известный, появилось много претендентов на особую дружбу с Несмеловым. Эти претенденты не смущаются тем, что по возрасту они никак не могли быть близки к разборчивому, далеко не для всех открытому поэту, да и веса не имели почти никакого. Не притязаю на близость к Несмелову и я, — чаще всего встречался я с Несмеловым в редакции и конторе «Рубежа», но помню, как однажды мы были приглашены к Наташе Резниковой «чувствовать» аккомпаниатора приезжавшего тогда в Харбин Шалаяпина — молодого развязного Годзинского.

Аккомпаниатор что-то играл на пианино, импровизировал («Облака» — возможно, не по Дебюсси). В какой-то момент Несмелов, сидевший рядом со мной на диване и зевавший, легонько толкнул меня локтем в бок и, показывая на Годзинского, довольно громко спросил:

— А это кто такой?

Кажется, только один раз Несмелов был у меня — в доме моей матери в Мацзягоу (Церковная, 28 или тогда уже 84) на собрании по какому-то поводу. В тот раз Несмелов, прислонившись к чуть теплему обогревателю (из кухни), читал нам по памяти свои «Песни об Уленспигеле» — читал просто, без актерской аффектации, ничего не подчеркивая. Его чтение стихов я слышал еще раз или два — на торжественных собраниях, которыми «Главное Бюро по делам Российских Эмигрантов в Маньчжурской Империи» чествовало победителей на лите-

ратурных конкурсах. Но лично его не любили ни редакторы, ни примазавшиеся к японским хозяевам русские эмигранты: слишком он был независим, слишком сознавал собственный удельный вес, казался надменным.

\* \* \*

— Когда праздновалось десятилетие издательства «Заря», был устроен большой банкет,— рассказывала журналистка Т.— Мне досталось место между Дмитрием Сатовским и Арсением Несмеловым. И вдруг во время ужина потух свет... Тут меня кто-то сгрел и страстно поцеловал. Три раза. Когда свет загорелся, Сатовский сидел как ни в чем не бывало, а Арсений сладко потягивался... Только не рассказывайте ему, что я до сих пор не могу забыть его поцелуй...

У Несмелова я был несколько раз. Первый раз — в гостинице, где он тогда жил, второй раз у него дома, где мы ужинали с его женой, Анной Александровной Кушель, и падчерицей, третий раз — снова в гостинице.

— Почему вы опять один, Арсений Иванович? Где ваша супруга?

— Да я ее прогнал.

В тот раз Несмелов был болен, лежал в постели. Я старался развеселить его забавными историями, но он оставался в кислом настроении. Наконец я передал ему рассказ о поцелуе и о том, что это — секрет.

Вы не верите в чудесные выздоровления? Так вот, это было самое настоящее чудесное выздоровление. Арсений вскочил с постели, отшвырнул компресс в угол и стал ругаться. Я не подозревал, что он знал столько сложных, многоэтажных, замысловатых ругательств по-русски и по-китайски.

Однако он действительно выздоровел. В тот вечер мы пошли в ресторан Ощепкова и отлично поужинали с водкой. О болезни Несмелов больше не вспомнил.

Еще в мое первое посещение Несмелова в гостинице поэт подарил мне все три имевшиеся у него в наличии книги и сделал на них одну общую надпись:

На «Кровавом  
Отблеске»

Дорогому  
от  
29

На «Без  
России»

Валерию  
Арсения  
марта

На «Через  
океан»

Перелешину  
Несмелова  
1936

Каждая из позднейших книг («Протопопица», «Полустанок» и «Белая флотилия») была надписана отдельно. Все шесть книг перейдут, в случае моей смерти, — хотя неизбежный конец отнюдь не «случай», — будут переданы моим душеприказчиком и главным наследником, А. Б. Кирилловым, — Архиву-Библиотеке Лейденского университета.

Вскоре после «чудесного выздоровления» ко мне зашел Борис Юльский. Наскоро поздоровавшись, возгласил:

— А знаете последнюю новость? О, вы не знаете последней новости! Арсений Несмелов перешел в старый обряд. Он уже переехал в их общину, отпустил бороду, крестится двумя перстами и роется в библиотеке...

Дело разъяснилось, когда вышла поэма Несмелова «Протопопица» об Анастасии Марковне, жене протопопа Аввакума. Арсению надо было не только прочесть житие многострадального протопопа, но и пропитаться атмосферой раннего раскола, пафосом двуперстия, духом всей той эпохи.

Несмелов был настоящим поэтом, для которого вся жизнь была в стихах. Но не отказывался он ни от каких заработков. Писал в рифму о городских происшествиях, о драках между соседями, перебранках между соседками. Сочинял ради денег рекламные вирши для врачей. Запомнилось мне одно такое «стихотворение»:

Расспросив мадам Дорэ  
И других всех на дворе  
Относительно Сивре:  
— Что за спец? —  
Мы узнали, что Сивре  
В марте, в мае, в декабре,  
Ночью, днем и на заре —  
Молодец!

Сивре был известным врачом. По соседству жила и гадалка мадам Дорэ. Воспел Арсений Иванович и новый родильный дом д-ра Миндлина и его жены — гинеколога. Там, оказывается, роды обставлены так, что «пальчики оближешь»: начать с того что «...дамы // Мчатся в Миндлинский приют», где «рожают под виктрору // И за чтением газет». Врачей Несмелов любил: хорошо платили за рекламу. Помогал также одному врачу, искавшему лаврового венка. Сборник стихов, им составленный, назывался «Холодные зори». Досужие



читатели (если не сам Несмелов) тотчас же переименовали книгу в «Голодные зори».

— Именно так. Я тогда очень нуждался. Мои зори были голодные.

Редактировал он и сборники чьих-то стихов из области «литературы ниже нуля» — ну, иной раз и стихов чуть получше.

Запомнился мне один сборник, об авторе которого Несмелов ласково говорил: «Очень люблю моего мужичка»; по содержанию и стилю стихи эти отдавали Козьмой Прутковым, хотя автор очень настаивал, что он всегда и везде пишет правду. Одна строфа мне запомнилась:

Ты знаешь дом на Конной Антипаса?  
Он выстроен из водки и из кваса.  
О нет, не прерывай меня, молчи:  
В нем есть с тобой и наши кирпичи!

Герасим Антипас — грек, владелец известного в Маньчжурии водочного завода. Русские обычно проносили эту фамилию с ударением на последнем слоге.

В своей серьезной поэзии Несмелов стоял ближе к Цветаевой и даже Маяковскому, но никакого фанатизма у него не было. В частности, он очень приветствовал мои акмеистические позиции. Говаривал, что по методу и Пушкин был, в сущности, акмеистом.

4 ноября 1934 года Анастигмат (Несмелов) рецензировал номер чураевской газеты. Вероятно, был он в тот день не в духе: «всыпал» и Щеголеву, и мне, но похвалил Лидию Хаиндрову, Михаила Волина и Владимира Слободчикова. А затем добавил такую фразу: «Ничего не возразишь и против Н. Резниковой». Тогда же в редакции «Рупора» он встретился с Наташей, которая упрекнула его за эти слова:

— Вы могли сказать, что вам не нравится моя внешность, что вам не нравится моя внутренность, но вы не смели писать «ничего не возразишь»!

— Я не могу ничего возразить,— огрызнулся Несмелов,— ведь я у вашего дяди служу.

Об этой перепалке рассказывали мне и Резникова, и Несмелов, так что я как бы присутствовал при этой сцене. От Арсения Ивановича знаю, что в итоге он чувствовал себя пролетарием, эксплуатируемым буржуями, и на мгновение превращался в юдофоба:

— Мы им еще устроим погромчик!..

В тот раз, когда я был у Несмелова и Анны Александр-

ровны, ее дочь (ныне проживающая в Калифорнии) пришла к столу с тетрадью стихов и даже что-то нам прочла. Была страшно горда, что она пишет стихи. Арсений Иванович отнесся к этому не столь сочувственно:

— А как вы думаете, хорошо это или плохо, что вы пишете стихи?

Анне Александровне Несмелов посвятил исключительно нежное стихотворение «За» («За вечера в подвижнической схиме...»), — надписано оно просто «Анне». Е. А. Сентянина однажды спросила Анну Александровну, не ей ли посвящено «За». Вся заулыбавшись, Анна Александровна ответила: «Да!» Она умерла в Сан-Франциско в начале 1970-х годов.

Последняя книга Несмелова — «Белая флотилия» — названа так по первому стихотворению (об облаках):

Плавно, без усилия  
Шествует в лазурь  
Белая флотилия  
Отгремевших бурь.

Эта книга характеризуется новым расширением круга тем поэта: тут и античный мир, и Франция XVIII века, и Италия времен Данте, и мотивы библейские, и даже фантастика Жюль Верна. Гражданская война, Харбин, судьбы эмиграции — все это моменты в истории, которые не удержатся надолго в памяти человечества. Но в «Белой флотилии» поэт перерос и момент, и окружающую среду и заговорил вечными словами о вечном. В лирических и раздумчивых стихах этой книги теряется прежний поэт-публицист.

То, что было написано до 1942 года и не было включено в сборник «Белая флотилия», было, очевидно, отвергнуто или отложено самим поэтом, как менее спешное. И очень мало данных имеется даже сейчас о творчестве поэта в последний харбинский период 1942—1945 годов. Известно немного: до самого конца, до занятия Харбина советскими войсками в августе 1945 года, он продолжал жить литературным трудом. Все так же коротал время за рыбной ловлей. Лодка Несмелова, в которой он проводил на Сунгари целые дни, называлась, напоминаю, «Удача». Ездил он ловить рыбу только со своим приятелем Колей Гаммером из «Зари». Теперь находятся и другие претенденты на эту высокую честь (впрочем, не высокую: «рыбку с поэтом ловил!» Есть чем хвастаться?).

Несмелов не был божеством. Были у него и свои недостатки. Хорошо помню, что после отъезда М. С. Рокова (Бибинова) в Калифорнию временно редактором «Рубежа» стал Несмелов. Я жил тогда в Пекине, но моя мать оставалась в Харбине. Денег у меня было очень мало, но я постоянно переводил очерки и рассказы с английского языка с тем, что гонорар будет выплачиваться моей матери. Показательно, что во время «регентства» Несмелова в «Рубеже» не было напечатано никакой работы моей матери (и моей, кроме стихов), хотя Несмелов знал, что она живет только этими заработками. И это не мешало Несмелову «дружить с Евгенией Александровной Сентяниной»: уже позднее он к ней часто заходил.

— Неужели вы не видите, Евгения Александровна, что все идет к концу? Больше ничего не будет. И ничего не нужно. Я собирался издать книгу стихов. Бумагу закупил. А вчера отдал бумагу даром. Книг больше не будет. Субмарина затонула.

\* \* \*

Кажется, в мое первое посещение Несмелова у него дома он сказал: «Вы дальше меня пойдете. У вас более широкое дыхание». Тогда я его не понял, заговорил о том, что на Дальнем Востоке он — первый по дарованию и заслугам и что у него впереди еще очень много времени для роста. Культуры ему иной раз недоставало, но этот минус с лихвой покрывался поразительной меткостью, зоркостью, находчивостью. Если я и вправду пошел дальше, чем Несмелов, так это произошло не в Харбине, а много позже — в Шанхае и особенно в Бразилии после 1967 года.

Как только Харбин был в августе 1945 года занят советскими войсками, поэт был арестован, увезен в СССР и вскоре умер — история его смерти рассказана на страницах журнала «Октябрь». Свой конец Несмелов предсказал точно. Но в видении будущего Харбина ошибся: «Турист со словариком» надписей на русских кладбищах в этом городе читать уже не пойдет — все перерыто «культурной революцией», местами взорвано. На месте кладбищ (двух православных, католического и протестантского) китайские коммунисты разбили огромный парк, куда китайцы не ходят — боятся «гуй», то есть блуждающих духов... Ни надписей, ни мавзолеев, ни рядовых могил в сегодняшнем (1988) Харбине он не найдет.

Не произошло и растворения русской эмиграции в «черноволосой желтизне» Китая: с 1948 года по 1955-й почти все русские из Китая переселились в другие страны. Страница истории перевернулась навсегда.

**Е. В. ВИТКОВСКИЙ**

**«ТОЛЬКО ПОБЕЖДЕННЫЙ НЕ СУДИМ...»**

Арсений Несмелов пришел к советскому читателю внезапно, и сразу в очень большом количестве — лишь во второй половине 1988 года пять журналов опубликовали более полутора тысяч строк его стихотворений, притом некоторые из них оказались напечатаны дважды и трижды. Его книги, немалые по предполагаемому объему, немедленно оказались в планах столичных издательств на ближайшие годы, тем более что в 1991 году будет отмечено столетие со дня рождения поэта.

Так, через сорок три года после своей смерти на полу камеры пересыльной тюрьмы под Владивостоком, встал из небытия один из самобытнейших русских поэтов второй четверти нашего века. Встал из забвения как в СССР, так и в русском зарубежье: в СССР бывший белый офицер, эмигрировавший в 1924 году из Владивостока в Харбин, а в августе 1945 года — после занятия города советскими войсками — арестованный и «репатрированный», вплоть до плюралистических перемен в нашей истории, приведших к возвращению советским читателям творчества Гумилева к примеру, — печататься не мог. За рубежом — в силу исчезновения «восточной» части русской эмиграции как таковой, — а Несмелова сколько-то знала лишь она: «западная» часть русской диаспоры, Европа и США, интереса к нему не проявляла, лишь иной раз его поругивали в историко-литературных обзорах за «ориентацию на советские образцы». Впрочем, усилиями нескольких энтузиастов значительная часть наследия Несмелова за последние двадцать лет была собрана: шесть основных прижизненных поэтических сборников, более сотни стихотворений, в эти сборники не входивших, дюжина поэм, ряд весьма интересных прозаических произведений и многое другое. К середине восьмидесятых годов поэт был хотя и безвестен, но сбережен в архивах, собранных по листику в СССР, США, Бразилии, Австралии, Испании, Франции.

Воспитанник 2-го кадетского корпуса в Лефортове, коренной москвич Несмелов (тогда еще живший под настоящим именем — Арсений Иванович Митропольский) первую мировую войну провел в окопах на австро-германском фронте, после революции вместе с остатками армии Колчака попал во Владивосток и лишь там, тридцатилетним, зрелым человеком, всерьез занялся литературным трудом. «Поседевшим юношей с мучительно расширенными зрачками» назвал его живший в те годы на Дальнем Востоке Николай Асеев в одной из статей. О его сборнике 1924 года («Уступы») тепло отозвался Борис Пастернак (в письме), а также Вивиан Итин — в рецензии на страницах «Сибирских огней», где поэт по 1929 год включительно, давно находясь в эмиграции, регулярно печатал стихи и прозу. Есть свидетельства его творческих контактов с С. М. Третьяковым, Скитальцем, Вл. К. Арсеньевым; Несмелов переписывался с Мариной Цветаевой; позднее его высоко ценили Леонид Мартынов, Сергей Марков — и многие другие.

Поэмы Несмелова — особый предмет для исследования, хотя, увы, далеко не все они сохранились. Отдельными изданиями в свое время вышли поэмы «Тихвин» (Владивосток, 1922), «Через океан» (Шанхай, 1934), «Протопопица» (Харбин, 1939), «Георгий Семёна» (1936, под псевдонимом «Н. Дозоров»). В разное время в периодике и альманахах были опубликованы поэмы «Дьяволицы», «Псица», «Тысяча девятьсот четырнадцатый», «Неронов сестерций», «Декабристы», «Как они поладили», «Восстание» (последняя — также под псевдонимом «Н. Дозоров»). Наконец, найдены автографы поэм «Прощеный бес» и «Состязание богов» (значительный фрагмент, но, думается, поэма не была завершена). «Поэмами» в том значении этого слова, которое вкладывал в него сам Несмелов (то есть произведениями больше ста и меньше четырехсот строк), являются, строго говоря, также вошедшие в «Кровавый отблеск» (харбинский сборник 1928 года) «Баллада о Даурском бароне» и «Броневик». Печатью таланта отмечены решительно все, но и поэтически и исторически наиболее значительной среди них представляется поэма «Через океан». Известная харбинско-шанхайская поэтесса и журналистка Ю. В. Крузенштерн-Петерек (жившая до недавней своей смерти в Сан-Франциско) опубликовала в конце шестидесятых годов в парижском журнале «Возрождение» (№ 204) статью «Чураевский питомник»,

которой было суждено стать первой ласточкой в изучении культурного наследия и литературы русского Китая. В этой статье есть такие строки:

«В Харбине существовала легенда. В 1922 году несколько кадетов, раздобыв маленький парусно-моторный бот, решили плыть на нем в Америку. Капитаном они пригласили встретившегося им в порту боцмана. Крошечное суденышко не только благополучно проделало этот фантастический путь, но и установило рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса. Этой легенде Арсений Несмелов посвятил поэму «Через океан». В один из вторников мы слышали ее в Чураевке<sup>1</sup>. Читал Несмелов бесподобно:

Складка досады как шнур на лбу.  
Капитан опустил трубу. (...)».

О той же поэме упоминает другой выходец из русского Китая, ныне живущий в Бразилии поэт Валерий Перелешин, в статье «Арсений Несмелов (к двадцать пятой годовщине гибели поэта)» в газете «Новое русское слово» (12 июля 1970 г.) Перелешин пишет, что поэма «промелькнула, как веселая пестрая бабочка». Так или иначе, доказательств подлинности легенды о боте «Рязань» автору этих строк найти не удалось.

Но удалось найти саму поэму.

Советскому читателю пока доступны лишь опубликованные в СССР поэмы Несмелова, — самой поздней была напечатанная в № 2 за 1929 год «Сибирских огней» «Псица», — а в наши дни переиздана («Дальний Восток», 1988, № 12) лишь поэма «Декабристы» (1925). Поэмы наиболее зрелого периода творчества поэта — тридцатых и сороковых годов — еще ждут возможности принести радость массовому читателю. Первыми, таким образом, становятся «Через океан» и «Прощенный бес» («Дон», 1989, № 4).

Поэма написана излюбленным размером Несмелова — «паузником», как он сам называл его, временами переходящим в традиционный пятистопный хорей. Над финалом — в котором боевой офицер первой мировой и ветеран белого движения Несмелов предсказывает будущий интерес потомков к «эпопеям» граждан-

<sup>1</sup> «Чураевка» — литературное объединение молодых писателей в Харбине конца 1920 — начала 1930-х годов, основанное поэтом Алексеем Ачаиром, ее название — от цикла романов Г. Гребенщикова «Чураевы».

ской войны, молодые поэты русского Китая откровенно посмеивались, многие из них были настроены очень про-советски, — они брали советские паспорта и понемногу уезжали в СССР, где большинство их прошло через лагеря, а в лучшем случае было обречено прозябать преподавателями английского языка в глухой провинции. В литературе, за редчайшими исключениями, никто не удержался.

У Несмелова по поводу происходящих в СССР событий в тридцатые годы не было ни малейших иллюзий. Сохранилось его стихотворение, не вошедшее ни в один сборник и написанное, видимо, после одного из последних писем Вивиана Итина (из Новосибирска), когда редакция «Сибирских огней» получила серьезный нагоняй за публикацию рассказа Несмелова «Короткий удар» (1928, № 5), где офицеры царской армии были обрисованы как вполне живые люди, — иначе говоря, не так, как было надо по теории эпохи. Представляется важным процитировать это стихотворение.

#### ПИСЬМО

Листик, вырванный из тетрадки,  
В самодельном конверте сером,  
Но от весточки этой краткой  
Веет бодростью и весельем.

В твердых буквах, в чернилах рыжих,  
По канве разлиновки детской,  
Мысль свою не писал, а выжиг  
Мой приятель, поэт советский:

«День встает, напряжен и меток,  
Жизнь напориста и резва,  
Впрочем, в смысле свиных котлеток  
Нас счастливыми не назвать.

Все же, если и все мы тощи,  
На стерляжем пуху пальто,  
Легче жилистые наши мощи  
Ветру жизни носить зато!»...

Перечтешь и, с душою сверив,  
Вздригнешь, как от дурного сна:  
Что, коль в этом гнилом конверте,  
Боже, по д л и н н а я весна?

Что тогда? Тяжелей и горше  
Не срываются с якорей.  
Злая смерть, налети, как коршун,  
Но скорее, скорей... Скорей!

Предсказание поэта сбылось, но, к счастью, не сразу, и он успел оставить нам значительное наследие, — хотя житье в оккупированном японцами Харбине было голодным и холодным. Август, а затем сентябрь сорок пятого года отняли у Несмелова сперва свободу, потом жизнь. А нынешний всплеск интереса к его творчеству — еще одно сбывшееся предсказание Несмелова, то, которое найдет читатель в последних строках печатаемой ниже поэмы «Через океан».

## АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

### ЧЕРЕЗ ОКЕАН

(Поэма)

В 1922 году в дни эвакуации Приморья остатками дальневосточной Белой Армии, несколько кадет, раздобыв крошечный парусно-моторный бот «Рязань», решили плыть на нем в Америку. Капитаном судна был избран случайно встреченный в порту боцман. Судно благополучно прибыло к берегам Северной Америки, установив рекорд наименьшего тоннажа для трансокеанского рейса. Как сообщает молва, жители города, в гавани которого кадеты бросили якорь, вынесли «Рязань» на берег и на руках, под звуки оркестров, пронесли по улицам.

### I

Складка досады как шнур на лбу;  
Капитан опустил трубу:  
«В этих широтах, где шквалом бьет  
Левиафанов, — рыбачий бот?!»

Лево руля положил штурвал,  
Вахтенный тянет сигнальный фал.

Долго ли боту лечь в дрейф?  
Кливер прихвачен, фок — с рей,  
Заполоскал и упал бизань.

— Русская дрянь! На корме — «Рязань»!



Рупор к матросским губам прижат,  
Мышцы на голой груди дрожат,  
И выдувает, как мехом, грудь:  
«Эй вы, откуда? Куда ваш путь?»

И переплескивает моряку:  
«Из Владивостока в А-ме-ри-ку!»

## II

Бот, не поднявший при встрече флага  
(Снят революцией этот флаг),  
Кто он для встречного? Лишь бродяга  
С жалкой командою из бродяг!

«Русский!» — не спичечный коробок ли  
Эта скорлупка? — В ней шесть сердец:  
Шесть человек насчитал в бинокли,  
Женский толпой зацветя, спардек.

Девичьим губкам поахать любо,  
Радостно сердце зажечь огнем.  
Легче!.. На боте не флаг яхт-клуба,  
Не знаменитый спортсмен на нем!

«Русский!» — От голода и от страха  
Прет бесшабашно на рожон.  
Нету причины ни петь, ни ахать —  
Воздух их родины заражен.

Это суденышко — сыпнотифозный,  
С койки своей убежавший в бреду.  
Путь его к гибели неосознан:  
«Без покаяния пропадут!»

## III

Бот на ост, пароход на вест.  
Ставь, капитан, на восточном крест:  
Жми, капитан, желваки скул:  
Будут собою кормить акул.

Васко да Гама и Лаперуз  
С морем иную вели игру-с;  
Там удалцы, королевский флот,  
Это же — русский дырявый бот.

Был капитан, вероятно, прав,  
Высверкал радиотелеграф:

«В трех тысячах миль от Сан-Франциско  
(Дата) встречен рыбацкий бот.  
Курс — ост. Невероятность риска  
Убеждает в безумьи ведущих его;  
Впрочем, бот принадлежит русским,  
А им благоразумие свойственно разве?  
Иокогама во вторник. Телеграфируйте груз.  
Тихоокеанская линия. «Эмпресс оф Азия»<sup>1</sup>.

#### IV

Не угадаешь, какого ранга  
Этот потомок орангутанга;  
Ноги расставил, учуяв крен,  
Свесились руки до колен.

Морда небритая смотрит храбро,  
Воздух со свистом ноздрею забран;  
Цепкой о ножичек бряк да бряк,  
Боцман Карась — удалой моряк!

Жадной девчонкой в порту обласкан,  
Алым цветочком украсит лацкан,  
Но из цветочного барахла  
Прет, как галушка, мурло хохла.

Он на вопрос, на учтивость герла:  
«Где ваша женушка?» — брякнет: «Вмерла!»  
Плавал в Шанхай, на Камчатке жил,  
Любит хану, и сулю, и джин.

Деньги оставил у хитрой барышни,—  
Стало быть, снова ступай на парусник.  
Тяжело похмелье на берегу.  
«Можешь в Америку плыть?» — «Могу!»

---

<sup>1</sup> «Empress of Asia» (англ.). — «Владычица Азии».

Лишь оторваться б! Всяк путь отраден.  
«Бот-то, ребяташки, не украден?»  
Впрочем, в моменты эвакуации  
Мелочами интересоваться ли?

Выспись да трезвым наутро встань,  
По-настоящему капитань!

## V

Боцман лениво идет на ют.  
Славно ребята его поют!  
Даже не хочется материть —  
Верится: выпоют материк!

«Ветер-ветерочек, вей в корму,  
Ветер-ветерочек, не штормуй!  
Чтобы каждый парус был пузат,  
Потому что нам нельзя назад.

Ветер-ветерочек, я — кадет,  
Был всегда на палочку надет;  
А теперь в смоле холщовый зад,  
Но и задом нам нельзя назад.

Ветер-ветерочек, не к добру  
Не учил я раньше ал-геб-ру,  
А горланил с чехами «наздар»,  
Вот за это и нельзя назад.

Может, плакать будем мы потом,  
Но потом бывает суп с котом,  
И, что бы там ни было, пока  
Принимай-ка нас, Америка!»

Думает, сплевывая, Карась:  
«Ладная банда подобралась!»

## VI

Друг, не вчера ли зубрил про катеты  
Да про квадраты гипотенуз?  
Нынче же, смотришь, придут и схватят те,  
Что объявили отцам войну.

Можно ль учиться, когда надтреснут  
Старый уклад и метель в дыру?  
С курток погоны приказом срезаны,  
Дядьки указывают директору.

Проще простого: винтовки нате-ка,  
Нате подсумки и груз обойм.  
Не перейти ль от игры в солдатики  
К братоубийственнойшей из войн?

И перешли. Так уходит скаут  
В лагерь, как эти в отряды шли;  
Но о любимых лишь bene aut  
Nihil<sup>1</sup> — их пять уцелело лишь!

В лагере можно мечтать о доме,  
Лес оконтрастит его уют,  
Ну, а в тайге ничего нет, кроме  
Гнуса. Соловушки не поют.

Нет молочка, и уютам — крышка;  
В ночь непогожую — до утра  
Закоченеешь, как кочерыжка,  
Коль не сумеешь разжечь костра.

Детские души — как лопоть — в клочья!  
Зубы молочные раскроша,  
Вырастят мальчики зубы волчьи,  
Волчьей же сделается душа.

Хмуро дичая от понужая<sup>2</sup>,  
Бурым становишься, как медведь.  
Здесь обростешь бородой, мужая,  
Или истаешь, чтоб умереть.

Ночью, когда раздвигают сучья  
Звезд соглядатайские лучи,  
Смело и просто заглянешь с кручи  
Сердца в кристальную глубь причин.

Что-то увидишь и в память спрячешь,  
Чтобы беречь весь свой век его,  
И никогда уже не заплачет  
Так улыбнувшийся в непогоду.

<sup>1</sup> «Хорошо или ничего» (лат.).

<sup>2</sup> Мороз, вынуждающий идти не останавливаясь в тайге.

В плен ли достанешься, на коленках  
Не поползешь — не такая статья:  
Сами умели поставить к стенке,  
Значит, сумеют и сами статья!

## VII

Город и море: куда же дальше нам?  
Грузят два крейсера генеральшами.  
День пробродили в порту и вот  
Сняли с причалов рыбачий бот.

С берега море песок сгребало.  
Ветер — на девять штормовых баллов —  
Взвизгивал, брызгами моросся.  
Темень. И трубочка Карася.

## VIII

Близится. Вот он. Перешагнул.  
Так по таежным вершинам ветер  
Тянет широкий, протяжный гул,  
Словно сырые рыбачьи сети.

Плавно поднимет и бросит вниз;  
Всхлипнув, скрипуче положит набок.  
Лампа качается и карниз  
Темной каюты качает как бы.

Будто бы та же кругом тайга,  
Та же землянка без зги, без следа.  
Тиф. Неустанный напор врага  
И голубые лохмотья бреда.

Нет:— То широко идет волна,  
Словно щенок за щенком, вприскокку,  
И любопытно следит луна  
В мертвом движеньи живую точку.

Это на мачте несет «Рязань»  
Желтый огонь, золотую искру.  
Это зрачок, темноту грызя,  
Точку свою из тумана выскреб.

Дни и недели. «Карась, мы где?» —  
 «В морю». — «Хохлуха, туда ль нас  
 гонишь?» —

«Разве написано на воде?  
 Прём на восток, и молись иконе!»

Бот по-таежному нелюдим,—  
 Встречей в тайге не прельстишь бродягу:  
 Если увидят далекий дым,  
 Так норвят, что от дыма — тягу.

Может, в Америку плыть нельзя?  
 Может, в Америке встретят в сабли?  
 Все же, все чаще, волной скользя,  
 Щупал прожектор шальной кораблик.

Перли по-жульнически. В кустах  
 Так пробирается беглый. Кончик  
 Уха в траве показав, русак  
 Так удирает от шустрых гончих.

Думалось, встретит «Рязань» ковчег  
 Этаким мощный и необъятный,  
 Пересчитает, обложит всех,  
 И заворотит: гуляй обратно!

У Карася, уж на что бывал,  
 Стала тоска проступать на морде;  
 Все-таки перли и в штиль, и в шквал.  
 Не помышляющие о рекорде.

Белкой, крутящейся в колесе  
 Страха, кончают свой путь отважный,  
 Ибо приблизились к полосе,  
 Именуемой каботажной.

«Морду набьют,— говорит Карась,—  
 Даже напиток не будет сроку!»  
 Все ж, неизвестности покорясь,  
 Курс до конца на восток простроган.

Вот и прибрежные острова,  
 Не изменять же у цели румба!..  
 И растворяется синева  
 Пройденных миль над страной Колумба.

Только укрыться и не пытайся:  
Всюду подгадят болтун и кляузник.  
Вот заметка из какого-то «Таймс»  
В переводе на русский паузник:

«Через океан на 10-тонном боте.

Установлен рекорд на наименьший тоннаж».

Фотографии: мистер Карась (уже в  
рединготе!),  
Обсосанная ветрами «Рязань» и ее экипаж.

В заметке сказано: «Уклоняясь от встречи  
С дозорным миноносцем и принятый за  
спиртовоза,  
Бот не исполнил приказания в дрейф лечь  
И был обстрелян, но, к счастью, в воздух».

Из своей скорлупы при осмотре вытряс  
Бот шесть человек. До ближайшей гавани  
Капитан не пожелал сообщить (славянская  
хитрость!)

Истинной — рекордсменской — цели  
плавания.

Итак, приз, равный 30 000 долларов,  
За трансокеанский рейс при наименьшем  
тоннаже,

Достанется этим бесшабашным головам».

Затем: интервью — почтительнейшее —  
с хохлованом нашим.

## Х

Говорят, и этому я верю,  
Что тот город, где кадет-матрос  
Бросил якорь, вынес бот на берег  
И по улицам его понес.

И о чем народом крепким пелось,  
Что кричалось — выдумать не рвись;  
Вероятно, прославлялась смелость  
И отваги мужественный риск.

Милые, что ныне с вами стало,  
Я не знаю. Вероятно, там  
Растворившись, приняли за малость  
Славу, улыбнувшуюся вам.

Кончен сказ, и требуется вывод;  
Подытожить, сердце, не пора ль,  
Ибо скажут: расписались вы вот,  
Ну, и что же? Какова мораль?..

## XI

Лбом мы прошибали океаны  
Волн летящих и слепой тайги;  
В жребий отщепенства окаянный  
Заковал нас Рок, а не враги.

Мы плечами поднимали подвиг,  
Только сердце было наш домкрат;  
Мы не знали, что такое отдых  
В раззолоченном венце наград.

Много нас рассеяно по свету,  
Отоснившихся уже врагу;  
Мы — лишь тема, милая поэту,  
Мы — лишь след на тающем снегу.

Победителя, конечно, судят,  
Только побежденный не судим,  
И в грядущем мы одеты будем  
Ореолом славы золотым.

И кричу, строфу восторгом скомкав,  
Зоркий, злой и цепкий, как репей:  
— Как торнадо, захлестнет потомков  
Дерзкий ветер наших эпопей!

*Харбин, 1930*



---

---



---

---

М. Г. Ратгауз

О БОРИСЕ ПОПЛАВСКОМ

«Когда-то, вскоре после смерти поэта, на одном из парижских публичных собраний Мережковский сказал, что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного с лихвой достаточно для ее оправдания на всех будущих судах», — вспоминал Георгий Адамович. Единственный прижизненный сборник стихов («Флаги», 1931) и еще три после смерти («Снежный час», 1936; «В венке из воска», 1938; «Дирижабль неизвестного направления», 1965), два до сих пор не опубликованных полностью романа («Аполлон Безобразов», «Домой с небес»), несколько статей и книга дневников, а в них и за ними — мучительная жизнь, названная Г. Газдановым «неравной борьбой», в которой нельзя не проиграть, и гибель в тридцать два года — все это объявлено оправданием целой литературной эпохи.

Судьба Бориса Поплавского — в каждый отдельный ее момент совершенно особая, имеющая внутреннюю логику, настолько самостоятельная, что друг Поплавского прозаик Юрий Фельзен утверждал: «К его истокам и душевному центру просто нет и не может быть путей», — тем не менее вычерчивает некую общую линию судьбы целого поколения русской пореволюционной молодежи, «его товарищей и братьев, всех тех всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела: ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле» (Г. Газданов).



Борис Поплавский

Как тысячи его сверстников, в 1918 году пятнадцатилетним юношей Поплавский с отцом уезжает из Москвы, чтобы последовать за белой армией. После скитаний по югу России — остановка на год в Константинополе. Перед Поплавским выбор — чему посвятить себя: поэзии или живописи. Вместе с поэтом В. Дукельским он организует в Константинополе небольшой «Цех поэтов», но уже после переезда в Париж отправляется в 1922 году в Берлин учиться в Академии художеств, которую вскоре бросает, сделав окончательный выбор (хотя и не оставляет занятий живописью).

В Париже Поплавский меняет разные работы, однако большую часть времени проводит в монпарнасских кафе, ведя полунищенское существование: «дневной бюджет Поплавского равнялся семи франкам, из которых три он отдавал приятелю» (В. Ходасевич). Примерно с 1923 года он принимает участие в различных художественных объединениях: сначала в поэтических обществах

«Через» и «Гатарапак», затем в «Союзе молодых писателей и поэтов», выступает на заседаниях «Кочевья» и литературно-философских собраниях у Мережковских «Зеленая лампа». С 1927 года Поплавский становится сотрудником газеты «Последние новости», а с 1929 года — крупнейшего журнала первой русской эмиграции «Современные записки». В 1931 году после выхода первой книги стихов Поплавский оценен критикой как один из самых талантливых молодых поэтов русского Парижа; кроме того, с 1930 года вместе с Г. Адамовичем, Г. Ивановым и Н. Оцупом он во многом определяет программу самого значительного журнала молодой парижской эмиграции «Числа». В ночь с 8 на 9 октября 1935 года Борис Поплавский вместе со случайным знакомым — Сергеем Ярком — принимает слишком сильную дозу наркотика и, не приходя в сознание, умирает.

Такова вкратце жизненная и литературная биография Поплавского, во многом — кроме конечного пункта — совпадающая с биографиями его литературных соратников, но не дающая, в сущности, никакого представления о его истинной духовной судьбе, о том сложном и запутанном пути, которым он пришел к своей — вольной или невольной — гибели. Лишь частично дает об этом представление его литературное творчество.

\* \* \*

«Не для себя и не для публики пишут. Пишут для друзей. Искусство есть частное письмо, посылаемое наудачу неведомым друзьям, и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени». Из другой статьи Поплавского: «Да и вообще стихи не важны, гораздо важнее быть знакомым с поэтом, пить с ним чай, ходить с ним в кинематограф, стихи же в общем это суррогат, это для тех, у кого нет глаз для дальнего, глухого, являющегося в еле уловимых признаках».

Сама идея недостаточности искусства, невозможности его существования в границах, им самим созданных, необходимости слияния искусства с «жизнью» становится одной из самых популярных в 1920-е годы и находит свое отражение в таких разных явлениях, как теории экспрессионизма и «эмоционалистские» идеи М. Кузмина, с одной стороны, — «литература факта» и «социальный заказ», с другой. В эмигрант-

ской литературе эта идея слышится в знаменитом споре между Ходасевичем и Адамовичем о «поэзии человеческого документа», выводящей поэзию собственно за рамки литературы.

Для Поплавского осуществление этой идеи стало обязательным условием существования литературы вообще. Он ищет прямой, единственной и личной связи судьбы и слова (такой же связи в своих религиозных экспериментах он ищет с Богом), вне каких бы то ни было общественных форм существования литературы или ее имманентного развития (традиция, новаторство и т. д.). Поэтому для Поплавского идеальный читатель — друг, а идеальная форма существования слова — разговор, и только в нем может быть достигнута высшая цель слова: «И не сейчас, а когда уже вовсе не останется в эмиграции никаких журналов, ни собраний, когда даже самые удачливые и модные литераторы окончательно обнищают, состарятся и обезнадежатся, тогда в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова, скажут и замолчат от восхищения перед миром, перед Богом и перед собой, и освободятся и улыбнутся и закроют глаза. Скажут и умрут, как нищие цари». Почти все современники, вспоминая Поплавского, вспоминают и о его долгих «разговорах», которые для него были, вероятно, важнее того, что он заносил на бумагу.

Отсюда ясно, почему из русских поэтов XIX века Поплавский более других любил Лермонтова, «которому иногда удавалось быть вне литературы и над литературой», а утверждение Поплавского, что «поэзия должна быть личным, домашним делом», безусловно, связано с культом «домашнего» и «дневника» у любимого им Розанова. (Оба имени — Лермонтов и Розанов — стали в 1930-е годы знаком сторонников Адамовича и «Чисел», в противоположность Ходасевичу и группе «Перекресток», выдвигавшим имя Пушкина.)

Искренние и страдальческие дневники Поплавского, которые он вел с ранней юности до самой смерти, были выборочно изданы отдельной книгой в 1938 году, но близкий друг и душеприказчик Поплавского Николай Татищев заметил: «〈...〉 все то, что писал он, почти дневник». Желание вынести собственное литературное творчество за скобки литературы, сделать его фактом жизни и свидетельством непрекращающегося духовного развития определило главную особенность поэзии По-

плавского: принципиальное литературное несовершенство и незавершенность, непрерывность. «Музыка замутненная, непросветленный хаос, вот образ, невольно возникающий, когда стараешься вплотную подойти к этой поэзии» (Н. Татищев). Стихи Поплавского следуют один за другим, продолжая друг друга, между ними нет логических пауз, это отрезки одного движения (что, к сожалению, мало заметно по небольшой стихотворной подборке). Поплавский отказывается от точности поэтического слова, его семантической и ритмической фиксированности в структуре стиха — вплоть до создания верлибров. «Туманность», «облачность» его поэзии, которую отмечали почти все критики, — следствие умышленно «небрежного», приблизительного выбора слов, чтобы «смертельно ранить в области сердца». Н. Татищев вспоминал: «Первое впечатление от Флагов было такое: звук чистый и щемящий. Понять почти невозможно. Лишь иногда что-то прорвется и ужалит».

Переходящие из стихотворения в стихотворение образы создают единый поэтический мир Поплавского, населенный мистическими видениями и сюрреалистическими персонажами, которые делают особенно явным литературный генезис этой поэзии: стихи и новеллы Эдгара По, творчество Лотреамона, Бодлера, Лафорга, Аполлинера и особенно Рембо, с которым Поплавский иногда готов был себя идентифицировать, а также живопись А. Руссо, М. Шагала, А. Минчина, может быть, М. Эрнста. Эта связь осознавалась самим Поплавским не как продолжение традиции, но как «провиденциальный диалог», тем более что готическая, католическая Франция стала для него второй родиной.

По свидетельству Н. Татищева, Поплавский никогда не перерабатывал отдельных строк или строф, а всегда переписывал неудавшееся стихотворение заново, чтобы сохранить живое дыхание стиха. Две любимых Поплавским движущиеся стихии — дождь и падающий снег — являются своеобразным метафорическим ответствием природе его стиха. «Нескончаемая, протяжная колыбельная песнь» (Г. Адамович) или «медиумическая запись романтического визионера» (Ю. Иваск) — таковы впечатления современников от поэзии Поплавского.

В равной степени эти определения относятся и к его ритмически построенной, «властно заражающей», так же как и его стихи, имеющей «обволакивающий, ане-

стезирующий привкус» прозе. В романах «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес», которые за отсутствием средств так и не были целиком изданы и которые, как считали многие,— лучшее из того, что написал Поплавский, он еще более верно и последовательно, чем в поэзии, следует своей дневниковой записи: «Писать, наконец, писать без стиля, по-розановски, искать скорее приблизительного, чем точного, животно-народного, смешным языком, но писать».

Мистическое жизнеописание нескольких монпарнасских «жителей» в «Аполлоне Безобразове» и история несчастной любви эмигрантского юноши в романе «Домой с небес», в сущности, стали лишь «смесью личных признаний с заметками о других людях, без логической связи, без стремления к композиционной последовательности, (...) таким же монологом, как его стихи» (Г. Адамович). Оба романа откровенно автобиографичны; призрачный сюжет, так же как и некоторое влияние Пруста и Джойса, о которых Поплавский писал восторженно, не скрывают того, чем внутренне для Поплавского были эти романы: новой попыткой, еще одной формой исповеди.

Все, что Поплавский успел сделать в литературе,— «это не он сам: это рассказ о нем, вернее, комментарии к нему, дополнение к его мечтам, мыслям, сомнениям, порывам». (Г. Адамович). Стихи и проза для Поплавского должны были стать — и не стали — облегчением, освобождением, разрешением той самой мучительной и главной темы его жизни, которую он сам назвал — «роман с Богом».

\* \* \*

Поплавский с ранней юности «болел метафизической одержимостью», истинным двигателем которой было страстное, иногда почти истерическое желание найти в своей жизни и в том, что с ним происходит, «телеологическое тепло» (по выражению О. Мандельштама). Еще в Константинополе он много и упрямо читает Р. Штейнера, Я. Бёме, Е. П. Блаватскую, Кришнамутри, общается с некоторыми антропософами. Всю жизнь Поплавского можно представить как долгий, болезненный, но в результате безуспешный поиск внутренней душевной гармонии в условиях абсолютно дисгармоничного мира (поэтому, безусловно, неверны характеристики

Поплавского как декадента). Этот поиск шел в разных направлениях: от многочисленных попыток ухода от мучившей его реальности до «осязательной братской любви» к ней. Но центром его духовных исканий стало «стремление к святости», осознание необходимости обрести религиозную гармонию.

«В детстве я часто засыпал посередине молитвы, как хорошо было бы мне тогда умереть посередине сна», — говорит лирический герой «Аполлона Безобразова». Предельно искренняя, максималистская вера Поплавского, находящаяся за рамками обрядности, как, в сущности, и определенной религии<sup>1</sup>, стремится выразить себя в экстатическом напряжении молитвы, но требует при этом прямого ответа, пусть мгновенного, но явления Божественного духа, слияния с ним, иллюминации. Н. Бердяев, неодобрительно относившийся к этой стороне жизни Поплавского, писал: «〈...〉 он не столько имел религиозный опыт, сколько делал религиозные опыты, проводил эксперименты». Эти «опыты», как правило, кончались для Поплавского трагическим разочарованием, искушавшим его веру, и дневники свидетельствуют о тяжелых душевных кризисах, которые он переживал от безысходности своего религиозного напряжения.

Другой попыткой «жить по благодати» стала для Поплавского аскеза, превратившая последние годы его жизни в аскетический подвиг. Далекий от Монпарнаса, журналист Андрей Седых с недоумением вспоминает что Поплавский мог по несколько часов подряд лежать лицом к стене, не двигаясь и не разговаривая. Н. Татищев рассказывает, что после часа непрерывной сосредоточенной медитации у Поплавского начинались сильные головные боли. «Думал, что благодатное разрешение не приходит потому, что он слаб, недотренирован», и Поплавский начинает «с истерическим упорством» по многу часов в день заниматься гимнастикой и боксом, которые сильно развили его мускулы, но не принесли ни желанного результата, ни облегчения. Все современники без исключения вспоминают, что Поплавский всегда носил черные глухие очки: «он жаловался

---

<sup>1</sup> Американский славист С. Карлинский определяет «вероисповедание» Поплавского как синтез русского православия, испанского католицизма и индуизма. См.: Karlinsky S. The alien comet. — Поплавский Б. Собр. соч., т. I. Berkeley, 1980, p. XI.

на боль в глазах: «точно попал песок». Но песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось» (В. Яновский).

Сосредоточенная, можно сказать, титаническая устремленность всех душевных усилий Поплавского к одной цели приводила его к крайне неустойчивым формам психического поведения, внезапным переходам от глубоких стрессовых состояний к безудержному веселью и т. д. Многих поражало удивительное сочетание в Поплавском незащищенности и грубости, склонности к скандалу, даже драке. «Одним я слишком перемахнул, другим слишком перекланялся», — записывает он в дневнике. Эта грубость также имеет для Поплавского религиозную экстатическую основу, ее внутренний смысл становится ясен из его статьи, посвященной книге Мережковского «Атлантида-Европа»: «Но как сделать экстаз непрерывным, как жить в экстазе, а не только болеть экстазом? (...) Аскеза говорит: постоянно поддерживать его волей, постоянно форсировать его, пусть до грубости, постоянно кричать о святом, постоянно плакать, нарушая все законы приличия».

Другой драматической чертой личности Поплавского, от которой он сам страдал, была необычайная изменчивость, «ужасный, безжалостный дар — быстро и полно исчерпывать любое очередное открытие» (Ю. Фельзен), который осложнялся тем, что некоторые мемуаристы называют «страстью к фантазированию», а другие — «неудержимой приверженностью к лжи». (Эта «женственная» стихия в личности Поплавского заставляла многих современников сравнивать его — больше как психологический тип — с Андреем Белым.) Лихорадочный поиск своего истинного пути в жизни приводил Поплавского к чрезвычайному идеологическому непостоянству: «Никогда нельзя было знать и предвидеть, с чем придет сегодня Поплавский, кто он в сегодняшней вечер: монархист, коммунист, мистик, рационалист, ницшеанец, марксист, христианин, буддист или просто спортивный молодой человек, презирающий всякие отвлеченные мудрости (...)» (Г. Адамович).

Это непостоянство, находящееся, по выражению Бердяева, «на границе измены самому себе», — лишь одно из свидетельств того душевного кризиса, исток которого — в религиозной «неутоленности» Поплавского, приводившей его к своеобразному богоборчеству: «Я никогда не сомневался в существовании Бога, но сколько раз я



сомневался в моральном характере Его любви. Тогда мир превращался в раскаленный, свинцовый день мировой воли, а доблесть в сопротивлении Богу — в остервение стальной непоколебимой печали».

Поплавский пытается отвоевать для себя хотя бы частичную свободу человека от Божественного промысла, и единственную возможность такой свободы он видит в «героической метафизике саморасточения», которая в конце концов и привела его к гибели. Возможность богоборчества Поплавский связывает, в частности, с эсхатологическими идеями, охватившими Европу 1930-х годов в предчувствии надвигающейся войны. «Мы живем ныне уже не в истории, а в эсхатологии, и даже самые грязные газеты это смутно понимают», — пишет он в статье «Среди сомнений и очевидностей», а в статье о Мережковском продолжает: «Не достаточно ли поблудили, не достаточно ли налгали, не пора ли поджариваться, не пора ли расточиться, развеяться, ибо жизнь уже закончена в мгновение экстаза и к чему повторение».

Характерно, что из культурных эпох, близких Поплавскому, он, как и некоторые другие писатели революционной эпохи (Кузмин, Вагинов), особо выделяет в своих стихах и прозе первые века христианства, с их атмосферой гибнущего старого мира и зарождающейся новой религии. Однако Поплавский ощущает себя не столько последним римлянином, сколько первым христианином. Дело здесь заключается в том, какое значение придавал Поплавский эмиграции — трагическому повороту в своей судьбе и судьбе своих соратников. Страстно ища хотя бы иллюзорной телеологической защиты, Поплавский утверждал, что для молодого человека, который способен, в отличие от старого эмигранта, ассимилироваться в чужой культуре, эмиграция становится «свободным выбором атмосферы» и после того, как «большинство представителей «благоухающих седин» сойдет со сцены», она могла бы быть «апокалипсическим тайным обществом», «расположенным над Россией, над Францией, над Европой и над Азией, над богатством и над нищетой».

Поэтому в своей нищете, абсолютной материальной беспомощности, неумении «врастать в жизнь» (Н. Татищев назвал Поплавского «эмигрантом в квадрате», а Газданов писал: «Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем — в любой среде, в которую попа-

дал») сам Поплавский видел высокое предназначение: «Ясно, что удаваться и быть благополучным — греховно и мистически неприлично». Аполлон Безобразов в романе говорит: «Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове. Не ясно ли Вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был лысоват и что под ногтями у него были черные каемки». Так иногда в гибельном воздухе, которым дышал Поплавский, он чувствовал воздух христианской жертвенности и вдохновения: «И, конечно, для литературы <...> самое лучшее — это погибать. <...> Христос, Сократ и Моцарт погибли, и сиянием своего погибания озарили мир. <...> Как жить? — Погибать. Улыбаться, плакать, делать трагические жесты, проходить, улыбаясь, на огромной высоте, на огромной глубине, в страшной нищете. Эмиграция — идеальная обстановка для этого».

Но, прославляя «достоевскую» «доблесть падения», Поплавский — может быть, инстинктивно — искал спасения от нее, возможности вдруг оказаться «за пределом судьбы и беды», и до некоторых пор находил это спасение в поэзии, вернее, в той стихии чистой музыкальности, которая роднила его с Блоком и единственно в которой «он не чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег» (Г. Газданов). Однако поэзия была для Поплавского и надеждой разрешения его религиозного кризиса; поэтому вместе с отчаянием, невозможностью достичь религиозной гармонии к нему приходит поэтическое молчание, осознание того, что искусство «бессмысленно и невозможно». По воспоминаниям Н. Татищева, за несколько месяцев до смерти он перестает писать, а за месяц — хочет продать все свои книги, потому что это «не нужно». Г. Газданов написал о том, что Поплавский «чувствовал, как гложет вокруг него воздух». Это трагически напоминает знаменитую речь Блока, в которой, говоря о том, что Пушкина убила не пуля, а «отсутствие воздуха», Блок, конечно, имеет в виду и свою собственную судьбу и близкую смерть. Недаром Г. Адамович, объясняя безвыходность участи Поплавского, утверждал: «Поплавский начинает с того, чем Блок кончил, прямо с «пятого акта» духовной драмы».

Еще в августе 1933 года Поплавский, который уверял в одной из статей, что «атмосфера агонии — единственная приличная атмосфера на земле», записывает в днев-

ник совсем иное: «〈...〉 а я по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается к себе, отходит от реализации».

Влияние Поплавского на русском Монпарнасе было огромно, и не только из-за его необычайной талантливости «с проблесками гениальности», но главным образом из-за того, что, пытаясь найти тайный смысл и оправдание *своей* жизни и *своей* трагедии, он невольно искал их и для общей трагедии целого поколения.

Гибель Поплавского — «именно гибель, не смерть и, вероятно, не самоубийство» (Н. Берберова) — потрясла всех своей «ужасной внутренней неслучайностью» (В. Ходасевич).

«Смерть же Поплавского — это не только то, что он ушел из жизни. Вместе с ним умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один. 〈...〉 Теперь это сложное движение его необычайной фантазии, его лирический и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломей, матросов, ангелов, света и тьмы — все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипением», — писал Г. Газданов

#### В РАБОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ:

1. А да м о в и ч Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.
2. Б а х р а х А. По памяти, по записям. Париж, 1980.
3. Б е р б е р о в а Н. Курсив мой. Мюнхен, 1972.
4. Б е р д я е в Н. По поводу «Дневников» Б. Поплавского. — Современные записки, т. 68, 1939, с. 441—446.
5. Г а з д а н о в Г. О Поплавском. — Современные записки, т. 59, 1935, с. 462—466.
6. И в а с к Ю. Похвала русской поэзии. — Новый журнал, 1986, № 162, с. 104—144.
7. П о п л а в с к и й Б. О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции. — Числа, 1930, № 2/3, с. 308—310.
8. П о п л а в с к и й Б. По поводу... 1. Атлантиды Европы. 2. «Новейшей русской литературы». 3. Джойса. — Числа, 1930—1931, № 4, с. 161—175.
9. П о п л а в с к и й Б. Ю. Среди сомнений и очевидностей. — Утверждения, 1932, № 3, с. 96—105.

10. Татищев Н. Борис Поплавский поэт самопознания.— Возрождение, 1965, № 165, с. 26—37.
11. Татищев Н. О Поплавском.— Круг, вып. 3. Париж, 1938, с. 150—161.
12. Татищев Н. Поэт в изгнании (Борис Поплавский).— Новый журнал, 1947, № 15, с. 199—207.
13. Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж — Нью-Йорк, 1987.
14. Фельзен Ю. Поплавский.— Круг. Париж, 1936, с. 172—176.
15. Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.
16. Шаховская З. Отражения. Париж, 1978.
17. Яновский В. Елисейские поля.— Воздушные пути, т. 5. Нью-Йорк, 1967.

## БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

#### ДОЖДЬ

*Владимиру Свешникову*

Вздучался тент, как полосатый парус.  
 Из церкви выходил сонливый люд,  
 Невесть почто входил вдруг ветер в ярость  
 И затихал. Он самодур и плут.

Вокруг же нас, как в неземном саду,  
 Раскачивались лавры в круглых кадках,  
 И громко, но необъяснимо сладко  
 Пел граммофон, как бы Орфей в аду.

«Мой бедный друг, живи на четверть жизни.  
 Достаточно и четверти надежд.  
 За преступление четверть укоризны  
 И четверть страха пред закрытием везд.

Я так хочу, я произвольно счастлив,  
 Я произвольно черный свет во мгле,  
 Отказываюсь от всякого участия  
 Отказываюсь жить на сей земле».

Уже был вечер в глубине трактира,  
Где чахли мы, подобные цветам.  
Лучи всходили на вершину мира  
И улыбаясь умирали там.

По временам казалось, дождь проходит.  
Не помню, кто из нас безмолвно встал  
И долго слушал, как звонок у входа  
В кинематограф первый стрекотал.

1925—1929

### ЧЕРНАЯ МАДОННА

*Вадиму Андрееву*

Синевели дни, сиреневели,  
Темные, прекрасные, пустые.  
На трамваях люди соловели.  
Наклоняли головы святые,

Головой счастливою качали.  
Спал асфальт, где полдень наследил.  
И казалось, в воздухе, в печали  
Поминутно поезд отходил.

Загалдит народное гулянье,  
Фонари грошковые на нитках,  
И на бедной выбитой поляне  
Умирать начнут кларнет и скрипка.

И еще раз, перед самым гробом,  
Издадут, родят волшебный звук.  
И заплачут музыканты в оба  
Черным пивом из вспотевших рук.

И тогда проедет безучастно,  
Разопрет и празднику не рада,  
Кавалерия, в мундирах красных,  
Артиллерия назад с парада.

И к пыли, к одеколону, к поту,  
К шуму вольтовой дуги над головой  
Присоединится запах рвоты,  
Фейерверка дым пороховой.

И услышит вдруг юнец надменный  
С необъятным клешем на штанах  
Счастья краткий выстрел, лет мгновенный,  
Лета красный месяц на волнах.

Вдруг возникнет на устах тромбона  
Визг шаров, крутящихся во мгле.  
Дико вскрикнет черная мадонна,  
Руки разметав в смертельном сне.

И сквозь жар, ночной: священный, адный,  
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,  
Запорхает белый, беспощадный  
Снег, идущий миллионы лет.

1927

### РОЗА СМЕРТИ

*Георгию Иванову*

В черном парке мы весну встречали,  
Тихо врал копеечный смычок,  
Смерть спускалась на воздушном шаре,  
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер.  
На полях поэт рисунок чертит.  
Розов вечер, розы пахнут смертью  
И зеленый снег идет на ветви.

Темный воздух осыпает звезды,  
Соловьи поют, моторам вторя,  
И в киоске над зеленым морем  
Полыхает газ туберкулезный.

Корабли отходят в небе звездном,  
На мосту платками машут духи,  
И сверкая через темный воздух  
Паровоз поет на виадуке.

Темный город убегает в горы,  
Ночь шумит у танцевальной залы  
И солдаты покидая город  
Пьют густое пиво у вокзала.

Низко-низко, задевая души,  
Лунный шар плывет над балаганом,

А с бульвара под орган тщедушный  
Машет карусель руками дамам.

И весна, бездонно розовея,  
Улыбаясь, отступает в твердь,  
Раскрывает темно-синий веер  
С надписью отчетливою: смерть.

## МОРЕЛЛА II

Тихо голос Мореллы замолк на ином берегу,  
Как серебряный сокол луна пролетела на север,  
Спало мертвое время в открытом железном гробу,  
Тихо бабочки снега садились вокруг на деревья.

Фиолетовый отблеск все медлил над снежною степью,  
Как небесная доблесть, в Твоих неподвижных глазах  
Там, где солнце приковано страшною черною цепью,  
Чтоб ходило по кругу, и ангел стоит на часах.

Пойте доблесть Мореллы, герои ушедшие в море,  
Эта девочка-вечность расправила крылья орла.  
Но метели врывались, и звезды носились в соборе,  
Звезды звали Мореллу, не зная, что Ты умерла.

Молча в лунную бурю мы с замка на море смотрели,  
Снизу черные волны шумели про доблесть Твою,  
Ветер рвался из жизни и лунные выли свирели,  
Ты, как черный штандарт, развевалась на самом краю.

Ты, как жизнь, возвращалась, как свет улетающий  
в бездну  
Ты вступила на воздух и тихо сквозь воздух ушла,  
А навстречу слетали огромные снежные звезды,  
Окружали Тебя, целовали Тебя без числа.

Где Ты, светлая, где? О, в каком снеговом одеянье  
Нас застанет с Тобой Воскресения мертвых труба?  
На дворе Рождество. Спит усталая жизнь над гаданьем,  
И из зеркала в мир чернокрылая сходит судьба.

\* \* \*

В зимний день на небе неподвижном  
Рано отблеск голубой погас.

Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни  
В тишине родился снежный час.

Медленно спускаясь к балагану  
Снег лежит на полосатой ткани,  
Пусто в роще, грязно у шлагбаума,  
Статуи покрылись башлыками.

Расцвело над вымершим бульваром  
Царство снега заметя следы.  
Из домов, где люди дышат паром,  
Страшно выйти в белые сады.

Там все стало высоко и сине.  
Беднякам бездомным снежный ад,  
Где в витринах черных магазинов  
Мертвецы веселые стоят.

Спать. Лежать, покрывшись одеялом,  
Точно в теплый гроб сойти в кровать,  
Слушать звон трамваев запоздалых.—  
Не обедать, свет не зажигать.

Видеть сны о дальнем, о грядущем.  
Не будите нас, мы слишком слабы,  
Задувает в поле наши души  
Холод счастья, снежный ветер славы.

И никто навеки не узнает  
Кто о чем писал, и что читал,  
А наутро грязный снег растает  
И трамвай уйдет в сияньи в даль.

*27 декабря 1931*

\* \* \*

Все спокойно раннею весною.  
Высоко вдали труба дымит.  
На мосту, над речкою больною  
Поезд убегаящий шумит.

Пустыри молчат под солнцем бледным  
Обогнув забор, трамвай уходит.  
В высоте, блестя мотором медным,  
В синеву аэроплан восходит.



Выйди в поле бедный горожанин.  
Посиди в кафе у низкой дачи.  
Насладись, как беглый каторжанин,  
Нищетой своей и неудачей.

Пусть над домом ласточки несутся.  
Слушай тишину, смежи ресницы.  
Значит только нищие спасутся,  
Значит только нищие и птицы.

Все как прежде. Чахнет воскресенье.  
Семафор качнулся на мосту.  
В бледно-сером сумраке весеннем  
Спит закат, поднявшись в чистоту.

Тише... скоро фонари зажгутся.  
Дождь пойдет на темные дома.  
И во тьме, где девушки смеются,  
Жалобно зазвонит синема.\*

Все как прежде. Над пожарной частью  
Всходят звезды в саване веков.  
Спи душа, Тебе приснилось счастье,  
Страшно жить проснувшимся от снов.

\* \* \*

Слабый вереск на границе смерти.  
Все опять готовится цвести.  
С каждую весной нежнее сердце  
И уже не в силах мир снести.

Теплый дождь шумел весь вечер в лужах.  
В них звездами отразилась ночь  
В них веками отразился ужас  
И нельзя простить, нельзя помочь.

Ночь блестит. Огни горят в бараке.  
Может быть природе счастье лгать,  
Может быть, что счастье жить во мраке,  
Может быть, что счастье погибать.

Все мы знаем и уже не скроем  
Отчего так страшен звездный час.  
Потому что именно весною,  
Именно весной не станет нас.

Ложь и правда здесь одно и то же.  
Может быть, что правда это грех,  
Может быть, что тлен души дороже,  
Может быть, что все лишь звездный смех.

Тихой песней сердце успокойте,  
Пощадите розы на кусте,  
Притупите дух, огни укройте,  
Растопчите пепел в темноте.

\* \* \*

Сумеречный месяц, сумеречный день,  
Теплую одежду юноша надень.  
В сердце всякой жизни скрытый страх живет.  
Ветви неподвижны. Небо снега ждет.

Птицы улетели. Молодость, смиришь,  
Ты еще не знаешь, как ужасна жизнь.  
Рано закрывают голые сады,  
Тонкий лед скрывает глубину воды.

Птицы улетели. Холод недвижим.  
Мы недолго пели и уже молчим.  
Значит так и надо, молодость, смиришь,  
Затеpli лампаду; думай и молись.

Скоро все узнаешь, скоро все поймешь —  
Ветер подметает и уносит ложь.  
Все, как прежде, в мире, сердце горя ждет,  
Слишком тихо в сердце, слишком светел год.

1931

\* \* \*

Как холодно. Молчит душа пустая,  
Над городом сегодня снег родился,  
Он быстро с неба прилетал и таял.  
Все было тихо. Мир остановился.

Зажгите свет, так рано потемнело,  
С домов исчезли яркие плакаты.  
Ночь на мосту, где, прячась в дыме белом,  
В снежки играли мокрые солдаты.

Блестит земля. Ползут нагие ветви,  
Бульвар покрыт холодной слюдою,  
В таинственном, немом великолепии  
Темнеет небо полное водою.

Читали мы под снегом и дождем  
Свои стихи озлобленным прохожим.  
Усталый друг, смирайся, подождем.  
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.

Как холодно. Душа пощады просит.  
Смирись, усни. Пощады слабым нет.  
Молчит январь и каждый день уносит  
Последний жар души, последний свет.

Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет,  
Ложись в пальто. Укутайся, молчи.  
Роняя снег в саду, ворона грает.  
Однообразный шум гудит в печи.

Испей вина, прочтем стихи друг другу,  
Забудем мир. Мне мир невыносим —  
Он только слабость, солнечная вьюга  
В сиянии роковом нездешних зим.

Огни горят, исчезли пешеходы.  
Века летят во мрак немых неволь.  
Все только вьюга золотой свободы,  
Лучам зари приснившаяся боль.

*Январь, 1932*

1

Над пустой рекой за поворотом  
Снег летит и задувает газ,  
Замело железные ворота  
И предместье занесло до глаз.

Только ближе к утру станет тише,  
Звездный мир взойдет из пустоты,  
Я проснусь тогда и вдруг услышу  
Голос Твой, как будто рядом Ты.

Милый друг, я складываю руки,  
За Тебя, за счастье не борюсь,  
Слушаю, как уличные звуки  
Заглушают снег, и спать ложусь.

Сон идет и над землей смеется  
Краткий час, уж минувший навек.  
Счастлив тот, кто к жизни не вернется,  
Как мгновенной славой счастлив снег.

Гаснет в печке голубое пламя,  
На стене растет кривая тень;  
Сон и смерть, молчание и память  
Возвращают к жизни мертвый день.

Знаю, знаю, только где забыла  
Всем живым воскреснуть суждено.  
Там расскажешь Ты о том, что было  
Без меня, и было ли оно.

Ночь темна, но утро неизбежно.  
Спит душа и слабый свет потух,  
Странно, кратко над пустыней снежной  
Прокричал и замолчал петух.

Ты шла навстречу мне пустынной зимней ночью,  
Обледенелый мир лоснился при луне,  
Как голый путь судьбы, но не было короче  
И снова издали Ты шла навстречу мне.

Там снова, за широкими плечами,  
Была зима без цели, без следа.  
Ты шла вперед громадными очами  
Смотря на мир, готовый для суда.

Вся строгость Ты, вся сумерки, вся жалость,  
Ты молча шла, Ты не могла помочь.  
А сзади шла, как снег, как время, как усталость,  
Все та же первая и основная ночь.

*Декабрь, 1931*



**Е. В. Витковский**

**«НА ЭКРАНЕ ПАМЯТИ МОЕЙ...»**

Среди поэтов изредка встречаются такие, кто даже заявление с просьбой отремонтировать водопроводный кран пишет в стихах — до такой степени чужда проза. Мемуаров такой поэт не пишет: разве что кто-либо запишет воспоминания с его голоса, или — что встречается уж и совсем редко — поэт их пишет в стихах. Иван Елагин после себя мемуары оставил: именно в стихах. «Память» представляет из себя первую часть, своеобразным продолжением служит «Беженская поэма», наконец, о своей жизни в Америке поэт создал довольно большую поэму «Нью-Йорк — Питтсбург». «Память» посвящена довоенным годам жизни в Подмосковье, Саратове, Ленинграде, Киеве.

В представлении советскому читателю Иван Венедиктович Елагин уже не нуждается. «Новый мир», «Литературная газета», «Нева» и другие всесоюзные издания в 1988 году широко отметили семидесятилетие со дня рождения крупнейшего поэта русского зарубежья, до которого сам поэт, увы, не дожил — он умер в Питтсбурге 8 февраля 1987 года, уже после его смерти была издана его последняя книга стихотворений — «Курган». И лишь в последние месяцы 1988 года отыскалось большое количество писем отца поэта, Венедикта Марта-Матвеева, и его первой жены, Ольги Анстей (и отец, и Ольга Анстей тоже были поэтами, притом хорошими) к самым разным адресатам в СССР — писем довоенных, подтверждающих почти все факты, изложенные в поэме «Память». Иван-Зангвильд Матвеев-Март родился 1 декабря 1918 года во Владиво-

стоке, как он сам позже писал, «в одном из дивных тупиков Руси». В 1927 году он с матерью и отцом (не просто поэтом, но поэтом-футуристом, отсюда и второе, экстравагантное, имя сына) оказывается в подмосковном Томилине. Годом позже Венедикт Март попадает в ссылку, в Саратов, следом за ним в тот же Саратов попадает и сын — будущий поэт Иван Елагин. Напомним, что на противоположном берегу Волги — город Энгельс, давнишняя столица «волжских немцев». Трехлетний срок ссылки, таким образом, отец и сын отбывали вместе. Позже Венедикт Март ездил в Ленинград к своему крестному отцу — народовольцу Ювачеву, с чьим сыном Даней (известным ныне в литературе под псевдонимом Даниил Хармс) юного Ивана Матвеева связывала серьезная дружба. Потом — Киев, арест отца 12-го июня 1937 г., скорый его расстрел. Иван женился, поступил в медицинский институт, а в сорок первом пришла война — и оккупация. В сорок третьем году «Иван-да-Ольга» попали в Германию, а после войны — в число «ди-пи», то есть «перемещенных лиц», — больше родной земли Иван Матвеев, ставший Иваном Елагиным (по названию, видимо, одного из островов Ленинграда), не увидел. Но именно довоенным годам жизни посвящена поэма «Память».

Поэма входила в книгу Елагина «В зале Вселенной» (1982), была переиздана четырьмя годами позже в «избранном» — книге «Тяжелые звезды». В поэме более десятка эпизодов, и расставлены они отнюдь не по хронологии: сперва перед нами Киев — 1938, потом Саратов — 1929, следом Москва — 1928. Далее следует эпизод в Покровске (Энгельс) (видимо, около 1929-го или 1930 года), следом — снова Саратов того же времени, — кстати, этот эпизод (встреча с Клюевым) — единственный вызывающий сомнения, судя по письмам Ольги Анстей 30-х годов, видел Матвеев-Елагин Клюева не в Саратове, а в Ленинграде. Затем — сцена в Подмосковье (1927 г.), далее — точно обозначены датой Ленинград тридцать четвертого, снова Киев тридцать девятого (или немного раньше), — и снова Ленинград, август того же года — визит к Ахматовой. Поэма заканчивается сорок первым годом — началом войны, заставшим поэта в Киеве:

Эпизод с визитом к Ахматовой заслуживает отдельного разговора, ибо о нем сохранились документальные свидетельства в письмах Ольги Анстей к подруге дет-

ства — проживающей в Москве Б. Я. Казначей ныне — лауреату Государственной премии СССР, автору ряда трудов по гальванопластике). С разрешения Б. Я. Казначей приводим два отрывка из этих писем.

Первый — из письма, датированного концом августа 1939 года. Поясним заранее, что «Заяц» — постоянное семейное имя Ивана Матвеева-Елагина, осколок «футуристического» имени, данного отцом («Зангвильд»):

«...Заяц сидит в Ленинграде. Анна Андреевна его выгнала, как он пишет. Пишет: «выгнала, а все-таки дважды поцеловал руку!» и в конце прибавляет: «Могу писать мемуары, как меня выгнала великая русская поэтесса!» <...> Когда узнаю — напишу подробности «выгона».

Второй отрывок — из письма от 26 октября 1939 года:

«...Выгон Зайца был очень краток. Она объявила ему, что сына ее высылают, и у нее должно быть последнее свидание, и вообще она никаких стихов слушать не может, она совершенно не чувствует в себе способности руководить молодыми дарованиями, и вообще «не ходите ко мне, забудьте мой адрес и никого ко мне не посылайте. Это не принесет радости ни мне, ни вам». <...> А еще получилась пикантность: когда Заяц стал распространяться, что она нам, дескать, потому так близка, что не печатается и т. д., она и говорит: «Вы ошибаетесь! Мои последние стихи скоро появятся в... и назвала журнал. Заяц, конечно, забыл, какой именно. Живая картина!!! Бека, ты не натолкнулась на эти стихи? «Поспроси» кого-нибудь, и если, солнышко, ты нападешь на этот журнал, умоляю выписать мне стихи! Ведь очень интересно, что там Анна Андреевна навараксала.

Жаль, что ты не слышала рассказа самого Ивана. Он особенно, каким-то глухим сомнамбулическим голосом рассказывает это происшествие. Говорит, что **очень красива**, необыкновенно прямо держится, челки уже не носит. Рука (которую он успел-таки два раза поцеловать) — красивая, но «пухленькая». Это сюрприз. Одета она была в шелковое трикотажное, но совершенно драное, разлезшееся платье, длинное, темное. Последние слова знаменитой русской поэтессы — по телефону (когда Иван уже выходил): «Таня сейчас придет, она понесла примус в починку...»

Над диваном у нее висит портрет девушки в белом платье. Заяц только на обратном пути догадался, что это — она в юности. Да, впрочем, вот его стихи, на днях написанные:



Я никогда не верил,  
Что к Вам приведут пути.  
Но Вы отворили двери.  
К Вам можно было войти.

Даже казался странным  
В комнате Вашей свет  
И над простым диваном  
Девушки в белом портрет.

Но Вам в тяжелых заботах  
Не до поэтов — увы!  
Я понял уже в воротах,  
Что девушка в белом — Вы.

И, подавляя муку,  
Глядя в речной провал,  
Был счастлив, что Вашу руку  
Дважды поцеловал».

Последние две строфы этого стихотворения 1939 года, кажется никогда целиком не опубликованного, вошли в поэму «Память». Пусть читатель сопоставит мемуары «в стихах» с историческим документом.

Перед нами проходит галерея образов, запечатлевшихся в сознании ребенка и юноши: Федор Панферов, Николай Клюев, Даниил Хармс, Максим Рыльский, Анна Ахматова, Борис Пильняк. О Японии отец Елагина, Венедикт Март, с Пильняком разговаривал не зря: он бывал там, как и Пильняк, — обоих это и погубило. Упомянуты артисты — Антон Шварц, знаменитый певец Доливо-Соботницкий, вскользь упомянуты дед поэта, знаменитый во Владивостоке краевед Н. П. Матвеев, отец — Венедикт Март, друг отца — поэт Николай Аренс, друг самого Елагина — Георгий Протасевич, наконец, жена Матвеева-Елагина — поэтесса Ольга Анстей, — а кроме того, «обэриут» А. Введенский, литературовед Леонид Гроссман, — одним словом, перед нами самые настоящие мемуары.

Юрий Иваск писал незадолго до своей смерти, в 1986 году: «Уже больше сорока лет в академических кругах «русистов» в США господствует так называемый «формальный метод» или, как теперь его называют, структуральный. Наложено табу на биографию, историю, на так называемый литературный быт или среду, исключается всякая оценка материала. Многие книги и статьи американских да и других западных литературоведов напоминают анатомические препараты, они лишены всех признаков жизни» («Новый журнал»,

Нью-Йорк, 1986, № 162, с. 298). Поэтические мемуары Ивана Елагина — полная противоположность подобным произведениям. Написанные крайне простым стихом (что для Елагина, наследника усложненных форм Цветаевой, редкость), они приближаются почти к прозе — но остаются поэзией. Вряд ли можно использовать их как документ, — но не для того Елагин свои «мемуары» обратил в стихи, чтобы они «документом» служили. «Вторая волна» эмиграции, к которой принадлежал Елагин, в СССР в абсолютном большинстве если и писала что-либо, то «в стол». Елагин же (тогда еще — студент-медик Иван Матвеев) тоже писал «в стол», но происходил из литературной семьи, да и печататься хотел — и даже начал: 28 января 1941 года «Советская Украина» опубликовала его перевод из Рыльского, притом — авторизованный Рыльским. Но карьера «советского поэта» не состоялась — пришла война, оккупация, и — как следствие — эмиграция. Именно в ней «состоялся» поэт: русский зарубежный, не эмигрантский, сам Елагин писал в одном из позднейших стихотворений: «Меня называть эмигрантским // Поэтом? Какая мура!»

Думается, что место Елагина в русской поэзии уже определено. Поэт, чьи стихи насквозь пропитаны его биографией, не мог не оставить нам хоть каких-то мемуаров.

Первая их часть и предлагается читателям.

## ИВАН ЕЛАГИН

### ПАМЯТЬ

...в воскресном театре души  
Мемуарные фильмы идут.

Вглядываюсь, дверь туда открыв,  
Где хранится памяти архив.  
Замелькали кадры прошлых дней  
На экране памяти моей.

Киевский Второй мединститут.  
Возле зданий тополя растут.  
Кое-как экзамены я сдал,

Но с обществоведеньем — скандал!  
Я не знал каких-то там имен,  
Кто, когда и чем был награжден  
И какой очередной прохвост  
Получил правительственный пост.  
Мой экзаменатор был убит —  
Принял сокрушенно-скорбный вид.  
«Так. Так. Так», — он глухо произнес,  
Вскинув на меня мясистый нос.  
Пятерней он в воздухе потряс:  
«Кто же так воспитывает вас?»  
Я ответил, несколько смущен,  
Что отец. «А где же служит он?»  
Отвечаю, точно виноват,  
Тихо: «Арестован год назад».  
Тяжело я уходил домой.  
На земле был год тридцать восьмой.

Мне один знакомый дал совет —  
Выбрать медицинский факультет.  
«Знаешь, нам не миновать войны,  
Доктора поэтому нужны.  
Все равно, мой милый, — на литфак  
Ты теперь не попадешь никак.  
У кого в семье аресты — там  
Близко не подпустят к воротам,  
Ну, а в медицинский институт  
Без разбора всех мужчин берут».  
Признаюсь, что я в большой тоске  
Подходил к огромнейшей доске,  
На которой сказочно цветут  
Списки тех, кто принят в институт.  
Видно, я в рубашке был рожден:  
В этом длинном перечне имен —  
И мое! Я удивился сам,  
Не поверил я своим глазам!

Вот внезапно мой экран погас.  
Память прерывает свой показ.  
Только в тот же миг на полотне —  
Крыши, окна и стена к стене.  
Это тоже город над рекой,  
Только над рекой совсем другой.  
Вон мальчишка с удочкой в руке  
По камням с отцом спешит к реке.

Мне пошел одиннадцатый год.  
За плотом плывет по Волге плот.  
Года два еще придется нам  
Прыгать по саратовским камням.  
Мой отец тут в ссылке. И сейчас  
Помню я смешной его рассказ:  
«Поезд ночью нас сюда привез,  
Без пальто я, а уже мороз.  
На вокзале ночевать нельзя.  
Вышел на большую площадь я  
И гляжу — в сторонке постовой.  
«Где, скажи, браток, участок твой?  
Мне бы ночку переспать одну,  
Завтра что-нибудь себе смекну».  
Но браток мой оказался строг,  
Говорит: «Проваливай, браток,  
А не то не оберешься бед,  
Для тебя у нас ночлежек нет!»  
Не спеша булыжник небольшой  
Выворотил я из мостовой.  
«Видишь, — говорю, — вон там окно:  
Ах, как зазвенит сейчас оно!»  
Постовой вскипел, как на угле;  
Я ту ночь пересидел в тепле!»

Памяти экран опять потух.  
Напрягаю внутренний я слух.  
Вспыхнула картина в голове,  
Как я беспризорничал в Москве.  
Мой отец, году в двадцать восьмом,  
В ресторане учинил разгром  
И, поскольку был в расцвете сил, —  
В драке гепеушника избил.  
Гепеушник этот, как назло,  
Окажись влиятельным зело,  
И в таких делах имел он вес —  
Так бесшумно мой отец исчез,  
Что его следов не отыскать.  
Тут сошла с ума от горя мать,  
И она уже недели две  
Бродит, обезумев, по Москве.  
Много в мире добрых есть людей:  
Видно, кто-то сжалился над ней  
И ее, распухшую от слез,  
На Канатчикову дачу свез.

Но об этом я узнал поздней,  
А пока что — очень много дней  
В стае беспризорников-волков  
Я ворую бублики с лотков.  
Но однажды мимо через снег  
Несколько проходит человек,  
И — я слышу — говорит один:  
«Это ж Венедикта Марта сын!»  
Я тогда еще был очень мал,  
Федора Панферова не знал,  
Да, на счастье, он узнал меня.  
Тут со мной и началась возня.  
Справку удалось ему навесьть,  
Что отцу досталось — минус шесть,  
Что отец в Саратове,— и он  
Посадил тогда меня в вагон  
И в Саратов отрядил к отцу.

Все приходит к своему концу:  
Четверть века отшумит — и вот  
О моих стихах упомянет  
В Лондоне Панферов,— но пойдет  
Все на этот раз наоборот:  
Он теперь не будет знать, кто я!  
У судьбы с судьбой игра своя.

Снова Волга. Волга и паром.  
Мы уже на берегу другом.  
Чистенькие домики. Уют.  
Немцы тут поволжские живут.  
Был Покровском город наречен,  
Энгельсом теперь зовется он.  
У Вогау мы сидим в гостях.  
На столе сирень в больших кистях.  
Говорит о Токио Пильняк;  
Мой отец припомнил случай, как  
Он, когда был очень молодым,  
Вместе с переводчиком своим  
Шел по Кобе. Поглядев назад,  
На себе поймал он чей-то взгляд.  
Он японку заметил там,  
Что плелась за ними по пятам.  
Чувствовал неловкость мой отец;  
Он и переводчик наконец  
Улицу поспешно перешли.

Но отец опять ее вдали  
Увидал — и, очень раздражен,  
Переводчику заметил он:  
«С нею не разделаться никак!»  
Тот ответил: «Ну, какой пустяк!»  
Ты не обращай вниманья на  
Женщину. Она моя жена».

А когда пришла пора вставать,  
Уходить домой — Пильняк печать  
Вынул из коробочки — и хлоп!  
Взял да и поставил мне на лоб!  
Розовый клинообразный знак  
По-японски означал — Пильняк.

Как-то раз в Саратове с отцом  
Мы по снежным улицам идем.  
Фонари. Снежок. Собачий лай.  
Вдруг отец воскликнул: «Николай  
Алексеич!» Встречный странноват —  
Шапка набок, сапоги, бушлат.  
Нарочито говорит на «о»,  
Но с отцом он цеха одного.  
«Вот, знакомьтесь — это мой сынок».

(Снег. Фонарь да тени поперек.)  
«Начал сочинять уже чуть-чуть.  
Ты черкни на память что-нибудь  
Для него. Он вырастет — поймет».  
Клюев нацарапает в блокнот  
Пять-шесть строк — и глухо проворчит  
Обо мне: «Ишь как черноочит!»

Клюев был в нужде. Отец ему  
Чтение устроил на дому  
У врача Токарского. Тот год  
Переломным был. Еще народ  
Не загнали на Архипелаг,  
Но уже гремел победный шаг  
Сталинских сапог. И у дверей  
Проволокой пахло лагерей.  
Тот автограф где теперь найду?  
Взял отец в тридцать седьмом году.  
Все его бумаги перерыв,  
Взяли вместе с ним его архив.

Еще глубже времени экран.  
Под Москвой средь рощиц и полян —  
Несколько десятков низких дач.  
Парни на пруду купают кляч.  
А неподалеку за прудом —  
Наш необжитой дощатый дом.

Помню, что веранда там была  
Вся из разноцветного стекла.  
Помню сад, калитку, частокол,  
Как впервые в школу я пошел,  
Помню, как детьми, оравой всей,  
На пруду ловили карасей.  
Как в саду я выстроил шалаш...  
Помню, как скрипел колодец наш,  
Как, загнав в березу желобок,  
Собирал березовый я сок  
В старую жестянку, как в те дни  
На синиц я ставил западни.

Много к нам писательской братвы  
Приезжало часто из Москвы.  
Кое-кто сегодня знаменит,  
Кое-кто сегодня позабыт,  
Некоторым жизни оборвал  
На Лубянке сталинский подвал.  
Только погибать не всем подряд:  
Станет кто-нибудь лауреат,  
Кто-нибудь приобретет почет  
Тем, что по теченью потечет!  
Но тогда, в году двадцать седьмом,—  
Дружеским весельем полон дом.  
Тут стихи читают до утра  
Небывалых строчек мастера.  
Кто-нибудь сидит и пьет в углу,  
Кто-нибудь ночует на полу.  
Кто-нибудь над кружкой пивной  
Прослезился песней затяжной,  
Кто-нибудь с протянутой рукой  
С хлебниковской носится строкой!  
Легкое, богемное житье,  
Милое Томилино мое!

Но бывал и скверный анекдот.  
Помню — за окошком ночь идет.

Только я и мать одни в дому.  
То и дело мать глядит во тьму.  
Еще много поездов ночных,—  
Может быть, отец в одном из них.  
На рассвете слышим мы сквозь сон  
Разбиваемой бутылки звон.  
С матерью выходим в темный сад.  
Слышим — сверху голоса хрипят.  
Тут мы замечаем: среди ветвей  
Несколько висит больших теней.  
Оказалось — на верхушке там,  
Крепко привязав себя к ветвям,  
Мой отец с приятелем своим  
До рассвета напивались в дым!  
Там же в раскоряченных ветвях  
Ящик с водкой виснет на ремнях!

Аренс Николай — поэт-чудак,  
Затевал он вечно кавардак,  
И, наверное, придумал он  
На сосне устроить выпивон,  
И деревьев шумные верхи  
Слушают сейчас его стихи:

«Снежинки белые летали,  
Струилась неба бирюза,  
А на лице ее сияли  
Большие серые глаза».

Аренс часто попадал в скандал,  
Часто в отделенья попадал.  
Позже слышал я такой рассказ:  
Вышел он из отделенья раз  
И припомнил через шесть недель,  
Что забыл он с водкою портфель  
В камере. А было, как назло,  
Похмелиться нечем! Тяжело!

Аренс, жаждя выпить всем нутром,  
В отделенье за своим добром  
Кинулся — и канул навсегда,  
Сгинул, не оставивши следа.

На экране вспыхнула Нева.  
Шпиль Адмиралтейства. Острова.  
Сфинксы. Набережная. Дворец.



К Ювачеву взял меня отец.  
Несколько о Ювачеве слов.  
Был народовольцем Ювачев.  
За участие в покушении он  
К виселице был приговорен.  
Но в тюрьме, пока он казни ждет,—  
У него в душе переворот,  
Все он видит под иным углом.  
И религиозный перелом  
Наступает. Казнь заменена  
Ссылкою ему. В те времена  
С ссыльными общаться каждый мог;  
Был он сослан во Владивосток.  
Там у деда моего гостил,  
Там отца он моего крестил.  
А когда отбыл он ссылки срок —  
Взял он страннический посошок  
И поехал в Иерусалим  
И ходил по всем местам святым.  
Позже о паломничестве том  
Очерков издал он толстый том.

Ленинград. Тридцать четвертый год.  
Ювачев поблизости живет,  
На Надеждинской, а мы с отцом  
Возле церкви Греческой живем.  
Ювачеву от властей почет,  
И ему правительство дает  
Пенсию высокую весьма,  
Но считает, что сошел с ума  
На религиозной почве он.  
Был он собирателем икон.  
Был он молчалив, высок и сух,  
Этак лет семидесяти двух.  
Кропотливо трудится старик,  
Медленно с иконы сводит лик  
Он на кальку. И таких икон  
Тысячи для будущих времен  
Он готовит.

С ним в квартире жил  
Взрослый сын — писатель Даниил  
Хармс. У Дани прямо над столом  
Список красовался тех, о ком  
«С полным уваженьем говорят  
В этом доме». Прочитав подряд

Имена, почувствовал я шок:  
Боже, где же Александр Блок?!  
В списке Гоголь был, и Грин, и Бах...  
На меня напал почти что страх,  
Я никак прийти в себя не мог,—  
Для меня был Блок и царь и Бог!  
Даня быстро остудил мой пыл,  
Он со мною беспощадным был.  
«Блок — на оборотной стороне  
Той медали,— объяснил он мне,—  
На которой (он рубнул сплеча) —  
Рыло Лебедева-Кумача!» —  
«Если так, как Блок, писать нельзя,—  
Спрашивал весьма наивно я,—  
То кого считать за идеал?»  
Даня углубленно помолчал,  
Но потом он в назиданье мне  
Прочитал стихи о ветчине.

«Повар — три поваренка,  
повар — три поваренка,  
повар — три поваренка  
выскочили во двор!  
Свинья — три поросенка,  
свинья — три поросенка,  
свинья — три поросенка  
спрятались под забор!

Повар режет свинью,  
поваренок — поросенка,  
поваренок — поросенка,  
поваренок — поросенка!  
П о ч е м у?  
Чтобы сделать ветчину!»

Слушал я его, открывши рот,—  
Догадался наконец! Так вот  
Чем обэриуты устранят  
Из души моей священный яд  
Блоковских стихов! В душе моей  
Все же Блок окажется сильней.

В комнате у Дани справа — шкаф.  
К шкафу подойдя, поклон отдав,  
Произносят гости напоказ  
Несколько привычных светских фраз:

«Как здоровье, тетушка?», «В четверг  
Были на концерте?», «Фейерверк  
Видели?». Род легкой болтовни.  
Запрещалось всем в такие дни  
Грубые употреблять слова.  
Но гостей уведомят едва,  
Что сегодня дома тетки нет,—  
Снят бывал немедленно запрет  
С нецензурных тем. Наоборот,  
Разрешался сальный анекдот.  
Что еще за идиотство! Тьфу!  
Тетушка, живущая в шкафу?!  
Что с того, что конура мала,—  
Тетушка придумана была,  
Для существования ее  
Шкаф — вполне просторное жильё!  
Тетушка пришлась тут ко двору,  
Тут любили всякую игру,  
Тут был поэтический причал,  
Тут поэтов многих я встречал,  
А. Введенский был собой хорош,  
Хармс — на англичанина похож.  
Сколько артистических имен!  
Как великолепен Шварц Антон!  
Помню в исполнении его  
«Невского проспекта» волшебство!

И опять все гаснет. И опять  
На экране Киеву сиять.  
Моюсь утром, радио включив.  
Диктор до чего красноречив!  
Слышится по голосу, что рад,—  
Так вот о победах говорят!  
«Нашего правительства указ...  
В вузах за учение у нас  
Вводят плату!» Я совсем обмяк.  
Уплатить я не могу никак.  
Подкосились ноги у меня.  
Только вечером того же дня  
Человек от Рыльского пришел,  
Пачку денег выложил на стол  
И сказал: «Максим Тадеич тут  
Посылает вам на Институт».  
Он шепнул, уже сходя с крыльца:  
«Это в память вашего отца».

Рыльский был в фаворе. Перед тем  
Погибал почти уже совсем  
И ареста ожидал не раз.  
«Песнею о Сталине» он спас  
Жизнь свою и спас свою семью.  
Как-то чай у Рыльского я пью.  
Кто-то «песню» вскользь упомянул.  
Рыльский встал, сдвигая резко стул:  
«В доме у повешенного, брат,  
О веревке вслух не говорят!»

Мой отец поэтом русским был.  
Где сыскать, среди каких могил  
Кроется его прощальный след.  
Рыльский был украинский поэт.  
В час тяжелый он помог семье  
Русского поэта. Так в стране,  
Где я в годы сталинские рос,  
Выглядел на практике вопрос  
Межнациональный. Все одной  
Связаны бедой. Одной виной.

Вновь твои проспекты, Ленинград.  
Обреченно фонари горят.  
Кратковремен этот мой приезд.  
Мне одно желанье душу ест.  
Я привез стихотворений шесть  
И мечтал Ахматовой прочесть.  
В годы те была моей женой  
Анстей. И ее стихи со мной.  
Вот я и пошел. Фонтанный Дом  
Выглядел обшарпанным. Потом  
Пересек я двор наискосок  
И вошел в подъезд. На мой звонок  
Мне открыла дверь она сама.  
Объяснил я путано весьма  
Мой приход. «Входите». Тут нужны  
Точные детали: в полстены  
Девушки портрет. Совсем мала  
Комната. (Та девушка была  
В белом.) А Ахматова стройна,  
Кажется высокою она.

Я уже предчувствую беду.  
«Высылают сына. Я иду

С передачею в тюрьму. Я вас  
Не могу принять».

У нас сейчас  
«Реквием» об этих страшных днях.  
«Реквием» тогда в ее глазах  
Я увидел. Кто-нибудь найдет  
Со стихами старыми блокнот.

Но вам в тяжелых заботах  
Не до поэтов, увы!  
Я понял уже в воротах,  
Что девушка в белом — вы.

И, подавляя муку,  
Глядя в речной провал,  
Был счастлив, что вашу руку  
Дважды поцеловал.

В Киеве, еще перед войной,  
Проходили мы по Прорезной.  
За дома вдали закат сползал.  
Мы спешим в консерваторский зал.  
Там Доливо-Соботницкий пел.  
Среди всех советских тусклых дел  
Праздником бывал его приезд.  
Делал он рукою странный жест,  
Был он хром и очень большерот...  
Присмотреться — так совсем урод!  
Необыкновенный баритон, —  
Пел бетховенские песни он  
И норвежских песен целый ряд...  
Сколько он ирландских пел баллад,  
Бельмановских песен! Так лились  
Песни, что казалось — это Лисс  
Или Зурбаган! Казалось мне,  
Что мы где-то в гриновской стране,  
И — казалось — уплывать и нам  
Следом за Бегущей по волнам!  
Поскорей причаливай, наш бот,  
Там, где нас несбывшееся ждет!

А в антракте — толкотня, галдеж,  
А к буфету и не подойдешь,  
По соседству, вижу, — паренек,  
А на куртке — лодочка-значок

С ярко-красным парусом. Яхт-клуб?  
Точно. Сомневаться почему б?  
А на самом деле все не так:  
Это был почти условный знак  
Гриновских романтиков! То зов  
Юношеских алых парусов!

Слышал я забавный анекдот  
О Доливе. Шел двадцатый год.  
Пел Долива где-то. Был хорош  
Бесподобно. А в одной из лож  
Сам Шаляпин. Сказочный успех!  
Сразу покори́л Доливо всех.  
Был он молод, счастлив, возбужден,—  
Но со сцены почему-то он  
Пятится... Друзья Доливу тут  
Под руки к Шаляпину ведут.  
«Да...— сказал Шаляпин,— ты поешь  
Здорово, но — знаешь, милый, все ж  
Справь себе штаны: со сцены так  
Неудобно пятиться как рак!»  
И для цели благородной сей  
Пачку протянул ему рублей.

Предвоенный Киев. Среди афиш  
Есть такие, что не устоишь.  
В зале тесно. Гроссман Леонид  
О «Войне и мире» говорит.  
Кажется — со сцены прямо в нас  
Утонченно-выточенных фраз  
Дротики летят. В конце почти  
Он, итог желая подвести,  
Говорит: «Былому не в пример,  
В наше время каждый пионер  
Обладает истиной простой,  
Знает то, чего не знал Толстой!»  
А затем (принявши тон иной)  
Говорит с усмешкой озорной:  
«На весах у вечности еще  
Неизвестно, перевесит чье  
Мнение!» Когда он так сказал,  
Я подумал: арестуют зал,  
Лектора и слушателей! Но  
В шутку было все обращено,  
И благополучно все сошло,

А могло большое выйти зло...  
Пострашней, бывало, сходит с рук.  
У меня был закадычный друг  
Протасевич Жорж. Мы в институт  
Вместе поступали. И маршрут  
Жизненный у нас довольно схож:  
У него отца забрали тож,  
Как и у меня — в тридцать седьмом.  
Он пытливым обладал умом,  
Книгами был вечно нагружен —  
Хемингвей в портфеле, Олдингтон.  
Был он неудачливый боксер,  
Но зато был на язык остер.  
И — последний не забыть мазок:  
Был красив довольно и высок.

Между нами — Пушкин бы сказал —  
Все рождало споры. Весь скандал  
И произошел из-за пари.  
Раз возьми я да и намудри:  
В спор полез всему наперекор  
И позорно проиграл тот спор!  
А условие было таково,  
Что на протяжении всего  
Дня — у победившего — рабом  
Проигравший. В случае любом  
Он беспрекословно и тотчас  
Был обязан исполнять приказ  
Господина. Жорж был господин.  
Мне досталось рабство. До седин  
Я отчетливо запомнил то,  
Как я подавал ему пальто,  
Вещи все его за ним волок,  
С полу подымал его платок,  
Как завязывал его шнурки,  
Как по мановению руки  
Подбегал... А он, из-за долгов,  
Пробовал продать меня с торгов:  
Между лекций в перерыве он  
Организовал аукцион!

Как бывает в юности порой —  
Чересчур все увлеклись игрой.  
Лекции по городу всему  
Нам читали. Часто потому

Мы в трамваях ездили гурьбой.  
Жорж в трамвае мне сказал: «С тобой  
Я не знаю, как мне быть: изволь  
Разузнать — рабам разрешено ль  
Ездить на трамвае». Задаю  
Я вопрос кондукторше. В мою  
Сторону все повернулись. Пыл  
Сразу же у всех нас поостыл.  
Наступила тишина. Сидел  
Жорж, внезапно побелев как мел.  
К сожаленью, это не конец:  
Видимо, сверхбдительный стервец  
Ехал в том вагоне. В деканат  
Нас повызывали всех подряд.  
Разносили нас и вкривь и вкось,  
Но каким-то чудом удалось  
Все замять. Никто не пострадал.  
Мог быть и трагический финал.

— Где ты, Жорж? Откликнись, если жив! —  
Я шепчу, бывшее освежив  
В памяти.

И вдруг экран сплошным  
Небосводом сделался ночным,  
И на нем пугающе висят  
Несколько чудовищных лампад!  
Для убийства город освещен,  
Нас уже бомбят со всех сторон,  
Подняты кресты прожекторов,  
Бомбовозов нарастает рев,  
Сполохи огромные в окне.  
Грохот. На войне как на войне.



---

## Ст. Никоненко

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГАЙТО ГАЗДАНОВЕ<sup>1</sup>

9 февраля 1930 года Михаил Осоргин писал из Парижа в Сорренто М. Горькому: «Сейчас вам послана книга Гайто Газданова «Вечер у Клэр»...

Книга Гайто Газданова (Газданов — осетин, очень культурный паренек, сейчас кончил университет), по моему, — очень хороша, только кокетлива; это пройдет. Кокетливы «прустовские» приемы, само название. Но на него обратите серьезнейшее внимание, Алексей Максимович. Хорошо бы его в России напечатать — и вполне возможно; не это, так другое. Он по-настоящему даровит. От него я жду больше, чем от Сирина. В числе немногих «подающих надежды» он мне представляется первым в зарубежье. Умница. Человек скромный, без заносчивости и прилипчивости... Мне он нравится тем, что умница и очень независимый во взглядах своих человек»<sup>2</sup>.

В ту пору, когда Михаил Осоргин столь лестно отзывался о начинающем писателе, Гайто Газданову было двадцать шесть лет. В декабре 1929 года в Париже в издательстве Поволоцкого в количестве 1025 экземпляров вышел его первый роман. Зарубежной русской прессой он единогласно был признан одним из наиболее ярких явлений русской литературы десятилетия.

---

<sup>1</sup> Издательство готовит к выпуску однотомник произведений Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа».

<sup>2</sup> ИМЛИ им. А. М. Горького. Архив А. М. Горького (АГ) КГ — П.—55—12—32.

Высоко оценили роман такие критики и писатели, как Г. Адамович и М. Слоним, Б. Зайцев и М. Осоргин, Н. Оцуп и В. Вейдле. Но самым дорогим для молодого автора был отзыв о книге в письме М. Горького, полученном через М. Осоргина.

«Прочитал я ее с большим удовольствием, даже — с наслаждением, а это — редко бывает, хотя читаю я не мало, — писал Горький. — Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек. К этому я бы добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы. Право сказать это я выношу не только из «Вечера у Клэр», а также из рассказов Ваших, — из «Гавайских гитар» и др. <...> Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум не вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от себя. Но он чувствуется везде, где вы подчиняетесь чужой виртуозности словесной. Будьте проще, — Вам будет легче, будете свободней и сильнее»<sup>1</sup>.

В первом романе Гайто Газданов продемонстрировал свое мастерство в создании лаконичными средствами, несколькими фразами, выпуклых и психологически точных образов. «С большой художественной «простотой» рисует Газданов ряд цельных и оригинальнейших характеров (отец, мать, педагоги, офицеры, солдаты), ко всем подходя не внешне, а с внутренней оценкой, которая крепнет по мере развития мироощущений рассказчика. И в искусном кружеве рассказа незаметно ставятся и не всегда решаются сложнейшие духовные проблемы и жизни, и смерти, и любви, и того неразрешимого узла событий, который мы одинаково можем назвать и судьбой и историей», — писал Мих. Осоргин<sup>2</sup>.

Роман «Вечер у Клэр» был автобиографичен. И это придавало ему еще большую достоверность и убедительность. Детство героя, родные, друзья по гимназии, выбор, сделанный юношей Николаем в период гражданской войны, его хождения по мукам — все это воспроизведение реальных эпизодов биографии писателя.

Гайто Газданов — имя для советского читателя почти совсем неизвестное, на протяжении шести десятилетий оно упоминалось на страницах нашей печати лишь два-три раза, а произведения писателя до последнего времени были вообще недоступны. Наконец, осенью 1988 года появились первые публикации: в альманахе «Лите-

<sup>1</sup> ИМЛИ. АГ, ПГ — рл 10—1—2.

<sup>2</sup> О с. Мих. Вечер у Клэр. — Последние новости, 1930, 6 февраля.

ратурная Осетия» были напечатаны фрагменты из его романа «Ночные дороги», а в еженедельнике «Литературная Россия» — рассказ «Панихида».

Обстоятельства, обусловившие замалчивание творчества одного из наиболее значительных писателей русского зарубежья, вполне тривиальны. Да, мы знаем Бунина, но его творчество вернулось к нам по-настоящему лишь после смерти. Мы знаем Куприна, но Куприн сам вернулся на родину перед смертью. С трудом пробивались к послевоенному поколению читателей произведения Аркадия Аверченко, Тэффи, И. Шмелева. И это при том, что все это были писатели, ставшие широко известными еще до революции. Наконец, пришел Владимир Набоков, во многом благодаря тому, что приобрел славу одного из наиболее крупных американских писателей.

Литературная судьба Гайто Газданова на родине была предопределена его реальной судьбой — он был «белогвардейцем», и даже не таким, как Аверченко или Бунин (в 20—30-х годах наше литературоведение украшало их такими ярлыками), а самым настоящим — почти полтора года он прослужил солдатом в Добровольческой армии и с остатками разбитых врангелевских войск покинул родные берега. Будущему писателю, правда, тогда не исполнилось и семнадцати лет...

Гайто (Георгий) Иванович Газданов родился в Петербурге 6 декабря (23 ноября) 1903 года. Его необычное для русского слуха имя объясняется тем, что родители его были осетины. Отец тогда учился в Лесном институте, по окончании которого в качестве лесничего вместе с семьей изъездил всю Россию. Так что мальчик в детстве побывал и в Сибири, и в Тверской губернии, и в Смоленске, и в Белоруссии. Он рос и воспитывался в русской среде, родным языком его был русский. Обладая феноменальной памятью, неизбывной жаждой познания, с самых ранних лет Гайто увлекся литературой и философией и в возрасте 13—14 лет великолепно знал русскую и западную классическую литературу и перечитал всю богатую библиотеку отца, где были сочинения Платона и Беме, Фейербаха и Ницше, Гюйо и Канта, и многих других философов и социологов. Отец умер рано, но в памяти Гайто он остался навсегда, и от него пришли к нему и любовь к природе, к животным, к физическим упражнениям, к путешествиям.

Летом 1919 года, окончив седьмой класс Харьковской гимназии, попрощавшись с любимой матерью, пятнадцатилетний юноша отправился на фронт. Им двигала жажда новых знаний, юношеская романтика. Но не только. Он считал своим долгом помочь белым, потому что они — побеждаемые...

На чужбине, после года невероятно тяжелой жизни в военном лагере в Галлиполи, Гайто Газданов бежит в Стамбул, поступает в русскую гимназию, которую вскоре переводят в Болгарию, в Шумен, и, окончив ее, в 1923 году отправляется в Париж. Здесь он ведет жизнь типичного русского эмигранта — работает грузчиком в порту, сверлильщиком на автозаводе, мойщиком паровозов, наконец получает постоянную работу ночного таксиста. Стремление к знаниям не иссякает в нем, он поступает на историко-филологический факультет в Сорбонну. И хочет стать писателем. В 1926 году в пражском студенческом журнале «Своими путями» печатается его первый рассказ — «Гостиница грядущего». Затем в пражском журнале «Воля России» один за другим появляются его рассказы «Повесть о трех неудачах», «Рассказы о свободном времени», «Товарищ Брак», «Черные лебеди».

Успех первого романа «Вечер у Клэр» открывает перед ним страницы лучшего русского журнала зарубежья — «Современных записок». В 30-х годах здесь будет напечатан его второй роман — «История одного путешествия» и начнется публикация следующего романа — «Ночные дороги», прерванная второй мировой войной, здесь будут опубликованы восемь его рассказов.

Во время войны Гайто Газданов вместе с женой Фаиной Дмитриевной участвовал в движении Сопротивления.

В послевоенное время им были написаны еще несколько романов и прекрасных рассказов.

Основные темы произведений Газданова — бытие русского человека на чужбине. И кажется, никто из русских писателей зарубежья не смог передать с такой глубиной и психологической точностью деталей отчуждение, странность этой жизни, неслиянность со средой обитания.

Блестящий стилист, великолепно владеющий словом, улавливающий его малейшие оттенки, Газданов обладал необычайно развитой музыкальностью и чувством ритма. Некоторые критики упрекали его в неуме-

нии построить законченную композицию, признавали случайность, необязательность каких-то эпизодов или даже персонажей. Они забывали о том, что крупный художник создает свои собственные законы. Газданов принадлежит к их числу. В своих романах и рассказах он открыл нам огромный мир персонажей, которых мы не знали. Он подмечал такие детали в характерах и в ситуациях, о которых мы не имели представления. И все это предстает перед нами воссозданным прекрасным, великим чистым русским языком.

О вечных проблемах смысла жизни, красоты и странности любви, относительности счастья, выбора пути и многих других говорится в его произведениях с позиций высокой морали и конечной веры в человеческое в человеке. Но духовная жизнь его героев диалектична, внутренний мир неоднозначен, дается в движении, и в ходе развития действия перед читателем предстает то одна, то другая сторона его бытия, его существа, и любые противоречивые свойства находят свое объяснение, правдивы и понятны нам.

Гайто Газданов умер 5 декабря 1971 года в Мюнхене, но похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, там, где нашли последнее пристанище на земле замечательные русские писатели XX века — Иван Бунин и Иван Шмелев, Борис Зайцев и Виктор Некрасов. Они к нам вернулись. Ныне к нам приходит творчество Гайто Газданова, и панорама русской литературы приобретает большую полноту и объемность.

## ГАЙТО ГАЗДАНОВ

### ИЗ БЛОКНОТА

\* \* \*

Председатель русской благотворительной организации рассказывает:

— В тридцатых годах среди других просителей и профессиональных стрелков с классическим — «находясь временно в затруднительном положении...» — является ко мне пожилой, небритый, оборванный человек. Середина октября, холод, дождь. На нем рваные

штаны, башмаки с отстающими подошвами, рваный пиджак, рваная шляпа и рубашка неопределенного цвета. Говорит хрипловатым голосом:— Мне сказали, что у вас благотворительная организация? — Да.— И что, здесь можно получить кое-какую одежду? — Да.— Так вот, не можете ли вы дать мне пиджак? Мой, как видите, износился. Смотрю на него внимательно. Хмурое лицо, человеческое выражение выцветших глаз. Чем-то он непохож на обыкновенного стрелка. Знаете, когда у вас такой огромный опыт общения с людьми, как у нас, глаз становится наметанным. Есть какая-то, так сказать, нивелирующая сила в нищете и пороке. Огромное большинство нищих и пьяниц постепенно становятся похожи друг на друга. Это нечто вроде братства в несчастье, если хотите. Как-то незаметно стираются различия — и получается средний тип пьяницы, средний тип стрелка, вообще человека, который ушел из мира тех этических понятий, которые мы считаем обязательными или нормальными.

Мы сидим с ним в кабинете его квартиры; теперь тоже октябрь. В этом году кончилась война. За окном холодный дождь — как тогда, когда к нему приходил этот проситель. Слушаю его спокойный голос, в кабинете тепло, горит печь, сквозь ее слюдяное оконце виден огонь. Что-то диккенсовское в этом вечере. Мой собеседник продолжает:

— Я его спросил: вы говорите, вам нужен пиджак? Только пиджак? — Да, благодарю вас, только пиджак.— Но, простите, пожалуйста, ваши штаны не в лучшем состоянии. А кроме того, я вижу, у вас нет пальто, а теперь не лето.— Нет, пожалуйста, ни штанов, ни пальто не давайте.— Почему? — Продам и пропью. Вы их кому-нибудь другому отдайте, а мне не стоит.— Как же так? Непременно продадите и пропьете? Это так неизбежно? — Да,— говорит задумчиво.— Я, знаете, алкоголик.— Где вы живёте? — Нигде.— То есть как нигде? У вас нет своего угла? — Давно нет. Я бродяга.— Но как же вы существуете? — Неинтересно рассказывать, зачем я у вас время буду отнимать? Дайте только мне пиджак, и я пойду дальше.— Нет, нет, я очень хотел бы знать...— Так вот, видите ли, я уже много лет хожу. Знаете, как в прежнее время по России ходили странники, богомольцы. Хожу по Франции, из деревни в деревню. Французские крестьяне не знают, что я русский.— А как же акцент? — У меня нет акцента.—

Каким образом? — Всю жизнь, всегда говорил по-французски, с детства. — И что же? — Ну вот, иду. Вхожу, принимают. Народ скуповатый, французские крестьяне... Помните Мопассана? Он их правильно описывал. Попросите хлеба — откажут. А вот в стакане красного вина — никогда. Ну, а к вину и сыр и кусок хлеба. Переночую в амбаре или на сеновале, а утром дальше. Опять дорога, поля, леса. Летом хорошо, а вот осенью и зимой тяжеловато. — И давно вы так ходите? — Много лет уже. — И вас никогда никто не останавливал? Полиция или жандармерия?.. — Останавливали. Сидел в тюрьме за бродяжничество. Но теперь все это кончено, узаконено.

— Как узаконено? — Да так вышло. Ну, первый раз меня задержали, отсидел день в тюрьме, выпустили. Второй раз — три дня тюрьмы. Третий — неделя. И так дальше. Предпоследний раз, когда меня арестовали, я отсидел в Орлеанской тюрьме три месяца. Но я, признаться, был даже доволен: январь, февраль, март — самое холодное время. Ну вот. А в апреле, недалеко от Лиона, опять останавливают на дороге; спрашивают адрес и есть ли деньги. — Нет, говорю, ни адреса, ни денег. — Значит, бродяга? — Бродяга, говорю.

Посадили меня в тюрьму. Потом вызывают к следователю — молодой человек. — Ты русский? — Русский. — Бродяга? — Бродяга. — Ты пробовал найти работу? — Нет, говорю, какой из меня работник. Вы, говорю, господин следователь, и я, мы живем в двух совсем разных мирах, основные понятия которых не совпадают. — Он нахмурился и спрашивает: вы действительно русский? — Действительно. — Почему ж вы говорите по-французски без ошибок и без акцента? Вы получили образование во Франции? — Нет. Я окончил университет в России. — Как же могло случиться, что вы стали бродягой? — Я алкоголик. — Вас уже не первый раз арестовывают и не первый раз вы в тюрьме? — О, далеко не первый. — Но ведь каждый раз срок заключения автоматически удлиняется. И кончится дело тем, что вас продержат в тюрьме год, а потом вышлют из Франции. — Вероятнее всего, так и будет. — Нет, так нельзя, надо что-то сделать. — Что ж тут сделать? — А об этом надо подумать. Но скажите, как же вы можете так жить? — Я говорю: — Извините меня, господин следователь, вы человек молодой, и, может быть, вам не приходилось задумываться над тем, как чудовищно многообразны

пути человеческих существований. Вы этого не знаете. Мы знаем только направление. Мы все, одни медленно, другие быстро, одни в кабинетах судебных следователей, другие на дорогах той или иной страны, третьи еще где-нибудь, — мы все идем к смерти. И если вы себе представите, что бы вы ни делали, как бы вы ни жили, здесь или там, в таких или других условиях, все равно и вам и мне суждены, может быть, разные пути, но и у меня всегда одно и то же назначение, — если вы себе представите это, то логически из этого вытекает другая мысль: не все ли равно, какой дорогой мы дойдем до неизбежного конца нашего земного странствования? Конечно, это, может быть, сомнительная философия бродяги, философия, на которой лежит отпечаток того, что вы, французы, называете *déformation professionnelle*. Но я готов был бы защищать эту философию, если бы считал, что в мире вообще есть философские системы, которые стоит защищать. — Следователь покачал головой и сказал: — А все-таки, хоть я с вами и не согласен, сделать что-то нужно. И я об этом подумаю.

Через три дня он меня вызвал. Выражение глаз у него было веселое. — Нашел выход! — сказал он. — Я же вам говорил, надо только подумать. Вот ваше новое удостоверение личности. Видите, в этой графе: профессия? Видите? Теперь тут написано: «кочевник». Понимаете? И теперь вас арестовать уже больше не могут. Вы — кочевник и не обязаны иметь постоянного местожительства. А сейчас — вы свободны. Счастливого пути. — Я искренно поблагодарил его и ушел.

— Хорошо, говорю я, — продолжал свой рассказ мой собеседник, — ну, дам я вам пиджак, а что дальше? Опять пойдете странствовать? — Нет, — сказал он. — Больше не могу, сил нет. Раньше, еще несколько лет тому назад, мне все было нипочем: холод, жара, дождь, снег, расстояние. А теперь устаю, муть в глазах, деревья передо мной качаются, поля точно в тумане уплывают из-под ног, а когда холодно, то мне кажется, что я несущу в себе какую-то ледяную тяжесть. Не могу больше. И вот недавно я прочел в газете, что в русскую церковь, в одном из городов на побережье Средиземного моря, назначен дьяконом отец Василий Сидоров. И приведена его биография, — родился, дескать, в Твери, учился там-то и там-то, и так дальше. Я сразу догадался — да ведь это же Васька Сидоров, я его с детства знаю, я тоже из Твери. Ну, думаю, старый товарищ, он меня в беде не



оставит. И вот я решил,— пойду-ка туда, прямо к нему, и скажу: устрой меня, Васька, где-нибудь там при церкви. Много мне не надо, только бы угол да поесть чего время от времени. А климат там мягкий,— пальмы, тепло. Вот это и будет концом моего пути, вернее, его последним этапом. Только пиджак мне все-таки нужен.

— А как же вы попадете из Парижа на Ривьеру? Ведь это около тысячи километров.— Как всегда, пешком. Месяца за три дойду, если не упаду по дороге.— Нет, говорю я, это не дело. Я вам дам пиджак, брюки, башмаки, пальто и железнодорожный билет до места назначения, почти что до самой церкви.— Боже вас сохрани! — говорит он.— Все пропью...— Нет, говорю, не пропьете. Не удастся. Все получите в последний день, и я сам вас посажу в поезд.— Так я и сделал. Сел он в поезд — неузнаваемый, другой человек — бритый, прилично одетый. Но те же печальные глаза, то же выражение лица.

— Где, говорит, ближайшая остановка поезда? — Я называю остановку.— Далеко, говорит, не купят билета. Вы правы, не удастся пропить. Спасибо, прощайте.

Председатель благотворительной организации говорит:

— ...Было это в конце октября, дождь как теперь. И когда поезд ушел, знаете, что я вспомнил? Андрея Белого:

Поезд плачется, в дали родные  
Телеграфная тянется сеть.  
Пролетают поля росяные,  
Пролетаю в поля: умереть.

И потом он сказал:

— Не знаю уж, что стало с моим клиентом. Доехать-то он доехал, наверное, и Ваську Сидорова, я думаю, нашел. Так, вероятно, и суждено ему было окончить свои дни не на дорогах Франции, а в непосредственном соседстве с русской церковью, рядом с изображениями святых и угодников — тех самых, на поклонение которым когда-то ходили наши странники, иногда, может быть, и такие, как мой парижский кочевник.

\* \* \*

Объявление в русской газете: «Натираю полы, все чищу и привожу в порядок, могу по телефону. Александр». Спрашиваю одного приятеля, который знает

весь «нижний этаж» русской колонии в Париже,— что это за телефонный полотер?

— Блестящий человек, все его коллеги ему бешено завидуют.

— Почему?

— Он работает со своей пылью.

— Как со своей пылью?

— Нанимается натереть полы, скажем, в такой-то квартире, за определенную сумму. Приходит на работу и приносит с собой кожаный мешок. А в этом мешке у него пыль. Кончит работу — и высыпает целую гору этой пыли у порога. Потом показывает хозяйке и говорит — смотрите, мадам, как я усердно трудился, видите, сколько пыли? Может, прибавите что-нибудь? Хозяйка видит — действительно, подумать только, как должен был работать этот человек. И прибавляет — без отказа. Как он до этого додумался, непонятно. Никому это в голову не пришло, а он изобрел: блестящий человек.

Потом добавляет:— Ньютон открыл закон притяжения, Гарвей — систему кровообращения, Эйнштейн — теорию относительности. А полотер Александр — собственную пыль: каждому свое. «Ибо земля еси и в землю отыдеши». Другими словами, прах. И вот, в день Страшного суда, кто знает? Мы придем туда с пустыми руками, а Александр подымет на небо со своим кожаным мешком и своей пылью. На всякий случай: может быть, там тоже полотеры требуются?

\* \* \*

Глухая парижская провинция 15-го «аррондисмана». Летним вечером, у русской пожилой дамы, Анны Васильевны Морозовой, мой знакомый пьет чай. Муж дамы, почтенный человек лет шестидесяти, когда-то бывший военный, только что попрощался и ушел на работу.

— Грех жаловаться,— говорит она,— место у Михаила Петровича хорошее, не каждый такое может получить. Ночной сторож в гараже. А какое ему доверие! Нет, что ни говорите, где бы человек ни был, рано или поздно его оценят по достоинству.

Потом вздыхает и прибавляет:

— Вот, Бог даст, большевиков свергнут, поедем

в Россию, и Михаил Петрович будет одесским губернатором.

— Почему же именно губернатором?

— Как почему? Что же, вы думаете, мало мы страдали?

Знакомый говорит задумчиво:

— За страдания, Анна Васильевна, это в угодники попадают, а не в губернаторы.

\* \* \*

Зима, глубокая ночь, кафе на Монпарнассе. У стойки небритый, плохо одетый человек в пальто явно с чужого плеча — рукава длиннее рук, полы чуть не до земли. Перед ним пустая чашка, в которой был кофе. С ним спорит пожилая женщина в черном балахоне, похожая на заблудившуюся кухарку. В руках у нее кленчатая сумка для провизии. Эта внешность, однако, обманчива: женщина занимается проституцией. Спор идет о том, какая из двух стран имеет право называться передовой — Франция или Россия. Женщина говорит на простонародном французском языке, ее собеседник с сильнейшим русским акцентом едва объясняется по-французски при помощи глаголов в неопределенном наклонении и существительных неизвестно какого рода. Исчерпав все свои аргументы (он доказывает, что Россия всегда была передовым государством, а Франция, как всем известно, страна отсталая), — он обращается ко мне за поддержкой. Отвечаю по-русски. Денег на вторую чашку кофе у него нет. Заказываю гарсону для него кофе с молоком и бутерброд. Он объясняет: — Я, знаете, временно без работы. — А что вы делали в России? — Командовал батареей. Моя фамилия Смирнов, полковник артиллерии. А здесь работаю электротехником. Но дело не регулярное, — работаешь — хорошо, а потом гуляй себе по улицам, если работы нет. — А где вы живете? — Где придется. До октября жил на кладбище, тут недалеко, там один знакомый предприниматель сдавал походные кровати с одеялами. А зимой холодно все-таки, потом, если дождь, тоже нехорошо.

Выпив кофе с молоком, съев бутерброд и закулив папиросу, полковник Смирнов говорит:

— Вы человек молодой, так что у вас, наверное, еще, может быть, есть какие-нибудь сомнения. А мы, — наша

песенка спета. Что осталось? Воспоминания и жизненная труха, ничего больше. История, как говорится, нам подложила свинью. И теперь я твердо знаю, в чем дело и какая должна быть правильная философия.

— Какая же?

— А вот. Разная там политика, благо родины, такая партия, другая партия,— все это барахло. Это еще Солломон понимал,— дескать, суeta суeta, и ничего больше. Единственное, что важно,— это личная жизнь и ход времени.

Потом долго думает о чем-то и прибавляет, точно произносит цитату:

— И горячий взгляд женских глаз.

— Это вы откуда?

— Мои собственные слова, только переделанные. Это я такое стихотворение написал, когда был влюблен, еще в России.

— В размер как-то не укладывается.

— Ну, чудак вы человек, в стихотворении моем было иначе. Разве можно в стихах так выражаться — «и горячий взгляд женских глаз»? Это последняя проза, ерунда, ничего поэтического.

— А как же у вас было в стихотворении?

Он закрывает глаза и цитирует:

И пламенный взор твоих глаз,  
Который в моих отражался.

Потом опять читает:

Все это было, было, было,  
Свершился дней круговорот,  
Какая ложь, какая сила  
Тебя, прошедшее, вернет?

Но это уже не мое...

Мне почему-то неловко сказать, что я знаю эти стихи. Думаю о том, как все это нелепо: ночь, Париж, старый оборванец у стойки кафе цитирует Блока. Спрашиваю, не нужно ли ему денег?

— Конечно, нужно. Всем деньги нужны, даже Ротшильду или Рокфеллеру. Им даже больше, чем мне. Потому что,— что такое Ротшильд без денег? — дырка, ничто. А я — такой, как я есть, и с деньгами, и без денег. Спасибо за предложение, но я у вас не возьму. Обойдусь.

Проходит несколько дней — опять встречаю его у стойки, опять ночной разговор. Говорит он, я слушаю. Говорит о том, что воспоминания обычно неподвижны. И потом прибавляет:

— Но не всегда, конечно. Жил я не так давно в небольшом городке, здесь, во Франции. Работал на фабрике. И вот как-то выпил я и вышел за город, в поле. Солнце уже заходило, лето, тепло. И вот иду, и что-то со мной странное, не могу понять. Потом останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу: за мной, как в строю, беззвучно идут люди, десятки людей: товарищи, которые давно убиты, другие, о которых я ничего не знаю,— как будто вот я двигаюсь и вся моя жизнь волнами льется за мной. Ну, думаю, допился. Страшно было, знаете. Не дай Бог, когда воспоминания приходят в движение.

Так прошла зима. Я его встречал раз в неделю, раз в две недели,— все такой же, без работы, в том же пальто. Но крепкий человек,— ясные глаза, уверенный взгляд. Прошла весна, наступило лето. И вот однажды, совсем под утро, когда я вошел в кафе, он точно из-под земли вынырнул и оказался рядом со мной.

— Я вас всю ночь ждал. Предлагают работу в провинции. На билет, чтобы доехать, нужны деньги, там комнату снять и прожить неделю,— тоже надо заплатить. Помните, вы мне предлагали? Теперь я у вас могу попросить,— знаю, что верну.

Я дал ему деньги, он пожал мою руку, ушел — и пропал.

Проходили недели, месяцы,— как в воду канул. Опять наступила зима. И вот, как-то в январе или феврале, я вошел ночью в кафе и увидел его: котелок, черное пальто, бритое лицо, воротничок, галстук.

— Разрешите вас приветствовать шампанским и, кстати, вернуть вам мой долг.

— Как работа?

— Ничего, благодарю вас. Провинция только, знаете, скучновато. Люблю Париж.

— Но зарабатываете-то вы прилично?

Пожимает плечами.— Какое это имеет значение?

Мы вышли с ним из кафе, он небрежным жестом остановил проезжавшее такси — и уехал на вокзал.

А еще через полгода он опять появился — в таком же виде, в каком я его встретил первый раз.

— Что случилось?

— Да все то же самое.— Он морщится, ему явно

неловко.— Как это в Библии сказано? «Возвращается ветер на круги своя». Сколько раз уже было. Живешь, работаешь. А потом, в один прекрасный день,— вдруг та же самая мысль: для чего? И зальешься. А потом придешь в себя,— все ухнуло, все пошло к чертовой матери.

Потом полковник Смирнов снова исчез. Опять прошло много месяцев. Однажды днем иду по бульвару Пор-Руаяль, слышу, кто-то бежит за мной. Оборачиваюсь — он: опять в совершенно приличном виде.— Нашел работу.— Где, какую? — Как всегда. Я ведь по специальности инженер-электротехник.

Об этом он мне сказал только на третий год знакомства.

Потом я видел его много раз. Он знал мой адрес и время от времени приходил ко мне. Как-то явился ранней осенью и сказал, что ему нужно тридцать франков.

— Можно узнать, почему именно тридцать?

Он посмотрел на меня, выражение глаз у него было такое, точно он смотрел куда-то вдаль. Потом сказал:

— До зарезу. Букет цветов, обед, комната в гостинице: сегодня вечером из Ниццы приезжает Нина. Вы можете себе это представить: Нина!

— Я не знал, что она приезжает. Простите, а кто такая Нина?

Он покачал головой и ответил:

— Этого вы никогда не поймете. Но без тридцати франков я не уйду.

Потом он вышел, потом опять позвонил и, не переступив порога, сказал:

— Никто так не умел любить, как она.

И бросился бегом вниз по лестнице.

---

За год до начала войны — давно ушел поезд, в котором Нина уехала из Парижа,— он пришел попрощаться: он уезжал, как он сказал, к «чухне», то есть в какое-то балтийское государство,— куда его будто бы пригласили преподавать баллистику в военном училище.

\* \* \*

Ходит по Парижу старичок-калмык, с узкими монгольскими глазами и бесчисленными морщинами на желтом, широком лице. Обращается к прохожим и бормочет:

— Мелочи имеете? Мелочи имеете?

Никто, кроме русских, его, конечно, не понимает, пожимают плечами, считают, вероятно, тихо помешанным. Когда он задает мне свой обычный вопрос:— мелочи имеете? — я спрашиваю:— Почему мелочи? — Крупные не дашь.

Проходит несколько месяцев. Зимой он появляется в чем-то похожем на длинную ватную кофту, точно это и не Париж, а Оренбургская степь. И опять этот виляющий взгляд узких монгольских глаз и древнее лицо: я сразу вижу перед собой безводные степи, юрту, тень Чингисхана.— Мелочи имеете? мелочи имеете? — Свои несложные фразы он всегда повторяет почему-то два раза.

— Что, старик, трудно жить? — Трудно, трудно, мелочь надо, кушать надо, мелочь надо, кушать надо.— И сквозь это его бормотанье на чужом языке, которое я потом долго вспоминаю, всегда возникает — точно через степные столетия — это древнее желтое лицо.— Читать умеешь? — Кому читать нужно? Кому читать нужно? Жить нужно, читать не нужно.

Действительно, что же ему читать? Зачем?

Проходит несколько лет. Рассказываю одному знакомому о калмыке. Он спрашивает:— А вы знаете, чем он занимался и чем все это кончилось? Не читали в газетах года два тому назад? — Нет. Знаю, что просил милостыню.— Не только это.

И вот оказалось, что калмык давал таким же нищим, как он, деньги в рост, под какие-то чудовищные проценты. Был богат и все свое состояние носил с собой, довольно крупную сумму. Какой-то юноша, незадолго до этого выпущенный из тюрьмы, ночью зарезал старика-калмыка и сбежал с его деньгами, но через несколько часов был пойман, снова посажен в тюрьму и позднее гильотинирован.

\* \* \*

В трудные времена, первые послевоенные годы, звонок; отворяю дверь, на пороге высокий, очень пожилой человек.— Разрешите войти? — Пожалуйста.— Он курит папиросу с длинным мундштуком. Когда начинает говорить, у него все время то съезжают, то поднимаются вверх плохо сделанные вставные зубы какого-то редкого лилового цвета. Через некоторое время выясня-

ется, что он ошибся адресом — он думал, что я имею какое-то отношение к благотворительному обществу. — Нет, я никакого отношения к благотворительным организациям не имею. — Но у вас есть знакомства? — Конечно, у кого их нет? — Так вот, дело в следующем. — За этим идет длинейший рассказ о его жизни. Он бывший присяжный поверенный, что, впрочем, видно по его любви к метафорическому стилю: «в вихре революционных событий», «в огне гражданской войны», «на фоне этой исторической трагедии». Вспоминаю фразу, которую я читал в Воспоминаниях какого-то знаменитого адвоката, что-то вроде этого: «И на мрачном фоне зарождающейся реформы ярко горела персональным факелом индивидуальная совесть молодого помощника присяжного поверенного...» Словом, «жизнь прошла». В подтверждение этого он приводит цитату в стихах. Средств никаких. Сын его давно в Америке, но денег не присылает и на письма не отвечает. Нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Даю адрес благотворительной организации, который случайно знаю. Он благодарит и уходит.

А через несколько месяцев является опять, такой же длинный, с тем же мундштуком, с тем же выражением глаз. — Вы знаете, я всегда любил Ривьеру. Мне надо жить на Ривьере. Климат для меня подходящий, у меня большое сердце, тяжелый груз личных воспоминаний, как у всех, кого волны жестоко трепали в житейском море. Кроме того, боли в желудке, вы сами понимаете. Надо что-то сделать. Необходимо поехать на Ривьеру, там нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Что вы думаете? Как нужно действовать? — Не знаю, как вам помочь. — Он вздыхает и говорит:

— Я давно пришел к убеждению, что энергия побеждает в жизни все. Я всегда надеялся только на свою собственную энергию, и вот, смотрите, другой бы на моем месте, может быть, давно умер, а я жив, и у меня даже сын в Америке — а какой с него толк? Ну, простите, что я вас побеспокоил. Я бедный человек, вы знаете, бедный, старый человек, и все, что у меня осталось, это немного воспоминаний и немного энергии. Но разве на это можно прожить и поехать на Ривьеру?

Ничего не могу сказать о его воспоминаниях. Но если у него их столько же, сколько энергии, он мог бы написать много томов. Он обходит все благотворитель-



ные общества, по многу раз рассказывает свою жизнь, объясняет, что у него боли в желудке, говорит, что он любил Ривьеру еще до первой мировой войны, что ему так мало надо, и в конце концов добивается своего: ему дают деньги на дорогу, на комнату, на жизнь, и он уезжает наконец в Juan les Pins, где поселяется в гостинице. И, прожив там два месяца, скоропостижно умирает.

\* \* \*

37—38 год, опять зима, ночь и то же кафе против монпарнасского вокзала, в котором я бывал много лет подряд и где знал всех, начиная с хозяйки и гарсонов и кончая посетителями, очень малопочтенными: сутенеры, проститутки, воры. Время от времени перед кафе останавливаются полицейские машины. Это — облава: обычно в несколько минут забирают почти всех. И потом в кафе остаются четверо: хозяйка, гарсон, мой собеседник, которого я описал в книге «Ночные дороги» под именем Платона, и я. А на следующую ночь кафе опять полно, — отпущенные посетители возвращаются.

И вот раза два в неделю в кафе ночью приходит небольшой человек лет тридцати, с неизменно грустными глазами, хмуро глядящими из-под кепки. У него покатые плечи и удивительные руки, руки музыканта или гравера. Приходит он всегда в перчатках и только потом их снимает. Мы знаем друг друга уже несколько лет. Разговорчивостью он не отличается — здравствуй, как поживаешь? как дела? Пьет, в отличие от других, не коньяк, не вино, а пиво. Зовут его Дэдэ.

Как-то раз я спросил его:

— Почему ты всегда такой грустный?

— Я?

— Ты.

— Я? Грустный? Если бы ты занимался моим ремеслом, тоже был бы грустный.

— А какое твое ремесло?

Он смотрит на меня недоверчиво. — Хочешь сказать, что не знаешь?

— Понятия не имею.

— Смеешься?

Мне удается его убедить, что я действительно не знаю, каким ремеслом он занимается.

— Тебе повезло с работой, — говорит он, — а моя — хуже не бывает.

И он объясняет мне, что по специальности он взломщик несгораемых шкафов.

— Выгодное дело, — говорю я.

Он начинает сердиться.

— Выгодное дело! Не говори о том, чего не знаешь. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты этим занимался. Попробуй, и увидишь выгоду.

— Хорошо, — говорю я, — предположим, ты вскрыл, скажем, где-то там шкаф. В нем на миллион драгоценностей. Сколько ты на этом заработаешь?

— А сколько, ты думаешь?

— Не знаю, тысяч шестьсот, пятьсот?

Он качает головой. Ему жаль меня, моего невежества. И он насмешливо спрашивает, верю ли я в Деда Мороза?

— Почему? Меньше половины?

— А восемьдесят тысяч не хочешь? Да-да, восемьдесят тысяч. Ты не понимаешь, не понесу же я товар (все, что он достает из вскрытых несгораемых шкафов, он называет товаром) на rue de la Paix? Тогда лучше прямо в тюрьму. Значит, надо нести к скупщику. А он что говорит? Это товар непродажный, я у тебя его возьму только по дружбе, потому что у меня доброе сердце и я знаю, ты хороший парень, и не забудь, на какой риск я иду...

Дэдэ смотрит на меня сердито и говорит с упреком:

— А работа, это ты не считаешь? А инструменты? а расходы? а время на подготовку дела? А ты спрашиваешь, почему я грустный.

И потом, посасывая холодное пиво, он говорит нравоучительно:

— Так-то, брат, устроена жизнь. Одним везет, другим нет. Есть люди, которым суждено быть счастливыми, а есть такие, как я. От работы я не отказываюсь, никто не скажет, что я лентяй. Но есть люди, у которых всегда много денег и которые никогда не работают, а есть, как я, которые всегда работают и всегда в дураках.

Он говорит на непереводаемом французском языке, смесь простонародного говора с арго. «Total — j'suis toujours chocolat»<sup>1</sup>.

— Теперь понимаешь, почему я грустный?

Потом он куда-то исчез и появился только года

---

<sup>1</sup> Вечно куда-нибудь влипну (фр.).

через два — пришел ночью в кафе. Та же кепка, те же хмурые глаза.

— Как дела, Дэдэ?

— Плохо,— говорит.— Только недавно на свободе.

Он говорит это иначе, но это непереводаемо:

— Il n'y a pas longtemps que j'suis dehors<sup>1</sup>.

Я знаю язык, на котором он говорит, я знаю мир, в котором он живет, печальный, убогий, преступный. Я знаю много, чего он не знает и что отделяет меня от него. Но я знаю его жизнь: родители — алкоголики, восемь человек детей в одной комнате, мрачный и нищий квартал Парижа, голод, вонь, потом — приют для малолетних преступников,— вот биография Дэдэ.

— Теперь ты понимаешь, почему я грустный.

---

<sup>1</sup> Я недавно вышел наружу (фр.).

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Г. Анджапаридзе. Вступительное слово . . . . .	5
ЛИТЕРАТУРНОЕ УРОЧИЩЕ	
О. Волков. Новая Басманная улица . . . . .	14
М. А. Бобрик, А. Л. Зорин. К истории московского самосознания («О московском наречии» и ее автор) . . . . .	23
О московском наречии. Подготовка текста М. А. Бобрик и А. Л. Зорина . . . . .	34
С. И. Панов. Стихотворец со Старой Басманной . . . . .	39
Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому. Подготовка текста С. Панова . . . . .	59
Н. Алексеев. О Д. С. Усове. . . . .	75
Д. С. Усов. Стихотворения. Подготовка текста Н. Алек- сеева . . . . .	78
Из семейного архива . . . . .	78
«Тебя живописать я не устану...» . . . . .	78
Стихи на печных изразцах . . . . .	79
«Глухая ночь. Трамвай едва плетется...» . . . . .	79
Петербург. . . . .	80
Из «Петербургских стансов» . . . . .	81
Ночь . . . . .	81
Фуга . . . . .	82
Н. А. Богомолов, С. В. Шумихин. Книжная Лавка писателей и автобиографические издания 1919—1922 годов . . . . .	84
Вадим Перельмутер. Приговоренный к забвению . . . . .	131

Георгий Шенгели. Стихотворения. Подготовка текста В. Перель-  
мутера.

«Музыка — что? Кишка баранья...» . . . . .	137
«Там, над синей волной Мичигана...» . . . . .	137
«Реки широкая дуга...» . . . . .	138
«В окно сиял нам полдень. Сквозь решетки...» . . . . .	139
«Все умерли: Татьяна и Наташа...» . . . . .	140
«Так нет же! нет же! нет же! нет!..» . . . . .	140
Страх . . . . .	142
Соблазн . . . . .	142
Мороз . . . . .	143
«Так умирают. Широкая мокрая площадь...» . . . . .	143
Анне Ахматовой . . . . .	144
«Это, видно, смерть приходила...» . . . . .	146
«Дышит пустыня, и сходят с ума...» . . . . .	146
Возраст . . . . .	147
«Как владимирская вишня...» . . . . .	147
«Я начинаю забывать стихи...» . . . . .	148
«Черт его знает, как он это делал...» . . . . .	148

#### ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

К. Ю. Рогов. Портреты и карикатуры . . . . .	153
Р-а-т-а. Обращенный славянофил. Подготовка текста К. Ро- гова . . . . .	160
С. Н. Кайдаш. Вызов царю . . . . .	181
М. К. Цебрикова. Письмо к Александру III. Подготовка текста С. Кайдаш . . . . .	189
Б. А. Гаврилов. «Как европеец, как художник, как поэт...» . . . . .	211
Письмо М. А. Волошина к военному министру. Подготовка текста Б. Гаврилова . . . . .	221
М. В. Козьменко. «Я писал всегда врозь с темой дня...» . . . . .	224
А. Ремизов. Слово о гибели Русской Земли. Подготовка текста М. В. Козьменко . . . . .	236
Е. Ю. Литвин. Последняя одиссея Георгия Венуса . . . . .	243

#### ЛИТЕРАТУРА: ПУБЛИКАЦИИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПИСЬМА

Вяч. Вс. Иванов. «Гильгамеш» в переводе Гумилева . . . . .	267
Гильгамеш. Перевод Н. Гумилева . . . . .	272

<b>Л. И. Соболев. Неизвестное стихотворение К. К. Случевского . . . . .</b>	<b>308</b>
Тост Пушкину. Подготовка текста Л. И. Соболева . . . . .	309
<b>Т. Р. Нарбут, В. Н. Устиновский. Владимир Нарбут . . . . .</b>	<b>313</b>
<b>В. Нарбут. Стихотворения. Подготовка текста Т. Р. Нарбут, В. Н. Устиновского</b>	
Бандурист . . . . .	329
Коршун . . . . .	332
На заре . . . . .	332
Захолустье . . . . .	333
Аэроплан . . . . .	333
Комета . . . . .	334
От заутрени . . . . .	334
Монастырская песня . . . . .	335
Сонет . . . . .	335
Лихая тварь . . . . .	336
Гадалка . . . . .	337
Наполеон . . . . .	340
Романс . . . . .	341
Оранжерея . . . . .	341
Ольге Карпека . . . . .	342
Предпасхальное . . . . .	342
Самоубийца . . . . .	344
Красная Россия . . . . .	345
В огне . . . . .	345
«Пуля, ты ли пропадешь на фронте...» . . . . .	347
«Развернулось сердце розой...» . . . . .	348
Кобзарь . . . . .	348
Голод . . . . .	349
Совесь . . . . .	350
Перепелиный ток . . . . .	350
Бухгалтер . . . . .	352
<b>М. Б. Мейлах. Русский довоенный театр абсурда . . . . .</b>	<b>356</b>
<b>Александр Введенский. Елка у Ивановых. Подготовка текста     Михаила Мейлаха . . . . .</b>	<b>365</b>
<b>А. И. Ходасевич. Воспоминания о В. Ф. Ходасевиче. Вступительная     статья и подготовка текста Л. В. Горнунга . . . . .</b>	<b>386</b>
<b>А. Г. Найман. Уроки поэта . . . . .</b>	<b>411</b>
<b>В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян. Нервалианский слой у Ахматовой и     Мандельштама (Об одном подтексте акмеизма) . . . . .</b>	<b>420</b>

Т. Л. Ершова. К. Локс . . . . .	448
К. Г. Локс. Повесть об одном десятилетии. Подготовка текста Т. Л. Ершовой . . . . .	453
<b>А. И. Пузиков. «Небожитель» (Б. Л. Пастернак) . . . . .</b>	<b>477</b>
<b>И. Гаген-Торн. Подготовка текста Г. Ю. Гаген-Торн . . . . .</b>	<b>499</b>
КВЧ (Глава из книги воспоминаний «Второй тур») . . . . .	500
О себе и о Ломоносове . . . . .	506
Письмо Б. Л. Пастернака . . . . .	509
Стихотворения	
Колыма . . . . .	510
«Тихо пальцы опускаю...» . . . . .	511
«Я раскрываю ладони...» . . . . .	511
Андрею Белому . . . . .	511
«Во блаженном успении...» . . . . .	513
«Аксинья-полухлебница...» . . . . .	513
<b>М. Л. Гаспаров. Фет безглагольный . . . . .</b>	<b>515</b>
<b>С. С. Гречишкин, А. Лавров. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» . . . . .</b>	<b>530</b>
<b>Г. Л. Никольская. Муза футуристов . . . . .</b>	<b>590</b>
<b>А. Е. Парнис. Блок и Маяковский — 30 октября 1916 года (Ре- конструкция одной встречи) . . . . .</b>	<b>599</b>
<b>Ф. А. Петров. Л. Н. Толстой и Олсуфьевы . . . . .</b>	<b>633</b>
<b>Письма Андрея Белого к С. Д. и С. Г. Спасским.</b>	
Статья и примечания Н. Алексеева. Подготовка текста писем В. С. Спасской . . . . .	642

#### РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

<b>В. Перелешин. Об Арсении Несмелове . . . . .</b>	<b>665</b>
Е. В. Витковский. «Только побежденный не судим...» . . . . .	674
Арсений Несмелов. Через океан (Поэма). Подготовка текста Е. Витковского . . . . .	678
<b>М. Г. Ратгауз. О Борисе Поплавском . . . . .</b>	<b>686</b>
Борис Поплавский. Стихотворения. Подготовка текста М. Ратгауза Дождь . . . . .	698

Черная мадонна . . . . .	699
Роза смерти . . . . .	700
Морелла II . . . . .	701
«В зимний день на небе неподвижном...» . . . . .	701
«Все спокойно раннею весною...» . . . . .	702
«Слабый вереск на границе смерти...» . . . . .	703
«Сумеречный месяц, сумеречный день...» . . . . .	704
«Как холодно. Молчит душа пустая...» . . . . .	704
«Над пустой рекой за поворотом...» . . . . .	706
«Ты шла навстречу мне пустынной зимней ночью...» . . . . .	707
Е. В. Витковский. «На экране памяти моей...» . . . . .	708
Иван Елагин. Память. Подготовка текста Е. Витковского . . . . .	712
Ст. Никоненко. Несколько слов о Гайто Газданове . . . . .	727
Гайто Газданов. Из блокнота. Подготовка текста Ст. Никоненко . . . . .	731



**Н74 Ново-Басманная, 19/Вступ. статья Г. Анджапаридзе; Сост. Н. Богомолова.— М.: Худож. лит., 1990.—750 с.**

**ISBN 5-280-01320-X**

Неопубликованные письма родственников и близких Л. Н. Толстого из архива семьи Олсуфьевых; цветные слайды рукописных книг 1919-1922 гг.; редкие и уникальные фотографии; неопубликованные стихи К. Случевского, Г. Шенгели, В. Нарбута; публикация поэтов и прозаиков русского зарубежья; исследования о русском футуризме и акмеизме; размышления о русском театре абсурда; воспоминания о Б. Пастернаке и А. Ахматовой; свидетельства о трагических судьбах деятелей отечественной культуры — таков далеко не полный перечень того, что предлагает наше издательство любознательному читателю.

Открытие новой серии приурочено к 60-летию юбилею «Художественной литературы».

**Н 4702010000-436**  
**028(01)-90** без объявл.

**ББК 84Р1**

*Составитель*  
*Николай Алексеевич Богомолов*

Зав. редакцией *С. П. Князева.*

Редакторы *Ю. Розенблюм, О. Ларкина.*

Художественный редактор *Л. Калитовская.*

Технический редактор *В. Нефёдова.*

Корректоры *О. Добромыслова и М. Чупрова.*

ИБ № 6026.

Сдано в набор 16.10.89. Подписано в печать 27.08.90. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тип „Таймс“. Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,48. Усл. кр.-отт. 74,97. Уч. изд. л. 40,51. Тираж 50 000 экз. Изд. № 1-3509. Заказ №345. Цена 2 р. 60 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература“. 107882, ГСП, Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19. Минская полиграфическая фабрика „Красная звезда“ МППО им. Я. Коласа. 220079, Минск, 1-й Загородный пер., 3. Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, Корженевского, 20.